3.1976

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ», МОСКВА

Содержание

3 МАРТ 1976

АРМАНДО ТЕХАДА ГОМЕС — Стихи *(Перевод с испанского и вступление Сергея Гончаренко)* 3

ЭДУАРД ПЕТИШКА — Рассказы *(Перевод с чешского В. Каменской)* 8

А. КВЕЙ АРМА — Осколки *(Роман. Перевод с английского М. Лорие и А. Кистяковского. Вступление Л. Яблочкова)* 32

ФРАНСИСКО ГАРСИА ПАВОН — Рыжие сестры *(Роман. Перевод с испанского и послесловие Л. Синянской)* 99

Критика

ЖАН ПЕРЮС — Память о войне и долг писателя 183

А. ЗВЕРЕВ — Меняющиеся ориентиры 188

Интервью

Нгуги Ва Тхионго: «Темы литературы определяет ход самой жизни» *(Интервью подготовил В. Перехватов)* 197

Трибуна переводчика

ЛЕВ ГИНЗБУРГ — В поисках святого Грааля 199

Культура и современность

Заметки на полях

М. Фридман — «Секолул 20». Алексей Собкович — В духе Хельсинки 212

Отклики, встречи, впечатления

Н. ФЕДОРЕНКО — Флорентийский международный конгресс 217

Публицистика

АЛЬБЕРТ КАН — Радости и печали. Размышления Пабло Казальса, поведанные им Альберту Кану *(Фрагменты книги. Перевод с английского М. Кан)* 225

Наши гости

Р. Филипчикова — Отстоять критерии социалистического реализма. А. Чугунова — Поэзия помогает человеку стать лучше 258

Среди книг

Издано в СССР

С. Рожновский — Встреча с книгой. Б. Стахеев — Историческая проза Мариана Брандыса. Илья Фоняков — Как дерево среди руин 261

Издано за рубежом

Лорина Дымова — Человек живет надеждой. ◇ Писатель и его герой. Уве Тимм — Изменить мир. Н. Литвинец — После жаркого лета ◇ Т. Мотылева — Ромен Роллан: новые страницы 267

Из месяца в месяц 274

Авторы этого номера 286

На первой, второй и третьей страницах обложки работы венгерской художницы-керамистки МАРГИТ КОВАЧ

© «Иностранная литература», 1976.

АРМАНДО ТЕХАДА ГОМЕС

■

Перевод с испанского и вступление СЕРГЕЯ ГОНЧАРЕНКО

Нелегкой дорогой пришел в поэзию аргентинец Армандо Техада Гомес. Впрочем, трудный путь в литературу часто оказывается самым прямым путем, и судьба Техады лишний раз подтверждает это.

Подобно тысячам своих соотечественников, он не смог в детстве закончить даже начальной школы — нужда заставила его сменить букварь на ящик чистильщика сапог, а в пятнадцать лет, едва умея читать, он уже узнал, что такое каторжный труд батрака-брасеро. Но повседневная забота о хлебе насущном не притупила в нем врожденную тягу к поэтически меткому слову: напротив — ощущение слитности собственной судьбы с судьбой своего народа помогло ему стать одним из выразителей помыслов и чаяний трудового люда. А где еще душа народная воплощается так полно, как в песне? Песня же сопровождала его всюду и в будни, и в праздники. Часами мог Армандо слушать, как поют крестьяне-пеоны, собравшись в кружок после страдного дня,— поют, поверяя гитаре и ночи свою боль и свои надежды.

Песенной стихией насквозь была проникнута и первая книга, которая в детстве попала ему в руки,— знаменитая поэма Хосе Эрнандеса «Мартин Фьерро». С тех пор чтение стало подлинной его страстью, и он посвящал ему каждую свободную минуту. «Вот так, самоучкой, урывками, он постигал премудрости культуры,— пишет в предисловии к последней книге поэта известный писатель-коммунист лауреат Ленинской премии мира Альфредо Варела,— культуры, которая наслаивалась в нем на другую культуру, приобретенную в труде, в долгих скитаниях поденщика... Неудивительно, что скоро ему становится понятен язык солидарности всех угнетенных и Армандо приобщается к политической борьбе рабочего класса, которая надежно сцементировала фундамент его поэтического мира».

Не этот ли выношенный, выстраданный опыт жизни позволил ему уже в двадцать четыре года опубликовать сборник стихов, показавший, что в аргентинскую поэзию пришел автор, уверенно владеющий собственным голосом?

Голос этот креп от книги к книге. «Поэзия Техады.— отмечает А. Варела,— с каждым годом приобретала все более самобытный характер; при этом свежесть образов и четкость мысли сочетались в ней с отточенной афористичностью. Мощное синтезирующее начало его дарования позволило Техаде соединить изящное немногословие народной песни с глубоко личностной интерпретацией действительности — а ведь именно эта черта отличает вообще все лучшее, что есть в современной поэзии...»

Творческий диапазон Техады весьма устойчив и в то же время многообразен: так, в последней его книге мы встретим и проникновенно-лиричную поэму «История нашей разлуки», и балладу о черной стене, на которой чья-то рука каждую ночь выводит светлое слово «свобода», и полную сарказма отповедь любителям «р-революционной» фразы:

Поскольку мир, как выяснилось, круглый,
то даже если левый ты и бравый,
не слишком влево забирай от левых,
а то недолго оказаться справа...

(«Ветер свободы и ветреность мыслей»)

Неподдельный гуманизм отличает его стихи не только когда Техада говорит о судьбе аргентинского труженика или просто о «маленьком» человеке, придавленном обстоятельствами жизни, но и когда он обращается к тем, кто по неумолимой логике

борьбы оказался в лагере его противников: «Послушай меня, тюремщик, Мы братья по заточенью: Я пленник черной решетки, Ты черного страха пленник... Так что же ты не поможешь Мне выбраться из неволи? Там, в поле, ручей клокочет Звучнее всех колоколен...» Однако это человеколюбие отнюдь не означает всепрощенчества. В минуту напряжения голос поэта почти срывается на крик, в нем слышатся гнев и горечь:

А жалкие жертвы страха —
как жертвы самосожженья.
Пожар прирастает к сердцу,
и нет от него спасенья.
Молчащие из боязни!
Объятые страхом черным!
Уж лучше быть арестантом,
чем вольно-порабощенным...

(Песня узника)

Однажды Техада сказал о себе: «Я единственный поэт страны, которого кормит поэзия». Примечательное признание. Не секрет, что в современной Аргентине полная профессионализация поэта — явление весьма редкое, что спрос на поэтическую продукцию невелик. Это, как признают сами литераторы, вызвано в свою очередь пренебрежительным отношением многих художников к массовому читателю, в результате чего этот массовый читатель пренебрегает поэзией. Порочный круг... И вот Техада ставит перед собой двойную задачу: сделать поэзию созвучной интересам масс и научить массы понимать поэзию. Пытаясь восстановить разорванную цепь «автор — читатель», Техада не просто адресует свои стихи широкой аудитории, но и сам постоянно ищет живого контакта с нею. Подобно средневековому хуглару, он странствует по стране, то сворачивая на затерявшееся в пампе крестьянское ранчо, то выступая в университетском городке. И где бы ни читал он стихи, зал всегда переполнен и слушатели подолгу не отпускают его со сцены.

Последняя книга Техады называется «Пророк в своем отечестве». Приветствуя этот сборник, Альфредо Варела написал строки, которыми уместно будет закончить это краткое вступление: «Именно так. Пророк в своем отечестве, плоть от плоти своего народа; певец, к голосу которого все пристальнее прислушиваются у нас в Аргентине и который достоин быть услышанным далеко за ее пределами».

Песенка об одном песо

Едва я из дому вышел,
как вижу: лежит монета —
песо. Кружочек металла.
Только-то и всего.
На разнесчастное песо,
я знал, ни черта не купишь:
ни спичку,
ни лодку,
ни крышу,
ни даже хлеба
кусок.
Но я подумал: находка —
хорошая, знать, примета.
И, щурясь от яркого света,
я зашагал на восход.

Я в каждую дверь стучался,
но не нашел работы,
но не нашел ни спички,
ни лодки,
ни крыши,
ни даже
корки черствого хлеба...
Я ничего не нашел.
А день, утомясь в заботах,
уже свернул свои снасти,
и, вечер взвалив на плечи,
я возвратился домой.
Поденщику в наше время
и песо не заработать.

Песо. Кружочек металла.
Только-то и всего.
Хотя ни черта не купишь
на разнесчастное песо —
ни спичку,
ни лодку,
ни крышу,
ни даже хлеба
кусок,—
но все же, но все же, все же
с первым лучом рассвета
вышли опять в дорогу
мы — безработный люд.

Реквием по натурщице

Натурщица. Нагая.
Еще совсем девчонка.
С лучистыми глазами
невинного ребенка.
И в розницу, и оптом
доступна перекрестку,
наложница с витрины
газетного киоска.
Печально это фото.
Печально сочетанье
застенчивой улыбки
и наготы без тайны.

Печально, что во взгляде —
ни муки, ни отчаянья.
Печально, что не страшно
ей за себя. Печально.
Распятая наживой
и похотью распята,
она еще не знает
сама своей утраты.
Она еще не знает,
что жизнь свою транжирит.

Такая молодая
в таком прожженном мире!

Бедные люди

Бедные,
бедные люди
друг на друга похожи.
Стужа им ежит
сердце
и обжигает
кожу.
Бедные,
бедные люди!
Ливень им лица ранит.
Хлещет ветер наотмашь,
свищет ветер в кармане.

Рядом,
неподалеку,
в солнечном переулке
пел я песню —
с глазами,
ясными, как незабудки.
Рядом,
неподалеку,
я вдруг услышал
всхлипы —
и расколол гитару:
либо,
сказал я,
либо...

Бедные,
бедные люди!
Песни,
как будто всхлипы...

Запрещается запрещать

Весна, галдя вовсю и колобродя,
ломилась в окна с оголтелых улиц;
и кобылицы исходили ржаньем,
и желтым гудом раскалялся улей.

И обжигала дрожь ее колени.
Девичье тело — голубая глина.

И семя изнывало в черноземе,
и борозда ждала соитья с ливнем.

Хуана посмотрела на Хуана.
И солнце запалило древний хворост.

Издалека казалось: дым клубится,
но это вспыхнул порохом их возраст.

Подрывной элемент

Однажды
этот бедняга,
служащий ли, поденщик —
словом, из тех, кто вечно
взнуздан или
пришпорен;
загнанный горемыка,
выпоротый нуждою,
выхлестанный
дождями
и напрокат
живущий —
так же, как прадед
деда,
такого же
бедолаги,—
этот послушный
малый,
двуног
из породы вьючных,
вечный должник —
до гроба
(впрочем, и гроб он
тоже
купит себе в рассрочку),—
этот самый бедняга
в одно прекрасное
утро
встанет и не отыщет
в сердце своем
терпенья
и наконец сорвется:
топнет ногой
и стукнет
по́ столу кулаком.

То-то вы тут
удивитесь:
вроде бы
был тихоня,
а на поверку выходит —
самый матерый смутьян!

Кое-что вертится

И Галилей отрекся.

«Я,— сказал он,—
не говорил того, что говорил».

Но именно с тех пор,
как бы в насмешку,
на белом свете всё,
включая тьму,
пришло в движенье —
не затормозишь.

И дьявольским поветрием,
как ветром,
прах инквизиции
смело с планеты.

Быть может, кто-то,
кроме Галилея,
смог заглянуть
в утробу мирозданья?

■ ■ ■

Когда же...

Когда же!

Кому-то сажал я деревья.
Кому-то я плуг отлаживал.

Когда же!

Невеста ждет не дождется,
и взгляд ее грустный влажен...

Когда же!

Я выстругал доски на совесть
и дом наш продумал дважды.
Но тяжек мой крест батрачий,
но скуден мой хлеб бродяжий!

Когда же...

А я так люблю детишек —
больше любимой даже...

Когда же!

Счастливчик

Жил-был человек-человечек,
простое, доброе сердце.
И всю-то он жизнь трудился
на трех работах и службах.
Однажды его простое
и работящее сердце
сыграло с ним злую шутку,
и он проснулся в раю.

Господь, предобрейший старец,
встретил его сердечно
и молвил: ну, человече,
поведай о том, как жил.

Сперва тот не понял даже,
о чем это бог толкует.
Потом, почесав в затылке,
ответил: помилуй, боже,
какая же это жизнь?

■

ЭДУАРД ПЕТИШКА

Рассказы

Перевод с чешского В. КАМЕНСКОЙ

Прежде чем умру

Перевозчик смотал с кола цепь и зашвырнул на паром. Девушка в открытом летнем платье вздрогнула.

Перевозчик был жилистый, старый. И все время улыбался. В таком возрасте он мог себе это позволить. К тому же в кармане его порыжевшей брезентовой куртки, которая лежала у борта, была припрятана бутылка. Глубокий карман поглотил ее всю, даже пробка не выглядывала. Но перевозчик помнил о ней и знал, что на две трети она еще полна.

Он улыбнулся девушке и, взяв шест, оттолкнул паром.

Марцела отвернулась. Улыбки посторонних мужчин она толковала по-своему, отвечая на них подчеркнутым безразличием. И улыбнулась Ярину. Но тот смотрел на машину.

Он был доволен. «Все-таки добился своего. Перевожу на пароме собственную машину. Почти что собственную. Одну неделю владелец я, другую — Карел. Да, скажу я вам, пока мы сварганили из этой развалюхи стоящую вещь...»

Машина, которую он перевозил, была старая «татра» — «утюжок», хотя на вид совсем как новенькая, вся гордо сверкающая желтым лаком. Теплый желтый — модный цвет этого года. Что можно надраить — надраено, что можно заново обить — обито. В заднем окошке покачивались золотые нити бахромы, ниже на стекле было наклеено изображение Эйфелевой башни с надписью: «Paris». Багажник был обведен полосой в черно-белую шашечку, а над номером красовался зеленый четырехлистник.

— Жаль,— сказал Ярин,— что мы не успели поставить противотуманные фары.

— Ну, знаешь,— сморщила нос Марцела,— вечно тебе чего-то не хватает.

— Что ты морщишь нос? — спросил он раздраженно. Его выводило из себя, когда она морщила нос.

Кроме них на пароме переправлялось еще несколько незнакомых и совершенно неинтересных людей. День был прозрачно-голубой, и над горизонтом уже обозначилось легкое перламутровое марево, но

© Eduard Petiška, 1972.

час, когда у переправы начнется столпотворение, еще не настал. Пока что к берегу подошла лишь группка парней в широкополых шляпах, с рюкзаками на спинах. Они стояли и ждали, когда вернется паром. Три года назад Ярин ходил вот так же — в широкополой шляпе, с рюкзаком и гитарой. Но теперь он уже отслужил в армии, и все изменилось. В авторемонтной мастерской, где он работает, его слово имеет приблизительно такой же вес, как слово шефа. Почти такой же.

Берег, от которого они отплыли, еще входил в черту города, хотя самого города здесь уже не видно. Ограда футбольного стадиона с плоской крышей трибуны, две фабричные трубы, безутешная неприкаянность пространства, отчужденного от природы, но еще не освоенного городом и не ставшего улицами. Кое-где, как бы предвосхищая будущее, торчали дома. Их Ярин не помнил. Наверно, выросли за последние два года.

Берег, к которому они плыли, принадлежал зеленой природе. Траве, зарослям вербы, ольшанику, тополям, березам. Эти места Ярин прекрасно знал еще с мальчишеских лет. Он всегда мечтал, как въедет когда-нибудь на паром в собственной машине и его перевезут на тот берег. Да и позже бродил по этим местам с заплечным мешком и гитарой. Но все переменилось. Порядком переменилось.

Въехав на паром, он не мог усидеть в машине. Что-то заставило его выйти и полюбоваться со стороны, как «татра» плывет на пароме во всей своей красе; еще бы лучше — увидеть и самого себя рядом с ней. Марцела, разумеется, тоже вышла. Ведь она должна делать все, как Ярин.

— Поди сядь,— предложил он.

— Зачем? Садись сам, а я потом.

— Ладно,— снизошел он и влез в «татру». Они приближались к травянистому берегу. Марцела уселась рядом с Ярином. Он внимательно изучал каменистый въезд, к которому паром вот-вот пристанет. Между камнями и травой виднелись две вдавленные колесами борозды, он непроизвольно шевельнул баранку, словно уже въезжал в эти колеи.

— Тебе нравится мое платье? — спросила Марцела.— Ты еще не сказал, нравится оно тебе или нет.

Она пыталась привлечь его внимание, ревновала к этому нетерпеливому желанию ехать, крутить баранку, хотела, чтобы он думал не о машине, а о ней, только о ней. Они дружили уже два года и еще месяц и тринадцать дней. Марцела берегла календари с заметками, это были ее дневники с шестнадцати лет, а в прошлом месяце ей исполнилось двадцать один. Пять календарей уже хранилось в ящике, который запирался на ключ. Порой Марцела перечитывала эти записи, удивляясь своим взглядам и тому, сколько успела пережить. Вот так она воспринимала окружающее вчера, а так позавчера. Взгляды и мысли сменялись в календаре, как облака в небе, и истина для Марцелы всегда была в последних записях. На рождество Ярину исполнилось двадцать четыре. Пора бы ему думать о ней, пора сказать решительное слово...

— Ты наверняка и не заметил, что на мне новое платье.

— Заметил,— возразил Ярин.

— И ничего не скажешь?

— Погоди, неужели не видишь, что я сейчас занят?

Перевозчик цепью подтянул паром к берегу. Ярин медленно тронулся с места. Съехав на бетонную площадку, «татра» подпрыгнула и стала резво взбираться по каменистому склону.

Перед ними открылась равнина с лугами справа и слева. Подни-

мая на сухой дороге легкую пыль, они поехали к пруду, образованному одним из рукавов реки.

— Видишь? — показал Ярин вперед.— Там дачи, вон там павильон Штефана Вальды, а у тех тополей начинается песок.

Марцела надеялась, что Ярин будет думать о ней. Но он думал о себе.

— Вот тут, в этих вербах, мальчишкой я потерял мяч. Наверно, кто-нибудь спер. А там, чуть в сторонке от павильона Вальды, мы спали под открытым небом.

Он говорил, а сам высматривал подходящую стоянку для «татры». Выбрал место в зыбкой тени молодого ольшаника, в нескольких шагах от песчаного языка, протянувшегося сюда от самого пруда.

Выключил мотор. Через открытое окно услыхал доносившийся с пляжа гул голосов, плеск воды, детский смех и непрерывный шелест и хлопанье листьев над головой.

— Здорово тут, а? — сказал он.

Разделись в машине. Марцела снимала платье как можно медленней. Ярин выскочил в плавках, закурил и ждал, нетерпеливо переступая с ноги на ногу.

— Пошевеливайся,— торопил он Марцелу.

— Вот еще,— обиделась она. И величественно вышла из машины в купальнике с оранжевыми и желтыми цветами. Ярин запер машину и направился к песчаной косе. Видно было, с каким наслаждением он зарывает босые ноги в прогретый мелкий песок. Даже наклонился, чтобы лучше видеть, как песок протекает между пальцами. Потом, не вынимая изо рта сигареты, закружился, точно мальчишка, шлепнулся на песок и протянул руку, чтобы схватить Марцелу за ногу. Она еле увернулась.

— Что ж,— сказал он, медленно подымаясь,— нет так нет...

Пруд был большой, почти со всех сторон окаймленный лугами, и только с севера вклинивался в лес. На юге его соединяла с рекой протока, у берегов заросшая камышом.

Ярин отыскал местечко на самом краю песчаного пляжа, там, где пруд вливался в протоку. Пляж кишел людьми, но тут было сносно. На этом конце не было дач, киоски с лимонадом и мороженым тоже разместились на другом конце пляжа. Кроме того, отсюда хорошо просматривалась машина.

Марцела расстелила желтую с оранжевым махровую простынку и села. Ярин опустился прямо на песок. Он курил, и ему было хорошо. Дома лежат французские противотуманные фары, завтра или послезавтра он их приладит. Ему нравилось наводить на машину лоск. Теперь даже трудно себе представить, какой она была до того, как они начали с ней возиться. Когда они с Карелом ее приволокли, стояла еще зима. И вот — бегает!

— Мария выходит замуж,— произнесла Марцела.

— Хм!..

— Мария, моя двоюродная сестра, ты как-то про нее спрашивал.

— Ага,— кивнул Ярин. Он не любил, когда прерывали его размышления. В тот момент он как раз выбирал радиоприемник для машины и все не мог выбрать.

— Ты тогда про нее расспрашивал...

— Хм!..

Он отвлекся от мыслей о радиоприемнике и вернулся на теплый песок, к молодой женщине, занятой мечтами о свадьбе. Разговоры о свадьбах наводили на него тоску. Они повторялись с неизбежным постоянством, и за всеми этими свадьбами родственников и знакомых

стояла одна-единственная, самая важная. Но о ней Ярин думать не хотел.

— Что с тобой? — спросил он.— Разве тут не здорово?

Она перевернулась лицом к голубому небу и не отвечала. Здесь было прекрасно и все-таки что-то не то. Марцела это чувствовала. И обидно было: ждала она совсем другого.

— Можно купить магнитофон. Кассетный. Один парень из нашей мастерской продает. Недорого,— вслух размышлял Ярин.

Она взяла крем и стала натираться — медленно, сонливо. Ярина слушала с неприязнью. Все бы он покупал! Комната у него — настоящий склад. Одних транзисторных приемников три штуки. От самого маленького до самого большого. Никому не разрешает у себя прибирать. Даже матери. Живет в доме у родителей как квартирант.

— Ты умеешь говорить о чем-нибудь другом? — спросила она.

— Пошли выкупаемся.

— Я только что намазалась.

Ярин поднялся и зашагал к воде. Марцела минутку смотрела, как он удаляется, потом побежала за ним.

Вода была именно такая, как надо. Не теплая и не холодная. В самый раз. Они брызгались, хохотали, плавали по протоке, к реке и назад, потом подплыли к другому, более крутому берегу пруда. Ярин плавал как рыба. Марцела не хотела отставать. Он вылез на высокий берег как раз против того места, где лежала их подстилка. Марцела вскарабкалась за ним. Заметила, куда он смотрит.

— Неужто не надоело?

— Что?

— Ты не сводишь глаз со своего драндулета.

— На тебя, что ли, глядеть?

— Конечно, на меня.

Ярин бросился на нее и повалил в траву. Она испугалась — не зазеленить бы купальник, но в общем-то была довольна, что хоть так он проявил свою приязнь к ней, и не защищалась от его рук и губ. Порыв Ярина налетел на нее как вихрь, и вот уже они плывут назад, на свою песчаную косу.

Ярин послал Марцелу в машину за провизией, а сам остался лежать на солнце. Ели булочки с копчеными колбасками, крутые яйца, маринованные огурцы. Пили из термоса чай. Ярину было хорошо, на него снизошло умиротворение. Вчера он только и делал, что спорил да ругался. Из-за футбола, из-за политики, из-за гаечного ключа, который у него кто-то взял... Теперь он был умиротворен. «Чего мне не хватает? — думал он.— Все у меня есть, а чего нет — будет. На спор — будет. И Марцела подходящая девчонка, когда не лезет с разговорами о свадьбе. Чего нам, так-то, не хватает?»

— Чего нам не хватает? — подумал он вслух.

Марцела пила чай из крышки термоса и прикрывала глаза.

— Я только потому говорю,— продолжал Ярин,— что ты меня пилишь: «вечно тебе чего-то не хватает»... Только потому, что пилишь... Ну, признайся — чего нам еще не хватает?

Когда Ярин впадал в такое довольство, он был невыносим.

— Ладно,— ответила она, прикручивая крышку термоса,— будем считать, что нам ничего больше не надо.

Не сказать, чтобы ей и правда ничего больше не было нужно, но ощущение, будто чего-то не хватает, стало уже не таким острым, как утром, когда они сюда приехали. И вообще после еды она не любила спорить.

Потом они переместились под вербы, в легкую кружевную тень, и задремали. Проснувшись, включили транзистор, слушали песенки, и на-

строение совсем улучшилось. Говорили о знакомых, и Марцеле лишь изредка приходило в голову, что надо бы поговорить о другом. Болтали просто так, а транзистор все пел, и грохал в барабан, и трубил.

Вскоре после полудня Ярин сказал:

— Там что-то случилось. Пойду погляжу.

Как раз передавали песенку «О lady Mary», и Марцела осталась лежать. Не хотелось двигаться. Ярин закурил и вразвалочку удалился, потягиваясь и делая легкую разминку.

Пропели еще три песенки, когда он вернулся и сообщил:

— Кто-то утонул.

— Кто?

— Да какой-то парень... Говорят — ему двадцать один год.

Она села:

— Постой, как он мог утонуть?

— Господи,— Ярин опустился на подстилку рядом с Марцелой,— мало ли отчего люди тонут. Почем я знаю? Может, не умел плавать, или судорога, или еще что...

— Почему же его не спасли? — Она не могла понять, как мог кто-то утонуть средь бела дня, да еще в субботу.

— Не спасли,— ответил Ярин.— Ищут. Он вообще не всплывал.

— Здесь столько народу, а он вдруг утонул.

— Ну и что?

— Да то, что утонул именно он.

— Иной раз тебя не поймешь.— Ярин растянулся на песке и закрыл глаза. Он принимал жизнь такой, какой она была, а жизнь включала в себя и разные беды. Легче всего он смирялся с бедами, которые непосредственно его не касались.

Он не заметил, долго ли проспал. Разбудила его Марцела. Взволнованно трясла за плечо.

— Посмотри! Посмотри!

Он приподнялся на локтях и сощурился.

— Не там,— показывала она,— вон...

Мимо песчаной косы, где они лежали, проплывала плоскодонка, в ней стояли трое и длинными шестами шарили по дну.

— Это Штефан,— Ярин движением головы показал на человека, стоявшего на носу. Но Штефан глядел только на шест и на дно.

— Штефан...— Марцела тряхнула головой.— Да они ищут того, утопшего.

Ярин не понимал, чему она так удивляется.

— Да это Штефан,— повторил он.

Лодка зигзагами продвигалась к устью протоки. Подошла довольно близко к берегу, и стало слышно, о чем там говорят.

Штефан советовал:

— Пройдем по протоке хоть до самой реки. Может, его снесло глубинным течением.

Зашумел камыш — наверно, терся о борт, потом они оттолкнулись, вошли в протоку и скрылись за высоким берегом.

Пока Ярин спал, Марцела думала о многих вещах, но как только появилась лодка с людьми и шестами, поняла, что все время думала об одном, а остальное, казалось тоже крутившееся в голове, существовало лишь для прикрытия главного, того, что ее в самом деле неотвязно занимало.

— Дай сигарету,— попросила Марцела.

Ярин протянул ей сигарету и поднес спичку.

— С каких пор ты куришь?

— С этих самых,— ответила она.— Как раз начинаю.

— А дымишь, как печка,— заметил он.

Но разве дело в курении! Просто Марцеле нужно было чем-то себы отвлечь. Наконец и Ярин увидел, что ей не по себе.

— Что с тобой? — спросил он.

Она бы и рада прямо сказать, о чем думает, да ведь с Ярином невозможно говорить прямо.

— Посмотри,— пыталась объяснить Марцела,— ты только посмотри, сколько здесь народу. А утонул один. Именно он, и никто другой.

— Всегда кто-нибудь тонет. Каждое лето тонут.

— А ведь могли бы искать и нас. Тебе это не приходило в голову?

— Нет. Не приходило. И дай сюда сигарету. Зря добро переводишь.

Марцела вернула сигарету. От нее не стало легче.

— Ну согласись,— снова повторила она,— могли бы искать и нас.

— Ты сама додумалась? Так вот, к твоему сведению, я плаваю с шести лет. Понимаешь?

— Все равно,— не уступала Марцела.— Не обязательно утонуть... Есть тысячи способов, чтобы вдруг...— Она боялась договорить.

— Ты это серьезно? — спросил Ярин.

— Ужасно серьезно.

— Ах, даже ужасно серьезно...

— Да. Вдруг мне подумалось, что завтра нас не будет. Понимаешь, подумалось. Может, это последний день, и все, что сегодня сделаешь, все последнее.

— Чепуха. Пойди лучше выкупайся.

— Не хочется.

— Тогда пойдем к Вальде за мороженым.

Против мороженого у Марцелы не было возражений. Обогнули пляж, где, как пчелы, роились отдыхающие, и вышли на плотину, откуда начиналась тропинка к дачам и павильону Штефана Вальды.

— Что с тобой? — спросил Ярин.— Почему ты стала?

Марцела, не двигаясь, смотрела вниз, на пляж, открытый солнцу. Если прищуриться, пляж терял свою раздробленность, группки людей сливались и на берегу пруда рождалось нечто монолитное, поглощавшее отдельных мужчин, и женщин, и детей, и собак, и мячи, и надувные матрасы,— нечто монолитное, подернутое рябью, сверкающее и гудящее. Перед Марцелой лежало гигантское существо и, казалось, дышало. Этому существу, пожалуй, будет совершенно безразлична потеря какого-то волоска, а ведь одна человеческая жизнь в сравнении с этим существом и представлялась Марцеле ничтожным, маленьким волоском, без которого очень легко обойтись. Упадет такой волосок — и ровно ничего не случится.

— Пошли,— звал Ярин. Он не любил, когда Марцела делала серьезное и значительное лицо, словно открыла бог весть какую истину.

Она подошла, и ее серьезная мина совсем не вязалась с веселым желто-оранжевым купальником.

— Начиталась.

— Что ты сказал?

— Начиталась, говорю, вот и лезет всякое в голову.

— Ну, а если и правда все это в последний раз?

— Да кончай ты,— раздраженно прервал Ярин. Такой день — и такие разговоры. Он встал в очередь за мороженым.— Как делишки? — обратился Ярин к жене Штефана.— Две двойных.

Штефану подваливало к шестидесяти, а жена у него была по меньшей мере лет на пятнадцать моложе. Не переставая наполнять мороженым бумажные стаканчики, она издала звук, очевидно выражающий изумление:

— А-а-а! Давненько вы здесь не появлялись. Как поживаете? Жаль, что нет Штефана, уехал на лодке...

— Мы его видели,— сказал Ярин и неожиданно для самого себя спросил: — А кто утонул?— Спросил как бы против своей воли, он и сам бы не мог объяснить, зачем спрашивает о том, до чего ему нет никакого дела.

— Тоник Вагнер.— Женщина наполняла мороженым следующий стаканчик.— Работал на железной дороге и еще вчера за дальним омутом поймал здоровенного сома.

Ярин стоял, в каждой руке по порции мороженого, вокруг него к окошку продвигалась очередь. И не мог понять, зачем спрашивает про какого-то чужого человека, с которым стряслась беда. Не было у него такой привычки.

— Приходите вечерком посидеть,— пригласила жена Штефана.

Ярин кивнул. Поскорей бы отвязаться от этого тягостного чувства. Всегда он делал только то, что хотел сделать, а тут вдруг поймал себя на том, что поступает против собственной воли. А все Марцела! Нечего было принимать эту историю так близко к сердцу...

Он принес Марцеле мороженое и сказал:

— Чтобы, наконец, твоя душенька успокоилась, утопленника звали Тоником Вагнером и работал он на железной дороге.

— Разве в этом дело? Это вообще не имеет никакого значения.— Марцела кончиком языка задумчиво попробовала мороженое.

— Я только, чтобы ты успокоилась,— повторил Ярин.— Вчера он поймал сома.

— Меня не интересует, кто он был, пойми. Просто не стало одного человека. И все.

— Ну и что?

— Ничего. Утром он строил планы, и вдруг его нет. Нет. И — ничего.

— Что ничего?

— Люди загорают, играют в мяч, закапываются в песок. Будто ничего не случилось.

— Господи, а что же им делать?

— Не знаю, но разве не странно... Я или ты — представь, вдруг нас не станет, и — ничего.

— Наш кот и тот бы спятил от твоих разговоров,— проворчал Ярин. Он лизал мороженое и невольно думал о том, что после него останется. Транзисторы, магнитофон с пленками, туристское снаряжение, палатка, мотоцикл, половина желтой «татры». И все. Они это живо продадут. Родители или сестра. И ничего. Эта мысль вызывала отвращение. Если так-то подумать, ведь у него еще не было времени себя проявить. Но почему именно сегодняшняя суббота должна стать последней? Почему сегодня все в последний раз? Почему? Он обернулся к Марцеле.— Ерунда. Почему вдруг именно сегодня все в последний раз?

— Не знаю.— Марцела лизала мороженое.— Разве кто-нибудь скажет тебе почему? Просто я так подумала.— Она снова лизнула мороженое.— Вдруг получается, что у тебя совсем мало времени.

— Времени никогда не хватает.

— Предположим,— Марцела продолжала лизать мороженое. Это его злило.

— Тебе не надоело лизать? — спросил он.

— Ужасно тает.

Ярин отбросил свой стаканчик вместе с остатками мороженого. Больше не хотелось.

— Предположим,— повторила она,— времени никогда не хватает,

но ведь вдруг его может стать еще меньше. Если сегодня все в последний раз...

— Да прекрати наконец! — прикрикнул Ярин.

Но Марцела не унималась:

— И не знаешь, за что ухватиться. Когда представишь, что завтра нас уже не будет, не знаешь, за что хвататься. Или, может, ты знаешь?

— Глупости все,— заключил он, и ему вдруг захотелось курить, но сигареты остались в машине.

К «татре» шли по плотине. Внизу, на пляже, люди словно бы еще размножились. Послеполуденное роение достигло апогея.

— Каждый думает только о себе,— заметила Марцела.

— В порядке вещей,— возразил он.

— Ты так считаешь?

В ту минуту ей хотелось чего-то большего, чем думать о себе, чего-то, что не исчезнет так легко вместе с человеком.

Подошли к «татре». В машине из ящичка Ярин достал новую пачку сигарет. Закурил и, несколько раз пустив дым через нос и рот, успокоился. Даже попытался переменить тему.

— У тебя шикарный купальник.

Марцела ждала этой похвалы все утро, но теперь было слишком поздно. Она достала из сумки газету.

— Кроссворд есть? — спросил Ярин.

Марцела отделила лист с кроссвордом и протянула ему. Вернулись на пляж, но их место было занято. Подстилку сдвинули на траву и преспокойно устроились на их месте. В другое время Ярин поднял бы шум. Но теперь посмотрел на загорелого толстяка и его дородную супругу, только посмотрел и не сказал ни словечка. Взял подстилку, и они прошли вдоль протоки немного подальше. Между вербами попадались приятные уголки, там росла длинноволосая трава, а местами лежал нанесенный с пляжа мелкий песок. Когда они проходили вдоль протоки, навстречу снова попалась плоскодонка. Но люди с шестами уже не так усердствовали, как в тот раз, когда плыли в сторону реки, не так старательно прощупывали дно. Видно, отказались от всякой надежды и лишь изредка погружали шесты. Теперь Штефан стоял на корме, и шест его, почти вынутый из воды, окованным концом скользил по ее поверхности.

— Эй! — крикнул Ярин.

— Эй! — дружески помахал рукой Штефан.

— Узнал,— сказал Ярин Марцеле.— Старый волк, но в форме. Работал тут спасателем, когда я еще был мальчишкой.

Лодка возвращалась к пруду.

Ярин разостлал Марцеле махровую простынку, сам опустился рядом на траву. Между скрещенными ногами положил сигареты, спички и карандаш. Развернул газетный лист и принялся разгадывать кроссворд.

Марцела наблюдала за ним через край газеты, как за чем-то диковинным. Если нынешний день мог стать последним — пожалуй, решать кроссворд не самое подходящее занятие. А что при таких обстоятельствах было бы самым подходящим? Глупо в погожий солнечный день думать о подобных вещах, но Марцела ничего не могла с собой поделать. Вспомнила мать, отца, обоих братьев. Вспомнила семейный альбом, где была фотография тети Марчи, которая умерла молодой, совсем молоденькой. Когда мать говорит о ней, в ее словах нет никакого волнения, даже не всплакнет, а ведь это была ее младшая сестра и они жили когда-то в одной комнате. В эту минуту Марцеле хотелось, чтобы мать в голос оплакивала сестру. Как легко, возмущалась она, живые отрекаются от мертвых! Прежде Марцела этого не замечала.

Только теперь — лицом к лицу с бесчувственным пляжем, с толпами людей, над головами которых без устали летали мячи и обрывки слов и фраз, повседневных серепьких слов и пустых фраз.

Ярин почувствовал, что она за ним наблюдает, и поднял глаза от кроссворда. Марцела быстро опустила голову, стала читать первый попавшийся абзац. Читала буквы, не понимая смысла слов. Вернее, сегодня все имело один-единственный смысл — возвращать ее к той же не дающей покоя мысли.

День медленно клонился к вечеру. Тетя Марча в белой юбке. В руке теннисная ракетка. Память об одной жизни. И больше ничего. Для трех-четырех человек тетя Марча. Она изучала медицину и не доучилась. Оборвалась учеба и жизнь. А какой в этом смысл?

— Послушай,— отвлекла она Ярина от кроссворда. Но, взглянув на его лицо, сразу поняла, что здесь ей ответа не найти.

— Да оставь,— на всякий случай буркнул Ярин.— Хватит уж.

После нескольких попыток Марцеле удалось сосредоточиться на чтении. «Читаю о летних модах, читаю о зоологическом саде, читаю кулинарные рецепты, читаю рассказ»,— говорила она себе. И это занятие для человека, которого, возможно, завтра уже не будет? Подумал ли сегодня здесь, около пруда, кто-нибудь о том же самом?

В шесть часов Ярин поднялся и объявил:

— Отправляемся к Штефану.

По дороге остановились у машины, и Ярин впервые испробовал свою систему откидных спинок. Он изобрел весьма сложное устройство, чтобы в «татре» можно было спать, и решил оборудовать ночлег засветло.

— Если это делать ночью, в машину налетит комарье,— объяснил он, составляя необычное ложе и застилая его одеялами.

Марцела переоделась в длинные оранжевые брюки и желтую блузу.

— Других цветов ты не знаешь,— встретил ее Ярин, когда она выбралась из кустарника.

— Зато ты знаешь только другие,— сказала она, как сказала бы прежде — до того, что случилось сегодня. Сказала, будто сегодня ничто не могло быть в последний раз.

Он засмеялся. Эти слова успокоили его. Все опять входило в свою колею.

Дорогой он прочел ей лекцию о прицепах. Как только удастся скопить денег, он купит прицеп.

— Я знаю парня, который продаст совсем дешево. И устроиться можно не хуже, чем в фургоне.

— Ты будешь бессмертен,— объявила Марцела.— Купишь себе кучу разных вещей, а вечность получишь в придачу.

— Остановись-ка.— Он схватил ее за локоть и внимательно осмотрел.— Может быть, тебе плохо?

— От твоих разговоров.

— Нет, правда, может, тебе плохо?

Марцела вырвалась из его рук.

— Ну и ну,— покрутил головой Ярин и пошел за ней,— ну и ну.

Неподалеку от павильона Штефана он опять схватил Марцелу за локоть и спросил:

— Чего ты, собственно, хочешь? Скажи, чего ты хочешь?

Марцела не ответила. Она и сама не знала. Но Ярин воспринял это молчание как бунт и в душе объявил ей войну.

Оконце, где продавались мороженое и лимонад, в этот час уже никого не привлекало. Оживленно было на прилепившейся к дощатому павильону веранде. Деревянные колонны и перила веранды — как в

фильмах о Диком Западе. За четырьмя длинными столами сидели мужчины в плавках или обтрепанных полотняных брюках, пили пиво и покуривали.

Ярин с важным видом прошествовал через веранду, удовлетворенно отмечая, что все оглядываются на Марцелу. Он знал: Марцела не любит, когда на нее смотрят мужчины, которые ей неинтересны. И потому нарочно шел очень медленно и жалел, что веранда так скоро кончилась. Первое помещение внутри павильона служило кухней.

— Приветствую вас, пан Ярослав! — закричал старый Штефан. Он сидел за столом, пил кофе, но тут же поставил кружку и подошел к ним.

Ярин познакомил его с Марцелой так небрежно, как знакомят старых друзей со своими родственниками.

Жена Штефана оторвалась от газовой плиты и тоже подала руку. Она готовила ужин, и в кухне стоял запах лука.

— Что будем пить, что будем пить? — выкрикивал Штефан. И, не дожидаясь ответа, снял с полки большую бутыль хлебной водки.

Выпили, Штефан налил по второй. Он забыл про свой стынущий кофе и, подняв рюмку, провозгласил:

— Выпьем же за капитана и матросов. А за рулевого не будем.

Ярин захохотал. Марцела ничего не понимала, разговор мужчин почти целиком состоял из намеков на неизвестные ей обстоятельства. Она ни о чем не спрашивала. А Ярину, разумеется, и в голову не приходило что-нибудь объяснять. Он никогда ничего не объяснял.

Они сидели у кухонного стола, говорили о прежних временах и о нынешнем случае. Но на Марцелу разговоры об утопленнике уже не действовали. Она чувствовала себя гораздо лучше, чем днем. Этот Штефан был действительно похож на старого морского волка. Каждую минуту он галантно обращался к Марцеле. И только когда он начал объяснять, что надо было сделать этому парнишке, чтобы выплыть, раз уж его утянуло под воду, Марцеле стало не по себе. «Мертвым незачем давать советы»,— подумала она и устыдилась за живых, которые всегда умнее тех, кого уже нет, только потому, что они-то есть и за ними последнее слово.

Жена Штефана все реже выходила на веранду с бутылками пива, шум голосов там слабел. Дачники отправлялись в поселок ужинать. В открытое окно залетал душистый вечерний ветер, шелестел листьями ольшаника. Сквозь просветы меж листьями сверкал пляж — весь в косых лучах солнца. Пока они тут пили и разговаривали, пляж постепенно обезлюдел.

— Если бы пустили по воде каравай со свечкой, Вагнер наверняка бы нашелся,— стоя у плиты, заметила жена Штефана.

— Держи карман шире,— посмеялся над ней Штефан.— Он уже давно где-нибудь в реке. Уж если кого подхватит глубинным течением, сразу утянет в реку.

Ярин с Марцелой остались у Штефана ужинать. Они еще не ушли, когда дачники снова стали собираться на веранде — перекинуться после ужина в картишки. Пили пиво и хлебную водку. На веранде и на кухне Марцеле было почти совсем хорошо. «Зачем только мучаю себя, все равно ни от чего не убережешься».

Прощаясь со Штефаном и его женой, Марцела улыбалась. Улыбнулась на веранде и перевозчику, который заскочил сюда выпить кружечку пива и рассматривал Марцелу большими круглыми глазами. Она могла бы улыбаться всему свету.

Ярин тоже забыл, что всего несколько часов назад в душе объявил ей войну. Они возвращались к машине, держась за руки.

Потом Марцела лежала на сооруженной Ярином спальной кон-

струкции, глядела в темный потолок «татры» и вдруг на мгновение увидела какой-то призрак, нечто плывущее у самого дна реки, все дальше и дальше... Она закрыла глаза, во тьме слышался только шорох — это Ярин занавешивал окна, она ощутила его дыхание и его пальцы на своем теле, словно бы на ощупь изучающие незнакомую и небезопасную территорию.

«Экая глупость,— сказала она себе.— Вдруг ни с того ни с сего умереть».

Часы

Старуха сидела на ящике. Ходила она уже плохо, но глаза у нее были быстрые, полные любопытства. Завидела в окно трактор с прицепом и подняла крик:

— Они уже едут! Едут!

Ее высокий голос пронзил дом, налетел на пустые стены, ударился о свежевымытый пол и через раскрытую дверь проник в сад. Он разорвал нежилую умиротворяющую тишину дома.

Во втором этаже капало из батареи парового отопления. Мария подставляла под вентиль миску, когда старуха начала кричать.

«Господи,— подумала она,— зачем так вопить?»

Если старуха поднимала крик, голос у нее всегда срывался на визг. Мария медленно передвинула миску и подождала, пока от вентиля оторвется следующая капля. Потом вышла из комнаты и не спеша, нога за ногу, стала спускаться по лестнице. Старуха внизу не унималась:

— Они уже едут! У-у-же еду-ут!

«До чего настырная»,— подумала Мария и пошла еще медленней, радуясь, что старуха там лопается от злости, оттого что ей не отвечают и не бегут встречать трактор.

Наконец-то дом был достроен. Крыша, подвал, вода и свет, даже центральное отопление. Две комнаты в первом этаже и три — во втором. Все как положено. Встроенный гараж, правда еще без ворот. Но машины все равно не было.

Только снаружи дом пока не оштукатурен. Когда начали рыть котлован под фундамент, Марии было двадцать шесть лет, а Йозефу тридцать восемь. С тех пор прошло четыре года. Дом был достроен и стоял пустой. И вот трактор тащит в прицепе кое-какую мебель из прежней квартирки, чемоданы и корзины...

Заказали прицеп, потому что это дешевле. Трактором управлял заводской приятель Йозефа.

Старуха не отходила от окна и наконец перестала кричать. Перед домом появилась Мария. Старуха следила, как она отворяет ворота, как нагибается, чтобы вытащить крюк из бетонированного порога. Ее движения казались старухе нарочито замедленными, фигура — противно тощей, а платье слишком нарядным для дома. Старуха постаралась углядеть в ее поведении строптивость и бунт. Большого труда тут не требовалось. Это ее успокоило и придало сил. Теперь можно было переключить внимание на сына. Тот соскочил с прицепа и о чем-то договаривался с трактористом. Голосов старуха не слышала, окно было закрыто. Йозеф стоял возле трактора, одной рукой опираясь о него, другую держа в кармане. В его позе была самоуверенность, и это озадачивало старуху. С той поры как закончили стройку, в нем произошла перемена, хоть он и пытался скрыть это от матери.

— Все равно у тебя растет брюшко и будешь ты пузатый, как твой

папаша,— произнесла старуха, но никто ее не слышал. Сын с женой вносили в дом стол.

— Почему не несете часы? — закричала она. Но ответа не дождалась и повторяла вопрос до тех пор, пока в дверях не показался сын и не сказал:

— Часы лежат сзади.

Дом проглатывал вещи, точно море гальку. Дом был слишком велик, а мебели совсем мало. Если не считать мебели старухи, поставившей условие, что она будет жить в двух комнатах первого этажа.

Трактор с пустым прицепом уехал; Йозеф, еще не успевший свинтить супружескую кровать, должен был повесить матери часы. Большие часы с маятником в застекленном деревянном футляре.

— Уж и не знаю,— встретила его старуха,— будут ли они здесь ходить так же хорошо, как ходили всю мою жизнь.

Мать уселась в свое старое кресло, а Йозефу пришлось воспользоваться ящиком, на котором она сидела до сих пор.

— Осторожно,— предупредила старуха,— он качается.

Сын взял крюк, молоток и влез на ящик. Ящик чуть качнулся. Он поднял руку с крюком.

— Не тут,— сказала старуха.— Слишком низко. Выше.

Йозеф уперся животом в стену и передвинул крюк выше.

— Левее,— говорила старуха.— Теперь правее. Чуть-чуть.

— Если крюк не будет держаться,— заметил сын,— придется вбить пробку. Тогда я сделаю это завтра.

— Завтра,— повторила старуха.— Конечно, конечно. Как же. Завтра.

Он взмахнул молотком. Ящик закачался.

— Осторожнее,— сказала старуха.

Размахнулся еще раз и ударил. Крюк начал входить в стену. Йозеф бил по крюку с молчаливым упорством. Ящик под ним скрипел и слегка раскачивался из стороны в сторону. При последних ударах ящик медленно развалился под ногами, гвозди по краям вылезли — это был распад, который никого не пытался поразить внезапностью и коварством, а задолго предупреждал о себе треском и другими признаками разрушения. Лишь в самый последний момент катастрофа обрела стремительность.

Из-за того, что ящик разламывался так постепенно, старуха вскрикнула, когда было уже поздно.

Разламывался ящик медленно, но завершающий толчок отозвался резкой болью в спине и в затылке Йозефа. Он стоял с молотком в руке, прислонившись лбом к стене, и тяжело дышал.

— Что такое? — спросила старуха.— Ушибся?

Боль постепенно стихала. Йозеф отрицательно мотнул головой. От резкой боли сразу перехватило дыхание. Он замер. Когда, в конце концов, удалось вздохнуть, сошел с дощечек — останков ящика — и, все еще держа в руке молоток, направился к двери. Повернуть голову он не решался.

— Что такое? — спросила мать.— Ты так и оставишь часы на полу?

Он не ответил и прикрыл за собой дверь, подсознательно оберегая себя от крика. Поднимался по лестнице, ноги у него двигались, но верхнюю половину тела он нес точно неподвижное, мертвое бремя, боясь снова задохнуться от боли.

На кухне Мария доставала из корзины посуду и, когда он упал на единственный стул — больше в маленькой кухне не помещалось,— сказала, не поднимая глаз от тарелок и кастрюль:

— Слава богу, главное, часы висят.

Йозеф все еще держал в руках молоток и думал, как бы от него избавиться. Осмотрелся, поворачиваясь всем корпусом. На кухонном столе оставался клочок свободного места. Приподнял молоток, чтобы положить туда, но от внезапной судороги пальцы сами собой разжались. Молоток с грохотом упал на пол.

Мария вздрогнула и резко обернулась.

— Плитка раскололась,— сказал он в беспомощной горькой ярости. В этих словах было что-то значительно большее, чем сожаление об убытке.

Мария поставила тарелку и опустилась на колени. По полу в шахматном порядке разбегались синие и белые керамические плитки. Молоток откололся угол синей плитки, оставив тонкую как волосок трещину. В месте удара плитка утратила яркую синеву, посерела. Мария кончиками пальцев дотрагивалась до разбитой плитки, словно ласковыми прикосновениями пыталась залечить шрам. Глаза ее наполнились слезами. Это было уже слишком.

За Йозефа Мария вышла десять лет назад, после года знакомства, и тогда ей казалось, будто, кроме родителей, она никого так хорошо, как Йозефа, не знает. Но все, что она узнала о нем во время свиданий, на танцах и прогулках, после свадьбы отошло на второй план, а то, о чем не имела представления, ритм его жизни, привычки и какая-то особая пустота, возникающая от бесконечного повторения одних и тех же впечатлений,— взяло верх над всем остальным. Жили они в старом доходном доме, в тесной двухкомнатной квартирке, мать Йозефа занимала комнату в том же этаже, вода и клозет были на общей галерее. По пятницам втроем ходили в кино, по воскресеньям они с Йозефом шли на футбол, по средам иногда на танцы, но все это было не то, что прежде. Прежде они ходили в кино вдвоем, и тьма укрывала ищущие друг друга ладони, создавая ощущение интимности, в которой они оба нуждались. Воскресный футбол и тогда не интересовал Марию, но ей нравилось, как Йозеф увлеченно, со знанием дела говорит об игре, она гордилась, что ее Йозеф во всем разбирается и бескомпромиссно неуступчив в своих суждениях. Танцы до свадьбы были волнующим обрядом.

Ядро исчезло, осталась одна скорлупа. Поэтому Марии так понравилась идея Йозефа строить дом. Не хотелось прожить всю жизнь в двух темных комнатах с удобствами на галерее. Но для этого необходимо было объединиться с матерью, чтобы та вложила свои сбережения в кирпич.

— А без нее никак нельзя? — спросила Мария, как только Йозеф завел об этом речь. С самого начала эта могучая старуха внушала ей страх. Десять лет назад она была еще дородней, чем сейчас, ее присутствие стесняло Марию, точно старуха при ней увеличивалась в объеме. Старая женщина постоянно предъявляла права на то пространство, в которое вошла невестка. Мария была незваной гостьей, старуха ревновала к ней, как ревнуют дети, которым достался меньший кусок торта. Мария мечтала избавиться от галереи, от темных комнат и одновременно от матери Йозефа. Они будут жить на другом конце города и в кино будут ходить вдвоем, без свекрови. А когда в зале погасят свет и она возьмет Йозефа за руку, старуха не будет нагибаться, стараясь разглядеть в темноте их сплетенные пальцы.

— Без нее? — удивленно переспросил Йозеф.— А ты знаешь, сколько нам и так-то придется одолжить? Без нее не вытянуть. И думать нечего!

Пришлось смириться с мыслью, что старуха перейдет и в их будущее. В конце концов, она будет жить внизу, ноги у нее больные, так что на второй этаж часто ходить не сможет. Мария забыла, что голос

старухи долетит до самого отдаленного уголка дома, а взгляд проникнет через стены. За эти годы Мария не раз пыталась открыть Йозефу глаза. Говорила, к примеру:

— Думаешь, мать тебя любит?

— Не начинай,— защищался Йозеф.

— Знаешь, что ты для нее? Вещь. Ты ей принадлежишь, как шкаф или стенные часы. И она не может смириться, что я до тебя дотрагиваюсь. Не поцарапала бы на тебе лак, не выдавила бы стекло.

— Оставь,— раздраженно и вяло отмахивался он.

Мария обращалась к прошлому, чтобы на примере всей его семьи доказать, что не ошибается. Приводила факты, о которых узнала когда-то от самого Йозефа, подчеркивала, какое преклонение перед собственностью царило у них испокон веков, рисовала ему поколения лавочников, которых сама и в глаза не видела. И все эти предки воплотились теперь в его матери, злобно предъявляя свои права на вещи и на самого Йозефа. И невестку старуха рада была причислить к своим вещам.

— Это отвратительно,— говорила Мария, заканчивая перечень предков.

— Ладно, ладно,— обычно оттоваривался он.— Только, видишь ли, мать есть мать.

Устав от уговоров, Мария прекращала атаки.

Иногда она обнимала Йозефа, прятала лицо на его плече и сетовала, скорее в надежде уломать его, чем от глубины чувств:

— Если она прикажет бросить меня, ты ведь бросишь.

— Нет,— решительно возражал Йозеф в такие минуты,— не брошу. Тогда я скажу ей, что обо всем этом думаю.

Однажды Мария получила возможность услышать, что Йозеф об этом думает. Как-то она шла мимо двери старухи за водой, и вдруг до нее донеслись голоса. На цыпочках подошла ближе.

— ...Вся она тут,— говорила мать.— Не возражай, у меня есть глаза и уши. Лакомка, мотовка, ни в чем не умеет себе отказать. Это у них в роду. Я ведь тебя предупреждала, меня ты ни в чем не можешь упрекнуть. Говорила: не бери жену из рабочего квартала. Нам она не подойдет. Говорила! Сделай из такой девчонки даму, она протранжирит последний геллер.

— Перестань,— послышался голос Йозефа.— Изображаешь нас бог весть какими господами, а поглядеть — так живем в трех темных конурах.

— Дама и в конуре остается дамой. Это, голубчик, с первого взгляда определишь.

— Ладно,— проворчал Йозеф.— Во всяком случае, она экономна.

— Ну, извини, извини,— развеселилась мать,— я и забыла, ведь ты ей муж. Извини. А теперь слушай, что я скажу.— Голос ее сделался жестким.— Залепила она твои глаза новой блузочкой, околдовала телом, поставила между тобой и мной постель...

Дальше Мария не стала слушать. Прошла на галерею, набрала в чайник воды, и рука у нее дрожала так, что чайник позвякивал о железную раковину.

Когда Йозеф вернулся, вода для чая уже кипела. Он пришел белый, с красными пятнами на скулах и принялся молча ходить из угла в угол.

— Отвел душеньку с матушкой? — спросила Мария.

— Ох, эта баба,— взорвался он и ударил кулаком по столу.— Все вы хороши! — добавил тут же, словно опасаясь, как бы Мария не сочла, что победа на ее стороне.

В ту пору шел третий год, как строился их дом. И хотя виной за-

держки обычно бывали причины, от них не зависящие, один начинал подозревать другого в тормозящих стройку ошибках и просчетах.

Ядро переросло скорлупу. Скорлупа дала трещины и развалилась. Осталось голое ядро. Дом, дом. Разговоры за обедом и за ужином вертелись вокруг медленно растущих стен, мечты зарывались в песок и цемент, который слеживался и каменел в бумажных мешках. Ложились спать с болью в коленях, голова была переполнена цифрами, заботами о деньгах, ссудах, рабочих. Давно уже не ходили ни в кино, ни на футбол, а танцевали только вокруг бетономешалки. Стройка и объединяла их, и натравливала друг на друга. Первые два года мечта о белом домике в зеленом саду придавала им силы, на третий год она постепенно стала действовать на нервы, как хозяин, на которого слишком долго гнешь спину. Но против стройки никто не бунтовал, бунтовали один против другого.

Четвертый год стройки был невыносим. Мечта уже так близка к исполнению, а они потеряли надежду, что когда-нибудь доведут стройку до конца. Оставалась еще масса недоделок, работы затягивались до бесконечности.

Старуха целыми днями неподвижно сидела на куче досок, вытянув больные ноги, и следила за движениями других. Она молчала, но Марии казалось, что она все время кричит: «Пошевеливайтесь, люди, а то я не доживу». Но Мария знала: беспокоиться нечего, старуха будет жить вечно.

И вот в один прекрасный день дом был достроен, но они даже не сумели насладиться этим мгновением. Слишком долго радовались мечте, поэтому действительность обрадовать уже не могла. После бесконечных проволочек завершение стройки показалось неожиданным. Обессиленные, они приняли этот факт совсем иначе, чем представляли себе.

«Вот достроим...» — утешали они себя в заполненные работой воскресные дни, просеивая песок и подавая кирпичи. Они принадлежали стройке, их пальцы, глаза, тела, их будущее — все принадлежало стройке.

Потом произошла эта история с ребенком.

— Теперь? — испугался Йозеф.— Теперь? Когда у нас еще недостроено?

Дому — Мария и сама понимала — требовалась рабочая сила. Аборт не прошел гладко, почти месяц она полеживала. Йозеф ходил вокруг нее, сдвинув брови, горько опустив уголки рта.

— Ты что думаешь? — со злостью спросила она.— Между прочим, в этом есть и твоя вина.

Когда он ушел на строительную площадку, где на груде досок восседала мать, Мария расплакалась. Она оплакивала неродившегося ребенка и неродившийся дом. Ребенок не родился, но дом родился.

После аборта Мария чувствовала постоянное недомогание.

— Пожалуй, мы все-таки могли позволить себе ребенка,— как-то сказала она Йозефу.

— Ты понимаешь, что бы это означало? — возразил он.— Стройка задержалась бы не меньше чем на год.

Он унаследовал от матери часть ее упорства, ее жадности к жизни и уверенности в своей правоте.

А теперь был дом, на втором этаже была кухня, в кухне — пол, выложенный плитками, а на плитках лежал молоток. Мария стояла на коленях над разбитой плиткой. Никогда еще жертвы последних четырех лет не казались ей такими напрасными.

Забывшись, Йозеф хотел наклониться, но боль, точно пружина,

вернула его в прежнее положение. Разозленный болью и слезами жены, он зашипел:

— С ума сошла?

Не поднимаясь с колен, она раскачивалась взад-вперед, раскачивалась в приливе внезапно нахлынувшего отчаяния, и с губ ее срывались короткие жалобные звуки.

— С ума сошла? — повторил Йозеф. Если бы не боль, он бы прикрикнул, поднял ее с пола, встряхнул как следует и поставил на ноги. Но теперь только повторял: — Ты с ума сошла? С ума сошла? Из-за одной-то плитки?

Мария не могла объяснить: это отчаяние вовсе не из-за плитки, а из-за того, о чем напомнила ей разбитая плитка. Как сказать ему, что через эту трещину в плитке вытекали вся горечь и все самоотречение последних лет, тщетность всех попыток придать стройкой хоть какой-то смысл их жизни. Разве объяснишь, что в этих стенах замурованы их воскресенья и спокойные вечера, что в них погребен и тот день, когда мог родиться ребенок. Жалость навалилась на плечи Марии, она металась под ее бременем, громко причитая:

— Мне жалко... жалко...

— Чего тебе жалко?

— Жалко мне...

— Плитки?

Ей вдруг захотелось схватить молоток и крушить все подряд. Плитки, тарелки, стены, стекло в окне. Если б она могла все это разбить, ей бы наверняка стало легче, свободней на душе. Овладев собой, Мария поднялась на ноги.

— Вот видишь,— сказал Йозеф,— из-за такой-то ерунды...

— Молчи, прошу тебя, только молчи.— И Мария принялась распаковывать посуду, внешне спокойная, только щеки у нее горели от слез и расстройства.

Йозеф привстал со стула и застонал.

— Йозеф! — отчетливо донеслось снизу. Видно, мать подошла к самой лестнице.— Йозеф!

Мария взглянула на мужа. Тот сделал рукой отрицательный жест.

— Скажи, не могу. Мне нехорошо.

Никогда он не посылал Марию с какими-либо поручениями к матери. Она удивилась, не понимая, что бы это значило. Спустилась на площадку между этажами. Старуха стояла под лестницей.

— Я тебя не звала,— неласково встретила она невестку,— пускай выйдет Йозеф.

— Йозеф послал меня,— сказала Мария.— Он не может прийти. Ему плохо.

Старуха смерила ее испытующим взглядом:

— Не идет, потому что ты ему наплела бог весть что.

Мария с достоинством повернулась к старухе спиной и подчеркнуто легко взбежала к себе, на второй этаж.

— Лгунья! — закричала ей вдогонку старуха.

На кухню Мария вернулась уже в значительно лучшем настроении. Йозефа на кухне не было. Она отворила дверь в комнату. Здесь у одной стены стоял буфет, у другой — кресло, у третьей — диван. В большой комнате мебель терялась. Без занавесок, ковра и картин было пустовато. Йозеф лежал на диване, и его бледный лоб покрывали капельки пота. Завидев Марию, он пробормотал:

— Мне очень плохо.

— Что-нибудь болит?

— Все. Когда я был внизу, понимаешь,— он говорил медленно, через силу,— подо мной развалился ящик.

— Надо же сообразить!— сказала Мария.— Становиться на ящик, на котором сидела она.

— Она тут ни при чем.

— Ну, конечно. Удивляюсь, как этот ящик не развалился под ней.

— Может, сделаешь мне примочку?

Мария намочила в кухне тряпку, но непонятно было, куда ее класть. В конце концов она положила тряпку на голову.

— Йозеф,— послышалось совсем близко.

— Притащилась на кухню,— отметила Мария.

Дверь в комнату задергалась, отворяясь,— старуха вошла, еле переставляя больные ноги. Минуя взглядом Марию, она долго, пристально рассматривала лежащего Йозефа. Наконец раскрыла рот. И произнесла фразу, которая вертелась на ее языке с той минуты, как ушел сын:

— А что будет с часами?

— Мне плохо,— вздохнул Йозеф.

— Ни с того ни с сего? — усомнилась старуха.

— Да, ни с того ни с сего.

— Ах, боже-боже-боже...— запричитала старуха.— Как я теперь узнаю время? Ведь надо же мне знать, который час.

— Придется обождать,— сказал сын.

— Обождать? Но ведь надо мне знать, который час. Если не можешь сам, скажи ей, пускай она повесит.

Йозеф посмотрел на Марию. В ее покрасневшем лице он прочел решимость не сдаваться.

— Скажешь или нет? — настаивала старуха.

— Мне плохо,— снова вздохнул Йозеф.

— В игрушки со мной играете!— воскликнула старуха.— Сбережения мои выманили, а теперь в игрушки играете? Мне нужно знать, который час.

— Может, сделаешь? — тихо спросил Йозеф. Мария не узнавала мужа. Это был не он. Ее взволновало такое явное отпадение Йозефа от материнского клана. Это пробуждало сочувствие, а сочувствие воскрешало умершую любовь.

— Не могу,— ответила она.— Еще не окрепла. Ходики тяжеленные, не стану я надрываться.

— Я уже из-за них надорвался,— сердито заметил Йозеф.

— Сговорились! — крикнула старуха.

— Идите кричать вниз,— посоветовала ей Мария.

— Что? — взвизгнула старуха.— Меня выгоняют из собственной квартиры?

— Ваша квартира внизу,— сказала Мария, подталкивая старуху к двери.

— Помогите! — завопила старуха.— Бьют! Йозеф!

Йозеф лежал с закрытыми глазами.

Марии удалось выставить старуху на лестничную площадку. Та все не умолкала. Мария выпроводила ее и с лестницы.

— Грабители! — орала свекровь.— Проклятые!

Она села на нижнюю ступеньку, и оттуда ее уже было не сдвинуть. Старуха была могучая, тяжелая, и Мария оставила ее там.

— Ах ты муха! — насмехалась она.— Муха. Не делала бы абортов, была бы такая же крепкая, как я.

Словно не было того памятного для Марии вечера, когда решался вопрос о ребенке. Старуха тогда твердила: «Сперва дом, потом ребенок, всему свое время».

— Если еще раз,— сказала Мария,— если еще хоть раз вы подни метесь ко мне наверх, я не поведу вас вниз, а спущу с лестницы.

— Муха,— повторила свекровь.

В комнате наверху было тихо. Йозеф лежал, не открывая глаз.

— Спишь? — прошептала Мария.

— Нет. Мне плохо.

— Позвать доктора?

— Нет, нет. Наверно, пройдет.

Мария вышла на кухню и снова принялась распаковывать посуду. Все убрала, подтерла пол, присела — в комнате стояла тишина.

«Время. Старуха хочет знать, который час,— подумала она.—У нее время долгое, у нас короткое. Теперь ребенку был бы уже годик».

Осторожно нажала на ручку. Йозеф лежал, но глаза его были открыты.

— Не спишь?

— Думаю.

— О чем?

— Понимаешь, мне пришло в голову: если я умру, ты тут останешься совсем одна.

— Глупости. С какой стати умирать?

— Я умру, а ты останешься совсем одна.

— Ну, не сказать, чтобы совсем.

— Знаю. Это хуже, чем быть одной.

Его откровенность тронула Марию. Она не узнавала мужа. Он стал другим. Невероятно переменился. Мария склонилась и поцеловала его в щеку. Щека была горячая.

— Не беспокойся,— сказала она.— Ничего серьезного быть не может. Ведь под тобой всего лишь ящик развалился.

— Пожалуй, все-таки вызови доктора,— вдруг попросил Йозеф.

Мария посмотрела ему в глаза. Они были большие, круглые, испуганные.

— Как хочешь.

Она заторопилась и, шагая по дорожке, оглянулась на дом. Дом стоял гордо, выставляя напоказ свои внушительные размеры, свой второй этаж и веселую зелень крыши. Внизу за оконным стеклом белело лицо старухи.

Затем события развернулись необычайно быстро. Врач велел перевезти Йозефа в больницу.

Пока ожидали «скорую помощь», Мария стояла возле дивана, на котором лежал Йозеф, размышляя, чем бы его напутствовать. Хотелось сказать что-нибудь ободряющее.

— Вот видишь,— повторял Йозеф,— вот видишь.

— Пустяки,— утешала она.— Вылечат. Иначе и быть не может.

В ее сознании не умещалось, что человек ни с того ни с сего вдруг должен умереть от такой ничтожной, нелепой случайности. Смущал только страх Йозефа. Она не помнила, чтобы Йозеф когда-нибудь боялся.

— Останешься тут одна,— сказал он.

— Сам ведь знаешь, что нет.

— Она тоже когда-нибудь умрет.

— Что значит «тоже»? Ты не умрешь. Выбрось это из головы.

— Если тебе так угодно, выброшу... Чтобы тебя не беспокоить.

От его покорности на глаза Марии навертывались слезы. Она даже язык прикусила. Никогда прежде Йозеф покорностью не отличался.

— Знаешь,— продолжал он, когда машина «скорой помощи» уже стояла под окном,— я все думаю про эти годы. Видно, часы у нас с тобой были не в порядке. Нужно было поточней знать время.

— Выкинь это из головы.— Мария заставила себя улыбнуться.

Она не спала ночь. Думала о муже, который лежит в больнице. Далекий, он стал ей ближе. Из окна второго этажа можно было разглядеть больничные огни — маленькое облачко Млечного Пути. Правда, это было еще вечером. А теперь ночь, огни погасли. Ветер нагнал дождь, и он принялся стучать по крыше, вызванивать по жести труб. Минутами Марии казалось, будто дом под ветром кренится, как корабль на волнах. А это просто ее на миг сморил сон, короткий и беспокойный, как дождь, ветер и ночь за окном.

Без конца возвращалась она к перемене, которую заметила в Йозефе. И хотя одержанная победа не могла ее не радовать, ей словно бы слышался далекий зов смерти.

Мария уснула. Проснулась от знакомого крика: «Йозеф!»

Про старуху она забыла. А старуха там. Внизу. Во тьме. И наверняка задыхается от злости, что не слышит тиканья своих часов.

Мария встала, накинула халат и пошла вниз. Вот когда она все ей выскажет. Все проглоченные прежде слова просились на язык. Она больше не могла сдерживаться — побежала, перепрыгивая через ступеньку, поскользнулась и чуть не свалилась вниз, во тьму.

В первом этаже было тихо. Мария вошла в комнату. Тихо и темно. Зажгла свет. Старуха открыла глаза и спросонья пробормотала:

— Что случилось?

— Вы звали.

— Я? От вас, от сумасшедших, и ночью нет покоя.

— Вы звали. Сына вашего увезли в больницу, а вам все неймется, кричите, зовете. Так без конца и будете звать.— Голос у Марии сорвался, полез куда-то вверх и перешел на визг. «Господи, кажется, я тоже визжу»,— мелькнуло в голове, но понизить голос она не могла.

— Дура,— презрительно произнесла старуха.

«Останешься тут одна,— слышала Мария голос Йозефа.— Одна. Видно, часы у нас с тобой были не в порядке...» — Голос звучал совсем рядом.

— Погаси свет,— приказала старуха.— Погаси и убирайся!

Мария сделала шаг к двери. И только тогда заметила кучу досок, из которой кое-где торчали гвозди. Часы в застекленном футляре еще стояли у стенки так, как их поставил Йозеф.

Мария рванулась к часам и носком домашней туфли разбила стекло. Часы свалились набок. Мария вскочила на них и обеими ногами стала топтать футляр, не обращая внимания на то, что стекло разрезает кожу. Она с наслаждением слышала треск дерева, скрежет осколков и металлический нутряной стон ненавистного времени. Вслед за чувством облегчения пришла невероятная усталость.

Задыхаясь, оставляя кровоточащими ногами следы, Мария вышла из старухиной комнаты. В ушах стоял треск, дребезжанье, скрежет. Криков старухи она не слышала — только звуки побоища.

— Слава богу! — кричала она, поднимаясь по лестнице.— Слава богу!

Мария не понимала, почему выкрикивает именно эти слова, и неприятно было, что она производит столько шума.

А с ног на чисто вымытые ступени стекали капельки крови.

Между тобой и мной

Опять зарядил дождь. Майский дождь тонкими, длинными струйками падал на цветущую сирень, а небо было матово-молочное, набухшее влагой. Через раскрытые настежь окна шум дождя и прохладная сырость проникали в комнату. В шелесте падающей воды терпеливый слушатель мог бы найти утешение.

Человек, сидевший посреди комнаты на единственном стуле, не обращал внимания на дождь. Сидел выпрямившись, положив руки на колени, и время от времени проводил ими по туго натянутым черным брюкам, точно вытирая ладони. Шум капель в кустах ничего для него не значил. Человек был глуховат и очень стар. Он сосредоточенно смотрел прямо перед собой.

Покойница лежала на столе в раскрытом гробу. Крышка гроба была прислонена к стене, а стол служащий погребальной конторы накрыл черной скатертью с бахромой. Стол уже не был похож на стол, а мертвая — на живую.

Она лежала в гробу, словно в колыбели, которая росла вместе с ней все семьдесят лет и вот, наконец, заново приняла ее в свое лоно. Лежала в нарядном черном платье, скрестив на груди руки, неподвижная и далекая.

В домике, где стоял гроб, была вот эта комната, с покойницей, и рядом еще маленькая, узкая кухонька. Все дома в этом старом рабочем поселке были такие. Теперь здесь оставалось совсем мало жителей. Большинство перебралось в город. Не за горами и тот час, когда город вклинится в этот поселок и последним обитателям придется покинуть свои домишки.

До того, как пошел дождь, старика и покойницу навещали соседи. Это были старые люди, и каждый приносил с собой частицу давно минувших времен. Но дождь, припустивший на склоне дня, отделил домик и комнату с покойницей от всего света, никто больше не приходил, кроме томительно тягучего вечера.

Служащий погребальной конторы ушел в полдень. С тех пор старик так и сидел тут. Как только он взглянул на черный блестящий гроб, его начала преследовать одна мысль. Длинная — если так можно сказать о мысли,— длинная и широкая, она наполняла старика, ни для чего больше не оставляя места. Это вовсе не была какая-нибудь глубокая мысль, просто перед его взором возникла картина, воскрешавшая очень давние события.

Пока попрощаться с мертвой приходили соседи и знакомые, пока здесь разговаривали, мысль не могла развернуться, картина оставалась неподвижной. Нужно было отвечать на вопросы, рассказывать, как у жены вдруг отказало сердце, где она в это время стояла, да когда это случилось, как он поднял ее и положил на постель, еще думая, что кладет живую, и что потом сказал доктор, и когда приедет из Острявы сын. Он отвечал, но мысль требовала его всего, целиком и нетерпеливо переминалась с ноги на ногу в ожидании своего часа. Дождь перекрыл пути к их домику — и этот час наступил.

Старик, моргая, глядел на блестящий черный гроб и одновременно всем телом прижимался к памятнику в далеком городе. Памятник весь влажно блестел — от могучего постамента до коня, на котором восседал какой-то генерал или герцог. Стоял март, с утра стлался туман, и теперь со статуи на гранит постамента стекали струйки воды.

После полудня туман прорвался и открыл площадь вокруг памятника. Ни души. Площадь совершенно пуста. Жалюзи лавочек спущены, ставни, где они были, тоже наглухо закрыты. Потом сквозь разрыв в тумане пробилось бледное солнце. Но согреть оно не могло.

Когда вызванивали полдень, он еще прятался, скорчившись за грузовиком с простреленными шинами. Там его пробрал холод, хотя от напряжения бросало в жар. Винтовка в руке казалась вырезанной изо льда.

Он не мог понять, как это получилось. Рабочие отряды закрепились на другой стороне площади, а он, хоть и был из их рядов, почему-то, присев на корточки, прятался за грузовиком здесь, на противопо-

ложной от них стороне. Где-то за его спиной, в близлежащих улицах, готовились к нападению полицейские команды. В двадцать первом в Саксонии была порядочная заваруха.

Памятник стоял на площади прямо против него. Добраться бы туда и спрятаться за гранитный постамент. Если бы это удалось, он мог бы потом без особых затруднений попасть на ту сторону площади, к своим.

Как только туман прорвался, он стал мысленно измерять расстояние. И вдруг выскочил из своего укрытия, побежал, петляя, прыгнул за гранитный постамент и прильнул к нему всем телом. Уже прижавшись к блестящему гладкому камню, понял, что в него стреляли. На бегу уголком глаза успел заметить тень. И вот — тихо, пусто. Массивная плита постамента укрывала его со стороны, где подстерегала опасность. Смерил глазами второй отрезок пути, от памятника к товарищам по оружию. С этой стороны площади был сквер, суливший укрытие за кустами и деревьями. Он все продумал, рассчитал и все-таки не побежал... Но теперь почуял новую опасность. Он был не один около памятника.

Сначала — только ощущение: по другую сторону памятника кто-то прячется. Неопределенное ощущение: за постаментом прячется враг. Скорее всего тот, что стрелял во время перебежки. Слишком усердный враг, который, преследуя его, добежал до самого памятника.

Это казалось чем-то не совсем реальным, напоминало детскую игру в прятки. Стоят, прижавшись к влажному граниту друг против друга, словно считают считалку, одни посреди пустой площади, а все уже спрятались. И стоят так, затаив дыхание.

Эта картина, эта длинная мысль неотступно преследовала его. Притиснутый к мокрому от тумана блестящему граниту, он ждал смерти. Напротив, за камнем, смерть перезаряжала винтовку. Он слышал звяканье металла о металл. «Которая из этих пуль?» — мелькнуло в голове. Глупо было думать о близости конца, но не думать он не мог.

Когда смерть подстерегает тебя вот так, рядом, в такой момент ты всегда один. Конечно, там, по ту сторону площади, где-то в узких улочках, были товарищи, друзья. Немцы и несколько чехов, пришедших, как и он, в Германию на заработки и теперь принимавших участие в общем деле. Все рабочие. Однако, чтобы присоединиться к ним, нужно было остаться в живых. Перебежать от памятника в одну из улочек на той стороне. Но если он побежит, неизвестный высунет голову из-за памятника и выстрелит.

Он здесь один — вот что плохо. В нагрудном кармане лежала фотокарточка, но он боялся взглянуть на нее, боялся, как бы тот, другой, не воспользовался этой минутой. А взглянуть очень хотелось, хотя бы краем глаза. На карточке была Ружена, а рядом он сам, оба в праздничной одежде — так их снял во время храмового праздника фотограф. Хотел сфотографировать парочку перед полотном, где была намалевана пршибрамская Святая гора. Нет, только не это. Они с Руженой встали около забора, да так и стоят на карточке поныне. У ног их цветут одуванчики. Фотография словно приросла к его сердцу. Он положил ее поверх стопки писем и конвертов на тумбочке.

Старик встал и пошел к тумбочке — лежит ли фотография? Она там лежала. Ружена улыбалась растерянно, потому что не хотела тогда сниматься. Но он хотел увезти ее карточку в Германию. С тех пор прошло без малого пятьдесят лет. У Ружены было свое представление о счастье. Чуточку вычитанное из романов с продолжением, чуточку — из детской сказки о волшебной птице, которая поет в домишке бедняка, а в замке теряет голос. Он считал ее мечты ребяче-

ством. Наверно, потому и выглядел на фотографии рядом с ней таким взрослым, солидным.

Под карточкой ровная стопка писем, которые он писал будущей жене из Германии. На углу каждого конверта ее рукой выведен номер. Всего тридцать четыре. Он подумал, что это еще не все. Раскрыл дверцу шкафа и достал плоскую картонную коробку, где хранились фотографии. Но не стал просматривать содержимое и поставил коробку сверху на письма. Затем вернулся на свой стул.

Памятник в чужом городе ожидал его. Он прижался к влажному камню постамента и осторожно посмотрел направо, оглянулся налево, и еще раз направо и налево, чтобы смерть не опередила его. Скорей бы ночь да туман. Но до ночи было далеко, а развеявшийся туман больше не собирался густеть.

«Долго ли мы оба так выдержим? — спрашивал он себя.— Я здесь, он — по ту сторону. Кто кого первый застигнет врасплох? Не могу я ждать до вечера!» Он лег на живот и, держа палец на курке, выставив вперед винтовку, пополз к углу постамента. Если тот и подкарауливает за углом, он никак не ожидает увидеть противника внизу, у самой земли, наверняка целится выше, и, прежде чем успеет опустить дуло, пройдет несколько драгоценных мгновений. Задерживая дыхание, подполз к углу. Стремительно высунул голову, готовый выстрелить первым. За углом никого не было.

Отполз назад, испытывая разочарование и неосознанную радость. Но нужно повторить вылазку еще и с другой стороны памятника. Подполз к углу, быстро высунул голову — тоже никого. Очевидно, враг прижимается к широкой стороне постамента и не осмеливается напасть.

Дождь за окном с тихим шумом падал на траву, тяжелые одинокие капли стекали по веткам сирени, с листа на лист и исчезали во тьме. Было тепло, но старик дрожал от озноба. Ружена как будто западала в свое черное ложе. Чтобы увидеть ее, пришлось привстать. На фотографии она была ближе. А здесь — это уже не Ружена. Кто-то другой.

«Сегодня это уже не я,— сказала она утром после свадьбы,— сегодня я совсем другая».

«Да нет же!» — смеялся он. Вечно эта Ружена что-нибудь придумает.

Она нахмурилась:

«Не вижу тут ничего смешного. Почему бы мне и не перемениться? Я совсем новая, если хочешь знать».

«Как же, как же, все на свете меняется»,— согласился он.

«Только одна вещь не меняется».

«И это...»

Разумеется, это была любовь, хотя слово «любовь» она никогда в жизни не произнесла вслух. Ружену воспитывали по старинке, а в старину громкими словами не бросались. Любовь тогда единожды и на всю жизнь скреплялась свадьбой. На этом старосветском солнцепеке любовь высилась точно гора или скала над долиной, никогда не меняясь. Ружена жила в мире понятий своих воспитателей, которым она прислуживала до самой свадьбы. У нее были грубые ладони и нежные мечты. А за его плечами были уже рабочие мятежи в Германии, стачки в Чехии, и все в мире четко делилось на правое и левое.

На фотографии она была ему ближе, чем та, что лежала сейчас перед ним. В последнее время прошлое становилось все ближе, а настоящее отдалялось. Слышал он хуже и хуже, но голоса в его сердце с каждым днем набирали силу. Время, делившееся на отрезки уходом на работу, обеденным перерывом, концом смены,— это время,

вполне понятное, только когда мы делим его на куски, теперь навсегда ушло. Больше нечего было делить. Случалось, что, если не было солнца, он даже не мог определить, утро сейчас или день.

Он не знал, долго ли ждал так, притиснутый к постаменту. Рассеянный дневной свет, просачиваясь сквозь туман, не отбрасывал теней, и определить время он не мог. Часов у него не было. Он осторожно разминал закоченевшие руки и ноги, шевелил запястьем, пальцами, стараясь не производить никакого шума. За памятником — тоже тихо. Несколько раз он уже собирался пригнуться и выскочить, точно на состязаниях по бегу, пересечь пустое пространство между памятником и началом ближайшей улицы. Он помнил наизусть все кусты и деревья, среди которых предстояло петлять, прикинул, где бы залег, куда бы откатился, где поднялся, чтобы продолжить бег. Кто знает, может быть, за памятником никого нет, может, он зря боится.

Он уже не был уверен, что за памятником действительно кто-нибудь прячется. Решил: сосчитаю до десяти. Если никто не даст о себе знать, выбегу. Сосчитал до десяти, но не выбежал. Сомнения удерживали на месте. Стал считать еще раз.

И вдруг кто-то кашлянул. Совсем рядом — руку протянуть. Кашлянул беззаботно. Легкомысленно. Но ведь кашель может быть и частью плана. Продуманного и коварного. А может быть, во всем виноват вновь сгустившийся туман.

Услыхав за памятником кашель, он с облегчением вздохнул. Неуверенность пропала. Представил себе, как тот выглядит. Он знал этих молодчиков из полицейских команд, прибывших сегодня в город. Плечистые, толстые, розовощекие. И видел своего противника так ясно, что мог бы сосчитать пуговицы на его мундире. «Смерть пришла за мной, она в полицейском мундире и заявляет о себе кашлем».

И тут его охватила яростная отвага. Он лег животом на гранит у самого подножья памятника и снова пополз к углу. Выглянул. У короткой стенки никого. Пополз дальше и, прежде чем высунуть за угол голову, несколько раз с трудом глотнул. Сердце билось где-то в горле и во рту.

Дверь домика хлопнула, кто-то пришел. Старик ничего не слышал. Если теперь наклонить голову, можно заглянуть за угол. Он все еще медлил, взволнованный, напряженный. Только когда дверь в комнату отворилась, поднял глаза. Тьма уже так разлилась, что он не узнал, кто вошел.

— Я только глянуть, не нужно ли чего,— произнес женский голос. Эта была соседка.

— Мне ничего не нужно.

— Я тут принесла пирожков, они на кухне,— сказала та опять.

Она переминалась у двери, но старик больше ничего не ответил. Соседке хотелось бы поговорить о покойной, но она не знала, как начать. Наконец ей стало страшно оставаться в темной комнате, где стоял гроб, и она поскорей отступила на кухню. Прикрыла за собой дверь, потом дверь из кухни в прихожую, потом из прихожей в палисадник. Стукнула калитка.

Старик услышал удар. Это был выстрел. Человек в полицейском мундире упал на колени, потом медленно опустился наземь, и, когда опускался, на мгновение показалось изжелта-бледное лицо. Он не успел упасть, как винтовка вывалилась из его рук. Ладонь, в которой он держал носовой платок, раскрылась, точно он кому-то его предлагал.

Рассматривать убитого было некогда. Не торчать же здесь вместо мишени. Он быстро обогнул постамент и побежал в туман, чувствуя облегчение и странную жалость. И одновременно радость. Ведь иначе он поступить не мог, выбора не было. И снова жалость. Добежав до

безопасного места, он первым делом вынул фотографию и сказал Ружене, что остался жив, выдержал испытание.

Старик поднялся, прошел к ночному столику. Зажег ночник, взял фотографию, письма и картонную коробку. Лампочку не погасил, чтобы не искать в темноте кухонную дверь. В кухне тоже зажег свет, подставил к плите низенькую табуретку.

Стал рассматривать карточки. За последние пятьдесят лет немало событий и лиц запечатлелось на фотографиях, в неподвижных сценах, оставшихся где-то в прошлом. Привести их в движение мог только свидетель этих событий. А жизнь есть движение. Когда уходит свидетель, умирают и самые дорогие фотографии. Это уже будут не они с Руженой, полные своих планов и надежд, и ни для кого уже эта карточка не воскресит бойкого фотографа, прыгающего вокруг громоздкого деревянного аппарата. А кого взволнует, сколько путешествовала эта фотография по его карманам? Это будет лишь изображение незнакомой парочки у деревенского забора. Все погрузится в никому не интересную всеобщность — какие-то люди что-то делали. И будет погружаться глубже и глубже, пока не забудется.

Старик отложил фотографию, чиркнул спичкой и поджег первое письмо. Бросил его в топку и через раскрытую дверцу следил, как пламя схватывает исписанный лист. На горящее письмо положил второе, третье, четвертое. Вручал прошлое огню и присматривал, чтобы оно сгорело без остатка. Брал письма по номерам, а когда все они сгорели, принялся за коробку. Вот фотография Руженины опекунов, дядьев, племянников, вот конверт с прядью волос их сына, памятные предметы, которые были кому-то дороги, но этот кто-то умер.

Для сына, насколько он его знал, подобные вещи не значили ничего. Его мир иной. Старик не мог себе представить, как бы он передал сыну какой-нибудь из этих сувениров. И медленно, задумчиво бросал их в огонь. Пусть они уйдут вместе с мертвой, ей они принадлежали, и никто не оскорбит их равнодушием, если и ему самому суждено умереть так же внезапно, как умерла Ружена.

Сгорело все, осталась только фотография с храмового праздника. Старик держал ее большим и указательным пальцами и размышлял. Бросать — не бросать. Можно ведь сжечь и завтра.

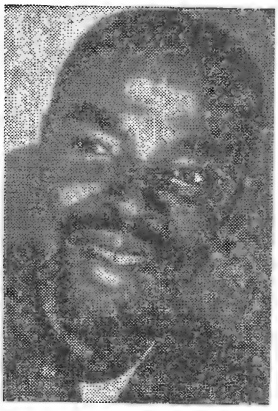
Он сунул карточку в карман пиджака, закрыл дверцу плиты, повернул выключатель и возвратился в комнату к мертвой.

Положил фотографию на тумбочку и долго рассматривал. Как в тот раз, когда перебежал через сквер к жилому кварталу, где его ждали товарищи. «Я остался жив»,— сказал он тогда глядящей на него с фотографии Ружене. «Я остался жив»,—мог бы сказать он и сегодня. Но тогда было ощущение победы, сегодня это не представлялось ему победой.

Старик выключил свет и ощупью добрался до стула. Сел. Теперь, во тьме, гроб уже не был виден. Памятник тоже. Только Ружена стояла у забора и нерешительно улыбалась.

Нужно сказать ей, что у меня умерла жена, пусть пойдет со мной на похороны. Это хорошо, что кто-то у меня все-таки остался. Хоть не буду так одинок.

■



А. КВЕИ АРМА

Осколки

РОМАН

Перевод с английского М. ЛОРИЕ и А. КИСТЯКОВСКОГО

Нашумевший роман Квеи Армы «Осколки» принес писателю славу дерзкого сатирика. В отличие от многих произведений современных писателей Африки, все еще объясняющих миру самобытность местной культуры, роман этот обращен непосредственно к африканскому читателю. К. Арма беспощадно срывает экзотические покровы с африканского общества, обнажая бытующие до сих пор безобразные черты колониального образа жизни и мышления.

Прошла пора простодушных надежд, что все невзгоды уйдут с чужеземной властью. Возвращение «золотого века» не состоялось. На освободившиеся страны обрушились неисчислимые проблемы преодоления вековой отсталости. Как к ним подступиться? Люди разошлись во мнениях.

И оказалось, что далеко не всех мучают проблемы общего развития. Сложившийся в прежнее время слой «колониальной элиты» стремится сохранить свои привилегированные позиции среди вопиющей нищеты и диких нравов. Именно против них направлено острие сатиры К. Армы, он объективно ставит вопрос об ответственности имущих и власть имущих.

Его герою Баако пришлось испытать «горе от ума» потому, что он опередил в своем сознании естественные процессы перестройки местного общества, но не в состоянии понять сложность переходного периода. Социальный кризис и болезненная ломка общественной психологии представляются ему катастрофой.

Мотивы отчаяния проступают в романе. Они слышны в причитаниях старой Нааны: «Рано пришел, рано пришел», в советах учителя — уединиться, чтобы познать себя, в горячечном бреду самого героя. Оптимизм автора в общей его позиции — в отрицании колониально-традиционных устоев. Арма решительно обличает жалкое подражательство европейским хозяевам, пресмыкательство перед заграничными ценностями, буржуазное стяжательство и мещанскую ограниченность. Он подчеркивает обреченность пережитков прошлого.

Речь в романе, разумеется, идет не только о Гане, и совсем неверно относить критику новой администрации в адрес правительства Кваме Нкрумы. Нкрума как раз был активным борцом за деколонизацию умов, за обновление африканской личности, претерпевшей долгие годы унижений и бесправия. Политическое поражение Нкрумы вовсе не означало прекращения борьбы за нового человека в Африке. Тема эта подхвачена прогрессивными африканскими писателями, такими, как Сембен Усман (Сенегал), Чинуа Ачебе (Нигерия), Монго Бети (Камерун), Ат-Тайиб Салих (Судан), обличающими последышей колониального режима, временно одержавших верх в ряде стран континента. К произведениям такого рода можно отнести и роман «Осколки» — заголовок говорит сам за себя. Арма смотрит на современное африканское общество то глазами старой Нааны, то глазами приезжего врача — Хуаны. Презираемое автором колониальное, провинциальное по сути общество является как бы отражением Запада в кривом зеркале. Но настоящий Запад для Баако и Хуаны — тоже не идеал: недаром Хуана покинула родину и приехала помогать становлению нового мира именно в Африку.

В романе много жизненной правды, но — следуя законам жанра сатиры — автор порой утрирует уродливые черты африканской действительности, чтобы направить мысли читателя в нужное русло — на борьбу с пережитками колониализма.

Жизнь всегда сложнее любого ее изображения. К. Арма, нарисовав контрастную картину общественного бытия, видимо, не ставил перед собой задачи показать сознательных борцов за быстрейшую деколонизацию африканского общества, которым ясны исторические причины неблагоприятных явлений и перспективы духовного обновления. Эти люди не похожи на персонажей «Осколков» — они не заламывают руки от отчаяния и не отгораживаются от проблем показным цинизмом. Они знают, что потребуются годы упорного труда, чтобы очистить многострадальную Африку от «лохмотьев изжитой жизни», как говорит старая Наана в конце книги. Да и сам Баако в конце книги начинает понимать, что нельзя противопоставлять себя обществу, которое хочешь исправить. Для его исправления необходимо войти в него и долго, упорно бороться за нового человека.

Л. ЯБЛОЧКОВ

Глава первая

Наана

Все, что было, повторяется снова, и ничто не уходит из жизни навеки. Великий Друг рассеивает все сущее и потом опять собирает воедино. Вот как идет и обновляется жизнь. Сущее умирает, чтобы снова возродиться, и все, что существует в нашем мире,— живо. Все возвращается. Он возвратится.

Уж я-то знаю, ведь я всю жизнь видела, как солнце неизменно уходит во тьму, чтоб на рассвете взойти с другой стороны. Правда, я видела его очень давно — заходящее или восходящее солнце. Но кожа моя чувствует тепло и холод, я знаю, что изменилась только я сама, а кругооборот мира вечен. И все же теперь — даже здесь, у нас — жизнь вселяет в меня больше страхов, чем может вместить моя усталая душа. Две ли ночи пронеслись надо мной? Или прошли две полных недели?..

Как-то раз я выбралась во двор и спокойно сидела у ступеней крыльца, меня баюкало светлое тепло, и вот понемногу мне стало казаться, что глаза мои снова различают солнце. Но люди разрушили мой покой — пришли и сказали, что уже много часов я сижу в холодной ночной темноте. Я удивилась и рассердилась на них за то, что они снова меня потревожили, и уже оттачивала едкий ответ, потому что ведь я же чувствовала солнце, но какая-то женщина — Экуа, что ли, у нее всегда такой приветливый голос — проговорила эти вот страшные слова:

— Ночь уже давно опустилась, Наана.

Да, этого я не ожидала. Я хотела ей сказать, что она ошиблась, что моя кожа чувствует лучи солнца... но потом подумала и решила промолчать.

Потому что какой я теперь человек, если мне невмоготу о себе позаботиться? Так, горстка иссохшей плоти, кажется, кому она может быть в тягость?.. Но для них я превратилась в тягостную ношу. Дряхлая, никому не нужная старуха, чей рот по-прежнему требует пищи. По-прежнему, но без всякого толку для других и в надежде на давно истлевшую любовь. Что же — разве мне и этого мало? Зачем мне язвить колючками слов их и без того уязвленные души? Сильные, те еще могут уцелеть, даже если люди их и не понимают, а я никому не нужная старуха. Я вижу то, чего не видят другие —

или им кажется, что они не видят,— но какое мне дело до их слепоты? Колдуньи видели незримое для других, да еще и не страшились рассказывать об этом — и вот теперь их всех погубили. Я уже очень давно не слыхала, чтобы где-нибудь удалось распознать колдунью, а порча и сейчас разъедает души. И если я вижу невидимое другим, хотя у них тоже ведь есть глаза, не самая ли мудрая речь — молчание?

Но одно я буду твердить неустанно, изо дня в день: он возвратится. Даже те, чьи глаза заволокло пеленой, не смогут найти в себе столько жестокости, чтобы погубить меня за мою веру, потому что она теплится и в их душах — вера, перегоревшая в алчную надежду. Надежду питают прекрасные видения, и она снова заставляет их ждать. Но то, ради чего они его ждут — их алчность,— наполняет мою душу страхом.

Видения множатся, и я боюсь. Да, они должны возвещать возвращение, ведь они возвещают каждое событие. Так повелось испокон веков. Но эти — такие земные, тяжкие — могут навсегда подавить его дух, и он уже будет не в силах взлететь.

Про два мне рассказывала сама Эфуа. О Великий Друг, разве это правильно, что мать посещают такие видения перед возвращением родного сына? Ведь даже самая голодная кошка тащит первую мышь детенышам.

Баако-то, он только по годам не дитя. Но всякий скиталец, пустившийся в путь, возвращается через многие годы иным.

А Араба? Мне рассказывали, какие видения являлись ей перед возвращением брата. Но кто я такая, чтоб осуждать видения истомленной ожиданием сестры или матери? Да и мои видения о приходе Баако переполнены тяжкими земными благами, которых так жаждет уставшая старость. Мне видится богатый и знатный внук — но нет, я думаю не только о нем. Я знаю, что если богатство и знатность встретятся ему на жизненном пути и если в нашем ненадежном мире он сможет нащупать твердую тропу, то уж меня-то он наверняка не забудет.

Ушедшие возвращаются. Он возвратится. Он изменится, но для нас останется прежним. Потому что кругооборот вечен. Многое в ту ночь было сделано грубо, но я не заметила роковых ошибок, и Баако не будет выкинут из круга. Ничего важного не было упущено, и Баако спокойно воднялся в небо, чтобы пересечь бескрайнее море и вырваться из доступного людям кругозора. Я одна следила за прощальным обрядом и, несмотря на ослабевшие силы, сразу одернула бы пьяницу Фоли, начни он что-нибудь делать неправильно, но он ничего не упустил и не прибавил, все было так, как при наших отцах, и круговой путь не будет разомкнут. Нет, Фоли ничего не забыл. Дядя взывал к ушедшим отцам и просил защитить уходящего племянника. Бессменный круг ничто не нарушило. Ушедший обязательно вернется обратно.

У Фоли плоть властвует над духом, потому что он ее слишком уж любит. Но в ночь прощания он ничего не забыл, он произносил великие слова, и поначалу это казалось мне удивительным, но потом я поняла, что ушедшие отцы все еще заботятся о живущих здесь. В ту ночь даже Фоли услышал их зов. И вот его задавленная душа освободилась от гнета алчного тела, чтоб испросить у отцов благословения для Баако. Не прозвучало ни одного ненужного слова, но все, что надо, Фоли сказал:

Куда б ты ни шел,
иди спокойно.
О Нананом,
праотец ушедших,
защити его дух от тенет тела.
А ты,
уходящий от нас сегодня,
не верь своему земному рассудку,
если он скажет, что ты один.
На земле ни один человек не один.
Ты уходишь к тем,
кто ушел до тебя,
затем, чтобы снова вернуться сюда.
Но ты придешь,
когда ты придешь,
совсем иным,
чем ты уходил.
Ты будешь сильней,
будешь мудрей,
чтоб сделать и нас
сильней, мудрей,
чтобы влить свою силу и мудрость в людей.
Получи же в пути
свой опыт сполна
и забудь про мудрость Ананси.
Не верь, что насытишь желудок скорей,
позабыв про других людей,
ибо на этой земле,
в пути,
ни один человек не один.

Но в ту ночь я не очень уж сильно хотела, чтоб он вернулся как можно скорей. Вокруг свершалось так много странного! Да и слова прощания унесли меня в прошлое, и оно вселило в мою душу покой, потому что исполнено всеобщего понимания. За словами поднялись древние годы, заслонили нынешнее суматошное время и принесли ясность ушедших ночей. Даже голос Фоли, пропитанный ложью, не затуманил ясной чистоты этих слов, и она снова зазвучала над миром:

Когда человек остается один,
он страдает сильнее, чем раненый зверь,
и ничто так не ранит души людей,
как безлюдье на их пути.

И только теперь Фоли догадался, что настала пора почтить праотцев,— но и тут его руки вцепились в бутылку и никак не хотели расставаться с напитком. Он заставил духов, словно детей-попрошаек, ждать принадлежащее им по праву питье, а когда он начал разливать напиток, он, ненасытный и жалкий пьянчуга, уронил на землю лишь несколько капель — их не хватило бы на утоление жажды даже одному из ушедших раньше. Я посмотрела в глаза Фоли — они были мутные, с огромными белками, а зрачки их закатывались под верхние веки. Воровато и скаредно глядел он на бутылку. Ведь чем меньше напитка досталось бы духам, тем больше он влил бы в свой

ссохшийся рот. Но этот человечишка с подгнившей душой сумел все же вспомнить великие слова, которые помогут Баако в пути и защитят в чужедальних землях от бед. Фоли не сказал ничего лишнего, но все нужные слова были сказаны. Ночь уже опустилась на землю, но свет из дома освещал двор, и капли напитка, предназначенного духам, взблескивали, как высыхающая роса.

А ночь, хоть и безмолвная, была наполнена небывалой суетой. На стенах комнаты, в мелькании огней, вспыхивали огромные тени листьев, лучи приезжающих и уезжающих машин всползали на потолок, перекрещивались, сталкивались. Они напоминали мне светящиеся тени, которые я видела в давние годы, когда к нам приезжали автобусы с кино. А одна машина вдруг начала гудеть,— видно, сидящий в машине не знал, что здесь смертные разговаривают с духами, хотя от имени уходящего в путь говорил всего лишь пьянчуга Фоли:

В пути
всегда таится беда,
и реки крови пролиты зря,
но люди знают, что им нельзя
прервать круговой путь.
В пути
всечасно таится опасность —
смерть тела и смерть души,
но каждый из нас спешит совершить
свой круговой путь.
Один — в просторах бескрайних морей,
один — в бескрайних озерах небес,
откуда наш вековой лес
кажется низкой травой.
Один — среди душ умерших людей,
один в пустынях чужих земель,
один среди белых людей.
Отцы,
опасность, беда и смерть
всегда таятся на нашем пути,
но ваш зов поможет ему идти,
поможет презреть
смерть.
Пусть
ваш зов облегчит ему путь,
пусть он поможет ему услыхать
вашу таящуюся в веках
правду, поправшую страх.
Помогите ему, отцы.
Помогите презреть страх
и преуспеть там,
куда он держит свой путь.
А когда он вернется к нам,
когда он вернется, пусть
на нас прольется, как дождь,
ваша всемогущая помощь.
Помогите ему, отцы,
в пути,
помогите вернуться.
Иди, уходящий, иди,
чтоб прийти,
иди, чтоб вернуться.

Да, это были великие слова, хотя произносил их жалкий человечишка. Я оглянулась и посмотрела на Баако. Он улыбался улыбкой юности. Церемония казалась ему непонятной, и он с нетерпением, как малое дитя, ждал, когда она подойдет к концу. Баако предстояло подняться в небо и провести ночь высоко над землей — он сам рассказывал мне об этом,— и вот он рвался отправиться в путь.

Но Фоли, коварного и лживого шакала, ничуть не изменили великие слова, которые он в ту ночь изловчился вспомнить. Больше половины огненного напитка все еще позорно плескалось в бутылке, когда он кончил потчевать духов и повернулся к полке со своими стекляшками, чтобы выбрать среди них стакан для Баако и налить ему порцию уходящего в путь. Это был очень маленький стакан, потому что Фоли, изгнившая душонка, заботился о своем запекшемся чреве. Мои и без того слабые силы все время подтачивает горькая мысль о жадности нашей немощной плоти, в угоду которой мы обманываем ушедших и даже тех, кто придет после нас. А стакан-то оказался еще и лживым, это был вовсе не настоящий стакан, а штуковина для обмана человеческих глаз с дном почти до половины стенок — и маленьким, едва заметным углублением. И Фоли плеснул всего несколько капель своему уходящему в путь племяннику! А его глаза настороженно следили, чтоб ни одна капля не упала на землю, словно ему не было никакого дела до наших томимых жаждой отцов, которых он и так бессовестно обделил. Но даже и его поганые уши слышат, наверно, голоса духов, потому что, хоть никто его и не обвинял, он попытался оправдать свою жадность — протянул Баако стакан и сказал:

— Мы должны позаботиться, чтобы он не напился. Он юн и ночью будет в пути.

Но и лживая, скаредная щедрость Фоли оказалась чересчур обильной для Баако. Когда он опорожнил свой обманный стакан, на его глазах выступили слезы, и, по-моему, он был очень доволен, что Фоли налил ему так мало. Я посмотрела на дядю и племянника, и вдруг моя кровь сгустилась от страха, что вот пьяная жадность Фоли нарушит величие прощального возлияния и вечный круг будет разомкнут. А Фоли повернулся к своим стекляшкам, так что я видела только его спину со свисающими по бокам складками кожи, и принялся выбирать стакан для себя — настоящий, без всяких хитростей да обманов. И мне не оставалось ничего другого. Я дождалась, когда он выберет стакан. Уж конечно, большой. А потом сказала:

— Ты правильно угадал мое желание, Фоли.

Его лицо исказила злоба, но он тут же прикрыл ее заботливой улыбкой:

— Да, но стоит ли тебе пить, Наана?

— Мы утоляем жажду духов, верно? А такая древняя старуха, как я, всего лишь завтрашний дух, Фоли.

— Но этот напиток очень уж крепкий.

— Конечно, Фоли. Но с каких это пор слабые перестали нуждаться в подкреплении?

— Ох. Наана.— Фоли вздохнул, но тут уж деваться ему было некуда. Он с жадной тоской посмотрел на бутылку, и мне показалось, что его живот усыхает вместе с уменьшением напитка. Но Фоли улыбнулся и протянул мне стакан. Я взяла его. Все еще улыбаясь, правда облинявшей и лживой улыбкой, он начал наклонять бутылку над стаканом, испуганно и медленно, словно человек, который выцеживает кровь своей матери; он цедил огненный напиток и приговаривал:

— Скажи сама, когда тебе хватит, я буду наливать, пока ты не скажешь.

Он тщился обернуть против меня мою совесть. Но я посмотрела ему прямо в лицо и тоже улыбнулась фальшивой улыбкой, и все вре-

мя, пока он наливал мне напиток, удерживала взглядом его бегающие глаза.

— Скажи, когда хватит,— забормотал опять Фоли. Он налил мне всего полстакана, удав.

Я улыбалась и не опускала глаз. Его рука начала дрожать, но я молчала, пока стакан не наполнился, да и когда он наполнился, ничего не сказала. Конечно же, Фоли остановился сам. Он молчал и хмурился, потому что не знал, что же он теперь должен мне сказать.

— Наана,— неуверенно проговорил он. Я слышала его голос, но как бы издалека.— Ты хочешь выпить весь стакан сама?

Я медленно прошла мимо него к двери, спустилась во двор и остановилась там, где он потчевал праотцев жалкими каплями; я вылила весь напиток на землю и только после этого спокойно сказала:

— О Нананом, утоли свою жажду и простри над юным свою защиту. Защити его там и верни сюда, пусть он вернется к тебе, Нананом!

Когда я снова вошла в дом, Фоли забубнил:

— Мы утоляли их жажду...

— Их жажда велика,— ответила я.— Не спорь со мной, Фоли, их жажда велика. Ты хорошо знаешь обращение к мертвым. Но разве ты не знаешь, какова их ярость? Может быть, ты о ней просто забыл? Или ты считаешь, что струйка напитка, по которому тоскует твой урчащий живот, важнее жизненной реки Баако? Духов могла прогневить твоя жадность, и гнев их обратился бы против уходящего. Река его жизни могла пересохнуть.

Я говорила долго и утомилась. Сначала мне казалось, что каждое слово легким облачком ложится мне на плечи, но потом, когда их собралось много, они придавили меня к земле. Я прилегла на мягкую скамью, напротив той, где сидел Баако, и стала всматриваться в великий мир, незримый для его неопытной юности, и меня, наверно, сморил сон, потому что, когда я открыла глаза, вокруг было много новых людей, все они суетились и куда-то спешили, а с улицы слышались гудки машин.

— Наана, ты поедешь в моей машине. Вместе с Баако,— сказал мне Фоли. Все же он исполнил мое желание — проехать с отбывающим последние мили. Я многое хотела внушить Баако, но мои напутствия не укладывались в слова, и вот мне хотелось побыть с ним рядом. Мне было радостно, но я не ожидала, что придется ехать в машине Фоли — ведь он наверняка уже успел напиться. А Фоли, будто он угадал мои мысли, сказал так разумно, что мне стало стыдно:

— Я не поведу машину, Наана. Мы поедем с водителем. Уже скоро, собирайся.

Крики и гудки на улице смолкли, а в доме послышались слова песни — из еще одной побрякушки Фоли. Я стала ее слушать и обо всем позабыла, но вдруг опомнилась от голоса Фоли — он орал Баако и другим собравшимся, как будто меня тут вовсе и не было:

— Эй, гляньте-ка, гляньте на бабушку — тоже ведь слушает, будто что понимает.

Прежде чем я успела рассердиться, мне стало ясно, что Фоли-то прав. Я не понимала ни единого слова, но пока Фоли не начал

орать, мне это было как бы незаметно. Да, я слушала только звуки, но думала, что понимаю слова песни.

— Кто они такие? — спросила я.

— Ты про кого?

— Про этих, в ящике. Которые поют и которые играют.

— А-а. Это афро-американцы.

— Американцы?

— Американцы,— ответил Фоли.

— Мне казалось, я понимаю, про что они поют.

Несколько человек засмеялись, и я почувствовала себя как ребенок, когда он никак не может сообразить, что же он такого сделал смешного.

— Они когда-то были африканцами.— Эти слова сказал Баако. Я побоялась рассмешить их опять и поэтому с пониманием покивала головой, но понимания-то во мне вовсе и не было. Я совсем не понимала слов, но песню все равно почему-то понимала — и горестные вопли мужчины-запевалы, и голоса женщин, много голосов, которые вбирали в себя его горечь и делали ее почти что сладостной... да, я чувствовала, про что они поют. Потому что они пели про свою обреченность, и их тоска была моей тоской.

А потом, в середине протяжного вопля, пение прервалось, и все поднялись, потому что уже пора было ехать, но тоска еще долго не отпускала меня.

В ту ночь я увидела столько странного, что даже здесь, на своей земле, почувствовала себя совершенно чужой — ведь мне не удастся всего этого понять, пока не настанет мое время уходить. А в мыслях я бродила по чужим мирам, которых ни разу в жизни не видела.

Иногда я думаю, что моя слепота ниспослана мне для моего же спасения: я неминуемо сошла бы с ума, если бы этот непонятный мир был по-прежнему мне открыт. А тогда, чтоб увидеть, как отбывает Баако, мы все вышли из дома Фоли, и множество машин ринулось в ночь, но скоро ночи просто не стало. На улицах — не в жилищах, а на самих улицах — сияло столько ярких огней, что я различила щель между зубами у какой-то молоденькой торговки хлебом, как будто ночь еще не настала,— а торговка стояла рядом с домами, отделенная от меня широкой улицей. И никто из сидящих в машине не удивлялся — ни Фоли, ни молодые... они-то и подавно. Поэтому и я ничего не говорила, но когда я смотрела в глаза Баако — он сидел в углу, у двери машины,— мне очень хотелось у него спросить: неужели они, молодые, думают, что это и есть настоящий мир, а это вот сияние — правильная ночь?

Я зажмурилась, чтоб не видеть умершей ночи, и моим глазам открылся Баако — он только что возродился после ухода и смерти и брел по неведомым, запретным мирам. Он вынырнул из-за дальней кромки небосвода и одиноко шел по пустынной земле, открытой многим мировым ветрам. Но потом я увидела других людей, и Баако одиноко брел среди них. Все они были белыми людьми и знали только свой, белый язык. Всегда, после сказанного слова или речи, они величаво кивали своими белыми головами, как будто были праотцами народов. Некоторые пожимали друг другу ладони. Но Баако шел незамечаемый, один, словно дух в странном, переродившемся мире,

где все люди внезапно превратились в белых. И некоторые из этих белых людей несли в руках какие-то вещи, и они были изготовлены с таким совершенством, что их мир показался мне миром духов. Но это совершенство было странным и страшным, и я позабыла, что Баако еще здесь, и с ужасом стала молить отцов защитить его в чужедальних странах.

Мы не пошли с Баако в самолет. Нам не разрешили туда войти, мы расстались с уходящим в огромной комнате — Нианком, Есуано и Патасе, все вместе, были бы не больше, чем эта комната, и ее заливал ослепительный свет.

Потом мы приблизились к белому забору, за которым собрались все, кто пришел, чтоб в последний раз оплакать путников, и мы стояли там очень долго, а потом увидели вереницу людей — белых, но между ними были и черные,— и все они, как призрачные легкие духи, подымались один за другим в самолет. А когда самолет проглотил и Баако, я отвернулась, чтоб ничего не видеть. Я не повернулась даже тогда, когда самолет полетел к небу, хоть Фоли и упрашивал меня посмотреть, потому что он, словно малое дитя, видел во всем этом только чудо. Тяжкий грохот стлался над нами, и мое сердце наполнилось страхом за Баако. Но потом я вспомнила, что великие слова, в которых мы просили защитить уходящего, были сказаны все до единого, и я похвалила себя за то, что отняла у Фоли огненный напиток и предки смогли утолить свою жажду. Круг нигде не был разомкнут.

Они его защитят. Он обязательно возвратится.

Глава вторая

Имя

Ей очень нравились эти поездки. Вернее, они ей не просто нравились — к ним стремилось все ее существо, она здесь физически не могла оставаться, необходимость ударать росла неуклонно, и к полудню, закончив утренний прием, она уезжала как можно дальше — только бы не видеть больничных корпусов с их современными фасадами, на которых и кончалась вся их современность, ей хотелось спрятаться от каменных коробок, где за мутными окнами жили медицинские сестры, потому что в других местах им квартир не давали,— спрятаться от этого недоношенного города, вырваться отсюда и ехать, ехать — в надежде, правда заранее обреченной, позабыть о тщете ее жизненных начинаний, которые привели ее теперь сюда, в этот гнетущий и угнетенный мир.

Когда она захлопнула за собой дверь кабинета, дежурная сестра поднялась со стула и сделала ей навстречу несколько шагов, касаясь рукой накрахмаленного бело-зеленого берета,— этот жест походил бы на воинское приветствие, не будь он таким изящным и женственным. Сестра шла, чуть покачивая бедрами, немного жеманно и привычно

улыбалась, но в ее ослепительной дежурной улыбке проступала естественная, искренняя радость.

— Я вернусь часа в три,— сказала Хуана.— Не записывайте на прием много больных. А первого — не раньше половины четвертого.

— Хорошо, доктор,— ответила сестра. Она по-прежнему широко улыбалась и, опустив после приветствия правую руку, теребила пальцами что-то невидимое на отвороте форменного зеленого халата, а Хуана, достав из кармашка ключи, миновала длинный больничный коридор и по залитому яростным солнцем двору подошла к автомобильной стоянке.

— Сегодня больные просто одолели вас, доктор.

— Одолели, Пейшенс. Вы тоже устали?

— Нам-то не привыкать, доктор. Ничего.

Хуана ощутила чуть заметный холодок — вежливую, но совершенно неодолимую отстраненность, которую здесь чувствовали все чужаки, даже связанные с местными жителями неразрывно. И Хуана обрадовалась, что сестра умолкла. Пока сестра не начала говорить, она и не знала, что та идет следом. С манговых веток, затенивших машину, упало на капот несколько листьев, и один, еще не потерявший свежести, застрял под левым стеклоочистителем. Вытащив его и обернувшись к сестре, Хуана спросила:

— Вас подвезти?

— Да, если можно, пожалуйста, доктор.

Поначалу Хуана, пытаясь растопить этот лед формалистики с чинами и титулами, просила сестер называть ее по имени. Но это только усложняло им жизнь, и они всячески старались показать — весьма, впрочем, вежливо и совсем не назойливо,— что ее требование смущает их и даже страшит, ведь оно разрушало привычную обыденность, в которой существовали уважаемый Доктор, Старшие сестры, просто Сестры, Младшие сестры, Сестры-практикантки, и все эти титулы охраняли мир, куда они страстно стремились пробиться, а пробившись, старались вскарабкаться повыше. Хуана поняла все это и смирилась, но порой ей хотелось убедить себя в том, что со временем смешная и убийственная серьезность, с которой здесь относились к внешним пустякам — от званий до форменной, по чинам, одежды,— лопнет и работающие с ней рядом люди заинтересуются внутренней сущностью дела, а значит, возникнет и духовное общение, все еще — несмотря ни на что — очень нужное ей.

— Куда вам?

— Это рядом с бензохранилищем «Тексако», доктор, после переезда у Корле.

Обычно Хуана сворачивала вправо, как только выезжала за больничную территорию, и меньше чем через милю город отступал, а вокруг смыкались сухие колючие заросли, яростно вцепившиеся корнями в насквозь просоленную землю приморской долины, да редкие селения, окруженные пальмами, или одиноко стоящие дома с вывеской, что здесь живет знахарь-целитель. Но сейчас, сразу же за детским корпусом, Хуане пришлось поехать влево — по дороге на Аккру, незагруженной и широкой, превратившейся, однако, теперь в мышеловку, потому что кому-то в Городском совете захотелось сделать из нее автостраду с разделенными по осевой встречными потоками. Вдоль шоссе, от больницы до долины Корле, построили два бетонных барьера, и между ними посадили цветы, вскоре обратившиеся в бурую пыль, потому что их перестали поливать. Теперь пришлось бы тащиться через город, от которого Хуане так хотелось отдохнуть, и, подумав, она не поехала по шоссе, а свернула на старую прибрежную дорогу, ведущую к новому порту в Теме.

Они еще только подъезжали к долине, а над дорогой уже потянуло ветром, и зловонные воздушные языки стали захлестываться в окна машины. Сестра радостно и чуть испуганно захихикала, а потом до отказа подняла стекла и даже тщательно заперла ветровичок. Хуана с улыбкой посмотрела на сестру и, сдерживаясь, чтобы не рассмеяться, подняла стекло со своей стороны и тоже прикрыла ветровик.

После переезда у Корле Бу, увидев вывеску компании «Тексако», Хуана перешла на первую передачу и уже почти остановила машину, но тут сестра виновато улыбнулась и сказала, что ей, мол, надо бы подальше, да у больницы, когда они садились в машину, она не сумела как следует объяснить. Хуана молча поехала вперед и вскоре увидела недостроенный дом с надписью «Средняя политехническая школа» — эта стройка началась еще до ее приезда.

— Здесь,— неожиданно сказала сестра, и Хуана, заранее предполагавшая такую неожиданность, притормозив, плавно остановила машину, не подъезжая вплотную к открытой канаве. Сестра вышла, и ее губы зашевелились, выговаривая обычную многословную благодарность, но поднятые стекла заглушили все звуки. Люк в потолке кабины был открыт, и Хуана, привстав, прощально помахала сестре рукой.

Хуана проезжала здесь не впервые: уже несколько раз, вот так же днем, устав от города и больных и больницы, от одиночества, тоски и крайнего раздражения, с которым, несмотря на ее сильную волю, ей все труднее становилось справляться, она искала отдохновения в дороге. Уже несколько раз, выехав на шоссе и отдавшись целительному действию скорости, она вдруг начинала смутно надеяться, что ее жизнь вовсе не растрачивается впустую и что эта вот долгая бесцельная поездка поможет ей осмыслить свое существование. Дорога служила Хуане лекарством от застарелого болезненного беспокойства — Хуана бежала от работы, от людей, чью разрушенную психику ей надлежало восстанавливать, потому что это-то и было ее работой, но главное — от города, полонившего ее и как бы созданного специально для того, чтобы разрушать человеческую психику. Всякий раз, проезжая по городу, Хуана ощущала едкую злость, хотя и понимала, что это бессмысленно. Она злилась на себя, пытаясь осознать, зачем ей понадобилось спасать людей, не вынесших того беспорядочного ужаса, от которого она и сама хотела бы спрятаться, людей, измученных бесконечными страданиями и отгородившихся от них стеной безумия; ей казалось бессмысленным разрушать эту стену, чтоб вернуть людей в чудовищный город, способный сломить любой рассудок. Но тут она ловила себя на мысли, что город-то вовсе не самое худшее место. Ей приходилось бывать в деревнях, и там свирепствовал такой разор, по сравнению с которым этот каменный омут казался тихой и спасительной пристанью. В деревнях всеобщий развал и оскудение чувствовались гораздо сильнее, чем в городе. Видимо, корни бедствий таились глубже.

Когда Хуана проезжала через Джеймстаун, улицы были забиты машинами, и, напряженно лавируя в их медленной волне, она забыла про закрытые окна. И только потом, уже выбравшись из долины, миновав тюрьму, почтовое отделение, Бэркли-банк, стоящий слева, и закрытую церковь у берега справа, проехав мимо большого недостроенного здания, в котором должен был разместиться Стандард-

банк, она оказалась на свободной дороге и смогла, наконец, опустить стекла. Воздух был горячим и живительно-влажным; Хуана миновала здание Парламента и тут, как обычно, увидела полицейского, который весело и ловко дирижировал уличным движением, а сейчас остановил все потоки машин. Справа рокотал морской прибой, мощно, но мягко заполняющий слух, и вот в этом жарком и влажном спокойствии веселый полицейский повернулся, глянул на Хуану, улыбнулся и подмигнул ей, давая разрешение двигаться дальше. Первая передача включилась без скрежета, чего почти никогда не бывало. Машина плавно тронулась с места, и, поправляя зеркальце заднего вида — не потому, что его надо было поправить, а из желания прикоснуться к его овальному краю и почесать затекший безымянный палец,— Хуана еще раз посмотрела на полицейского, командующего машинами и их водителями, и тут вдруг она впервые заметила, что он почти не оглядывается назад, словно по нарастающему реву двигателей, по содроганию почвы безошибочно чувствует, что там происходит за его спиной.

Застарелое напряжение отпустило Хуану, и, даже проезжая Триумфальную арку, которая олицетворяла «свободу и справедливость», она не стала размышлять о том, как издевательски звучат порой эти слова — по крайней мере, для человека, знающего их истинное значение. Хуана проехала мимо стадиона, сегодня пустого и необычно тихого, потом резко повернула налево и сразу же, с опасностью для жизни, направо — так уж тут была проложена дорога,— а дальше, в районе Кристиансборга, ей пришлось убавить скорость, потому что здесь было много селений и их жители, скрытые домишками и заборами, имели обыкновение выскакивать на шоссе перед самым радиатором проезжающей машины. Но, приближаясь к кафе «Калифонийская луна», Хуана вовсе не собиралась останавливаться.

И тем не менее ей пришлось остановиться. Сзади ехало несколько машин, и повернуть обратно она не могла, а двигаться вперед было невозможно. Нет, не из-за аварии и обломков автомобилей — дорогу запрудила толпа людей в выцветших шортах, люди образовали широкий круг и с медленной неотвратимостью сходились все плотнее к центру круга в середине шоссе. На некоторых людях белели майки, но большинство из них были по пояс голыми, и их черные спины с капельками пота ослепительно блестели в послеполуденном солнце, будто капли конденсировали солнечный свет и потом оставляли его на коже — даже после того, как, слившись в струйки, бесшумно и мягко стекали вниз, под шорты. Но эти безобидные бисеринки испарины, выступившие на черных мускулистых спинах, говорили о злобной решимости людей, так же как вздувшиеся мускулы — о страхе, потому что, посмотрев вдоль линии взглядов, Хуана поняла, где они скрещиваются, концентрируя напряженную ярость людей,— там в самой середине дороги корчилась на асфальте дрожащая собачонка. Видимо, даже тропическое солнце не могло ее согреть, и она мучительно старалась вобрать в себя все хранимое дорогой тепло, беспрестанно кружась на месте в тщетной попытке распластаться так, чтобы прижать к горячему асфальту дороги и бока, и живот, и спину одновременно.

Казалось, что бесконечные страдания собаки и повисшая над дорогой напряженная ярость людей должны сопровождаться оглушающим воем, но вокруг стояла немая тишина, и только слабый голосок ребенка, в котором звенела испуганная мольба, взламывал ее, словно звон капель, разбивающихся о раскаленные камни пустыни. Хуана

почти не понимала слов и попросила женщину, стоявшую рядом, перевести ей, что говорит ребенок; эта женщина, непричесанная и чуть ли не голая, в накидке, кое-как завязанной на груди, явно впопыхах выскочила из дома, боясь не поспеть к какому-то зрелищу — очень необычному или очень страшному. Она говорила по-английски, произнося звуки на американский манер и пересыпая свою речь местными словами — из диалектов хауса, га и, вероятно, фанти; по ее рассказу выходило, что ребенок просит не трогать собаку, потому что он, дескать, очень ее любит и она ни разу в жизни никого не укусила, а сейчас и вовсе не может кусаться, что она не сбесилась, а просто съела что-нибудь плохое и вот пока еще не успела отрыгнуть, что она немного замерзла, а вот полежит здесь в тепле и согреется, если все эти здоровые чужие дядьки оставят ее в покое и уйдут.

Но никто, кроме этой распатланной женщины, не вслушивался в испуганную мольбу ребенка, и внезапно, с перекошенным от страха лицом, с застывшими в плаксивой просьбе губами, он попытался прорваться в круг, все теснее смыкавшийся вокруг собаки. А та, прижавшись боком к асфальту, старалась привалиться к нему и спиной, но у нее, разумеется, ничего не получалось. Она глянула на своего хозяина — и тут же потеряла последнюю надежду. Как раз в этот момент один из обступивших ее мужчин сообразил, что ребенок может им помешать, и, сграбастав маленькое тщедушное тельце, грубо отшвырнул мальчишку назад — с силой, на которую способен взрослый, когда он разъярен да еще и напуган; ребенок беспомощно отлетел к обочине, упал на спину и проехался по асфальту, прочертив полосу в потемневшем песке, сметенном вихрями от проходящего транспорта с центральной, продавленной колесами части шоссе. Он не издал ни звука и не поднялся. А кольцо мужчин, двигавшихся с медлительной яростью, все теснее смыкалось вокруг собаки. В движениях людей не ощущалось поспешности, но каждого из подступающих к собаке мужчин мучило желание самца быть первым, и временами их влажные от пота спины передергивала судорога злобного нетерпения.

Их было... сколько же их тут было? Хуана даже и не пыталась сосчитать, она смотрела на плотную толпу вокруг одной-единственной издыхающей собаки и ощущала повисший над толпой страх, хотя существо, которого они так боялись, было совершенно беспомощным. И ведь они были вооружены, эти люди. Один, с длинной яйцеобразной головой, ближе других подступивший к собаке, держал в руке тяжелый тесак, как бы состоящий из двух полос, намертво сплавленных солнечным светом,— зловеще мерцающего светлого лезвия и потемневшего от частых дождей обуха; тесак вычерчивал неровные круги в дрожащей — то ли от предвкушаемой радости, то ли от яростного страха — руке. За первым двигался по пятам второй — казалось, он всю ночь провел в кино и еще не очнулся от кинувидений. Этот полупроснувшийся зритель вооружился против несчастной собаки игрушечным деревянным пистолетом, который был выкрашен люминесцентной краской, зачаровывавшей взгляд мертвенным свечением. Но дремотное состояние не мешало и ему стремиться первым уничтожить жертву. У него были тощие волосатые ноги, он хмурился и корчил свирепые гримасы, которые плохо ему удавались: его губы морщились в странной ухмылке, ехидной и в то же время почти добродушной, хотя ее непонятная немота могла соперничать с бессловесностью несчастной собаки.

Третий, в побуревшей изодранной майке, с видневшимся сквозь дыры огромным брюхом, держал обеими руками вилы без среднего,

сломанного у основания, зубца, и в его глазах поблескивало нетерпеливое желание как можно скорее проткнуть собаку. Остальные ничем друг от друга не отличались — ни внешними признаками, ни той яростной храбростью, с которой они хотели прикончить жертву.

Кроме одного. Он был низкорослым, но не просто низкорослым, а бесформенно сплющенным, и при взгляде на него хотелось отыскать какое-то объяснение этому уродству, что-нибудь вроде горба. Но сначала никакого уродства не обнаруживалось, и лишь потом, посмотрев вниз, человек вздрагивал от удивленного омерзения, увидев чудовищно распухшую мошонку, выпиравшую из пропотевших рваных штанов,— она походила на третью ягодицу, которая в ожесточенной борьбе за жизнь выросла гораздо больше настоящих, а потом победоносно оттеснила их в сторону.

Кольцо мужчин не только сжималось, но еще и непрерывно смещалось по окружности, а Сплющенный, подошедший позже других, продвигаясь по кругу, все протискивался к центру, и, когда он повернулся лицом к Хуане, она увидела в его глазах такое яростно-маниакальное пламя, что взгляды остальных вдруг как бы потускнели, и у нее не осталось никаких сомнений, почему Сплющенный так стремился вперед; жажда убивать жгла его изнутри, а подобная жажда всегда мучительней, чем погоня за славой наилучшего охотника.

Расстояние между охотниками и жертвой сокращалось. Теперь только страх сдерживал людей и спасал собаку от неожиданного удара. Но Сплющенный уже пробрался вперед и неподвижно застыл за ее головой. Охотник с вилами вдруг заорал, и его крик приостановил других — ведь человек, укушенный сбесившейся собакой, которая, того и гляди, околеет, неминуемо умрет, да с такими муками, что лучше о них даже и не думать. В то время как крик разнесся над дорогой, Сплющенный поднял свое оружие — это была стальная мотыга с деревянными, утолщенными у концов ручками, на которых явственно виднелись ложбинки от пальцев многих поколений работников.

Боязливо-настороженная ярость толпы была разбита одним ударом, хотя и ожидавшимся, но таким стремительным, так люто и верно поразившим цель, что люди не сразу осознали увиденное. Острие мотыги пробило череп почти точно в середине между ушами. В первые секунды после удара ничего не случилось, лишь трясучая судорога — радости или страха, было непонятно — дергала окостеневшее тело Сплющенного. Да чуть слышно всколыхнулся протяжный вздох — в нем звучала не горечь, а покорная обреченность,— это всхлипнул мальчик, хозяин собаки.

Потом вокруг острия мотыги вспузырилась уходящая собачья жизнь. Вспенилась, сочась, светло-серая масса — мозги,— затем потемнела, разжижилась и вскоре превратилась в струйку крови. Светлое месиво на черном асфальте порозовело, смешиваясь с багровой жидкостью, и тотчас же кровь хлынула потоком, так что вокруг пробитой собачьей головы растеклась большая темная лужа.

Дрожь перестала сотрясать Сплющенного. Он издал короткий пронзительный вопль, ловко повернул острие мотыги, как бы подсекая пробитую голову, и победно поднял свою жертву вверх. Все расступились, подались назад. Теперь напряжение окончательно схлынуло, люди спокойно смотрели на Сплющенного, их тела расслабились, и пот подсох, оставив на спинах лишь соляные подтеки. В полном молчании круг распался, и мужчины, которые стояли впереди, безвольно потянулись за этим, последним, но, как оказалось, первым

убийцей,— сначала все провожали его взглядами, а потом покорно пошли за ним следом.

Торжествующий убийца, неся свой трофей, двигался с обычной скоростью пешехода, но перебирал ногами, словно бегун. Жизнь по капле сочилась из собаки, стекая на землю с поднятой мотыги. Но вдруг что-то потекло и со Сплющенного — по его правой ноге зазмеилась жижа, похожая на желтую застоявшуюся мочу, смешанную со сгустками свернувшейся крови. Сплющенный тревожно нахмурился, потом посмотрел вниз, и страх стер с его лица торжество. Тем временем поднялся упавший мальчишка. Заметив унизительное состояние убийцы, он, не вытирая слез, заорал:

— Жирные яйца, жирные яйца! Ага!

И хотя он все еще продолжал всхлипывать, теперь его тяжкое немое горе выхлестнулось в истерической издевке над врагом. Но испуг убийцы уже прошел, уступив место радостному облегчению. Что-то, закупоренное в его мошонке и убивавшее его мужские достоинства, наконец прорвалось наружу, и вот, несмотря на унижение и позор, Сплющенного охватила безудержная радость, превратившая его горделивую походку в припрыгивающую, гротескную поступь марионетки.

— Ага, уродина, ага, ага! — снова громко завопил мальчишка.

Официантка из кафе «Калифонийская луна» презрительно посмотрела на Сплющенного, за которым тащились остальные мужчины, и, длинно сплюнув им вслед, сказала:

— Убийцы.— Она говорила негромко.— Убийцы. А и всего-то им надо — пожрать.

Мальчишку уже снова душили слезы, и он опять затянул свои плаксивые объяснения, которых так никто и не выслушал. Но сейчас это была не истерика, и он не тщился захохотать сквозь рыдания.

Сразу же, как только шоссе освободилось, сзади раздался нетерпеливый гудок, и его подхватили другие машины. Впереди бензовоз компании «Шелл» загородил почти всю ширину шоссе своей громоздкой и длинной цистерной. Объехать его казалось невозможным, но все же какой-то человек на «хонде» изловчился вывернуть из ряда машин и теперь уверенно пробирался вперед, ухмыляясь и прощально махая рукой всем водителям, которых обгонял. Уже проехав мимо Хуаны, он оглянулся и посмотрел на нее. Она тоже помахала ему, и, самодовольно улыбнувшись, он исчез впереди. Наконец бензовоз сдвинулся с места, за ним потянулся остальной транспорт, и Хуана, включив первую передачу, потащилась в длинной веренице машин по улице, ведущей к шоссе на Тему. Особенно спешившие и нетерпеливые водители — у большинства из них были светло-серые «пежо» и новенькие белые «мерседесы» — выезжали вправо и, прибавляя скорость, старались обогнать медлительный бензовоз. Хуана, пропуская их, жалась к тротуару и внимательно присматривалась к окружающей ее жизни. На выезде из городка, за последней бензоколонкой, виднелся закрытый винный завод — чьи-то несбывшиеся мечты.

Хуану обогнал еще один человек — на скорости, которая говорила о том, что он полностью уверен в своей машине. Он плавно обошел еще двух водителей, минуту висел на хвосте у бензовоза, потом, выбрав короткое мгновение, когда встречный поток транспорта прервался, скользнул мимо бензовоза и резко вильнул влево, чтобы не столкнуться со встречным автобусом. Две ехавшие за бензовозом машины тоже вскоре его обогнали, и Хуана не спеша поехала сзади. В районе Теши, за военным полигоном с его нумерованными мишенями на фоне голубеющего в отдалении моря, ярко осве-

щенного послеполуденным солнцем, шоссе было широким, и машины шли быстро, но люди все же часто перебегали дорогу, и однажды жесткие молодые глаза полоснули сквозь стекло приближающуюся Хуану, но их враждебность туманилась не по возрасту ранним сознанием, что мгновенная смерть под колесами автомобиля в общем-то не слишком большая беда.

А потом, выезжая из-за крутого поворота, Хуана вдруг увидела маленький мячик, скачущий через шоссе перед самым бензовозом, а когда на дорогу выскочил ребенок, она, зажмурив глаза, инстинктивно нажала на тормоз. И сразу же услышала тяжкое содрогание тормозящего на полном ходу бензовоза. Когда она решилась посмотреть вперед, ребенок, скованный леденящим страхом, необычайно медленно подбегал к обочине и, попытавшись перепрыгнуть через дренажную канаву, шлепнулся на ее противоположный откос, поросший сухой колючей травой. Бензовоз стоял посредине шоссе, а злющий шофер, выпрыгнув из кабины, приближался к мальчишке — и явно не с добрыми намерениями. Но ребенок уже успел выкарабкаться из канавы, и к нему уже подбегала перепуганная женщина, только что, видимо, стоявшая у плиты — с ее рук капало красное пальмовое масло. Ребенок, всхлипывая, бросился к матери и спрятал лицо в ее накидке, а она обхватила его голову руками, на которых, так же как на обнаженной шее, вздулись, вероятно от пережитого ею ужаса, пульсирующие вены. Но шофер неумолимо приближался к ребенку, и тут женщина наконец-то его заметила.

— Господин,— сказала она по-акански, и Хуана стала напряженно вслушиваться, чтоб понять, о чем говорит женщина,— прости его. Ведь он ребенок. У тебя тоже, наверно, есть дети. Прости его, господин, он просто несмышленыш.

Лицо матери еще сковывал страх, но она заставила себя улыбнуться, чтобы хоть немного задобрить разозленного шофера. А тот, казалось, уже забыл о ребенке, и злость в его лице сменилась презрением.

— Тоже мне,— сказал он нарочито медленно, стараясь побольнее обидеть женщину,— мать! Ну скажи, какая из тебя мать? Какая ты мать, если твой ребенок играет со смертью, а тебе хоть бы что? Ну какая из тебя мать?

Женщина продолжала через силу улыбаться.

— Да, господин, это я виновата, пожалей его, господин. Ведь он ребенок!

— А ты дура безмозглая! — заорал шофер.

— Ругай меня, господин,— сказала женщина.— Я приму все твои проклятья за то, что ты спас моего ребенка.— Улыбка уже сползла с ее лица, но в нем не было ответной злобы — только трезвая и спокойная покорность.— Его отец работает в Теме. С раннего утра до позднего вечера. Мне надо приготовить ему поесть. Надо постирать. А тут ребенок. Ну, и что я могу ему ответить, когда он говорит, что хочет поиграть?

— А когда ты ложилась с мужем, ты о чем думала?

Шофер повернулся к женщине спиной, подошел — все еще напряженно — к бензовозу и залез в высокую кабину.

— Ругай меня, господин,— повторила женщина.— Он со мной.

Шофер завел мотор, и бензовоз с ревом уехал. Лицо женщины сразу посуровело, и она, строго глянув на малыша, принялась с пристрастием его допрашивать, но не выдержала, и в ее суровом дознании зазвучало заботливое материнское участие. Переполнявшие ее тревожные слезы капали на темные ручонки малыша, и, сотрясаясь от безмолвных рыданий, она нежно прижимала сына к себе.

Снова выехав на пустынную дорогу, Хуана неожиданно задумалась о спасении. Быть может, из-за едва не случившейся трагедии. Она видела ужас несчастной матери перед чем-то бесповоротным, она ощущала вместе с женщиной тяжкий страх и громадное счастье — от того, что могло случиться, но не случилось. Ей была понятна решимость матери отныне глаз не спускать с ребенка... но слова, сказанные женщиной под конец, показали Хуане всю тоскливую обреченность, с которой та смотрела в будущее.

— Вот она, наша жизнь,— проговорила женщина, мельком посмотрев в далекое небо и опустив взгляд вниз, на своего ребенка; она недоуменно покачивала головой и даже не вытирала медленных слез. «Вот она, наша жизнь». Это было все, что женщина знала. Долгая череда смертельных опасностей, ограниченная у начала и конца тьмой, узкая дорожка, ведущая к неминуемой гибели и окаймленная к тому же бесчисленными бедами, среди которых чуть тлеют надежды да иногда вдруг вспыхивает неожиданное чудо, спасающее путника от мгновенного конца, за которым таится все та же тьма.

Так стоит ли барахтаться, снова и снова думала Хуана. Стоит ли доверять искоркам надежды, тлеющим во мраке нескончаемых угроз, которые неизменно таят в себе гибель? Разрушение все прочнее утверждается в этом мире. А город разрушает не только психику — он успешно калечит людей и физически. Размеры разрушений настолько велики, что попытки Хуаны кого-то спасти просто тонут в бескрайнем море самых простых и неотложных нужд. Но разве здешних людей в этом убедишь? Необходима поистине гигантская энергия, чтоб заставить человеческий ум обратиться к непосильным ему проблемам. Но еще труднее — восстановить разрушенный рассудок. Так стоит ли возвращать к жизни людей, которых, в отличие от этой вот женщины, жизнь уже один раз сломала? Стоит ли нарушать их иллюзорный мир? Можно, конечно, не размышлять о жизни, а думать только о научных абстракциях — окружающая среда, способы адаптации, сравнительный анализ влияющих факторов. Особенно когда сидишь в коттедже для избранных с противомоскитными сетками на окнах и никак не сталкиваешься с обыденной жизнью, с необходимостью — нет, не просто жить, а бороться на смерть с этой самой окружающей средой. А пока у тебя нет подобного опыта, здешний мир с его чудовищными слухами и невероятными сообщениями правительственных газет кажется непонятным или просто нереальным. Однажды в газете «Отечественные новости» промелькнула заметка об аресте двух горожан, которые вышли на улицу в рубахах с изображением запыхавшихся потных борцов и надписью сверху: «Воители».

«Наглость» — вот как на следующий день комментировала передовая статья в газете поступок этих людей. «Зачем,— вопрошала газета,— они надели такие рубахи? Чтобы с помощью непристойных рисунков, оскорбляющих весь наш народ, внести смятение в умы граждан, занятых самоотверженным трудом?»

Всякий раз, выезжая на шоссе, Хуана видела грузовики и автобусы с таинственной надписью: «OBRA E KO». Немного научившись говорить по-акански, она спросила, что означают эти слова. «Да ничего особенного,— ответили ей.— просто «Жизнь — это борьба». Встречала она и другие надписи, которые казались ей совершенно невразумительными, пока она не осознала, что они — естественное порождение здешней жизни.

Она поняла смысл еще одной надписи, когда, не выдержав одно-

образной скуки, в которой кружилась стайка приезжих — дом, работа, бесконечные вечеринки и ночные бдения в «Звезде», куда они неизменно отправлялись после болтовни в посольствах или в отеле «Амбассадор», воскресные дни, проведенные на берегу моря или у открытого бассейна Акосомбо,— она перестала слушать рассказы иностранцев об этой стране и принялась изучать ее сама. «СМОГ — Спаси меня, о Господи!» Местный житель рассмеялся, когда она спросила, к чему такая надпись.

— Смешно, верно? — отозвался тот. Он был шофером автобуса, на котором красовались эти буквы.— У бедняка ничего нет. Вот ему и мнится, что там, в небесах, у него будет все. Там ведь рай.

Местная жизнь постепенно открывалась Хуане, и таинственные надписи обретали зловещий смысл. А иностранцы не уставали твердить о живописной самобытности этой страны. И они были правы — по-своему. Они видели только внешнюю оболочку, а лучи неистового африканского солнца могли оживить и расцветить все что угодно. Хуана, стараясь понять глубинную сущность здешней жизни, сперва удивлялась той слепоте, которая застилала глаза иностранцев. И только потом, узнав их поближе, она догадалась, что это вовсе не слепота, а нарочитое стремление ничего не видеть или намеренно не обдумывать увиденного. Страшная неустроенность местных жителей была слишком очевидной. И порой иностранцы со смехом толковали об этом, превращая кошмарную абсурдность жизни в пикантную приправу для своих скучных обедов. Но тому, кто ощущал весь этот ужас, кусок становился поперек горла; такой человек угрюмо замолкал и при первой же возможности старался уехать. В какое новое убежище от земной жизни?..

Впрочем, местные-то жители все понимали. Однажды, выйдя из кабинета, Хуана услышала спор медсестры Пейшенс с ассистентом новой лаборатории психиатрии. Ассистент — его звали Букари — только что, видимо, сравнил больных психиатрического отделения с рыбами, выкинутыми из воды. Когда Хуана открыла дверь, говорила Пейшенс:

— Сами и виноваты. Чем они занимаются? Ищут себе приключений.

Ее реплика поразила Хуану.

— Каких приключений?

— Да ведь кто они такие? Алкоголики, наркоманы, всякие там оккультисты.

— Неужели вы не понимаете? Они пытаются найти выход,— сказал Букари.— Из тупика жизни.

— Вот они и выкинули себя из жизни,— возразила Пейшенс.— И вы, значит, правы. Они рыбы, выкинутые из воды.

— Да, выкинутые из воды рыбы. Все наши больные.— Букари сокрушенно покачал головой. Хуана уже возвращалась в кабинет, но прежде чем она закрыла дверь, Букари все так же сокрушенно закончил: — Да-да, выкинутые. Из кипящей воды.

Дорога была теперь совсем пустой. Промелькнули последние предупреждения о полигоне, и Хуана спустилась в ложбину, вырытую в гряде холмов, протянувшихся почти до моря, а потом снова повернула налево и поехала к востоку, в сторону Темы. Шоссе те-

перь шло у самого берега, и кое-где на насыпи, в дождевых промоинах, виднелся чистый песок. Справа к дороге примыкал песчаный пляж. Кокосовые пальмы, отгородившие шоссе от моря, шелестели на ветру тяжелыми листьями. Обломанная ветка повисла над дорогой, шурша сухой, побуревшей листвой, а тени пальм косо протянулись к морю, расчерчивая песок темными параллельными полосами и иногда, при резком порыве ветра, пересекаясь друг с другом.

Дорога опять пошла влево и чуть вверх, к металлическому, поржавевшему от морской соли мосту, под которым пролегла старая железнодорожная ветка на Тему. После переезда черный асфальт шоссе изогнулся крутой подковой, обходя вдающийся в берег залив, а рельсы по невысокой дамбе протянулись через залив напрямую. Они заржавели и казались совершенно заброшенными, потому что теперь, когда строительство порта закончилось, поезда по этой ветке не ходили.

Потом дорога снова пошла вдоль берега, прямо на восток. Иногда ветер, задувавший с моря, сносил машину чуть влево, к обочине. Хуана теперь ехала вплотную к бензовозу, ползущему так медленно, что она с трудом сдерживала раздражение. Она посигналила и взяла немного вправо. Но шофер бензовоза не подал ответного сигнала. А когда она стала его обгонять, вдруг резко вывернул на середину дороги и поехал быстрее. Вдали показался коричневый грузовик, идущий навстречу с большой скоростью. Хуана уже поравнялась с кабиной бензовоза, но его шофер, все нажимая на акселератор, с угрюмым упорством не замечал ее. Она притормозила и, когда бензовоз утянулся вперед, круто свернула влево, едва не столкнувшись со встречным грузовиком.

Неприятное ощущение от потери скорости заставило Хуану задуматься над вопросом — почему ей так нравится быстрая езда? И она вспомнила, что, двигаясь медленно, она и размышляет вяло, и видит вокруг гораздо меньше... но довести эту мысль до конца Хуана не успела.

Впереди показалась проселочная дорога, ответвляющаяся от основной влево, и Хуана решила свернуть на нее. Проселок, проложенный совсем недавно, пересекал красноватое латеритное плато, но потом уперся в каменистую россыпь, и Хуана, проезжая по ней, чувствовала, как из-под колес машины выскакивают зазубренные камни, а вскоре дорога и вовсе затерялась среди глубоких дождевых промоин и больших валунов — лишь кое-где впереди виднелись следы тракторных гусениц и оставленные грузовиками колеи. Въехав по крутому склону, Хуана увидела, что заросли кустарника кончились. Проселок, казалось, просто оборвался, но, оглядевшись внимательней, она поняла, что раньше здесь была небольшая каменоломня.

Перед Хуаной теперь расстилались возделанные поля, и растительность на них была пониже, чем кустарник, но все же чуть выше человеческого роста. Тут были в основном зерновые, но попадались участки, засаженные вьющимся арахисом и вытянувшейся вверх маниокой, да кое-где виднелись большие мясистые листья ямса. Хуана пошла по тропинке, пересекающей посадки арахиса, потом обогнула участок, засаженный маниокой, и нашла дорожку, спускающуюся с холма. Вскоре впереди открылось море. Прибрежную полосу еще заслоняли посевы, но вся необъятная морская ширь, до самого горизонта, искрилась перед Хуаной, и так близко, что казалось, сделай

лишь шаг, оттолкнись от холма — и окунешься в синюю воду. Временами посевы и высокий тростник клонило ветром, и в открывающихся просветах был виден маленький одинокий корабль, словно бы плывущий по соседнему полю. Полузабытая иллюзия детства — Хуана вспомнила, как еще там, дома, вырвавшись из-под строгого материнского надзора, она торопливо бежала к морю, надеясь, что, если ей никто не помешает, она наконец-то отыщет кораблик, плывущий по зеленым волнам. Даже и сейчас, несмотря на опыт прожитых лет, эта детская надежда не совсем умерла в душе Хуаны.

Земля густо заросла поднимающейся травой, и Хуана потеряла дорожку, но потом нашла опять — по пролысинкам немного впереди, а затем, выйдя ко второй ферме, окончательно потеряла ее из виду. Тут низкорослые наклонные побеги маниоки едва подымались над полем, а чуть дальше виднелся окученный ямс — холмики бурой латеритной почвы были обложены светлой галькой и плитками песчаника, а ряды воткнутых в землю колышков ожидали, когда ямс подрастет и выпустит усики, чтобы тянуться вверх. Теперь Хуане приходилось спускаться боком, потому что склон был очень крутой. Песок забивался под ремешки босоножек, а потом ей и вовсе пришлось остановиться, чтобы вытряхнуть попавший в босоножку камешек. На нем темнело пятнышко ее крови.

Отбросив камешек, Хуана выпрямилась и прямо перед собой увидела цветок с длинным и необычайно тонким стебельком. Цветок был желтый. Он резко выделялся на фоне сочной зелени полей. Перечеркнув открытый Хуане кругозор, малюсенькая черно-красная пташка бесшумно спланировала на желтый цветок. Хуана подумала, что он сломается или бессильно пригнется к земле — ведь он казался очень хрупким,— но, к ее удивлению, цветок лишь слегка склонился. Хуана почувствовала непреодолимое желание прикоснуться к этому двойному чуду и стала осторожно приближаться к цветку, надеясь, что птичка ее не испугается. Но не успела она сделать и нескольких шагов, как птичка вспорхнула, на секунду словно повисла в воздухе, а потом стремительно метнулась в сторону.

Спускаться обратно к шоссе было гораздо легче. Стебли маниоки попадались все реже, а около дороги исчезли совсем, и на песчаной почве виднелись лишь камни. Съезжая с проселка, Хуана притормозила, чтобы дождаться перерыва в потоке транспорта. Пропустив машины и пересекая дорогу, она машинально посмотрела вниз и увидела свежие наносы песка, вдавленного колесами в черный асфальт; уже переехав дорогу и спускаясь к берегу, Хуана несколько раз оглянулась. Ветер с моря налетал порывами, коротко посвистывая в пальмовых кронах и наметая на дорогу барханчики песка — к середине дороги они становились все ниже и, наконец, раскатившись отдельными песчинками, бессильно рассыпались у левой обочины. Вихрь от громыхающего к Теме грузовика взметнул успокоившиеся было песчинки, а потом двойные задние колеса тяжело вдавили песчинки в асфальт. Шорох листьев то нарастал, то затихал, и, когда ветер на минуту ослаб, Хуана уловила чуть слышные звуки монотонной, но страстной хоровой песни и переливчатый звон тамбурина.

Вскоре Хуана выехала к берегу и вышла из машины. Она сразу же увидела корабль, но он был очень далеко и, уходя все дальше, неумолимо уменьшался. Хуана давно уже привыкла к тому, что надежды почти никогда не сбываются. И каждая рухнувшая надежда напоминала ей о разочарованиях юности. От подобных напоминаний

никуда не скроешься и, сколько ни путешествуй, спокойствия не обретешь. Если, конечно, не успокоишься на тоскливой уверенности, что изгнанник, где бы он ни оказался, несет причины разочарований в себе. Любые события, любые страны неизменно будут напоминать ему об этом.

Хуана не снимала босоножек, пока не подошла к линии прибоя, где постоянно набегающие на берег волны уплотнили и остудили раскаленный песок. Теперь пение и звуки тамбурина слышались непрерывно. Хуана пошла вдоль берега, держась у дальней кромки прибоя, так что самые длинные язычки волн распадались, не докатываясь до ее ног. Голоса певцов становились все отчетливей. Песок на несколько ярдов в ширину был истоптан множеством босых ступней, и полоса следов уходила на возвышенность, подступившую к самой воде. Поднявшись, Хуана увидела певцов и поняла, что это они оставили следы на песке.

Они расположились примерно в четверти мили от Хуаны, и было ясно, что их тут больше сотни. Они пели, раскачиваясь в такт мелодии, и порой над головами этой качающейся толпы взлетала рука с блестящим тамбурином. Люди стояли, чуть отступив от моря, и, казалось, не обращали никакого внимания на то, что песок был неимоверно горячим. А у моря, в прохладной пене прибоя, какой-то человек с пышной бородой и в длинном белом одеянии яростно жестикулировал, пританцовывая под звуки тамбурина,— пока окончательно не выбился из сил. Остановившись, он резко взмахнул рукой, пение стихло, тамбурин замолк, и послышался ровный рокот волн. Бородатый властным и уверенным жестом подозвал к себе кого-то из толпы. Это была женщина; она выступила вперед и пошла к Бородатому. Остановив ее там, где кончался сухой песок, он обратился к остальным с проповедью. Женщина оказалась переводчицей — проповедник говорил по-английски. Хуана слышала слова Бородатого, но старалась уловить аканскую речь переводчицы и радовалась, что почти все понимает. Проповедник настойчиво напоминал об огне. Об огне божьего гнева и славы, о вечном огне, полыхающем в аду, а слушатели сокрушенно стенали и обливались потом, стоя на раскаленном прибрежном песке. Вскоре проповедь стала спокойней, послышались слова об отдыхе в раю, где праведникам уготована мирная прохлада, и радостные крики «Иисус, о, Иисус» разодрали пересохшие глотки слушателей. Две женщины, вопившие особенно исступленно, яростно сорвали с себя одежду и, голые, покатились по раскаленному песку к морю. Какой-то мужчина хотел было их остановить, но Бородатый повелительно поднял руку и, перекрывая общий гомон, заорал:

— Придите ко мне! Пусть придут ко мне!

Мужчина попятился и присоединился к толпе.

— Придите ко мне! — взывал Бородатый.— Придите все, придите в своей первозданной наготе!

Сейчас же вслед за выкриком Бородатого слушатели, словно по команде, разразились новыми громкими воплями, в которых слышались мольба и надежда. Еще несколько женщин сбросили платья, и через секунду вся эта огромная толпа превратилась в неопрятный взъерошенный вал, с воплями катящийся к полосе прибоя. Когда люди подкатывались к Бородатому вплотную, он окунал их головы в набегающие волны и, подержав несколько секунд, отпускал, а двое его помощников-мужчин отводили их после обряда в сторону.

Хуана снова надела босоножки и, обойдя толпу, зашагала на запад. Порой она оглядывалась и видела тела измученных людей, безжизненно лежащие на сухом песке.

Далеко впереди виднелся уменьшенный расстоянием силуэт древнего рабовладельческого форта, в котором теперь обосновались новые хозяева. Хуана знала, что удивляться тут нечему. Никто здесь, видимо, не нуждается в прощении, и ни к чему жалеть себя, раз ты отождествила себя с людьми, которые не ропщут на совершенные против них преступления. Пожалуй, теперь самое главное преступление состоит в том, что не осуждаются прежние и, вероятно, их никогда уже не осудят — ни здесь, ни там, где она родилась. Как все призрачно и истонченно в этом мире — даже тут, на спокойном, безлюдном берегу, тонкие тени пальм кажутся полустертыми и нереальными, а суетливые крабы, увидев ее, прячутся в норы, гротескно ковыляя вбок на своих тонких подламывающихся лапках.

Какое же это проклятье — постоянно помнить о том времени, когда вся жизнь еще лежала впереди и юность не таилась в тоскливых воспоминаниях, а отважно звала вперед, к еще новым свершениям. Жизнь тогда расцвечивалась предвидением катастрофических перемен, и, если ее освещали кровавые или дымные вспышки, видения грядущего делались лишь более яркими. Вспышки, сжигающие рабские колодки, и брызги крови потомственных кровопийц не могли помешать обновлению мира. В те времена у них была цель, и ежедневные усилия озарялись надеждой, что видения вскоре обернутся явью. А теперь у нее осталась лишь обыденность, бессильная и бесцельная. Избавиться бы от тревожащих видений, зажмуриться, свести их к взгляду только на себя, чтобы бродить здесь в покое, прячась от отчаяния под легкой тенью кокосовых пальм, среди солнечных, отраженных волнами бликов. Хуане казалось, что здесь возможен личный покой, но для этого должна была навеки упокоиться ее внутренняя тревога.

В первые месяцы Хуана тяжко страдала — потому что ехала сюда бороться, а встретила лишь мертвый застой. Слушая людей, путешествуя и изучая этот новый мир, она поняла — здесь и в помине нет того, что она надеялась найти. Никакой борьбы, никаких столкновений — лишь угасание целых народностей — то же самое, с чем она встречалась дома. Можно было на этом и успокоиться, но оказалось, что среди столь многочисленных напоминаний о беспомощности жертв и слепоте правителей обрести спокойствие просто невозможно. И она стала создавать его себе искусственно. Приспособление. Оно было совершенно необходимо здесь, хотя Хуану и разбирал невеселый смех, когда она произносила это слово. Понимание сущности создаваемых людьми иллюзий — или внутренней сути людей, над которыми их же иллюзии и властвуют. И чтобы выжить — иллюзорное, необычайно узкое видение мира, потому что всевидение, подобно всеведению, грозит человеку многими бедами.

Белый силуэт далекого форта вновь разбудил в Хуане вопрос — зачем же она все-таки приехала сюда? И когда она решит для себя окончательно — уезжать ей или оставаться? Но оставаться здесь не было никакого смысла — ведь она видела, что здешние правители, как и те, от которых она уехала, как любые правители, с которыми она сталкивалась, знали обо всех ужасах жизни, но употребляли свою власть только на то, чтобы эти ужасы не коснулись их самих.

Они старательно не хотели замечать, что медленно и бесполезно погибают — вместе со своим несчастным народом, уже давно обреченным на исчезновение. Все это было очень странно; Хуана вспомнила, как однажды, вскоре после приезда, еще не привыкнув к здешней жизни, она сидела после полуночи в «Звезде» и смотрела на дремотно танцующие, словно скованные в единый круг, пары; да, в тот раз все вышло очень странно — потому что она, тогда еще даже и не помышлявшая о покое, спросила у молодого ганского врача, сидевшего с ней за столиком, как он понимает слова песни, под которую кружились на эстраде танцоры, и врач, улыбнувшись, начал декламировать:

Счастлив живущий сегодня,
живущий только сегодня.
Печальна участь провидцев
и тех, кто помнит о прошлом.
Блажен лишь тот, кто не знает о тяжких завтрашних муках
и не помнит вчерашних страданий,—
лишь он обретет покой.

Это было не очень давно, однако многие события, да и собственные ее мысли часто будили в ней тревожное ощущение непрочности даже ее маленького, замкнутого в себе убежища...

В отдалении она увидела пятерых или шестерых парней, идущих ей навстречу. Бояться людей — особенно тех людей, с которыми она хотела неразрывно связать свою судьбу,— было глупо, но зверские грабежи ради ничтожнейшей поживы сделались тут настолько привычными, что Хуана стала считать насилие над слабыми нормой здешней жизни и видела спасение только в постоянной подозрительности. Она повернула назад. Парни пошли быстрее, нагоняя ее, но когда она побежала, остановились и разлеглись на песке.

Тем временем проповедь кончилась, и молельщики начали расходиться. Небольшими группами они подымались к дороге, чтобы сесть на автобусы, идущие в Аккру. Когда очередной, третий, автобус уехал, проповедник попрощался и в сопровождении двух помощников, переводчицы и еще двух женщин отправился к голубому «мерседесу», стоявшему у дороги в тени кокосовых пальм. Хуана только теперь заметила его машину. А когда машина тронулась, Хуана увидела, что ее ведет не сам проповедник, а один из его помощников.

Подходили автобусы, и людей на дороге становилось все меньше. Хуана уже собиралась уезжать, когда заметила еще одну последовательницу проповедника. Она сидела на берегу, вытянув ноги и привалившись спиной к выброшенному из воды массивному бревну. Солнце светило ей прямо в лицо, и, подходя к ней, Хуана подумала, что ее глаза закрыты. Судя по неразодранному, неизмятому платью, эта женщина не участвовала в общем обряде, и оказалось, что глаза ее были только полуприкрыты, потому что она первая поздоровалась с Хуаной — по-английски. Ей было за сорок, но красота ее еще не увяла, а когда она разговаривала или улыбалась, на солнце ярко белели ее прекрасные зубы. Хуана ответила на приветствие, и женщина сразу же начала разговор — по-детски живо, но и не без кокетства.

— Вы ведь афро-американка,— сказала женщина.

— Пуэрториканка,— ответила Хуана.

— А что это такое?

— Да почти то же самое. Я долго жила в Америке, и кое-кто из моих предков был привезен отсюда. А вы?

— А я никогда отсюда не уезжала.— Женщина поправила шаль,

сделанную из той же зеленой материи, что и кофта, но ветерок снова приподнял ее, и она небрежно повисла на одном плече.— Здесь-то, по своей земле, я ездила, а вот далеко — никогда. Ну, правда, два раза была в Того.

— А сюда вы часто приходите?

— К провидцу-то? Сегодня первый раз пришла.

— И еще придете?

— Да вы посидите,— сказала женщина, разравнивая рукой песок. Хуана села.— Приду обязательно, если только это правда...

— Что правда?

— Ну, если я и вправду получу, что мне хочется. Провидец обещал — если я буду верить.

— А что он вам обещал? Или это секрет?

Женщина улыбнулась улыбкой скромницы.

— Да вы, наверно, знаете,— сказала она.

— Деньги? — попыталась угадать Хуана.

— Деньги, они, конечно, всем нужны. Только я-то пришла не за этим. С деньгами пока обойдется.

— Мужа?

— Эге! А вы, я вижу, знаете, зачем люди ходят к провидцам.— Ее улыбка стала совсем скромной.— Ну, я ведь уже не девочка... хотя есть мужчины...— Она подмигнула Хуане.

— Ребенка? — спросила Хуана, тоже подмигнув.

— Вроде того,— сказала женщина. Ее ответ удивил Хуану. Женщина не собиралась продолжать, но, заметив недоумение собеседницы, добавила: — Вам, конечно, странно. Ну да, вам странно, что я — такая старая — хочу ребенка.

— Нет, почему же...— Хуана пыталась подыскать уклончивый ответ.— У нас, там, откуда я приехала, люди тоже согласны на все, лишь бы у них был ребенок.

— Дети в нашей жизни самое главное,— сказала женщина с неспешной определенностью, как бы лишь подтверждая то, что всем известно.

— А у вас их нет? — спросила Хуана.

Женщина снова поправила шаль и потом, подняв вверх три пальца, сказала:

— Как не быть, что вы. У меня их было трое. Один, правда, умер. А тот, кого я жду, он давно уже родился. Ему сейчас... дайте-ка сосчитать... двадцать пять лет.

— Он уехал?

— Он...— женщина легонько дотронулась до живота,— он учится. И вернется совсем взрослым человеком. Большим человеком.— Она оглянулась, посмотрела поверх бревна в море и, показав на него, продолжала:— Он придет оттуда или по небу, на самолете.— Женщина замолчала, но потом, не удержавшись, сказала со вздохом:— Пять лет. Пять лет, как он ушел, и я уж стала бояться, что он совсем пропал.

Хуана улыбнулась.

— Ну, страхи матери...— начала было она, но женщина перебила ее:

— Не в том дело. Он не хотел возвращаться.

— Почему?

— Не знаю,— сказала женщина, и ее глаза начали наполняться слезами.— Откуда мне знать? Я ведь только на него и надеюсь, а он хотел бросить меня одну.— Но женщина не расплакалась и снова улыбнулась.— Вот из-за него я и пошла к провидцу. Я молилась больше любой другой женщины, и мне не хочется искушать бога, но, наверно, он уже услышал мои молитвы.

— Вы узнали что-нибудь ободряющее?

— Он прислал письмо — написал, что возвращается. Только не знаю когда. Потому что он заболел.

— А как его зовут?

— Баако.

— Вы не знаете, чем он болен?

— В том-то и дело, что нет,— сказала женщина, качая головой.— В том-то все и дело. Меня совсем сбили с толку. Говорят, телом-то он здоров. Провидец сказал, что он болеет душой и это ему страдание от бога, чтобы он вернулся.

— И вы верите провидцу?

— Не всему, что он говорит. Но про сына-то как же мне не верить?

— А куда он уехал?

— В Америку.

— Понятно.— Хуана подняла голову, и солнце заставило ее сощуриться.

— Может, хоть вы мне скажете,— снова заговорила женщина,— почему так много наших сыновей не хотят возвращаться оттуда? Что их там держит? Ведь это не один только мой.

— Не знаю,— ответила Хуана.— А вам кажется, они именно оттуда не хотят уезжать?

— Откуда же еще?

— Нет, я не о том. Может быть, им просто сюда страшно возвращаться?

Женщина не обратила внимания на последние слова Хуаны; она помолчала и протяжно вздохнула. Потом, словно вдруг поняв что-то новое, сказала:

— Я ведь просто надеюсь, что он вернется. Теперь уж, видно, скоро.— Она встала и пошла к дороге.

— Вы, наверно, очень любите сына,— сказала ей вслед Хуана; но она говорила негромко, и ветер заглушил ее слова. Однако женщина неожиданно остановилась. Ее губы зашевелились, но ветер дул с моря, и Хуана, ничего не разобрав, решила подойти к ней поближе.— Не слышно,— проговорила она, приближаясь к женщине.

— Я спрашивала, где вы работаете. Может, я когда-нибудь пришла бы к вам.

— В больнице Корле Бу. Новое отделение.

— Оно такое красивое,— сказала женщина. Хуана улыбнулась.— Вы доктор?

— Да, психиатр.

Когда они подошли к первому ряду кокосовых пальм, женщина нагнулась и подняла желтоватый, только что упавший лист. Она оторвала тонкий черенок, сломала его и, сунув в рот, сжала зубами. На дороге последние молельщики садились в подошедший автобус. Женщина нерешительно посмотрела на них.

— Я подвезу вас,— сказала Хуана. Женщина снова улыбнулась и поблагодарила ее.— Моя машина вон за тем холмом. Я сейчас приеду. А вы, если хотите, подождите меня здесь.

— Да уж я пойду с вами.

— Там довольно круто,— сказала Хуана.

Женщина рассмеялась:

— Как бы вам раньше меня не запыхаться.

Но когда они подошли к машине, Хуана дышала ровнее, чем ее спутница. Хуана открыла дверцу, и та, благодарно вздохнув, забралась в машину; она все еще жадно ловила ртом воздух. Хуана развернулась и спросила:

— Вам в какой район?

— Канеши,— ответила женщина.— Да в городе-то я сама доберусь до дому, на автобусе.

— Очень уж они теперь редко ходят.

— Редко. А то и вовсе не ходят.

— Я отвезу вас прямо домой. От вас до Корле Бу не больше двух миль.

Дорога была пустынной. И даже в городе им почти не встречались машины, а в районе Канеши они не видели ни одной. Хуана ехала медленно, то и дело спрашивая свою спутницу, куда свернуть. Та, казалось, дремала и всякий раз, ответив Хуане, задремывала снова.

— Тут,— проговорила наконец женщина, указывая на низкий домик с красной крышей, окруженный белым каменным забором.

— Красивый дом,— сказала Хуана, останавливая машину у ворот.

— Вам правда нравится? — живо спросила женщина.— Вы думаете, он и правда достоин побывавшего?

Хуана не нашлась с ответом. Она неловко улыбнулась и сказала только:

— Надеюсь, ваш сын скоро возвратится.

— Ох, я тоже надеюсь, всей душой надеюсь.— Женщина вылезла из машины и осторожно прикрыла дверцу — так, что она не захлопнулась, и Хуане пришлось захлопнуть ее посильней. Женщина пошла к воротам и, оглянувшись, еще раз поблагодарила Хуану.

— А свое-то имя вы мне так и не сказали,— крикнула Хуана ей вслед.

— Эфуа,— ответила женщина, вернувшись к машине.— А вас как зовут, доктор?

— Хуана.

— Значит, доктор Хуана.

— Просто Хуана. Доктор я на работе.

Женщина засмеялась и, пока Хуана не скрылась за поворотом, прощально махала ей рукой. Хуана не ощущала ни усталости, ни печали. Ее снова охватило успокоительное оцепенение, и она неспешно поехала по знакомой дороге к больнице.

Глава третья

Добро пожаловать!

Автобус авиакомпании, медленно подаваясь назад, втиснулся в узкую щель между другими машинами, застывшими под углом к тротуару, и остановился. Баако дождался, когда толкотня у выхода схлынет, и, взяв свой багаж — чемодан, гитару и портативную пишущую машинку,— прошел вперед, спустился по ступенькам и боком пролез в узкую дверь. Верхние зеленоватые стекла автобуса смягчали силу полуденного солнца. Но когда Баако вышел, его ослепила такая яростная белизна, что мир вдруг представился ему бескрасочно-плоским, словно он был залит холодным искусственным светом гигантского прожектора,— в этой мертвенной белизне даже теплый полдень казался обманчиво прохладным. Впереди какая-то женщина с совершенно бесцветными в этом слепящем сиянии волосами, подталкивая тележку, на которой лежали два серо-голубых чемодана, шла к стоянке такси. Баако положил свой багаж на пустую тележку и зашагал к двери с надписью «вход» на английском и французском языках. Колеса тележки мягко простучали по ребристому коврику из резины, и Баако

вошел в длинное здание аэропорта. Внутри свет, вливающийся в широкие окна, был все таким же ярким. Параллельные линии люминесцентных ламп на потолке, почти невидимые, лишь подкрашивали его мертвенной голубизной.

Баако обвел взглядом конторки авиакомпаний у правой стены и подошел к той, над которой светилась надпись «Эр Африк». За конторкой сидели две девушки в голубовато-серой униформе. Одна из них была африканка, и отбеленная прядь в ее темно-каштановом парике сразу бросалась в глаза. Вторая, худощавая блондинка, с отсутствующим видом смотрела прямо перед собой, крепко закусив нижнюю губу. Когда Баако, придержав тележку, спросил у блондинки, говорит ли она по-английски, та показала на вторую девушку, и Баако подошел к африканке:

— Мне сказали в агентстве, что я могу улететь сегодня.— Он протянул девушке билет. Она взяла его и стала рассматривать.

— Нью-Йорк, Париж,— вполголоса читала она.— Ага, Париж — Аккра. Есть рейс в шестнадцать сорок пять. Посадка начнется в шестнадцать пятнадцать.

— Куда мне идти?

— Вон туда, вдоль стены. Дойдете до указателя — увидите стрелку. Чуть подальше, за «местом встреч»,— эскалатор, подыметесь в зал ожидания. А багаж можете сдать здесь.

Баако снял с тележки чемодан и поставил его на низкие весы.

— А инструмент? — спросила девушка, не отрывая взгляда от шкалы весов.— Ваш чемодан совсем не тяжелый.

— Я знаю,— ответил Баако,— но гитару я лучше возьму с собой.

— Вы думаете, ее повредят?—Девушка улыбнулась.—Не бойтесь, все будет в порядке.

— Уговорили,— сказал Баако и положил гитару рядом с чемоданом. Девушка, склонив голову, снова посмотрела на шкалу.

— Вот и прекрасно.— Она опять улыбнулась.

Баако тоже улыбнулся и, поблагодарив девушку, пошел налево, к цепочке пустых тележек. Немного не доходя до них, он поднял пишущую машинку и толкнул свою тележку вперед. Она легко покатилась и приткнулась к караванчику своих сестер. Баако дошел до светящегося табло, нашел нужную стрелку и свернул направо. Ярдах в десяти от него, слева, снова начинался ряд регистрационных конторок. В проходе между ними вращался блестящий алюминиевый глобус. По его экватору шла полоса, на которой по-французски и по-английски повторялась одна и та же надпись: «Место встреч». За глобусом, образуя просторный квадрат, стояли длинные красные диванчики без спинок. Баако нашел незанятое место и сел лицом к глобусу, спрятавшись за ним от бьющих в окно солнечных лучей. Баако смотрел на вращающийся глобус, слушал монотонное жужжание голосов, иногда прерываемое веселыми возгласами, и вдруг снова ощутил тупую тяжесть в затылке и страшно неприятное, хоть и ослабленное на этот раз, тошнотное отвращение ко всему на свете. Он зажмурился, но от этого ему стало только хуже. Тогда он встал, подошел к глобусу и отыскал глазами часы. До посадки оставалось двадцать три минуты. Он вернулся к диванчику, взял пишущую машинку и отправился к выходу на эскалаторы. Контролер, бегло просмотрев билет и паспорт, пропустил его.

Баако миновал несколько лифтов, рекламу бара и, увидев эскалатор с табличкой, приглашающей посетить картинную галерею, поднялся наверх. Но ряды стендов для картин оказались пустыми, а следующий эскалатор вел, как указывалось в табличке, к ресторану «Les trois

soleils»[1], и светящиеся буквы рекламы отражались в зеркальной поверхности пола. Бродя между стендами, Баако услышал плеск воды и, оглядевшись, увидел подсвеченный снизу водопад. Обрубки массивных бревен в нижнем водоеме, наверно, должны были создавать иллюзию живой тропической природы. Над поверхностью воды древесина выглядела мертвой и пыльно-серой, но утопленные концы бревен, озаряемые желто-коричневыми бликами воды и подсветки, действительно оживляли этот комнатный водопад. Баако поставил пишущую машинку на пол и окунул ладони в воду. Она была холодной, но за одним из бревен Баако заметил двух живых уток, которые медленно плавали в этой холодной воде, словно мертвый электрический свет мог согреть их. Одна из уток вскарабкалась на край бассейна, и, когда она вылезала, мелкая рябь раздробила лучи электрических ламп, на мгновение смягчив их жесткий блеск. Баако присел на каменный бортик и принялся бездумно рассматривать уток, бревна, отражающийся в воде потолок, пока мягкий, но властно заполняющий все помещение женский голос не начал размеренно и привычно повторять на английском, немецком и французском языках: «Пассажиров рейса два-ноль-девять Париж — Аккра — Браззавиль просят пройти к двери номер сорок три».

Баако спустился в зал с табличкой «Для отбывающих» и, найдя стрелку, на которой было написано: «Двери 38—45», двинулся к выходу. У почтового киоска какой-то африканец в синем рабочем комбинезоне долго смотрел на стопки открыток и, наконец решившись, выбрал четыре штуки с серебристым изображением авиалайнера «Конкорд», распластавшегося в неестественно синем открыточном небе. И хотя взгляд африканца оставался напряженным, легкая улыбка чуть тронула его губы, когда он расплачивался за это последнее видение его заграничной жизни,— Баако знал, что подобные открытки всегда возвещают возвращение «побывавшего».

Теперь небольшие группы пассажиров отовсюду стекались к нижнему этажу. Баако спустился по белой мраморной лесенке, вьющейся вокруг массивной алюминиевой колонны. Внизу, сквозь стеклянную стену, были видны поджидающие пассажиров самолеты. Стюардесса компании «Эр Африк», объявив время отправления, встала у выхода на поле, чтобы собрать посадочные талоны и отдать пассажирам паспорта с вложенными в них свидетельствами о прививках.

Африканец в черном шерстяном костюме, выйдя на поле, обернулся и со счастливой улыбкой помахал кому-то рукой. Баако посмотрел назад, чтобы узнать, кому предназначалась эта радостная улыбка, но увидел лишь толпу белых, не обращающих ни малейшего внимания на улыбчивого африканца. Когда Баако снова повернул голову, тот уже важно шествовал к самолету.

— При входе в самолет предъявляйте, пожалуйста, паспорт,— монотонно повторяла стюардесса,— и свидетельство о прививках.

Когда Баако поднялся в самолет, все передние места уже были заняты, но в середине салона еще оставалось несколько пустых кресел. Баако нашел место у иллюминатора, немного позади левого крыла. С трудом втискивая машинку на сетчатую полку для ручного багажа, он увидел впереди огромную шевелюру — она возвышалась над спинкой кресла, блестяще-черная в сероватом сумраке салона. Рядом с шевелюрой вдруг вынырнула черная рука, отделенная от черного пиджачного рукава ярко-белой манжетой рубашки; рука эта, со сги-

[1] «Три солнца» *(франц.)*.

бающимся и разгибающимся указательным пальцем, явно подманивала проходящую мимо стюардессу. Та остановилась и, привычно улыбаясь, склонилась к подозвавшему ее человеку. Баако видел, как она отрицательно покачала головой, видел, как шевелились ее губы, но слов не слышал. Потом стюардесса сказала довольно громко: «Хорошо, когда взлетим» — и с прежней улыбкой скрылась в хвосте самолета. Еще раз прозвучал ее голос, раскатился на мгновение приглушенный смех других стюардесс, и все смолкло, а впереди зажглась надпись: «Не курить. Застегнуть ремни»,— и одновременно усиленный динамиком, но приятный женский голос, в котором чувствовалась мягкая улыбка, певучей волной хлынул в салон самолета:

— *Mesdames et Messieurs! Le Commandant Szynkarski et son équipage vous souhaitent la bienvenue à bord de ce «DC-8». Nous allons décoller en quelques instants en direction de Brazzaville. Nous ferons escale à Accra...*[1]

Потом, почти без перехода, то же сообщение прозвучало по-немецки и по-английски: «...кислородные приборы заготовлены для каждого пассажира. Маски находятся в спинке кресел перед вами. В случае надобности крышка люка откроется автоматически».

Самолет дрогнул, и шум турбин превратился в надрывный визгливый рев, потом рев немного ослаб, но тут же усилился снова, и самолет двинулся вперед, разворачиваясь и выруливая к взлетной полосе. Здесь он на секунду замер, но турбины взревели с новой силой, и вся эта огромная ревущая махина понеслась вперед, оторвалась от земли, и поле аэродрома плавно провалилось вниз.

Африканец в черном костюме уже несколько раз пропутешествовал к хвосту самолета и обратно, всем своим видом источая неудержимую радость, словно атмосфера полета вливала в него радостную, живительную силу и он непременно должен был всем это показать. Каждый раз, проходя мимо Баако, он одаривал его лучезарной улыбкой, и, когда он совершал свой третий вояж, Баако отвернулся к иллюминатору и стал прикидывать, как ему избавиться от этого неугомонного путешественника, если он полезет с разговорами.

Человек в черном костюме подсел к Баако, когда Северная Африка, расчерченная узкими полосками дорог, подернулась дымкой и под самолетом возникла желто-коричневая гамма бесконечных песков Сахары. Он плюхнулся в кресло, сияя улыбкой, словно бы сошедшей с рекламы виски, пива или сигарет, изготовленных специально для осовременившихся африканцев, и, усевшись, еще несколько секунд продолжал демонстрировать свою рекламную улыбку. Потом привычным и явно отрепетированным движением он чуть-чуть оттянул борт пиджака на груди, и рука его, скользнув куда-то внутрь, извлекла пакетик в блестящей целлофановой обертке. Он протянул пакетик Баако:

— Сигарету?

— Не надо. Не надо, спасибо.

Мужчина в черном костюме легонько похлопал себя по карманам. Через секунду он нащупал то, что искал. Это была зажигалка — выточенная, как казалось, из кристалла затвердевшего пламени; нежно обласкав ее пальцами, он нажал на кнопку. Вспыхнувший факел был необыкновенно высоким, но предельно аккуратным и гладким; владелец зажигалки, не уменьшая огня, держал над ним кончик сигареты

[1] Дамы и господа! Пилот Шинкарский и его экипаж приветствуют вас на борту самолета «ДС-8». Через несколько минут мы вылетаем курсом на Браззавиль с посадкой в Аккре... *(франц.)*

еще несколько секунд после того, как сигарета задымилась, а потом, словно человек, погруженный в глубокую задумчивость, медленно и плавно прикрутил регулятор, гасящий пламя. Когда огонек окончательно исчез, он бережно опустил зажигалку в карман.

— Вы не курите? — спросил он.

— Очень редко.

Мужчина в черном костюме, повернувшись в кресле, подвинулся к Баако и протянул ему руку.

— Бремпонг,— сказал он.— Генри Роберт Хадсон Бремпонг.

— Баако.

— Вас назвали так при крещении?

— Я некрещеный,— ответил Баако.

— Да нет,— сказал Бремпонг.— Я не о том. Это ведь не фамилия, правда? — Он хихикнул — не очень, впрочем, уверенно.

— Моя фамилия Онипа.

— Немного странная фамилия.

— Родовая,— сказал Баако.— И, по-моему, самая обычная.

— А-а, вы вот о чем.— Бремпонг рассмеялся.— Ну да, ну да.

Баако понял, что от дружеских подходцев Бремпонга не отделаешься. Он еще раз посмотрел в иллюминатор. Под самолетом проплывали серебристые облака, и, глядя вниз, он ощутил их притягивающий, почти осязаемый зов. Потом облака разошлись, и далеко внизу Баако снова увидел монотонно-многоцветный пейзаж Сахары. Некоторое время назад, пролетая над Средиземным морем, он попытался внутренне собраться, освободиться от лишних мыслей, чтобы целиком сосредоточиться на приближающейся встрече. Ему хотелось понять, какие чувства вызовет в нем родная земля, и он не отрываясь смотрел в иллюминатор.

Но когда показался Африканский континент, Баако остался совершенно спокойным. Он не ощутил в себе никаких сильных чувств, да и никаких чувств вообще. Синее море сменилось коричневатой сушей с редкими островками зелени, и вместо чувств на Баако нахлынули мысли. Он думал — очень ясно и резко — о гигантском однообразии проплывавших внизу ландшафтов и о громадности всего, что происходило в этом мире, где еще не развеялась живая тьма прежних преступлений, а новые пласты продолжающейся жизни уже похоронили под собой и давние преступления, и недавние события, так что их стало невозможно осмыслить. Но здесь, в отдалении от всего земного, эти странные мысли не будили в его душе никаких чувств — кроме стремления к полному покою.

— Я никогда не встречал вас в Лондоне,— продолжал свои подходцы Бремпонг.

— Я никогда не был в Лондоне.

— Вот-вот, поэтому-то мы и не встречались, именно поэтому.— Бремпонг помолчал.— А где же вы были?

— В Америке. В Нью-Йорке.

— В Нью-Йорке? Ну конечно, конечно, в Нью-Йорке.— Бремпонг опять неуверенно помолчал, словно он хотел сказать что-то очень важное про Нью-Йорк, да вот совершенно неожиданно забыл. В конце концов, ничего не придумав, он воскликнул: — А хорошо возвращаться домой!

Баако слабо улыбнулся.

— Вас это тоже, конечно, радует,— сказал Бремпонг.

— Да нет.— Баако повернулся к своему спутнику.— Скорее тревожит.

— Ну, тревожиться тут не о чем,— сказал Бремпонг,— совершенно не о чем. Разумеется, дома не пошикуешь так, как в Лондоне или Нью-Йорке, но...

— Это-то меня мало волнует.

Бремпонг нахмурился:

— Не понимаю вас.

— Я совсем не представляю себе, что меня ждет.

— Вы давно уехали?

— Пять лет назад.

Бремпонг широко улыбнулся.

— Знаете, сколько времени я провел за границей, во всех моих поездках? — Глубоко затянувшись, он медленно выпрямился, неспешно привалился к спинке кресла и выпустил тонкую струйку дыма в углубление для лампочки над своей головой.— Восемь лет. Восемь годочков как один день — если подсчитать все мои поездки.

— В одной стране?

— Ну, не совсем,— сказал Бремпонг.— И время от времени я возвращался домой. Но вообще-то я жил главным образом в Англии. Эту страну,— добавил он со смешком,— я знаю как свои пять пальцев.

— И вам легко возвращаться домой?

— А что тут трудного? Впрочем, я вас понимаю. Конечно, необходимо как следует подготовиться. Кое-что дома просто невозможно купить. Перед поездкой домой я запасаюсь всем, что мне нужно,— костюмы там и прочее. Это же очень просто. Сейчас, например, я приобрел две прекрасные машины. Германские. Новенькие, только что с завода. Я отправил их домой. Морем.

Баако глянул вверх, на покатый потолок салона.

— Видите эту штуку? — Бремпонг вынул зажигалку.— Найдете вы в Гане что-нибудь подобное? У меня верный глаз. Я купил ее в Амстердаме, прямо в аэропорту. Ох и хороши же там магазины, в Амстердаме. А какие там магнитофоны! Я купил себе один, в прошлом году, и он до сих пор работает как часы.— Бремпонг снова откинулся на спинку кресла, и его голос смягчился до певучего полушепота: — Надо только знать, за чем охотиться, когда вам удается вырваться за границу. А иначе вернешься как дурак, с пустыми руками, и вся поездка — гиене под хвост.— Неожиданно в тенористом полушепоте Бремпонга зазвучали визгливые ноты: — Но если вы хорошо подготовились к возвращению, тогда вам беспокоиться не о чем.

— Боюсь, что я плохо подготовился,— сказал Баако.

— Вы что — ничего с собой не везете?

— Ничего. Я ведь там учился.

— Ну...— На губах Бремпонга играла неопределенная улыбка.— Вы же закончили ученье?

— Да, в июне.

— Июль, август... Два месяца. Быстро вы собрались. Что-нибудь неотложное?

— В общем-то, нет. После получения диплома я занимался в семинаре. Он кончил свою работу на прошлой неделе.

— В семинаре?

— Ну да.

— Вы...— Бремпонг неуверенно помолчал,— инженер?

— Это был семинар для профессиональных писателей и режиссеров,— сказал Баако.

— Ну да, ну да. Понятно, понятно. Кино и всякая такая штука.— Бремпонг улыбнулся.— А вы писатель или режиссер?

— Я пишу,— сказал Баако.— Думаю, что писатель. Надеюсь, по крайней мере.

— Значит, вы будете писать романы для кино?

— Вернее, сценарии.

— Для Ганской телекорпорации?

— Да.

— Телекорпорация...— Бремпонг задумчиво посмотрел в иллюминатор.— Неплохое местечко. Там можно высоко взлететь, очень высоко. Вы Асанте Смита знаете?

— Только понаслышке.

— Он ведь не старик. Да что там не старик — он совсем молодой. Лет на пять старше вас. Вам сколько?

— Двадцать пять.

— Ну, может, лет на шесть, на семь. Короче, он совсем молодой, этот Асанте Смит. И вы ведь знаете — он уже директор корпорации.

Баако негромко рассмеялся:

— Ну, я не мечу в директора корпорации.

— Конечно, не сразу,— сказал Бремпонг.— Но через несколько лет, знаете ли... Вот именно, через несколько лет.— Задумавшись, он машинально ткнул окурок сигареты в маленькую пепельницу на подлокотнике кресла. Однако окурок не потух, и тонкая струйка дыма, чуть покачиваясь, протянулась к потолку. Внезапно самолет провалился в воздушную яму, но сразу же выправился.— Да, конечно,— проговорил Бремпонг,—Асанте Смит, он разбирается в людях. И умен, очень умен. Один из его друзей-собутыльников раз проговорился, что Асанте самый ловкий восхвалитель начальства во всей Гане. И он прав, этот его друг. А главное, Асанте не теряется при смене начальства. Он может петь хвалу кому угодно — только бы тот был там, «на верхах».

Бремпонг довольно усмехнулся, и Баако, не удержавшись, тоже расхохотался:

— Да, хорош друг.

— Вот и я говорю,— согласился Бремпонг.— Да ведь иначе-то все равно нельзя. Надо разбираться в людях. А большие люди — они ох как нужны. Те, которые наверху и которые могут сказать кому нужно: «Сделай то-то и то-то для моего парня».

— Словом, вы советуете мне обзавестись высоким покровителем, и поскорее? — спросил Баако.

— Вы вот смеетесь. А скоро сами убедитесь. Впрочем, у вас-то ведь есть работа.

— Нету.

— Что-о-о?

— Пока у меня нет работы,— сказал Баако.— Но, разумеется, сразу же по приезде я обращусь в телекорпорацию.

— А вот это уже ошибка,— сказал Бремпонг с раздраженной участливостью, почти неприязненно.— Серьезная ошибка. Вы поставили себя в очень трудное положение.

— Не понимаю, что я, собственно, мог сделать. У меня есть диплом... в крайнем случае они могут проверить мою квалификацию.

— Не о том речь. Вы, видно, многого не знаете. Например, тех, от кого зависит прием на работу. Я-то их хорошо изучил. Будь вы иностранцем, белым — тогда другое дело. Тогда бы вы без всякой квалификации прекрасно устроились.— Бремпонг протяжно вздохнул.— Но вы, такой же черный, как и они, уважения от них не дождетесь. Вот увидите.

Баако притих и задумался, пытаясь осознать то, что сказал Бремпонг, но слова так и не сложились для него в связные мысли, и их смысл, вместе со звучанием, утонул в монотонном реве турбин.

— Вы не заметили, как я махал вам, когда мы шли к самолету?

— Заметил, только не сразу. И я не был уверен, что вы машете именно мне.

— Да и я не был уверен, что вы мой земляк. У вас какой-то... не совсем обычный вид.

— Вот уж никогда бы не подумал...

— Нет-нет, не лицо, не черты лица. Но понимаете, по вашей одежде, по манере держаться не видно, что вы побывавший. Ведь если нашему земляку удается вырваться за границу, то при возвращении в нем за милю можно узнать побывавшего.

— Вот оно что! — Баако с удивлением услышал свой собственный смех — тихий и невеселый; он не сумел справиться со смятением, не сумел даже замаскировать его.

— Мне хотелось, чтобы мы сели рядом,— сказал Бремпонг.— Моя жена была бы рада с вами познакомиться.

— Я искал место у окна.

— Понимаю. Вам, наверно, не слишком часто приходилось летать.

Баако улыбнулся и промолчал. Нагруженная тарелками тележка мягко остановилась возле него, и стюардесса, склонившись над его креслом, негромко сказала:

— Обед, пожалуйста. Что вы предпочитаете из напитков — коктейль, белое вино?

На металлической поверхности тележки играли лучики электрических ламп. Неожиданно впереди, над спинкой одного из кресел появилась голова в огромном парике. Бремпонг встал.

— Мне пора,— сказал он.— Юджиния беспокоится.— Он попрощался с Баако и, протиснувшись между креслом и тележкой, ушел. Баако нажал синюю кнопку в спинке переднего кресла и откинул крышку столика. Стюардесса поставила на столик поднос с едой.

— Мне имбирной воды, пожалуйста,— сказал Баако.

— Пожалуйста,— эхом отозвалась стюардесса, открыла бутылочку с желтой, пузырящейся от выходящего газа водой, поставила ее на столик и ушла вперед.

Баако мучила жажда, поэтому он залпом осушил бутылочку, а потом выпил воду из бумажного стакана, стоящего тут же, на подносе. Но жажда не проходила, и Баако показалось, что его тело, как огромная губка, без остатка впитало влагу. Он попробовал есть, но не смог. Попытался есть через силу, но ощутил тот же тошнотный привкус во рту, что и утром, когда он так резко изменил свои планы.

Он хотел прожить в Париже неделю или около того — просто погулять, ориентируясь по карте, посмотреть на город, может быть, сходить в кино, если подвернутся хорошие фильмы... И в первый же день удрал. Он не видел никаких фильмов, да практически не видел и города. То, что он все же успел увидеть — до бегства,— показалось ему прекрасным, но в самом этом очаровании была растворена отрава. Все, чем он восхищался, только усиливало гнетущее чувство одиночества, перераставшее в панический страх перед полной и, как ему казалось, пожизненной духовной изоляцией; он ощущал, что каждый час, проведенный в Париже, лишь ухудшает его состояние.

Он уже забыл название той маленькой гостиницы, в которой поселился; да и не хотел его вспоминать. Оттуда было несколько минут ходьбы — мимо крошечных кафе, казавшихся вдвое больше из-за зеркальных стен,— до Марсова поля. Там в мелководных прудах с грязными бумажками на дне плавали, отражаясь в бликующей на солнце воде, красные, белые и голубые игрушечные кораблики — электриче-

ские или парусные. Над корабликами возвышалась бронзовая фигура какого-то военного героя, застывшего в победном ликовании. Впереди громоздилась побуревшая от ржавчины конструкция Эйфелевой башни, но Баако не захотелось взбираться на нее. Пройдя мимо толпы туристов с поднятыми вверх лицами и нацеленными на башню фотоаппаратами, он дождался, когда зажжется зеленый глаз светофора, пересек набережную и поднялся на мост. С моста была видна плоская махина заржавевшей баржи, навеки пришвартованной к противоположному берегу. В отдалении, по верхнему ярусу следующего моста, струился поток машин, обгоняющих медленные поезда подземки — два ярко-зеленых вагона впереди, красный в середине и два блекло-зеленых сзади,— тянущиеся по нижнему ярусу. Ближе к Баако, у левого берега, стояла прогулочная лодка с синим тентом и трехцветным французским флагом, трепыхавшимся над кормой и иногда приоткрывавшим название лодки — «Ленивый дельфин».

За «Ленивым дельфином», в зеленоватых от водорослей волнах, покачивалась патрульная военная лодка, и на ее бортах, рискуя свалиться в воду, сидели три солдата. Молоденькая девушка в ярко-желтой мини-юбке что-то говорила им с берега, а солдаты весело хохотали и манили ее к себе. Но когда она попыталась ступить на борт, лодка, задрав нос, с яростным ревом, заглушившим смех солдат, рванулась прочь. Она описала стремительный полукруг и умчалась к двухъярусному мосту. Девушка засмеялась, и, помахав рукой вслед солдатам, начала подниматься по лестнице к набережной. Но потом присела на бетонные перила и принялась рассматривать застывшего в молитвенном оцепенении человека — он стоял на причале, отвернувшись к парапету набережной. Теперь, когда лодка скрылась за мостом, все зеваки уставились на молящегося, который ни на кого не обращал внимания и, казалось, даже не замечал устремленных на него взглядов. Он был в блекло-синих рабочих брюках и босой, а его рубашка лежала на причале. Голову его прикрывала красная феска. Внезапно он сорвался с места и двинулся прямо вперед, словно собирался пройти сквозь стену, но, не дойдя до нее, так же внезапно остановился и молитвенным жестом простер руки вверх. Потом, сделав семь шагов вправо и три влево, сел на причал в позе «лотос» и свесил голову на грудь. Баако пристально разглядывал молящегося, стараясь проникнуть в его закрытый для окружающих мир, но вскоре понял тщетность своих попыток, отвернулся, скользнул взглядом по толпе всех этих искателей удовольствий и вдруг ощутил гнетущую, тоскливую опустошенность. Тоска погнала его вперед, он перешел мост, миновал перекресток со звездно стянувшимися к нему улицами и зашагал туда, где на его карманном плане было зеленое пятно, фигура, обозначающая фонтаны, и черная надпись: «Trocadéro».

Когда Баако подошел к фонтану, его остановила девушка с бесстыжими глазами, одетая в узкую черную кофту и зеленые, расклешенные внизу и тесные вверху брючки, из которых яростно выпирали ее ягодицы. Она предложила Баако сфотографировать его на фоне радуги, изогнувшейся в брызгах фонтана. Баако молча прошел мимо и, поднявшись по широким ступеням, вдруг оказался в толпе ребятишек — они вычерчивали замысловатые узоры, катаясь на роликах по просторной каменной террасе. Баако не смог сдержать улыбки, когда среди детворы увидел старика, седого, с изжелта-коричневыми от старости и никотина зубами, который энергично выписывал круги вокруг катающихся в центре террасы детишек и, казалось, нисколько не смущался тем, что он здесь единственный взрослый, да еще и такой древний. В отличие от детей, явно считавших свое занятие очень серьезным, старик держался удивительно свободно: с легкой улыбкой, пред-

назначенной только самому себе, он то подымал руки вверх, то держал их за спиной, то расставлял в стороны, чтобы сохранять равновесие,— словом, вел себя так, как ему хотелось. Проезжая мимо Баако, он глянул в его сторону, и, хотя Баако, смутившись, сразу отвел глаза, ему показалось, что старик подмигнул. Баако сделал вид, что смотрит вверх, и, подняв голову, увидел надпись, которая действительно его заинтересовала, так что ему уже больше не надо было притворяться:

TOUT HOMME CRÉE SANS LE SAVOIR
COMME IL RESPIRE
MAIS L'ARTISTE SE SENT CRÉER
SON ACTE ENGAGE TOUT SON ÊTRE
SA PEINE BIEN-AIMÉE LE FORTIFIE[1].

Пробежав глазами надпись, Баако поднялся на центральную террасу и там прочитал еще какое-то объявление, но сразу же его забыл. И вдруг почувствовал беспокойство. Нет, его не угнетал Париж. Беспокойство гнездилось в нем самом. Тошное, но поначалу лишь смутное ощущение, что вот уже полгода он постоянно откладывает, отталкивает от себя какое-то самое важное дело.

В гостиницу Баако возвращался другой дорогой — не доходя до Эйфелевой башни, он свернул направо, а потом налево, в тенистую улицу, которая называлась Авеню де Софран. Машин на ней было мало, а прохожих не было вовсе; Баако заметил только дворника-алжирца, гнавшего метлой бумажный сор вдоль кромки тротуара. Когда Баако вошел в гостиницу, портье, посмотрев на него, сказал, что он выглядит совсем больным. Баако кивнул, спросил, нельзя ли соединить его с авиационным агентством, поднялся к себе в номер и лег. Вскоре зазвонил телефон. Баако взял трубку.

— Parlez, monsieur[2], — сказал портье.

— Агентство? — спросил Баако.

— Oui, j'écoute[3], — ответил женский голос.

— Мадам, вы говорите по-английски?

— Да.

— Видите ли, у меня транзитный билет Нью-Йорк — Аккра, с недельной остановкой в Париже. Могу я улететь раньше?

— Когда вы должны были улететь?

— В следующий вторник.

— А хотите?

— Чем скорей, тем лучше.

— Сегодня?

— Это возможно?

— Да. Но вам следует поторопиться. Самолет отбывает в шестнадцать сорок пять. В пятнадцать пятнадцать от агентства отходит автобус.

— Благодарю вас, мадам.

— Будьте любезны, назовите вашу фамилию.

— Ах да, конечно, конечно...

---

[1] Всякий человек творит, как дышит, сам того не сознавая. Но художник творит и чувствует это, творческий акт захватывает все его существо, дорогая ему боль поддерживает его *(франц.)*. Надпись на стене дворца Шайо, в котором помещаются четыре постоянных музея и выставочные залы.

[2] Говорите, месье *(франц.)*.

[3] Да, я слушаю *(франц.)*.

Примерно через час после обеда Бремпонг снова подсел к Баако. До этого он с хозяйским видом прогуливался по самолету, так что проходящей стюардессе приходилось уступать ему дорогу, просил принести журналы или рекламные проспекты, покупал безналоговые сигареты и спиртные напитки.

— Люблю летать,— без предисловия начал он разговор.— Только вот жалко, что в самолет не берут тяжелые грузы. Приходится отсылать их морем. У меня, конечно, страховка, а все-таки... Вы знаете, я купил матери полный морозильник.

— А что это такое?

— Морозильную установку, промышленную. Ее должны доставить к рождеству. Это сюрприз. Моя мать всегда мечтала, чтобы для рождественских праздников ей забили целого быка́, прямо у нее во дворе. Ну и теперь я куплю ей быка, а то, что останется после праздников, положу в морозильник.

— Понятно.

— Глупо возвращаться с пустыми руками. Ведь иногда потом долго не удается вырваться за границу. Надо ценить такую возможность, да и родных не мешает поддержать. Это просто бессмысленно — возвращаться ни с чем. У вас-то, положим, не было опыта.

Голос бортпроводницы, усиленный и смягченный динамиком, вытеснил тенористое бормотание Бремпонга:

«Дамы и господа, через две минуты мы будем пролетать над оазисом Эль Оуэд. Наша высота — двадцать две тысячи футов над уровнем моря. Скорость — шестьсот восемьдесят две мили в час...»

Баако посмотрел в иллюминатор, пытаясь разглядеть оазис, закрытый пеленой облаков. Когда он приблизил голову к стеклу, вой турбин стал слышнее. Отвернувшись, Баако увидел, что Бремпонг встает: впереди снова маячил огромный парик.

— Мне пора,— сказал Бремпонг. Баако кивнул ему и снова глянул вниз. Оазис давно уплыл назад, и в разрывах облаков мелькали островки пустыни — равномерно бурые, почти без желтых вкраплений, потому что песчаная равнина осталась северней. Потом Баако увидел, как одна из секций крыла опустилась, а соседняя приподнялась, и самолет слегка изменил курс. В салон брызнули оранжевые лучи предзакатного солнца, но самолет снова выровнялся, и свет приугас. Баако прислонился к иллюминатору, но тут же резко отдернул голову — стекло было льдисто-холодным и влажным. Тогда он задернул серо-коричневую шторку, выключил лампочку над головой и, снова склонившись к иллюминатору, медленно закрыл глаза; но ему никак не удавалось устроиться удобно. Не открывая глаз, он нащупал на подлокотнике рычажок и вместе со спинкой кресла откинулся назад. В черной тьме вой турбин начал распадаться на отдельные гулы с различным тоном и ритмом, потом опять стал слитно-однообразным, и Баако забылся.

«...ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МИНУТ САМОЛЕТ СОВЕРШИТ ПОСАДКУ В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ АККРА. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА У ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ — СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ ГРАДУСОВ ПО ФАРЕНГЕЙТУ. ПАССАЖИРОВ ПРОСЯТ ВЕРНУТЬ СПИНКИ КРЕСЕЛ В ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ЗАСТЕГНУТЬ РЕМНИ И ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ВО ВРЕМЯ ПОСАДКИ ОТ КУРЕНИЯ».

Профессиональную мягкость голоса еще смягчали бархатисто-мощные динамики, но пробуждение Баако было тревожным, и тревога не проходила. Он попытался успокоиться и, не вставая с кресла, по-

вернулся к иллюминатору. Поначалу стекло было совершенно черным, но вскоре по нему поплыли светлые подрагивающие точки, которые делались все ярче. Промелькнул красный огонек, отмечающий, вероятно, какую-нибудь высокую башню, потом два голубых, а потом вспыхнул яркий, медленно пульсирующий зеленый луч, и самолет пошел на посадку.

Баако опять дождался, когда выйдут самые нетерпеливые пассажиры, и, взяв с полки пишущую машинку, двинулся к трапу. Немного впереди, за спинами пробиравшихся к выходу людей, мелькала спина Бремпонга, а парик его жены был виден все время. Стюардесса, стоявшая у нижних ступеней трапа, спросила, летит ли он дальше, и, узнав, что нет, попросила у него билет, оторвала талон, прощально улыбнулась и пожелала ему счастливого пути. В нескольких ярдах от самолета остановился аэропортовский автобус, и первые пассажиры уже садились в него. Баако немного удивился, заметив, что Бремпонг, прежде чем влезть в автобус, победно поднял над головой руки,— вокруг никого, кроме пассажиров, не было видно. Но когда автобус остановился у здания аэропорта, Баако все понял: за забором, огораживающим летное поле, Бремпонга ждала большая толпа, и, едва он ступил на землю, раздались крики: «Приехал, вот он», а чей-то пронзительный голос завопил: «Да здравствует дядюшка ГРХ!» Бремпонг помахал встречающим и скрылся в таможенном зале.

Поджидая, когда привезут багаж, Баако обратил внимание на трех ганцев в добротных костюмах — они держали какие-то бумаги и важно поглядывали на толпу пассажиров. Один из них, увидев Бремпонга, на минуту утратил свою чопорность и приветливо улыбнулся.

— С приездом, акора[1]! — крикнул он.— Тебя встречают?

— Конечно, акора, конечно,— ответил тот.

— А я должен встретить иностранных специалистов.

— Да сопутствует тебе удача, акора.

Приятель Бремпонга направился к группе белых, заранее растягивая губы в дежурной улыбке. Двое других чиновников тоже пошли искать своих подопечных.

Высокий молодой человек в белой рубашке с распахнутым воротом торопливо приблизился к Бремпонгу и его жене.

— А, это ты, Менса,— сказал Бремпонг.

— Простите, сэр,— сказал молодой человек, не вытирая испарины на носу,— я немного опоздал, но меня не пускал полицейский.

— Разве тебе не выписали пропуск? Ты показал ему?

— Да он дорожник, сэр. «Ты, говорит, кого встречаешь? Белого?»— «Да нет, говорю, ганца». Тогда он скривил презрительную рожу и не пустил.

— Болваны они, эти дорожники. А тебе надо было сказать, что ты встречаешь иностранца.

— Да вот, не сообразил. А потом к нам подошел постовой полицейский, и я показал ему пропуск, и он сказал, что я встречаю большого, очень большого человека. Ну, и меня сразу пропустили.

Бремпонг ухмыльнулся и глянул на жену.

— Дураки,— процедила она.

— Я распорядился насчет вашего багажа, сэр,— сказал молодой человек.— Вам надо только немного подождать. В зале для прибывающих. Там все ваши родные.

— Ну конечно! — Бремпонг радостно засмеялся.— Пойдем, Джин-

[1] Хозяин.

ни.— Миссис Бремпонг отдала пакеты с подарками молодому человеку, и все трое двинулись к выходу. У дверей Бремпонг оглянулся, увидел Баако и покровительственно спросил:— Вас не подвезти?

— Да нет, спасибо,— ответил Баако.

Его багаж прибыл быстрее, чем он ожидал. Когда он подошел к длинному ряду таможенных столов, инспектор заглянул в его раскрытый чемодан и недоуменно спросил:

— У вас что же — одни бумаги?

— Выходит, что так,— ответил Баако, взял свои вещи и вышел из таможни.

Вступив в зал для прибывающих пассажиров, он увидел странную сцену. Трое крепких мужчин в белых джемперах и накидках несли Бремпонга на вытянутых вверх руках. Родственники, окружившие носильщиков плотной толпой, старались пробиться поближе к своему кумиру и выкрикивали радостные приветствия, а самые неистовые даже пели:

— Слава нашему белому человеку! Мы видели, как ты махал нам, белый человек!

— Он опять с нами, наш великий человек!

— Он у нас теперь в точности как белый!

— Совсем как белый!

— И все же он вернулся к нам! Слава богу!

— Слава!

Очень толстая, но моложавая и весьма бойкая женщина врезалась в толпу встречающих и с сатанинской энергией стала пробиваться к Бремпонгу, заглушая своими криками общий ликующий гомон.

— Опустите его! Дайте мне на него посмотреть! Дайте мне обнять моего драгоценного брата! Эй, эй, разойдитесь, пусть он увидит любимую сестру! — Встречающие без сопротивления отступали перед этим бешеным натиском, оглушенные воплями толстухи и ослепленные сиянием многочисленных драгоценностей на ее одежде.

Бремпонга поставили на пол, и толстуха, совершив гигантский скачок, прильнула к долгожданному брату с такой силой, что он пошатнулся и отступил к своим крепышам носильщикам.

— О-о-о, брат мой,— вопила женщина, дергаясь в сладострастных конвульсиях,— ты пришел, ты опять со мной, о любимый брат!

— Ну, успокойся, успокойся, сестричка,— проговорил Бремпонг. Женщина закружилась в слоноподобном танце—многоцветное кенте[1] и широченные рукава ее кофты трепыхались, зубы сверкали, ягодицы подрагивали, как две гигантские медузы, из глаз, ненасытно вперявшихся во вновь обретенного брата, текли радостные слезы, и, вытирая их, толстуха вслед за братом выплыла в ночь с криками: «Шампанского! Принесите шампанского!»

Баако нестерпимо хотелось в уборную, и, попросив постового полицейского посмотреть за багажом, он поспешно нырнул в дверь, на которой было написано: «Для мужчин». Полицейский посмотрел на него со злобной досадой, когда он, просто поблагодарив его, взял свой багаж и выбрался через ближайшую дверь на улицу. В поисках стоянки такси он зашагал к люминесцентному мареву, пульсирующему впереди. Но оказалось, что это вовсе не стоянка такси, а светящаяся реклама, вспыхивающая каждые несколько секунд:

ЭКСПРЕСС 555
ЭКСПРЕСС 555
ЭКСПРЕСС 555

[1] Накидка.

Приблизившись, Баако прочитал текст сообщения, зажигающийся одновременно с шапкой рекламы:

СПЕШИТЕ!
ПРИОБЩИТЕСЬ
КО ВСЕМИРНОМУ ПРИЗНАНИЮ.
АРОМАТ, НЕЖНО ЛАСКАЮЩИЙ ОБОНЯНИЕ,—
СИГАРЕТЫ ВЫСШЕГО КЛАССА.
СПЕШИТЕ!

Где-то неподалеку хлопнула пробка, и Баако опять услышал восторженные крики. Потом фары проезжающих автомобилей еще раз осветили радостные лица толпы и радужное трепыхание голубых, зеленых, золотистых, желтых, лиловых и черных кенте.

— Давайте ее сюда! — раздался голос толстой сестры, и бутылка поплыла над головами людей к центру круга. Один из встречающих, явно нарушая торжественность минуты, выкрикнул, что не надо бы, мол, переводить понапрасну такой дорогой напиток. Но толстуха расхохоталась и завопила:

— Эй, кто там ноет, что понапрасну? Да может ли быть что-нибудь важнее, чем омовение ног великого побывавшего?

Баако увидел, как Бремпонг засмеялся, и услышал его небрежную реплику:

— А, чего там дорогого, чепуха!

Его сестра бегемотно подскочила вверх, и ночь прорезал ее торжествующий вопль:

— О-о-о! Вы слышали? Сила! Слава! — Потом, под одобрительный гул восхищенной толпы, она нагнулась и вылила шампанское на башмаки Бремпонга. Несколько голосов эхом подхватили последние слова сестры «Сила! Слава!», и она зашлась в изнемогающем от счастья смехе, который напомнил Баако надрывный хохот американских негров-южан, предваряющий фестивальную песню «Жаждущий голубь погиб от любви».

— А где же персональная машина? — воскликнул вдруг кто-то с досадливым нетерпением.

— Эй, водитель, подавай машину!

— Водитель! Куда делся водитель?

Встречавший Бремпонга молодой человек выступил вперед и сказал:

— Водитель ждет. На спецавтостоянке.

В ответ толпа негодующе зашумела.

— Он, видите ли, ждет! Великий человек должен куда-то идти. Ох уж эти водители — окончательно обнаглели!

— Эй, водитель! — Несколько человек захлопали в ладоши.— Води-и-и-тель!

Тем временем толпа втянула в себя Баако, и он оказался рядом с Бремпонгом. Тот узнал его.

— Может, вас все-таки подвезти?

— Нет-нет,— сказал Баако.— Спасибо.

— Это кто? — спросила Бремпонга его сестра.

— Знакомый. Я летел с ним в самолете.

— Так он, значит, тоже побывавший?— Она подозрительно оглядела Баако с головы до ног.— Какой-то он не...

— Послушайте,— быстро проговорил Бремпонг, перебив толстуху.— Возьмите мою визитную карточку.— Он вынул бумажник и, достав оттуда карточку, протянул ее Баако. Бумажник был из зеленой

кожи, с какими-то золотыми знаками, и, когда вспыхнула реклама сигарет, Баако увидел, что это монограмма. Он взял карточку.

— Сафьяновый,— ухмыльнулся Бремпонг, складывая бумажник и аккуратно опуская его в карман.

Длинный лимузин плавно отделился от застывших на охраняемой стоянке автомобилей, и, когда он разворачивался, его фары на секунду выхватили из тьмы надпись:

СПЕЦАВТОСТОЯНКА.
ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЕН.
ПРИГОТОВЬТЕ ПРОПУСК.

Когда массивная черная машина, мягко урча, остановилась, толпа встречающих хлынула было к ней, но окрик толстой сестры прервал это стихийное движение.

— А ну, раздайся, деревенщина,— орала она, отпихивая тех, кто стоял на ее пути.— Вы что, тубики, хотите его заразить? Он только что вернулся, и если вы ничего не понимаете, так слушайте меня. Там, где он побывал, воздух чистый, не то что здесь. Раздайтесь, раздайтесь пошире! Дайте ему продохнуть! — Она растолкала встречающих и освободила вокруг героя небольшое пространство. Какая-то старуха выбралась на освободившееся место.

— А как же мы...— начала она, но распорядительница живо загнала ее обратно в толпу и, резко повернувшись, мгновенно сорвала с себя цветастое кенте. Она расстелила его перед машиной и сказала Бремпонгу:

— Иди, брат мой, иди, побывавший. Вытри ноги. Да, это мое кенте, шагай по нему, шагай на здоровье, о, великий человек!

Она схватила улыбающегося Бремпонга за руку и повела его к машине по огромному куску блестящей дорогой материи, радостно выкрикивая:

— Топчи его, топчи, о, великий, шагай по нему!

Кроме толстухи и Бремпонга в машину сели еще двое — мужчина и женщина в кенте. Молодой человек, встречавший Бремпонга, захлопнул за ними заднюю дверцу и сел впереди, рядом с водителем. Старуха, загнанная сестрой Бремпонга в толпу, снова выскочила вперед и запричитала:

— Ох, ох, горе нам, горе! Выходит, мы должны тратить на обратную дорогу свои последние гроши, потому что согласились встречать разряженного заморского павлина...

Внезапно раздался автомобильный гудок. Старуха отшатнулась, и огромная машина, едва не задев ее, уползла в темноту, словно медлительный гигантский червяк. В машине светился плафон, и Баако показалось, что на заднем сиденье, в сиянии драгоценностей и красочных одежд, уехал оживший счастливый смех. Когда машина сворачивала на шоссе, вспыхнувший стоп-сигнал ярко осветил табличку с номером ПРВТ-109.

Машина скрылась, а Баако пошел за старухой и нагнал ее неподалеку от стоянки такси. Он мучительно придумывал, что бы ей сказать, но она сама обратилась к нему.

— Господин,— запинаясь проговорила старуха,— я живу в Адабраке. Если ты едешь в ту сторону, может, ты взял бы меня в машину?

— Конечно,— ответил Баако.

— Огромное тебе спасибо, господин. Ты просто спас меня.

Первый таксист, к которому подошел Баако, выключил фонарик «свободно» на крыше машины и сказал: «Я жду пассажира». Второй

тоже выключил фонарик и медленно поднял стекла, даже не ответив Баако. Но третий водитель вышел из машины и спросил:

— Вам в город?

— Да, пожалуйста.

Водитель засунул вещи в багажник, а Баако помог старухе влезть в машину и сел с ней рядом на заднее сиденье. Через несколько секунд реклама сигарет скрылась во тьме. Перед поворотом на Аккру висел плакат: «Добро пожаловать», а у самого поворота, пока водитель пропускал идущие в аэропорт машины, Баако успел прочитать надпись поменьше, обращенную к тем, кто улетал из Аккры: «Счастливого пути». Дорога была превосходной, и яркие фонари, которых становилось все больше по мере приближения к центру города, появились здесь уже после отъезда Баако. Добротные новые здания неспешно уплывали назад. Баако спросил шофера, что это за дома, и тот принялся равнодушно перечислять:

— Конгресс профсоюзов. Министерство труда. Совет фермеров. Налоговое управление...

— Там везде горит свет.

— Горит. Каждую ночь горит.

— Но почему?

— А почему бы и нет? — Шофер усмехнулся.— Напоказ живем. Красиво, верно?

— Вам нравится?

Шофер пожал плечами и ничего не ответил.

Баако чувствовал, что нервозное беспокойство и страх перед одиночеством, от которых он надеялся избавиться дома, осложнились каким-то новым неприятным ощущением. Ему не удавалось ясно осознать, что же его угнетает, но ощущение не проходило, и с тех пор как он сошел с самолета, неуклонно набирало силу, словно черпая ее из окружающей обстановки. Баако почти забыл обстоятельства своего отъезда — он лишь смутно припоминал, что ему удалось вырваться из Ганы на волне административной показухи. Он попытался определить, почему же сейчас его так отпугивает показуха... и вдруг перед ним опять как бы въявь предстал Бремпонг, окруженный толпой почитателей. Пронзительная боль забилась в левом виске. Баако зажмурился и положил голову на спинку сиденья, но из черной тьмы снова выплыл улыбающийся, потный, прекрасно одетый Бремпонг, заключенный в кольцо родственников и страшно довольный — словно он заранее мечтал об этой ловушке. На секунду Баако уверил себя в том, что они, Бремпонг и встречающие, просто разыгрывали ритуальный спектакль, который должен был кончиться в тот же вечер, уступив место нормальной жизни,— чтобы не превратиться в чудовищный фарс, вытесняющий и подменяющий живую реальность. Но в глубине души Баако понимал, что этот фарсовый спектакль и есть обычная здешняя жизнь. Он сразу увидел — его приглашают участвовать в лицедействе, радостно и без сомнений принимаемом всеми за обыденную действительность. Но как Бремпонг заставляет людей быть лицедеями? Впрочем, нужно ли кого-нибудь заставлять? Да, Бремпонг жаждал быть вознесенным чуть ли не до небес — но ведь толпа и сама жаждала вознести его. Нужно ли ему кого-нибудь заставлять — если его неистовые почитатели, так же как и он сам, черпают в лицедействе жизненные силы? Баако почувствовал испуганное изумление. Человек уезжает и годами живет на чужбине. Его близкие, никогда не покидавшие родину, годами готовятся к встрече. И когда встреча наконец происходит, задуманный встречающими спектакль чудесным образом совпадает с за-

мыслями возвратившегося. И ведь эти спектакли — не традиционные действа: они разыгрываются без репетиций, с полной свободой, волею многих участников, объединенных лишь единством сиюминутных желаний. Страх вытеснил изумление в душе Баако. Он все еще не мог облечь свои ощущения в стройные мысли. Но ему уже стало ясно — его отъезд был бессильным неприятием той атмосферы, которая в Бремпонга вселяла живительные силы. Ему нет места в счастливом мире Бремпонга. И даже не потому, что этот мир его погубит — ему туда просто не удастся проникнуть. Может быть, из-за собственной слепоты, а может быть, из-за того, что он видит лучше и больше, чем развеселый Бремпонг. Но одно Баако понимал теперь твердо — поостеречься нужно именно ему.

Нет, это не было чистым лицедейством. По крайней мере, для тех, кто в нем участвовал. Перед мысленным взором Баако снова возникла давешняя церемония — возбужденная толпа, красочные кенте, драгоценности, фонтаны вина, поклонение новому кумиру, выползающая со стоянки машина, восторженные крики во тьме. Да и какая разница — реальными были сила и радость или нет, если участники считали их совершенно реальными. Пусть этот спектакль был всего лишь лицедейством, призванным скрыть унылое бессилие,— что из того? Ведь никто не хотел смотреть на это со стороны, а значит, некому было сказать, что подобная показуха только сдабривает тоскливую немощность привкусом идиотизма. Да и кто согласился бы прервать хоть на мгновение счастливый смех и славословия, чтобы услышать трезвый голос стороннего наблюдателя?

— Господин,— как бы издалека донеслось до Баако. Он открыл глаза.— Господин,— запинаясь, проговорила старуха,— прости меня, но мы подъезжаем к моему дому.

— Ну, так скажите шоферу, где остановиться.

Машина свернула с ярко освещенной центральной улицы и ехала теперь гораздо медленней.

— Вон, у той церкви, сразу после сумасшедшего дома, поворот, мне туда,— сказала старуха.

Старуха вышла из машины, и таксист, не дав ей закончить слова благодарности, поехал дальше.

— Куда теперь? — спросил он.— Вы-то где живете?

— Да я вот думаю...— после паузы откликнулся Баако.— Тут поблизости есть какая-нибудь гостиница?

— Все новые отели мы уже проехали,— сказал шофер,— «Звезду», «Континенталь», «Амбассадор». А здесь есть только старые: «Авенида», «Ринг». Говорят, «Авенида» не хуже новых.— Шофер сбросил газ.— А я было решил, что вы здешний. У вас, что же, никого здесь нет? Друзей или хоть знакомых?

— Вряд ли вы знаете моих друзей.

— А давайте-ка проверим. Мало ли как бывает.

— Ну, что ж. Вам не случалось возить домой Фифи Уильямса?

Шофер весело и раскатисто засмеялся.

— Что я говорил!

— Неужели случалось?

— Да нет, домой-то я его не возил. Так ведь его каждый тут знает. Гана-банк, верно?

— Верно.

— Побывавший, из молодых. Небось, сидит сейчас в «Звезде». Железный ниггер.

— Какой-какой?

— Железный. Вы, я вижу, не знаете наших новых словечек. Железный ниггер. Шикарный, значит, парень. Соскучиться не даст.

— Понятно.

— Нет, домой-то я его не возил,— повторил таксист. Машина все еще катилась по инерции.

— Ну, тогда поехали в «Авениду».

— Это мы мигом.

Шофер включил передачу и, набрав скорость, проскочил несколько перекрестков, а потом свернул налево, описал плавную дугу по гравийной подъездной аллейке и остановился у дверей «Авениды».

— Восемьдесят песев,— сказал шофер, оттащив багаж на гостиничную веранду.

— Возьмете доллар? Я еще не обменял деньги.

— Давайте.

Машина развернулась, проехала по аллейке и свернула в городскую улицу. Баако глянул на ее багровые от задних фонарей крылья и вошел в вестибюль. Он был слабо освещен желтоватой ночной лампочкой, а дежурный, сидевший за конторкой из красного дерева, уютно подремывал. Он сказал, что свободные номера есть только во флигеле, и, когда Баако решил остаться, заполнил квитанцию, но деньги потребовал вперед.

— У меня с собой только туристские чеки,— сказал Баако.

— Пойдет.

— Сколько стоит номер?

— Девять седи. Девять долларов,— сказал дежурный, не отрывая взгляда от квитанции.

Баако подписал десятидолларовый чек и на сдачу дежурный дал ему одну темно-голубую купюру.

— Один новый седи,— сказал он, устало вздохнув, и выбрался из-за конторки.— Пойдемте. Я провожу вас во флигель.

Дежурный миновал подъездную аллею, пересек улицу и, пройдя по узкому переулку, свернул направо, к широкой песчаной дорожке. Откуда-то выскочила тощая собака и с тоскливым, диковато-испуганным подтявкиванием удрала на трех лапах в темноту. Она все еще взлаивала и скулила, когда дежурный, остановившись перед большим двухэтажным домом, открыл дверь и сказал:

— Вот и пришли.

Держа чемодан Баако на голове, он поднялся по узкой бетонной лестнице и, пройдя почти до конца длинного неосвещенного коридора, остановился перед дверью, на которой не было номера. Открыв ее, он вошел в комнату и зажег лампу возле низкой кровати.

— Ванна и туалет там.— Он показал через плечо большим пальцем и, уже выходя из комнаты, добавил: — Завтракать придете в главное здание, к восьми часам.

— Благодарю вас,— сказал Баако.

Когда шаги дежурного затихли, Баако лег на кровать и, повернувшись на спину, стал бездумно смотреть в потолок. Несколько раз он слышал шум проезжающих по улице машин — сначала нарастающий, а затем медленно, словно откатывающаяся волна, затихающий вдали. Воздух в комнате был влажным и затхлым. Баако встал, подошел к окну и попытался включить кондиционер. Но он не работал. Тогда Баако как можно шире распахнул окно, но все равно не ощутил никакой

свежести. Зато опять услышал скулящее тявканье. Он решил принять душ, вышел в коридор, нашел дверь ванной, но там не горел свет. Он вернулся в номер и присел на кровать. Беспокойство отпустило его, он чувствовал странное удовольствие от того, что он уже дома, от уединения, которое никто не мог нарушить, потому что никто сейчас не знал, где он. Одиночество больше не пугало его; он разделся, бросил костюм на стул, вынул из футляра гитару и подошел к кровати. Студент, продавший ему гитару, долго расхваливал ее. Он начал с того, что ее очень легко настраивать без всякого камертона: надо только поднять телефонную трубку, и гудок даст Баако си-бемоль нижнего лада на пятой струне. А закончил тем, что раз Баако решил обзавестись гитарой, значит, ему больше не нужны люди. «Она тебе всех заменит, будет главной подругой,— сказал он, почесывая жилистую шею.— У ней — видишь? — и обличье женское, талия там, то да се». А потом внимательно пересчитал деньги, словно боялся, что Баако его обманет.

Привычным движением Баако обхватил деку гитары и уже собирался взять первый аккорд, но внезапно ему стало тошно от этой театральщины — одинокий путник играет ночью на любимой гитаре,— и, отложив инструмент, он забрался под одеяло. Верхней простыни в постели не оказалось, но одеяло было мягким и чистым. Баако задумался, есть ли тут люди, сумевшие отделаться от ролей, навязанных им немощными упователями. Да, ему надо очень поостеречься. Если только люди, среди которых ему предстоит жить, не примут его таким, как он есть,— иногда слабым и нерешительным, иногда энергичным и сильным, частенько ненадежным, колеблющимся, переменчивым,— словом, человеком, а не марионеткой.

Нижняя простыня была влажной, но Баако уже пригрелся под одеялом и чувствовал себя вполне сносно. За окном снова завыла собака, и ее вой постепенно становился все горестней и тоньше, а потом перешел в жалобное тявканье, утонувшее через несколько минут в шуме проезжающей машины, и шум этот, как показалось Баако, поглотил все ночные звуки, и сумрак комнаты, и неясное небо за окном, и все его мысли, потому что он уже засыпал.

Наутро он первым делом отправился в душ. Сероватый свет, сочащийся через боковое оконце, помог ему рассмотреть кусочек зеленого мыла и белое, истончившееся от старости, но сухое полотенце. Вымывшись, он пошел в главное здание. Вместо ночного дежурного за конторкой сидела молоденькая девушка в светло-каштановом парике и с лиловым от губной помады ртом. Небольшие стенные часы, висящие рядом с конторкой, показывали двадцать минут одиннадцатого. Девушка разговаривала по телефону.

— Я приехал сегодня ночью,— сказал ей Баако.— Когда мне надо освободить номер?

Девушка досмеялась в трубку, потом прикрыла ее ладонью и с явным раздражением ответила:

— В двенадцать.

Потом она снова стала слушать своего телефонного собеседника, прихихикивая и ойкая — то ли от удивления, то ли от восторга.

— Я хотел бы позвонить, когда вы кончите разговор,— сказал Баако. Но девушка уже совершенно забыла о нем. Прождав десять минут, Баако вышел на улицу и остановил такси.

— Гана-банк,— сказал он водителю.

— Это на Хай-стрит?

— Мне нужно в правление.

— Значит, туда,— сказал водитель.— Там у них самая большая контора.

— Ну, так везите туда.

Поездка была очень короткой. Когда они приехали, Баако протянул водителю доллар, и тот дал ему сдачу — две крупные монеты. Баако вышел из машины. Справа от него, под тенью деревьев, толпились крепкие мальчишки, наперебой предлагая редким покупателям шариковые ручки; чуть дальше неровной шеренгой стояли женщины, торгующие фруктами, лепешками и хлебом; тут же сновало множество нищих. Банк возвышался слева, за большой автостоянкой. Ряды машин и золоченые решетки на окнах банка ослепительно сияли в лучах полуденного солнца. В ячеях решеток поблескивали древние скульптурные символы — двойные стручки какао, золотые гирьки Ашанти в виде фигурок животных, жезлы вождей всех семи аканских кланов, ритуально скрещенные мечи королевских палачей, слоны и пальмы, рельефно выполненные рулоны кенте, резные табуреты вождей, фигуры предков аквааба и многоликий паук Ананси, застывший в разных позах на радиальных или обводных нитях своей паутины.

Молодой клерк в белой рубашке и полосатом галстуке подвел Баако к лифту, такому новенькому, что в нем еще не выветрился запах краски, поднялся с ним на третий этаж и, пропустив его вперед, махнул рукой вдоль длинного затененного коридора.

— Он в кабинете номер три,— сказал клерк.

— Благодарю вас,— сказал Баако.

Баако постучал в дверь и, услышав энергичное «Войдите!», открыл ее. Он очень волновался. Переступив порог комнаты, он услышал жужжание кондиционера и ощутил струю прохладного воздуха. Напротив двери, за большим столом, сидел мужчина, разговаривающий — явно не о делах — с молодой женщиной. Баако сначала увидел только ее спину и парик. Но вот мужчина встал, и у Баако отлегло от сердца. Хозяин кабинета не был точной копией Бремпонга.

— Боже мой... Баако!

— Привет, Фифи,— сказал Баако.

— Вот это да! — заорал Фифи.— Когда же ты приехал?

— Вчера вечером.

— Так слушай, парнище, что ж ты меня не известил? Твоя мать сказала, что ты поживешь в Европе и приедешь только через месяц.

— Я передумал.

— Слушай, Баако, так ты же теперь американец,— воскликнул Фифи, оглядывая его с головы до ног,— только тощий.— Женщина засмеялась, и Фифи торопливо обернулся.— Ой, прости, Кристина, ведь это же Баако, Баако Онипа.

— Который был в Америке? — спросила женщина. Ее глаза искрились улыбкой.

— Баако Онипа у нас один,— смеясь ответил Фифи.

— Ох, Фи-и-иф,— томно проговорила женщина,— всегда ты надо мной смеешься.— Потом она протянула Баако маленькую руку и все так же томно сказала:— Поздравляю с приездом, побывавший странник.

Она источала атмосферу соблазна. Ее слова как бы всплывали со дна дремотного омута, из которого она сама не хотела выныривать, так что каждый слог, словно пузырек воздуха, с хрустальным звоном медленно всплывал на поверхность. Ее движения были необычайно плав-

ными. Когда она моргала, ее ресницы опускались и подымались с неспешной грацией, будто доставляя ей чувственное удовольствие.

— Ты еще не виделся с матерью? — спросил Фифи.

— Нет еще,— ответил Баако.— Я даже не знаю, где она теперь живет.

— Ты не знаешь номера ее дома? — рассеянно переспросил Фифи и потом добавил: — Вот-вот, я все время об этом твержу. Они никак не соберутся пронумеровать дома. Чтобы не было неразберихи.

— Скоро пронумеруют,— сказала Кристина.— Году в две тысячи... лохматом.— Она протяжно вздохнула.— Ну что ж, Фиф, мне пора.

— Когда мы увидимся? — спросил ее Фифи.

Кристина лениво рассмеялась.

— Когда угодно — если ты и правда этого пожелаешь,— неспешно сказала она, и ее ресницы опустились,— и если твоя жена согласится, чтобы ты слегка отдохнул... и разрешит тебе прокатить кого-нибудь на твоей прекрасной машине... и истратить немного денег... и попользоваться тобой... тебя-то она уж точно ни с кем не хочет делить... А я что, я в любое время.

— Тогда в субботу?

— Я поверю, что мы встретились, когда увижу твою милую мордашку, Фиф.

— В «Звезде»?

— Только не забудь...

— Принесу, принесу, Кристина, я же обещал.

— Обещанного не так-то легко дождаться, дождаться, дождаться,— пропела она, вставая. Вокруг нее всколыхнулась атмосфера пудры и духов, легкой испарины и соблазна.— Ну, а если ты сам не сможешь,— добавила она на пороге,— то пришли своего побывавшего друга. Надеюсь, его машина уже здесь?..— Дверь закрылась.

— Кто это? — спросил Баако.

— Да так,— с неловким смешком ответил Фифи,— Кристина. Ну, ты понимаешь — одна из девочек.

— Ох, парень,— начал Баако, но не выдержал и расхохотался.

— Подожди, они и к тебе слетятся как мухи. Да ты же сам слышал... побывавший.

— Сразу и упорхнут — когда узнают, что у меня нет машины.

— Ты не отправил ее заранее?

— Кого?

— Машину,— ответил Фифи терпеливо, словно разговаривая с ребенком.

— А у меня ее просто нет.

— Так-так, понятно.— Фифи казался растерянным. Он затянул было какую-то мелодию без слов, потом указал Баако на стул, где только что сидела Кристина, и проговорил: — Давай-ка попробуем дозвониться твоей матери.

На звонок ушло довольно много времени. Фифи долго уговаривал телефонистку, смеясь, что-то сулил ей, но наконец все же одержал победу — его соединили.

— Алло? Можно попросить миссис Онипу? Здравствуйте, тетушка Эфуа. А у меня тут есть для вас подарок... Нет, нет... Нет, он дышит и разговаривает... Что? Нет, нет, а-ха-ха-ха-ха-ха!.. Конечно, скажу... Что? О-хо-хо-хо-хо-хо! Ладно, вздохните и закройте глаза... Так. Внимание! Приготовились? Баако приехал... Только что... У меня... Да клянусь вам!.. Кто же этим шутит? Совершенно серьезно. Вы можете поговорить с ним... Ладно, согласен... А если привезу, что вы мне дадите?

Ладно... Ладно... Только никуда не уходите. Пока.— Фифи вздохнул и, покачав головой, положил телефонную трубку на рычаг.— Она боится, что я пошутил. У нее даже голос дрожал... да и неудивительно. Почему, ну почему ты не послал ей телеграмму? Странный ты какой-то, Баако.

На стоянке старик сторож распахнул дверцу белого «мустанга» и склонился перед Фифи в угодливом полупоклоне. Баако, поглядывая на застывшего в стремительном галопе коня, прикрепленного к радиатору, обогнул машину и устроился рядом с Фифи на переднем сиденье. Они съездили в гостиницу за вещами Баако, а потом Фифи с привычной уверенностью проскочил центральные улицы и остановился возле дома с табличкой, на которой были намалеваны мальчик и девочка с африканскими лицами, но очень светлой кожей, стоящие перед длинной лестницей, освещенной лучами рассветного солнца. Над рисунком Баако прочитал: детский сад «Светлый путь».

Тут же висело объявление:

Хорошее воспитание —
Залог успеха в будущем.
Наш адрес:
«Светлый путь»,
П/О 0712,
Аккра.

— Приехали,— сказал Фифи. Он перешагнул через сточную канаву и вошел в дом. Откуда-то из внутреннего дворика доносились детские голоса, распевающие хором:

Джек и Джилл
Что было си-и-ил
Вдвоем помчались в го-о-ру...

— А-а, мистер Уильямс,— сказал седой человек, вставая из-за стола,— рад вас видеть. Что, опять какой-нибудь юный родственник?..

— Нет-нет, директор,— ответил Фифи, и Баако заметил, что директор расплылся в довольной улыбке, услышав свой титул,— сейчас я пришел не за этим. Меня ждет миссис Онипа, я звонил ей полчаса назад.

— О, пожалуйста, мистер Уильямс,— сказал директор и пошел к двери, ведущей во внутренний дворик.

Однако дверь распахнулась без его помощи, и Баако увидел свою мать. Она вступила в комнату неуверенно, почти робко, но, глянув на Баако, стремительно бросилась вперед, так что он не успел даже шагнуть ей навстречу, и прильнула к нему, прижалась щекой к его груди, и он обнял мать и всем телом ощутил сотрясавшую ее дрожь. Через секунду она отстранилась и снизу вверх посмотрела на Баако. Из ее заплаканных глаз текли слезы, трясущиеся от сильного волнения губы почти не повиновались ей, и после каждого слова она на секунду замолкала.

— Сыночек,— воскликнула она плача, но пытаясь улыбнуться,— ты... уже приехал... так неожиданно... а у нас еще и для встречи-то ничего не готово.

— Пустяки, мать,— ответил Баако.— Я решил вернуться пораньше.

— Ах, вот оно что,— вдруг закивал головой директор.— Так это, значит, сын?

Баако вглядывался в лицо матери, а она пыталась успокоиться и

сказать что-то еще, но губы не слушались ее, и она только всхлипывала. Тогда заговорил Фифи·

— Простите меня, директор, я забыл вас познакомить. Это Баако Онипа.

Баако и директор пожали друг другу руки.

— Рад познакомиться,— сказал директор, с улыбкой глядя на Баако, и потом повернулся к его матери.— У вас сегодня счастливый день, миссис Онипа. Сейчас вы можете идти домой — ведь вам надо подготовиться к празднику.

— Большое спасибо, директор,— сказала она.

По дороге домой Баако несколько раз украдкой смотрел на мать, заглядывая в зеркальце заднего вида. Она сидела в уголке и блаженно улыбалась, словно ей каждый день приходилось ездить в шикарных автомобилях. Один раз она заметила какого-то знакомого и попыталась помахать ему, а когда он остался сзади, откинулась на спинку сиденья со счастливой и победной улыбкой. Потом нагнулась вперед и радостно прошептала Баако:

— А твоя скоро придет?

— Кто моя? — удивленно спросил он.

— Ну твоя-то, машина-то, чтобы мне больше не таскаться на старости лет пешком.— Но прежде чем Баако сумел найти ответ, Фифи со скрежетом затормозил и преувеличенно весело воскликнул:

— Вот вы и дома, тетушка Эфуа.

Глава четвертая

Рождение

Раздался испуганный вскрик и сразу вслед за ним — тяжелый глухой удар. Зная, что никого, кроме Арабы и Нааны, дома нет, он торопливо накинул рубаху, выскочил в коридор и увидел Наану, которая уже сворачивала за угол, к комнате Арабы, хотя она, как и всегда, ковыляла походкой слепых — медленно и неуверенно. Она услышала его шаги и, словно объясняя, почему так спешит, сказала:

— Кровь, Баако, я чувствую запах крови.

— Успокойся, Наана,— сказал он, беря ее под руку.— Иди к себе. Я сам посмотрю, что там с Арабой.

— Это ребенок, Баако, я чувствую запах крови.— Слепые зрачки Нааны были неподвижны, а губы тряслись от страха.— О Великий Друг, ведь еще слишком рано, еще не время для ребенка.

— Иди к себе, Наана. Я присмотрю за ней.

— Я понимаю, Баако,— сказала старуха, пытаясь улыбнуться. Потом она повернула к себе, а Баако побежал по узкому коридору к комнате Арабы.

Дверь была открыта, но из коридора Баако разглядел только спинку двуспальной кровати да аккуратную пирамиду из чемоданов и чемоданчиков, накрытых розовыми накидками с голубой и желтой вышивкой по краям. Ставни в комнате были притворены, и он не сразу разглядел, что Араба сидит на полу, облокотившись спиной о кровать, а ее вытянутые вперед ноги разведены в стороны.

Она сидела боком к двери, запрокинув лицо вверх, и, когда Баако вошел, у нее не хватило сил посмотреть в его сторону. На неровном цементном полу уже собралась небольшая лужица крови. Но Баако сразу понял, что сестра еще не родила.

— Спокойно, Араба,— сказал он. Потом обхватив ее левой рукой за плечи, а правую подсунул ей под ноги и, подняв, положил на кровать.

Она испуганно вцепилась в его запястье.

— Спокойно, Араба,— повторил он.— Я схожу за такси и отвезу тебя в больницу.

— Позвони Квези,— прошептала она.

— Чуть попозже,— сказал он.— Тема далеко, а тебе поскорее надо в больницу. Не беспокойся, я буду с тобой.— Она слабо улыбнулась, но его руку не выпустила, так что ему пришлось бережно разжать ее пальцы и перед уходом снова повторить, чтобы она не беспокоилась.

Он выскочил из дома, миновал двор и на улице свернул вправо. Добежав до перекрестка, остановился и несколько минут ждал. Но за это время мимо него проехал только один автомобиль — серый «мерседес» с толстощеким чиновником на заднем сиденье. Тогда он побежал дальше и остановился у пересечения двух магистральных улиц — Винневба и Линк-роуд. Вскоре показалось свободное такси, и Баако поднял руку. Шофер начал притормаживать, но вдруг с ужасом глянул на Баако, резко вильнул вправо и умчался. Сначала Баако не понял, в чем дело, но, останавливая следующую машину, посмотрел на свою поднятую руку и усмехнулся — она была испачкана кровью. Он опустил ее, поднял другую, и такси остановилось. Шофер дал два радостно-протяжных гудка.

— Садись, брат. Отвезу хоть за границу,— сказал он, оглядываясь на своего пассажира.

— Сначала по Линк-роуд, к электроподстанции.

— Паайехали, Джекки, с ветерком докачу.

— Потом налево, я покажу где.

— Сделаем,— сказал шофер. Он развернулся и поехал по Линк-роуд. В машине негромко играл приемник, так что таксист мог подпевать оркестрантам, исполняющим шикарные мелодии. У него был приятный голос, и он радостно подхватывал джазовые напевы, словно в песнях говорилось о нем или он сам их сочинил:

Давным-давно пытаюсь я
разведать, что сулит мне рок,
распутать нить судьбы.
Но сплетена судьба моя
из ста путей-дорог.
И мрак неведенья избыть
я до сих пор не смог.

— Тут налево, — сказал Баако.

— Харроош,— весело откликнулся шофер, но вдруг изо всех сил нажал на тормоз и обернулся к Баако. Его глаза были прикованы к пятнам крови.

— Слушай-ка, парень, а это у тебя что? Уж ты не человека ли пристукнул?

— Не волнуйтесь,— ответил Баако,— у меня с сестрой плохо. Роды.

— А-а-а, вон что,— успокоился шофер.— Тогда мы сейчас принажмем.— Машина рванулась вперед и через несколько секунд, резко присев на передние колеса, остановилась у дома Баако.

— Вы не поможете мне? — спросил Баако.— Она там, в доме.

— Как же не помочь,— ответил шофер. Он вылез из машины и захлопнул дверцу.— А свою не закрывайте.— Пока они шли через двор и подымались на крыльцо, шофер негромко насвистывал какую-то ме-

лодию. Наана услышала их шаги и озабоченно крикнула из своей комнаты:

— Кого ты привел, Баако?

— Друга, Наана, не тревожься.

— Что ж, помощник — это хорошо,— сказала Наана.

— Тебя так долго не было,— сказала Араба.— Я тут вся извелась от страха.

— Не бойся, Араба. Я поймал такси.— Он поднял сестру на руки, почувствовав под ладонью влажную от крови простыню, и понес к машине, а шофер шел сзади, поддерживая ей голову. Они положили Арабу на заднее сиденье, и Баако, сев рядом с шофером, перегнулся через спинку, чтобы она могла держать его за руку. Таксист ехал очень быстро и один раз, проскакивая перекресток, едва увернулся от поперечного потока машин — у Баако даже дух перехватило.

— Не беспокойтесь,— сказал шофер.— Я с семнадцати лет за рулем. А сейчас мне двадцать семь — и ни единой аварии. Пусть-ка меня сейчас остановят. Я спрошу полицейских: могут они родиться обратно? Так что не опасайтесь. Ребенок — это самое главное.— Вырвавшись из города в долину Корле, где среди бесплодных солончаков, оставленных отступившим морем, виднелись редкие островки зелени, шофер вывернул на середину шоссе и на предельной скорости пошел между встречными потоками машин. Приемник был по-прежнему включен, и, если какая-нибудь песенка нравилась таксисту, он тотчас же ее подхватывал:

Одни рождены в подвалах
и всю жизнь живут на коленях;
смиренно молиться богу —
вот их земная судьба.
Другие уже с рожденья
вознесены на крышу,
но им даже этого мало,
и они встают на ходули;
не ведать убогой юдоли —
вот их земная судьба.

Когда началась сольная партия гитары, он принялся подсвистывать гитаре и порой даже вставлял свои собственные вариации. На повороте к больнице он заложил такой крутой вираж, что шины пронзительно заскрипели, но вираж был рассчитан очень точно, и Арабу даже не встряхнуло.

— Это новое родильное отделение,— сказал таксист, останавливаясь перед высоким зданием из бетона и стекла.— Госпожа Сестра,— окликнул он проходящую девушку,— у нас тут, того гляди, роды начнутся, прямо в машине.

Сестра пренебрежительно усмехнулась, но подошла.

— Вы муж роженицы? — спросила она, обращаясь к Баако.

— Да нет,— ответил он,— это моя сестра.

— И вы работаете на ответственной должности?

— Я пока вообще не работаю.

— Тогда, может быть,— сестра уже почти не скрывала презрения,— ее настоящий муж занимает высокий пост?

— Да нет,— сказал Баако.— А почему вас это интересует?

— Послушайте, Госпожа Сестричка,— таксист лихо подмигнул девушке,— нашей роженице совсем плохо.

— Шофер! — Окрик сестры прозвучал как выстрел.— С вами не разговаривают.— Таксист отвернулся и стал насвистывать мелодию

той шикарной песенки, которую он только что слышал.— Так какая у вас должность? — спросила сестра у Баако.

— Да говорю же вам — никакой,— ответил он и увидел, что глаза у сестры вытаращились, а губы поджались.

— Ну так вот,— отчеканила она,— новое отделение обслуживает особо уважаемых людей и высших должностных лиц — понятно? Для остальных есть старое отделение.

— А где оно, это старое отделение?

— Там! — Сестра с пренебрежением ткнула пальцем куда-то влево и скрылась за массивными дверями нового больничного корпуса.

— Хорошо живется в Гане! — громко заорал ей вслед таксист. Потом повернулся к Баако и успокоительно сказал: — Я знаю, где старое отделение. Сколько раз туда людей возил.— Он развернулся и вскоре остановился перед облупленным домом — даже из машины было видно, что металлические противомоскитные сетки на окнах этого корпуса покрыты ржавчиной, а с деревянных рам давно облезла краска.— Тут вот беднота и рожает.— Шофер ухмыльнулся.

— Араба,— сказал Баако,— я пойду отыщу сестру. Все будет в порядке, не волнуйся.— Он ободряюще улыбнулся, но губы Арабы даже не дрогнули. Видно было, что она теперь уже не просто боится, а по-настоящему мучается. Потом Араба что-то пробормотала, но Баако уловил только одно слово — «побывавший». Он вылез из машины и вошел в подъезд.

Первая же сестра, узнав, что у роженицы кровотечение, быстро пошла к выходу, крикнув кому-то: «Исса, привези каталку, живо!» Через несколько секунд после того, как они спустились к машине, костлявый санитар в зеленых шортах и рубахе выкатил на улицу инвалидное кресло. Баако с шофером помогли санитару посадить Арабу в кресло, и он увез ее в корпус.

— Она потеряла много крови,— сказала сестра.— Ей надо сделать переливание. Вы можете дать кровь? А то у нас очень маленькие запасы.

— Конечно,— сказал Баако.— А когда? Прямо сейчас?

— Мне надо кое-что подготовить. Посидите пока там, где вы меня нашли.

Заднее сиденье было вымазано кровью, и Баако стал извиняться, но шофер прервал его:

— Это кровь новой жизни, брат. Тут можно только радоваться.— Получив при расплате лишний седи, он немного смутился, но сразу же повеселел и добавил: — Видишь, мне уже и повезло!

Сестра все подготовила проворно и деловито. Она отвела Баако вымыть руки и сама присматривала, когда у него брали кровь. Потом разрешила ему пойти к Арабе.

— Вообще-то сегодня не приемный день,— сказала она серьезно,— но у вас особый случай. Только не засиживайтесь долго.

Баако вышел из больницы в двенадцатом часу. Вернувшись к новому родильному отделению, он свернул на дорогу, ведущую в город, и отыскал автобусную остановку, но прежде чем стать в очередь, прочитал вывешенное городским транспортным управлением расписание автобусов. В расписании указывалось, что автобусы ходят каждые шесть минут. Когда он подошел к очереди, стоявшая впереди него женщина оглянулась и засмеялась.

— Ну как, почитали расписание? — спросила она, словно говоря о чем-то очень забавном.

— Да, посмотрел.— Женщина расхохоталась. Через полчаса, увидев, что Баако решил уехать на такси, она опять рассмеялась и попросила его довезти ее до города.

— Пожалуйста, к зданию Комиссии по трудоустройству.

— Новый седи,— ответил таксист угрюмо.

— Ладно,— сказал Баако,— только давайте-ка побыстрей, а то я здорово опаздываю.

Младший помощник председателя Комиссии по трудоустройству был очень разгневан:

— Где вы ходите? Вам было назначено на одиннадцать.

— Мне пришлось отвезти сестру в родильный дом. У нее чуть не случился выкидыш.

— Думаете, вы у меня один? — спросил Младший помощник, ковыряя в зубах.— Вас тут знаете сколько! Я не могу по часу ждать каждого посетителя.— Он сосредоточенно вытер зубочистку о стопку промокательной бумаги.— Придете завтра.

— Вы уже пятый раз говорите, чтобы я пришел завтра.

— Приходите завтра.

— Послушайте, я просто хочу узнать, что произошло с моей анкетой.

— Сказано вам — приходите завтра! — Младший помощник презрительно поднял брови, но его заплывшие глазки так и не открылись.

— Это совершенно несерьезный разговор.

Младший помощник председателя Комиссии по трудоустройству слегка вздернул голову:

— Вы хотите поговорить серьезно?

— Я хочу узнать, что случилось с моей анкетой.

— Вы хотите, чтобы я вам помог?

— Не нужна мне ваша помощь. Я заполнил анкету...

— В общем, так.— Младший помощник встал.— Я думаю, вы меня поняли. Если вам понадобится моя помощь — приходите, поговорим. А зря меня от работы не отрывайте. Тут, знаете ли, государственное учреждение.— С этими словами помощник удалился. Минута проходила за минутой, но он не возвращался. И только когда Баако спустился вниз, ему удалось еще раз увидеть Младшего помощника председателя Комиссии по трудоустройству — тот стоял под деревом, рядом с замусоренной стоянкой служебных машин, покуривая сигарету и мирно беседуя с одним из своих коллег. Баако перешел улицу и зашагал в тени деревьев, прислушиваясь к шуму морского прибоя, который накатывался откуда-то справа. У большого перекрестка, где движение шло по кругу, он опять остановил такси.

— Куда? — спросил шофер.

— В Ачимоту.

— Полтора.

— Ладно.

— Да нет же, в самом деле, Онипа, ведь ко мне очень редко кто-нибудь из вас заходит. И называй меня Кофи, брось эту дурацкую официальщину. Ребенок-то уже, слава богу, вымахал выше наставника и даже вон бороду отпустил. А теперь подожди-ка немного, я закончу эту голову. Мне надо сосредоточиться.

Баако бродил по студии, пока его старый учитель завершал свою

глиняную скульптуру. Мольбертов здесь теперь было гораздо меньше, чем раньше, а ученических столов не было вовсе, но на полках, протянувшихся вдоль стен, по-прежнему чернели ряды скульптурных голов, передающих самые разные состояния человека — от веселой безмятежности до мучительного страдания. Скульптуры были расставлены так, что по ним последовательно прослеживалась вся гамма человеческих чувств, и, когда Баако, обойдя студию, увидел последнюю работу серии — голову с искаженным, изломанным страданиями лицом, почти уже не похожим на человеческое, ему показалось, что это как бы и не новое произведение его учителя, а древняя ритуальная маска. Потом внимание Баако привлекла лежащая на полке картина, писанная маслом: распятие с грубыми, необтесанными крестами и молодым, очень маленьким человеком, обожженным до черноты безжалостным солнцем. На картине стояла подпись: «Кофи Окран, 1961».

— А знаешь, Онипа,— говорил между тем старый мастер,— в глубине души я надеялся, что ты станешь художником. Мне очень хотелось направить тебя на этот путь, но я рад, что сдержался. Ведь мое давление могло начисто отпугнуть тебя от творчества.

Окран запер студию, и они вышли на дорогу, ведущую к его коттеджу. В это время зазвенел звонок, и их сразу же накрыла волна ребячьего гомона — в школе кончился завтрак, и ученики выходили из столовой. Баако оглянулся и, посмотрев на ребят в форменной одежде, почувствовал не тоску по ушедшей юности, нет — он ощутил что-то вроде панического ужаса, словно время могло двинуться вспять и втянуть его в нескончаемый, вечно длящийся круговорот. Окран шел по бурой латеритовой тропке, отделенной от шоссе неглубокой канавой, притрагиваясь к шершавой коре манговых деревьев, и один раз остановился, чтобы посмотреть, как по стволу тянется вверх цепочка рыжих муравьев.

— Не понимаю я этого,— продолжал Окран.— Среди моих учеников было шесть или семь очень одаренных юношей, и я надеялся, что они займутся настоящей работой. Творческой работой: с черным деревом, глиной, масляными красками,— в общем, с материалом, который позволил бы им полностью выразить себя. На тебя я тоже надеялся. Но никто из вас не стал художником. Все вы уходили в физику или медицину, начинали заниматься каким-то дурацким правом или чем-нибудь в этом роде. Нет, никогда я не мог этого понять.

— Значит, по-вашему, писатель не творец?

— Слова,— сказал Окран, слегка пожав плечами.— Нет. Слишком часто они служат лжи. Настоящий материал не терпит фальши. Материал требует истинного творчества. А слова слишком часто прикрывают обман.— Он поднял обломок песчаника и с силой швырнул его в свисающую к тропинке манговую ветку. Ударившись об нее, камень упал на землю и рассыпался.— Вы избираете то, что вам нравится, а мне остается надеяться на будущих учеников, но, боюсь, моего оптимизма хватит еще от силы года на два. И, наверно, я никогда не смогу понять, в чем же тут все-таки дело.— Пройдя вдоль спускающегося в низину плавного виража дороги, они свернули направо, к коттеджу Окрана.

Когда они вошли в дом, Окран усадил Баако в кресло и сказал:

— Ты уж извини меня. В прошлый раз я был страшно занят.

— Не беда,— ответил Баако.— Да я и заходил-то без всякого дела. Просто повидаться.

Окран протянул Баако высокий стакан с пивом, потом налил пива себе, уселся на пол и, скрестив ноги, привалился спиной к стене.

— Так что же вы собираетесь делать, мистер Писака? Творить в одиночку?

— По-моему, это невозможно,— ответил Баако.— Да у меня-то, впрочем, и планы совсем другие.

— А почему, собственно, невозможно делать свою работу в одиночку?

— Я еще и сам как следует не понял,— сказал Баако.— Хотя все время об этом думаю. Чуть мозги себе не вывихнул.

— Что ж, художнику полезно заглянуть в безумие,— заметил Окран.— Но ведь ты решил писать — так чего тут думать?

— Все это оказалось совсем не просто — для меня, по крайней мере. Я ведь серьезно болел. Что-то вроде нервного расстройства.

— Выходит, ты не хочешь писать? — спросил Окран, мимолетно улыбнувшись.

— Меня ведь только этому и учили,— сказал Баако.— Нет, писать я хочу. Но когда мне стало ясно, что вся моя жизнь будет связана с писательством, я чуть не свихнулся. Мне показалось, что меня заманили в ловушку. И все же самое трудное началось потом, после того, как я окончательно убедился, что писательство — мое призвание. Тут-то все и началось: как писать? Для кого?

— Я вижу, миссионер пытается затравить в тебе художника, Онипа,— сказал Окран со смехом, но это утверждение смутило Баако. Он запрокинул голову, чтобы допить пиво, и, глянув на учителя сквозь толстое стеклянное дно, увидел раздробленную смеющуюся маску.

— Можно, конечно, думать и так,— сказал он.— Но мне-то необходимо знать, что я не растрачиваю жизнь понапрасну. Кто, в конце концов, будет читать то, что я напишу?

— Такие мысли только подрывают силы художника,— сказал Окран.

— Вот-вот, они было совсем меня доконали,— подтвердил Баако.— Но я выправился — и нашел выход. Я не буду писать романы или рассказы.

— Значит, все-таки сдался?

— Ничего подобного. Я буду писать сценарии. Чтобы говорить со всем моим народом.

Окран не ответил, и Баако подумал, что он не слышал его; однако, помолчав, Окран проговорил:

— Я понимаю, о чем ты толкуешь. Все это и правда выглядит безнадежно. Грамотных людей у нас мало. Но даже и они почти не читают.

— А в кино ходят все,— сказал Баако и увидел, что Окран, соглашаясь, легонько кивнул.— Я уверен, что создание киносценариев для неграмотных не только нужнее, но и выше, как род творчества, чем обычное писательство. Кино использует живые образы, а не слова. И значит, мне будет не нужен чуждый нам язык — английский.

— Понимаю,— сказал Окран. Но теперь он не кивнул утвердительно, а с сомнением покачал головой.— Понимаю, и в принципе ты совершенно прав. Но я должен предупредить тебя кой о чем. Вероятно, ты сочтешь меня просто сумасшедшим. Неважно, пусть — я все равно скажу. Дело в том, что, если ты хочешь работать по-серьезному, тебе придется трудиться в одиночку.

— В кино это невозможно.

— Не знаю уж, как тут быть,— сказал Окран.— Считай меня выжившим из ума стариком, но попомни мои слова: ты не сможешь работать по-настоящему, если будешь связан с другими людьми. Работать по-настоящему у нас никто не желает.

— Я не понимаю...— начал Баако.

— Вот именно, не понимаешь.— Окран допил пиво и, держа в руке пустой стакан, спросил: — Значит, ты работаешь в телекорпорации?

— Вернее, собираюсь там работать,— ответил Баако.

— Ты ведь довольно давно вернулся.

— Да. А заявление подал уже недели три назад. Даже больше — месяц. Заполнил все необходимые бумаги. В трех экземплярах. И теперь вот чуть ли не каждый день хожу в Комиссию по трудоустройству, и всякий раз мне говорят: придите завтра.

— Что-о-о? — заорал Окран, вскакивая.— Так они уже пустили тебя по этому идиотскому кругу?

— Откровенно говоря, из-за этого я и пришел. Сегодня я опять был в Комиссии — у некоего Младшего помощника председателя. Считается, что он должен рассмотреть мои документы. Ну, и он сказал мне, что если бы я попросил у него помощи...

— Вот-вот, так они и говорят, когда вымогают взятку,— пробормотал Окран, расхаживая по комнате.— Никто у нас ничего не делает. Да иначе-то и быть не может. Ведь страной управляет элита — стадо самодовольных ослов, которые только и умеют, что бездельничать.— Окран повернулся и, подойдя к Баако, спросил: — Когда, значит, ты подал заявление?

— Да почти месяц назад.

— И дело даже не в бюрократии. Просто никто ничего не делает. Наоткрывали кучу контор, чтобы они якобы делали то, да се, да пятое, да десятое. Но если ты действительно хочешь чего-нибудь добиться, изволь обойти их все до единой.— Окран продолжал выхаживать по комнате — сначала, от злости, почти бегом, потом все медленней и спокойней; наконец, подойдя к задвинутому в угол столику с телефоном, сказал: — А кончается это — конторы там, не конторы — всегда одинаково: личными контактами,— и поднял трубку. Покрутив ручку допотопного аппарата, он минут пять подождал и потом проговорил в микрофон: — Сузи? Это Кофи Окран... Здравствуй. Слушайка, Сузи, соедини меня с министерством информации... Да-да, это очень спешно. И попроси там Ответственного секретаря. Они тебе скажут, что его нет, но ты втолкуй им, что это очень важный личный вызов... Да... Спасибо, Сузи.— Окран положил трубку и снова сел напротив Баако. Он молчал, и по его лицу было видно, что он пытается подавить то ли злость, то ли отвращение к самому себе.

Их визит к высокопоставленному лицу не затянулся. Ответственный секретарь был дородным мужчиной, который очень часто хохотал и явно получал от этого большое удовольствие. Он выглядел молодым, лет этак сорока, и весь вечер никак не мог решить: называть ли ему Окрана наставником или акорой. Он сказал Окрану по телефону, что Баако может приехать к нему домой в любое время, начиная с шести часов вечера, и после раннего обеда Окран подъехал к новому двухэтажному коттеджу, озаряемому треугольником предупредительных авиамаяков на трансляционной башне радиостудии. Ответственный секретарь один сидел на веранде и лениво потягивал какой-то напиток. В зеленом свете маяков лоснящееся лицо секретаря отливало неестественным, трупным блеском. Он глянул на Баако с мимолетным интересом.

— Итак,— самодовольно отдуваясь, сказал Ответственный секретарь, когда Окран представил ему Баако,— это и есть наш возвратившийся студент, который не знает, что у нас к чему? — Баако не ответил, и душную тишину нарушил Окран:

— Они там в Комиссии по трудоустройству начали гонять его по кругу. Да не за того взялись: мистер Онипа очень способный человек и к тому же дипломированный специалист.

— Ну да, ну да,— небрежно сказал секретарь и щелчком сшиб мошку с края бокала. По его поведению было ясно, что все это представляется ему ерундой.— Садитесь.— Секретарь показал на пестрополосатый диван, казавшийся неопрятно-грязным в зеленом свете маяков.— Вы совершенно правы, акора, не за того они взялись. Одного я не понимаю: зачем он и вообще-то к ним полез?

— Мне казалось это вполне естественным — обратиться в Комиссию по трудоустройству.

— Зато теперь не будет казаться,— с апломбом проговорил секретарь и победно загоготал. Его зубы полыхнули мутновато-зеленым заревцем.

— Он сделал все, что полагается! — Окран старался говорить без злости, но это плохо ему удавалось.— Зачем, спрашивается, у нас существуют всякие комиссии, если специалист не может поступить на работу?

Ответственный секретарь громко поцыкал зубом и спросил Окрана, не хочет ли он чего-нибудь выпить. Окран отрицательно покачал головой, и, когда Баако сделал то же, секретарь перестал цыкать и скучным голосом сказал:

— Мы у себя новомодных порядков не заводим. Наша страна развивается по-своему. И если вы думаете, что все вам будет удаваться легко и без усилий, лучше не теряйте времени. Не стоит труда.— Окран злобно фыркнул, но промолчал. Секретарь вытер зеленоватый лоб и закончил: — К сожалению,— он подмигнул Окрану,— вашему молодому человеку придется выкинуть из головы те наивные схемы, которыми его пичкали в школе,— если он действительно захочет добиться успеха. Реальная жизнь, она сильно отличается от школьных правил.— Закончив последнюю фразу, секретарь, видимо, потерял всякий интерес к предмету разговора и принялся задавать Окрану необязательные, незначительные вопросы — о здоровье жены, о детях, о новых требованиях при поступлении в школу, об очередной встрече ассоциации выпускников,— и Окран отвечал ему скупо и незаинтересованно. Секретарь вспомнил, зачем они пришли, только перед самым их уходом. — Ну,— небрежно сказал он,— мне пора в Речной клуб. Курку тоже там будет. Я переговорю с ним. Он заправляет делами в Комитете. А вы с завтрашнего дня выходите на работу. Скажите Асанте Смиту, что вас прислал я. Потерянное время вам полностью оплатят, я прослежу за этим. А сейчас мне, к сожалению, пора собираться. Господи, да я весь взмок!

Окран, казалось, опьянел от злости — что-то бормоча, он проскакивал перекрестки, не обращая внимания на другие машины; дважды слишком быстро переключал передачи, так что коробка болезненно скрежетала, но он и этого не замечал.

— Слышал? Ты должен забыть все то хорошее, чему тебя выучили... Какого черта они не переключаются на ближний свет, я же в кювет загремлю... Ему же на все наплевать. Да, такие кого хочешь обломают. Великие правители... чтоб им всем подохнуть! И ведь они знают, что система — дерьмо, но им нравится восседать на этой куче. Теперь вот он думает, что сделал нам великое одолжение — только этого ему и надо. Он считает, что ты ему по гроб жизни обязан. Вся их машина крутится вхолостую — пока кто-нибудь кому-нибудь не сделает одолжения. Работа... Нет, они знают, что делают. Ты не обольщайся —

работать по-серьезному они тебе все равно не дадут. Попробуй, конечно, может, ты и добьешься своего. Но им-то самое главное — ничего не делать. Тебе устроили синекуру... Господи, что за жизнь! Помни мой совет, Баако. Ты должен найти работу, которую сможешь делать в одиночку... и работать... работать, ни на кого не глядя... Где нам сворачивать?

За Авудомским кладбищем Окран вдруг резко вильнул вправо, машина слегка дернулась, и Баако услышал болезненный собачий визг. Окран выругался, а визг превратился в тоскливый удаляющийся вой и вскоре замер вдали; за всю остальную дорогу спутники не произнесли ни единого слова.

— Большое вам спасибо,— сказал Баако, вылезая из машины на своей пустынной улице.

— Заезжай, когда будет время.

— Да ведь не на чем заезжать-то.

— Это уж точно. У нас есть министерство общественного транспорта, только вот транспорта нету. Система!

— Может быть, заглянете на минутку?

— Не могу, мне надо ехать. А ты заходи — ну, хоть в школу. Буду рад тебя повидать.

— Огромное вам спасибо.

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Араба еще не оправилась после родов, но в ней уже проснулась ее обычная любовь к острой и обильной еде. В среду, едва вернувшись с работы, Баако услышал, что она его зовет, и испуганно бросился в ее комнату, а когда вбежал к сестре, то поначалу подумал, что его страхи оправдались — у Арабы был такой же затравленный вид, как после неудачи в новом родильном отделении,— но приблизившись к кровати, увидел, что сестра хоть и слабенько, но счастливо улыбается. Баако присел на край кровати, и Араба взяла его руки в свои и стала поглаживать их, и казалось, что это доставляет ей истинное удовольствие.

— Ты был такой заботливый, Баако,— сказала она.— Мне ужасно совестно, что я доставила тебе столько хлопот. И в больнице ты дал мне свою кровь...

— Пустяки, всего пинту,— прервал ее Баако.— И я сразу же принял лекарство, которое восстанавливает кровь, так что ничего даже не почувствовал.

— Да ведь не только кровь...— Араба вдруг засмущалась, отпустила его руки и, отвернувшись, принялась поглаживать головку младенца.— Ребенок! Ты подарил мне ребенка.

— Ну, за это уж ты Квези благодари. Муж-то вроде он.

— Ох, Баако, и кобелиный же у тебя язык! — Араба хихикнула, прикрыв рот ладонью.— Смотри, если ты будешь меня смешить, я могу умереть. У меня ведь еще все внутренности не на месте. Нет, серьезно, Баако, мне хотелось тебе сказать, что, если б не ты, я бы и этого ребенка потеряла.

— Это он сам тебе сказал?

— Ох, Баако, ты меня убьешь! А я тебе правду говорю, и надо верить. Знаешь, сколько раз у меня ничего не получалось?

— Ну, такое вроде бы только мужья знают.

— И все-таки я скажу тебе, Баако. Пять раз.— Араба пересчи-

тала пальцы на левой руке.— Пять раз у нас ничего не получалось. Это было тогда, когда ты писал такие письма, что мы уж и не надеялись тебя увидеть. А потом заболел.

— Я и правда болел.

— Первые несколько месяцев все у меня шло как у всех, а потом, когда я уже начинала радоваться, что вот, мол, теперь и у меня будет малыш, он рождался раньше времени, мертвый, а я чуть не до смерти исходила дурной кровью. Видишь, какое благо для нас твое возвращение? Ты уже подарил мне счастье — ребеночка. И я уверена, будут и другие благодеяния.

— Ну... не знаю.

— Ты только не уезжай от нас, Баако. Оставайся с нами, и ребеночек будет под твоей защитой. Это ведь твой ребенок, Баако. Я дам ему твое имя.

— Разве не отец выбирает имя?

— Конечно, отец. А я только помогу ему, чтобы он правильно выбрал. Мужчины думают, они верховодят в жизни,— сказала Араба улыбнувшись,— так зачем их разубеждать?

— Квези не согласится.

— Еще как согласится! Знаешь, где у мужчин главный диктатор?

— И это говорит женщина, у которой все внутренности не на месте?

— Хочешь, поспорим?

— Давай.

— Что ты потребуешь, если я проспорю?

— Плюнуть на этот дурацкий ритуал — Выход в мир или как он там называется.

— Не такой уж он дурацкий,— со смехом сказала Араба.— Что ж, ладно. Только я-то не проспорю. Зато если проспоришь ты, то будешь РР.

— Какой такой РР?

— Распорядитель ритуала.

— Ну-ну.— Баако встал.

— Ой, подожди, Баако, не уходи.— Араба снова взяла его руки в свои и крепко сжала; оба замолчали. Баако глянул на ребенка. Младенчество, детство, годы ученья... мысль о том, что кому-то предстоит через все это пройти, опять нагнала на него тошную тоску, и внезапно ему показалось, что в комнате слишком душно и слишком тесно от человеческих тел — Араба, ребенок, он сам...

Баако отвернулся и увидел свою мать — она подошла совершенно бесшумно и теперь смотрела на брата и сестру широко открытыми, радостными, детскими глазами и, когда Баако ее заметил, проговорила:

— Ай-ай-ай, это что же — сестра завлекает брата или, наоборот, брат сестру?

— Мужчина попадается в женскую паутину, потому что женщина умнее мужчины,— сказала Араба, отпуская руки брата. Присутствие еще одного человека успокоило ее, теперь она не боялась, что останется наедине с младенцем, а поэтому расслабилась, вытянула ноги и опустила голову на подушку. Зато лицо матери вдруг стало тревожным.

— Ох, до чего же это трудно — растить детей,— сказала она.

— Так ведь они уже кончились, твои трудности,— заметила Араба,— Баако-то с нами. Дождались наконец.— Баако ощутил тупую тяжесть в затылке, усиленную тягостным для него молчанием, которое, как он с тоской понимал, ему следовало заполнить — звуками, словами, обещаниями, быть может. Но он не мог заставить себя говорить,

и ему становилось все хуже, все невыносимей. Тогда заговорила его мать.

— Араба,— начала она,— я, конечно, понимаю, ты еще не совсем оправилась, но скажи, тебе не кажется, что этот младенец поторопился и выбрал ужасно неподходящее время, чтобы появиться на свет?

— Ох, мама, я так счастлива, что он у меня есть, и не надо мне, чтоб было по-другому!

Лицо матери посуровело.

— Да я не об этом толкую.— Она помолчала.— Я говорю про Выход в мир.— Араба удивленно и непонимающе уставилась на свою мать, но, видимо, постепенно до нее дошло, в чем дело, потому что она даже села на кровати, а ее лицо стало серьезным и озабоченным.

— Поняла наконец? — спросила Эфуа.

— Да понять-то поняла...

— Тогда вот что надо сделать...

— Что это у вас за таинственные дела? — вмешался Баако.— Или мне не полагается знать?

— Какие там таинственные! — отмахнулась Эфуа.

— Вас, мужчин, эти земные дела не касаются,— насмешливо сказала Араба.— Разве Наана тебе не объясняла, что такое мужчина? — Она расхохоталась.— Ну, тогда слушай. Мужчина — это дух, таинственный и свободный, он очень ненадолго спускается к нам и живет в теле, подаренном ему женщиной, продолжательницей рода; он живет, как в ловушке, как солнечный луч, который случайно заглянул в мышиную норку.— Араба хохотала так неудержимо и громко, что ей стало больно. Она попыталась сдержаться, успокоилась и закончила: — Мужчины, значит, просто призраки, духи, вот что говорит Наана.

Матери почему-то не понравился этот рассказ, она нахмурилась и замолчала. Потом, после угрюмой паузы, сказала:

— Сегодня уже третий день с тех пор, как пришел наш маленький странник. Где у тебя календарь? — Баако снял со стены огромный календарь. Вернее, сам календарь был обычных размеров — большой была яркая картинка, рекламирующая какое-то снадобье под названием «Супер-экстра-отбеливающий крем». Она изображала двух африканцев с успешно отбеленной кожей ядовито-желтого цвета. Вокруг них и чуть сзади толпились черные люди, с восхищением взирающие на отбеленную пару.

Эфуа взяла в руки календарь, несколько секунд завороженно рассматривала картинку, потом перевела взгляд ниже.

— Какое у нас сегодня число? — спросила она.

— Двадцать восьмое сентября,— ответил Баако.

— Месяц, значит, почти кончился,— сказала Эфуа.— Хм, среда... Да, плохое время. Что же нам все-таки делать с Выходом в мир?

— А я думал, что существуют традиционные сроки,— вмешался Баако.— Ну, неделя там, месяц после рождения. Разве нет? — Но ни сестра, ни мать, казалось, не слышали его слов.

— Уже через неделю после получки от ритуала не будет никакого проку,— сказала Эфуа.

— Что верно, то верно,— энергично поддержала ее Араба.— У нас ведь теперь как? Пара дней — вот тебе и вся получка.

— Правильно,— сказала Эфуа.— Выходит, надо собирать народ в первую субботу после получки.

— А когда у нас в этом месяце получка? — спросила Араба.

— Что-то я как следует не помню,— ответила Эфуа.

— У ответственных работников — двадцать шестого сентября,— нараспев произнес Баако, стараясь, чтобы сестра и мать не заметили сарказма в его голосе,— у рядовых работников — двадцать девятого сентября, у рабочих — третьего октября. Я вычитал это на доске приказов в телестудии.— Сарказма никто не заметил.

— Так. Восемь дней ему исполнится... четвертого,— сказала Араба.

— А вот и не четвертого! — Баако заговорил с детскими интонациями.— Сентябрь проходит в тридцать дней...

— Значит, пятого?

— Пятого.

— Четвертое — вторник, пятое — среда,— подсчитала Эфуа удрученно.— Бесполезное дело. А суббота — второго.

— Придется назначить Выход в мир на второе.

— Дался вам этот календарь! — воскликнул Баако.— Неужели вы так уж обеднели, что хотите заработать на ребенке?

— Знаешь что, сынок,— резко сказала Эфуа,— ты нам тут не проповедуй!

Баако замолчал и стал смотреть на ребенка, краем уха слушая разговор женщин; вмешиваться он больше не пытался.

— А мы успеем? — спросила Араба.

— Не беспокойся,— ответила Эфуа,— я все сделаю. Только вот Квези-то согласится?

— Будь уверена, согласится.

— Откуда ты знаешь?

— А у меня есть секретное оружие.

— Какое еще оружие?

— А вот какое,— показала Араба.

— Ох, бесстыдница!

— А кто меня спросил про мое секретное оружие? — Обе рассмеялись.

— Только ты это брось. Где уж тебе думать про твое оружие после таких родов.

— Вот в том-то все и дело. Повитуха сказала, чтобы Квези ко мне два месяца не подступался. А если он не будет меня слушаться, так я и все три проболею. Пусть походит три месяца голодный.

— Араба,— захохотала Эфуа,— он ведь свихнется, пожалей хотя бы его мать.

— Пусть поголодает, ничего ему не сделается. Почему все мучения достаются только нам? Они, значит, побалуются — и деру, а мы одни расхлебывай?

— Смотри, Араба,— сказала Эфуа,— как бы он с голоду не стал рыскать по улицам — вроде бездомного кобеля.

— Глупости, мой Квези не такой,— ответила Араба.— Он мне говорил, что слаще меня ему ничего не надо. Нет, об этом я не беспокоюсь.

— Что ж, твое счастье,— сказала Эфуа.— Я бы на твоем месте...— Но в этот момент послышался скрип калитки, и она встала.— Ага, вот и он. Я пойду. А то ему покажется, что у нас тут семейный заговор против него.

— Не бойся,— сказала Араба ей вслед.— Он знает, что Баако всегда держит его сторону.

Квези принес объемистый пакет и, смущенно ухмыляясь, водрузил его на женину кровать.

— Что это? — спросила Араба.

— А ты не торопись,— ответил Квези, повернулся к ней спиной и принялся разворачивать пакет. Когда обертка была снята, он стремительно повернулся к жене и показал ей подарок — электрический вентилятор с длинными массивными лопастями, хромированным кожухом и тремя кнопками на серо-металлической подставке.

— Ух ты, вентилятор! — радостно воскликнула Араба, но тут же притихла и прижала правую руку к животу.— Ой, Квези, огромное тебе спасибо. На меня вдруг столько всяких радостей свалилось.— Она улыбнулась, но Баако видел, что по ее щеке поползла слезинка. Однако сестра сразу же подмигнула ему, еле заметным кивком показав на дверь, и он понял, что она хочет немедленно взяться за обработку мужа. Он молча вышел и отправился в свою комнату.

Образы вооруженных людей, испуганных птиц, мечущихся над саванной, и сонмы яростных насекомых, в смертельной схватке разгрызающих хитиновые панцири врагов, кружились в уме Баако, когда ему вдруг послышалось, что кто-то постучал в дверь.

— Войдите,— крикнул он, но продолжал читать, пока не кончил абзац.

— Ты занят? — услыхал он голос Квези.— Извини, пожалуйста.— Но Баако уже дочитал до красной строки и, заложив в книгу карандаш, закрыл ее.

— Да нет,— ответил он,— входи.— Потом, приподнявшись на постели, добавил: — Присаживайся. Мне вовсе не обязательно в один прием дочитывать ее до конца.

— Да, большая книга,— сказал Квези. Баако глянул вниз и автоматически прочитал знакомые слова: «Дорис Лессинг. Золотой дневник». Глаза, заполняющие всю обложку, пристально смотрели на него, и их застывшая одержимость дополняла смысл заглавия.

— Ну, как дела? — спросил Баако, подбадривающе улыбаясь свояку. Тот казался расстроенным.

— Может, пройдешься со мной? — попросил он.— Мне позарез надо выпить. Где угодно, только чтоб не дома.

Они спустились с холма к улице Виннеба, миновали кинотеатр «Орбита», перешли на другую сторону, потом свернули влево и дошли до кафе «Серебристый метеор». Оно открылось совсем недавно, но завсегдатаи уже по-приятельски тыкали бармена в брюхо и называли Жирным Бонтоссом. Квези выбрал место подальше от стойки, где свет был не очень ярким, а между столиками оставались широкие проходы, и, когда бармен подошел к ним, он заказал пиво, потом поглядел на Баако, и тот попросил принести ему имбирной воды, вызвав у бармена улыбку снисходительного презрения. Как только бармен отошел, Квези покачал головой и негромко сказал:

— Не умею я отказывать женщине, особенно если она просит меня о чем-нибудь с глазу на глаз. Никогда не могу понять — права она или болтает чушь. Да и какая разница — ведь я в любом случае со всем соглашаюсь.— Бармен принес им напитки, и тут в кафе вошел еще один человек — молодой, с очень красивым, хотя и грустным, несмотря на юношескую свежесть, лицом, одетый в узкие брюки и черную рубашку с белой полоской на нагрудном кармане. В солнечном прямоугольнике дверного проема резко выделялось его блестящее черное лицо и белки глаз, иссеченные красноватыми прожилками.

— Э, Букари,— заорал бармен,— неужто это ты опять?

— Да, Бонтосс, опять я,— удрученно сказал молодой человек.

— Ну, и что мы теперь будем пить? — Казалось, бармен искусственно подогревает свою радость, чтобы подбодрить молодого человека.

— А, да какая разница, Бонтосс... что-нибудь самое убойное.— Молодой человек сел за столик неподалеку от Баако и Квези.

— Ну, человек должен сам выбирать себе смерть,— с громким смехом сказал бармен, и люди за столиками радостно подхватили его слова:

— Во-во, Бонтосс, правильно! Уж что правильно, то правильно.

— Так что тебе принести, Букари? Джин? Виски? Ром? Водку?

— Да что под руку попадется... Виски,— все же выбрал молодой человек. Через минуту бармен подошел к его столику с бутылкой виски и стаканом. Когда он крикнул официантке, чтобы она принесла льда и воды, молодой человек досадливо отмахнулся и сказал: — А-а, какая там вода, не надо мне никакой воды! — С проворством умалишенного он налил стакан неразбавленного виски, залпом осушил его и сейчас же повторил эту операцию еще два раза. Бармен схватил его за руки.

— Что с тобой, Букари? — спросил он.— Какая такая беда? — Молодой человек не ответил.— Нет, это не дело — напиваться до смерти, да еще в одиночку.— Молодой человек опять промолчал. Тогда бармен подхватил бутылку с остатками виски и пошел было к стойке. Теперь в зале стало тихо, все замолчали и сочувственно смотрели на молодого человека. А он вдруг упруго вскочил на ноги, одним прыжком нагнал бармена, с неодолимой силой схватил его за плечи, повернул и вырвал бутылку.

— Да пойми ты,— бешено крикнул он,— у меня же ничего больше не осталось! — Он начал наливать себе виски, и в этот момент Квези снова обратился к Баако:

— Ты ведь знаешь, что мне сказала Араба.

— Ну, и как ты решил поступить?

— Ужасно это все сложно... сразу и не разберешься,— ответил Квези.— Ты же знаешь, чего она хочет.

— Она говорила, что попросит у тебя разрешения.

— Ужасно это было сложно. Она мне, значит, и говорит — все, мол, так делают. Ну, что ей ответишь?

— Ребенок недоношенный. Вам надо его очень беречь.

— Так-то оно так,— проговорил Квези,— а все-таки...

В это время послышался звон разбитого стекла, и Баако машинально оглянулся. Молодой человек, которого называли Букари, резко оттолкнул столик, бутылка со стаканом полетели на пол и разбились вдребезги, а молодой человек безвольно сполз со стула. Никто не успел его поддержать. Он ударился головой о край стола и рухнул на пол. Было очевидно, что он не в состоянии сделать ни одного осмысленного движения. Упав, он угодил лицом в осколки, и какая-то женщина, сама немного пьяная, подскочила к нему, чтобы помочь встать. Но ей удалось приподнять только его голову, да и то лишь на секунду, а потом он снова ткнулся лицом в осколки, и женщина, увидев сочащуюся кровь, громко зарыдала. Трое подбежавших мужчин поставили молодого человека на ноги, и, когда они попытались вытащить хотя бы самые крупные осколки, вонзившиеся в его лицо, он болезненно застонал.

— Мама... Мамочка!..— бормотал молодой человек; на ногах он не держался.

— О Великий Друг,— плача, причитала женщина,— семью бедного мальчика посетила смерть!

Молодого человека посадили за свободный столик, но сидеть он не мог, положил голову на стол и, всхлипывая, надолго застыл. Потом, словно о чем-то вспомнив, поднял голову, сунул правую руку в брючный карман, но карман оказался пустым; тогда он похлопал себя

по карману на рубахе, вынул розоватый конверт и сколько-то времени смотрел на него, а потом заплакал в голос.

— Я скитался по чужим землям и страдал, и все это ради тебя,— приговаривал он сквозь слезы.— К будущему рождеству я бы снова вернулся и привез бы тебе все, о чем ты мечтала. Разве я не обещал тебе? Разве я был плохим сыном? Зачем же ты заставила меня страдать? Зачем ты ушла? Что я тебе сделал плохого? — Он снова положил голову на стол.

Женщина, пытавшаяся поднять молодого человека, подошла к нему и стала гладить его по волосам, но приятель женщины оттолкнул ее и сказал:

— Оставь его в покое. Пусть выпьет свое горе до дна. Тогда ему станет легче.

— Эй, еще выпивки! — встрепенувшись, заорал молодой человек, призывно подняв руку. Бармен взял пластмассовый стаканчик и, заранее смешав виски с водой, подошел к молодому человеку.

— Виски убьет его,— сказала плачущая женщина.

— Не убьет,— сказал бармен, поставив стаканчик на вымазанный кровью стол.— Ему надо побеседовать с духами смерти. Он должен забыться. Платить ему, ясное дело, нечем, но он мой друг.— Молодой человек пошарил дрожащей рукой по столу и нащупал стакан.

— Понимаешь, вся беда в том,— снова заговорил Квези, отворачиваясь от измученного, залитого кровью молодого человека,— что, как только мы начинаем о чем-нибудь толковать, я сразу же запутываюсь. Вот она, например, говорит, что все так делают,— а разве это неправда?

— Я-то думал, что ты не согласишься, даже поспорил с Арабой,— сказал Баако.

— Да я знаю.— Квези допил пиво и налил себе еще.— Она же мне потом и рассказала.

— Ну что ж...— Баако попытался скрыть усмешку, загородившись стаканом.— Значит, я проспорил.— Он допил остатки воды.

— Пойдем? — спросил Квези.— Я расплатился.— Баако кивнул. Они осторожно прошли мимо молодого человека, который, видимо, уснул. Установленный у двери репродуктор проорал неуклюжую концовку какой-то старой песни:

Если ты меня-а-а-а не любишь,
Почему-у-у-у ж ты мне не скажешь?

Почти без паузы за этой песней последовала другая. Сначала послышался очень бойкий гитарный перебор, который можно было посчитать и ликующим, и надрывным, а потом зазвучали слова:

Завтра уйду я навек —
Лишь сонмище мух вскружится...

Женщина, пытавшаяся утешить молодого человека, перестала рыдать и принялась уговаривать своего приятеля потанцевать с ней.

— Да посиди ты спокойно,— с раздражением сказал он.— И почему это так получается — что ни женщина, то сумасшедшая?

Женщина презрительно скривила губы.

— Ну да, а зато что ни мужчина, то великий умник... Послушай, ведь музыка-то хорошая, правда? А смерть, она все равно раньше нас родилась. Ну и дай мне пожить, хоть пока я жива, если сам не хочешь.— Она вышла на середину бара и, никого вокруг себя не замечая, стала танцевать одна.

Я землю покину завтра —
буду кормить червей.

Завтра зароют мой труп —
стервятник взлетит над землею.
Ведь я лишь странник,—
о, Странник,
дай мне закончить мой путь,
станцевать
мой танец земной.

— Так что Выход в мир назначен на это воскресенье,— сказал Квези, когда они миновали перекресток Виннеба.

— Я знаю,— сказал Баако.

В воскресенье Баако разбудило жалобное блеяние барана, привязанного во дворе к стволу мангового дерева. Барана, специально для празднества, привел из их родовой деревни Котсе-йе-Абоа, где Баако был всего один раз, да и то очень давно, человек по имени Коранкье Горбун. Когда Баако проснулся, домашние уже начали вставать, и блеяние порой заглушалось шарканьем ног по коридору, скрипом дверей да шумом воды в уборной или ванной. Потом он услыхал шаги матери и ее негромкую песню, а по шуршанию материи, по металлическому и стеклянному позвякиванию догадался, что она выносит на веранду чистые скатерти, ножи, вилки и ложки, купленные к празднику, и бокалы, которые она попросила накануне у соседей; после того, как шаги матери затихли, Баако встал, надел шорты и рубашку, вышел на веранду и увидел три стола, накрытые розовыми и голубыми скатертями, с батареями бутылок на них. К столам были придвинуты кресла для особо важных гостей, а во дворе громоздились красные, зеленые и золотистые стулья из фойе соседнего кинотеатра — для гостей попроще. В глубине двора на земле стояло пять глиняных горшков с почти прозрачными язычками голубовато-желтого пламени над раскаленными углями.

Следом за Баако на веранду вышел Коранкье Горбун, ночевавший в кухне, и прищурился от мягкого утреннего солнца. В левой руке Горбун держал зеленую пивную бутылку, из которой, словно тяжкий туман, выползал густой запах самогона — акпетеше, а в правой — длинный стальной нож с деревянной ручкой и напильник. Запрокидывая голову, он прихлебывал акпетеше и громко крякал после каждого глотка, как будто самогон сжигал ему внутренности.

— Здорово, хозяин,— сказал Коранкье, увидев Баако.

— Какой же я тебе хозяин? — спросил Баако. Горбун засмеялся и, задрав голову, отхлебнул акпетеше. Потом спустился с крыльца, подошел к барану и принялся его разглядывать, временами осовело дергая головой и приборматывая нечленораздельные восклицания, в которых слышалось презрение, странно смешанное с неясным страхом. Немного постояв, Горбун ткнул барана пальцем, умостил бутылку рядом с деревом, взял в освободившуюся руку нож и начал водить по нему напильником. Через несколько минут он проверил остроту лезвия большим пальцем, и в этом точном движении не было ни следа пьяной осовелости. Явно удовлетворенный своей работой, он поднял острие ножа вверх и проговорил:

— Нананом, это я, Коранкье, дозволь мне пролить кровь,— а затем, описав ножом плавный полукруг, воткнул его в землю, поднял бутылку и окропил нож несколькими каплями акпетеше.

— Пей, Нананом, и благослови своего сына,— сказал Горбун, вылил остатки самогона в собственное горло, поперхнулся, закашлялся, ударил себя несколько раз в грудь и, швырнув пустую бутылку за забор, нагнулся, чтобы вытащить из земли нож, а потом подошел к

барану. Тот попытался убежать, но Коранкье дернул за веревку, подтянул его к себе, и прерывистое блеяние испуганного животного наложилось на плотоядное, одышливое молчание Горбуна. Балансируя на одной ноге, Горбун всей тяжестью навалился на барана, плотно зажал его голову под мышкой, глянул вверх, поплевал в ладонь, приложил ее к песку и наконец обхватил пальцами ручку ножа. Когда он, стирая с лезвия пыль, плашмя провел им по бараньему горлу, баран мелко задрожал, коротко, хрипло проблеял, но Горбун уже задрал ему голову и резко полоснул по горлу ножом. В первую секунду кровь забила фонтаном, но вскоре фонтан опал, и красная струя начала выплескиваться на землю медленными, постепенно слабеющими толчками. Коранкье распрямился, сорвал несколько манговых листьев и вытер ими окровавленный нож. Потом поднял убитого барана и, оступаясь, понес его к горшкам с углями; вскоре по двору пополз дымный чад горящей шерсти, а Горбун с пронзительным скрежетом стал точить ножи для разделки бараньей туши.

Когда Баако снова вошел в дом — с задней веранды,— ванная оказалась свободной. Он быстро побрился, принял душ, вернулся в свою комнату и, уже кончая одеваться, услышал осторожный стук в дверь. Это была Наана, и она начала говорить, даже не успев притворить дверь:

— Дом переполнен запахами, Баако!

— Сядь, Наана,— сказал он.— Стул слева от тебя.

— Я знаю,— ответила старуха и села.— Такие ужасные запахи,— снова начала она, но потом вдруг улыбнулась и добавила: — Зато мне нравится, как пахнет в твоей комнате, Баако. Лавандовая вода и пудра.

— Я только что побрился,— сказал Баако.

— А те-то, в доме-то! Запахи и шум. И еще я слышала — утром во дворе зарезали барана.

— Это для празднества.

— Какого еще празднества?

— Араба сегодня устраивает своему сыну Выход в мир.

— Не может быть, Баако! Значит, я что же — разучилась считать? Скажи, разве она родила неделю назад?

— Нет, считать ты не разучилась, Наана. Роды были пять дней назад. И все же Выход в мир назначен на сегодня.

— Пять дней,— изумленно прошептала старуха.— Пять дней! Ведь ребенок еще не укрепился в нашем мире. Душой он еще там, с духами, а его насильственно выволакивают сюда, чтобы все эти их гости — жадные пожиратели мяса — поглазели на него!

— Так захотела Араба,— сказал Баако.— Да и мать тоже. Ну, и вдвоем они уговорили Квези.

— А ребенок-то из упорных. Если он останется в нашем мире, от него можно ждать великих дел.— Наана удивленно покачала головой.— Они же сами говорили, он несколько раз отказывался войти в здешний мир. А теперь вот согласился, но они опять ничего не поняли. Ведь он на несколько недель опередил свое время.

— Да, ты правильно подсчитала, Наана.

— И ведь я ничего не смогу им объяснить! Бывает, ребенок вот так поспешит, а потом окажется, что это всего лишь любопытный дух — придет, глянет на наш мир и уходит обратно. Но я слишком стара. Если я попытаюсь их вразумить, они просто проклянут меня, скажут, что я колдунья, что я хочу отобрать у него жизнь, чтобы продлить свою.

— Опомнись, Наана! Никому такое и в голову не придет.

— Ты слишком юн, Баако. Ты не знаешь, какими злобными бывают людские души. Но зато твоя юность позволяет тебе быть великодушным.— Наана вздохнула, потом напряженно пригнулась вперед, словно хотела оказаться поближе к внуку.— Ну, а сам-то ты, Баако,— что ты думаешь об этом балагане?

— Да ничего не думаю, Наана. Я, признаться, не очень-то понимаю смысл этого обряда.

— Стыдись, Баако! Если ты не понимаешь обряда, то как же тебе удастся проследить, чтобы он был исполнен правильно? Да что тут непонятного? Младенец, пока он не окреп, живет между нашим плотским миром и царством духов. Если все делается правильно, он находит свой земной облик и решает остаться в нашем мире. Но ему надо помочь. Потому что он может устрашиться уготованных ему здесь страданий и вернуться к духам. Ну подумай сам — что тут непонятного?

— Я вижу, мне следует почаще слушать твои рассказы, Наана.— В голосе Баако прозвучала добродушная насмешка.— Только вот очень уж они всегда грустные.

— Не пытайся сбить меня с толку льстивыми словами, Баако. Почему ты не пресек глупость сестры и матери?

— Да не смог я.

— Ты меня удивляешь, Баако! Мужчина, дядя, не может вразумить двух женщин?

— Я думал, Квези отговорит Арабу,— сказал Баако.— Но я ошибся. А ведь он отец!

— Зачем ты мне это рассказываешь! Конечно, Квези отец. Но ответственность за ребенка лежит на тебе. Отец, он всего-навсего муж, а мужья приходят и уходят, они лишь трутни, переносящие семя. Дядя — вот кто должен заботиться о ребенке. Вы с Арабой — родня по крови, и ее ребенок — это твой ребенок, Баако. Подумай, что случится, если ты будешь сидеть сложа руки и смотреть, как они пытаются его погубить!

— Наана,— сдерживая раздражение, проговорил Баако,— я понимаю, о чем ты толкуешь. Но пойми же и ты: мир изменился. Теперь дядя — самый обычный родственник. Я не могу распоряжаться судьбой чужого ребенка.

— Мир изменился...— тихо пробормотала старуха и потом, возвысив голос, твердо добавила: — Всегда одни и те же слова... Тошнотные слова! Мир изменился... Этими словами оправдывают каждое новое преступление! Так слушай же, что я скажу тебе...

Старуха замолчала на середине фразы, и, только когда раздался стук в дверь, а потом в комнату вошла его мать, Баако понял, что Наана услышала ее приближающиеся шаги. Увидев Наану, Эфуа нахмурилась и раздраженно спросила:

— Тебе что-нибудь нужно, Наана?

На мгновение старуха замерла, словно страх парализовал ее, а ненависть лишила дара речи. Потом, поднявшись, медленно ответила: «Нет, Эфуа, мне ничего не надо» — и вышла из комнаты, даже не протянув вперед руки, чтобы нащупать дверь.

— Зачем она приходила? — спросила у Баако мать.

— Да просто поговорить,— ответил он. Мать подозрительно посмотрела на него, но вскоре успокоилась.

— Ты хоть помнишь, что ты РР? — сказала она.

— Помнить-то помню. Только не знаю, что я должен делать.

— Кто из нас учился в университетах? — насмешливо спросила Эфуа.

— В университетах этому не учат.

— Успокойся, ничего особенного тебе делать не придется. А все-таки жаль, что ты не привез смокинг... может быть, наденешь тогда хоть костюм?

— По-твоему, я похож на обезьяну?

— Что за глупости ты говоришь?

— Только тот, кто идиотски обезьянничает с белых, способен напялить смокинг или пиджак в такую жару.

— Но для такого торжественного ритуала...

— Это что, наши священные праотцы завещали нам париться в смокингах на таких ритуалах? Нет уж. Я оденусь так, чтобы хоть от жары не мучиться на этом вашем ритуале.

— Эх, Баако,— в голосе матери прозвучало неподдельное огорчение,— я ведь хочу как лучше. Что с тобой творится последнее время?

— О чем ты? — спросил он, но мать смотрела словно бы сквозь него, как будто старалась разглядеть что-то за его спиной.

— Да нет, я так,— сказала она.— Тебе надо будет встречать гостей и следить, чтобы их рюмки не пустовали. И, пожалуйста, сперва наливай почетным гостям.

— Понятно. Что еще?

— Больше ничего,— сказала Эфуа и пошла к двери.— Ах, да, еще приглядывай, чтобы все было в порядке с пожертвованиями,— добавила она и, прежде чем он успел ей ответить, вышла из комнаты, бесшумно прикрыв за собой дверь.

(Окончание следует)

ФРАНСИСКО ГАРСИА ПАВОН

Рыжие сестры

РОМАН

Перевод с испанского Л. СИНЯНСКОЙ

Осеннее утро

Мануэль Гонсалес, он же Плинио, начальник МГТ, другими словами — Муниципальной гвардии Томельосо (провинции Сьюдад Реаль), по привычке вскочил с постели ровно в восемь утра. Похоже, в голове у него были часы, потому что, едва на башне пробил первый удар, как он почувствовал томление в веках, разомкнул слипшиеся от сна ресницы и взглянул на белый свет с чувством человека, впервые и неторопливо вступающего в жизнь. До четвертого удара он приходил в себя. С восьмым ударом он всегда — как и в то утро, о котором идет речь,— уже сидел на краю постели и скреб в затылке, уставившись на ряды ракушек и раковин, которые красовались на мраморной крышке швейного столика со времен первого пришествия.

Пока он так, полуголый, сидел, Грегория, его жена, принесла ему отглаженную серую летнюю форму и до блеска начищенные черные штиблеты.

Надев форменный костюм, подпоясавшись ремнем с положенным по уставу пистолетом и прямо, без всякого кокетства, нахлобучив фуражку, он вышел в беленый дворик, где был колодец, росла смоковница, вились виноградные лозы и выстроились в ряд цветочные горшки. Он бросил равнодушный взгляд на небо, в ясной голубизне которого в то утро плавали крепкие, белые, словно игрушечные, облачка.

К нему подошла дочка Альфонса и, поздоровавшись, подала чашечку черного кофе, которым Плинио баловал себя каждое утро. Пока Плинио молча пил кофе, «его женщины», благоразумно держась в отдалении, наблюдали за ним, как всегда, со сдержанной нежностью. Затем, все так же не проронив ни слова, он вытащил кисет, набил папиросу, закурил, глубоко затянулся и, выпуская дым через нос и рот, сказал:

— Ну, все. Я пошел. Какие будут поручения?

— Ты обедать придешь?

— Да.

— Не забудь сказать лавочнику, что оливкового масла у нас только на сегодня.

— Ладно. А тебе, дочка, что-нибудь надо?

— Нет, отец.

И, не пускаясь в дальнейшие разговоры, он окинул их взглядом, коротко улыбнулся, поднял в знак прощания правую руку и, выйдя через калитку — ибо парадным входом пользовались лишь в особых случаях,— направился к муниципалитету.

Он всегда шел одной и той же дорогой. По пути каждый раз слышал почти одни и те же приветствия, обменивался одними и теми же репликами:

— Добрый день, Мануэль.

— Бог в помощь, начальник.

— Грех на погоду пожаловаться, Мануэль, денек-то прямо июньский.

Плинио, не выпуская изо рта папиросы, отвечал односложно, а то просто улыбкой или кивком головы.

Женщины, подметавшие у дверей домов, прекращали свое занятие и пропускали его. Был понедельник, и на улице то и дело попадались грузовики с при-

цепами и сновали мотоциклы. Не все еще закончили сбор винограда, но большинство уже сдало виноград в кооператив. В это раннее утро на улицах царило светлое, великолепное и немногословное оживление. Утром жизнь еще не давит. А к вечеру навалятся дневные заботы и все станет тяжелее, громче и не так чисто, как утром.

Маноло, самый старый парикмахер в селении — он до сих пор еще плел камышовые стулья и играл на гитаре,— как обычно в это время открывая свое заведение — «Мужскую парикмахерскую», спросил Плинио:

— Ты, Мануэль, виноград продал или сделал вино?

— Продал.

— А дон Лотарио как всегда?

— Само собой...— коротко ответил Плинио, не останавливаясь.

— Замечательный он человек...

У дверей муниципалитета караульный приветствовал Плинио по уставу, но довольно вяло:

— Никаких новостей, начальник.

В вестибюле под надзором ефрейтора Малесы происходила смена караула. Восемь или десять караульных, обросшие, со слипающимися от сна глазами, сдавали ночное дежурство. А десять новеньких, свежевыбритых, подтянутых, как молодые деревца, прихватив сигареты, парами выходили в караул.

— Есть происшествия? — спросил Плинио у Малесы в ответ на его приветствие.

— Никаких, начальник. В городе мир и порядок,— ответил тот привычной скороговоркой.— Если у вас нет срочных распоряжений, ефрейтор отбывает завтракать в бар «Ло́ви».

Плинио вошел в свой кабинет — кабинет начальника МГТ. Глянул на лежавшие на столе газеты. Завел стенные часы, оставшиеся от времен, когда алькальдом был дон Хесус Ухена, и бросил взгляд на тонкую сияющую серебряную пластинку, висевшую над его креслом: «Его превосходительство сеньор Министр от себя лично и от имени славного сеньора Генерального директора Управления безопасности назначает ПОЧЕТНЫМ КОМИССАРОМ бригады уголовного розыска дона Мануэля Гонсалеса Родриго, начальника Муниципальной гвардии Томельосо, принимая во внимание его выдающиеся заслуги...» и т. д. и т. п.

Потом он подошел к окну и стал смотреть, как по пригородной улице снуют люди: одни шли с рынка, другие — на рынок с плетеными или пластмассовыми корзинами в руках. Люди неуклонно следовали раз навсегда заведенному порядку и привычкам, и Плинио почти наверняка мог сказать, кто сейчас покажется на улице, кто войдет в мясную лавку Каталино, с кем остановится поболтать Херонимо Торрес и совершенно безошибочно — кто выйдет из церкви после утренней мессы. Эта площадь, его площадь, была для Плинио подмостками, на которых каждый день развертывалось одно и то же представление, где звезды и статисты менялись очень редко. Вот прошли судейские писцы. Перед зданием банка Испании прогуливаются служащие. Просигналил мотокар развозчика молока. Служанка Хулиты Торрес выбивает ковры... Ему припомнилось, что происходило здесь двадцать лет назад... Луис Марин, отец, всегда сначала выкуривал папиросу в дверях дома и только после этого выходил на улицу. Давид в этот час открывал магазинчик Анхеля Субриеты. Анибал Талайя потирал руки у дверей бара «Бразилия», приходский священник дон Элисео возвращался из церкви домой...

Так до девяти Плинио простоял у окна, разглядывая улицу и перебирая обрывки воспоминаний, а в девять вышел на площадь и направился в кондитерскую к своей доброй знакомой и поклоннице Росио.

Там, среди женщин, занятых пончиками, кренделями и пышками, с краю у стены, рядом с кофеваркой, уже сидели философ Браулио и ветеринар Лотарио.

— А вот и он,— сказала Росио, завидев Плинио, но не отрываясь от теста, из которого она лепила пончики,— занял почетную должность комиссара — и стал бриться каждый день, а не два раза в неделю, как прежде.

Плинио, не вникая особенно в слова кондитерши, негромко поздоровался.

Браулио-философ, у ног которого стояла плетеная корзина с бутербродами и огромным арбузом, выставлявшим свою луноподобную лысину из-под крышки, сказал, как бы продолжая уже начатый разговор:

— А я утверждаю, что все на свете — сплошная ошибка и нелепость и величайшая нелепость природы, главная ее ошибка — человек и его жизнь.

— А собачья жизнь — тоже ошибка? — спросил Плинио очень серьезно.

— Собачья — нет. Собакам, ослам, слонам, китам, клопам и всем прочим живым тварям, которые ползают по земле, летают или плавают, просто умишка не хватает, чтобы осознать, в какую ловушку они попали; а человек — только у него извилины начинают завязываться — сразу смекает, что к чему. Человек понимает, что конец неминуем, и это величайшая и самая печальная превратность в человеческой судьбе. Первое, что он открыл, было не колесо, и не огонь, и не одежда, а собственный неминуемый конец. Животному неизвестно, что оно такое и что с ним станется. А человек знает, и потому вся его жизнь — агония...

— Постой-ка, Браулио,— прервал его дон Лотарио, ветеринар, нетерпеливым жестом, так что пончик, который тот взял из миски, застыл у него на полпути ко рту.— Если вся жизнь — агония, то какая разница, кто будет новым алькальдом и почему в таком случае ты только что так горячо спорил на эту тему?

— Вот именно — почему? — живо подхватила Росио.

Увидя выражение лица Браулио, Плинио чуть не расхохотался и не выплюнул обратно в чашечку кофе, который только что отхлебнул.

— Черт подери!.. Как почему? — возразил Браулио.— Раз сам человек — ошибка природы, то всякое дело его рук, любые слова и поступки будут детьми этого ошибочного родителя. Кого бы ни назначили алькальдом — Рамона или Романа, все, что они станут делать, или, наоборот, чего не станут делать, будет опечаткой.

— Если так рассуждать,— не утерпел Плинио, изо всех сил стараясь казаться серьезным,— выходит, все равно, каким быть — хорошим или плохим, умным или дураком, обманутым или обманщиком.

— В конечном счете никакой разницы, Плинио. Уверяю тебя, никакой. Все на свете кончается забвением под могильным холмиком. Все проходит и исчезает бесследно, как тот ветер, что сегодня — точь-в-точь как год назад — треплет деревья на кладбище.

— Ну, вот и до Безносой договорились,— с суеверной гримасой вступила Росио.— Вы думаете, приятно каждое утро слушать, как тут Браулио до потери сознания рассуждает о Безносой.

— А как же иначе, Росио, это единственное, о чем можно порассуждать. Единственное, над чем стоит призадуматься... А все прочее — труха.

— А мне лично плевать на смерть, философ.

— Врешь и не краснеешь, милая моя.

Браулио — в берете, чуть сдвинутом на затылок, без галстука — всегда говорил, уставясь на собеседника, при этом указательный палец его правой руки скользил в воздухе, словно бы очерчивая контуры мысли, которую он излагал.

— Вы, женщины, сами по себе настолько иррациональны, что вам неохота говорить о тленности. Вы знать об этом не хотите. Вы ближе к земле, более суетны, и у вас, у женщин, ум ленивый, не то что у нас, мужчин.

— Браво, черт подери! — вскочил дон Лотарио.— Вот это высказался — ну чистый Цицерон. Если бы ты учился, Браулио, ты бы вполне мог писать в «Ревиста де Оксиденте»... Хотя, сказать по правде, людей, глубоко мыслящих, вроде тебя, в журналистике не ценят. Но их мысль живет и проходит сквозь века.

— А любовь? — недовольно скривилась Росио, услышав тираду Браулио.— Любовь, по-вашему, ничего не стоит? Или, как вы сказали, это тоже «труха»?

Браулио, еще не пришедший в себя от похвал ветеринара, обернулся на ее слова, жестом давая понять, что он поглощен размышлениями.

— ...Любовь — это наваждение, затмение ума, просто кровь ударяет в голову или пониже живота; любовь нужна затем, чтобы кровь отхлынула от головы, а слезы — от глаз, чтобы не думать о том единственном, что на самом деле реально.

Тут в кондитерскую ввалилось сразу столько народу, что собеседники оказались зажатыми в углу, и слова Браулио остались без ответа. Дон Лотарио посмотрел на часы и пошел к выходу.

— Ладно, сеньоры, до скорого. Мне надо в погребок. Если я тебе понадоблюсь, Мануэль, ты знаешь, где я.

И, не тратя больше слов, дон Лотарио пробрался между толпившимися посетителями и вышел из кондитерской.

Плинио и Браулио, которых со всех сторон толкали локтями и задевали корзинами, выпили у Росио еще по рюмочке касальи, немного — только тише, то и дело замолкая, потому что их без конца прерывали,— поговорили о жизнетерпении (слово, придуманное самим философом), о том, что все это и есть жизнь, а когда исчерпали тему, то один перекинул корзину через руку, а другой отряхнул перепачканный пеплом мундир, и оба вышли из заведения.

— Ступайте с богом, блюститель закона, и ты, прорицатель черепов,— проводила их Росио, вытирая рукою пот со лба — так она уморилась от работы.

Прежде чем вернуться к себе в кабинет, Плинио — это стало у него привычкой — прошелся раз-другой по площади. Поздоровался с теми, кто направлялся в церковь, где отпевали сегодня дона Антонио Салисио, умершего накануне в одной из мадридских больниц. Оглядел проезжавшую мимо огромную цистерну со спиртом, потом зашел к Фелипе Ромеро сказать, чтобы он прислал оливкового масла; купил в ларьке у Кинито «Лансу», местную газету, и, не видя в перспективе на утро ничего приятного, пошел к себе в МГТ. Он прочитал «Лансу», где обстоятельнейшим образом описывались все сыгранные накануне в провинции футбольные матчи, описывались, по обычаям наших газет, так, что можно было подумать, будто вся жизнь — сплошной матч, немного полистал бумаги, и тут как раз пробило одиннадцать и пришла первая почта, в которой среди прочего несущественного — вроде журнала испанских муниципальных гвардейцев, проспекта энциклопедии, анонимки на члена муниципалитета и рекламы ору-

жейной лавки — было письмо со штампом: «Генеральная дирекция Управления безопасности, отдел уголовного розыска. Мадрид».

При виде письма глаза у Плинио сузились, мышцы лица напряглись, словно он пытался угадать, что это за письмо и о чем в нем говорится; желая продлить удовольствие, он ощупал его, повертел в руках и медленно вскрыл конверт.

В те времена, когда в этих благословенных краях и для перевозки, и для охоты, и вместо транспорта использовали мулов, дон Лотарио всегда на всякий случай таскал с собой огромный шприц. Но с тех пор как, по выражению коновала, «поле механизировали», если в здешних местах не случалось какого-нибудь преступления — большой кражи или же публичного скандала, в разбирательстве которых он мог бы принять участие вместе с МГТ, — дон Лотарио скучал, скучал тяжко, как мясник в великий пост, и все время проводил у себя в «клинике», которую, когда мулы вышли в отставку, предпочитал называть «погребком». По правде сказать, огромный дом дона Лотарио всегда служил обеим этим целям. В октябре здесь бродил виноградный сок, и в течение всего года лечили животных. У самого парадного входа, который вернее было бы назвать сенями, находилась наковальня. От славного времени, когда тут взбрыкивали мулы, ржали лошади, звенел молот и слышались крики погонщиков, осталась только проржавевшая наковальня да полдюжины развешанных, словно в музее, подков. В глубине слева находились кабинет хозяина и лаборатория. Справа — давильня, а внизу — подвальчик, или погреб, которыми пользовались лишь в дни, когда собирали виноград и поспевало молодое вино. Раньше приятно бывало зайти в «клинику» к дону Лотарио. Сколько людей и животных входило и выходило оттуда. Сколько там побывало хромых или плохо подкованных мулов. Сколько там повидали рубах, вельветовых штанов, сколько наслушались понуканий, цоканий, притопыванья: сколько щелкало зажигалок и вспыхивало спичек, какие реки мочи и горы желтых зубов оставили тут мулы. И посреди всего этого — ветеринар в белом халате с нервными, почти живописными манерами: как мастерски он вкатывал гигантские клизмы, вспарывал нарывы, резал, делал уколы и щупал животы. Теперь же, когда завершался сбор винограда, все погружалось в тишину и меланхолию — как в заброшенном каретном сарае. Часов этак с одиннадцати дон Лотарио с потерянным видом, исключительно из любви к порядку, убирал помещение и просматривал какие-нибудь бумаги. Время от времени он бросал полный тоски взгляд на полки своего кабинета, заполненные старинными книгами по ветеринарии, и на белый стол, уставленный пробирками, пузырьками, среди которых возвышались весы и, словно заколдованная птица, затаился под стеклянным колпаком позолоченный микроскоп. На незанятых полками стенах остались еще висеть, покрываясь мягкой осенней пылью, схемы анатомического строения животных и фотографии отборных лошадей, а на краю стола покоились покоробившиеся папки, расходные книги и телефон.

Но, по правде говоря, гораздо больше, чем по былой своей профессиональной славе и хлопотам, тосковал дон Лотарио, когда, случалось, взяв в кулак бороду, он остановившимся взглядом упирался в окно,— гораздо больше тосковал он по знаменитым детективным приключениям, которые довелось ему пережить вместе с Великим Плинио... И мало сказать, тосковал — сердце его полнилось надеждой, а в голове бурлили идеи, когда он в долгие утренние часы, посвященные бумагам и уборке, заново переживал яркие приключения, которые могли случиться тут и которые, будьте уверены, под руководством многоопытного Мануэля Гонсалеса он и сам раскрыл бы во славу их обоих, а заодно и их родного городка Томельосо... Каждый день он рисовал в воображении все более сложные дела, которые следовало раскрыть. В то утро, о котором идет речь, в тот самый момент, когда в мозгу у него начали вырисовываться загадочные обстоятельства смерти сразу семерых важных лиц в «Томельосском казино», у его локтя зазвонил телефон.

— Кто это?

— Дон Лотарио?

— Я слушаю, Мануэль.

— Мне бы хотелось встретиться с вами сегодня в двенадцать тридцать на террасе казино «Сан-Фернандо».

— Есть новости?

— Да.

— Что именно?

— Письмо из Мадрида. Но потерпите до двенадцати тридцати. Увидимся.

— Хорошо, Мануэль.

Нечего говорить, что уже в двенадцать дон Лотарио прохаживался по площади. От угла, где раньше находилась бензоколонка, до улицы Независимости.

Как я уже сказал, был понедельник; всего несколько дней назад кончили убирать виноград, и в городишке было спокойно. Погребки были полным-полны,

карманы набиты рухнувшими надеждами или оттопыривались новенькими, еще пахнувшими зеленой краской купюрами, какие банк выдает в октябре; разговоры велись умиротворенные, все расслабились, а свежевымытые давильни сверкали чистотой; виноградники, укрытые хворостом и соломой, тоскливо простирали ввысь свои обобранные, без кистей, ветви. Весь городок пропах терпким запахом вина, бродящего виноградного сока. Даже сквозь окошки слышно было урчание бродившего в огромных кувшинах вина. Солнце, стоявшее в небе айвою, не пекло, но все-таки пригревало. Последние мухи метались полукружьями, словно выискивая покороче дорожку к смерти. Долгие месяцы стояла засуха, и борозды в поле лежали пустые, ничего в них не проклевывалось. Даже издали видны были разоренные виноградники с поникшими, словно вывешенное на просушку тряпье, ветвями, которые уже не выставляли горделиво напоказ золотистые, припорошенные пылью соски своих лоз. Время от времени группки людей проходили вдоль рядов, тщательно выискивая, не остались ли где гроздья, обойденные второпях рукою сборщика, не затаились ли где под мышкою у лозы сладкие виноградины. Урожай в этом году был меньше, чем в прошлом, однако четырех песет за килограмм — цена, по которой его продавали,— оказалось вполне достаточно, чтобы унять все сетования и успокоить виноградарей, этих не меняющихся с годами детей.

Дон Лотарио несколько раз успел пройтись туда-сюда по площади, поздороваться с приходским священником доном Мануэлем Санчесом Вальдепеньясом, найдя, что он, без сомнения, выглядит хуже, но не теряет свойственной ему горячности и чувства юмора: пошутил с Пепито Ортегой, сыном доктора, приветственно помахал рукой своему коллеге Антонио Боласу, проехавшему мимо в машине, и когда он уже в который раз взглянул на часы, к нему подошел полицейский Чичаро:

— Добрый день, дон Лотарио. Начальник сказал, если не возражаете, может, зайдете к нему в контору.

— В контору так в контору.

Они перешли площадь в неположенном месте — даром, что ли, оба были представителями власти,— и дон Лотарио почти вбежал в кабинет Плинио.

— Ты свободен. Ну-ка, что за тайну ты хочешь поведать мне?

Плинио достал табак и, лишь набив папиросу, закурив и затянувшись торжественно — как он всегда делал,— лишь после этого сказал, время от времени прерывая речь паузами и растягивая слоги:

— Я получил письмо от нашего приятеля, комиссара из Мадридского уголовного розыска, дона Ансельмо Пералеса.— И, как бы ставя точку, вытащил из кармана письмо.

На лице дона Лотарио изобразилось веселое удивление.

Плинио осторожно развернул письмо, водрузил на нос очки и прочитал, обозначая голосом все знаки препинания:

— «Сеньору дону Мануэлю Гонсалесу, начальнику Муниципальной гвардии Томельосо.

Мой дорогой и замечательный друг! Простите, что я беспокою Вас, но я веду сейчас дело, в котором замешаны люди, жившие некогда в Томельосо... Мне пришло в голову, что Вам, пожалуй, интересно знать о нем, а может, даже и заняться этим делом. Ибо не напрасно говорят многие — на то есть основания,— что Вы лучший детектив в Испании.

У нас много работы, а людей не хватает, и мне бы хотелось передать Вам это дело как можно раньше, пока след еще не остыл... А поскольку Вы имеете почетное звание комиссара и крест за успехи в качестве детектива (простите, но я предпочитаю сказать детектива, а не полицейского), мне думается, что просить Вас о сотрудничестве имеет смысл. Я посоветовался со своим начальством, которое относится к Вам с большой симпатией, и мне дали, как у нас говорят, «зеленую улицу». Я оплачу Вам все расходы, пока Вы тут будете находиться, как, разумеется, и расходы дорогого дона Лотарио. Я не знаю, какие у Вас отношения с сеньором алькальдом,— полагаю, что хорошие,— не знаю Ваших обязанностей там, но думаю, что они не помешают Вам приехать, в противном случае известите меня; но помните, что для Томельосо и для Вашей Муниципальной гвардии это честь, что Вас вызывают в Мадрид. Короче, Мануэль, позвоните мне по телефону — что и как. Я рассчитываю, что Вы быстро разберетесь в этом деле и мы будем иметь удовольствие провести вместе несколько дней. Горячий привет доброму дону Лотарио.

С сердечным приветом Ваш добрый друг и товарищ — Ансельмо».

Окончив чтение, Плинио сложил письмо, снял очки и уставился на дона Лотарио.

— Прекрасно, Мануэль, прекрасно,— вскочил тот, словно на пружине,— прекрасная возможность дополнить твою биографию, а кроме того, мы чудесно проведем время в Мадриде: ведь уж сколько времени мы отсюда носа не высовывали.

— Главное, что у нас тут в последнее время так тихо и чинно, что недолго и смекалке притупиться... А моя биография, о которой вы так печетесь, лучше бы осталась девственно нетронутой. Беда в том, что я не представляю, как сказать алькальду. Ты знаешь, что я одалживаться не люблю.

— Ты, как и все, имеешь право на отпуск. Вот и возьми его... А домашние твои только рады будут, если ты вернешься из Мадрида с победой.

— Не люблю я уезжать от них надолго.

— Какое там надолго! Увидишь, в неделю справимся. А то пусть и они прокатятся в Мадрид — в театр сходят. Ты в этом году ведь за виноград хорошо выручил.

— Не в деньгах дело...

— Давай решайся, Мануэль.

— Да я в общем-то... Только вот привыкаешь к старым методам работы...

— Что значит — старые методы, новые... В искусстве детектива единственно, что нужно — как, впрочем, и во всем остальном,— это голова и интуиция; а в этом ты дашь сто очков вперед всей испанской полиции.

— Ну, что с вами поделаешь, дон Лотарио.

Отъезд

Приготовления к отъезду были стремительными и веселыми. Стремительными потому, что к вечеру следующего дня все было готово. Веселыми оттого, что весть мгновенно облетела городок и лучшая его часть спешила поздравить друзей и пожелать им всяческих успехов.

Дон Лотарио решил не брать машину, потому что, как он выразился, «движение в Мадриде адское». Плинио купил чемодан и надел свой единственный штатский костюм ярко-синего цвета, который, как оказалось, сшит был по моде чуть ли не времен Серрано, но, хотя ему и было лет пятнадцать, не меньше, пиджак оказался довольно длинный. Плинио пообещал жене по приезде в Мадрид сразу же купить другой. Дочь приобрела ему две пижамы — вещь, к которой Плинио всегда относился подозрительно,— ботинки, два галстука и рубашки самого современного покроя. Привыкнув постоянно ходить в форменной фуражке, он и мысли не допускал, что можно выйти на улицу с непокрытой головой, и потому хотел купить берет. Но дон Лотарио отговорил его от берета и взамен подарил ему темно-серую шляпу.

Грегория с дочерью настояли на том, чтобы проводить Мануэля до самого мадридского автобуса. Само собою, Плинио велел им ждать на площади, пока они с доном Лотарио пили кофе в казино. Разумеется, когда начальник появился в казино «Сан-Фернандо» в штатском костюме, все от удивления просто рты разинули и потом еще несколько дней обсуждали это событие. Да и он сам так привык к форме, что то и дело подымал руку, чтобы заложить пальцы за ремень, и она, не встретив опоры, соскальзывала вниз. Не удалось по-настоящему справиться и с галстуком: узел по неопытности он не затянул как следует, и тот все время съезжал, обнажая верхнюю пуговицу сорочки. Дон Лотарио нервничал из-за этих мелочей и раза два подтягивал другу узел, а потом пообещал научить его завязывать галстук другим узлом — гораздо более надежным.— как только они приедут в гостиницу. В штатском Плинио казался чуть ниже ростом и походил на персонаж со старинной фотографии. Единственной современной деталью в его облике были часы на руке.

Маноло Перона, официант, угостил их кофе, а дону Лотарио подарил несколько билетов лотереи Пресвятой девы, покровительницы виноградарей.

В тот день столько народу хотело ехать в Мадрид, что отправлялись сразу три автобуса. И теперь вокруг них бурлила толпа отъезжающих и провожающих. Матери обцеловывали сыновей-солдат, словно те отправлялись во Вьетнам; Фараон, который тоже ехал в Мадрид — по его словам, приодеться и, глядишь, не ровен час, что еще перепадет,— тут же бросился к друзьям, расчищая себе путь огромным животом, и повис на них. Были тут и две девочки-студентки в миниюбочках — «господи спаси, видела бы их бедняжка Хуста, их бабка-кондитерша»,— обе жевали резинку, причем одна из них была почти лысой. Дополнял эту компанию Караколильо Пуро, куплетист, уроженец этого городка, ныне проживающий в Марселе. Сюда он приезжал по случаю смерти отца. Это, разумеется, был не тот случай, когда следовало приезжать в костюме андалузского покроя — правда, с черным крепом почти у самого плеча, в шляпе с загнутыми полями и туфлях, какие носят танцоры. Он порхал, виляя бедрами, невероятно пошлый, окруженный родственниками и почитателями, причем некоторые из них тоже принадлежали к этой порочной ветви и, разинув от восторга рты, смотрели на

него, добившегося таких успехов там, за Пиренеями, что отделяют их от Франции. Фараон, желая сказать ему приятное, заметил, что он, мол, хорошо сохранился. Караколильо неприветливо ответил, что «сохраняются консервы в банках, он же мужчина, а не какая-нибудь рыба». Фараон едва удержался, чтобы не хмыкнуть по поводу «мужчины», который не рыба, но и не мясо, однако заметил вполне вежливо:

— Не ершись, дружище, я от чистого сердца.

— Ничего себе от чистого сердца,— не мог успокоиться тот.— «Хорошо сохранились» говорят старикам, а мне до старости далеко, приятель. Да, я куплетист и горжусь этим. Уж лучше быть таким, как я, наслаждаться жизнью и брать от нее все, чем таким, как ты: даже мать твоя не знает, кто тебе отец...

— Ах ты, сукин... — и возмущенный Фараон бросился к Караколильо.

Однако он позволил Плинио удержать себя и, стоя лицом к лицу с куплетистом, сказал:

— Слушай, Караколильо, лучше заткнись, а не то вместо Мадрида ты у меня успокоишься в канаве.

Некто из окружения Караколильо — обладатель небесно-голубой рубашки и томного взгляда — объяснил ему, кто такой Плинио. При слове «полиция» Караколильо сразу притушил свой запал, словно его подменили; он закурил новую сигарету светлого табака, держа ее почти за самый кончик, затянулся, выпустил дым через нос и отошел от Фараона и блюстителя порядка.

— Вот приедем в Мадрид, я ему всыплю как следует,— воскликнул возмущенный Фараон,— он у меня еще порадуется, что он не мужчина, этот толстозадый.

— Замолчи,— приказал Плинио.

Машина просигналила, собирая непроворных пассажиров. Плинио попрощался со своими без лишних поцелуев и рукопожатий.

Пассажиры заняли места, и, когда Плинио уже уселся, появился запыхавшийся Браулио.

— Возьми, Мануэль, пригодится в дороге.— И он протянул двухлитровый мех с вином.

— Спасибо большое, Браулио, ты себе верен.

— Завидую я тебе.

— Черт побери, так поехали вместе.

— Может, выберусь к вам ненадолго.

— Давай, старина, выбирайся.

— Это вино прошлогоднее. Ты знаешь какое.

Грегория прослезилась по этому случаю. Дочка улыбалась Браулио. Мануэль с подножки автобуса еще раз помахал им рукой.

— Ты в этом пиджаке похож на практиканта,— заметил Браулио.

— Почему именно на практиканта?

— А... не знаю.

— Сеньор Мануэль, отъезжаем,— почтительно предупредил шофер.

Плинио дружески потрепал Браулио по голове, окинул взглядом своих и захлопнул дверцу.

— Да здравствует Плинио, черт его подери! — послышалось вдруг. Это кричал Клавете, и многие со смехом обернулись.

— Да здравствует Плинио, умник из Томельосо! — снова крикнул он.

— Да здравствует! — подхватило довольно много голосов.

— Да здравствуют Плинио и сестра Грегория! — не унимался Клавете.

Провожающие обернулись на Грегорию, которая в смущении наклонила голову.

Автобус тронулся, и все стали махать руками. А Мануэль, глядя в окошко, поднес руку к полям шляпы, как будто это была форменная фуражка.

— Дайте глоточек,— попросил Фараон, не успев усесться на место.

Он пил долго, ловко направляя струю, чтобы не облить пиджак.

— Замечательное,— похвалил он, вытирая губы.— Только вот Браулио отстает от времени. Теперь бота [1] не в моде. Теперь в моде термос.

Автобус ехал по улице Сокуэльямос. Дон Лотарио и Фараон сидели рядом. Плинио — через проход от них, рядом с доньей Марией де лос Ремедиос дель Барон, крепкой, еще хорошо выглядевшей женщиной. Сеньора поселилась в Мадриде задолго до войны, а в Томельосо у нее были земли. В городке она появлялась на время сбора винограда, а так — изредка и ненадолго.

В автобусе ехали по большей части люди скромные — главным образом те, кто убежал от земли и теперь работал в Мадриде, где-нибудь на стройке. Мастеровые, девушки, живущие в прислугах, солдаты и прочий люд, не привыкший особенно к путешествиям.

Караколильо Пуро — настоящее его имя было Анастасио Мария Кулебрас,— возбужденный не то ездою, не то недавней стычкой с Фараоном, довольно развязно запел, и двое его длинноволосых дружков подхватили песню.

---

[1] Мех для вина.

Длинноволосые в узких брючках хлопали в ладоши и подначивали куплетиста, а тот из кожи вон лез, отбивая в проходе чечетку.

Люди оборачивались, привставали, отстукивали ритм, подбадривали, и он не унимался.

— Давай, милок, вот это дело! — закричала какая-то женщина.

Обрадованный таким приемом, Караколильо вырос в собственных глазах и теперь, глядя в сторону Фараона, подмигивал и высовывал язык, но так, словно того требовал танец. Однако его воинственный умысел всем был ясен, и люди смеялись.

Фараон же, делая вид, будто ничего не замечает, курил в окошко. Его мясистая грудь, куполообразный живот и двойной подбородок подрагивали.

Когда проехали Педро-Муньос, который тут называют «Перроте», взрыв художественной самодеятельности иссяк, и Плинио завязал разговор с доньей Марией де лос Ремедиос. Дон Лотарио, прикрывшись шляпой, поклевывал носом, а Фараон тихонько храпел.

Донья Мария говорила об урожае и о граде, но глаза ее то и дело странно поблескивали. Плинио готов уже был подумать о ней дурно, но все стало на свои места, когда он заметил, что глаза у нее начинали блестеть в то время, как кровь волною приливала к лицу и сеньора краснела до корней своих черных волос. Стараясь оправдать свое состояние, имевшее, по-видимому, чисто физиологическую природу, бедняжка все обмахивалась веером и приговаривала:

— Ну и духота!

— Да, действительно,— соглашался Плинио, хотя и придерживался другого мнения относительно температуры и причин, будораживших бедную сеньору. Стоило крови отхлынуть, как лицу доньи Марии де лос Ремедиос возвращалась его молочная белизна — под стать сверкающему алебастру. И тогда все — и красивые глаза, и прекрасно очерченный рот, обнажавший прелестные зубы,— расплывалось в умиротворенной улыбке. Когда возбуждение спадало, дыхание ее становилось размеренным и под темной тканью платья угадывались шелковистые соски грудей, немного вытянутые и чуть-чуть потемневшие, но еще вполне крепкие. Когда она двигалась, устраивалась поудобнее, от нее волнами исходил аромат жаркой плоти, хорошо вымытой и надушенной, но не потерявшей при этом своей естественной привлекательности.

Во время разговора донья Мария Ремедиос несколько раз глотала какие-то таблетки, которые, как решил Плинио, должны были снять напряжение ее идущих на спад страстей. Когда же возбуждение утихало, на светлом пушке над верхней губой доньи Марии выступали жемчужинки пота, отчего рот ее становился похожим на соблазнительный плод. Плинио почувствовал грусть, глядя на эту бедняжку, пытавшуюся затоптать костер своих чувств.

Муж доньи Марии Ремедиос, уроженец Таранкона, умер после войны. Они были женаты всего несколько лет. Овдовев, она осталась в Мадриде и, как рассказывали, никого больше не нашла, жила вдвоем с матерью. И хотя она так и не вышла замуж, облегчения на стороне, по словам ее друзей, она тоже не искала; и вот теперь подходила к концу отпущенная ей женская пора, не богатая событиями, при том, что столько долгих лет было прожито впустую.

Они мчались по шоссе, и по обеим сторонам мелькали деревья с высохшими листьями и пепельными стволами. Обезлюдевшие селения — большинство жителей их эмигрировало — стойко несли свое грустное одиночество; тут уже привыкли видеть, как уезжают люди, и редко случалось, чтобы кто-то возвращался. Меж дорожных знаков и рекламных щитов — брошенные дома. Бары для шоферов. Бензоколонки. У дверей домов — старухи, бессмысленным взглядом провожающие грузовики и тракторы. И сельские школьники, с тоскою глядящие вслед машинам. Старики, дети, женщины, рекламы «кока-колы». И снова голое шоссе, петляющее до самого Вильярубиа-де-Сантьяго, где автобус делает короткую передышку.

Волосатые время от времени взбадривались и, спев что-нибудь, разражались криками. Или вдруг начинали выделывать па, подражая не то цыганам, не то шутам. Донья Мария де лос Ремедиос вздыхала. Фараон храпел. Дон Лотарио дремал, свесив голову на грудь, а Плинио почувствовал, что начинают ныть суставы — давало знать приближение осени. «Сентябрь придет — дрожь проберет»,— любил говорить дон Гонсало, старенький доктор с белой бородкой и сладким голосом... «Дрожь проберет...» Сейчас, в автобусе, Плинио словно чувствовал каждую косточку и каждое биение своего еще бодрого сердца. И он подумал: «Как хрупко то, что мы называем жизнью». Он глядел на бегущую вниз дорогу, на спокойное, затянутое облаками небо, на унылые деревья, и в памяти всплывали обрывки прошлой жизни, лица каких-то мужчин, отражавшиеся в зеркалах казино, усы и бородки, проступавшие в дыму тогдашних сигарет, затянутые талии и длинные до пола юбки танцующих женщин в салоне «Сиркуло либераль»; и имена, теперь высеченные в кладбищенских нишах или на пышных памятниках. В такие минуты Плинио казалось, что жизнь похожа на камень, который, как говорится, долбит капля. Капля долбит камень и уходит, не задерживаясь на

нем и не собираясь нигде в чудесный и вечный источник, дабы потом, со временем, вернуться. Мелкая несправедливость природы. Сначала кажется, что всего столько, а потом выясняется, что всего — ничего. Вот и похожи мы на сито, сквозь которое просеиваются дни нашей жизни. Каждый день оставляет после себя дырочку, пока не изрешетят все, а сначала не начнешь. А нам остаются наши старые мысли и ощущения, которым нет ни выхода, ни простора. Каждый новый день все меньше принадлежит внешней жизни и все глубже утопает в толще жизни внутренней, в гроздьях воспоминаний. С годами мы становимся вроде наглухо запертого сундука, вроде комнаты без окон, без дверей, вроде бурдюка без горлышка, пока все внутри нас не превращается наконец в такой насыщенный ликер, в такую концентрированную смесь, что мотор отказывает, провода мозга перегорают, лопается и разрывается в клочья кроваво-красное сердце. Плинио знал, что его профессия детектива, принуждающая к действию ум и смекалку,— хорошее противоядие от грустного ощущения, что дело идет к смерти. Когда он был занят, то сразу забывал и о своих годах, и о том, что тяжел на подъем и склонен предаваться воспоминаниям... С некоторых пор он особое внимание стал обращать на людей пожилых, старше себя, отыскивая в их жестах, голосах, манерах и повадках признаки, сходные с признаками его собственной осени. Молодые люди казались ему теперь иными существами, словно из другого теста...

К лицу доньи Марии де лос Ремедиос снова прихлынула кровь. Бедняжка почувствовала, что лицо горит, стала тереть нос. Капельки пота упрямо выступали на верхней губе и на лбу. У женщин осенняя пора жизни проявляется не только в том, что начинают одолевать былые ощущения и воспоминания и тянет снова и снова перепахивать пашню пережитого, но и в том, что приходится вести вот такую маленькую войну с собственным лицом, которое вдруг ни с того ни с сего бросает в жар, с плотью, решительно предъявляющей свои требования. Закат женской поры — тяжкое физическое испытание. И смена настроения имеет чисто биологические причины.

Странное ощущение возникло вдруг у Плинио, словно предчувствие кольнуло. Ему показалось, что в том, как волною приливала кровь к лицу этой женщины, в том, как время от времени брезгливо вздрагивало ее лицо, как сдерживала она трепет груди и как иногда раздумывала над словами, прежде чем сказать,— ему показалось, что во всем этом проскальзывает какая-то неестественность, будто пыталась она заслонить иное... Будто все ее существо жило в каком-то другом мире. И он вмиг забыл о своих раздумьях, навострил глаз и решил повнимательнее последить за поведением этой женщины, в мягких грудях которой словно покоилась вся осень мира.

Все больше и больше безмолвных селений впадало в черную реку шоссе. Река эта текла и вспять не возвращалась. Она звала уйти, бросить эти лачуги и проржавевшие клочки земли, этих облепленных мухами мулов и старуху, которая мочится под себя, прямо на матрац, эту курицу, подбирающую зерна на пашне, и казино с плакатами, изображающими зелено-красных быков; эту старую заслуженную проститутку, истерически хохочущую у дверей в биллиардную, где из проигрывателя несется механическая музыка; и темный переулок, где юные парочки снимают пенки со своей молодости; и хор святош с мутными, как бульон, глазами, что толкутся у колонн, волоча за собой молитвенные скамеечки. «Надо раз и навсегда,— думают молодые люди,— распроститься с этим толстопузым алькальдом, с победительным видом курящим сигару в коридоре. Хватит, в конце концов, изо дня в день смотреть на одну и ту же улицу, названную именем сеньоры, которая подарила приходу алтарь. И не надо будет ходить больше в лавку, где вместе со съестным продают альпаргаты, а свиные ножки пахнут едою, залежавшейся с прошлого века. Во всех взглядах, устремленных на реку-шоссе, на машины, бегущие по нему, можно прочесть одну и ту же мысль: пришел конец этим бесчисленным селениям, рожденным волею феодального закона по прихоти сеньора или монастыря,— селениям, которые не способны приладиться к укладу современной жизни. В Испании ничто не отменяется со временем. То, что устаревает,— гниет и заканчивает свое существование на свалке инерции. Сколько фантазии у испанца, чтобы выйти из любого положения, но он не в силах вообразить, что можно пойти другим путем.

Когда проехали Аранхуэс, спавшие встряхнулись и раз-другой приложились к боте Браулио. Фараон тихонько сказал Плинио:

— А Мария де лос Ремедиос как еще хороша! Попробуй, может, склеишь...

Сеньора, освеженная ветерком от близкой реки, спокойно разглядывала пейзаж за окошком. Плинио обратил внимание на то, как она обеими руками сжимала сумку. На то, как она просторно расположилась на сиденье, как светилось что-то в самой глубине ее вроде бы отсутствующего взгляда. И особенно — на эти капельки пота, покрывавшие пушок над верхней губой и придававшие ей такой соблазнительный вид, и на кончик языка, который время от времени выглядывал, ловя воздух. И на ноздри, чуть раздувавшиеся в одном ритме с сердцем, вдыхавшие воздух не того, однако, мира, в котором она находилась сейчас...

Они въезжали в Мадрид. Караколильо взбодрился и снова ударился в куплеты, стал прихлопывать в ладоши. Автобус остановился у конечной станции Аточа. На улице Тортоса. Сутолока. Люди поднялись, начали доставать чемоданы. Плинио попрощался с Марией де лос Ремедиос, которую, наверное, укачало в автобусе, и теперь она приходила в себя. Выйдя из автобуса, Фараон как ни в чем не бывало похлопал по животу Караколильо Пуро. И Караколильо, стараясь язвительным тоном и гримасой выразить все свое к нему недоброе отношение, отозвался хрипло и недовольно:

— Сукин сын, толстяк проклятый.

Все трое взяли такси до гостиницы «Центральная» на улице Алькалá, 4. Старые томельосцы всегда останавливались там. Знакомый вход, те же фотографии в вестибюле, улыбающийся портье. Неторопливый лифт. И всегда в ресторане или в вестибюле оказывался какой-нибудь томельосец, а то и целое семейство — они словно сменяли тут друг друга, чтобы гостиница не испытывала недостатка в завсегдатаях. В «Центральную» приезжали по случаю свадеб, похорон или чьей-нибудь болезни, приезжали по делам, в пору экзаменов и на праздник, приобрести одежду на зиму или на лето, а то — потратить выручку за первую партию вина. Приезжали, чтобы навестить знакомых, приезжали, чтобы просить руки девушки, в которую влюбился сын-студент, приезжали искать протекции.

Друзья распрощались с Фараоном, и каждый пошел в отведенную ему доном Эустасио комнату.

Полчаса спустя Плинио и дон Лотарио стояли в дверях, не очень ясно представляя себе, что делать дальше. Было около восьми вечера. В конце концов решили, не теряя времени, идти в Управление безопасности на случай, если их друг комиссар дон Ансельмо Пералес еще там, чтобы сразу же приступить к делу.

Попасть в кабинет к Пералесу оказалось делом нелегким. Пришлось выписывать пропуск, показав приглашение, и пройти несколько раз через контроль полицейских и дежурных; только после этого они оказались в маленькой приемной.

Не успели доложить об их приходе, как вышел дон Ансельмо, улыбаясь и протягивая им руки.

Все трое уселись на маленький, выцветший, видавший виды диванчик. Дон Ансельмо, довольно приземистый человек с простоватым, вечно улыбающимся лицом, изложил суть дела. Хрустальная люстра с двумя утонувшими под стеклянным колпаком электрическими лампочками заливала кабинет желтым, как вино, светом. Дон Ансельмо рассказывал, зажав в уголке рта сигарету, однако сигарета не падала. Иногда он облизывал губы кончиком языка или поводил носом, и сигарета двигалась, словно приклеенная к губе. Он рассказывал очень хорошо, ни на чем не делая особого упора. Иногда только вдруг замолкал ненадолго, словно припоминая другой, сходный с этим случай. Но тут же снова подхватывал нить повествования и, глядя прямо в глаза слушателям, излагал дальше:

— Вы помните дона Норберто Пелаеса Корреа, который был в Томельосо нотариусом в двадцатые годы?

— Конечно,— отвечал Плинио.

— Дорогой друг,— добавил ветеринар,— он был замечательный человек. Немножко старомодный, но замечательный.

— И помните, наверное, двух его дочек-близнецов?

— Конечно,— снова согласился дон Лотарио,— цветные сестрички.

— Почему цветные?

— Они были рыжие, красно-рыжие, и люди их называли цветными сестрами.

— По-моему, дон Лотарио, их называли цветными близнецами,— задумчиво добавил Плинио.

— Может быть... Точно не помню... Они всегда ходили вместе, одинаково одетые, под руку. Тогда им было уже двадцать лет.

— Очень симпатичные были и воспитанные,— заметил начальник с некоторою тоскою в голосе.

— Но у нас в городке им не везло,— сказал дон Лотарио,— женихов у них не было... Может, молодых людей отпугивала мысль, что жениться вроде бы надо сразу на двух.

— Они никогда не выходили из дому одни. Всегда с родителями. Ни на танцы не ходили, ни на вечеринки, где собиралась молодежь. В общем, довольно жалкую жизнь вели.

Дон Ансельмо рассмеялся и сказал:

— Так вот, эти рыжие сестрицы, цветные близнецы, исчезли.

— Сразу обе? — с удивлением спросил ветеринар.

— Только так и могло быть,— пояснил Плинио.— Как же это случилось?

— Три дня назад, около половины четвертого, они вышли из дому и до сих пор не вернулись.

— Они так и не были замужем? — продолжал расспрашивать Плинио.

— Не были... Вели спокойную, уединенную жизнь. Как вы выразились, довольно жалкую. Друзей немного, но все люди приличные... Дальше своей улицы почти никуда не ходили... А живут они на улице Аугусто Фигероа в старинном доме, почти на углу улицы Баркильо. И вдруг исчезли бесследно, словом, неизвестно, что и думать. Мы тут провели некоторые расследования, но света они не пролили... А поскольку все их знакомые родом из Томельосо — похоже, они на всю жизнь сохранили теплое отношение к родному городку,— я и вспомнил о Великом Мануэле Гонсалесе и доне Лотарио. И сказал себе: это дело как раз для них. Вот и все.

Плинио с задумчивым видом провел рукою по щеке и затем сказал:

— Вы одного не учли, дон Ансельмо: я или, вернее, мы не знаем здешней жизни. Мы всего лишь скромные сыщики из скромного винодельческого городка, и Мадрид нам — не по зубам. Вы знакомы с техникой и методами работы, которые нам неизвестны. Я, дон Ансельмо,— детектив кустарь, а вы меня вытаскиваете из деревни на Пуэрта-дель-Соль и хотите, чтоб я вам что-то объяснил.

— Ладно, ладно, не скромничайте. В этом мы поможем. Если что — звоните мне, и я пришлю вам все, что нужно. Главное в этом деле — голова и свободное время, а у вас и того и другого предостаточно.

— Конечно, попытка — не пытка, что мы теряем?..— сказал дон Лотарио.

— Что значит не пытка, дорогой друг? Да раз нам дали возможность сделать такую попытку в столице, мы просто обязаны совершить нечто удивительное.

— И вы совершите, Мануэль, совершите. Не скромничайте... Вот вам ключ от квартиры. Как только я узнал, что вы согласны, туда больше никто не входил. Полицейский Хименес — я вас сейчас с ним познакомлю — проводит вас и даст вам все, какие понадобятся, разъяснения. Я уверен, что не пройдет и недели, как вы мне это дело распутаете.

— Да услышит вас бог, дон Ансельмо... и пусть не обойдет он нас своим вниманием.

Дом рыжих сестер

Пока полицейский Хименес Пандорадо ходил за машиной, Плинио с доном Лотарио стояли у дверей Управления на улице Корреос. Они стояли, засунув руки в карманы брюк, словно инстинктивно пытались отгородиться от водоворота автомобилей, огней и людей. Выбитые путешествием из привычной колеи, они стояли, почти физически ощущая на своих лицах отблески огней, тени проходящих мимо людей, обрывки разговоров; все вокруг казалось им чужим — полюбить такое было трудно. Шумный мир столицы давил на них.

— Должно быть, Мануэль, я старею,— сказал вдруг ветеринар.

— Почему ты так решил?

— Видишь ли, с некоторых пор я не перестаю спрашивать себя, в чем смысл жизни,— ответил тот с грустью в голосе.— Видно, смерть кружит рядом... Или, может, философия Браулио подействовала?

Плинио провел рукою по бровям и, чуть помолчав, сказал наставительно:

— Это признак не старости, а зрелости. Меня уже не первый год мучает этот вопрос. Далеко не первый. В том, что говорит Браулио, есть смысл.

— Ты хочешь сказать, я немного отстал?

Плинио улыбнулся:

— Нет, маэстро, просто я хочу сказать, что всякому овощу свое время.

— А ты уже перемучался?

— Нет. Уж если эта мысль начнет смущать покой — так на веки вечные... Просто со временем можно притерпеться.

Несколько парней с длинной гривой, в куртках и брюках-клеш прошли мимо; они были возбуждены и хохотали так, будто увидели невесть что.

— Сколько оптимизма...

Некоторое время друзья постояли молча, каждый терзаясь своими проблемами. Нарушил молчание Плинио:

— Как сейчас вижу их...

— Кого, Мануэль?

— Рыжих близнецов... Летним утром они под руку прогуливаются по Вокзальной площади и смеются. В белых платьях... И собачка с ними.

— А ведь ни отец, ни мать не были рыжие.

— Наверное, досталось в наследство от какой-нибудь бабки... А может, ошибка крови.

— Насчет ошибки крови — это ты хорошо... «Гены», сказали бы мы, люди науки.

— Ну, значит, гены передрались.

— Уж не знаю, старина, могут ли драться гены...

Подошел полицейский Хименес с брюшком не по возрасту.

— Машины не будет еще минут пятнадцать.

— Так пойдемте прогуляемся,— сказал Плинио.

— Нет уж, только не гулять... Мне с моим брюхом... Пошли лучше выпьем пива вот тут, напротив, в «Тропикале».

Дону Лотарио предложение пришлось по душе.

— Пошли, я угощаю.

— Прошу прощения, друг, но всем по кружке ставлю я. А вы, если хотите, можете платить потом или за закуску.

— Согласен, я плачу за креветки.

— Смотрите, придется вам раскошелиться...

— Ничего.

Они дождались зеленого света и перешли улицу.

Официант подал пиво и блюдо с креветками, Хименес потирал руки. Грустное настроение дона Лотарио рассеялось.

— Когда мир придет в порядок,— сказал дон Лотарио, очищая креветку,— мы будем жить почти исключительно за счет моря. Потому что еды в море и богатства хватит на всех. Море совсем не изучено. Люди его боятся, потому и берут у него только пляжи да пустячную рыбку.

Хименес, не отрываясь от еды и пива, засмеялся и закивал согласно.

— Это правда,— подтвердил он,— в земле мало что есть, да и получить от нее трудно.

— Значит, дон Лотарио, вы считаете, что земля вся изучена?

— Вдоль и поперек, Мануэль. Еще, пожалуйста, креветок.

Они курили, когда «серый» пришел сообщить, что машина есть.

И они поехали — Хименес рядом с шофером, а оба томельосца — сзади.

Машина привезла их к дверям старинного дома на улице Аугусто Фигероа. Они вошли в сырой, с облупившимися стенами, плохо освещенный подъезд; в привратницкой светловолосая девушка читала тебео [1]. Они поднялись по широченной пологой лестнице. На площадке каждого этажа стояла старинная скамья лакированного орехового дерева, которая словно приглашала отдохнуть или присесть побеседовать. Из-под облупившейся краски цокольного этажа проглядывали остатки модернистской росписи, точно виньетки в книге Рубена Дарио. Шутки судьбы. Эти рисунки и цвета конца прошлого века выступали как бы для того, чтобы утереть нос снобам, которые сейчас в плакате заново открывали открытое во времена Макса Эстеллы.

На площадке второго этажа Хименес попросил ключ и, не раздумывая долго, отпер дверь. В прихожей на них пахнуло холодной сыростью. Зеркало на черной консоли было покрыто черно-зелено-золотистыми оспинами. Время разъело ртуть и выступило смертоносной сыпью. Лицо выглядело в зеркале постаревшим, в гнойных язвах, как само зеркало. К тому же оно удаляло отражение, словно отбрасывало его вглубь. И трое мужчин в зеркале как бы задумались в глубине уходящего вдаль узкого переулка.

Хименес выступил вперед, зажег свет и открыл двери. Квартира была огромная. Пахло затхлым. Большие комнаты с высокими окнами, широкими балконами и толстыми стенами. Все тут было в духе последней трети прошлого века — не обыденно, но без роскоши, без напыщенности и без особых излишеств. Видно было, что каждый предмет, каждый стул находятся на этом месте с незапамятных времен. На изъеденных временем коврах — пятна старого-престарого солнца, потускневшей сангины и белесой лазури. Кружевные накидки и подушки немного скрадывали эти осенние тона. В огромной столовой на мебели — серебряные пластинки с гравировкой (наверняка свадебный подарок времен королевы-регентши); натюрморты из птиц и фруктов цвета потускневшей меди. Написанные маслом портреты: кавалеры с бородками, с крестами или орденской лентой поверх сюртука и печальные сеньоры с лицами Пречистых дев. Фотографии священнослужителей, сраженные светом и нескромными взглядами. В альковах — непомерно высокие ночные столики, чудовищные зеркальные шкафы, населявшие комнаты толпами призраков; в глубине — закрытые портьерами двери. Распахнутые, словно объятия, зеркала туалетных столиков и на них — флаконы цвета крови. Патетические фигуры распятого Христа. Умывальники с умывальными тазами и кувшинами, расписанными зелеными и желтыми ветками. Словно черные позвоночные хребты — подставки для обуви. Под самым потолком — часы. Резные карнизы, а на них — обвисшие занавески из дамаска и потертого бархата. И кабинет с широкими до потолка полками, уставленными книгами по юриспруденции и переплетенными подшивками журналов. На свободной от по-

[1] Издающиеся в Испании комиксы для детей.

лок стене — почетные звания, дипломы в рамках, витрина с эфемерными медалями и крестами, цветом похожими на извлеченный из земли гроб.

Шкафы и комоды были заперты на ключ, который сестры, выходя из дому, наверняка уносили с собою.

У квартиры был такой вид, будто все тут умерли в одночасье. Будто никто больше не придет сюда открывать шкафы, вытряхивать коврики, лежащие у кровати, заводить граммофон из пальмового дерева, мыться в ванне длиною в полтора человеческих роста и цветом, как яичный желток, вытаскивать жаровню и надевать ночные рубашки в цветочек, копошиться за швейным столиком с зеленой подушечкой для игл, греметь цветочными горшками и лейками в чулане, выставлять рождественские фигурки, пересчитывать кольца; просматривать поминание в молитвеннике, притрагиваться к ручкам дверей или же включать в гостиной новый телевизор, покрытый кружевной салфеточкой, бывшей в моде в те времена, когда танцевали польку. Хименес обратил внимание друзей на фотографии, которые представляли сестер Пелаес в различных возрастах. Такие одинаковые, всегда вместе, с вечной улыбкой — на одну сторону, ничем не примечательные коротышки, и руки у них, наверное, всегда ритмично двигались. Плинио с доном Лотарио узнали их сразу же, перекинулись словом и задержались перед официальной фотографией дона Норберто Пелаеса-и-Корреа в мантии, судейской шапочке и с толстенным сводом законов в правой руке. Должно быть, он сфотографировался сразу по получении диплома. На другом более позднем снимке — очевидно, он уже был нотариусом в Мадриде — дон Норберто с супругой и двумя дочерьми стоял на томельосской площади у фонтана.

— Как сейчас вижу,— сказал дон Лотарио,— идет по Пасео-дель-Оспиталь под руку с женой, белокурой такой, а впереди — девочки, тоже под ручку, и смеются... Сеньора-то сама из Басконии — широкая в кости, полногрудая, но длинноногая, а кожа — шелковистая. А дон Норберто — из Мадрида.

— А вот про него не скажешь, что широк в кости,— пошутил полицейский Хименес. Потом показал на фотографию, которая стояла на столе в кабинете.

Дон Лотарио подошел поближе: на фотографии супруга дона Норберто, совсем еще молодая. И внизу подпись: «Норберто от Алисии».

— Да, это она.

Над креслом у письменного стола — чудовищный портрет маслом самого дона Норберто.

Они осматривали квартиру, время от времени обмениваясь короткими замечаниями или вспоминая что-то по ходу дела, пока, наконец, Хименес не поглядел нетерпеливо на часы и не сказал:

— Ну, ладно, сеньоры, мне надо идти. Как сказал комиссар, все в ваших руках. Вот ключи от квартиры и список всех произведенных по этому делу расследований. Я в любой момент к вашим услугам. Надеюсь, вам быстро удастся найти следы этих красных, рыжих — или как вы их там называете — близнецов.

И без лишних слов протянул им руку и поспешил прочь.

Когда они остались одни, Плинио сказал:

— Пошли в гостиную, по-моему, я видел там электрический камин, а то меня в этом погребе начинает знобить.

Они погасили свет и пошли в гостиную. Проходя мимо телефона в коридоре, Плинио захватил телефонную книгу.

Они включили камин, настольную лампу и уютно устроились за столом. Закурили сигареты, и Плинио, затянувшись и водрузив на нос очки, со свойственной ему неторопливостью принялся листать телефонную книгу. Судя по списку, который дал им Хименес, сделано было мало, да и то — что попроще.

Ветеринар, надвинув шляпу на самые брови и зажав в углу рта сигарету, оглядывал комнату — самую маленькую в квартире, но где, без сомнения, главным образом и проходила неяркая и одинокая жизнь рыжих сестер. По словам Хименеса, у них была всего одна служанка, которая приходила через день, чтобы постирать и убрать квартиру. Остальное же время несчастные сиротки, дочери нотариуса, проводили одни, как сообщила комиссару служанка сестер, которая первая обнаружила, что обе ее старые госпожи исчезли.

Друзья обратили внимание на то, что в этой комнате на самых видных местах по стенам были развешаны в рамках маленького и среднего размера фотографии родственников и друзей. Словно бы затем, чтобы перед глазами всегда было то, что составляло главную и лучшую часть их жизни.

Пока Плинио был занят телефонной книгой, дон Лотарио внимательно, одну за другой, рассматривал фотографии. Многие совершенно потускнели. Очень скоро они выцветут окончательно и превратятся в желтые кусочки картона, на которых не будет ни лиц, ни пятен. Дон Лотарио пробегал взглядом по лицам незнакомых ему людей и думал о том, что образы умерших выцветают и тускнеют в памяти друзей и родственников вот так же, как эти фотографии. И приходит день, когда ни в умах, знавших нас, ни в сердцах, нас любивших, не остается о нас никаких воспоминаний. Потом поделят наши бумаги, мебель и одежду, перестроят кладбищенскую нишу, освобождая место для других, разобьют мо-

гильную плиту — и все то, что было нашей жизнью, составляло смысл нашего присутствия на земле, наши слова и манеры станут пустым звуком, будут так далеко от жизни, словно бы мы и не рождались на свет. Ему вспомнилось: когда перебирали полы в зале у них дома, на обратной стороне одной из старинных мраморных плит, которая когда-то, видимо, была могильной плитой, обнаружили надпись: «Хусто Мартинес Ло... (1802—1837)». Это открытие не давало ему покоя, и он несколько месяцев расспрашивал в селении обо всех Лопесах, Лобесах и Лоренсо. И обо всех Мартинесах, и Хусто Мартинесах — не сыщется ли хозяин имени, которое он и его недавние предки топтали в течение всей жизни. Но так ничего и не дознался. Потому что церковный архив сожгли в гражданскую войну, а архив гражданский такие давние времена не охватывает. «Неужели же,— говорил он себе,— этот Хусто Мартинес Ло... прожил на этой грешной земле тридцать пять лет и не оставил о себе никаких воспоминаний».

— Хусто Мартинес Ло...! — воскликнул он, больше обращаясь к своим мыслям, нежели к действительности.— От тебя в этой долине слез осталось одно колченогое имя, которое по чистой случайности я храню в памяти.

Плинио оторвался от телефонной книги и уставился на дона Лотарио поверх очков. Но поскольку тот продолжал свой осмотр, не замечая, какое впечатление произвели его слова, Плинио, так ничего и не поняв, снова углубился в телефонную книгу.

Прошло довольно много времени, прежде чем дон Лотарио сказал:

— Смотри-ка, Мануэль, сколько тут фотографий наших земляков.

Тот поднялся посмотреть.

— Видишь, вот дон Норберто в дверях муниципалитета вместе с алькальдом Франсиско Карретеро.

— Ну и толст же был братец Франсиско!

— Наверное, какой-нибудь праздник — оба приодеты.

— Да, видно, примечательный день — оба в праздничных костюмах, а у Франсиско в руках — жезл.

— Послушайте, дон Лотарио, а кто такой Хусто Мартинес Ло...?

— Черт возьми! Откуда ты знаешь это имя?

— Вы только что сами его произнесли.

— Я?!

— Да, сеньор, вы громко сказали: «Хусто Мартинес Ло...». И что-то еще.

— Наверное, сказал: покойный.

— Не знаю, что именно. Но только вы начинаете разговаривать сам с собой, как тот каталонец, который, помните, ходил в «Сиркуло либераль» и за чашкой кофе заключал сам с собою сделки. Не помните?

— Как не помнить! А в один прекрасный вечер надавал себе пощечин, приговаривая: «Вот тебе, Мелитона, сукин сын. Вот тебе, вот тебе!»

— И, бывало, после шести или восьми рюмок коньяку — потому что с каждым днем он пил все больше — он начинал говорить будто сразу со многими. Чем больше выпьет коньяку, тем больше ему мерещилось сеньоров вокруг, с которыми он спорил. Так вот, вы, беседуя с этим Хусто Мартинесом, идете по той же дорожке...

Дон Лотарио засмеялся и рассказал Плинио историю с могильной плитой, которую нашли у него в доме.

Поговорив еще немного, друзья принялись звонить по телефонам, которые были в книге,— такой план придумал Плинио.

Первый номер оказался телефоном бакалейного магазина. Дон Лотарио под диктовку Плинио записал адрес. По второму никто не ответил. Третий принадлежал людям, которым, как им объяснили, сестры звонили в тех случаях, когда надо было известить служанку. Четвертый — дону Хасинто Амату, духовнику сестер. Плинио попросил к телефону священника и условился с ним о встрече на следующий день в кафе «Универсаль». Так они звонили довольно долго, пока не получился список, в котором были модистка, гомеопат, домашний врач, молочная лавка и остальное в том же духе. Потом они составили рабочий план на следующий день и уже хотели уходить, собираясь поужинать в гостинице, как вдруг у дверей позвонили.

— Черт подери, Мануэль, а вдруг эти цветные сестрички объявятся и уведут у нас такое заманчивое дело прямо из-под носа,— сказал ветеринар с душевной мукой.

Плинио расхохотался и глотнул табачного дыма так, что тот проник в самые дальние закоулки дыхательных путей; закашлявшись, он пошел открывать.

Это оказалась женщина, тощая и нервная, замученная работой, а может быть, и нуждою.

— Я Гертрудис, служанка сеньорит,— сказала женщина. И, даже при тусклом освещении узнав Плинио, добавила: — Ах ты боже мой, да никак это начальник Плинио.

— А я и не знал, Гертрудис, что ты живешь в Мадриде.

— Вот уже два года, сеньор. Я — как все. Ну, надо же — и дон Лотарио

тут! — обрадовалась она при виде входящего дона Лотарио.— Ну, надо же!.. Как же я рада, что вы тут! Сперва я вас не признала — в пиджаке-то, но как вы заговорили... А что вы тут делаете?

— Да так: позвали — может, найду, куда пропали твои хозяйки.

— Пресвятая дева Мария! Я как раз пошла к другой моей хозяйке — я туда тоже хожу,— а тут мне и сказали, что звонили отсюдова. Я и подумала, дай-ка схожу... Тут рядышком, не стряслось ли чего еще ненароком.

— Нет, больше ничего. Проходи, садись.

— Хотите, я сперва вам пива принесу, в холодильнике стоит, все одно пропадет. И ветчина есть.

— Вот и хорошо,— сказал дон Лотарио,— и на свою долю неси.

— Ну, как же я рада, что вы тут! Ну, как я рада, как я рада! — И с этими словами она пошла по длинному коридору.

Когда ветчины и пива стало вдвое меньше и все трое сидели уютно возле камина, Плинио начал допрос:

— Как ты попала в этот дом?

— Так ведь если сеньоритам что было надо, они всегда имели дело только с нашими — из Томельосо. Даже еда в доме всегда была тамошняя: колбасу всякую покупали у Каталино, вино — у Гонсалеса Фернандеса, сыр — у Иносенсии Торрес. Да и я им то кашу по-нашему сварю, то курочку зажарю. И все, все — так. Полюбилось им все это, когда там жили. А уж такие они хорошие, сеньориты. Ну хорошие — и все тут. И все-то время ходют, ходют. Туда-сюда, туда-сюда. А уж чистюли — все у них блестит. И весь-то день все моют да моют — сверху донизу, ни пятнышка на них, ни пылинки. И уж мастерицы — на все руки. Ну, просто отдыха не знают. На работу и на мытье — отдыха не знают. Как они близнята, то и думают и делают все одинаково. Уж я и то — сколько раз, особенно когда они в рубашках, не могу различить — кто одна, а кто другая. Одна, знаете, побойчее, поразговорчивее. А другая — поспокойнее, потише, но двигались-то они одинаково и руками — тоже одинаково. Я, знаете, Мануэль, как их различаю? У одной, у сеньориты Алисии, на большом пальце на правой руке ноготь кривой.

— Послушай,— прервал ее Плинио,— а как ты думаешь, что могло произойти?

— Ума не приложу. Уж я говорила тутошним полицейским. Ума не приложу. Обокрасть их не обокрали, потому что все свои денежки — а их предостаточно — они держат в банке. А тут, как они ушли, никто и пальцем ни к чему не притронулся. И потом, что я могу сказать? Да вы, наверное, сами знаете, такие они замечательные, ну просто благодать божья, некому на них зла держать! А если вы думаете, какие любовные дела — так уж не в том они возрасте... Бедняжки! Да они чище самого святого Иосифа.

— А что за люди у них бывали?

— Я всех знаю, кто тут бывает. Всё, божьей милостью, приличный народ. И многие из Томельосо. Что еще? Это тайна почище непорочного зачатия, скажу я вам.

— Я вижу, тут все на ключ заперто.

— Да, это — да. Хотя в доме они одни были... Я у них как своя, и все равно всегда все запирают. Да и сами они над собой смеются.

— А где они держат ключи?

— Все ключи — в правом ящике, в большом туалетном столе.

— А от ящика туалетного стола?

— Этот у себя в сумке. У каждой по ключу. Ничего подозрительного вы тут не найдете. Можете и не стараться.

Гертрудис сопровождала свои слова резкими и решительными жестами. Слова, хотя она их и коверкала, были меткие. Иногда она поднимала кверху изуродованную работой руку, вытянув указательный палец. А когда слушала, ее глаза, глубоко сидящие на тусклом и худосочном лице, не мигая, бегали как ртуть.

— Обе были незамужними и никого у них не было?

— Бедняжки! Ну, конечно. У Марии был жених, за всю жизнь один жених, да и он пропал во время войны. А у другой, я так думаю, и вовсе никого. Правда сказать, красивыми они не были. И потом, скажу я вам, им вроде бы... как бы это... огня, что ли, не хватало... Вы меня понимаете.

Дон Лотарио улыбнулся.

— Чистая правда. В женщине горячей, даже если она и немолодая, сразу видно, кровь играет. А эти...

— Ладно,— сказал Плинио, допивая пиво,— нам придется тебя кое о чем спрашивать, так я буду звонить по этому телефону.

— По этому. Я там бываю каждый день. Вы только позвоните, я примчусь мигом, как на велосипеде, это тут рядышком, на улице Гравина. Чуть что надо — Гертрудис тут как тут. А уж для вас, Плинио и дон Лотарио,— какой разговор. Мне это ничегошеньки не стоит!

Они так устали с дороги, что решили в этот вечер никуда не ходить и, поужинав, прошли в маленький салон, справа, посмотреть, не пришел ли Фараон, и выкурить перед сном сигарету.

В кресле сидела какая-то сеньора, очень пожилая, с виду иностранка; на коленях у нее была собачка — китайский мопс. В другом кресле молодой негр читал английскую книжку.

С того момента, как они вошли, сеньора с собачкой не сводила с них глаз. Наконец, какое-то время спустя она спросила с явным французским акцентом:

— Вы тоже из Томельосо?

— Да, сеньора,— ответил дон Лотарио.— Как вы это поняли?

— В этой гостинице — все из Томельосо.

— Кроме него,— показал дон Лотарио на негра.

— Он — не оттуда. И я не оттуда, а вот собачка — оттуда.

— Неужели?

— Да. Мне подарила ее одна девочка из Томельосо. Эта собачка для меня как ребенок.

И она замолчала, поглаживая песика, которому это явно нравилось.

— Он у меня один, больше никого на всем свете. Все умерли во Франции.

— Вы давно живете в Испании?

— Пять лет.

— Вам у нас нравится?

— Нет. Но какая разница, где умереть?

Наступила такая тяжелая тишина, что даже негр заметил это и поднял от книги глаза, сверкнув фаянсово-белыми белками.

А французская сеньора, зажав песика под мышкой, с большим достоинством поднялась и, кивнув на прощание, вышла.

Дон Лотарио жестом выразил удивление. Негр, откинувшись в кресле, опять углубился в книгу.

Вышел дон Эустасио посмотреть, кто остался в зале. Поверх очков оглядел негра. Друзья немного поговорили с доном Эустасио, он рассказал им о французской сеньоре, и, поскольку Фараон все не появлялся, они, зевая, разошлись по комнатам, которые находились на верхнем этаже.

Рано утром они уже были на улице Аугусто Фигероа. Воспользовавшись помощью полицейского, которого им прислали из Управления, они открыли ящик туалетного стола, где лежали все ключи. И начали терпеливый осмотр одежды, писем, фотографий, предметов, которые хранили в память о чем-то, шкафов, комодов и шкатулок в поисках того, что могло бы навести их на след.

Из всего, что в это утро предстало их взгляду и прошло через их руки, внимание Плинио и дона Лотарио привлек лишь хранившийся в банке со спиртом человеческий зародыш всего нескольких недель. Банка стояла на верхней полке шкафа в спальне, которая в свое время, видно, принадлежала супругам Пелаес.

— Наверное, семейная реликвия,—сказал дон Лотарио.

Плинио согласился с доном Лотарио, и они пришли к выводу, что, должно быть, все в этом шкафу — семейные реликвии сестер Пелаес, потому что в шкатулках полно было всяких молочных зубов, прядей волос и даже бандаж от грыжи и прожженная женская перчатка.

— Да... видно, люди они памятливые и к смерти относятся с уважением.

После полудня позвонила Гертрудис и сказала, что придет напоить их пивком.

— Неужели ты считаешь, что мы приехали в Мадрид, чтобы день-деньской торчать в этой квартире?..— сказал вдруг дон Лотарио и вышел на балкон, словно ему не хватало воздуха.

Плинио уставился на него:

— А ты думаешь, что мы будем гулять? Мы работать приехали.

— Правильно, но одно другому не мешает. Можно, к примеру, прогуляться по Растро, перекусить в «Ларди», да и в парк Ретиро заглянуть... Да мало ли... Просто мне не нравится сидеть тут целый день безвылазно.

— Да, выходить, конечно, надо. Но время у нас еще будет. Вот кончим дело и целый день посвятим здешней экзотике.

Плинио вспомнил, что в комнате с кухней есть еще огромный шкаф, и пошел туда, но настроение у него немного испортилось. Дон Лотарио постоял некоторое время на пороге залитого солнцем балкона, посмотрел на светлые фасады домов и, наконец, с недовольным видом, проклиная все на свете, отправился к шефу.

Тот уже открыл большой шкаф. Он был битком набит куклами и куколками всевозможных размеров, времен и сортов. Все они были чистенькие, в аккуратных платьицах и разложены в строгом, почти скучном порядке. Десятки стеклянных глаз смотрели на мужчин. Поднятые ручки, растопыренные пальцы. Застывшие улыбки. Красные ротики, бесконечное множество белокурых головок. Плинио с нежностью разглядывал этот кукольный мир. Все эти бесчисленные фарфоровые

пластмассовые и целлулоидные фигурки символизировали неудавшееся материнство рыжих сестер. Можно представить себе, как они долгие шестьдесят лет вечерами находили отраду у этого шкафа с куклами, баюкали их, переодевая, прижимая к горячим, высохшим грудям, к своим никем не тронутым губам, укачивая на своих не познавших греха коленях. И, может, какую-нибудь, самую любимую, брали с собою в холодную постель, согревая ее у своих костлявых ребер, в белизне нетронутой рубашки, в гнездах рыжих подмышек. Все мальчики, все девочки, которые у них не родились и о которых они мечтали, были здесь, в этом шкафу, многократно повторенные. Одни — с сосками, другие — в распашонках, третьи — в немыслимых пляжных шляпах... И Плинио в мыслях перенесся к собственной дочери, своей бедной дочери, вполне уже взрослой, которая, быть может, тоже не выйдет замуж и тоже мечтает о родах в муках, о младенцах, точно коконы, укутанных в одеяльца, о маленьком слюнявом ротике и о детском плаче по ночам. Женщина, чья плоть не познала радости, а чрево — плода, наводит тоску еще большую, чем самый печальный кладбищенский кипарис. Чрево должно получить свою долю радости, и надо ночами в объятиях исходить потом и криками, надо рожать, когда приходит срок, и выталкивать на свет божий тельце, изрыгая плаценту, воды и крики. Надо, черт подери, отдавать должное нижней половине собственного тела, а не вести себя по ночам, словно ты мраморный бюст на пьедестале.

— Что ты там делаешь с таким серьезным видом? — спросил его дон Лотарио.

— Ничего. Просто думал.

У дверей позвонили. Дон Лотарио пошел открывать. Это оказалась Гертрудис. Она вошла упругим шагом и, поздоровавшись, спросила безо всякого умысла, что они делали целое утро. Плинио спокойно перечислил ей все, что они осмотрели: вещи, одежду, мебель, комнаты.

Гертрудис, считая себя посвященной, начала перебирать, проверяя, все ли они осмотрели:

— А широкий шкаф видели?.. А большой комод?.. А кладовку?.. А шкаф с «детишками»?.. А нижние полки стеллажей?.. А...

На каждый вопрос Плинио утвердительно кивал головой. Наконец признав себя побежденной, она пошла за пивом. Плинио сел в кресло и зевнул. А дон Лотарио вернулся на балкон.

— Ну, уж одно-то место вы — ну, как пить дать! — не видели,— сказала Гертрудис, входя с пивом.

— Что именно?

— Что именно?.. А комнату духов?

— Что же там — в этой комнате?

— А поглядите. Такого небось не видали...

— А то, что хранят в шкафах, на полках, на столиках и в сундуках — такое ты где-нибудь видела?

— Такого тоже не видала, сеньор. Очень они бережливые.

Потом они молча и не спеша разделались с пивом и ветчиной. И только когда закурили, Плинио сказал:

— Ну-ка, пошли заглянем в ту комнату, что там за духи, что за чистилище?

— Духи, Мануэль, комната духов, не святотатствуйте.

Между большим шкафом времен королевы Изабеллы и дверью из спальни в маленький полутемный кабинет за светлой шторой был коридорчик, в глубине которого находился еще один шкаф, уже осмотренный. В нем хранилась ношеная одежда, белье и шерстяные вещи.

— Где же комната призраков? Шкаф мы уже смотрели.

— Духов, Мануэль. Она — за шкафом. Давайте отодвинем его немножно, она там.

И действительно, отодвинув шкаф, они увидели маленькую дверь, оклеенную теми же обоями, что и стены спальни. Унылыми обоями в модернистском стиле, модном в начале столетия.

— А почему она называется комнатой духов?

— Да не знаю... Посмотрите сами... Когда мы во время уборки отодвигали шкаф, они ее так называли.

— В шутку, наверное?

— Да нет, сеньор, всерьез.

Они долго перебирали ключи, пока не нашли нужный.

Дон Лотарио открыл дверь. В маленькой каморке, освещенной тусклым светом, который падал из высокого окна, выходившего в помещение, где хранился уголь, затхлый воздух пропах нафталином. Повернули выключатель рядом с дверью. Комната оказалась гораздо больше, чем казалось при размытом свете из окна. В комнате ничего не было, кроме восьми или десяти манекенов из картона и ивовых прутьев, в костюмах разного времени. Но самое интересное: на шее у каждого — как бы вместо головы — была увеличенная фотография. Диковинный

отряд, рожденный детской фантазией. Один манекен (почему-то в куртке) соответствовал дону Норберто. Другой — в черной меховой шубке — донье Алисии. Остальные — другие родственники, бородатые и в локонах,— те, что изображены на портретах, украшавших стены гостиной, в сюртуках и в платьях по щиколотку. Среди них выделялся один — в военной форме тридцатых годов; вместо головы у него был увеличенный портрет юноши с чуточку бараньими глазами. На груди мундира под знаками различия республиканской армии была пришита подушечка-сердечко, а на ней — слова, вышитые желтыми буквами: «Мария Пелаес, моя любовь навеки».

— А это, наверное, жених сеньориты Марии, тот, что пропал во время войны.

Плинио и дон Лотарио грустно усмехались, глядя на этот ни на что не похожий музей, а Гертрудис все не могла прийти в себя от изумления:

— Прости, господи, Пресвятая дева Пеньяройская, что же это они мертвяков-то понаставили! То-то и называли ее комнатой духов. Ну, батюшки мои, дела!.. Вот уж не знаю только, где они достали мундир, как у жениха сеньориты Марии. Ведь она голого мужчину, бьюсь об заклад, в жизни не видала.

— Наверное, он им принес... Или купили.

— Не знаю, не знаю. Очень подозрительно. Чужая одежда — в этом доме.

Манекены стояли в хронологическом порядке. И только один не умещался в генеалогические рамки — военный с пришитым сердечком.

Дон Хасинто Амат и Хосе Мария Пелаес

Поскольку новостей больше не было, а время близилось к двум, они отправились обедать в гостиницу. По дороге захватили пива и в неторопливом лифте поднялись наверх. Фараон в гостинице не обедал, и они сели за столик одни. За соседним столиком сидела пожилая супружеская пара и молодая девушка: разговаривали о свадьбе. За другим — одинокий сеньор, занятый газетой, ел, не глядя в тарелку.

Покончив с десертом, они перешли в кафе «Универсаль», где договаривались встретиться со священником. Было еще рано, и они выбрали столик у входа, около окна. Из окна хорошо видна была бойкая торговля на Пуэрта-дель-Соль и в самом начале улицы Алькала. Прямо перед ними людской поток растекался с Алькала по улицам Каррера-де-Сан-Херонимо, Эспос и Мина-и-Карретас.

— Сколько людей, и какие все разные,— заметил задумчиво Плинио.— Смотри, как они идут по переходу, натыкаются друг на друга и даже в лицо друг дружке не взглянут. Будто о вещь споткнулись. Каждый замкнут в себе, у каждого голова болит о своем — о чем, со стороны не поймешь, со стороны только видно, что идут, снуют, друг друга не замечают. И каждый в этой толпе — чужой.

— Это правда, в селах люди больше общаются друг с другом. А тут люди живут в одном городе, а друг дружку не знают и, похоже, знать не хотят.

— Смотрите, вон тот помогает слепому перейти улицу. Ведет его под руку, а на него не глядит. А через минуту и не вспомнит, слепого он переводил или корзину помог перенести.

— Смотрят только на красивых женщин. Видишь, сколько глаз ну прямо прилипло к ножкам вон той... к ножкам и повыше...

— И слава богу. Единственное, что еще способно растопить холод, который сковывает такие вот города...— заметил Плинио.— А я слышал, в Европе уже и на это не глядят.

— А этот медведь на фонтане посреди площади — просто безобразие. Страшное дело, когда чиновник лезет в искусство,— сказал дон Лотарио.— Ты это лучше меня знаешь. Политиков не следует допускать к украшению города — уж очень они грубы и всегда гнут свое. Стоит алькальду или муниципальному чиновнику взяться за украшение села — крышка. Вот и с медведем так же.

— Да и сам фонтан не из лучших.

— Прямо сказать, безобразный.

— Представь, какой простор фантазии дает городским властям такое, скажем, историческое местечко, как Пуэрта-дель-Соль.

— Первым делом они обычно набрасываются на деревья.

— А потом испоганят и всю площадь: перегородят стоянкой для автомашин, которая все равно не решает дела, да еще изроют подземными переходами.

— Друг мой, коммерция есть коммерция,— заметил невозмутимо дон Лотарио.— Если испанец чует, что пахнет деньгами, он не только площадь не пощадит, но и весь город ему нипочем. А поскольку запретить некому...

— Говорят, испанцы — любители старины. Ложь чистейшей воды. У нас нет вкуса к старине — я не говорю об идеях, тут мы пользуемся старьем времен Мафусаила,— но старины, ее красоты и ценности у нас не понимают.

— Черт подери, Мануэль, да ты никак начинаешь злиться!

— Просто все это мне далеко не безразлично. Хоть я и не знаток, но то, что сделано предками, уважаю.

— В этом кафе иногда играет женский оркестр. Лица и бедра у этих женщин как у добропорядочных семейных женщин, а играя, они потихоньку разговаривают — наверное, о том, что́ надо купить, или про то, что ребенок корью болен.

— Интересно: вы мне все это уже рассказывали в прошлый раз, когда мы тут были.

Сейчас пустовавшая эстрада под балдахином с кисточками была задернута розовым занавесом.

За стойкой виднелись два больших куба — в одном автоматически, размеренно перемешивался апельсиновый сок, в другом — лимонный.

— Весь вечер его перемешивают,— сказал вдруг дон Лотарио.— Перемешали бы в миксере — и довольно, как ты думаешь?

— Наверное, специально, чтобы вызвать жажду у клиента. Чего только не придумают, чтобы вытянуть у посетителя несколько лишних монет,— заметил Плинио.

Постепенно кафе наполнялось. Мужчины, судя по виду селяне, собирались группками. Некоторые сидели, нахлобучив шляпу или берет. Были тут и вполне обеспеченные, которые жили на ренту или же на пенсию, а то и на помощь от детей. Многие, видимо, были одиноки — кто-то скреб затылок, не снимая шляпы, как, случалось, делал это и Плинио, или, подперев подбородок ладонью, зевал во весь рот. На большинстве были коричневые костюмы и зеленые шляпы. Говорили они размеренно, поучающе, воздевая кверху руки, с видом презрительным, в давно вышедшей из моды манере. От ближайшей группки долетели обрывки разговоров, пересыпанные названиями имений: «Луг сеньора священника», «Дом прекрасной старушки». И подробности насчет купли, продажи, налогов. У некоторых, наверное, полно было внуков; скорее всего они не очень-то ладили с невестками и сюда приходили скоротать остаток дня. Они выглядели ужасно одинокими и все, что делали, делали с невозмутимым спокойствием: придвинут кофе, бросят туда сахар, размешают, закурят сигарету. Это было единственное, чем они могли заняться до ужина, и растянуть это занятие они собирались как можно дольше. Некоторые, сдвинув очки на кончик носа, листали и перелистывали утренние газеты. Нередко в таком кружке можно было увидеть молодого человека, судя по виду, только что приехавшего в Мадрид, и он, выбитый из привычной колеи, жался к старшим — односельчанам или родственникам. За одним из столиков сидели две женщины с огромными сумками — волосы забраны в пучок, черные вязаные кофточки; они откровенно дремали, прикрыв глаза и свесив голову с двойным подбородком на грудь. Одна из них ни с того ни с сего вдруг встрепенулась, открыла глаза и схватилась за сумку, большую пластиковую сумку, стоявшую на столе. И, убедившись, что все в порядке, опять погрузилась в сон.

— До чего похоже на сельское казино,— сказал дон Лотарио.

— Одна разница — это находится на Пуэрта-дель-Соль, а так — все точь-в-точь... Это умники не хотят признать, что большинство испанцев — такие... Вернее,— поправился он с усмешкой,— мы такие...

— Да, мы — дети земли, рожденные у дороги, у самой колеи, выбитой повозками, теперь — тракторами. Когда попадаешь в Мадрид, такое впечатление, будто испанцы — все сплошь служащие. А это вовсе не так, большая часть Испании — крестьяне, которые едва умеют читать и писать, говорят, что верят в бога, а в церковь не ходят и думают, будто монархия отличается от республики тем, что сам король — из крестьян. Испанцы — один из самых темных народов в Европе, и кое-кто немало сил положил на то, чтобы он таким и оставался,— говорил дон Лотарио, точно выступая на митинге.— Слава богу, еще позволяют иностранцам с деньгами приезжать к нам на отдых. Может, со временем все же перестанут считать нас нацией, производящей чистильщиков и сардины в консервах.

— Хорошо еще — тысячи уехали отсюда и, чтобы прокормиться, стали носильщиками.

— Короче говоря,—подвел итог дон Лотарио,—мы, всегда такие националисты, должны признать, что немногими сдвигами к лучшему обязаны заграница.

— Смотрите, наверное, этот священник ищет нас,— сказал Плинио, указывая на коротконогого священника, который озирался по сторонам, высоко задирая нос, потому что веки у него почти не поднимались.

— Вы дон Хасинто Амат? — вставая, очень вежливо спросил его Плинио.

Они поздоровались, и Плинио представил ему ветеринара. И правда, бедный дон Хасинто не мог сладить с веками. Они все время падали, как оборванные жалюзи, и, чтобы видеть, ему приходилось задирать кверху голову так, словно он заглядывал поверх довольно высокой изгороди. Когда он сидел, усилия его были не так заметны, потому что сидя он смотрел в лицо собеседнику не прямо,

а искоса. Должно быть, удобнее всего ему было смотреть углом глаза, скашивая зрачок к самому виску. Он был очень смуглый, волосы иссиня-черные; сутана на нем была далеко не новая — полы ее успели побуреть.

— Итак, чем могу быть вам полезен? — сказал он после того, как они закончили обычный обмен любезностями и заказали кофе.

— Я говорил вам по телефону, что Управление безопасности поручило нам расследовать дело сестер Пелаес.

— Да, да, я знаю. Мне сказали в Управлении. Пусть вас не удивляет, что я позвонил и проверил... В таких случаях ничего не известно...

— Вы правильно поступили,— ответил Плинио очень спокойно, проводя кончиком языка по губам...— Ну, ладно. Так что́ вы думаете об этом странном исчезновении?

— По правде говоря, дорогой друг Гонсалес, я не знаю, что и думать. Потому что они обе ну просто святые. Обычно причиною таких происшествий бывают деньги или месть. А тут ничего не украдено. Никто, как вы знаете, ничего не тронул. Деньги они держат в банке. А месть — кто им может мстить? Они, что называется, святые, да и только. Какая-то странная загадка!

— В преступном мире случаются иногда вещи, которые поначалу невозможно понять, а потом обнаруживается — самые обычные причины. Вот я и подумал, что вы, очень хорошо зная их самих и людей, с которыми они общались, вероятно, сможете нам что-нибудь подсказать.

— Конечно, я знаю их. Я много лет их духовник. И был духовником их матушки.

— Я думал, вы моложе.

— Цвет моих волос ввел вас в заблуждение, мне скоро семьдесят. Ну, право же, святые, святые, да и только. У них в доме никогда ничего не случалось. Жизнь Алисии и Марии чиста и прозрачна, как стекло.

— Вы знаете, что у них в доме — в банке со спиртом — хранится человеческий зародыш? — спросил Плинио для разведки.

Священник с довольным видом рассмеялся, запрокидывая голову, потому что от смеха веки у него, видно, совсем закрывались.

— Ну, конечно, знаю. Это выкидыш, который случился у доньи Алисии, их матери, этой святой души. Бедняжка всю жизнь мечтала родить сына. Но ей не удалось доносить, вот она и хранила в банке то, что получилось. Между собою — один я это знаю — они называли его маленьким Норберто. Они часто спрашивали меня, не грех ли хранить зародыш. И я, конечно, говорил, что нет.

— Значит, вы знаете и про комнату духов?

— А как же! Я смеялся — в хорошем смысле слова, конечно,— над этой их выдумкой. Сколько времени проводили бедняжки в этой комнате, беседуя со своими близкими.

— А что это за военный, у которого на форме пришито тряпичное сердце?

— Я смотрю, вы никакой мелочи не пропустите, друг мой Гонсалес. Это единственная тень, я бы не сказал даже черная, а скорее серая, в истории семейства.

— Расскажите, пожалуйста, что это значит.

— Он был женихом Марии — ко всеобщему неудовольствию. Не то чтобы он был плохим человеком, но, да простит меня бог, не только родителям... мне тоже казалось, что брак этот принесет беду.

— Почему?

— По тем временам это было ни к чему. Он был из тех, из злоумышленников. Вы меня понимаете?

— А именно: коммунист, анархист?

— Нет, просто республиканец. Может, немного радикальный. Из тех, что были с Мартинесом Баррио или Асаньей [1]. Разница не велика, потому что, вы знаете, тогда от Хиля Роблеса [2] до самых левых все были на один манер. Словом, в церковь не ходил, в тридцать шестом голосовал за левых и стал офицером у красных.

— А по профессии кто он был?

— Ветеринар. Ветеринар-республиканец. Это уж вообще ни на что не похоже.

— Ну,— не выдержал дон Лотарио,— почему же это мы, ветеринары, не можем быть республиканцами?

— Не знаю, просто мне всегда казалось, что ветеринары и аптекари уважают порядок.

— Что же с ним произошло? — прервал Плинио.

— Неизвестно. Пелаесов война застала в Сан-Себастьяне, а он оставался в Мадриде. Больше о нем ничего не слыхали.

---

[1] Мануэль Асанья (1880—1940) — политический деятель либерального толка, был президентом Испанской республики.

[2] Хиль Роблес — испанский юрист и политический деятель, католик консервативного направления в годы республики; в последние годы франкизма перешел в оппозицию к режиму.

— А его семья?

— Его отец был военный... тоже республиканец... и после войны пропал. Мать умерла, а брат, кажется, живет в Мексике.

— Ясно.

— Мария очень была к нему привязана. Как раз в тридцать шестом они собирались пожениться. Он был славный молодой человек. Но счастья ему не выпало, как и всем республиканцам. Что тут говорить — так уж случилось. Да вы сами знаете. В добропорядочной испанской семье республиканец, как бы хорош он ни был,— это немыслимо... В мои дела он никогда не лез — что правда, то правда. В церковь не ходил, но со мною всегда здоровался за руку. Случалось, я высказывал ему свое мнение, и он не сердился. Всегда выслушивал очень вежливо, но стоило мне чуть отвлечься, и он тут же менял тему... Однако вся эта история с женихом — вчерашний день и, по-моему, никакого отношения к делу не имеет.

— Конечно.

— Я даже подумал, может, их выкрали ради выкупа. Они ведь богатые. Но никто ничего не просит... Если бы в тот вечер у них закралось какое сомнение, они перед тем, как выйти из дому, посоветовались бы со мной. Утром я видел их в церкви, мы даже поговорили немного. Они выглядели вполне довольными, как всегда. И такими просветленными.

Плинио и дон Лотарио переглянулись, словно утверждение священника, будто сестры Пелаес выглядели просветленными, не укладывалось у них в голове. Да и сам священник, похоже, удивился, что употребил такое слово, и потому очень серьезно посмотрел на них сквозь щелочки век.

И наконец сказал:

— Дело в том, что я в жизни не встречал таких опрятных женщин, как сестры Пелаес. Ты можешь беспрерывно сражаться с грязью, и все равно — пятна, все равно — беспорядок. У них же в квартире все было как новенькое, словно только из магазина. Не заметили? Несколько дней в квартире никто не жил, и все равно — да вы сами видели... Так вот, какие снаружи, такие и внутри они были чистые,— закончил он со вздохом.

Плинио разочарованно вынул кисет. Было ясно, что больше света на это дело священник не прольет. Они выудили все. Наступило долгое молчание. Плинио несколько раз притрагивался к галстуку, словно проверяя, на месте ли он. Он привык к плотно облегающей форме и теперь чувствовал себя, пожалуй, слишком «разболтанным».

Какой-то мужчина из компании за соседним столиком, с зеленым перстнем и в шляпе точно такого же цвета, сказал:

— Надо же, всю жизнь считал, что у меня повышенная кислотность, а вчера был у врача, лучшего во всем Мадриде, так он сделал анализы и сказал, что кислотность у меня как раз пониженная. И я могу пить коньяк и есть острое... После того как пятнадцать лет я постился, словно монах. Тысячу семьсот песет содрал с меня этот тип за то лишь, что посоветовал мне пить коньяк.

— Да, я вспомнил еще одно,— сказал вдруг священник, поглаживая пальцами свои непроворные веки.— Только вот никак не уразумею, имеет ли это отношение к несчастью... Было время, когда они хотели взять на воспитание ребенка. Это естественно. Жажда материнства, сами знаете.

— Разумеется, зародыш в банке ребенка не заменит,— не ко времени пошутил дон Лотарио.

Священник поглядел на него, словно не понимая. Плинио призвал на помощь всю свою выдержку, чтобы не рассмеяться. Дон Лотарио смутился, а дон Хасинто продолжал, как бы желая забыть неуместную шутку:

— Они начали переговоры... вернее, мы начали переговоры с детским приютом, но все оказалось так сложно, столько хлопот, что они отступились. Потом они стали договариваться с одной женщиной, чтобы она отдала им дочку, которую прижила от свекра.

— Как это — от свекра? — снова перебил дон Лотарио, который все никак не мог угомониться.

— Да, сеньор, от свекра. Дело житейское. Муж у нее умер совсем молодым, и несчастная женщина сошлась со свекром. Но так как у нее были дети и от мужа, то свекор решил отделаться от ребеночка. Но запросил слишком много денег, да еще условия какие-то необыкновенные. Не представляете, как нагло он себя вел. Гнусный бесстыдник!

— Вот так штука! Быть сыном собственного дедушки,— вставил дон Лотарио.

— После этого они больше не делали попыток,— продолжал священник, никак не реагируя на неуместные шутки ветеринара.— Но не думаю, чтобы это имело какое-нибудь отношение к делу.

Плинио пожал плечами и добавил нехотя:

— Никогда не скажешь заранее. Где эти люди живут, вы знаете?

— Помню только — где-то у Каньо Рото. Их двоюродный брат знает.

— Двоюродный брат?

— Ну да, кузен, Хосе Мария Пелаес, он у них вроде управляющего, советчик в банковских и других вопросах.

— Деловой человек?

— Пожалуй. Вообще-то он рантье, а главное — филателист. Они его страшно любят, он хорошо ведет их дела. Эти дни он был в Париже. Сегодня вечером приезжает. Хотел пробыть там дольше, но поскольку кузины его пропали, я его сразу же известил, чтобы он все бросил и ехал сюда. Я собирался после вас идти к нему.

— Мы пойдем с вами,— решил Плинио.

— Очень хорошо.

Плинио поднялся и направился к туалету. За эстрадой для оркестра, слева, был еще один зал, еле освещенный. Там за столиками тоже сидели мужчины, утопая в ворохе газет или неподвижно уставившись на ложечку, которой помешивали кофе. Некоторые, совсем седые, в усыпанной перхотью одежде, сидели, прикрыв глаза, и выглядели очень одинокими... Они сидели, вдыхая полумрак и дым, процеживая капля за каплей последние опивки собственной жизни. Один словно прислушивался к пению пригрезившейся птицы: возвел глаза к потолку с отрешенно-мученическим видом — точь-в-точь как на картине в спальне. Может, слышанная в детстве сказка, пережитый в юности порыв, а то и собственная свадьба вдруг привиделись ему на этом гладком, медового цвета потолке. Над головою другого поднимались кольца дыма, густо закручиваясь в кочан цветной капусты. Должно быть, тут сидели те, у кого не было ни компании, ни друзей, те, что бежали от освещенных квадратов окон и погружались в спячку размышлений, предпочитая в мечтах оживлять светлые обрывки собственной жизни. Еще один господин спал, утонув в диване, а рядом спокойно сидел совсем маленький ребенок и развлекался тем, что, нахлобучив коричневую шляпу, обнюхивал край, съехавший ему на нос. Повсюду, куда ни глянь, виднелись окурки, и казалось, что это шевелятся, притворившись окурками, кузнечики. Сбившиеся в углу тени походили на сморщенных людей, а на диванах сидели люди, смахивающие на тени. Плинио вспомнилась вдруг «комната духов» в доме Пелаесов.

А между тем дон Лотарио ума не мог приложить, о чем дальше говорить с духовником доном Хасинто Аматом. Совершенно ясно, что священник — да он и не скрывал этого — настроился к нему враждебно. Дон Лотарио упорно смотрел в окно. Тогда священник демонстративно, как будто того не было за столом, вытащил молитвенник. Дон Лотарио, увидев это краем глаза, рассердился и принялся напевать гимн Риего. Дон Хасинто словно бы ничего не слышал, однако повернулся к нему вполоборота — спиною.

Какая-то сеньора — хоть и под пятьдесят, но с виду в самом соку, блондинка, в бархатном пальто и с роковым взглядом — пила кофе у стойки. Те, что сидели поблизости, бросали в ее сторону взгляды и переговаривались:

— Хороши формы.

— Да, формы что надо! — подхватывали остальные.

Священник поглядел на них из-под упавших век, и его взгляд показался им укоризненным; тогда один из тех, кто отпускал комплименты, вскинул голову и повторил со злостью:

— Уж больно хороши формы!

Последняя фраза долетела до сеньоры в пальто, и она, повернувшись к говорившему в профиль, окинула его взглядом богом данных ей глаз, в которых словно бродило молодое вино.

— И потом, женщина любит, когда ей говорят, что она нравится,— сказал другой.

— Нравится... нравится... нравится...— добавил третий из той компании, подмигивая в сторону священника.

Все засмеялись. Священник глубоко вздохнул и еле слышно произнес что-то по-латыни.

Плинио в своем помятом костюме тоже походил на пенсионера, завсегдатая этого кафе. Он стряхнул пепел, которым был весь обсыпан, и задумчиво уставился в окно. Похоже, этот человек ничем не поможет в деле сестер Пелаес. К тому же его злило, что они до сих пор понятия не имели о существовании кузена-управляющего. «В деревне,— опять подумал он,— каждый человек нечто целое, законченное и в то же время часть большего — семьи. Там человека знают со всех сторон, знают его место в семье. А в больших городах людей видишь по частям, сбоку. И почти не имеешь представления обо всей семье. В деревне можно охватить взглядом всю историю жизни человека. А здесь ее надо складывать, как мозаику, из кусочков. Там жизнь каждого подобна книге, которая пополняется день за днем новыми событиями, о чем тебе рассказывают они сами или их близкие. Здесь же в лучшем случае тебе известны названия глав. Там ты сидишь на террасе «Сан-Фернандо», мимо проходит человек, а ты уже в памяти перелопачиваешь всю его жизнь, его удачи и невзгоды, его нехватки и его достатки, его ба

рыши и убытки, кто его обманул и кто у него помер, и в голову лезут даты: когда он сломал руку, когда его укусила собака, а у его внучки приключился приступ аппендицита. А уж если напрячься, так вспомнишь, где у них место на кладбище, в какой лавочке они покупают провизию и какой цирюльник скоблит ему личность по субботам. Здесь же ты как будто видишь не людей, а их тени — сами они друг на друга не смотрят, друг с другом не разговаривают, все равно как афиша: объявляет о человеке, но его живой сути не показывает. Да и женщины-то привлекают твое внимание только формами и подрагиванием бедер... Поэтому быть полицейским в Мадриде — занятие научное и автоматическое. Всякое дело приходится начинать с выяснения, кто есть кто. А в деревне у полицейского работа человечная, сельский полицейский должен отыскать потайной уголок в жизни тех, кого он знает. Деревня — как книга. А города — как лживые газеты...»

— Смотри-ка, а она не прочь,— продолжал за соседним столиком тот, у которого голос был похож на трещащее на сковороде масло, не сводя глаз с женщины у стойки.

— Не прочь, только, наверное, не задаром.

— А, может, и так. Может, прихоть, хочет скоротать вечерок.

— Черт подери, так скажи ей.

Но тут в кафе вошел очень хорошо одетый молодой человек, которого, должно быть, ожидала женщина.

— Представление окончено,— сказал владелец шипящего голоса.

— А я-то удивлялся, что такая вышла на поиски. С этакими формами...

— Итак, сеньоры, вы идете со мною к Хосе Марии Пелаесу?

— Идем.

Они остановились на Пуэрта-дель-Соль, дожидаясь такси. Здесь, на улице, почти незаметно было, что творится у священника с веками. Поток пешеходов, хлынувших через улицу, чуть было не унес дона Лотарио, и тот, размахивая руками, как в старой кинокомедии, с трудом удерживался на месте. Священник поднимал руку навстречу каждому проходившему мимо такси. Видимо, он не мог отличить свободного от занятого. Ветеринар каждый раз украдкой хмыкал. Плинио смотрел на балконы гостиницы, и ему хотелось немедленно бросить всех кузенов, ужин, все на свете и отправиться спать. Свободного такси не было. Дон Лотарио локтем подтолкнул Плинио. Какой-то старичок, прилично одетый, рылся в урне, перебирая бумажки. Каждую бумажку просматривал. Некоторые совал в карман, а остальные с рассеянным видом выбрасывал. Изо всех карманов у него торчали бумажки.

— Что это он ищет? — спросил ветеринар.

— Не знаю... Да и он, по-моему, тоже,— вяло ответил Плинио.

Перебрав все, старичок кинулся к следующей урне, ничуть не заботясь, смотрят на него или нет.

Наконец подошло свободное такси и они доехали до улицы Клаудио Коэльо. Слуга сказал им, что сеньор Хосе Мария уже приехал. Служанка, очень тоненькая, провела их из приемной в большой кабинет. За огромным столом сидел мужчина в зеленом шелковом халате и разглядывал в лупу марки. Ему было лет пятьдесят, бородка аккуратно подстрижена, очки в золотой оправе, стекла очков формою напоминали половинки яйца. Он сделал движение, будто собрался подняться им навстречу, но не встал, а так и остался сидеть, словно привязанный к креслу. На вошедших он посмотрел пустым взглядом, плотно сжав губы.

Дон Хасинто представил ему Плинио и дона Лотарио. Хосе Мария Пелаес неопределенно кивнул и жестом предложил всем сесть. Он не пожал им руки, а лишь вяло протянул кончики пальцев.

Дон Хасинто, высоко задирая голову, изложил историю исчезновения его кузин и разъяснил миссию Плинио и его друга. Кузен слушал все с тем же бесстрастным видом, лишь время от времени украдкой бросая взгляд на лежавшие перед ним марки.

Когда священник закончил свой рассказ, наступило короткое молчание; затем кузен произнес сытым и даже рассерженным тоном:

— Я не понял, что же вы собираетесь делать в этой связи.

В комнате, куда ни глянь, лежали альбомы для марок. Гости, жавшиеся на маленьком диванчике — в кабинете можно было сидеть только на нем, если не считать кресла самого кузена,— чувствовали себя довольно стесненно. Мебель тут была современная и красивая, но ее было мало. Все в этом кабинете предназначалось для марок.

Опять наступило молчание; затем Плинио строго спросил:

— Почему вы не вернулись из Парижа сразу же, как только узнали об исчезновении сестер?

Кузен поглядел на Плинио так, словно только теперь заметил его присутствие. Потом на священника и только потом — на марки; наконец, почти комично пожав плечами, сказал, глядя в пол:

— А чем я мог помочь?

— Ну, например, помочь нам нащупать след.

— ...Я не знаю никакого следа, даю вам слово.

Плинио поднялся. Остальные последовали его примеру, с некоторым усилием отрываясь от диванчика.

— Я полагаю, вы не собираетесь в ближайшие дни уезжать из Мадрида?

— Пожалуй, нет. У меня тут много дел.— И он указал на марки.

Хосе Мария тоже поднялся с кресла, очень неспешно — верно, он от природы был медлителен. И пошел следом за ними, засунув руки в карманы и низко свесив голову. Несмотря на то, что он был довольно молод и сложением не слаб, двигался он, как старик. В гостиной он сказал тихо, словно про себя:

— Никогда у меня не было склонности к детективным историям, и я просто не знаю, что сказать.

— Речь идет не о детективных историях, а о ваших кузинах,— отозвался Плинио.

— Если на то пошло,— сказал тот как бы через силу, скребя свой с заметной проседью затылок,— единственное, что я могу сообщить вам интересного, это то, что у них был пистолет.

— Как — пистолет?! — встрепенулся Плинио.

— Да, у них был дядин пистолет.

— И что?..

— Если он на месте...

Священник, пораженный, уставился на Плинио.

— У них — пистолет?

— Вот кузен говорит. Где же они его держали?

— В постели тетушки Алисии, под матрацем.

— Действительно, под матрацами мы не смотрели.

— А я думал, полицейские осматривают все.

— Может, вы будете так добры и пойдете с нами в квартиру ваших кузин: вдруг вспомните еще что-нибудь.

— Хорошо.

Не вынимая рук из карманов, он замер, глядя в пол. Все ждали, что будет дальше. Наконец он снял очки со стеклами как две половинки яйца, подошел к вешалке, надел плащ, шляпу и сказал:

— Я готов.

— Ты халат не будешь снимать? — спросил его священник.

— Нет...

В такси они ехали молча. Поднялись наверх. Теперь в квартире казалось холоднее. Когда вошли, кузен как будто заторопился, если про него можно так сказать, и, ни слова не говоря, направился в спальню сестер. Все гуськом пошли за ним. Он зажег лампу на тумбочке, опустился на колени у постели, засунул руку меж двух набитых шерстью матрацев и, уставившись взглядом в потолок, начал шарить. Наконец, вытащил картонную коробку. Не открывая, взвесил на руке.

— Пустая.

Плинио взял у него коробку. Обычная картонная коробка с обрывками этикетки. Постучал по ней. Открыл. Внутри лежала одна обойма. Все переглянулись.

— Когда дядя умер, они хотели выбросить пистолет... А потом — они ведь жили одни, боялись, наверное,— вот и оставили.

— Никогда они мне не говорили, что у них есть пистолет! — воскликнул священник, и по его лицу скользнуло выражение досады.

— Видно, на улицу их заставило выйти какое-то серьезное дело, раз они захватили с собою оружие,— сказал Плинио, поглядывая то на одного, то на другого и не отдавая коробку с обоймой.

— Разумеется, они и не думали говорить вам всего,— сказал ветеринар.

Дон Хасинто задрал голову выше обычного, намереваясь испепелить дона Лотарио взглядом, чего, разумеется, не случилось, поскольку веки, как крышки, тут же упали ему на глаза.

— Вы очень любезны,— отчеканил уязвленный священник.

— А что думаете вы на этот счет, дон Хосе Мария? — спросил Плинио кузена, все еще стоявшего у постели на коленях.

— Кузины довольно порывистые особы,— ответил тот, подымаясь с колен.

— Что это значит? — продолжал Плинио.

— Что... они... скоры на решения.

И опять умолк — руки в карманах, глаза в пол, рот сжат.

— Пожалуйста, объясните, дон Хосе Мария,— попросил Плинио,— что вы имели в виду... Скоры на решения в каких случаях?

— Ну... во всех.

— Хосе Мария правильно говорит,— пояснил священник,— скоры на решения, когда надо творить милосердие. благие дела...

— В этом роде... Или, например, торт купить,— доконал Хосе Мария священника.

Все переглянулись и не в силах сдержаться рассмеялись, даже священник. И только кузен стоял по-прежнему, не вынимая рук из карманов и уставясь в пол.

— Хосе Мария хочет сказать, что они порывисты, как дети, но всегда добры и невинны в затеях. Как святые.

— С пистолетом,— вверпул ветеринар: священник вызывал у него неприязнь.

— Да, дерзкий-на-язык-сеньор-ветеринар, с пистолетом. Но сердца у них чисты как храм.

— Дон Лотарио, пожалуйста,— попросил Плинио ветеринара.

— Можно войти? — услышали они голос.

Все обернулись. В дверях спальни стояла привратница, коротышка с перепуганным, откровенно перепуганным лицом.

— Простите, сеньоры, и добрый вечер, я ничего, только вижу — вы подымаетесь по лестнице, и говорю себе: вот станут спускаться — и скажу им, что припомнилось мне и гвоздит весь вечер, весь вечер. А вас все нету да нету, вот и думаю, дай-ка схожу сама. Гляжу — дверь отворена, я тихохонько, тихохонько, и вот я тут... Как бедняжки наши сеньориты пропали, так все мы тут в доме, я хочу сказать, в привратницкой... все в голове ворошим, ворошим, не придет ли на ум, что с ними такое могло приключиться. Потому как, сеньоры, глянь-ка, такие люди они распрекрасные, и всю жизнь напролет мы их знаем, потому как сеньорито Норберто, приехавши нотариусом, сами понимаете, из Томельосо, сразу привез сюда и моего папашу, мир праху его, привез сюда привратником, и так-то с нами обходились они замечательно, а уж сеньориты... Я с сеньоритами, все говорят, можно сказать, вместе на горшок ходила, потому как матушка моя служила в доме у сеньорито Норберто, чужим глазам не видать, что тут происходило... а уж какая была неприятность, сколько мы пережили с этим выкидышем у сеньоры Алисии, после того в банке-то и держат его... Маленький Норбертильо... Да что сказать, как умер сам наш святой сеньор, а уж медалей у него было — пропасть, отец, значит, наших сеньорит, как сейчас вижу его в гробу...

— Ладно, так что́ вы вспомнили, что держали в голове весь вечер и собирались нам рассказать? — прервал ее Плинио.

— Что вспомнила? Ах ты, боже мой, начальник Плинио, так вот мой папаша, царство ему небесное, да вы его помните, Андрес Санчес, с вашего позволения, так вот, значит, два дня я была в деревне у своей двоюродной сестры, знаете, так вот, значит, возвращаюсь, а Гертрудис мне и говорит, что вы тут занимаетесь делом наших сеньорит... А мы так каждый год ездим в деревню на день всех святых украсить немножко могилки наших дорогих покойников — ведь уж никого из наших там и не осталось...

— Да, да, правильно, так что же ты вспомнила, расскажи.

— Правильно, Мануэль, правильно, ну и язык у меня... да только я уж так рада видеть вас, да и вас, дон Лотарио. Так вот, наши сеньориты в тот вечер, когда в последний раз они ушли из дому, так вот, они взяли такси, надо же — такси, а так они всегда ходили тут, рядышком, около дома, и из нашего квартала — ни ногой, если ничего такого не было... Коли в церковь — так в церковь святой Варвары или святого Иосифа, коли за сластями — так к Идальго, или к Риофрио, или к Монико, да и в театр — по соседству... Только глянь-ка, Мануэль, в тот вечер они, как вышли, стали у двери и первое попавшееся такси остановили. А я говорю себе: уж не стряслось ли чего — такси взяли!

— А вам ничего не сказали?

— Ни словечка. Я уж все рассказывала другим полицейским, которые важнее вас... я хочу сказать, они мадридские и пришли первые. В общем, сели в такси и — поминай как звали! Я сказала сестре своей Фелисиане — она совсем слепая,— куда это отправились наши сеньориты, в такси, да все скорей, скорей?

— Ладно, что еще ты хочешь нам рассказать и помнила весь вечер, а насчет такси мы и сами знали.

— Кто же вам рассказал? — растерянно спросила она.

— Другие полицейские, те, что важнее, как ты говоришь, которые первыми тебя расспрашивали.

— Ах, ну да... А говорили вам, что они очень спешили?

— Нет... не помню.

— Так вот, это меня и гвоздило весь вечер напролет. Это самое — уж больно они спешили.

Отделавшись от священника, кузена-филателиста и утомительной привратницы, Плинио с доном Лотарио зашли в кафе «Лион» обменяться впечатлениями с комиссаром, а потом спустились по улице Алькала к гостинице.

— Знаете, дон Лотарио,— заговорил Плинио, пока они ждали зеленого света на перекрестке Гран-Виа,— дело этих сестер Пелаес, по-моему, ничего интересного не сулит.

— А мне сдается, старина, наоборот, что с пропажей пистолета, как говорят у нас в городке, запахло жареным.

— Так вот,— продолжал Плинио, не обращая внимания на слова дона Лотарио,— не лежит у меня душа к этому Мадриду... Да и какое мне дело до того, что пропали две протухшие сестрицы Пелаес? Какая разница — украл их карлик или приберегла на закуску какая-нибудь похотливая обезьяна? Мне от этого ни холодно ни жарко...

— Бога ради, Мануэль, что за вздор! Тебе дают случай показать всему миру, что ты детектив мирового класса, вот зачем ты приехал в Мадрид.

— Наплевать мне на мировой класс.

— Ладно, оставим класс в покое. А родной город? Наши томельосцы так на нас надеются, а ты собираешься оставить их ни с чем?

— Дон Лотарио, друг мой, вы что, не видите разве — нет же никакого материала! Это все самодеятельность, как раз такие дела и остаются нераскрытыми. Неужели вы, сеньор кошачий доктор, не понимаете, что возможность нам дали, а дела самого нет? Ведь эти две старые девы так же глупы, как и их кузен с его марками, они так глупы, что вполне могли просто-напросто провалиться в сточную трубу или ненароком их вместе с такси утащил подъемный кран.

— Черт возьми, замолчи, Мануэль. Никогда я тебя не видел таким. В Мадриде ты просто теряешь свое лицо. Говори что угодно, но дело это необычное. И кузен не так глуп, другое дело — он сбит с толку; да и они сами не так ничтожны. И не забудь: они выросли в нашем городке и все время о нем помнят, а это для нас очень и очень важно. Ради бога и всех святых, пойми ты, игра стоит свеч и тут требуется мастер... Не спеши: придет время, и сам увидишь.

— Вы чисто ребенок, дон Лотарио.

— А ты сегодня, ну, прости меня, дуб дубом.

Так они шли, пререкаясь, и у самой гостиницы услыхали раскатистый голос:

— Где это весь день бродят томельосские сыщики?

Фараон тоже возвращался в гостиницу. Несколько прохожих, разумеется, обернулись на его голос.

— Два дня вас не вижу, черт возьми. Куда запропастились?

— Фараон, старина! — обрадовался дон Лотарио.

— Идем ужинать в гостиницу дона Эустасио, — сухо отозвался Плинио вместо приветствия.

— Я тоже, хоть и без особой охоты. Какая муха тебя укусила, начальник, погляди на свою кислую физиономию. Уж не оттого ли, что тут тебе никто не козыряет и не кланяется, ты чувствуешь себя обделенным до изжоги?

— Да, на ходу засыпаю, устал немножко. Но что я слышу — у тебя нет охоты поесть! Это у тебя-то, обжоры?

— Не о еде речь, старина. Такое и вправду на меня не похоже. Охоты нету в гостиницу идти. Я, как попадаю в Мадрид, хочу чего-нибудь свеженького. Привычки надо оставлять дома. Да вот знакомых никого, а не то гульнули бы, тело просит удовольствий. Вот купил галстук — собрался поразвлечься, а уж теперь и не знаю, что с ним делать.

Он показал синий галстук с разводами всех цветов радуги.

— Уж раз мы встретились,— продолжал он, не давая рассмотреть галстук,— может, пропустим по глоточку.

Плинио нехотя разглядывал галстук.

— Похож на уругвайский флаг,— сказал дон Лотарио.

— Разве он такой?

— Не помню точно, но уж, наверное, необычный.

— Ты намекаешь, не пойти ли нам опрокинуть по рюмочке?— сказал Плинио, а лицо у него было как у обиженного ребенка.

— Как намекаю? Приказываю. Понимать надо. Пропустим по рюмочке, закусим. Потом еще по рюмочке и опять закусим, и так до ста. Потом поужинаем чем бог пошлет, а уж потом поглядим, как сложится,— может, подвернется что подходящее... Ну как, идет? Мануэль, взбодрись, а то, глядя на тебя, да еще в штатском, можно подумать, это не ты, а твой брат, и к тому же не очень сообразительный.

Дон Лотарио расхохотался, да с таким удовольствием, что заразил и Плинио, и тот тоже рассмеялся, выронив изо рта окурок, а Фараон, хохоча, хватался за свой огромный живот, успевая при этом беззастенчиво разглядывать прохожих.

— Эй, крошка, хоть ты вся в коже, как в ботинке, я бы не прочь...— вдруг обратился он к проходившей мимо девушке в коротеньком кожаном пальто.— Пошли, полиция, начнем гулянье с Калье де ла Крус, и если бог даст сил, доберемся до Эчегарая, а уж там не соскучишься.

И без долгих рассуждений они отправились на Пуэрта-дель-Соль, чтобы приступить к осуществлению намеченного Фараоном плана.

— Мадрид растет, а веселья в нем убавляется. Те, кто о себе много воображает,— а воображают тут о себе все, до последней собаки,— не ходят больше в

таверны и бары, где светло и шумно. Им больше нравятся, видите ли, элегантные заведения, где свету нет, парочки сидят, обжимаются, и за бешеные деньги пьют там виски, которое отдает старым башмаком. Я сейчас только что был в таком месте с двумя типами, которые собираются заняться торговлей вином. Так вот, они два часа продержали меня в каком-то снэк-баре — уже и не знаю, что это слово значит. Вышел оттуда: что в голове, что в кармане — хоть шаром покати. Ну и мошенники, прости господи!

Плинио остановился перед витриной женской обуви.

— На что ты засмотрелся, Мануэль?

— Надо привезти туфли жене и дочке... но больно уж все тут модные. Интересная штука, я помню башмаки, которые носили моя мать и сестры, а какие туфли носят жена с дочкой — никогда не замечал.

— Правда,— согласился дон Лотарио немного грустно.— Когда вступаешь в определенный возраст, уже не видишь того, что перед глазами, а видишь то, что замечал, когда еще мог видеть.

— Любишь ты головоломки, дон Лотарио,— проворчал Фараон.

— Наоборот, все ясно. Теперь смотрим во все глаза, а видим лишь то, что у нас внутри, и если хотим увидеть, заглядываем — что молодость отложила в кладовую памяти,— пришел на помощь Плинио.

— Это для меня слишком мудрено, Мануэль. Я бы сказал так: теперь ешь по-прежнему, а расти не растешь. Раньше все шло впрок, всякая еда на пользу. А теперь от той же еды вроде бы худеешь.

— Ладно, сеньоры, хватит о старости, выше голову, подходим к острерии[1]. Не удастся вам доконать меня разговорами о старости. Ну-ка, возьмемся за дело, как в молодые годы, когда кровь в жилах кипела. У меня уже слюнки текут. А потом щепоточку соды — и на боковую.

Они вошли в острерию, и пока думали, что заказать, Фараон, не теряя времени, поклевывал устрицы с блюда, стоявшего на столе. И поскольку на лице молодого человека, на чьем попечении находились эти блюда, появилась тревога, Фараон обратился к нему тем самым назидательным тоном, хорошо знакомым его землякам:

— Успокойся, юноша, в уме веди счет, ибо все мы тут люди приличные и к тому же со свежей выручкой за вино.

Они ели, пили и веселились, а местная публика, которой нечасто случалось видеть загулявших провинциалов, глядела на них во все глаза. Нечего говорить, что Фараон, как обычно, ни в словах, ни в жестах себя не сдерживал.

— Почему это,— сказал он вдруг,— нам, которые от земли, так нравятся дары моря? К телятине, к зайчатине я холоден, как собачий нос, а вот по устрицам всяким просто с ума схожу!

Все вокруг смеялись, а Фараон раздувался, как на дрожжах. Плинио же чувствовал себя немного неловко; он достал табак и предложил закурить, надеясь унять хоть немного Фараона.

— Погоди, Мануэль, разве устрицы, которые я заказал, хуже табака? Давай, друг, ешь до отвалу.

Плинио и дон Лотарио молчали, а Фараон толстенными губами шумно втягивал устрицы.

Потом они заходили по пути еще во множество таких же соблазнительных заведений, а когда вошли в «Ла Чулета», их встретил хор ликующих голосов:

— Фараон! Фараон! Смотрите-ка, и Плинио — в штатском! И дон Лотарио тут!

Трое студентов, их земляков, сидели за столом в обществе девушек-иностранок. Все были оживлены и, похоже, навеселе. Они бурно обняли вошедших и представили им своих иностранок.

— Вот вы какие книжки читаете, бандиты! — сказал Фараон, указывая на девушек скорее брюхом, нежели рукою.

— Ладно, садитесь к нам.

— Ну, все вызубрили или кой-чего недочитали?

Одна из них, блондинка, высокая и плотная, смотрела на Фараона приветливо, но немного испуганно.

— У этой жерди есть что изучать, правда, Хуниперо? Одна колоннада чего стоит,— продолжал он, глядя на роскошные ляжки, которые мини-юбка позволяла видеть во всей красе.

Плинио, не выпуская сигареты изо рта, робко улыбался. Дон Лотарио приободрился и, позабыв снять шляпу, таращил глаза на девиц.

— Ну, Фараон, нет тебе равных во всей Ламанче! — сказал Хуниперо Лопес.

— Фар-раон? — удивилась маленькая белобрысая француженка.

[1] Закусочная, где подают устрицы.

— Да, сеньорита, я — Фар-раон.

Он поднялся и, засучив рукава пиджака, пустился в пляс:

— «Я — из земли фараонов...»

Вошла цветочница с гвоздиками. Фараон купил сразу все и принялся осыпать цветами девушек.

— Он совсем спятил,— сказал Плинио дону Лотарио.

— Испанские гвоздики — заграницe! — кричал Фараон.

И снова они стали объектом всеобщего внимания. Все повернулись и смотрели на толстяка.

— Вот выйдем отсюда, я покажу вам дом, совсем рядом, где меня в седьмой раз лишили невинности,— сказал вдруг Фараон.

— Лишили невинности... как это, лишили невинности? — спросила немка.

— Ладно, барышня, ешь свои креветки.

У третьего студента, лысого Серафина Мартинеса, весь рот был перепачкан едою. Маленькая француженка похлопывала его по спине, но он ее не замечал и с увлечением изучал монументальную комплекцию немки.

— Зачем вы сюда приехали? — старался Хуниперо перекричать смеющихся.

— Будут раскрывать убийство,— пояснил Фараон.

— Ты тоже с полицией, Фараон? — спросил Соило.

— Ха, я по общественной линии. А ты, Серафин, чего такой расстроенный? Неужели оттого, что эта пышная креветка не обращает на тебя внимания?

Серафин с улыбкой опустил взгляд, а немка, не понимая, в чем дело, оглядывала всех по очереди.

— Да нет, старина,— сказал Хуниперо,— с этой в любой момент можно поладить. Он грустит потому, что сегодня, придя к себе на квартиру — а дом, где он живет, принадлежит одному из лучших в Мадриде колледжей,— он столкнулся с печальным фактом.

— Что стряслось, сынок? — с серьезным видом поинтересовался Фараон.

Серафин снова опустил глаза и засмеялся.

— Да, такое дело...— наконец сказал он.

— Ну-ка, ну-ка, расскажи.

— Да в общем,— сгорая от нетерпения поделиться, объяснил Хуниперо,— домоправительница — ей в обед сто лет — убедила директора колледжа — а он тоже, видно, консерватор,— убедила его, что во всех квартирах надо снять в ванной биде.

— Снять биде?! — воскликнул Фараон с комическим удивлением.

Серафин кивнул.

— Почему? Чем провинились ваши задницы?

Все, в том числе и девушки, расхохотались.

— Ну так — почему?

— Нам даже не объяснили...

— И теперь этот несчастный, который так щепетилен в вопросах гигиены низменных частей своего тела,— разглагольствовал Хуниперо,— теперь он, естественно, страшно недоволен.

— И имеет все основания,— заключил очень внушительно торговец вином.

— Они, верно, полагают, что этим прибором пользуются одни грешники... Слушай, какая мне мысль пришла. Директор колледжа и домоправительница знакомы с твоим отцом?

— Нет...— подумав, ответил Серафин.

— Гениальная мысль, поверь... Я на такие штуки мастак. Вон Мануэль с доном Лотарио знают...

— Ну, ладно... что вы задумали? — решился Серафин.

— Молчок, парень. Государственная тайна.

— Не надо, ведь ты смеха ради можешь такое выкинуть, что меня выгонят с квартиры, а отец перестанет присылать деньги на учение и запихнет меня к себе в трактир.

— Да что ты, старина. Ведь я чего хочу — чтобы весело было, и шутки мои безобидные.

— Не верю я тебе, Фараон.

— Успокойся, даю слово: все будет без сучка, без задоринки.

— Антонио,— стал его уговаривать Плинио,— мы же тебя знаем как облупленного.

— А раз знаете, то вам должно быть известно, что потеха выйдет на славу и ни Серафину, ни кому другому вреда от нее не будет.

До полуночи они сидели, уписывая отбивные, и просили Антонио-Фараона все-таки рассказать им, что он задумал, а заодно припоминали со смехом другие затеи этого весельчака и балагура. Затем Плинио с доном Лотарио отправились в гостиницу, а Фараон и студенты продолжали загул.

Министерская тайна

Они так привыкли завтракать пончиками, стоя в заведении Росио, что есть в ресторане не хотелось. Дон Лотарио понял, что Плинио придерживается того же мнения, и предложил пойти в закусочную «Риск». Вот это да, совсем другое дело завтракать у стойки, хотя, конечно, не сравнишь с заведением Росио... Стоило Плинио взять в руки пончик, как у него появилось ощущение, будто сейчас войдет Малеса и сообщит о новом деле, еще более дохлом, чем дело этих рыжих сестер. Как и в Томельосо, они попросили пончики, довольно-таки бледные, но все же пончики. И так же, как дома, закурили и стали разглядывать посетителей, словно ожидали, что с ними начнут здороваться. Но люди проходили мимо, не замечая их, как не замечают мебель. Даже официантка обслужила, не взглянув на них. Дону Лотарио так хотелось закричать: «Ну ради бога, хоть кто-нибудь скажите: «Здравствуйте», ради Пресвятой девы, поинтересуйтесь кто-нибудь, как спалось!» А между тем за спиною у них стояли стеною люди, в нетерпении ожидавшие, когда же, наконец, они поторопятся и закончат свой завтрак. А они курили себе, глядя в пространство и с удовольствием попивая кофе. Те, за спиною — все в одинаковых костюмах, все при часах и с одинаковым выражением спешки на одинаково чиновничьих лицах, — нетерпеливо на них поглядывали. Наконец, двое томельосцев поняли, что они заставляют ждать, переглянулись с виноватым видом, расплатились и молча вышли. Они направились вверх по улице Алькала.

У дверей дома Пелаесов они увидели Гертрудис.

— Я так просто — узнать, не нужно ли чего?

— Пойдем, приберешься немного.

Гертрудис принялась как попало, небрежно водить тряпкой, а Плинио, усевшись у камина, листал телефонную книгу... Не просто листал, а, сдвинув очки на кончик носа и зажав папиросу зубами, казалось, вынюхивал, нет ли тут имени или адреса, которые пахнут разгадкой.

Дон Лотарио с потерянным видом, заложив руки за спину, ходил по квартире. Потом он послал Гертрудис за газетой и принялся читать то, чего никогда в жизни не читал. Плинио время от времени делал какие-то пометки на листке бумаги. Должно быть, номера телефонов, по которым следовало звонить. Гертрудис то и дело входила в комнату — видимо, у нее чесался язык, но каждый раз, видя, что они не проявляют никакого желания ее слушать, возвращалась к своему занятию.

Неожиданно зазвонил телефон. Дон Лотарио пошел к телефону, чувствуя, что волнуется. Когда он вернулся в комнату, Плинио вопросительно взглянул на него.

— Да нет, ничего. Это Фараон со своей когортой продолжает раскручивать вчерашнюю затею. Говорит, что купил биде и хочет заехать за мной, чтобы отправиться на квартиру к Серафину. Ну и тип! Ради смеха на все готов.

— Уверен, это будет номер!

— Наверняка. Но мне не хочется оставлять тебя одного.

— Поезжай и обо мне не беспокойся. Только осторожней, не иди у него на поводу, а то знаешь, Фараон, он такой, на мелочи не разменивается, шутить — так до потери пульса.

— На этот раз не страшно. Ладно, увидимся в обед, в гостинице.

— С богом, желаю повеселиться.

Одна вещь привлекла внимание Плинио, еще когда он просматривал телефонную книгу в первый раз. На странице, отведенной букве «М», значилось: «Министерство Х. Сеньор Новильо, тел..... (три раза)».

Он дважды набирал этот номер, но никто не ответил. Что значит «три раза», он так и не понял. Захватив телефонную книгу, Плинио пошел к Гертрудис.

— Послушай, Гертрудис, не знаешь ли ты, кто такой сеньор Новильо из министерства Х, который ходит сюда?

— Знаю, Мануэль. Конечно, знаю. Он очень дружит с сеньоритами. А сеньорита Пальмира вяжет для них.

— Кто такая сеньорита Пальмира?

— Секретарша сеньора Новильо. А он делает для них рамочки.

— Значит, кроме министерства у него окантовочная мастерская, а у нее — вязальная?

— Да нет, Мануэль, мастерские у них прямо в министерстве.

— В министерстве Х?

— Ну да!

— Ничего не понимаю! Они очень дружны с сеньоритами?

— Жуть! Водой не разольешь! Ходить сюда любят до невозможности.

— А этому сеньору Новильо и его секретарше Пальмире известно, что сеньориты пропали?

— Вот уж не знаю, начальник.

— Схожу-ка я к ним, может, что-нибудь расскажут.

— Одному вам нельзя.

— Почему это?

— Заплутаетесь в учреждении.

— Приду в министерство, спрошу.

— Никто не скажет. Никто не знает, где они. Я раз шесть или восемь ходила с сеньоритами, чтобы запомнить дорогу. Придется мне идти с вами, хотя вижу, вам это не очень по вкусу. Но раз уж вы полицейский и коли все так получилось...

— Странно. Ладно, снимай передник, пошли.

— Я в самый раз, готова,— отозвалась Гертрудис, которая и без того все утро искала предлога, чтобы не убирать в квартире.

Когда подошли к дверям министерства, куда добирались на метро, Гертрудис, беря бразды в свои руки, деловито велела начальнику:

— Идите за мной, да не очень по сторонам смотрите.

Плинио пожал плечами и пошел за нею следом.

Гертрудис была права. Четверть часа, не меньше, шли они из конца в конец здания, поднимались вдоль стены по какой-то лестнице, похожей на пожарную, невероятно крутой. Шли чердаками (во всяком случае, это помещение больше всего походило на чердак), где была свалена старая рухлядь: бумаги, книги, картины, ящики, стремянки, перевернутые полки, рулоны оберточной бумаги, мотки бечевок, бруски, рейки, верстак... Наконец, они подошли к низенькой двери, похожей на дверь деревенского чулана, которая вела на узкую обшарпанную лестницу. Потом были темные низкие комнаты с проржавевшими печами, с плакатами военных времен, мешками неизвестно с чем, старинными копировальными машинами, мохнатыми рогожами. И снова лестница, деревянная, по которой им пришлось подниматься при свете зажженной Плинио спички. Потом они шли по какому-то сооружению вроде лесов, вдоль крытой шифером крыши, у самых труб, до слухового окна. Спустились по деревянному скату, влезли в оконный проем, прикрытый вместо шторы куском ковра. Пройдя еще несколько шагов, оказались в абсолютной темноте, и Гертрудис трижды ударила костяшками пальцев в маленькую дверцу. Несколько секунд они ждали. Затем услышали три удара — как бы в ответ. И Гертрудис снова постучала три раза. Слышно было, как лязгнула бородка огромного замка. Дверь чуть приоткрылась. В полоске света показались очки и нос.

— Кто тут? — спросил владелец очков.

— Это я — Гертрудис и со мной полицейский. Случилось несчастье.

При этих словах владелец очков, увидевший вдобавок Плинио, захлопнул дверь.

— Напугался, бедняжка.

— Что будем делать? — спросил Плинио тихонько.

— Погодите. Они, наверное, разговаривают.

Должно быть, им было о чем поговорить, потому что дверь не открывали.

— Постучи еще,— велел Плинио.

Она опять, как и раньше, трижды ударила в дверь. Почти тотчас дверь открылась и снова показались очки и нос.

— Пройди одна, а он пусть подождет,— сказал мужчина свистящим шепотом.

— Подождите меня, Мануэль, одну секундочку.

Дверь открылась ровно настолько, чтобы впустить Гертрудис, и тут же те, что были внутри, заперли ее на ключ.

Мануэль почти на ощупь закурил сигарету — тут уж не до того было, чтобы набивать папиросу. Прислонившись к стене, он стал ждать. Разговор, по-видимому, был тяжелый. Стали мерзнуть ноги, и на минуту ему показалось, что он никогда не выйдет из этой могилы.

От нечего делать он закурил новую сигарету. Сейчас ему ужасно недоставало ремня; когда случалось ждать, он привык стоять, заложив за ремень большие пальцы рук.

В конце концов, когда он, стараясь согреться, стал притопывать ногами, послышался сухой щелчок дверного замка. Дверь отворилась на три четверти, и в проеме показалась фигура Новильо, который оказался довольно высоким и тощим. На нем был старый пиджак и синий фартук, какие носят ремесленники.

— Пройдите, пожалуйста.

Это была довольно большая, похожая на амбар комната, вытянутые окна под потолком почти не пропускали света. Недостаток освещения восполняли две переносные лампы: одна — около вязальной машины, за которой работала толстая женщина в очках, и вторая — над верстаком, где, должно быть, столярничал Новильо. В углу стояли высокая старинная парта и скамьи. На парте ле-

жало несколько счетных книг и горка скомканных бумажек. Гертрудис, по лицу которой видно было, что она пережила неприятные минуты, делала вид, что внимательнейшим образом следит за суетой вязальной машины под руками толстой Пальмиры.

Едва Плинио переступил порог, как Новильо снова запер дверь на два оборота, а ему предложил сесть в старое камышовое кресло, стоявшее посреди комнаты, словно скамья подсудимых. Новильо, прислонившись к верстаку, смотрел на Плинио с явным неудовольствием. Лицом он походил на старую птицу, был лыс, нос, как говорится, на двоих рос, а на шее четко проступали жилы. Брови и жидкие волосы, зачесанные через всю лысину с одной стороны на другую,— все было усыпано опилками.

Плинио обратил внимание на допотопный телефонный аппарат времен танго, который стоял рядом с партой, и на костлявую пишущую машинку, дремавшую в углу под темно-зеленой фланелькой.

Новильо, до сих пор еще не проронивший ни слова и, казалось, занятый мыслью, как бы отсюда удрать, в конце концов в знак добрых намерений предложил Плинио свой кисет. Не спеша, как то положено, они набили папиросы, и когда закурили, Новильо, усевшись на высокую скамью за верстаком, проговорил:

— Гертрудис сказала мне, что пропали дочки Пелаеса. Я понятия об этом не имел. Скажите, чем могу быть вам полезен.

— Я бы хотел, чтобы вы рассказали, что вы о них знаете, может, это наведет меня на след.

— Ничего из того, что я могу сказать, не наведет вас на след. Я знаю всю их жизнь Как раз их отец содействовал моему устройству в министерство. Они люди в высшей степени благонравные и жизнь ведут правильную.

Манера говорить у Новильо была чуточку старомодной.

Услышав слова «устройство в министерство», Плинио еще раз осторожно окинул взглядом стопки досок и реечек, слой опилок, покрывавший все вокруг, мозолистые руки Новильо, ковшик с клеем, который стоял на электроплитке, и верстак.

— Я вас понимаю... но в жизни каждого человека,— начал Плинио, имея в виду рыжих сестер,— всегда есть уголок, зная который многое можно объяснить.

— Хоть убейте, сеньор, такого уголка у них я не знаю... Ну, разумеется, всех своих дел они мне не поверяли.

— Что за отношения были у вас с ними?

— Я уже сказал, старая дружба, ну, и время от времени они давали мне заказы — от себя или от своих друзей. Уж очень они своих родителей любили... Любили, а вернее, любят, потому что ничего плохого с ними не могло случиться.

— Вы знаете, что у сеньорит Пелаес был пистолет и что они в тот последний раз взяли его с собою?

— Что? — встрепенулась Гертрудис, которая ни на минуту не теряла бдительности.

— Вы об этом не знали, Новильо? — продолжал Плинио, не обращая внимания на служанку.

— Нет, сеньор, понятия не имел. Откуда мне знать?

— И где же был пистолет? — опять вмешалась Гертрудис, уперши руки в боки и наступая на Плинио.

— Странно, что ты этого не знала. Под матрацем у одной из твоих сеньорит.

— Дева Мария! — выдохнула Гертрудис.— Да откуда же было мне это знать! Да я ни в жизнь к их постели не притрагивалась! Ни к постели, ни к посуде. Они и подойти-то близко не давали к вещам, на которых спали да из которых ели. Такие они щепетильные! Такие чистюли, что даже противно!

— Ладно, так вот этого пистолета на месте не оказалось. Осталась пустая коробка из-под него.

— А кто же знал про пистолет-то? — продолжала допрашивать служанка, хитро на него глядя.

— Их кузен, Хосе Мария Пелаес,— нехотя отвечал Плинио.

— Я тоже, уверяю вас, понятия не имел о пистолете,— оправдывался Новильо.

— Вот вы знаете их столько лет, как вы думаете, что могло заставить их выскочить из дому в такой спешке, да еще с пистолетом?

— Такая реакция совершенно не свойственна их натуре... Может, они получили какое-нибудь анонимное письмо, у них требовали денег...

Плинио удивленно взглянул на него.

— Вот именно,— продолжал чиновник-столяр,— может, они повезли деньги, куда было велено, а их — раз! — и сцапали.

Плинио с сомнением покачал головой.

— Ни дома, ни в банке денег не тронули.

— Но, сеньор,— воскликнул Новильо, довольный своей проницательностью,— в таких делах никогда не знаешь точно...

— Вы считаете, что у них хватило бы смелости встретиться с шантажистами?

— Я бы, пожалуй, не удивился. А ты, Пальмира? — спросил он, глядя на толстую вязальщицу и секретаршу, которая давно уже остановила машину и, ошеломленная, слушала разговор.

— Я бы — тоже: они такие нервные, такие нервные, ну, на все способны.

— И я бы не удивилась,— не выдержала Гертрудис,— иногда — ну, чистый порох!

— Вот, слышите? — подвел итоги довольный столяр.— Большинство.

Плинио провел рукою по подбородку и замер, чуть прикрыв глаза. Потом покачал головою и сказал:

— Когда у человека в анонимном письме требуют денег, а он не хочет их давать, он сообщает в полицию или предупреждает кого-нибудь, куда он идет.

— А если денег просил человек — ведь может же быть такое,— чье имя они не хотели бы предавать огласке? — продолжал Новильо, начиная увлекаться расследованием.

— Кто именно? — напрямик спросил Плинио, глядя ему в глаза.

— Ну, например... я не знаю... Это так, предположение. Ведь не я сказал, что и у них в жизни может быть тайный закуток. Поймите меня правильно.

— Все, что вы говорите, может иметь смысл лишь в том случае, если вы назовете мне человека или людей, которые могли послужить поводом для такого поступка.

— Я, знаете ли, очень с ними дружен, очень, но самые сокровенные тайны, если они у них есть,— этого я не знаю. Поймите меня правильно.

— Ладно,— подытожил Плинио,— я ведь только хотел познакомиться с вами, дорогой Новильо, и вступить в контакт. Прошу вас, поройтесь в памяти, может, вспомнится что-то, способное пролить хоть каплю света... Я к вам еще как-нибудь зайду.

Новильо провел рукою по затылку, очень пристально посмотрел на Плинио и сказал:

— Я буду рад видеть сеньора в любое время, когда ему угодно... Но только в другом месте. Вы позвоните мне по любому из этих телефонов, и я приду, куда скажете. Очень буду вам за это признателен.— И записал на бумажке телефоны.

— Хорошо,— сказал Плинио, бросив понимающий взгляд в сторону верстака,— если вы мне понадобитесь, я позвоню по одному из этих телефонов... три раза.

— Нижний — домашний.

— Пошли, Гертрудис.

Плинио пожал руку Новильо и следом за сметливой служанкой пустился в обратный путь по лабиринту.

— Ой, как же они на меня накинулись, что я вас привела. Чего только я не говорила: и что вы полицейский, и что меня заставили, я думала, они меня покусают... Понятно, не хотят, чтобы раскрыли их тепленькое местечко,— говорила Гертрудис, ведя Плинио по министерскому лабиринту.

— Давно они тут?

— Сеньориты говорили, я слыхала, еще с довоенных времен.

— Он женат?

— Вдовец. Но, по-моему, прости меня господи, он всегда жил с этой Пальмирой, она там столько же, сколько и он.

— Ну и жизнь, боже мой! — заметил Плинио, когда они вышли в обитаемую часть здания.

Плинио велел Гертрудис возвращаться домой и закончить уборку да быть на страже — вдруг кто позвонит, а он придет позже. Когда женщина скрылась в метро, он мрачно зашагал по улице, распаляя собственное дурное настроение, причиной которого в конечном счете была тоска по дому. Детская тоска, над которой сам он в глубине души смеялся. И в то же время он чувствовал, что обстановка его возбуждает. Однако его состояние не имело никакого отношения к женщинам, которых он видел вокруг,— скорее это относилось к тем, чьи образы он с юношеских лет хранил в воображении. Молодые девушки, собирающие виноград, женщины у обочины дороги... на аттракционе в парке...

Как давно это было — сиеста в Атахадеро. Темные переулки тех времен, когда он был солдатом.

Женщины выходили из магазинов, такие кругленькие, такие безучастные ко всему, такие чуждые всей этой накипи, которая есть в жизни. Каждая в своей скорлупе, и в голове у каждой — свои собственные крошечные мыслишки и мечты, словно монетки в глиняной копилке.

Он увидел роскошное, огромное и пустое кафе. Не задумываясь особенно, вошел. Облокотился на стойку и попросил кофе с молоком. Какая-то музыка звучала в глубине помещения, словно бы возвещала, что вот-вот должны начаться танцы или что-то вроде этого. Ему по душе пришелся этот покой. И людей — одни только официанты в зеленовато-желтом.

Ему вдруг показалось, что он в Мадриде уже не один месяц. И что совсем в другое время года ехал он в автобусе с доньей Марией де лос Ремедиос, женщиной, вступающей в период климакса, женщиной со светлым пушком над верхнею, такой лакомой губкой. И с этим извращенцем Караколильо Пуро.

Он попросил еще кофе и в конце концов опять почувствовал себя в кольце, но на этот раз давили его не люди, как это было утром за завтраком, а равнодушие тех немногих, что были вокруг. Он не привык к тому, чтобы его «не видели», не привык, что его появление не производит переполоха, как он говорил... «Место, где живешь, проникает в тебя до мозга костей, до глубины души. Деревня у меня в каждой поре, я навсегда отравлен ее воздухом, ее голосами, ее глазами, ее дыханием. Не бывает земли ни плохой, ни хорошей. Нет земли иной, кроме той, где ты живешь. С землею происходит то же, что с матерью и детьми. Вдали от родных мест живешь как потерянный. Словно не за что зацепиться якорем или что-то в этом роде».

Он вышел. Долго ходил, разглядывая витрины, время от времени окидывая взглядом выходивших из парикмахерских женщин — зрелых, в соку, с гладкой полной шеей. На улице Прим, неподалеку от Национального общества слепых, он наткнулся на них — слепых было много. Тягучими монотонными голосами они просили помочь им перейти улицу, поймать такси. Голоса, которых не меняют образы внешнего мира, вспышки света. Механические голоса, словно еще один посох, соединяющий их с миром. Голоса эти будто тянулись из одних потемок в другие. Они были сами по себе и не ждали отклика ни голосом, ни взглядом. Но торопливо и настойчиво словно оповещали, что они тут, что они существуют. Может, просто уверяли себя, что они есть в этом мире и другие их видят, что они производят шум и не одиноки в потемках.

Голоса слепых подобны свету маяка. У зрячих голоса могут дрожать и выражать неудовольствие, у них голоса неровные и рвутся от любой малости: что-то увидели, удивились, о чем-то замечтались. У этих голосов есть глаза. Слепые же не видят, что вокруг, не видят друг друга: у слепых голоса без цвета, без тонов, без полутонов, без взлетов и без тепла. Абстрактные голоса, словно пластинка, записанная в темной студии.

Плинио почувствовал щемящую нежность к этим слепым. Его восхищало их взаимное согласие, которое ему, человеку из мира света, представлялось невозможным. И он подумал о том, какие удивительные резервы есть у природы для замены той части мира, которая проникает в нас через глаза. Он глядел, как они смеялись, рассказывали о чем-то друг другу, похлопывали друг друга по плечу, как они, блаженствуя, выходили, обнявшись, из таверны «Бузина», и силился угадать, о чем они говорят, какие образы рисуют в воображении, что и как воспринимают из внешнего мира. Он чувствовал к слепым не жалость, а нежность и острую любознательность, и желание проникнуть в их мир — их, и только их, мир, созданный благодаря невообразимым антеннам.

Он дошел до улицы Баркильо. Но возвращаться к работе, в квартиру рыжих сестер, до смерти не хотелось. Что ему там делать? Ничего путного в голову не приходило. Не хотелось снова звонить по телефонам — это почти ничего не дало. Он вошел в кафе «Риофрио», чтобы с помощью еще одной чашки кофе немного растянуть утро.

Он сел за пустовавший у окна столик, попросил кофе и уставился на печальную улицу слепых. «Мир,— размышлял он, чуть прикрыв глаза,— запутанная слепая карта, на которую нанесены дела и голоса слепцов. Каждый из нас по-своему слеп. На одно у нас есть глаза и чувства, а к другому мы бесчувственны как бревно. В одних каналах и стремнинах у нас есть путеводные огни, а иных магистралей и путей, которые для других служат столбовой дорогой, мы вовсе не замечаем... Каждый из нас подобен сосуду, вбирающему в себя содержание другого, главной сути которого он, быть может, даже не знает. Каждый из нас — образ и подобие живущих рядом, которые начинают проникать в каждую пору нашего существа с первого мгновения нашего появления на свет. Каждый — прибежище некоего существа со множеством непознанных лиц. Существа, руки которого находятся в непрестанном, неведомом нам движении... Мы — всего лишь полуслепые наблюдатели, созерцающие самих себя, вернее то, что из нас получается».

Слепые юноша и девушка остановились совсем рядом с окном, за которым Плинио пил кофе. Они разговаривали. Они встретились, не видя друг друга, они нашли друг друга по запаху, узнали по звуку посоха, остановились там, где должны были остановиться, на приличествующем расстоянии друг против друга, и заговорили оба разом. Не выпуская из рук палок, они легонько, очень нежно гладили друг друга по руке, чуть касаясь кончиками пальцев, самыми кончика-

ми, а две пары губ, не переставая, говорили, и две пары глаз были устремлены кверху, словно надеясь в небе увидеть отражение того, кто стоял перед ним... Они говорили быстро, тихонько смеясь, и лица их были совсем близко, и они легонько притрагивались друг к другу. Им было совершенно безразлично, что кто-то на них смотрит и, может, отпускает замечания по их адресу... В какой-то момент его дрожащая рука притронулась к ее руке, выше локтя, у самого рукава. Она с невероятной мягкостью взяла его руку, поднесла к своим губам и не то тихонько коснулась ее поцелуем, не то велела руке замолчать — вернее, велела ушам, которыми были поры этой руки... Или же сделала движение губами, которое было и поцелуем и речью в одно и то же время. Когда Плинио на минуту избавился от впечатления, которое все это на него произвело, он вдруг заметил — в первый раз за все время,— что и слепой и слепая, в особенности он, очень некрасивы. Очень молоды и очень некрасивы. Оба худые. У него длинная шея и геометрической формы нос, а она — рыжая и кожа на лице — красная. Но богом данная слепота ставила их выше этих препятствий, этих помех, таких обычных для нормальных, зрячих людей. Если оба они слепы от рождения, то как они представляют себе красоту? Какими «виделись» они друг другу? Какую красоту создавало, рисовало и внедряло им через поры сердца осязание, что́ стоит для них за этим словом? Вот они, в глазах всего мира двое возлюбленных, связанных им присущими нитями, где нет света, и она целует и говорит что-то его руке, едва касаясь ее краешком губ, а он с застывшей на лице странной улыбкой, не переставая, шевелит губами, словно шепчет молитву, и молитва расцветает на его лице нежностью, о которой знают только он и небо... Они лишены дара видеть прекрасное... прекрасное, которое может найти отзвук лишь в тончайших нитях сердца, в собственной нежности, в лучшей части твоего существа. Но им, к счастью, не дано видеть и безобразного, мерзкого, что есть в этом мире, не дано прочесть на лицах страха, мучений и равнодушия, как читают эти люди, которые, разговаривая, смотрят друг на друга.

Плинио почувствовал прилив чувства долга. Он всегда был рабом долга, своих обязанностей. Даже когда делать было нечего, он все равно думал о том, что должен делать. Мадрид, разбивающий все иллюзии, полный жизни, рождающий тоску,— завораживающий и возбуждающий Мадрид бросал ему вызов, подвергая сомнению его профессиональную пригодность,— его, начальника Муниципальной гвардии Томельосо. Не мог он сдаться и пойти на поводу у этой запутанной ситуации... Он должен узнать, что произошло с сестрами Пелаес, обнаружить их, живых или мертвых, в чем его с полным основанием убеждал дон Лотарио. Собрав остатки энергии, Плинио расплатился за кофе и вышел на улицу. Не в силах преодолеть искушение, он подошел к слепой паре послушать, о чем они говорят. Вблизи, когда их больше не разделяло стекло, они показались ему менее значительными, показались ему более худыми и маленькими, еще более слепыми. Он не понял ничего. Они говорили, пришептывая, и слова были словно мыльные, округлые — какое-то месиво из поцелуев и вздохов. Неожиданно они замолчали и лица их напряглись. Должно быть, они заметили его тень, его дыхание, заметили, что он заслонил им солнце. Ласка повисла в воздухе, на глаза упали веки. Тело обратилось в слух в ожидании подступающего странного и беспокойного ощущения. Плинио перешел на противоположную сторону и оттуда увидел, как тотчас же движения пары словно потеплели, снова зашевелились губы, опять устремились кверху глаза и кончики пальцев слились в поцелуе. Заложив руки за спину, он направился к дому сестер Пелаес.

Он подошел к двери — ей было не меньше сотни лет. Сколько повидали эти широкие пологие лестницы: легионы мертвецов поднялись по ним за эти годы, те, что давно обитают на кладбищах за городом. И в последний день своей жизни они задумчиво поднимались или спускались по этим лестницам, глядя в пол, касаясь перил почти прозрачной рукой. Усатые почтальоны с тяжелыми сумками за плечами; женщины, страдавшие одышкой: девицы в туфлях на каблуках и с синяками на ляжках, оставленными пальцами ремесленников и господ; военные. Сколько сеньор, наизусть знавших молитвы и нищету, волочили по ним свои непременные церковные скамеечки. Сколько детишек в матросских костюмчиках, детишек, которые считали себя бессмертными. Сколько помойных бачков, набитых газетами и чудодейственными молитвами падре Кларета, видели эти ступени. Больше века было этому деревянному настилу. Сколько гробов вынесли по нему на плечах! Сколько воплей раздирало тишину подъезда по субботам в 1898 году[1]! И сколько раз, возвращаясь из театра, кто-то поднимался по этим ступеням, напевая себе под нос лучшую арию из последней комической оперы! А сколько торопливых объятий видела эта лестничная площадка! А на этой кто-то, может, в первый раз почувствовал одышку... Сквозь облупившуюся роспись цокольного этажа на отсыревшей стене проступали старые модернистские

[1] 1898 год — сокрушительное поражение Испании в войне с США, стоившее Испании многих людских жертв, потери Кубы Филиппин, Пуэрто-Рико и Гуама и означавшее крах ее былого могущества.

мотивы, которые Плинио заметил в первый день. Прежние жильцы не вернутся — их унесла парка, а эти розово-зеленые букетики, написанные в ту пору, когда добрые старые времена в Испании умирали, тонули в водах Сантьяго-де-Куба,— эти розочки возвращались. В деревне следы людей стираются, а в городе они оседают в добротных домах, сделанных руками человека. В городе все, что ни возьми, настояно на воспоминаниях о вещах ушедших, на могильной грусти, на следах иссушенной плоти и инерции костей. Разве в поле помнят о смерти, об ушедших? Зреет новый колос, вновь пробиваются виноградные побеги, свежий перегной устилает землю, и россыпи облаков каждую ночь меняют свой узор, а ветер — направление, а там, глядишь, и снова первые ласточки; в деревне, как в детстве, все вокруг то и дело меняется, быстро забывается то, что совсем недавно случилось, и уже все готово к тому, чтобы начаться сызнова. А в городе — да, старина,— в городе без устали перемалывается тоска, на каждом шагу — наводящие страх свидетельства, лестницы, по которым спустилось столько ног, кровати, на которых столько поколений рождалось и росло, шторы из камки, о которые осушалось столько тайком уроненных слез, шкафы с детским бельишком тех, что стали сенаторами и у кого теперь одна одежда — репейник на кладбище... Каждому поколению следовало бы строить свой город, в котором не было бы праха былого, бывших в употреблении биде, и такого добротного и неуходящего воспоминания о смерти, и этих толстых, красных шелковых шнуров на балконных шторах. У каждого поколения должен быть свой город без кладбищ, и все в нем должно быть новым, с иголочки, чистеньким, чтоб не было там фотографий улыбающихся усачей и медальонов, где хранятся белокурые локоны с головок, сквозь которые ныне уже прорастают могучие корни. В дрожь бросает, когда случается найти на дне сундука длинные панталоны с лентами, заштопанные еще прабабкой. И города, и селения, и дома, как и поля, должны заново одеваться для каждого нового поколения. И чтобы не было в них памятников из камня или бронзы, которые стынут от холода, а ночью на них мочатся, им подрисовывают усы, исписывают бесполезными политическими лозунгами или протестами. И музеев, заполненных призраками в гофрированных воротниках,— да, сеньор, я согласен, нарисованы они отлично, но воронки их глаз нас засасывают, и мы вновь видим «ужасный образ смерти», колею кареты прошлого, столь же печального, как и настоящее,— помол из мириадов тел, печалей, любовей, зависти, измен, похорон, скорби, увядших грудей, человеческого мусора. Не надо музеев, где вереницы прелестных девушек четыре века подряд улыбаются с дрожащих холстов; не надо музеев, хранящих мертвые картины той жизни, которая сгинула, кончилась, как и мы сами; музеев, где собраны ученый, мудрец, горбун, монах-ананист, человек с семью пальцами, деревенская непорочная дева, которая умерла, так и не разжав ни разу коленей, и учительница-прелюбодейка, умевшая угодить своей страстью сразу многим. Не надо музеев с гипсовыми масками знаменитостей, сделанными через минуту после того, как тот испустил дух. Маска из гипса, плотно наложенного на лицо, на губы и глаза, которые пришлось закрывать плоскогубцами. Маски, изготовленные скульпторами-академиками, которые и сами уже — маски в других музеях, рядом с пыльными письмами, умоляющими о ссудах, проржавевшими орденами и орденскими лентами, похожими на высохшие листья. Музеи с туфельками балерин и сморщившимися шелками и локонами, в которых они танцевали перед его величеством, чьи забальзамированные останки теперь тоже покоятся в четырех стенах его царства — великолепном раззолоченном пантеоне. Музеи, хранящие портреты вислозадых шутов, улыбки которых, подобно комьям земли, изъедены чернью серы. Картины бесполезных баталий, где солдаты ликуют по причине, которой не помнит сам господь бог. Батальные сцены с мертвецами, ранеными лошадьми и мечами самыми примитивными, где вот так же, как сейчас, сгущаются сумерки, окутывая людей странного вида: в перьях, с копьями и со следами венерических болезней на грязных лицах — наградой за любовь смешливых девиц. Ну и ну! А вот портрет Его величества короля, почерневшего, ожесточенно преданного своим страстям — идеям, которые нынче мыльный пузырь, не более; подгнивший флегматик, незрелый болтун. Короли, умершие от кошачьего укуса, или от клистира, или от загадочных кровотечений в присутствии бледноликих придворных, печально созерцавших их темную блевотину, их грязные бороды, груди, покрытые фальшивыми реликвиями, их старые зады. Древние распутницы, написанные на огромных полотнах, приукрашенные и метафорические, с пропащими глазами, с животами и грудями цвета спелого колоса, распевают старинные романсы. Но веет от них не грехом, не судорогами наслаждения, не разрывающими ночь криками, не разгоряченным чревом и не потными подмышками, а лишь смертью и еще раз смертью. Человек, бедняжка, тянется к воспоминаниям, старается оживить ушедшее, теша себя иллюзией, будто он не умрет... И вот он хранит картины — натюрморты из яблок, которые съел поросенок в эпоху Возрождения, или же безобразную мертвую дичь с поникшей шеей цвета древесной коры. Или сторожевых псов, которые жили несколько веков назад, но псов не жалко, потому что они не видят себя в музеях; у псов

нет старинных комодов, где бы хранились хвосты их предков, им безразлично, какие они сейчас и было ли вчера. Вот у них совершенная жизнь, вся умещается между мордой и хвостом, всегда одинаковая, без всякой метафизики и футурологии. Так говорит Браулио. Вот это жизнь — быть тем, что ты есть, без памяти и без надежд, когда все разрешается само по себе, когда только чувствуешь и не думаешь и есть лишь то, что ты существуешь — сейчас и здесь. Когда не знаешь ни откуда взялись, ни как пройдут наслаждение и боль. Это действительно жизнь, черт подери! Это и значит быть частью природы, жить без этой тени, которая следует за тобой от рождения до смертного часа, грызя тебе мозг и сердце, пока ты дышишь. Жить вот так, ничего не оставляя от себя, вот он, наверное, самый смак!

Когда Плинио пришел в квартиру сестер, у Гертрудис сидела Долорес Арничес, швея, которую Гертрудис специально задержала. Швея сидела на кушетке. Это была худая женщина в очках, с непонятно куда устремленным взглядом. Она еле кивнула. И уставилась на что-то поблизости от Плинио. Гертрудис объяснила, что Долорес приходила сюда раз в неделю шить. И последний раз была в день, когда исчезли сестры.

— Пусть расскажет, пусть она вам расскажет.

Долорес начала рассказывать, как школьник отвечает урок. Руки и глаза у нее застыли; шевелились одни только тонкие и сухие, как хлебная корка, губы.

— Так вот, сеньор полицейский, я, как всегда, пришла около одиннадцати. Как всегда, меня накормили завтраком в портновской. Я принялась за работу. Они входили, выходили, иногда посидят немного, что-нибудь расскажут. Подошло время обеда, и опять, как всегда,— я уже двадцать лет хожу к ним — мне подали обедать в портновскую. Я всегда ем одна, после еды я привыкла соснуть немного на диване. Они тоже прилегли, только я их не видела, потому что из комнаты не выходила. Аккурат полчетвертого зазвонил телефон. И тут началось. Я из комнаты слышала: трубку взяла одна из них — не знаю какая. Что-то она вскрикивала удивленно. Что — я не разобрала: тут далеко. Слышу только, что и другая подскочила. И тоже что-то кричать, спрашивать стала, чего — я не разобрала. Я было хотела высунуться в коридор, послушать, да не посмела.

— А вот эти крики, о которых вы говорите, они были какие?

— Не могу сказать. Но только необычные. Скорее, как будто сеньориты удивлялись и очень спешили.

— Долго они разговаривали?

— Нет, очень мало... А как повесили трубку, слышу — побежали по коридору. В ванную, наверное, да я потом и видела, а после в спальню — одеться, обе сразу, да так спорой Слышу, о чем-то разговаривают на ходу. Понимаете? А потом — полчаса, наверное, прошло — вошла сеньорита Алисия ко мне в комнату, даже на работу не взглянула, а только оставила на столике ужин, деньги и сказала: «Мы сейчас уходим по срочному делу (так и сказала: «по делу», я хорошо помню), когда закончишь, Долорес, если мы еще не вернемся, погаси свет и захлопни дверь. До понедельника». Я и спросить ничего не успела, как они обе — сеньорита Мария ждала ее в коридоре — выскочили, и только дверь хлопнула. И вот, так до сих пор и не вернулись.

И Долорес, считая сообщение оконченным, обратила свой неизвестно куда устремленный взгляд в сторону Плинио.

— А вы не расслышали какого-нибудь имени или слова, которое могли бы подсказать нам, о каком «деле» шла речь?

— Нет, сеньор. Вы знаете, телефон в другом конце коридора, далеко. Обычно не слышно даже, что и говорят-то. А тут уж так они спешили, так удивлялись, что я услыхала.

— Вы столько лет у них в доме, как вам кажется, кто мог им звонить и вызвать такое беспокойство?

— Мы тут уже час голову ломаем над этим,— сказала Долорес.— Кто бы это мог быть? Кто мог такой тарарам устроить? Уж я-то их знаю, не думайте, они не станут бегать попусту. Потому как они были или есть — это уж как богу угодно — очень осмотрительные: все обдумают, прежде чем на что-то решиться. Пальцем не шевельнут, не то чтоб на улицу выскочить, если дело какое пустяковое. Вот так. Уж видно, это дело невесть какое важное. Никогда не бывало, чтоб так они волновались... А в шесть часов — всегда-то я работаю до восьми, а тут я без дела осталась,— в шесть я ушла. И ничего странного, что они к тому времени не вернулись. Но вот до сих пор...

Удивительно было в этой женщине, что, замолкая, она не меняла позы. Вернее, когда начинала говорить, лицо ее оставалось неподвижным, только губы шевелились. И глаза смотрели в никуда, и руки лежали без движения, а голова была склонена по привычке, как над шитьем, и все тело словно застыло: она сидела в такой позе, будто хотела подняться, да раздумала.

Наступило молчание. Плинио расхаживал по комнате, курил, подстегивая воображение. Долорес сидела на краешке дивана, а Гертрудис, как всегда, следила за расхаживавшим взад-вперед Плинио в ожидании его выводов. Но так как время шло, а он все молчал, она не выдержала:

— Хотите, может, я вам пива принесу, да мы пойдем, если у вас никаких приказаний не будет?

— Ступайте с богом, а я останусь тут, подожду дона Лотарио.

— Так принести пива или не надо?

— Не надо, я только что кофе выпил тут рядом.

Около двух позвонил ветеринар и сказал, что история с биде завершилась изумительно и что он все расскажет вечером, как договорились. Он звонил из Алькала-де-Энарес, куда они с Фараоном ходили по его винно-торговым делам. Поговорив с ними, Плинио пошел в гостиницу, пообедал и, поговорив немного в салоне с кем-то из земляков, в присутствии молчаливой французской свидетельницы с китайским мопсом, восседавшей, по обыкновению, в кресле, решил соснуть часок.

Он совершенно пал духом, а когда дела складываются таким образом, самое лучшее перечеркнуть все сном.

Свет в комнате

Под вечер Плинио проснулся в смятении. Сначала не мог понять, где он. Что за комната? Что он тут делает? Понемногу шум машин вернул его в Мадрид, в гостиницу «Центральная», к делу рыжих сестер. Он еще немного полежал, не подымая головы с подушки, глядя на балконную решетку, откуда проникал последний предвечерний свет. Закурил сигарету и еще некоторое время полежал, зажав ее во рту, заложив руки за голову. Глянул на рукава своей синей пижамы и невольно усмехнулся. «Хорош ты, Мануэль Гонсалес, муниципальный полицейский из Томельосо, выходец из мужественного рода Плинио, хорош ты в этой пижаме! Первый в своем роду спишь таким образом. И все потому, что угораздило тебя приехать в Мадрид. Из-за этих сестер Пелаес. И почему это твоя дочь считает, что в Мадриде надо непременно спать в пижаме?»

Он не спеша оделся и спустился в салон. Заглянул в вечерние газеты, лежавшие на столе. «О пропавших сестрах Пелаес — никаких известий»,— гласил заголовок на последней странице одной из самых бойких газет. И затем: «В Управлении безопасности нам сообщили, что по-прежнему нет никаких сведений о местонахождении сеньорит Алисии и Марии Пелаес, которые, как мы уже писали, исчезли, выйдя из своего дома на улице Аугусто Фигероа в прошлую субботу. Кажется, этим делом занялся знаменитый специалист из бригады уголовного розыска, имени которого нам не открыли. Однако создается впечатление, что путь, по которому он пошел, очень скоро принесет свои плоды».

Мануэль задумался. Его позабавило это определение — «знаменитый специалист из бригады уголовного розыска». Вот радости-то дону Лотарио!

За стойкой появился дон Эустасио, хозяин «Центральной», и, глядя на него поверх очков, сказал вместо приветствия:

— Кстати, Мануэль, тебе звонили часов в шесть.

— Кто?

— Не назвались. Спросили тебя, я сказал, что спишь, и повесили трубку.

— Мужской или женский голос?

— Мужской.

Пройдясь немного вверх по улице Алькала, Плинио вернулся на улицу Аугусто Фигероа. С порога он заметил, что, как обычно, в привратницкой никого не было. Он открыл почтовый ящик и среди рекламных извещений и уведомлений для сеньорит Пелаес нашел конверт, на котором значилось: «Сеньорам полицейским, занимающимся делом сестер Пелаес». Плинио водрузил на нос очки и тут же, на лестнице, вскрыл конверт. В нем был лист обычной бумаги, на которой красными печатными буквами было написано: «Я похитил сестер Пелаес. Это — месть. Вам их не найти. Негодяи. **Гато Монтес**». Плинио перечитал текст, сделал какой-то неясный жест, спрятал бумажку в карман и медленно поднялся по лестнице. Открыв дверь, он с удивлением обнаружил, что не то в кабинете, не то в другой комнате, выходящей в гостиную, горит свет. Он вошел. Там никого не было. Он был твердо уверен, что утром света не зажигал. Солнце сияло вовсю, и в окно, выходившее во двор магазина электротоваров, проникало достаточно света. Нет, он не зажигал электричества. В ясный день в этой квартире можно обходиться дневным светом почти до самого вечера. Он прислушался. Ничего. Медленно, напрягая все пять органов чувств, пошел он по квартире. В такой большой квартире трудно запомнить все до мелочи... Каким же ключом отпира-

ли дверь? Судя по рассказам, было три ключа: у каждой из сестер в сумке и тот, который оставляли привратнице и который теперь был у него. Плинио зажег свет и, прищурившись, оглядывал квартиру, напрягая все антенны своих чувств. Он не решался ни к чему притронуться. Вся мебель была на своем месте. Ящики и двери заперты. Не заметно, чтобы что-нибудь трогали. «Странно,— думал Плинио,— тот, кто тут побывал, оставил самый бросающийся в глаза след: свет в самой заметной комнате. Должно быть, он был очень сосредоточен на своем, ему нужно было что-то определенное. Он хорошо знает дом, его порядки и обычаи и знает, в каком виде все было здесь после прихода полиции. Он что, спешил или так рассеян, что ушел, забыв погасить свет? — Плинио пришло в голову, что, наверное, тогда уже был вечер, раз пришлось зажигать свет.— А может, и по телефону звонили, чтобы проверить, где я? То, что искали, было в кабинете? Что такое важное могло там быть — неспрятанное, в легко доступном месте? Скорее всего, эта комната была первой, куда он вошел, или же последней... Значит, мы имеем дело с завсегдатаями дома». В памяти проносились образы и имена всех, кого он расспрашивал, всех близких к сестрам Пелаес людей, которых он знал... И текст этой дурацкой записки за подписью «Гато Монтес»... Конечно, это неспроста. Стоит в газетах появиться сообщению о похищении, грабеже, преступлении, эти анонимные кретины тут как тут. Он это знал по своему большому опыту. Авторы анонимок, не решающиеся перейти от мысли к действию потенциальные воры и преступники, и в этих записочках без подписи дают волю своим наклонностям. А вот что действительно забавно — как такое на вид простое, такое домашнее дело двух старых дев, сестер с истерическими наклонностями, по-милому чудаковатых, если верить тому, что о них рассказывают, вдруг загадочно осложнилось, разбив в пух и прах все представления людей осведомленных и известных?.. «Ах ты, черт подери, почему же это дело приобретает такой загадочный характер и перестает быть по-свойски простым, каким оно показалось мне сначала? А почему оно мне показалось по-свойски простым?.. Что за черт! Я вроде начинаю суетиться. Оно кажется домашним, сугубо внутренним из-за людей, которые окружали сестер, но это еще не значит, что в нем не замешан некто, как говорится, из другой оперы...»

Он подошел к холодильнику, достал кусок ветчины, съел, заталкивая ее в рот пальцами, и отхлебнул красного вина из бутылки, уже более чем наполовину опорожненной. Потом допил все. Довольный, он рыгнул тихонько и при свете, падавшем из открытого холодильника, не спеша набил папиросу. Закурил, захлопнул ногою дверцу холодильника, опять зашагал по квартире. Пройдя коридор, вошел в кабинет дона Норберто, зажег бронзовую люстру с лампами в колпачках, как аптекарские склянки, и снова принялся оглядывать одну за другой все вещи в комнате. С написанного маслом холста, висевшего над креслом у письменного стола, на него смотрел деревянно напряженный дон Норберто. Рот сжат, плотные губы утолщены — художник хотел придать нотариусу более серьезный вид. Дон Норберто сидел, опершись правой рукою о стол, вроде бы тот самый, что стоит сейчас под портретом. На портрете, как часто бывает с такого рода живописью, дон Норберто, которого Плинио хорошо знал, вовсе не походил на себя, а скорее на дурно раскрашенную статую того, кто сперва был нотариусом в Томельосо, а потом — в Мадриде. Плохие живописцы, желая написать портрет, сначала как будто лепят модель из невесть какой разноцветной глины, а потом с нее рисуют на холсте. Дурные художники, как и плохие писатели, не умеют видеть непосредственно то, что хотят написать. И вот они, кое-как вспомнив то, что уже было написано другими, приспосабливают это к тому, что хотят изобразить сами. «Настоящий художник,— думал Плинио,— это тот, кто на собственный лад умеет общаться с вещами и людьми и может сделать других причастными к этому общению. Иначе говоря, помочь другим увидеть это так, как увидел он сам, потому что без него другие — зрители или читатели — этого бы не увидели. Плохой же художник и сам «не общается», и другим не помогает общаться с окружающим миром, он лишь использует — и, разумеется, неуклюже — опыт своих предшественников». Разглядывая кошмарный портрет и рассуждая таким образом, Плинио вдруг запнулся — только чутье сыщика, каким он обладал, могло подсказать ему: «А ведь портрет-то совсем недавно трогали». Справа вдоль рамы виднелась на стене светлая полоска, которая суживалась кверху. На выгоревшей и закопченной стене белел вдоль рамы узкий клинышек. Осмотрев его, Плинио приподнял картину. И действительно, под портретом стена была того цвета, в который она была окрашена когда-то. Прямая, как кол, фигура дона Норберто приняла на себя всю копоть, пыль и свет, которые предназначались квадрату стены, прикрытому портретом. Так Плинио увидел светлый квадрат стены и почти в центре этого квадрата — тайник... «Черт возьми, вот жалость-то, будь здесь дон Лотарио, он был сказал, что на этот раз чутье у меня в большом порядке... А я — в форме, хотя и проспал всю сиесту. Господи, пошли мне удачу, ради Грегории и дочери моей».

Но бог удачи ему не послал, потому что картина никак не снималась. Там не было, как обычно в таких случаях полагается, ни шурупчиков, ни костылей. Казалось, она была прикреплена к стене на дверных петлях или на чем-то вроде этого — словом, диковинным образом. И снять ее не было никакой возможности. У него руки устали держать ее на весу, папироса обжигала губы, и он опустил картину на прежнее место, чтобы перевести дух и вынуть изо рта папиросу. Потом одной рукой снова приподнял картину, а другой зажег спичку и поднес ее к стене за рамой, посмотреть, как она крепится. И тут увидел, что краска на светлом квадрате стены в двух местах чуть облупилась, словно тут ее часто касались. Подняв глаза кверху, он увидел прикрепленные к подрамнику две тонкие металлические рейки, которые можно было опустить, и тогда они, упираясь в стену как раз в том месте, где облупилась краска, поддерживали нижнюю часть картины на некотором расстоянии от стены так, чтобы можно было открыть тайник.

«Ну и хитер этот дон Норберто, а может, это сестрицы так хитроумны». Тайник открывался очень просто, никакого особого запора с комбинацией цифр. Замочная скважина, прикрытая никелированным язычком, да плоская ручка. Плинио внимательно оглядел замочную скважину и быстро пошел к туалетному столику — посмотреть, нет ли в ящике среди множества ключей подходящего. Взял связку, вернулся в кабинет и стал пробовать, но все напрасно. Ни один не подходил. Он осторожно пробовал ключи один за другим, стараясь не притрагиваться ни к ручке, ни к язычку замочной скважины рукою, не обернутой в платок, потому что не знал, может, еще придется снимать отпечатки пальцев. Он перебрал все ключи. Не годился ни один. «Вот те раз»,— проговорил он и сел в кресло нотариуса, не выпуская из рук ключей и не вешая на место картину. Плинио закурил еще одну папиросу, но курить не хотелось, и, сдвинув шляпу на затылок, он стал размышлять. «Одно из трех: либо ключ унес тот, кто здесь побывал, либо он хранится где-то, и это известно тому, кто тут был, или же эти распроклятые рыжие сестрички отдали его... уж не знаю, подчиняясь силе или добровольно. Но не Новильо же прячет их в своем треклятом министерстве... Впрочем, всякое порядочное министерство годится на что угодно... Значит, медлительный племянник, любитель марок, был в Париже, когда похитили этих голубок... Черт возьми, а если не был? Кто сказал тебе, что он уехал, а не находился где-нибудь поблизости? Потому что ни привратницу, ни служанку, ни глядящую в сторону швею — ни одну из них подозревать нет смысла... А священника? Да, но почему тут не может быть замешан еще кто-нибудь? Может быть, мы тут сидим, ворочаем мозгами, а все это — какой-то плут, которого мы даже и не почуяли... Да, но кто сказал этому неизвестному плуту, что я остановился в «Центральной»? И в какое время я там, а когда меня не бывает? Так вот, говорю вам, сеньор нотариус,— думал он, бросая время от времени взгляд на портрет, поднятый точно капкан,— что дельце-то все больше и больше запутывается».

Тут размышления его прервал звонок в дверь. Плинио поднялся, опустил портрет на место, поправил его, прошел в спальню, спрятал ключи в ящик и открыл дверь. Это были Фараон и дон Лотарио.

— А мне позволят посетить место происшествия? — спросил Фараон ужасно напыщенно и таким сладким голосом, каким говорят, хлебнув лишнего.

— Входите, сеньоры.

— Интересно узнать, что ты тут делаешь? — спросил ветеринар.

— Ломаю голову. Что мне еще делать? Ну, как ваше приключение с биде? Позабавились?

— Мура все, мура,— сказал Фараон, смеясь липкими губами.

— Ты не представляешь, Мануэль, что он выкинул, этот наш томельосский Рамзес.

— Ха, будто я его не знаю.

— Молчок. Запрещаю рассказывать — ни слова. Расскажем всем за ужином. А сейчас я хочу позвонить, потому что с этой дурацкой историей я совсем забыл о срочном поручении. Где в этом доме телефонная книга, Мануэль?

— Там, на столике, под телефоном. Погоди. Тебе какую — с адресами или с фамилиями?

— С адресами.

— Пошли в кабинет, там лучше видно.

Они вошли все, и Фараон, найдя в книге номер, записал его на коробке сигарет и вышел к телефону.

— Есть успехи, Мануэль? — по-отечески заботливо спросил дон Лотарио.

— Расскажу потом, когда останемся одни. Но завтра утром в семь я хочу встретиться здесь и поговорить как следует со служанкой, швеей (вы ее не знаете), священником, двоюродным братцем и Новильо, тем, что делает рамки,— его вы тоже не знаете. А сейчас мы всех их оповестим.

— Ты меня заинтриговал, Мануэль. Я уже раскаиваюсь, что ходил, тратил время с этим толстяком.

— Погоди, он идет.

Вошел Фараон, дон Лотарио принес пиво, а Плинио вышел звонить по телефону. Потом он тоже — хоть и без особого энтузиазма — подсел к ним. Мысли у него были заняты другим. Дону Лотарио поведение шефа не давало покоя. Когда он вот так сидел с отсутствующим видом, не замечая ничего вокруг, это значило, что в голове у него что-то начинало вырисовываться. Все это выглядело приблизительно так: Плинио сидел и думал, дон Лотарио не сводил с него глаз, а Фараон грыз жареный миндаль и бормотал что-то забавно-бессвязное.

— Да, приятель,— вскочил он вдруг,— вспомнил: ты же должен мне показать эту знаменитую комнату духов, дон Лотарио мне про нее рассказывал. Вот потеха-то!

— В другой раз, Антонио,— пришел на помощь лекарь.

— Да нет, почему же, можно и сейчас,— неожиданно заявил Плинио, к великому удивлению дона Лотарио.

А дело в том, что Плинио при упоминании о комнате духов вдруг вспомнил, что из всей квартиры именно ее-то он и забыл осмотреть, когда увидел в кабинете свет. «Ну, конечно же,— снова и снова думал он,— вокруг этой картины обязательно должен быть какой-нибудь ритуал, что-нибудь таинственное, и, конечно же, тут не обойдешься без комнаты с кукольными духами».

И, захватив нужный ключ, он направился туда решительным шагом, слишком решительным для просьбы Антонио. Дон Лотарио с Фараоном последовали за Плинио по коридору, где стоял шкаф из можжевельника.

— Господи помилуй! — воскликнул виноторговец, когда зажгли свет в каморке с манекенами.— Что за хоровод мертвяков! Ну и сестрицы!..

Теперь Плинио показалось все это еще более мрачным. В прошлый раз у него вызвала улыбку карикатурность смерти, эта могильная пышность. Смерть, изготовленная из тряпок, прутьев и картона да еще одетая в костюмы и с фотографией вместо лица, выглядела еще больше смертью, чем любые мертвецы с одеревеневшими лицами, застывшими глазами и сжатым ртом. От покойников веет чем-то далеким, тихим, в них есть отчужденность и покой, как в заброшенном пустынном дворике или в стоячей воде. Здесь же фигуры были расставлены в строгом порядке — в соответствии с генеалогией,— словно приготовились к контрдансу смерти, но без музыки, да так и застыли на полдороге между жизнью и могилой.

Пожалуй, это ощущение возникло не у одного Плинио, потому что оба его друга обмякли, широко раскрыв глаза. Фараон, открыв рот, переводил взгляд с одной фигуры на другую и слова не мог вымолвить.

— Что за черт! — проговорил он, наконец, вытирая тыльной стороной ладони жирные губы.— Гляди-ка, у этого, в сюртуке, даже булавка в галстуке и все причиндалы, какие положено.

— И бинокль,— не удержался дон Лотарио.

— Надо же! А у сеньоры-то — брелок. А у солдата-республиканца — значок с Фермином Галаном и Гарсией Эрнандесом [1],— оживился Плинио.— Бедняжки, каждому нацепили, что кому подходит!

— Ты, Антонио, помнишь дона Норберто? — спросил дон Лотарио.

— Не так чтобы очень, но помню.

— Вот он. Погляди, вместо головы его фотография.

— Да, да, я видел в квартире другие его портреты. Надо же, цепочка от часов — как полагается... А может, и часы?

— А вот мы сейчас посмотрим,— сказал вдруг Плинио, подошел поближе и потянул за цепочку, уходившую в правый карман жилета.— Да, сеньор, так и есть. Часы. Пусть стоят, но все-таки часы. Фирмы «Роскофф».— Он завел их и поднес к уху.— Идут.

Все тоже посмотрели, послушали. Потом Плинио опустил их на место — в карман и вытащил другой конец, продетый в петлю цепочки. На этом конце цепочки висел всего один ключ обычного размера. При виде его Плинио словно током ударило. Несколько секунд он, не прикасаясь, глядел на ключ.

— А тут что висит? — допытывался Фараон, который, рассмотрев часы, отошел теперь с доном Лотарио в сторонку.

— Ничего особенного... ключ какой-то,— сказал Плинио, опуская ключ обратно в карман манекена.

Комментариев Фараона и дона Лотарио Плинио, по правде говоря, не слышал, потому что снова погрузился в размышления. Он почти механически осмотрел, что было в карманах, за воротом и в кулаках у остальных привидений, и ничто не привлекло его внимания — даже то, что в качестве противоядия против республиканского духа рыжие сестры положили ладанки в карманы жениху Марии, которого поглотила победа националистов.

Плинио попросил друзей не выходить из комнаты духов до его возвращения,

---

[1] Фермин Галан и Анхель Гарсиа Эрнандес 12 декабря 1930 года подняли в Хаке восстание против монархии и провозгласили республику. Восстание было подавлено. Галан и Эрнандес расстреляны.

а ему надо позвонить по срочному делу — при этом потихоньку подмигнул дону Лотарио.

Он позвонил комиссару, попросил его завтра утром прислать кого-нибудь снять отпечатки пальцев и прочитал ему анонимку, подписанную «Гато Монтес».

— По-моему, просто розыгрыш.

— Вот и я тоже так подумал.

— Но на всякий случай сохрани: сравним почерк с нашими завсегдатаями. Известное дело — стоит случиться несчастью, как сразу начинаются анонимки и телефонные звонки. Ничего не говорите журналистам, пока не распутаете дела.

— Да меня никто и не спрашивал. Сообщения, которые появились в газетах, должно быть, идут от вас.

— Да, я знаю. Будем держать все в строжайшей тайне. Так, Мануэль, есть все же надежда?

— Ну, смотря что называть надеждой... Знаете, я не обольщаюсь, но, во всяком случае, есть над чем поработать.

— Это только полицейские-новаторы спешат с решениями. А мы, настоящие, которые на своем веку много повидали, мы не спешим. Ладно, Мануэль, завтра в десять придет человек снять отпечатки.

— Отпечатки, если они есть, хотел я сказать.

— Совершенно верно, именно так и следует говорить.

Плинио повесил трубку и впервые за вечер почувствовал, что заботы с него спали и он доволен. К тому же ему приятно было, что такой важный комиссар говорил с ним столь доверительным тоном.

По дороге в комнату духов он закурил.

— Итак, пойдемте, друзья.

— Я тут говорю дону Лотарио: не ровен час — и еще душок выскочит.

— Не понимаю.

— Чего тут не понимать? Этот капитан-республиканец в одну прекрасную ночь вообразит себя Приапом, подомнет какую-нибудь Норберту из этих, и глядишь, через девять дней — духи-то, они ведь шустрые — откуда ни возьмись еще одна картонная маска в лохмотьях.

— Ты невозможный, Антонио. Все об одном.

— А что, по-моему, очень остроумно. Пусть тебе дон Лотарио расскажет, что сегодня утром было.

— Ты мне сам расскажешь. Так где мы ужинаем?

— В баре «Аргентина», мы договорились с этой шайкой — студентами и их девицами,— я им исполню романс про биде.

— Ну так пошли, а то я голоден.

Внизу Плинио заглянул к привратнице. Она была у себя, и он спросил, не видела ли она, чтобы кто-нибудь из знакомых входил днем в квартиру сеньорит Пелаес или выходил оттуда.

— Знаете, сеньор Плинио, у меня было очень важное дело, и весь день меня не было дома.

За стойкой в «Аргентине» смеялись и пили вино студенты и швейцарка.

— Мир дому сему! — сказал Фараон, входя, и, широко раскинув руки, направился к швейцарке, которая дала себя обнять, заливаясь смехом не то от счастья, не то от страха.— Иди сюда, моя лапочка, я накормлю тебя устрицами досыта, пока ты не уехала в свою родную Швейцарию.

Они поздоровались, и когда Фараон, наконец, отстал от девушки, а это случилось не сразу, он спросил:

— А где же остальные наши курочки?

— Не смогли прийти,— ответил Серафин уныло.

— Какая жалость! Мне-то ведь как раз нравится та, с Парфеноном. Так, значит, все в сборе?

— Все, лапочка, все. Вот, Серафинито, я сдержал слово. Он уже дома, стоит, голубчик, тебя дожидается.

— Директор мне сказал за обедом. Сказал под страшным секретом и взял с меня слово хранить все в строжайшей тайне.

— Миленькое биде, Мануэль, все в цветочках и зеленых листиках. Я купил его на толкучке. Оно, наверное, времен...

— По-моему, в самом деле оно очень красивое,— согласился Серафин.

— Пошли ужинать, стол уже накрыт.

— Так вот, приходим мы в колледж, с биде под мышкой...

— Стоп, дон Лотарио, право рассказывать — за мной, зря, что ли, я потратился на эту супницу и целое утро мы провели в хлопотах.

— На супницу? — спросила швейцарка.

— Да, супницу, биде по-испански «супница», радость моя. Здесь это так называется.

Когда подали ужин, Фараон начал свою историю:

— Так вот, как уже было сказано, утром на толкучке я купил портативное биде на трех деревянных ножках стиля не то «ампир», не то «вампир» — не помню точно, как мне его назвали. Само собою, его как следует упаковали — в бумагу и картонную коробку, и мы с доном Лотарио на такси поехали в колледж к Серафинито. Приезжаем, выходим из автомобиля — я, конечно, с этим инструментом под мышкой. И говорим портье, что мы к сеньору директору. «Как о вас доложить?..» — «Отец Серафина Мартинеса. По срочному делу». — «Очень хорошо. Подождите, пожалуйста, здесь чуток».

— Так и сказал «чуток»? — не вытерпел Хуниперо.

— Ну... минутку. А ты помалкивай, каждый говорит на своем языке. Ждем мы, значит. Через некоторое время он возвращается и говорит, чтобы мы прошли в кабинет... А я, естественно, не выпускаю из рук своей гитары. За столом — лысый сеньор в золотых очках, с птичьим носом, очень вежливо здоровается со мной: «Как поживаете, сеньор Мартинес?» — «Спасибо, сеньор директор. Позвольте представить вам дона Лотарио, нашего домашнего врача».

— Не знаю, как я не прыснул,— перебил его дон Лотарио,— когда он меня представлял — так чинно, с торжественным видом, а директор глаз не сводит с этого злосчастного умывальника. Фараон держит его на коленях. А уж тяжелый он, наверное, будь здоров!

— Еще какой! Будь здоров, какой тяжелый этот вампир!.. «Так вот,— говорю я ему,— прошу меня простить, но по соображениям, касающимся здоровья моего сына, я вынужден нанести вам визит вместе с нашим домашним врачом, дабы он подтвердил то, что я скажу». — «А что, Серафин болен?» — «Чтобы он болел — этого нету. Но, как говорится, слабоват он, сеньор... Вы же знаете, молодежь, она такая, плоть, как говорится, играет... Вы меня понимаете?» — «Нет, сеньор»,— отвечает он так серьезно, а сам вроде о чем-то уже догадывается.

— Я уже решил,— опять вмешался дон Лотарио,— все пропало.

— Успокойтесь, я знал, что делал. Сперва нарочно нагнал на него страху как следует, чтобы потом потихоньку спустить все на тормозах. «Я прошу вас, поясните, о чем речь»,— говорит мне директор, а по тону видать, его одолевают самые черные подозрения. «Знаете ли,— начинаю,— я всегда в жизни придерживался самых твердых правил, вот дон Лотарио не даст соврать». А дон Лотарио на все так серьезно кивает... И на то даже, что будто я — член городского совета. И что мой папаша тоже был в городском совете при алькальде Карретеро. «Я всегда уважал правила и порядки всякого учреждения независимо от его ранга. Однако же, сеньор директор, я тем не менее считаю, что здоровье прежде всего, и уж если здоровье подкачало, тогда приходится идти на уступки, позволять излишества, давать поблажки, ну, словом, в этом духе. А все дело в том, что, как сын сообщил мне, когда он вернулся после каникул, то увидел, что из всех комнат исчезли биде».

— Тут этот тип скроил такую рожу,— прервал Фараона ветеринар.

— Просто побелел,— подтвердил Фараон.— Они, видно, ему всю плешь проели с этим делом.

— Посылали анонимки и все такое,— заметил Серафин.

— Так вот, он просто побелел и, хлопнув ресницами, уставился на пакет, который я держал на коленях, уставился и сверлит его глазами, как рентгеном. «Я считаю,— продолжаю я между тем,— сеньор директор, что вы очень правильно поступили, покончив с этими сосудами, потому как нам всем хорошо известно, чему они служат. Чистые и невинные в них не нуждаются. Что до меня, то я всегда считал их инструментом дьявола. И стоит мне увидеть такую штуку — где бы то ни было,— не скажу, чтобы я осенял себя крестом, но отвращение она у меня вызывает такое, что и сказать трудно... Однако же, сеньор директор, сыну моему Серафину прибор этот необходим». — «А что такое с Серафином?» — спрашивает он, приходя уже в совсем дурное расположение духа. «А у Серафина...» — «Вот именно, что́ у него?» — повторяет, а у самого уже глаза на лоб лезут... «А у него... Да вот дон Лотарио лучше объяснит».

И ветеринар берет слово, чтобы еще раз повторить свое заключение: «Ничего заразного у него нет, не бойтесь. Ничего стыдного. Просто что-то вроде экземы, с детства у него в этом месте раздражение. Мы испробовали много средств, и только одно помогает — почаще мыться теплой водой. Понимаете ли, это у него аллергического характера... С тех пор как он приехал с каникул и вы лишили его этой возможности, он ужасно страдает и вынужден ходить мыться к знакомым».

— Когда бедняга выслушал объяснение дона Лотарио, такое добропорядочное и научное,— продолжал Фараон,— он снова стал нормального цвета и кончил сверлить глазами, как шилом. Потом, подумав немного, он сказал: «Однако, сеньоры, я не могу одному разрешить биде, а остальным — нет. Прежде чем прибегнуть к этой мере, мы все тщательно продумали и теперь не расположены отступаться от своего решения». — «И прекрасно делаете,— говорю я ему.— Закон прежде всего. Плох тот правитель, что отступается от справедливых решений. Я вас отлично понимаю, и если бы не то, что ваш колледж лучший в Мад-

риде и славится чистотою нравов, святостью, и, я бы сказал, приверженностью духу Ватикана, ватиканизму...»

— «Да, вот именно... духу Ватикана»,— говорит директор, а у самого на лице сомнение,— вставил дон Лотарио.

— Да, насчет ватиканизма это я, пожалуй, зря. Ему в этом, должно быть, послышалось что-то вроде социализма... «Ну ладно,— говорю,— шут с ним, с ватиканизмом, скажем: духу Ватикана — от этого никому ни холодно ни жарко. Так вот, я не отдаю Серафина ни в какой другой колледж потому, что высоконравственное воспитание и строгость правил, которыми славится это заведение, для меня так важны, что мы вот с доктором много дней ломали голову над тем, как все устроить, чтобы не отдавать мальчика в другое заведение, ненадежное, но чтобы при этом бедняжка и не мучился так... И вот, чтобы ему не ходить каждый день мыться бог знает куда... Будьте милосердны, сеньор директор, я убежден, что мы нашли выход и что вы не откажете. Перед вами отец, отец единственного сына, и отец готов на любые жертвы, лишь бы сын получил образование...»

— И этот бесстыдник заплакал,— заключил ветеринар.

Раздался взрыв хохота, так что все посетители разом обернулись.

— Да, по-моему, я заплакал,— продолжал Фараон, когда снова стало тихо,— заплакал, как и подобает отцу. И как твой отец, Серафин, никогда из-за тебя плакать не станет... «Мы нашли выход,— продолжал я со слезами на глазах,— вот тут — портативное биде, и его мой сын будет прятать у себя в комнате, хранить под замком и употреблять исключительно в лечебных целях».— «Хранить — где?» — спросил тот подозрительно. Я не знаю, что про себя подумал этот тип,— продолжал Фараон со смешной ужимкой,— и я сказал: «Хранить в своем шкафу, под замком, так что его никто абсолютно не увидит и таким образом он не послужит дурным примером ученикам вашего заведения...» Деваться было некуда. Директор опустил глаза и задумался... «Прошу вас, сеньор, сделайте милость. Ради бога и всех святых, вот и дон Лотарио, поскольку он тут, даст какое угодно медицинское заключение...» В общем, я еще некоторое время распространялся и так его разжалобил, что он согласился под честное слово, наше и твое, Серафин, что ты никогда не оставишь шкаф открытым, дабы его не увидела какая-нибудь служанка и не испытала бы искушения; и никому из учеников не пришла бы в голову мысль, что в заведении есть любимчики... Когда я закончил свою речь, мы все втроем поднялись к тебе в комнату установить эту гитару. Но самого хозяина комнаты и в помине не было. Да и как ему быть там, если в это самое время у него было занятие поинтереснее.

Тайник с драгоценностями

Едва выпили кофе, как Плинио и дон Лотарио, сославшись на усталость, оставили Фараона с сотрапезниками, которые уже строили планы на остаток вечера. Швейцарка окинула их на прощание приторным взглядом. Они вышли на улицу и через минуту уже были в злополучной квартире на улице Аугусто Фигероа.

— Ну, рассказывай,— торопил дон Лотарио,— мне кусок в горло не лез, я все думал, что ты мне расскажешь.

— И все-таки вам придется повременить, мне еще больше не терпится: хочу проверить, не подвело ли меня чутье сегодня в «комнате духов». Сейчас проверим, и тогда расскажу.

Они пошли в спальню, достали связку ключей из туалетного столика, отперли комнату манекенов, и, к изумлению дона Лотарио — он даже рот раскрыл,— Плинио кончиками пальцев с величайшей осторожностью отстегнул часы от цепочки, которая была в кармане жилета у двойника дона Норберто, вытащил ее оттуда, зажав в кончиках пальцев, пошел в кабинет. Там Плинио положил цепочку на стол:

— Дон Лотарио, пожалуйста, приподымите этот портрет за нижнюю часть рамы.

— Вы хотите, чтобы я поднял?.. А он не упадет?

— Будьте спокойны. Вот так. Еще чуть-чуть.

А сам подлез под руку ветеринара, опустил планки и укрепил на них портрет.

— Вот так штука, это же надо такое придумать!!

Плинио, воспользовавшись своим носовым платком, взял цепочку с ключом, отодвинул язычок, прикрывавший замочную скважину, и попробовал открыть. Оказалось совсем легко. Но прежде чем посмотреть, что внутри, он обернулся к дону Лотарио и улыбнулся ему во весь рот.

— А теперь посмотрим, что хранят тут оранжевые близнецы.

— Рыжие сестры, Мануэль.

— Один черт.

Сначала они увидели несколько чековых книжек. Чеки не были подписаны, и каждая книжка была на имя обеих сестер. В большом конверте лежали акции разных компаний. Большой футляр для драгоценностей, обитый синим бархатом. Плинио открыл его. Перстни, колье, браслеты, золотые монеты и множество всевозможных часов. Такое обилие драгоценностей привело Плинио в замешательство. Были еще бумажники, в них хранились страховки, облигации, завещания предков и стопки конвертов, перевязанные шелковыми лентами.

— Ну что, Мануэль?

— В том-то и дело, что ничего, дон Лотарио.

— Объясни, как тебя понимать.

Осмотрев все как следует еще раз, Плинио положил все на место, запер тайник — опять с помощью платка,— поднял планочки, опустил на место портрет, но не стал класть ключ в карман жилета дона Норберто, а, завернув в платок, положил его в ящик туалетного столика.

И, размышляя вслух над тем, что рассказал Плинио, медленно, словно прогуливаясь по Ярмарочной улице у себя в Томельосо августовской ночью, они вернулись в гостиницу.

На следующее утро в десять прибыл молодой человек из кабинета криминалистики и с величайшей осторожностью и аккуратностью проделал все, что полагалось, с ключом и той частью стены, к которой чаще всего прикасались.

Плинио с доном Лотарио, обзвонив всех по телефону, убедились, что полного консилиума до полудня следующего дня собрать не удастся. Главным образом потому, что Новильо, этот государственный служащий и одновременно специалист по изготовлению рамочек, по словам его секретарши, дамы от вязального станка, неизвестно где будет до половины восьмого, потому что в это время он разносит заказы, а с половины восьмого до восьми он обычно бывает в кафе «Националь».

Когда молодой человек с отпечатками ушел, друзья вернулись к тайнику и еще раз просмотрели бумаги и письма. Внимание их привлекло одно очень теплое письмо дона Норберто из Рима, датированное 1931 годом. По-видимому, это было первое и последнее путешествие нотариуса за границу; письмо было полно самого неподдельного восторга. Сплошные восклицания по поводу «чудес, которые предстали его взору», то и дело итальянские слова и выражения и нежнейшие приветы его рыжим дочуркам.

«Куда уходит любовь к близким нам людям, когда наступает наш смертный час? Где похоронена любовь тех, кого уже нет на свете?» — подумалось вдруг Плинио. В письмах дона Норберто, несмотря на слащавость и манерные словечки, была любовь, сильная и горячая любовь бесхитростного сердца. Любовь, рожденная в этой мрачной жизни силою взгляда, нежностью и расставанием. Любовь, которая крепче земли, куда она девается потом? Неужели нотариус сошел на нет и, скованный могилой, ничего не чувствует? Неужели все, что было, лишь химические реакции в его мозгу? Неужели в тот последний, смертный час рушится сладостное скрещение шпаг и остается только одна шпага — та, что живет, в то время как другая, пораженная, замолкнувшая, онемевшая, ржавеет и гниет вместе с костями скелета, жилетными пуговицами, зубами и бородавками, в зарослях чертополоха и других невеселых трав, в потемках, без света и выхода, на радость червям? Можно ли поверить, что столь редкостная вещь, как любовь, безудержное тяготение, нежная привязанность, глубинный сок и суть жизни, это сладчайшее из вин, жажда, сильнее которой нет, голод, которого не утолить, поцелуй, от которого дух захватывает,— все это превращается в жижу, в перегной, в могильный прах, а на долю тех, кто остается жить, выпадают поникшие знамена, ибо нет больше ветров, на которых они трепетали, и так — до конца, пока не завершится круг и этой, уже не находящей отзыва, любви».

Он снова и снова представлял себе рыжих сестер, представлял их томительными вечерами наедине с этими письмами, с этой любовью, оставшейся в далеком прошлом, любовью сердца, которого уже не обнять. «Несчастная любовь без назначения. Чистая любовь, обращенная в никуда, к облаку. Нет счастья этой любви, как нет счастья всему, что заваривает человек, когда мечтает и на цыпочках тянется кверху,— один обман хлебает он, обман и дождливые тучи».

Были тут письма деда и бабки Пелаес и еще каких-то родственников, друзей и подруг и, разумеется, тонкая пачка писем от Пучадеса, жениха-республиканца Марии. Они просмотрели их. В одном из них — на почтовой открытке — был стишок: «Влюбленный сказал: «Надо увидеть, чтоб заставить себя полюбить», увидел ее, и теперь сам не может забыть». И потом: «Я представляю тебя в театре, ты сидишь в кресле рядом со мной, тихонько вздыхаешь, на твоем лице — отсветы рампы и твоя белая рука в моих руках». И в другом: «Убеждения твоего отца и таких, как он — само собой, я их уважаю,— строятся на

том, чтобы сохранить то, что они имеют, сохранить свое. Я же хочу счастья для всех, чтобы настал день, когда у каждого будет «свое», у каждого будет что защищать, в том числе и человеческое достоинство, права человека, уважение всех и ко всем — словом, свобода. Видишь, я не такой плохой, как считает дон Хасинто».

Лицо Плинио, почти никогда не выражавшее никаких чувств, порозовело и чуть вспотело от нежности и щемящей тоски: «Права человека. Бедные мои, бедные. Бедные старые либералы, чувства у них превыше корысти, и так далека от жизни, так до ханжества наивна их вера в права для всех. Ну и смех, ну просто смех, какое словоблудие. Того, кто сказал: мир и хлеб, слово и порядок для всех, включая богатых, того, кто это сказал,— в нашем мире, таком, какой он есть, распяли на кресте. Порядок и закон... крепко сколоченный, жесткий и налаженный,— вот что они получали в конце концов. Бедные, мягкотелые, робкие и словоохотливые либералы. Пружина лопалась — бац! — и начиналась драчка». Ему вспомнились республиканцы из его селения. Тот, в кашне, с короткой густой шевелюрой, с книгой Бласко Ибаньеса под мышкой, как он, бывало, расписывал в казино — под прибаутки слушавших его,— как он расписывал близкий — рукой подать! — рай, когда воцарится равенство, братство и справедливость. И что стало потом? Какой трагедией, какой щемящей жалостью все обернулось! Пучадес, этот пропавший жених рыжих сестер, наверное, тоже расхаживал по знаменитым мадридским кафе, наверное, тоже читал цитаты из Бласко Ибаньеса и Дисенты; и тоже, наверное, был окрылен добрыми новшествами Второй республики; и наверняка был уверен, что в конце концов убедит даже дона Норберто. Да и кто мог быть против такой прекрасной программы?

Друзья заперли тайник и отправились обедать в гостиницу. Возбужденные тем, что увидели, они стали вспоминать Томельосо во времена республики, вспоминать те дни, которые Франсиско Гарсиа Павон, внук брата Луиса из книги «Ад», описал в своих «Республиканских рассказах» и в «Либералах» [1].

Под вечер, поскольку никаких дел не предвиделось, они решили сыграть партию в шашки на старой, потемневшей от времени доске, которая нашлась в квартире. Давно не играли они в шашки. В былые времена, когда только что кончилась война, в «Томельосском казино», которое раньше называлось «Очаг земледельца», еще раньше — «Народный бар», а вначале — «Сиркуло либераль», случалось им помериться силами — «кто кого», как говорила жена Плинио. Но со временем от клеток стало рябить в глазах, и они перешли к ломберному столу, в компанию Переса Бермудеса, аптекаря дона Херардо и Корнехо из Вальдепеньи, который когда-то был дипломированным тореро.

Так за шашками они просидели почти до семи, до прихода Антонио-Фараона. Потом выкурили по сигарете, и Плинио сказал им, что они могут идти, потому что пора ужинать. Сам же собирался перекусить в «Национале» и заодно выяснить, не появится ли там чиновник, специалист по рамочкам. Фараон с доном Лотарио ничего не имели против такого плана. По правде сказать, общество Плинио немножко их тяготило. Они договорились, что встретятся в «Гайянгос» или в «Ла Чулета», куда по вечерам стекались студенты и «добрейшие иностранки».

Они уже собрались уходить, как вдруг Антонио-Фараон что-то вспомнил и, как накануне вечером, попросил разрешения позвонить. Он притащил из прихожей все телефонные книги и, нацепив очки, казавшиеся на его физиономии крошечными, принялся рыться в книгах, разложив их на столике для шашек. Ветеринар с сыщиком чуть насмешливо следили за тем, как медленно водил он пальцем по списку. Когда же он отодвинул в сторону одну из телефонных книг, глаза Плинио, всегда чуть прищуренные, впились в рекламу пива, на которой карандашом, крупными буквами было что-то записано. Он надел очки, придвинул книгу и принялся разбирать закорючки. Фараон отошел к телефону, вполголоса повторяя номер, а дон Лотарио тоже надел очки и заглянул через плечо шефа в книгу.

— Похоже на «Вилла «Надежда», шаль, Каламанчель Верх...» — читал шеф.

— Вилла «Надежда». шаль... Очень странно,— отозвался ветеринар.— А дальше, наверное, Карабанчель Верхний.

— Да... А что за шаль?

— Что вы там разглядываете с таким усердием? — спросил, входя, Фараон.

— Ну-ка, прочти,— сказал ему Плинио.— Это, похоже, вилла «Надежда», а это — Верхний Карабанчель. А вот что за шаль?

Опершись о стол, он наклонился над книгой и тут же все объяснил:

— Ясно, как день. Да ведь ясно, как день,— заявил он самодовольно и снял очки.— Вилла «Надежда», шалé. Верхний Карабанчель.

[1] Названия романов Франсиско Гарсиа Павона.

— Вот это проницательность! — воскликнул ветеринар.

— Да, сеньор, бывают и у вас проблески,— подхватил Плинио.

— Да это, братцы, проще простого,— не унимался толстяк, очень довольный собою.— Все шалé называются вилла такая-то, а в Карабанчеле их тьма.

Не отрываясь от записи, Плинио протянул им табак. Когда они закурили, ветеринар спросил:

— Ну, Мануэль, о чем это ты думаешь с таким отрешенным видом?

— Я думаю о том, брат Лотарио,— ответил тот, скребя затылок,— что записывали это наспех, на первом, что попало под руку... и записывали, наверное, разговаривая по телефону.

— Значит, ты считаешь?

— Считаю... До того, чтобы что-то считать, еще далеко. Так — пришло в голову.

Дон Лотарио сидел, прикрыв глаза от удовольствия, что Плинио оказался так догадлив,— величественно прикрыв глаза и раздувая ноздри точь-в-точь, как император Гай Юлий Цезарь.

— Мануэль, я убежден, это — одна из твоих знаменитых догадок, и мы подходим, если еще не подошли, к эпицентру дела Пелаес.

— Успокойтесь, дон Лотарио, свет души моей, вам не хуже меня известно, что в догадках о причинах чужих поступков ошибаться можно на каждом шагу.

— Черт подери, Плинио. А почему бы тебе не дать нам с сеньором коновалом возможность за то время, что осталось у нас до ужина, сгонять на это самое шале под названием вилла «Надежда» и посмотреть, что там да как.

— Тебе, Антонио, тоже не терпится поступить на службу в Муниципальную гвардию?

— Такого желания не было, да и склонности к сыску никогда не имел, но вот попал в вашу компанию и чувствую — меня тоже подмывает... А потом, представь, если этот след ложный, то твоей славе не повредит. Мы с доном Лотарио — лица частные, сходим поглядим, существует ли это место вообще, и если ты со своей догадкой попал в яблочко, мы тебе звоним по телефону в «Националь», и ты во всеоружии являешься. Если же дело пустое — считай, прогулялись по Мадриду, а гулять по Мадриду осенью — одно удовольствие.

— Согласен. Глядишь, сделаем тебя почетным капралом Муниципальной гвардии Томельосо, толстяк. Жду вас в «Национале», и ветер вам в паруса... Только, смотрите, осторожно, не позволяйте себе лишнего.

— Не беспокойся, Мануэль. Я с ним,— с серьезным видом успокоил его ветеринар.

— Ну, ступайте, начальники.

Сказано — сделано. Пошли.

Они вышли втроем, у гостиницы «Центральная» остановились подождать, пока дон Лотарио сходит за своим револьвером,— мало ли что! — потом доехали до «Националя», где Плинио вышел. И прежде чем они тронулись дальше, шеф шутливо благословил их.

Плинио вошел в огромное, просторное кафе, но Новильо из министерства там не оказалось. Было слишком рано. Одному садиться за столик не хотелось. Чтобы скоротать время, он решил пройтись по улице. Дошел до Куэста-де-Мойано. Заходящее красно-белое солнце светило ему в спину. Он медленно шагал по улице вдоль выкрашенных в жидкий голубой цвет, запертых книжных киосков — точь-в-точь маленькие подмостки кукольных театров. Держась за руки или под руку, прохаживались парочки. Плинио вспомнил старые ярмарочные ларьки в родном селении. Два ряда ларьков с халвою и игрушками вдоль Привокзального проспекта.

Нищий в солдатской шинели старого образца, прожженной известью, прислонясь к стене, сосредоточенно курил. Плинио остановился, рассеянно глядя на него. Нищий показал ему кукиш и поглядел вызывающе. Плинио засмеялся и пошел дальше. Две вялые собаки что-то вынюхивали у ларьков. Должно быть, они были старыми друзьями, потому что и двигались они и бегали совершенно одинаково.

Обратно он пошел по другой стороне улицы. На площади Аточа около автобусной станции было место, где продавали каштаны. Над ним для защиты от солнца установили яркий, разноцветный зонтик, как на пляже. Последние лучи заходящего солнца ложились красными отсветами на здание станции.

Женщина-индуска, толстая и старая, в национальном платье и с татуировкой на руках — по рыбине на каждой,— стояла у здания автобусной станции и смеялась над чем-то, что рассказывала другая индуска, помоложе, в европейском платье.

На площади, как всегда в это время дня, было полно народу. Молодые люди скромного вида — судя по внешности, мастеровые, однако с длинными волосами и бачками,— сбившись в кружок, курили и болтали. Плинио заметил, что одежда на молодежи была коричневых тонов или, как говорил его кум Браулио, цвета детской какашки. Сплошь и рядом брюки и пиджаки — цвета горчицы,

меда или спелого колоса. На тех, что одеты похуже,— остроносые башмаки, или, как их называют дети, «накося, выкуси».

Он пошел по Делисиас; его так и тянуло туда — на улицу Тортоса, откуда уходили томельосские автобусы. Последний автобус уже давно пришел, и никого знакомых не было, Плинио остановился на углу около бара «Железнодорожный», чтобы оглядеться. Решил зайти выпить пива. В баре народа было мало. Его внимание привлекла молоденькая девушка, сильно накрашенная, в высоких золотых сапогах. Немногочисленные посетители «Железнодорожного» не сводили глаз с девушки в сапогах. А той не сиделось на месте. Она вся извертелась, боясь, как бы не иссякло внимание поклонников. Какой-то толстяк, по виду железнодорожник, пил в одиночестве и, не отрывая глаз от золотых сапог, глупо улыбался. Девушка разговаривала с продавщицей лотерейных билетов, но все ее внимание было обращено не на старуху, а на публику.

Потом Плинио зашел в бар «Платформа», куда обычно, соскучившись по родному селению и соседям, сходились томельосцы, жившие в Мадриде, подгадывая к приходу автобуса, в надежде встретить земляков.

Но и тут знакомых не попалось; сев за столик в углу, Плинио попросил красного вина. У стойки было несколько мужчин и женщин, судя по говору, из деревни.

Парни, разносившие бутылки с пивом, подавали их так лихо, с такой удалью, словно это были не бутылки, а оружие, и они намерены были сразиться разом со всей честной компанией. Вошел молодой красивый негр с маленькой кривоногой испанкой. Они не сводили друг с друга влюбленных глаз. Заказали выпить. Мануэлю нравилась эта смесь национальностей, смесь города и деревни. Не теряя своеобразия, Испания, веселая и печальная, прекрасно уживалась с этой живописной разноплеменной волною, которую принесло с собою время.

Девушка в позолоченных сапогах, выставлявшая на всеобщее обозрение свои ножки в баре «Железнодорожный», и теперь эта, что вошла с негром, напомнили ему — быть может, именно по контрасту — его дочь, его единственную дочь, его собственный нежный, но не продолживший рода отпрыск. «Не повезло мне с бедняжкой. Ей уже за тридцать, а все не замужем. Ни на шаг от матери, вечно в четырех стенах. Всю жизнь снует между колодцем, виноградником и смоковницей. Правду сказать, особого желания выйти замуж она не выказывает. Все идут гулять или в кино, а она — дома, с матерью: в хорошую погоду — у дверей, а зимою — слушает радио или шьет». Никогда она не доставляла ему больших неприятностей, но и особых радостей — тоже. Словно так уж создана, чтобы не делать шума, ничего не нарушать. Все принимать таким, как оно есть, жить в полном согласии с заведенным порядком там, где родилась, и такою, какой вышла. Мир за стенами дома ей совершенно чужой. И поет она одна, и приходит и уходит — тоже в одиночку. Все делает размеренно, с виду даже медленно, а чистюля — вся в мать. Не любит быть на виду. И жизнью своей довольна... А может, даже хочет поскорее уйти, не оставив ни следа, ни отзвука, как виноградная ветка, не более, которую в положенный срок срывает ветер и уносит в пропасть небытия. На уговоры выйти замуж она лишь качает головой и возвращается к своему занятию. Есть люди, которые по натуре своей как будто ничего не хотят от жизни. Ничего от нее не хотят, никакого зла на нее не держат. Они смиряются и принимают ее условия, словно заключают контракт на пребывание в этой жизни, как нечто вынужденное, но, мол, что поделаешь! Люди эти в жизни ничего не значат. Никому от них ни холодно ни жарко, да и их самих ничто не греет... «Само собою, жизнь,— думал Плинио,— может повернуться и так и эдак. И важно пройти по ней, хлебнув по возможности меньше горя, не обращать внимания на житейские мелочи. Все на свете временно. Все проходит И какая разница, где пролег твой путь — в беленных известью стенах деревенского домика или в другом месте? Главное: не обращать внимания на мелочи — и все,— повторял он.— Голова должна быть чем-нибудь занята, и тогда пройдешь по жизни, не вдаваясь в ненужное. Каждый должен научиться как следует плясать свой танец и плясать его, пока не остановится навеки. Мой танец — законность. Ее — мирный домашний очаг, цветы в горшках, беленые стены. Есть такие, кому нужна война, перемены, страх. Будто они одни на белом свете. А ей, моей бедняжке, довольно молчания, покоя, незатейливой скромности и сновать туда-сюда целыми днями с ведрами воды, напевая что-то, а по ночам — думать, думать... Все мы — и воинственные и миролюбивые — в конце концов кончаем тем, что превращаем собственную жизнь в привычку, в привычку к бесконечным сражениям или к покою, к вечной гонке или тихим вздохам, к ласке или ссорам, к понимающему молчанию или к широковещательным жестам с балкона... Если не считать толчеи, которая неизбежна, поскольку речь идет о человеческом обществе,— толчеи, на которую большинство не обращает внимания, каждый человек — это то, что он несет внутри: бесконечная цепь маленьких прихотей и желаний, собственных представлений и огорчений. У каждого свой мирок, своя маленькая ложь, которая помогает ему скоротать время, пока не придет пора возвращаться в землю и стать ничем,

снова, как и прежде. Будь у меня деньги, я, быть может, стал бы полицейским комиссаром в Мадриде или в Барселоне, но все равно не стал бы ни архитектором, ни музыкантом. Неважно — в пиджаке или в мундире, я бы все равно был тем, что я есть. Может, чуть покультурнее или уж вовсе неотесанный, но все равно я — это я. Так устроен у меня котелок, так скроен я раз и навсегда. И если бы жена моя и дочка вместо того, чтобы суетиться во дворе, сидели у окна на какой-нибудь господской улице в Мадриде — что проку? — ни той, ни другой выше головы не прыгнуть и от себя не уйти. Родители уходят очень скоро. А братья — с самого начала отрезанный ломоть. Вот жена — в один прекрасный день встречаешь женщину на улице, и тебя пробирает до печенок; так вот она и дети, которые приходят по воле божьей,— самое верное наше продолжение, наш образ и подобие. Семья, которая подле тебя и в зрелости, и в старости, и в смерти». О родителях у Плинио сохранились лишь отдельные воспоминания, обрывки фраз, запах, который грезился ему иногда, да фотография цвета корицы, стоявшая в столовой на камине. Почти ничего. Жена и дочь — вот все, что имел он в жизни. Он всегда ощущал их рядом, и мысль о них не выходила у него из головы. Словно они были в нем, были частью его самого. «Я никогда не бываю один,— думал он, — стоит мне закрыть глаза, я вижу их, вижу, как они поливают цветы во дворе, кормят птицу зерном, снуют в кухонном чаду. Весь мой дом — а он почти такой, каким был при моих родителях,— я постоянно чувствую в себе, в каждой поре моего тела. И сам я — часть этих высоких кроватей с шарами, этих кувшинов с зелеными листочками, этого комода, где прежде моя мать, а теперь Грегория хранит теплые вещи; этой низенькой каминной подставки для дров. Вся жизнь — куда ни кинь — проходит под жу-жу-жу женщин. Кормление грудью, пеленки, слюнявчики, жалобы, охи да ахи. Женщины — это сама земля, сама земля во плоти, а с ними всегда — еда, постель, кровь и молоко. Они — наше обличье, тесто, из которого мы сделаны, материал, на котором замешаны, плацента, вар, наш выигрыш в жизни; земля, облеченная в плоть. Женщины — это одеяла, шарфы, свежевыглаженные рубашки, теплое, пахучее — все это они. Питье, еда, полотенца, выбеленные стены, масло, сыр... Их нескончаемая суета от рождения и до смертного часа. Само нутро, горластое, нежное, угрюмое, жесткое и мягчайшее, пропитанное влагой жизни нутро земли, которая родит тебя и проглатывает. Какие бы возвышенные мысли нас ни обуревали, какие бы абстрактные представления нами ни владели, какая бы чистейшая музыка ни увлекала, к какому бы абсолюту мы ни стремились, мы всегда над ними и под ними или с ними, всю жизнь привязаны к их ногам, к их жертвам из последних сил, к их суете, и она приковывает нас к этой несчастной земле, которую недолго нам выпадает топтать. А они наряжаются, украшают себя драгоценностями и опрыскивают одеколоном, чтобы скрыть от других и себя самих свою сущность — то, что тело их — сама земля, ибо из земли и наша бабка, и мать, и жена, и дочь, и служанка, и госпожа. Они — наша мягкая, теплая и прохладная постель, пух и камень, которые обращаются огнем, земля, от которой мы не можем оторваться никогда. И если хотим остаться цельными, то и не должны отрываться. Это они каждый день строят и разбивают нашу жизнь; они дают нам жизнь; продолжают нашу жизнь; растят нас, кормят, поят и мучают под звуки вечно бурлящего, никогда не смолкающего потока; они обмывают и одевают нас в последний путь, оплакивают нас и осмеивают; обманывают нас и валяются у нас в ногах; они как времена года, которые меняются, но не уходят, а мы между тем сгораем, мокнем, мерзнем или сияем, прекрасные или с предсмертной пеной на губах».

Безо всякого желания Плинио шел к «Националю» повидаться с Новильо из министерства. Побродив порядком между стульями и мраморными столиками, он, наконец, обнаружил его; тот сидел один и сосредоточенно читал газету.

Плинио вырос перед ним.

— Добрый вечер, сеньор государственный служащий,— сказал он.

Новильо поднял свой увенчанный очками орлиный нос и не слишком любезно поглядел на полицейского.

— Могу я присесть рядом на минутку?

Вместо ответа специалист по рамочкам подвинулся, давая ему место. Потом спокойно спрятал очки в футляр, свернул газету и спросил, когда Плинио сел:

— Сеньориты так и не появились?

— Не появились.

— Хочу предупредить, что я знаю не больше, чем в прошлый раз.

— У меня нет ни малейшего сомнения на этот счет.

«Тогда в чем дело?» Очевидно, это означал его нетерпеливый жест.

— Я хочу попросить вас об одном одолжении,— продолжал Плинио, не обращая внимания на поведение Новильо.

— О каком?

— Я хочу завтра в полдень собрать вас — друзей сестер Пелаес — в квартире на улице Аугусто Фигероа. Я звонил в министерство, и сеньора, которая работает с вами, сказала, где я могу вас найти.

— А зачем это собранис?

— Ну... чтобы всем нам обменяться мнениями по поводу тех фактов, которые у меня имеются... Может, что-нибудь прояснится.

— Сомневаюсь.

— Как знать.

Наступило молчание, и Плинио, воспользовавшись им, заказал пива и предложил Новильо табак. Пока они набивали папиросы, Плинио обвел взглядом кафе: голубые стены и темные колонны. Круглая стойка у входа казалась каруселью из рюмок и чашек. У прилавка с газетами — и это здесь было — несколько человек покупали и рассматривали выставленные в витрине газеты. Плинио всегда удивлялся огромным размерам этого помещения: кафе походило на столовую в казармах. Кстати, именно здесь устраивались банкеты по различным политическим поводам. За столиком рядом — молодая девушка с сеньором гораздо старше ее. Время от времени он вроде бы украдкой пожимал ей руку. Девушка нервничала и все время озиралась по сторонам. Такое впечатление, будто она выполняла долг. А мужчина не мог скрыть возбуждения. Расплачиваясь с официантом, он принял серьезный вид и вынул толстенный бумажник. Девушка смотрела на бумажник своими огромными глазами. Она чуть наклонилась вперед, и в вырезе платья, немного отставшем, виднелись только-только округлившиеся груди. А зрелый муж, очень серьезно и немного нерешительно отсчитывая купюры, исподтишка запускал глаза ей за ворот. За столиком слева четверо мужчин, по виду селяне, читали каждый свою газету.

— Как называется пост, который вы занимаете в министерстве? — спросил Плинио у Новильо, словно бы между прочим.

Новильо застыл, не донеся папиросы до рта.

— А вам какое дело? — спросил он, и голос его дрогнул.

— Ради бога, простите,— отозвался Плинио немного смущенно.— Я не хотел вас обидеть.

— Хотели или не хотели, но лучше вам не задавать дерзких вопросов. Я делаю в министерстве то, что считаю нужным. Устраивает вас это?

Государственный служащий, видно, был так задет вопросом и настолько встревожился, что люди вокруг уже поглядывали на них, ожидая ссоры.

Плинио ничего не оставалось, как стиснуть челюсти, прикрыть глаза и ждать, пока у того уляжется желчь. И поскольку прошло уже несколько секунд, а чиновник хотя и молчал, но по-прежнему смотрел на Плинио, прямо сказать, безо всякой любви, Плинио решил сделать еще одну попытку и начал очень осторожно:

— Прошу извинить меня, я не хотел вас обидеть.

— Вы просто-напросто дурно воспитаны,— отозвался тот глухо и глядя по-прежнему вызывающе.

— Послушайте, друг,— вдруг помрачнев, отчеканил Плинио,— мне кажется, вы забыли, что я — представитель власти и по отношению ко мне вести себя так недопустимо... А потому продолжить разговор нам придется в комиссариате. Будьте любезны, пройдите со мной.

Хотя они говорили тихо, посетители, сидевшие поблизости, не сводили с них глаз. Особенно четыре женщины, сидевшие за столиком напротив. Главная из них — во всяком случае, она у них верховодила,— низенькая толстуха, с лицом цвета протухшего творога, крашеными черными волосами и высоко подбритым затылком, явно симпатизировала Новильо и теперь смотрела на Плинио так, словно готова была подскочить в любой момент. Немолодая супружеская пара, пряча лица за газетой — одной на двоих,— тоже, по-видимому, ожидала бури.

Плинио стоял, поправляя узел галстука, и ждал, пока поднимется чиновник

— Что-нибудь случилось, Новильо? — подскочила толстая курносая сеньора с подбритым затылком, готовая оказать любую помощь.

— Нет, нет, благодарю вас, сеньора Фэ,— ответил Новильо, который, правду сказать, здорово поутих, услыхав приказание Плинио.

Оборот, который приняло дело, привел чиновника в чувство, и, дотронувшись до локтя Плинио, он попросил:

— Пожалуйста, Гонсалес, присядьте на минуту... потом пойдем, куда скажете... Простите мою несдержанность. Но бывает, я не могу с собой совладать... Я скажу все, что вы хотите.

Плинио, поглядев на него очень сурово, с таким видом, будто делает огромное одолжение, сел, но чуть поодаль, как если бы сидел у себя за столом в комиссариате.

Новильо подозвал официанта и попросил Плинио заказать себе что-нибудь за его, Новильо, счет. Тот, не желая своим отказом привлекать внимание, придал лицу соответствующее выражение и попросил принести еще одно пиво.

— Еще раз прошу вас, Гонсалес,— опять начал рамочник, глядя на Плинио усталыми глазами,— простите, что я так вел себя, но положение на службе у меня очень сложное, и любое упоминание об этом меня задевает.

— А в чем все-таки дело? — спросил Плинио, и в глазах у него мелькнула ирония.

— Видите ли... я пришел на должность в министерство в двадцать девятом году по конкурсу...

Старик за столиком рядом, делая вид, будто смотрит совсем в другую сторону, положил руку на колено девушке. Та вся сжалась и уперлась глазами в мрамор столика. Толстая курносая донья Фэ шепталась со своими товарками, бросая неодобрительные взгляды на старика с девушкой.

— ...Меня назначили в отдел концессий,— продолжал Новильо.— Нас в отделе было пятнадцать человек. Но, как вы знаете, в тридцать первом году пришла республика, и отдел закрыли. Остался только я и еще одна девушка — для передачи дел. А так как мы занимали много места, а с клиентами нам уже общаться не приходилось, нас перевели на чердак — он тогда был большой, неперегороженный. Со временем, после всяких перестроек и переделок, нас и вовсе задвинули в угол... Мы закончили все дела, как раз когда началась война. С тридцать шестого по тридцать девятый год о нас ни разу не вспомнили. Мы приходили на службу просто убивать время. Когда война кончилась, новая администрация обратила на нас внимание. Мне сказали, чтобы мы дождались, пока кончится чистка, и вот в таком положении мы и находимся по сей день. Каждый раз с приходом новой администрации все перестраивали по-новому, а нас загоняли все дальше в глубь здания и все выше. Я еще раз во всех подробностях сообщил, как все было и в каком положении мы находимся. В ответ — ни слова. Потом уже, несколько лет спустя, один приятель рассказал мне, что нам не ответили потому, что не знали, где мы помещаемся. Вахтеры сменились и не знали плана здания. Помнится, у одного из начальников по фамилии Ресолюто [1],— обратите внимание, какое подходящее имя! — у этого начальника уже было готово решение, что с нами делать, и он даже показывал мне проект и все, что положено, но тут у него случился инфаркт миокарда, и все планы он унес с собой в могилу. Наконец, я решил подать еще одно, последнее в жизни ходатайство. Снова изложил всю историю с начала до конца... Я спешил как-то упорядочить наше положение, чтобы нам подняли жалованье, и опять мне не повезло. Сменили министра, почистили высоких чиновников, а нам так и не ответили. Мы устали от того, что никому до нас нет дела, и я подумал: должно быть, нам на роду написано затеряться в административном лабиринте, и в сорок пятом году я решил наладить у себя в конторе скромное — в меру наших сил и возможностей — производство. Нельзя же было сидеть до самой пенсии сложа руки. Заметьте, Гонсалес, в моем возрасте — мне до пенсии осталось всего три года,— в моем возрасте уже ни к чему рыпаться. Всем, что у нас есть, мы обязаны своей мастерской. У каждого в жизни своя дорожка, и бесполезно пытаться с нее свернуть. В конце каждого месяца мы спускаемся вниз, отыскиваем свою ведомость, получаем конверт с жалованьем и — привет. Если кому-нибудь случается спросить, где мы помещаемся, мы отвечаем: «Где всегда». И с богом... Теперь вы можете представить себе, дорогой Гонсалес, что со мной происходит каждый раз, когда я думаю, что теперь, перед самой пенсией, кто-нибудь может обнаружить, в каком дерьме мы сидим, и захочет навести порядок. Поверьте, я не жулик какой-нибудь, я просто — продукт нашего бюрократического аппарата... За тридцать лет я не притронулся ни к одному документу. И она — тоже.

— Она — ваша жена? — спросил Плинио, с каждой минутой испытывая все большее удовольствие.

— Нет, секретарша. Она живет у себя, а я —у себя. Ну, конечно, столько лет мы вместе, так что все равно — как одна семья.

— Да, да.

— Умоляю вас, Гонсалес, ради всего святого, не рассказывайте этого никому. Какая вам корысть от моей беды? Я хотел быть полезным государству и делал ради этого невозможное, но все без толку. В конце концов, во всех учреждениях вроде этого полно мертвых душ, которые палец о палец не ударяют, а жалованье получают .. Я знаю такие случаи. Не умирать же от угрызений совести, если оказываешься в такой ситуации, сам того не желая.

— Не волнуйтесь, Новильо. Я буду нем как могила. Не думаю, однако, чтобы в Испании было много таких, как вы.

— Не думаете? — оживился он.— Много, может, и нет, однако вполне достаточно. Я бы вам рассказал... Вот, например, эта курносая низенькая сеньора, которая спрашивала, не случилось ли со мной чего, она моя хорошая знакомая. Так вот, она уже несколько лет получает две пенсии.

— Не может быть.

— Именно так. Отец ее был служащим, не знаю даже где. Он умер, а ей с тех пор платят не одну, а две пенсии.

[1] Решительный *(исп.)*.

— За кого же вторую?

— За какого-то другого покойника, которого она даже не знала. И вот, пожалуйста, живет всю жизнь припеваючи... Еще в это кафе ходит один — мы все тут друг друга знаем,— который получает пособие за какую-то очень важную медаль, а ему такой сроду не давали, потому что, кроме всего прочего, он никогда не был в армии.

— Вот это особенно остроумно.

— Мы зовем его «наш герой».

— А чем он занимается?

— Он трубочист.

— Ну и жизнь, бог ты мой! — воскликнул Плинио.

— И поверьте, Гонсалес, с сестрами Пелаес меня связывает лишь старая дружба и услуги, которые мы оказывали друг другу. С тех пор как их отец замолвил за меня словечко и я получил должность, которую занимаю, у нас всегда были очень хорошие отношения. И сколько я ни ломаю голову, не могу понять причины их исчезновения.

— Не сомневаюсь, Новильо, нисколько не сомневаюсь.

Выслушав заверение Плинио, да еще повторенное дважды, служащий Новильо углубился в себя. Разрядившись на исповеди, он теперь расслабился и даже поглядывал на газету, лежавшую на мраморе столика.

Девушка, видимо, устала от дурацких приставаний старика и потому пересела на другой стул — напротив, и теперь они вполне дружески беседовали. Толстуха с подбритой шеей — та, что получала две пенсии,— играла со своими товарками в карты.

Теперь, когда Новильо молчал, он показался Плинио похожим на древнюю пишущую машинку, дремавшую на чердаке в министерстве. Пожалуй, Плинио даже не сумел бы сказать, что именно — инерция, скука или отсутствие желаний печатью лежали на всем облике Новильо и делали его похожим на вышедшую из употребления вещь. Плинио вспомнил одного типа в Томельосо, который всю жизнь сиднем сидел в казино «Сан-Фернандо», и если внимательно приглядеться, лицо у него стало частью казино со всеми его причиндалами — биллиардом, домино и тому подобным. У каждого на лице написано, чем он занимается. От проституток, например, за версту разит постелью. А семинарист так же похож на нападающего «Атлетико», как яйцо на шариковую ручку. В томельосском муниципалитете был один конторщик, который даже по центральной улице ходил так, словно выглядывал из окошечка конторы. А бедняга Пако, пономарь, всю жизнь двигал руками, будто размахивал кадилом. Да что далеко ходить за примерами, достаточно взглянуть на Фараона — у него вечно такой вид, словно он только что отобедал. А дон Сантос Каррера столько лет управлял муниципальным оркестром, что на всех смотрел поверх очков, будто из-за дирижерского пульта. Портные первым делом оглядывают твой костюм. Говорят о семье, о чем угодно, а глаз не сводят с одежды, что на тебе. Плинио знал одного извозчика, коротышку. Стоит ему забыться, где бы то ни было, к примеру, хоть на похоронах, и он сразу подымает руки, держит их на весу, будто лошадь вожжами погоняет. Плинио с удовольствием наблюдал за ним на футбольном матче или на корриде: когда дело принимало крутой оборот, он прижимал к себе локти, словно натягивая вожжи, чтобы помешать — смотря где это было — забить гол или поддеть на рога тореро. Или же выбрасывал вперед правую руку, как бы подстегивая кнутом, если жаждал крови или счета. А сестра Ромира весь свой век была так целомудренна и набожна, что, когда под конец жизни ей должны были делать уколы в ягодицы, она позволила лишь чуть приподнять нижнее белье, дабы практикант, вонзая шприц, не глазел без нужды на ее тело. «Вот я и говорю,— размышлял Плинио, глядя на Новильо, ужасно похожего на пишущую машинку, которой не пользовались со времен диктатуры Примо де Риверы,— вот я и говорю: на каждом написано, чем он занимается». А уж о характере и говорить нечего. Достаточно ему было бросить взгляд на незнакомого человека, он тут же понимал, на какую ногу тот хромает. «У людей с широким сердцем — открытый взгляд и ясная улыбка. Люди с нечистыми помыслами узнаются по манере чуть прикрывать глаза и по осторожности, с какой отмеривают слова. Люди интеллигентные доверчивы и не боятся попасть в смешное положение. Дураки обычно подчеркнуто вежливы и сдержанны. Предатели любезны... В жизни существует масса разновидностей этих типов, и определить их можно не столько по повадкам, сколько по мимолетной тени на лице и даже по походке. Еще выдают руки. У людей с низменными помыслами пальцы короткие, а ногти слабые, безжизненные; им не свойственны резкие жесты. Бывают люди, у которых руки не соответствуют их облику — они достались им от какого-нибудь предка иного биологического склада. И тогда по рукам трудно бывает определить, что можно ждать от этого человека. Мошенников и интриганов разоблачает пассивность рук. В то время как мозг в совершенстве постиг искусство обмана, у пальцев остались свои привычки, и потому пальцами приходится двигать с величайшей осторожностью. В руках, как ни в чем другом, проявляется благородство и свежесть чувств. И робость и дерзость

заключены в кончиках пальцев. Если, разговаривая с человеком, хочешь понять, что он такое, смотри ему в глаза, но больше следи за жестами и особенно за руками. Мозг обычно под строгим контролем, а все подавленные мысли ищут выхода и могут вылиться как раз в движении рук. Ведь есть профессии, где руки действуют сами по себе, в то время как мыслями человек далеко».

Фараон с доном Лотарио запаздывали, и Плинио, нетерпеливо взглянув на часы, снова оглядел теснившиеся вокруг столики. За окном лежала площадь Аточа, и машины на ней казались отсюда светящимися червяками. Две скромного вида девушки, от которых пахло кухней, пили за соседним столиком кофе и с жалостным видом о чем-то разговаривали. В простенках между окнами, в нишах, стояли сомнительного вкуса зеленые кактусы. В зале, за чашкой кофе или бутылкой вина, сидели главным образом влюбленные парочки. Официант волочил ноги, разговаривая сам с собой. Новильо углубился в газету. Точными движениями мастера-багетчика он разворачивал на столе листы. Плинио подозвал официанта и расплатился по счету, к чему чиновник отнесся совершенно бесстрастно. Его это ничуть не удивило. Устав от сидения и от общества, Плинио решил было подождать друзей у дверей кафе, и тут они появились. Он поднялся, напомнил Новильо о завтрашней встрече, еще раз пообещал ему держать все в секрете и легким шагом, на ходу поправляя оставленный в Томельосо ремень, направился навстречу входившим.

— Пошли, Мануэль, такси ждет,— сказал Фараон. Он был серьезен.

«Что случилось?» — взглядом спросил Плинио дона Лотарио.

Тот — тоже чрезвычайно серьезный — ответил неопределенным жестом.

— Идем, идем,— настаивал Фараон,— дело принимает крутой оборот.

Они вышли из кафе и молча сели в такси. Поскольку никто не проронил ни слова, таксист спросил:

— Куда едем, сеньоры?

— В ресторан неподалеку от театра Мартина, до смерти хочется взглянуть на стройные ножки.— И расхохотался что было мочи; дон Лотарио вторил ему.

— Ладно, шутки в сторону,— сказал шеф.— Так что там за вилла «Надежда»?

— Я дам тебе тысячу дуро, Мануэль, если ты угадаешь, кто живет в этом домике,— подначивал его виноторговец.

Плинио пожал плечами.

— Помрешь — не додумаешься. Скажите ему вы, а то он решит, что это шутка.

— Там живет, Мануэль, наша односельчанка донья Мария де лос Ремедиос. Та, что ехала с тобою в автобусе. Смотри, как тесен мир!

Плинио просто глаза вытаращил.

— Вот так, сеньор, живет там со своей матушкой.

— И что она сказала, когда увидела вас?

— Ничего. Мы объяснили, что прогуливались неподалеку, вспомнили, что она тут живет, и решили навестить... А вот поверила она в это или нет — другой вопрос.

— О деле ничего не говорили?

— Ни слова,— ответил дон Лотарио.— Я подумал, что не стоит. Подумал, что это — тебе решать.

— Очень хорошо сделали.

— Видишь, Антонио,— сказал дон Лотарио,— как я знаю наших классиков!

— Хозяйка,— продолжал Фараон,— пригласила нас выпить по чашечке кофе и показала нам дом, а он огромный и по нынешним временам, верно, стоит кучу денег. И была с нами обходительна, что правда, то правда. Всё тебе приветы передавала.

— Мы расспросили соседей и, когда узнали, что там живет она, решили зайти просто любопытства ради, не имея в виду дела. Да и что, скажи, может быть общего у Марии де лос Ремедиос с сестрами Пелаес?

— Хотя бы то, что они из одного селения.

— Вот и я то же самое сказал дону Лотарио.

Очная ставка

С одиннадцати до самого полудня, пока не начали приходить приглашенные, Плинио с доном Лотарио сидели в гостиной, просматривая газеты, курили и перечитывали письмо философа Браулио, которое как раз этим утром пришло в гостиницу и в котором говорилось приблизительно следующее:

> «Дорогие кум и сосед, Мануэль и Лотарио! Дни идут, от вас никаких известий, и потому я решил написать. Я внимательно слежу за газетами, не появится ли какого описания ваших приключений или открытий, но все зря. Я думаю — одно из двух: либо дела свои вы

храните в строгой тайне, либо же не считаете еще все до конца ясным, чтобы звонить во все колокола. Как бы то ни было, я уверен, что вы с честью выйдете из положения. Во всяком случае, напишите мне хоть несколько слов, потому что не по себе мне, когда о друзьях ни слуху ни духу.

У нас тут ничего особенного. Как всегда, жизнь кипит в казино «Сан-Фернандо». Что ни день — машин все прибавляется, а разговоров только и слышно что о футболе. Насчет машин, я так думаю, людям, видно, кажется: если ты при машине — значит, живешь лучше и веселее. Этим нашим выскочкам сдается, что когда он за баранкой и жмет на всю железку, он лучше других и совсем как господа в прежнее время. Да и по правде сказать, деваться им некуда, вот и ездят с места на место, как будто можно уехать от тоски. А что за штука происходит с футболом — это я не очень понимаю. В жизни я четыре или пять раз был на футболе, на стадионе в Пейнадо, и всякий раз мне казалось: все та же комедия, да и актеры похожи. Понять не могу, как это испанцы, такие любители шумных и ярких развлечений, без ума от такого невзрачного зрелища. Не много же извилин в голове у тех, кто неделями переживает эту футбольную чушь! Тратить такую короткую жизнь на такое бездарное и неостроумное занятие можно, только если уж совсем не осталось воображения в этих гладко выбритых головах под беретами. Мне сдается, что так оно и есть, раз люди сами не понимают, что у них перед глазами, и даже толком не знают, что им нравится. А видят, слышат и говорят то, что им велят видеть, слышать и говорить. Левые обвиняют правительство, что оно нарочно раздувает эту футбольную шумиху, чтобы отвлекать людей от настоящих и важных вопросов. Не знаю, верно это или нет, но только, думается, раз футболом так удается заморочить голову, то и все другое можно разыграть, как футбольный матч, и, глядишь, на выборах преспокойно пройдет Пракседес Матео Сагаста — я нарочно для примера взял политического деятеля, прах которого уже много лет покоится в земле. Это светило Эухенио Ноэль в своем знаменитом выступлении в «Сиркуло либераль» в шестнадцатом году сказал, что в мозгу у испанцев одна только мысль — хлеб и зрелища, то есть быки. И, само собою, быки — на первом месте. Римляне, сказал он, добивались того же при помощи хлеба и цирка. Пустых людей великое множество, и сознанием людей управлять нетрудно, а тем более теперь, когда есть радио и телевизоры. Дай большинству футбол, а из тех, кому мало футбола, одним — пряник, другим — кнут, и все будет в полном порядке, и царство, каким бы оно ни было, простоит тысячу лет при условии, конечно, что вдоволь будет розог, вина и чемпионатов мира... Что говорить, с тех пор, как мир таков, мало кто думает о деле и работе со смыслом, а большинство только и печется что о деньгах да о собственном здоровье, на остальное им наплевать.

Здесь у нас новости больше все печальные. Ты же знаешь, как говорит наш доктор дон Гонсало, и сколько раз я убеждался, что он прав: «Сентябрь придет — дрожь проберет». И вправду сказать: дрожь пробирает — ну и осень! Не успели вы отчалить, как Пепе Расура отдал богу душу. Ложился спать — у него голова немного болела, а на другой день к вечеру мы его уже свезли на кладбище. Вчера пришел конец многолетним страданиям бедняги Клементе Посуэло, а дон Анастасио Кордоба — при последнем издыхании. Два дня назад отправился я его проведать. Он еще был на ногах, но вот голова что твоя лейка. Как увидал нас — меня и того, кто со мной пришел,— выпрямился в кресле и говорит: «Сеньоры, благодарю, что пришли на мои похороны. Теперь недолго ждать. Как только прибудет гроб и катафалк, я вас оставлю». И, проговорив это, сел в кресло, весь напрягся, закрыл глаза, словно бы в забытьи. Ты не поверишь... И вот уже два дня как бредит, никого не узнает, а сегодня утром мне сказали, что агония подходит к концу. Ну вот, опять заговорил о смерти — ты знаешь, это мой конек. Надеемся, что вы скоро вернетесь и поездка будет удачной.

Про покойников всё. А в делах постельных ничего нового. Сплетни — те же, а правда ли — в таких делах как узнаешь? У педиков тоже без особых перемен. Похоже, их не прибавилось, а может, просто до моих ушей не дошло. А вот у церковников новости есть. Приехал тут один, из современных, и с амвона чего только не наговорил: и о социальной справедливости, и против богачей, и даже вроде шпильки пускал против правительства. Уж не знаю, что там стряслось. Но, наверно, стряслось — первый раз в истории церковники так запели. Это по мне: наконец-то решили опереться на бедняков; пускай

у них своя корысть, но — на бедных, которые тыщу лет кормились объедками со стола тех, кто все имел и всем правил. Дон Хосе, директор банка, сказал про проповедь новенького: «Этот священник не понимает, что когда Иисус сказал «блаженны нищие», он имел в виду нищих духом, потому что нищим — безденежным вообще надеяться не на что». Вот как служба уделывает человека!

Насчет рождений и крещений ничего не пишу — это, как говорится, мне без разницы. Нет мне интересу и до того, кто у нас на сносях. Все их заботы у них впереди.

Росио нам все уши про вас прожужжала. Говорит, что вы там растрясете все до последнего гроша. С Фараоном, я думаю, вы не скучаете. Я б с удовольствием махнул к вам, да подумать тошно, что придется спать в чужой постели и ходить в чужой клозет. Каждому свое, и нет ничего слаще, чем катиться в карете привычки. Припаси побольше рассказов — и особенно для Росио, которая ждет вас не дождется. Будьте здоровы, блюстители порядка, обнимаю — Браулио».

Плинио велел Гертрудис прибрать как следует в столовой, где соберутся все, и приготовить на всех кофе.

Дон Лотарио купил в писчебумажном магазине большие конверты, и на каждом конверте они написали имя одного из приглашенных. В половине двенадцатого они оглядели столовую, избранную местом совещания.

— Ну, все по тебе, Мануэль? — спросила Гертрудис.

— Осталось принести чашки и ложечки.

— Сию минуту. А кофейник я оставлю на кухне.

— Само собой... Да захвати чистую салфетку.

Когда стол был накрыт для кофе и Плинио получил салфетку, он попросил дона Лотарио последить за дверью, чтобы служанка, которая сгорала от любопытства, не понимая, зачем понадобилась салфетка, не подглядывала. Тщательным образом Плинио стал протирать каждую чашечку, ложку и блюдце.

— Черт подери, Мануэль, до чего же приятно видеть, как ты заботишься об отпечатках. Ты, никогда не признававший науки в своем деле.

— Веление времени, дон Лотарио.

Без четверти двенадцать начали прибывать приглашенные. Плинио решил придать церемонии как можно больше торжественности и значительности и каждого выходил встречать к дверям. Скупой на слова и серьезный, он неторопливо курил. Священник, дон Хасинто, то и дело вскидывал голову, чтобы взглянуть из-под своих ленивых век, что происходит вокруг. Хосе Мария, филателист, ни во что не вникал, сидел, сложив руки на животе, и мыслями, казалось, был далеко. Пришел Новильо, чиновник, в пиджаке, какие носили в голодные годы, пахнущий опилками— они у него были даже в бровях, должно быть, явился прямо из министерства и не успел переодеться. Привратница тихонько причитала: «Пресвятая дева, ну и жарища, проветрить бы, вредна для здоровья такая парилка...» Гертрудис с обычным хитрым выражением лица ловко выполняла свои обязанности и каждый раз, как раздавался звонок, бежала к двери открывать. Последней пришла швея, потому что шила она в этот день далеко отсюда и ей пришлось бог знает сколько раз пересаживаться с автобуса на автобус, чтобы добраться до улицы Аугусто Фигероа, объяснила она бесцветным тоном, как всегда глядя куда-то мимо собеседника.

— Ну, вот, все в сборе,— объявил дон Лотарио с видом, ничуть не менее значительным, чем у Плинио.

— Тогда можно пройти в столовую,— сказал полицейский.

Жалюзи в столовой были подняты, и чудесный ясный свет играл на серебре, полированной мебели и кофейном сервизе. Каждый по-своему, но все так или иначе были несколько напряжены; никто ведь не знал точно, зачем Плинио явился сюда из деревни.

Плинио пригласил всех за овальный стол и сдвинул немного в сторону большую серебряную вазу, чтобы лучше видеть лица. Он сел во главе стола из каобы и положил руки на его сверкающую поверхность. Все взгляды были обращены на него, и невольно каждый принял такую же позу, так что на столе рядом с чашками и сахарницами сразу же появилось отражение множества рук.

— Пожалуй, надо принести пепельницы,— вскочила привратница, нервничая и не находя себе места, как раз в тот момент, когда все ждали, с чего начнет Плинио.— Мужчины, они такие: чуть что — курить.

— Я принесу,— отозвалась Гертрудис, жестом приказывая ей не вставать.

Этот непредвиденный эпизод разрядил напряженность, все почувствовали себя немного свободнее, но вот Гертрудис расставила пепельницы, и все опять выложили руки на сверкающую поверхность стола, а все взгляды обратились к Плинио. Он же, как всегда, когда ему случалось говорить сразу с несколькими

людьми, задумался на мгновение, сжал губы, провел правой рукой по поверхности стола, словно разглаживая ее, и наконец начал:

— Все вы, имеющие отношение к сестрам Пелаес, уже отвечали на мои вопросы и высказывались относительно возможной причины их исчезновения. Я уверен, что каждый из вас сказал все, что знает, однако мне ничего не удалось выяснить. Вот так-то; и потому я собрал вас, чтобы всем вместе попытаться восстановить еще раз факты и прийти к какому-то заключению.

Он замолчал и очень медленно, одного за другим, оглядел всех.

— Пречистая дева! — вздохнула привратница.

Швея поелозила узким задом на стуле и повела вокруг своими ни на что в точности не глядящими глазами.

— Согласно показаниям свидетелей, все происходило следующим образом,— продолжал Плинио.— В тот день, когда хозяйки этого дома кончили обедать, вы, Долорес Арничес, как всегда, шили в портновской. С утра это был обычный для сеньорит Пелаес день, и теперь они отдыхали в кабинете. Больше никого в доме не было. Около половины четвертого зазвонил телефон. Одна из сестер взяла трубку. Кто именно, мы не знаем. Правильно, Долорес?

— Правильно, сеньор. Я вам говорила, мне показалось, будто сеньорита Алисия, но точно не знаю.

— Долорес сразу же заметила, несмотря на то что находилась далеко от телефона, что сеньорита Алисия, словом, та, что подошла к телефону, разговаривала с кем-то, кого никак не ожидала услышать, и что ей сказали что-то не ожиданное. Я правильно рассказываю, Долорес?

— Правильно, сеньор.

— Она очень удивилась, вскрикнула, быстро что-то спрашивала и скорее всего передала — а, может, та вырвала — трубку своей сестре Марии, которая тоже пришла в волнение. Она тоже вскрикивала, тоже торопилась и что-то спрашивала, но что именно, Долорес, которая находилась далеко от телефона, не разобрала...

— И любопытство не побудило вас выйти в коридор? — бесцветным голосом спросил вдруг Хосе Мария, кузен.

— Нет, сеньор,— ответила швея в страшном смущении,— очень хотелось, но дверь в гостиную, где телефон, была отворена, и меня могли увидеть.

— Ладно, продолжим.

— Но что-то вы все-таки слышали,— настаивал филателист.

— Нет, сеньор, я уже говорила сеньору полицейскому, нет. Я только заметила, что они очень нервничали и все что-то спрашивали, много спрашивали, вроде бы хотели знать, где находится кто-то или что-то.

— Этого вы мне не говорили,— прервал ее Плинио.

— Да, сеньор, я припомнила это после того, как мы с вами беседовали в последний раз. Что-то вроде: «Где ты?», или «Куда ты едешь?», или «Что собираешься делать?» В таком духе, вы меня понимаете.

— Ладно...— сказал Плинио.— Продолжим. Значит, поговорив по телефону, они тут же, без промедления, достают пистолет, который хранился под матрацем у сеньориты Алисии. Одна из них прячет его, скорее всего в сумочку, на ходу сеньорита Алисия заглядывает в комнату к Долорес, говорит, что они уходят и что должна делать Долорес, когда кончит работу. И уходят они по срочному делу... Правильно, Долорес?

— Правильно, сеньор.

— И вы ни о чем не спросили сеньориту Алисию? — опять вмешался Хосе Мария бесцветным тоном.

— Как же, сеньор, конечно, спросила. Спросила, куда они так торопятся,— я говорила сеньору Гонсалесу,— и они ответили, что по делу. Это я хорошо помню, они сказали «по делу», по срочному делу, вернее. Оставили мне поесть и деньги за работу и попрощались до понедельника — и мне сдается, что другая не заглянула в комнату потому, что плакала. А потом уж слышу — они вышли.

— Значит, сеньорита Мария оставалась в коридоре и плакала?

— Ну да...

— И этого вы мне тоже не говорили,— опять подскочил Плинио.

— Как это не говорила, что она не вошла?

— Что не вошла — говорили, а вот что плакала — нет.

— Ну, так извините, прошу вас, позабыла, уж очень я волновалась, очень волновалась на допросе. В жизни меня не допрашивали ни в полиции, ни в суде.

— Ладно, продолжим: они сбегают по лестнице,— по словам привратницы, останавливаются у дверей,— видно, очень торопятся и хватают первое проходящее мимо такси. Так?

— Так, сеньор, ну в точности, как вы рассказываете. Я, знаете, немного была не в себе, потому как точно в это время, как говаривал мой папаша, меня всегда в сон клонит... Так вот, слышу я: по лестнице бегут, торопятся, я сразу вскочила. Выглянула, только они мне ни словечка не сказали, ну я и не стала выходить из привратницкой. «Куда это сеньориты так бегут, торопятся?» — по-

думала я. А дальше — больше: вижу, схватили такси. «Вот,— думаю,— дела! Что ж такое стряслось, что они сразу — в машину, и след простыл!..» А как только они ушли, я, значит, опять забылась и задремала.

— Хорошо,— заключил Плинио монолог привратницы,— все это нам более или менее было известно. Кто из вас еще что заметил?

Все переглянулись, но говорить, судя по всему, ни у кого желания не было.

— Вы, падре, хотите что-нибудь сказать? — обратился Плинио к дону Хасинто.

— Нет. Только — что я ничего не понимаю. У меня такое ощущение, будто речь идет о совершенно других людях. Спешка, пистолеты, бегство — никак это не вяжется с сестрами Пелаес!

И он умолк, упершись руками и взглядом в стол.

Плинио, выждав немного и чувствуя, что других выступлений не предвидится, вытянул руки перед собой и, наклонив голову, спросил:

— Тогда я задам такой вопрос: как вы думаете, ради чего или ради кого могли сестры Пелаес выскочить так поспешно из дому да еще с пистолетом в сумке? Если никто из вас на этот вопрос не сумеет ответить, то на этом наше расследование — как уже не раз бывало в такого рода делах — следует считать закрытым...

И ни слова больше не говоря, заметно нервничая, он вынул кисет и стал набивать папиросу.

Дон Лотарио с трагическим выражением смотрел на него. То, что Мануэль, как видно, собирался бросить дело, ему совершенно не нравилось. Мануэль всегда был человеком настойчивым и все доводил до победного конца. Он до всего добирался своим умом, и сбить его с толку было невозможно.

— Может, ради какого благого дела... они чисто святые,— будто издалека послышался голос священника.

— Не знаю, какие такие благие дела творят с пистолетом в руке,— возразил быстро ветеринар.

Дон Хасинто на него не взглянул и ничего не ответил. Ограничился неопределенным жестом.

— Я вот думаю, прошу прощения,— сказала швея тоном, немного похожим на тон Плинио, и не подымая глаз,— уйти-то они могли и уйти на какое благое дело, пусть даже и с пистолетом в кармане, кто его знает, как бывает в жизни. А вот хуже, что они не вернулись. Какое благое дело помешало двум святым вернуться домой?

«Сколько желчи в этой швее, которая неизвестно куда глядит!» — подумал Плинио.

— Благое дело может означать, например, когда хотят спасти от опасности любимое существо,— поправился священник.

— Вот это уже лучше,— совершенно искренне согласился Плинио.— А кто, по-вашему, из друзей или близких сеньорит Педаес в этот день мог находиться в опасности?

— Никто,— вскочил чиновник Новильо, совершенно уверенный в собственной правоте.— Никто, насколько известно. У них всего и родственников-то один Хосе Мария, здесь присутствующий, они — женщины спокойные, вели жизнь размеренную и примерную. Если бы жива была их матушка... или отец, или же Норбертино, братец, но он так и не увидел света, тогда еще можно было понять подобное волнение, можно было бы объяснить их странные поступки и то, что они изменили своим привычкам. Эти люди были для сестер смыслом и сутью всей жизни, но их нет в живых, так кто же мог быть еще? Кто?

Он замолчал, весь сжавшись и поблескивая очками, отчего стал очень похож на птицу.

— Вы не назвали, Новильо, одного человека, очень много значившего для них,— проговорил Хосе Мария на сей раз голосом настолько бесцветным, словно эта фраза случайно выскользнула из его серых губ.

— Кого? — спросил чиновник.

— ...Человека, который решительным образом повлиял на всю жизнь Марии,— ответил тот, уставившись на Новильо, и на этот раз его бесцветный взгляд стал почти выразительным.

Чиновник задумался на минуту и согласился:

— ...Да, пожалуй. Вы имеете в виду ее знаменитого жениха?

Хосе Мария кивнул и отчеканил:

— Вот именно. Я имею в виду Маноло Пучадеса.

Наступило молчание, все только переглядывались, и каждый подумал свое.

— Этот сеньор пропал тридцать лет назад,— без особого убеждения сказал священник.

— Пропал еще не значит умер,— опять заговорил кузен устало, как говорят о вещах, всем известных. И продолжал с нарочито простодушной улыбкой: — Все,

кто умер, пропали, но не все, кто пропал,— умерли... Недавно как раз истек срок тридцатилетнего тюремного заключения и стали появляться некоторые «умершие» в тридцать девятом году.

— Если даже и так,— возразил чиновник,— зачем идти с пистолетом и почему бы не вернуться домой?

— Я всего лишь ответил на вопрос, заданный начальником,— не слишком любезно отозвался Хосе Мария.— Маноло Пучадес — человек, который мог бы всколыхнуть обычную жизнь сестер, особенно Марии. А поскольку я не знаю точно, умер ли он, я полагаю, мой долг — сказать об этом.

И снова все замолчали и задумались. А Плинио первый раз с симпатией взглянул на серого филателиста. Тот сидел, упершись бородкою в грудь, и перекатывал в пальцах не то бумажный шарик, не то таблетку от насморка. Поди узнай, что именно.

Еще раз бросив на филателиста полный признательности взгляд, Плинио сосредоточился и, мобилизовав все свои способности — чутье, наблюдательность, смекалку,— заговорил:

— Кто-нибудь из вас когда-нибудь слышал о сеньоре из Томельосо, которая еще с довоенных лет живет в Верхнем Карабанчеле, о сеньоре по имени Мария де лос Ремедиос дель Барон?

Никто не ответил.

— Донья Мария де лос Ремедиос дель Барон,— повторил он тоном школьного учителя,— которая живет в Верхнем Карабанчеле, в старинной вилле под названием «Надежда»... Вы, сеньор священник?

— Нет. Понятия не имею.

— А вы, дон Хосе Мария?

Тот помотал головой и скептически осведомился:

— А какое отношение имеет эта сеньора к нашему делу?

У дона Лотарио от удивления отвалилась челюсть: оказывается, Плинио придает такое большое значение их с Фараоном поездке к этой сеньоре; еще раз подивился дон Лотарио замечательному воображению и неизменному профессиональному чутью своего друга.

— Не знаю. Но ее адрес был записан — и второпях — на обложке телефонной книги. Дон Лотарио, принесите, пожалуйста, книгу, о которой я говорю.

И все опять замолчали до возвращения дона Лотарио.

Швея, первая осмотрев запись, заметила:

— Надо же как странно: всё они по порядку делают и пишут всегда буковка к буковке, как привыкли в монастырской школе, а тут — вкривь и вкось.

— Хотя почерк необычный, мне кажется, все же написано это одною из них,— подтвердил священник, очень пристально разглядывавший запись.— Не могу, правда, точно сказать, которой, потому что они все делают очень похоже.

— В жизни не писали они там, где не положено,— сонно подтвердила привратница.

— Верно говоришь,— подхватила Гертрудис,— порядок они любили до противного, прошу прощения. Знаю я, конечно, семейство Баронов — случалось видеть их в городке, но чтобы сеньориты о них когда-нибудь говорили — такого не слышала.

— Этот адрес могли записать, разговаривая по телефону, пожалуй, в этом ничего странного нет,— задумчиво заметил Плинио.

Последовали еще какие-то догадки по поводу записи в телефонной книге и того, какая может быть связь между сеньорой дель Барон и делом, которое они обсуждали. Когда Плинио почувствовал, что обсуждение становится вялым и вот-вот затухнет совсем, он вдруг весело спросил:

— Гертрудис, зачем ты поставила чашки — разве не для кофе?

Та не сразу поняла: ведь Плинио сам просил ее ничего не делать, пока он не скажет. Но потом смекнула, что начальник сказал все это неспроста, и, отозвавшись: «Конечно, сеньор, ваша правда, ну и голова у меня дырявая», выпорхнула на кухню.

Она вкатила в комнату столик на колесиках, уставленный кувшинчиками с кофе и сахарницами, и стала разливать кофе и молоко — сначала женщинам и сеньору священнику, так ее учили,— каждому, сколько попросит.

Потом, когда весь сахар был размешан, весь кофе выпит, остатки допиты, губы вытерты, все взгляды опять обратились к Плинио и на всех лицах опять можно было прочитать: «Ну, а теперь что?»

Мануэль Гонсалес, начальник Муниципальной гвардии Томельосо, чувствуя, что напряжение спало и появляются первые признаки скуки, нарочито торжественно и с непроницаемым видом точными движениями стал набивать папиросу.

Все ждали, а Гертрудис глядела на него, мигая. Привратница стряхивала с платка несуществующие крошки. Швея неверным взором обводила собравшихся. Священник, как ни старался, ничего не мог с собой поделать и зевал. Новилью, судя по всему, испытывал нетерпение. сидя на краешке стула, он барабанил пальцами по зеркальной поверхности стола. Хосе Мария скучал: зажав между ко-

лен вытянутые руки и сцепив пальцы, он уныло покачивался, не сводя пепельно-серых глаз с кофейной чашки.

Плинио закурил папиросу, затянулся глубоко — почти до боли (он представил себе, как дым выстрелом врывается в бронхи, прорывается еще ниже — в легкие, еще и еще ниже и растекается внутри) и, выпуская табачный дым через нос и рот, проговорил бесстрастным тоном судьи:

— Прошу прощения за то, что задержу вас еще немного, но мы пока не коснулись самой серьезной причины нашего сегодняшнего собрания.

Все — каждый на свой лад и манер — встрепенулись и приготовились к напряжению очной ставки.

Плинио ослабил узел галстука и, окинув взглядом всех — одного за другим, сказал:

— Вчера, между тремя и восемью часами вечера, один из вас тайком приходил сюда и унес что-то из тайника.

И, сказав это, он замолчал, не глядя ни на кого в отдельности, но наблюдая за всеми сразу.

Заявление начальника произвело ожидаемое действие. Каждый из собравшихся почувствовал, как от этого обвинения у него лично по спине пробежали мурашки. Все застыли и напряглись и мало-помалу, почти неосознанно, начали бросать друг на друга настороженные — словно бы невзначай — взгляды. И только Плинио и дон Лотарио, который сидел, сжав руками голову и упершись локтями в стол, открыто и беззастенчиво оглядывали собравшихся.

— Почему вы думаете, что это был один из присутствующих? — задал вполне естественный вопрос священник.

— Насколько мне известно, только присутствующие — по крайней мере, некоторые из присутствующих — знали, что в это время меня тут не будет, знали, где находится ключ от тайника и что в нем лежит.

— А как они вошли в квартиру?

— Не знаю. Мне совершенно ясно, что было три ключа. По одному у каждой из сестер, и эти ключи, по-видимому, сестры унесли с собою в сумочках, и еще один, который они всегда оставляли у привратницы «на всякий случай» — тот, что теперь у меня. А дверь, дон Хасинто, не была взломана.

— Позвольте мне, сеньор начальник, задать еще один вопрос?

— Разумеется.

— Откуда вы знаете, что кто-то здесь побывал и трогал что-то в тайнике?

— Потому что я работаю в полиции, падре... И моя обязанность — видеть то, чего не видят другие. А подробностей, простите, я рассказать не могу.

— Ваше право. А знаете вы, что украли из тайника?

— Нет. Говоря откровенно — нет. И не знаю даже — украли ли. Но вы не станете отрицать, что при данных обстоятельствах чрезвычайно важно знать, что понадобилось кому-то в тайнике.

— Разумеется.

— Кто-нибудь из вас представляет, у кого мог быть четвертый ключ от квартиры? — спросил Плинио неожиданно.

— А он и не нужен,— сказал Новильо с самодовольством человека, знающего ремесло.— Вам известно, что подделать ключ легче легкого.

— Только этого не хватало!

— Значит, поэтому вы спросили, не видела ли я вчера, чтобы кто-нибудь сюда подымался? — сказала привратница.

— Да.

— И меня спрашивали,— вскочила Гертрудис, хотя теперь к ней никто не обращался.— Я прихожу, когда меня вызывают по телефону или когда назначают прийти.

Никто на нее не обратил внимания — каждый был занят своим. Плинио словно бы решился на что-то.

— Ладно, сеньоры, не будем терять времени. Тот, кто был тут вчера, оставил отпечатки пальцев на разных предметах, и их изучат в Управлении. Мы тут пили кофе не только потому, что Гертрудис так любезна, но еще и затем, чтобы каждый оставил отпечатки пальцев — каждый на своей чашке, блюдце, ложечке. Если мы сами не разберемся — а я бы этого очень хотел,— то через несколько часов в Управлении безопасности этот вопрос решат самым точным образом.

При этих словах никто не удержался и каждый с подозрением взглянул на свою чашку так, словно эти отпечатки видны были простому глазу.

— Дон Лотарио, будьте добры, положите чашку, блюдце и ложку каждого в отдельный конверт — вот они приготовлены.

Дон Лотарио проворно поднялся, достал из буфетного ящика большие конверты и, сверяясь с именем на конверте, стал очень осторожно, пользуясь салфеткой, складывать приборы в соответствующие конверты.

— Подождем, пока дон Лотарио закончит. И если к тому времени ничего нового не выяснится, будем считать наше собрание закрытым.

Ветеринар тем временем заклеивал конверты и аккуратно складывал их на буфет.

Пока он этим занимался, все хранили молчание. Некоторые курили. Другие не отрывали взгляда от дона Лотарио. Привратница вздыхала. Гертрудис жестикулировала, вроде как разговаривая сама с собой, а швея застыла точно статуя.

Скоро все чашки, кроме тех, из которых пили дон Лотарио и Плинио, были сложены в конверты. Все по-прежнему молчали. Дон Лотарио сел на место — рядом с Плинио. Тот теребил мочку уха. Священник, побарабанив пальцами по столу, далекий от всего, что происходило рядом и, должно быть, казалось ему детскими играми, сказал:

— Ладно, сеньор Мануэль, если других указаний не будет, я пойду. Я, как всегда, в вашем распоряжении. О результатах исследования вы мне потом скажете. Ужасно интересно!

— С большим удовольствием и прошу прощения, что вынужден был так поступить: я выполняю свой долг.

— Разумеется, я вас понимаю.

И он вышел, очень серьезный, высоко неся голову.

— Итак, можете идти, если хотите,— сказал Плинио, поднимаясь.

Все задвигали стульями и один за другим, кроме Гертрудис, почти не разговаривая, с мрачным видом вышли из столовой, а потом и из квартиры.

Плинио с доном Лотарио вошли в кабинет и уселись друг против друга, у столика рядом с кушеткой, в кресла, где, если верить рассказам, коротали свои сиесты рыжие сестры. Оба молчали, несколько озадаченные.

— Принести пивка? — спросила Гертрудис, заглядывая в дверь.

— А разве осталось? — удивился Плинио.

— Осталось, потому что дон Лотарио велел купить еще.

— Дева Мария! Ну так неси.

— И ветчину, конечно? Хоть мне и не поручал никто, ни бог, ни черт, я купила окорок. Должны ведь сеньориты как-то заплатить вам за всю эту морокy по их милости.

— Ты хорошо поступила, Гертрудис.

Она принесла поднос и, пока мужчины разливали пиво, стояла в стороне и хитро на них поглядывала.

— О чем ты там думаешь? — спросил начальник, посмотрев на нее.

— Я вот стою, Мануэль, ломаю голову, понять не могу, что ты нам говорил сегодня о чашках и этих напечатках или отпечатках, как их там, не знаю.

— А то, что кто-то сюда приходил и шарил в тайнике, ты поняла?

— Это конечно. Это ясно, как божий день.

— Ты, конечно, знаешь, где этот тайник.

— А как же! Мильон раз я поднимала эту картину, когда прибиралась в комнате.

— Ну, и как ты думаешь, кто приходил сюда тайком?

— Честное-благородное, не знаю. Из тех, кто сегодня был, никто не мог. Тут уж грабители или тайна какая. Все одно к одному — и в тайник лазали, и сеньориты пропали... А те, кто сегодня приходил, не грабители, да и тайны в них нет никакой.

— А ты знаешь, где сеньориты держали ключ от тайника?

— Не знаю, сеньор. Наверное, в ящике в комоде, где и остальные... Ну, да это я так только думаю.

— Послушай-ка, — прервал ее Плинио, почесывая висок, и по его лицу скользнуло сомнение.— Ты вчера убирала комнату дона Норберто?

— Нет... Нет, сеньор. В кабинет я вхожу только по субботам. А почему вы спрашиваете?

— Нипочему.

— Может, вы думаете, что я...

— Ладно, ступай...

— Так вы не объясните мне про эти самые напечатки?

— Объясню. Это те отпечатки, которые оставляют наши пальцы, когда мы к чему-нибудь прикасаемся.

— Запачканные пальцы, хотите вы сказать.

— И даже чистые. У каждого человека на кончиках пальцев — свой особый рисунок.

— Господи, благослови! А как же разглядеть, ведь такие маленькие?

— Для этого в полиции есть специальные приспособления.

— Ну до чего хитры! И губы тоже такие отпечатки оставляют?

— Нет. А почему ты спрашиваешь?

— Это мое дело.

— Успокойся. Если тебя кто и поцеловал, не нашли еще способа узнавать такое.

— Спаси меня бог, сеньор Плинио! Я интересуюсь из-за своего Бонифасио. Вдруг мне придет в голову узнать, не милуется ли он на стороне с какой кошечкой.

Они все еще смеялись, когда зазвонил телефон. Плинио пошел к телефону и, коротко ответив что-то, вернулся в комнату. Не садясь, он залпом допил стакан и набил папиросу.

— Кто это?

— Сейчас скажу. Гертрудис,— крикнул он в коридор,— мы уходим.

— Ладно. А я тут приберу стаканы. Завтра приходить?

— Если ты будешь нужна, я позвоню. Пошли, дон Лотарио.

— Пошли, маэстро.

В парадном дон Лотарио нетерпеливо спросил:

— Что случилось, Мануэль?

— Хосе Мария Пелаес, кузен, ждет нас в «Мадридском казино».

— Что за черт! Что это значит?

— Не знаю. Думаю, что-нибудь связанное с утренним собранием.

Когда они шли вниз по улице Баркильо, направляясь к улице Алькала, на пути им попалась портновская мастерская Симанкаса, и дон Лотарио, в прежние времена поставщик томельосских франтов, сказал:

— Мануэль, а ты вроде собирался заказать костюм?

— В самом деле.

— Ну, так вот мастерская сына Симанкаса.

— Завтра непременно, а то мои женщины рассердятся. Послушай, а что — старик еще жив?

— Отец? Я уверен, что жив. И уверен, что скроит для старых дружков.

— Ему, верно, лет девяносто, не меньше.

— Ну и что? Живет себе, радуется, пока руки ножницы держат... Хорошая профессия, никогда конца ей не будет, не то что моя.

Они пошли вниз по улице Алькала. Был золотистый, погожий мадридский день.

— А знаете, чего мне хочется? Сесть на террасе какого-нибудь кафе и поглядеть на людей,— сказал Плинио, когда они проходили мимо кафе «Доллар».

— И мне. Особенно в такой день, как сегодня. Вот покончим с этим делом, выйдем с утра пораньше да пройдемся по всем кафе — посидим на террасе, поглядим на женщин, словом, разгуляемся.

— Для меня это дело десятое. Мне главное — голове дать отдых и посмотреть на людей просто так, ничего при этом не разглядывая.

В дверях казино они спросили у однорукого швейцара, здесь ли дон Хосе Мария Пелаес. Тот велел посыльному проводить их в зал, выдержанный в стиле двадцатых годов. В глубине зала, совершенно один, на широчайшей, обитой кожей софе сидел двоюродный братец. С таким видом, будто свалился откуда-то сверху. Унылое лицо, белые руки сложены на коленях. Односложно предложил вошедшим сесть и спросил, чего они хотят выпить.

— Спасибо. Мы уже пили кофе,— отозвался Плинио с усмешкой, пока дон Лотарио усаживался в кресло, стоявшее к нему ближе других.

И все равно все трое оказались довольно далеко друг от друга — до того огромный был зал. Довольно далеко друг от друга и от времени, в котором жили. Словно забрели невзначай в мечту о belle epoque [1]. И даже сами стали похожи на экспонаты пустого, без посетителей, музея восковых фигур.

«Вот казино так казино, черт бы его задрал! — подумал Плинио. — Не то что в нашем городке».

Дон Лотарио, выставив вперед подбородок, нетерпеливо перебирал ногами. Плинио по-барски развалился в кресле и, не снимая шляпы и не выказывая нетерпения, пожалуй, даже с мечтательным видом, ждал. Двоюродный же братец Хосе Мария следил за вошедшими, возможно даже с интересом, однако с места не двинулся.

— Это я был в квартире сестер,— сказал он вдруг, еле шевеля гипсовыми губами, сказал как будто издалека, словно думал вслух.

И уставился на свои руки — не то от стыда, не то от робости.

Дон Лотарио с сомнением взглянул на Плинио, и непонятно было, в чем он сомневается — в услышанном или же в том, кто это сказал.

Начальник снял шляпу, положил на колени, пригладил рукою волосы и очень вежливо сказал:

— Пожалуйста, продолжайте.

— Они,— заговорил Пелаес, вывернув голову к балкону, как будто исповедь его предназначалась вовсе не полицейским, а входившему в окно свету,— они очень предусмотрительны и дали мне этот ключ много лет назад.

Очень медленно он достал из кармана пиджака длинный ключ — точно такой же, какой был у Плинио.

— Возьмите, если хотите.

Плинио поколебался, но все-таки взял ключ.

— Я знаю все, что есть у них в доме. Они всегда мне доверяли, я всегда был им предан... Минуту, прошу прощения, одну минуту...

[1] Прекрасном веке (*франц.*). — так называли во Франции начало века.

С неожиданной энергией он вскочил и быстро пошел к выходу.

Плинио и дон Лотарио, немного встревоженные, следили за ним взглядом. Когда тот был уже в дверях, Плинио бросился за ним. Двоюродный братец прибавил шагу. Плинио свернул за ним в коридор и оказался перед дверью. Мужской туалет. Плинио вздохнул с некоторым облегчением. Но так или иначе он вошел. Пройдя мимо умывальников, Хосе Мария скрылся в кабине и заперся. Плинио решил остаться и послушать. Не станет же он... Нет, слава богу, послышались звуки, вполне соответствующие месту. Плинио подождал еще немного. И, услышав шум спускаемой воды, поспешил обратно — в кресло.

Очень скоро вошел и Хосе Мария — как обычно, медленным, неуверенным шагом. Сел на ту же софу и продолжал прежним бесцветным голосом, словно он и не уходил и никакой вспышки энергии не было в помине.

— Они никогда мне ничего не давали. И вечно говорили. вот нас не будет— все тебе достанется, а до тех пор — нет... А мне, истинная правда, ничего и не надо было. Ничего, кроме одной вещи.

— Какой?

— Я понимаю: это смешно,— добавил он, опустив белесые веки,— но уж каждый таков, каким его создал бог... У них тоже странностей хватает. И милых странностей, и не очень милых.

Он опять замолчал и снова обернулся к балкону, как будто ждал, что кто-то оттуда за него продолжит.

— Что вы имеете в виду? — настаивал Плинио.

— Они все хранят, все берегут. Я им всегда говорю: «Вы барахольщицы» А они смеются. Все хранят. Даже письма деда и бабки, когда те были еще только помолвлены... И у них есть четыре письма с маркою восемьсот шестьдесят пятого года, которая у нас, филателистов, называется: «Двенадцать реалов, красно-синяя, с перевернутой рамкой». И вот я всю жизнь их прошу. Не письма, конечно, а марки. Зачем они вам, вы же не собираете марок? И я готов заплатить за них. Они нужны мне для коллекции... А они не давали. И все смеялись: «Настанет время, все твое будет».

— Так вот оно что! — выдохнул Плинио.

— Теперь они у меня в альбоме. Я не мог устоять против искушения. Я понимаю, это низко — воспользоваться отсутствием бедных сестриц и завладеть, наконец, марками, но это было сильнее меня... Я верну их завтра или послезавтра.

— Можете оставить их себе,— сказал Плинио, поднимаясь и не скрывая разочарования.— Это вы звонили вчера в гостиницу, спрашивали меня?

— Я.

— И вы, конечно, знали, где хранится ключ от тайника?

— У меня свой ключ от тайника.— И он показал ключ.

Все трое молча спустились по мраморной лестнице.

— Чтоб тебя! — прорвало Плинио, когда Хосе Мария отъехал на такси.— Ну и заварил он кашу со своими дерьмовыми марками!

— Не говори...

— До чего же мне хотелось вклеить ему по физиономии, когда выяснилось, из-за чего вся петрушка! Черт бы его задрал... И опять мы с пустыми руками. Как прежде. Опять все с нуля. Знаешь что, если дом доньи Ремедиос дель Барон тоже ничего не даст, а я этого очень опасаюсь, то завтра же, дорогой мой, садимся в автобус — и прямым ходом в Томельосо.

— Завтра тебе нужно заказать костюм.

— А-а!

— Ну вот, Мануэль, вечно ты спешишь. Если у тебя не получается так быстро, как тебе хочется, ты сразу — в ярость.

— При чем тут ярость? Просто нам ничего не остается. Разве не видишь, что за семейка. Может, этим святошам в голову ударило отправиться в Индию лечить прокаженных, а мы тут будем пилить по городу из конца в конец до второго пришествия... Да еще этот братец заморочил нам мозги своими вонючими марками!.. Готов сквозь землю провалиться, как вспомню эти чашечки с ложечками и блюдечками в отдельных конвертах... Говорю я тебе...

— Ну, Мануэль, будет. Хотя по правде сказать, когда ты злишься — становишься прямо остроумным.

— С какой рожей стану я теперь объяснять комиссару, что вся эта возня с «напечатками», как говорит Гертрудис, затеяна была, чтобы отыскать четыре марки... Вообще с этими отпечатками мне всегда не везет. Стоит мне ими заняться — все насмарку!

Дон Лотарио надрывался от хохота, и несколько прохожих даже остановились и с удовольствием наблюдали за ним.

— Как вспомню эти конверты с надписями, а внутри — чашечка...

— Чашечка, блюдечко и ложечка. Не как-нибудь. Вот смеху-то!

— Ладно, хватит, замолчи.

Когда один немножко успокоился, а другой отхохотался, они взяли такси и отправились в кафе «Мезон дель Мосто», где договаривались встретиться с Фараоном.

Он уже поджидал их, стоя у бара и разговаривая с хозяйкой, пил белое томельосское вино и заедал жареными с чесноком потрохами. Губы у него были в масле, он смачно уписывал за обе щеки.

— Ну и ну, блюстители уже тут! — воскликнул он, завидев их.— Налей им сперва пивка, чтоб освежились, а потом неси потроха.

Поздоровавшись и перечитав плакаты над стойкой, Плинио осведомился, готов ли жареный заяц, которого им обещал Антонио-Фараон.

— Готов, сеньор,— ответила хозяйка,— как раз сегодня утром с автобусом привезли свеженьких, и через несколько минут — так просил сеньор Антонио — все будет на столе.

В этот момент в дверях показались разинутые рты, из которых неслась песня.

— Вот те на! Откуда вы взялись, прохвосты? — закричал им Фараон.

А певцы — Луис Торрес, Хасинто Эспиноса и Маноло Веласко — кто во что горазд продолжали «с душою», как и требовалось по ходу дела. Точнее, пели Луис и Хасинто, а Веласко лишь робко им подхихикивал.

— Ну ладно, входите, а гимн свой за дверью оставьте,— предложил Фараон.

Но лирики — они были навеселе — не унимались и, стоя в распахнутых настежь дверях, тесно, плечом к плечу, еще некоторое время продолжали тянуть свое.

— Ну что, хотите по новой завести? Видим, видим — дело знаете. Входите, пропустите по рюмочке.

— Ну, раз уж здесь наш полицейский столп из Томельосо,— завопил Луис Торрес, направляясь к Плинио с протянутой для пожатия рукой.

— И столп дон Лотарио тоже... и Фараон,— добавил Хасинто, пожимая им руки.

Когда радость первой встречи немного утихла, попросили еще вина, а к нему — чтобы легче шло — жареных потрохов, всякой закуски и цыпленка, которого здесь умели готовить.

— Ну до чего же я рад! — сказал Луис Торрес, хлопая Фараона по спине.

— Вино здорово способствует радости. А это к тому же выдержанное,— разъяснил толстяк на свой лад.

— А тебе, Фараон, видно, здорово уже поспособствовало,— сказал Хасинто.

— Я — как бы ни складывались дела — эту радость себе доставляю всякий праздник и в канун праздника тоже, а еще по четвергам и во все остальные дни недели. Будь спокоен, уж мне-то не придет в голову помереть от тоски. Жизнь короче глотка вина, и если нет у тебя под боком развеселой девицы, то лучшая забава — засесть где-нибудь в баре в тесном кругу друзей и сидеть, пока глаза на лоб не полезут. А все остальное выеденного яйца не стоит.

— Ну до чего же я рад, честное слово! — повторил Луис.— Ну-ка, Адела, еще по одной нам, да поживей. А вы, Мануэль, рады?

— Я не любитель крайностей. Я печалиться особенно не печалюсь и смеяться до упаду не смеюсь. Я не из тех, у кого на лице написано, что они думают, и во всем люблю меру.

— Это вино хоть и шипучее, но выдержанное,— уточнил Фараон.— Однако же и дон Лотарио, когда войдет в раж, может выдать струю...

— Всего довольно в винограднике господнем,— сказал дон Лотарио, глядя на Плинио.

Веласко расхохотался и посмотрел на дона Лотарио, а тот неопределенно махнул рукой — вроде бы ему не хотелось в присутствии Плинио обсуждать свои внеслужебные склонности к внеслужебным излишествам.

— Вы уже несколько дней в Мадриде и, значит, ничего не слышали о войне беретов,— начал Луис наставительно.

— Понятия не имеем. Писем нет,— отозвался Фараон.

— Ну и дела — конец света! — продолжал Луис с торжествующим видом и вытащил из кармана какую-то бумажку.

— Погоди читать, я прежде посвящу их в суть дела,— попросил Хасинто, склонный к педантизму.— Суть вот в чем: новая администрация казино «Сан-Фернандо», куда вхожу и я, на общем собрании постановила, чтобы члены нашего казино при входе снимали береты. Вы знаете, это давнишняя мечта наиболее выдающихся членов нашего клуба. Об этом давно твердят, но добиться ничего не удавалось. Так вот, на днях и неизвестно даже почему заварилась такая каша. Те, что стоят за береты, собрались всей бандой и выпустили манифест... думаю, его составлял философ Браулио — он все законы назубок знает. Дело очень обострилось, и вот, сеньоры, знайте: того и гляди, начнется из-за этого гражданская война.

— Другими словами, вы ополчились на несчастных, которые не хотят снимать беретов,— проговорил очень серьезно Фараон.— Они, можно сказать, со

дня рождения этот берет не снимали, и когда случается на похоронах берет на минутку снять, так они сразу простуживаются с непривычки, а вы хотите, чтобы они в казино целыми днями сидели без беретов, как голые?

Веласко хохотал, не разжимая рта, до слез.

— ...Вы требуете невозможного,— продолжал Фараон тоном проповедника.— Мой свекор, к примеру, и спал всю жизнь в берете... и помирал в нем. И причащался в берете, и помер в берете, надвинутом по самые уши... А свекровь моя — она и по сей день жива,— так она обрядила его в саван, а берет монашеским капюшоном прикрыла, чтобы не смеялись над беднягой. Но все-таки берета с него не сняла, потому как знала: это для него последнее удовольствие... Так вот, в деревне все спят в беретах — все до единого. Я своими глазами видал, да еще сколько раз — лежит себе в постели такой, закутанный по самые уши, только черный берет выглядывает. Как ни странно, но так оно и есть. Летом в самую жару спят в чем мать родила, но шапку с головы ни за что не снимут. Смех, да и только. В Томельосо почти всех жителей мужского пола отцы зачали с беретом на голове. Ради женщины в постели они с беретом не расстанутся, а ты хочешь, чтобы они на старости лет снимали его, входя в казино? Очень сомнительно.

— Есть и еще одна важная причина,— сказал Плинио, когда все немного успокоились,— лица у них обветрились на солнце, а лбы так и остались белыми, да еще волосы повылезли. Вот они и стесняются снять шапку. Считают — некрасиво.

— Нет, это чепуха. Главное — привычка и боязнь простудиться,— перебил его Фараон.— Братец мой Торибио Лечуга в парикмахерской, даже когда его бреют, берета не снимает. А если дело до стрижки дойдет — снимет на минуту и сразу кашлять начинает. «Так что, говорит, сам понимаешь, из парикмахерской я прямым ходом в аптеку, к донье Луисе». Во, какие дела!

— И на свалке томельосской всегда полно старых беретов,— вдруг заметил весьма многозначительно дон Лотарио.

— Ну, ладно,— вскочил вдруг виноторговец,— при чем тут это?

Веласко опять захохотал, хватаясь руками за живот.

— Я сказал только, что, мол, много беретов потребляют у нас в городке,— как бы извиняясь, отозвался ветеринар.

— Ну так читать манифест или нет? — спросил Луис Торрес, размахивая свернутой бумагой, как шпагою.

— Давай читай,— согласился Плинио.— Браулио зря не напишет.

Тот, склонившись над бумагою, начал:

— «Господа члены «Томельосского казино»! Наша достославная томельосская общественность, поддавшись наущению кино, телевидения и приезжих, хочет, чтобы мы обнажали головы...»

— Что за черт, что там задумали приезжие? — взорвался Фараон, который от вина становился раздражительным.

Последовал новый взрыв хохота, а насмеявшись, все снова принялись за вино, потом опять навалились на блюдо жаренных с чесноком потрохов.

— Ну, ладно, я продолжаю.. «Сельские чинуши, те, что молятся на футбол, шалопаи, что ездят учиться в Мадрид, Саламанку и Кадис, хотят, чтобы мы не покрывали больше голову. Эти, что вслед за американцами накупили мотоциклов, машин и тракторов, священники-республиканцы и пропойцы — любители хереса хотят, чтобы мы сняли наши береты, чтобы они гнили на свалке под химическими удобрениями...»

— Или я схожу с ума, или там написано: под химическими удобрениями, — не унимался Фараон и протянул руку, чтобы схватить бумагу.

— Я так и знал, что в этом месте ты не удержишься,— заметил Луис.

— Ради бога, это уж совсем мура,— упорствовал Фараон.

— Не похоже это на Браулио,— заметил Плинио,— он такого не скажет, да и мертвых не станет всуе поминать.

— А тут поминают,— подтвердил Луис,— да еще как поминают! Вот дальше смешно: «Мы, законные томельосцы, прямые потомки Апарисио и Киральте и лучшие в роду Бурильосов, Лара, Торресов, Родригесов и Сеспедесов, которые жили в этом городке, все мы испокон веку были виноградарями и не ходили голышом. Мы, в беретах, хозяева всей округи — до селений Робледо и Криптана, до Сокуэльямоса и Педро-Муньоса, до Мансанареса и Соланы... С беретом на голове уже много веков встречаем мы каждый день зарю и коротаем ночи и превращаем наш городок в винную державу, которой ныне завидуют Аргамасилья и Эренсия...

Берет — символ труда и чести самых достойных уроженцев нашего города, тех, кто превратил пустыри в виноградники, берет — знамя тех, для кого честь— превыше всего, тех, кто, наконец, создал наш герб, на котором изображен заяц в зарослях тимьяна...

С тех пор как городок наш — такой, каким вы его видите, со времен сестры Касианы и дона Рамона Ухены, со времени учителя Торреса и алькальда Чаке-

ты, еще до рождения доньи Крисанты, когда кладбище было там, где теперь — площадь, а ярмарки устраивали на Ярмарочной улице... Да, в конце концов, саму революцию, давшую нам общество потребления, устроили наши предки с этим блином на макушке...»

— Ишь ты.. ну чисто стихи!

— А ты помалкивай, нарочно так, чтобы запомнилось. Далее: «И старое кладбище и новое — все сплошь в беретах, венчающих черепа. Граждане томельосцы, мужайтесь и стойте до последнего — история принадлежит нам... А вы, чинуши и барчуки, с папиросками светлого табака и в штанах по последней моде, без ширинки — вы отправляйтесь в «Сиркуло либераль» или в «Энтрелагос», сосите там свои виски с коктейлями, заедайте дорогими лангустами, из-за которых столько народу прозябает в нищете, а уж мы, истинные дети земли, мы останемся здесь, в «Сан-Фернандо», мы — старая гвардия, от сохи... В темных рубашках и в беретах мы будем пить чистую воду, разговаривать о виноградниках и курить крепкий табак, и то, что положено иметь мужчине, у нас будет таким, как положено...

И они еще называют нас простаками и отсталыми. Гром их разрази! Ведь благодаря нам у них есть кусок хлеба и виноградники, благодаря нам носят они эти дурацкие пиджачки в обтяжку, и пока мы живы, черт возьми, в «Сан-Фернандо» всегда будет полно настоящих мужчин с покрытой головой... Простаки томельосцы, объединяйтесь, победа будет за нами!»

Они уже покончили с манифестом и почти все обсудили, когда принесли дымящихся цыплят.

— На всех хватит, кто пожелает.

Сдвинули столы и поставили сковороду посредине.

— Ну, ребята, навались! Куры по-деревенски. Давай, Веласко, и не говори потом, что мы тебе не хороши,— ораторствовал Фараон,— ведь вы зашли так — наобум, а вас ждет еда, пальчики оближешь.

— Но платить будем мы,— вскочил Луис.

— Нет, ты нас сюда не приглашал, и ты ни гроша тут не заплатишь, дорогой, но впереди у нас весь вечер и ночь, и никто тебе не помешает повести нас еще куда-нибудь...

— Ты с ума сошел, Антонио,— вмешался Плинио.

— Ни с ума, ни с чего другого. Просто я чувствую себя молодым и полным сил.

— Значит, это вино на тебя действует,— поддел его Хасинто.

— И на тебя точно так же, погляди, как у тебя глаза горят. Вино мне развязывает язык. Без вина и жизнь не в жизнь. Оно снимает тяжесть с сердца и дарит смех, подстегивает нервы, оживляет беседу; друзья от вина кажутся добрее, а женщины — все до одной желанными. Вино веселит и греет сердце. Очищает печень, делает язык острее, а слова весомее, разжигает шутки, будит блеск в глазах, подстегивает мысль, и вся жизнь становится сгустком удовольствий Пить надо с умом, и тогда чувствуешь себя молодым, и в пыли видишь цветы, руки плачут по женщине, а ноги пускаются в пляс. Вино — это кровь, которая веселит плоть земли. То животворное сусло, из которого творится человек. Все великое в этой жизни ударяет в голову вином. Раскидистые деревья, пышнотелые женщины, кудрявые сады, дерзкие животные, птицы, не знающие законов, пестрые куропатки, мясо освежеванного ягненка, кипящее масло, ребенок, который копошится в пеленках, утро, врывающееся в окно, солнце на закате, рисующее на стеклах помидоры,— все прекрасное и великое в этой жизни сильно, как вино.

— Сразу видно — виноторговец,— робко вставил Хасинто, а Фараон, не забывая о еде и наполняя стакан за стаканом, все не унимался, продолжая слагать гимн Дионису:

— ...А когда настает твой черед и в изголовье тебе ставят свечи, это значит, ты потерял поддержку вина. Значит, в немощи ты позабыл о бутылке. Ты видишь жизнь в мрачном свете? От этого недуга есть средство — бочка. Ибо вода к нам приходит с небес, а вино — из нутра земли Нет фильма лучше того, какой ты видишь на дне стакана. И нет в мире звуков слаще звона струи из боты. Прочисть же мозги пивом, а потом потихоньку принимайся за бутылку. Вот так — за вином и разговорами — и становятся мужчиной. В вине и песнях рассеиваются печали, растворяется тяжесть сердца. Стакан вина на бедре женщины — можно ли пожелать большего?

— Ишь дает, да он поэт почище Браулио! — не удержался Луис.

— ...И что может быть лучше, чем сидеть под вечер за кувшином вина...

Когда поели, выпили кофе и перешли к обсуждению предстоящих развлечений, Плинио почувствовал, что все это ему начинает надоедать. Он устал от хохота, выкриков и гама. Надрывное веселье всегда вызывало у него сомнение. Ребячество это — пытаться таким образом стряхнуть житейские заботы и изба-

виться от гнетущей пустоты. И слишком тягостно для того, кто больше всего или, напротив, меньше всего хотел бы остаться один на один с самим собою и, уставясь на носки собственных башмаков, заглянуть в прозрачное прошлое или наверняка мрачное будущее. Вот люди и толпятся у стойки бара и пыжатся, желая показать власть, которой не имеют, и разговаривают голосами, какими, по их представлению, разговаривают люди сильные, и расписывают истории с женщинами, приличествующие какому-нибудь донжуану, до которого самому ему далеко, и уверяют, что, мол, везде-то ему почет и уважение,— словом, каждый устраивает свой собственный театр, в котором он играет роли, написанные на собственный лад. Изо дня в день каждый выходит на улицу, неся в себе целую труппу и полный репертуар утешительных сказок. И только у некоторых, очень немногих, нефальшивых, прекрасно понимающих, чего они стоят, манера поведения совпадает с тем, что творится у них на душе. Вот у таких, может быть, как он. Плинио никогда не испытывал жалости к себе. Ни жалости, ни восхищения. Однажды дон Лотарио спросил его: «Мануэль, а ты никогда себя не жалеешь?» — «Нет, я не жалею себя, но и радости особой себе не доставляю,— ответил тот.— Я к себе отношусь спокойно. Я занимаюсь в жизни тем, чем хотел. Не более и не менее. И знаю: то, что я делаю,— такой же обман, как, насколько я вижу, и то, что делают другие. Но надо быть терпимым и уметь принять условия игры, которые написаны нам на роду, вполне нам подходят и даже нас выручают. А вам, дон Лотарио, себя жалко?» — «Да нет, и, в общем, благодаря тебе. Люди бывают двух типов: одним, чтобы жизнь была сносной, нужно что-то. Это — ты. А другим нужен кто-то. Это — я».— «Кто же это вам сказал, что мне не нужны вы?» — «Я знаю, Мануэль, что нужен, но иначе. Ты мне нужен такой, какой ты есть, я же нужен тебе как наблюдатель. Ты получаешь удовольствие, когда учишь меня рассуждать. А мне нужен ты сам и твои рассуждения, и какими бы они ни были, я бы все равно был с тобой».

Когда Плинио с высот своих раздумий вернулся на землю — в «Мезон дель Мосто», он заметил, что ветеринар наблюдает за ним. И тогда, наклонившись, Плинио щепнул ему на ухо:

— Пойду в кафе «Комерсьяль», проветрюсь немного. Я что-то отупел от такого количества кур и вина. Не знаю, что буду делать потом. Если я не позвоню, приходите туда.

Он попрощался, сославшись на дела, и ушел. В кафе он сел за отдельный столик, попросил простокваши и попробовал задремать, но ничего не вышло. И скука и дремота, одолевавшие его после обеда, были, видно, чисто профессиональными. С папиросой в зубах, подперев рукою щеку, он наблюдал за движением на площади Бильбао. Из-за машин ничего не было видно. Ему до смерти не хотелось возвращаться в дом сестер Пелаес. Да и зачем? «Если говорить серьезно, Мануэль, на полном серьезе, дело закрыто». Сколько он ни напрягался, никакого следа не учуял. «Должно быть, комиссар уже звонил на улицу Аугусто Фигероа насчет отпечатков. Теперь все равно. Новильо, наверное, пошел разносить готовые рамки, а может, сидит в кафе «Насьональ» за газетой. Этот дурак Хосе Мария, пустив следствие по ложному следу к сватовству тридцатилетней давности, блаженствует теперь дома, любуется своими четырьмя марками, которые он тяпнул из тайника за портретом дядюшки Норберто, отца рыжих сестер, того самого, что был нотариусом в Томельосо, потом в Мадриде, после чего отправился в Рим, откуда писал письма, а потом, однажды вечером, отдал богу душу». Прошел продавец газет, и Плинио купил газету. «Ну-ка, не появились ли рыжие сестрицы, изнасилованные где-нибудь близ колодца дядюшки Раймундо. Лучше бы, конечно, пойти в гостиницу да поспать — может, когда пройдет дремота после этой жирной еды и вина, глядишь, и придет в голову какая мысль, а нет — так фиг с нею; завтра верну дело комиссару, закажу костюм у Симанкаса и отбуду к себе в Томельосо. Вот так-то оно лучше». Он расплатился. Выкинул газету и пошел к телефону — поведать дону Лотарио о своих планах.

Уже в кабине, отыскивая в телефонной книге номер «Мезон дель Мосто», он заметил на обложке несколько номеров, записанных вкривь и вкось. Ему тут же вспомнилась телефонная книга рыжих сестер... вспомнилось, как он ждал в «Насьонале», как потом вернулись дон Лотарио с Фараоном, вспомнилась донья Мария де лос Ремедиос, с ее приливами, пышущая жаром цветущего тела, грудастая, в полном расцвете своего бабьего лета. Как все странно. Будто прочитав вдруг диковинную телеграмму, он почувствовал, что настроение у него проясняется, становится легким и почти лирическим. Словно все поры раскрылись. Осталось сделать последнее усилие. Он отыскал номер и позвонил в «Мезон».

— Послушай, Адела, пусть дон Лотарио подойдет к телефону... Дон Лотарио, я решил сходить к сеньоре Марии де лос Ремедиос. Посмотрим, что получится. Увидимся в «Гайянгос», выпьем там по рюмочке перед ужином.

— Хорошо. По крайней мере, ты хоть оживился.

— Иду, чтобы развязать последний узелок... а точнее сказать — единственный.

— Попытка — не пытка.

— И скорее всего — опять какая-нибудь чепуховина вроде марок. Ну, увидим.

— Не спеши судить. Потом расскажешь. До свидания.

Тут же на площади Плинио взял такси и поехал в Верхний Карабанчель

В Верхнем Карабанчеле Плинио не бывал с тех пор, как приходил сюда солдатом. Единственное, что осталось у него в памяти,— это темная каменная ограда, которая возвышалась вдоль тротуара по левую руку, если ехать из Мадрида. Улицу Генерала Рикардоса, уходившую вверх, всю застроили, а в прежние времена здесь было чистое поле. Тогда через пустыри и пустоши ходил трамвай, да иногда попадалась одинокая таверна, где рабочие играли в чехарду или спорили о политике. Теперь здесь пролегала улица с современными зданиями.

Он прошел мимо такого знаменитого в прежние времена Дома прессы; теперь кое-как подкрашенный, кое-где облупившийся, он выглядел заброшенным. Виллы из красного кирпича — место отдыха столичных заправил,— которых раньше тут было множество, теперь либо вовсе исчезли, либо вконец обветшали. От некоторых осталась лишь зеленая садовая решетка да черные парадные ворота, а внутри, там, где раньше был сад, часто высились, словно непрошеные гости, уродливые здания.

Иногда еще встречались сельские постройки, где дверь под крашеным козырьком выходила прямо на улицу, внутри был узкий дворик с какой-нибудь зеленью, а в глубине — жилые комнаты. Когда Плинио проходил мимо такого дома, в памяти всплывали женщины тех времен — платья до пят, волосы собраны в пучок на затылке; под вечер они выходили на улицу выпить чего-нибудь прохладительного. Ему вспомнилась девушка той поры, на которой он чуть было не женился,— у нее была лавочка, где продавались яйца, и большая родинка на подбородке. Когда он маршировал к себе в казарму, она, стоя в дверях лавочки, посылала ему вслед воздушные поцелуи.

Старая ограда значительно укоротилась, от нее остался только кусок — на память. Здесь, у выхода на площадь, выкурил солдат Плинио сотни сигарет и осмотрел множество девушек с пучками на затылке.

Мануэль чуть было не осел тут и не стал хозяином лавочки, да в последний момент передумал. Жизнь за прилавком — не его призвание. Он вернулся в селение с намерением заняться чем-нибудь, связанным с виноградом, и некоторое время даже был трактирщиком, но потом алькальд Карретеро предложил ему должность в Муниципальной гвардии.

Он оставил такси на площади, рядом с непременной в таком месте церковью, огляделся вокруг, и у него защемило сердце. Как раз здесь они устроили пирушку в день святого Петра. В тот вечер самым старательным дали увольнительную в город и позволили идти на гулянье, есть жареные пончики и кататься на карусели с лавочницей, по очереди дарившей их своим расположением. В те времена всюду полно было квартеронов в фуражках, с белыми косынками на шее; они похвалялись своей дерзостью, танцевали чотис, раскинув руки как канатоходцы, садились, широко расставив ноги и наклонившись вперед, а рукою упершись в ляжку. Тогда еще в ходу была поговорка: коли есть мускулатура — ни к чему тебе культура. Этот народ считал своим долгом постоянно утверждать свое мужское достоинство. Что с ними сталось? Гниют, должно быть, на каком-нибудь католическом кладбище, и уж теперь, как говорится, не до песен им и не до женской ласки. А бедняжка лавочница, которую звали Консуэло, теперь, наверное, одна из тех вон согбенных старушек, что сейчас выходят из церкви. Сколько лет прошло, и от ее, когда-то такого родного, лица только и осталось в памяти что родинка на подбородке. Все тут переменилось. Много временных построек унылого вида. Те, что строили с помощью банков, выглядят получше И на каждом шагу — бары с телевизорами и машины. В прежние времена тут ходили желтые медленные трамваи — до Матадерос, до Нижнего Карабанчеля и до центра. До самой Главной площади. Трамваи с деревянными скамьями вдоль вагона были битком набиты женщинами с корзинами, солдатами и служащими Помнится, один раз была забастовка вагоновожатых, на их место сели железнодорожники, и трамваи ходили из рук вон плохо.

Главная улица, та, что выходила на площадь, выглядела почти как мадридская, во всяком случае с претензией на это. Но в боковых, отходящих от нее улочках почти все дома были старые, особняки выглядели заброшенными, и полно было пустырей и заросших травою участков. Кое-где еще меж заводских громад виднелись стада овец. Главная улица разрослась и помолодела, а вот прилегавшие к ней — обветшали. Словно как оживший ствол с засохшими ветвями. И не Мадрид и не деревня. В виллах, построенных когда-то для отдыха, теперь не отдыхали, во всяком случае, по их виду этого нельзя было сказать. Какая-то мешанина сомнительного вкуса: новые дешевые дома и рядом — старые, неухоженные, серые, печальные.

Плинио пошел, ориентируясь по тому, что рассказали ему дон Лотарио с Фараоном. Свернул на улицу Эухениа-де-Монтихо. Многие улицы были названы по-новому, в честь военных. Между двумя довольно заурядными зданиями был

ровный пустырь, а за ним проглядывал, словно театральный задник, столичный квартал Мадрида. Несмотря на то что город разросся и в небо поднялись многоэтажные здания и желтые хвосты дыма, несмотря на хаос и импровизацию, которые натворили сумасшедшие и торгаши, несмотря на все это Мадрид сохранил что-то от своего классического облика города времен Эдуардо Висенте. Купола старых церквей, забытая серая громада королевского дворца, старые черепичные крыши с трубами и слуховыми окнами, оставшиеся от XIX века. Башни с флюгерами, ровные ряды деревьев и непременное солнце, которое, прежде чем скрыться, кроваво ранит окна верхних этажей. Мадрид до 1936 года издали походил на провинциальный город Кастилии или восточной Испании с кое-как замаскированной бедностью. Не господствовали тут большие частные дома, покрытые патиною времени. Почти не было кирпичной архитектуры. И не в чести был основательный классический стиль. Над скромными, невысокими жилыми домами вдруг взмывала ввысь церковь, то тут, то там маячила частная резиденция или административное здание. Он был похож на большой средневековый город ремесленников, с грехом пополам приспособившийся ко времени, но не имевший ни возможностей, ни сил возвыситься над собственными башнями, как это удалось большим городам Европы. Современные небоскребы, разрывающие ровный городской пейзаж, принадлежат другому миру, иным представлениям, которые ничего общего не имеют с тем, что существовало здесь до них,— с церквами, дворцами или улицами времен Гальдоса. Они, эти небоскребы — новый облик бедности и отсутствия вкуса. Они порождены не эстетикой гигантов, как небоскребы Нью-Йорка, а спекуляцией земельными участками и разрушают складывавшийся веками контур города. И в центре Мадрида произошло то же самое, что в его предместье Карабанчеле: резкий, без перехода, скачок от средневекового дома с загоном для скота к блочному строению-улью, минуя широкие проспекты, как в Париже, и чинные каменные здания, высотою превосходящие церкви. Испанец всегда готов кинуться от самого дремучего консерватизма в безрассудную импровизацию. Тут нет архитектурного ритма, и ничто никогда тут не возводилось по заранее обдуманному плану. Либо, пытаясь удержаться на месте, насмерть закручивают гайки так, что болт летит, либо же хватаются за самые отчаянные и рискованные меры без смысла и без разбора... Значительная часть испанской истории — серия судорог и дерзких выходок наряду с чудовищным умственным застоем и консерватизмом формы. Плинио вспомнилось, Хонас Торрес рассказывал как-то в «Сан-Фернандо» об одной своей знакомой, страшно набожной, которая всю жизнь держала лавочку на Почтовой улице, где продавали ткани для монашеских ряс; когда же дела у нее пошли худо — а тут как раз хлынули туристы,— она открыла на пляже в Бенидорме магазин «бикини». В пятидесятые годы она бы ни за что на свете не стала продавать и обычного купального костюма, но вот начался бум, и она от монашеских ряс перекинулась сразу на иную одежду — лифчик и трусики, да такие, что пуп наружу. И еще Плинио слыхал об одном человеке, он в сороковые годы служил инспектором на танцах и штрафовал каждого молодого человека, которому случалось во время танца слишком приблизиться к девушке; теперь в Барселоне он содержал ночной клуб, где было много чего дозволено. А все оттого, что средний испанец очень впечатлителен и ленив мыслью, а потому готов идти, куда ветер подует.

Полученных указаний было явно недостаточно, и Плинио вернулся на площадь и спросил у регулировщика, где вилла «Надежда». Тот указал дорогу, и Плинио быстро нашел. Вилла оказалась типичной для Карабанчеля постройкой начала века. Огромный, из обожженного кирпича, домище в один этаж и с подвалом. Вокруг — небольшой запущенный сад, окруженный беленной в незапамятные времена оградой с высокими решетчатыми воротами, выкрашенными тусклою зеленой краской. Прежде всего Плинио прошелся вдоль ограды. Хотелось найти место, откуда можно было бы спокойно наблюдать за домом, но такого места не нашлось. Напротив дома была полуразрушенная кирпичная стена. За стеною и по обе стороны ее — заросший травою строительный мусор, горы старых бумаг. Ничего не оставалось, как войти. Он нажал кнопку звонка у ворот. Через некоторое время дверь в доме отворилась и показалась старая женщина, резкая в движениях и, судя по всему, дурно настроенная. Наверное, мать Марии де лос Ремедиос.

— Вы звонили? — крикнула она.

— Я.

— Чего вам?

— Я к вам. Я из Томельосо.

Женщина остановилась в нерешительности, и тут же за ее спиною показалась донья Ремедиос. Она, прищурившись, поглядела в сторону ворот и, узнав Плинио, улыбнулась. Донья Ремедиос пошла к воротам, на лице у нее было написано удовольствие.

— Мануэль, каким это вас ветром занесло? — сказала она, подходя.

Старуха вошла в дом. Донья Мария де лос Ремедиос открыла ключом замок.

— Входите, входите... Мы собираемся уезжать, но еще есть время.
— Я просто зашел навестить вас.
— Входите... входите.
— Вы в Томельосо?
— Нет, на воды. У матери артрит тяжелой формы, и мы всегда в это время года ездим на курорт.

И в самом деле, сеньора приоделась. Лицо у нее было ясное, безмятежное — и следа не осталось от того волнения, которое заметил Плинио в дороге. Белокожая, с черными как смоль волосами и не сходящей с лица улыбкой, чуть, может, полноватая, но вовсе не толстая, сеньора, подумалось Плинио, необыкновенно хороша, несмотря на свои полных пятьдесят лет.

В прихожей стояло несколько чемоданов.

— Присядьте хоть ненадолго,— предложила она, указывая на стоявший в прихожей плетеный стул тех времен, когда он был еще рекрутом.

Плинио отметил, что принимают они его явно на ходу. Обе женщины стояли рядом и глядели на него каждая на свой манер. На лице дочери — приветливая улыбка, а мать словно уксусу глотнула.

— Чего хотите — пива, кока-колы или еще чего-нибудь?
— Вполне достаточно простой воды.
— Только этого не хватало! Я принесу кока-колу.

И обе женщины поспешно пошли за кока-колой. В прихожей не было иного освещения, кроме света, падавшего из окна над дверью, которая выходила в сад. Справа портьеры закрывали вход в столовую или гостиную. Шесть стоявших в ряд чемоданов были такими сверкающими и новенькими, по последней моде, что никак не вязались с обстановкою и духом всего дома, которые вполне соответствовали началу тридцатых годов. Еще тут были две растрескавшиеся фаянсовые подставки для цветочных горшков. Глухую, как в деревне, тишину нарушал лишь стук провисших проводов, которые под ветром время от времени ударяли в стекло над дверью.

Наконец появилась Мария де лос Ремедиос с крошечным подносом, а на нем — бутылка и стакан. Следом за нею вошла и мать.

— Пожалуйста, Мануэль... Что это вы, томельосцы, зачастили ко мне? Вчера тут были дон Лотарио и этот, виноторговец, не помню, как его зовут. Я очень обрадовалась. А вот сегодня — вы.

— Ну да, это они мне рассказали, что у вас дом очень красивый,— сказал Плинио с намеком, глядя на двери, ведущие внутрь дома.

— Ах, какая жалость! Действительно, он был красивый. Когда его свекор построил... Теперь уж он не по моде и для двоих слишком велик.

Плинио сделал два-три глотка и закурил папиросу. Наступило молчание. Донья Ремедиос призадумалась, однако улыбка не сошла с ее лица; наконец она сказала:

— Проходите, Мануэль, проходите,— и, отдав бутылку и стакан матери, раздвинула портьеры.— Вот это мы называем салоном, хотя вид у него довольно запущенный.

И впрямь, на всем лежала печать запустения и не было единого стиля. Нельзя сказать, что было грязно, однако, судя по всему, вещи, приходившие в негодность, тут не чинили. В этом так называемом «салоне» стояла хромоногая тахта и несколько стульев, обитых кожею, как в конторе. Пианино и этажерка с пожелтевшими нотами.

Мать шла за ними, но не входила в комнату, а останавливалась в дверях, глядя мрачно и недоверчиво.

— Это столовая.

Ужасающий испанский стиль; медная и серебряная посуда словно из лавки старьевщика. Слабенькие лампочки в деревянной люстре делали столовую похожей на склеп — даже холодок по спине пробегал.

— В этой комнате был кабинет свекра, а потом — мужа.

С потолка свисала большая позолоченная клетка с чучелом попугая, хранившим в своих перьях пыль гражданской войны, а то и более давнюю. Снова так называемый «испанский стиль». Мебельные гарнитуры, как набор катафалков, со множеством морд и лап, цепеняще торжественные,— ад в испанском представлении, выточенный ревностными священниками, со всеми внутренностями, лапами и потрохами, мрачный и инквизиторский.

— А здесь спальни,— указала сеньора на двери, не обнаруживая, однако, намерения открыть их.

Плинио шествовал меж двух женщин. Впереди, проводником — донья Мария де лос Ремедиос, а сзади, как молчаливый конвоир,— старуха. Прошли длинную галерею, где не было ничего, кроме комнатных растений и — снова — плетеных кресел. Как видно, в этом доме имели пристрастие к плетеной мебели... плетеной мебели, которая теперь приобрела цвет леденцов, и подушкам в кретоновых наволочках.

«Раз уж так сложилось, ничего не поделаешь, пусть показывают дом,— подумал Плинио.— Главное — не спускать с них глаз. На том пустыре, что напротив, дождусь, пока они отъедут. И поеду за ними хоть до самого Синая. К чему это они показывают все внутренности... Если бы они не проделали того же с доном Лотарио и Фараоном, я бы подумал, что хотят отвязаться. Значит, считают, что мы приехали покупать дом или же... хотят показать, что в доме живут они одни».

— Мама, ступайте приготовьте чашечку кофе Мануэлю,— сказала донья Мария де лос Ремедиос матери, не поворачивая головы.

Плинио заметил, что старуха остановилась и, постояв несколько секунд, ни слова не говоря, повернулась и пошла. Длинный, залитый солнцем коридор заканчивался тремя ступеньками и дверью, которую сеньора открыла со словами:

— А тут у нас погребок, сыры и окорока нам привозят из деревни. Поглядите. Посыльный привозит или друзья... А в этой бочке старое вино, не знаю даже, сколько ему лет.

Плинио пошел меж полок, уставленных бутылками, оплетенными бутылями, бочонками и сырами. Был тут и глиняный чан с солеными помидорами и колбасы в оливковом масле. Под потолком висели окорока и пласты сала, гроздья винограда нового урожая и дыни. На дне бочонка со старым вином выбиты были теперь уже неразборчивые буквы.

Сеньора, заметив, что Мануэль наклонился прочитать надпись, зажгла верхний свет.

— Это подарок моему отцу, уж не помню, какое доброе дело сделал он одному очень известному в нашем городе семейству. Вот видите...

Плинио наклонился пониже, чиркнул спичкой и медленно прочел:

— «Тысяча девятьсот двадцать четвертый год в па...мять... о...»

И тут он услышал, как хлопнула дверь и повернули ключ в замке. Он быстро обернулся.

Донья Мария де лос Ремедиос исчезла.

«Вот те раз! — воскликнул он про себя.— Попался, как новичок! Чтоб мне было пусто! Таким слыл всю жизнь умником — и полный привет! Ни вам спасибо, ни нам — до свиданья. Все так чинно, все так пристойно, эта трясогузка впереди, старушка — сзади, посмотрите, что у нас тут, посмотрите, что у нас там,— и в мышеловке. А ведь я уже почти нащупал что-то, но вот сеньора велела матери приготовить кофе, и тут я расслабился...»

Он провел рукою по лицу, вдохнул глубоко и, чтобы помочь себе вернуться к нормальному состоянию, очень медленно набил папиросу. Закурил, снял очки, которые надевал, чтобы прочитать надпись на бочонке, и уже довольно спокойно огляделся вокруг.

«Подумать только, какой черт меня дернул смотреть, что там на бочке написано. Полюбопытствовал, называется... Нашел время и место...»

Рядом с только что захлопнувшейся дверью было окно, забранное ржавой решеткой, сквозь которое в подвал падали лучи заходящего солнца. А напротив — еще одна дверь, и в замке торчал ключ. Плинио подошел к двери, прислушался и попробовал открыть ее. Она была заперта. Он с усилием повернул ключ, и дверь легко отворилась. За дверью был темный коридор: отопительный котел, уголь, пучок лучины и стопка газет. Видно, заранее приготовились к первым холодам. Коридор был довольно длинный, выкрашен ядовитой зеленой краской, и в конце, где он немного расширялся, опять было окно с ржавой железной решеткою, через которую проникал свет. Котел был задвинут в нишу. Плинио дошел до окна, где коридор расширялся и заворачивал. Эта часть коридора была короткой и совершенно пустой. В конце виднелась еще одна дверь, как и все тут,— зеленая. Плинио осторожно нажал ручку и приоткрыл дверь. За ней была комната со скошенным потолком, в комнате — еще одно окно и две старинные железные кровати с очень простенькими одеялами, но очень тщательно заправленными. На железном умывальнике — кувшин, таз и огромное, затейливой расцветки полотенце. В глубине комнаты еще одна дверь — застекленная, но через закрашенное стекло проникало вполне достаточно света. Плинио показалось, будто он что-то услышал. Он затаил дыхание. Да, за той дверью кто-то был. Кто-то тихо разговаривал, а может, просто дверь плохо пропускала звук. Плинио бросил окурок, затоптал его и тихонечко подошел к самой двери. Без труда отыскал просвет в краске и надолго приник к стеклу. Когда же он выпрямился, то провел рукою по волосам и улыбнулся, как улыбался, когда дону Лотарио случалось отпустить остроумное замечание. Поправил ворот рубашки, который давил шею, и снова приник к стеклу.

В глубине той, другой, комнаты, очень просторной и тоже со скошенным потолком, стоял стол с жаровней, а за столом две уже седые рыжеволосые женщины, однако более рыжие, чем седые — рыжие всегда седеют позднее,— играли в карты с мужчиной, совершенно седым, в одной рубашке без пиджака. Женщинам было за шестьдесят, у обеих были чуть вздернутые носы, очень по-

хожие, немного манерные жесты, обе были одеты не по-домашнему. У мужчины — бледное лицо, сигарета в углу рта и вид немного озабоченный и немного скучающий. На переднем плане стояла старинная металлическая двухспальная кровать, пожалуй, даже красивая, накрытая покрывалом гранатового цвета, блестящим и чистым. Рядом — телевизор, огромный радиоприемник старого образца и стеллажи, доверху забитые журналами, газетами и книгами. Платяной шкаф. Разностильные, но удобные стулья и кресла, а в глубине, у стены, неподалеку от стола — тахта и лампа в изголовье. На незанятых полками стенах — вырезанные из газет и журналов фотографии людей, которых Плинио не мог узнать. Однако внимание Плинио прежде всего привлек мужчина. В то время как рыжие сестры играли довольно безмятежно — во всяком случае, можно было сказать, что они все-таки заняты игрой, мужчина — так показалось Плинио,— мужчина играл автоматически, а сам он витал где-то очень далеко. Мария — Плинио ни секунды не сомневался, что это она, – сидела справа от мужчины. Ее сразу можно было узнать по детской и доверчивой непосредственности, с какой она смотрела на мужчину. Тот время от времени отвечал ей довольным, но коротким взглядом. И тут же возвращался к игре и курил сигарету за сигаретой.

Алисия, напротив, несмотря на то что была очень похожа на Марию, выглядела несколько настороженной и сдержанной. Она не глядела ни на мужчину, ни на сестру, а только в карты. Нагнув короткую шею, почти уткнувшись подбородком в вырез платья, она тоже была далеко отсюда, в другом мире, возможно, гораздо более близком миру мужчины, чем тому, в котором находилась ее сестра. Мария — романтичная, непосредственная, словно созданная для материнства, для домашних забот. В Алисии же — правда, едва заметно — ощущалось критическое, мужское начало, и, должно быть, в мирные часы всплески ее иронии доставляли немало радости Марии. С близнецами всегда так: у одного сильнее голова, у другого — сердце. Плинио знал это издавна. Один — всегда плоть от плоти земли, другой — несколько истеричен и до крайности чувствителен. Один всегда зритель, другой — действующее лицо. У одного всем существом руководят железы, у другого — мозг... Плинио почему-то думал, что сестры моложе и не такие коротышки. Нет, они не были толстыми, ничуть, они были что называется крепко сбитые, но тонкокостные, а кожа винного цвета, покрытая симметричными и мелкими морщинками. Мария была, пожалуй, и немного плотнее, и пошире в груди. В манерах Алисии проскальзывала твердость и милая решительность. Взгляд у Марии был водянистый, у Алисии — холодный. Глаза у обеих совершенно одинакового цвета, разреза, с совершенно одинаковыми ресницами и бровями цвета виноградного уксуса, но неизвестно отчего — то ли морщинки не совпадали, то ли иначе преломлялся свет или моргали они по-разному, только взгляды и манера смотреть у них были разные. И руки тоже как будто были одинаковые... с виду. Но Мария держала карты небрежно и расслабленно, движения же вытянутых пальцев Алисии были точны и размеренны.

Пока Алисия точными и волевыми движениями тасовала и сдавала карты, мужчина встал из-за стола, притворно потянулся и закурил новую сигарету. Он был среднего роста, с наметившимся уже брюшком, а руки у него были короткие и худые. Лицо с правильными чертами было, пожалуй, симпатично. Должно быть, в юности он был порывистым и искренним и склонен был, наверное, к взволнованным излияниям. Он походил на заключенного, которого пепел времени, заточение и недостаток человеческого общения, словно колпаком из матового стекла, отгородили от него самого, скрыв все, возможно, таившиеся в нем способности. Плинио на своем веку повидал немало людей, отбывших заключение, и ему было понятно это состояние «ухода в себя», когда человек находится словно бы внутри себя самого, как в витрине,— это отчуждение, которое несет с собой изоляция, привычка не проживать жизнь, а мириться с бездействием стольких жизненных пружин и рычагов, мириться с тем, что ни к чему силы и никаких перспектив. У человека, долгое время находящегося в заключении, первой приходит к концу способность смотреть на вещи естественно. Все предстает ему как бы издали, кажется во много раз меньше. Разговаривая, он почти перестает шевелить губами и двигать мускулами лица, отчего лицо у него становится серьезным, как у того, кто думает больше, чем говорит и делает. Пока сестра сдавала карты, Мария глядела на мужчину и робко ему улыбалась. В ответ он поглядел на нее поверх зажженной спички и попытался улыбнуться, но улыбку испортила привычно усталая складка у губ.

Плинио решил войти. Надо было войти в святая святых. Не стоять же тут бог знает сколько! Однако Плинио не мог придумать, как это сделать, как нарушить эту игру, это общение. «Да, со смекалкой у меня сегодня туговато. Это проклятое томельосское вино, такое крепкое, да еще этот куриный жир комом стоит в желудке. Полицейский, если ему предстоит трудная работа, должен есть мало, как монах-картезианец, а пить и того меньше, как протестанты, которые вовсе не пьют. Когда ешь и пьешь до отвала, то немногое, что в тебе светится, и вовсе затухает... Вот почему ты и не знаешь, как войти в комнату...»

Наконец, поскребя еще раз висок, он отошел назад, хлопнул тихонько

дверью, выходящей в коридор, и, не стараясь ступать тихо, пошел к стеклянной двери. Подойдя, он не слишком осторожно открыл дверь.

Трое в комнате, привлеченные шумом, смотрели на дверь. Плинио застыл на пороге — будто от удивления.

Трое, застигнутые врасплох, не шевелились. На их лицах был написан не столько страх — первый испуг прошел,— сколько недоверие: кто этот человек, на вид такой простоватый, и что им все это сулит.

Обе женщины не поднялись с места; одна в руках держала карты, рука другой лежала на столе: они глядели на Плинио, не мигая, полуоткрыв рот и раздувая ноздри. Мужчина стоял — им владел откровенный страх. Страх застаревший, неизбывный, пронизывающий до мозга костей.

— Прошу вас, успокойтесь...— почти взмолился Плинио, и сам немного напуганный приемом.— Я — Мануэль Гонсалес, еще меня называют Плинио, начальник Муниципальной гвардии Гомельосо, мне поручили разыскать вас, сеньориты, хотя в настоящий момент я — такой же пленник, как и вы.

Похоже, какое-то далекое воспоминание мелькнуло в мозгу сестер Пелаес. Во всяком случае они начали моргать, и на их лицах отразилось облегчение.

Мужчина же, напротив, еще больше замкнулся в своей подозрительности, в своем зоологическом страхе.

— Плинио,— проговорила, наконец, Алисия — Да, папа говорил о вас.

— Папа и газеты,— добавила Мария почти радостно.— Это ведь вы в прошлом году распутали историю с иностранкой, которую нашли мертвой в «Ла Ормиге»?

— Я.

— И вас за это назначили кем-то важным?

— Вот именно.

— Мы,— пояснила Мария с детской радостью,— выписываем газету «Сьюдад реаль» и потому всегда знаем все, что там происходит... Мы же — ламанки, вернее сказать — томельоски.

— Я знаю это. Потому-то мне и поручили вас разыскать.

— Садитесь же, Мануэль, садитесь,— предложила Алисия властно, но мило.

Плинио, всем своим видом располагавший к доверию, придвинул себе стул.

— Вы ведь нас помните, нашу семью? — ласково спросила Мария.

— Прекрасно помню. Дон Норберто был такой симпатичный... Я много раз видел, как вы с папашей прогуливались по аллее на Вокзальной площади.

— Какие были времена! — вздохнула Мария.

На мгновение воцарилась тишина — все погрузились в воспоминания.

— И как же вы напали на наш след?

— Благодаря терпению и ряду случайностей.

Плинио перевел взгляд на бледного полного мужчину, который, казалось, немного успокоился, хотя далеко не окончательно.

— А вы, сеньор, кто? — спросил его Плинио мягко.

Мужчина поглядел на сестер, словно советуясь, что ответить.

— Это наш старинный знакомый,— осторожно вмешалась Алисия.

— Сеньорита, ради бога, я пришел помочь вам,— попытался успокоить ее Плинио.— Расскажите мне, пожалуйста, все как есть.

— Я понимаю. Вы пришли, чтобы освободить нас... а вас тоже заперли. Таким образом, хотели освободить, а получилась полная чепуха,— стояла на своем Алисия, лишь бы не отвечать на вопрос Плинио.

— Не совсем так. Есть люди, которые знают, где я нахожусь, и скорее всего сегодня вечером нас всех отсюда вызволят... Я хочу сказать, вас двоих и меня. А что касается сеньора, я не знаю: пленник он или... тюремщик.

Тот, о ком шла речь, все более нервничая, опустил глаза.

— Посмотрим, так ли это, удастся ли нам выбраться из этой норы,— проговорила Алисия, тщательно стряхивая пылинки, которые она одна только видела, и явно не желая понимать намеков Плинио.— Хочу домой. Там уже, верно, все пылью заросло.

— Напрасно вы так,— заметил Плинио.— У Гертрудис все в полном порядке. За исключением пива, что стояло в холодильнике, и нескольких кусков ветчины — все, как вы оставили.

— Нет, если у Гертрудис не стоять над душой, она все делает кое-как.

Видя, что таким путем не узнаешь, кто этот бледный полный сеньор, Плинио изменил тактику и спросил строго, как и подобает полицейскому:

— Какие же причины привели вас в этот дом?

Сестры Пелаес снова переглянулись. У Марии во взгляде мелькнуло сомнение. Взгляд Алисии был решителен и приказывал молчать. Мужчина зашагал по комнате, виновато глядя в пол.

Плинио, не смягчая строгого, официального тона, который нашел в самый последний момент, поднялся и, опершись обеими руками о спинку стула, сказал наставительно:

— Можете упорствовать и молчать, мне все равно. Но завтра, а то еще и сегодня ночью вам придется рассказать в комиссариате абсолютно все... Я, насколько это возможно, пытаюсь помочь и избавить вас от неприятных формальностей. Но вы имеете полное право ничего мне не рассказывать. Вам виднее.

— Мы пришли сюда, потому что он позвал,— сказала вдруг Мария в детском порыве раскаяния, глядя полными слез глазами на толстого мужчину, а тот, явно огорченный ее словами, с пристыженным видом отошел к окну.

— Мария! — крикнула расстроенная Алисия.

— А он кто? — с напором продолжал Плинио.

— Маноло Пучадес, мой жених.

Лицо Плинио не дрогнуло. Алисия сидела сраженная. Пучадес уперся лбом в железную решетку.

— Зачем он вас позвал?

— Чтобы мы вызволили его отсюда, вырвали из лап этих гарпий.

Плинио медленно подошел к Пучадесу и, стоя у него за спиною, спросил почти умоляющим тоном:

— А вы, Пучадес, почему в этом доме? Почему вас тут держат?

Сперва Мария отвечала на вопросы Плинио, а затем и Алисия, пришедшая ей на помощь, и, наконец, Пучадес, стоя все так же, лицом к окну, коротко рассказал любопытную историю своих последних почти сорока лет.

В 1932 году он учился в ветеринарной школе и был членом Единой федерации студентов. Это мать настояла, чтобы он пошел туда учиться, потому что ее брат был всеми уважаемым ветеринаром в селении близ Толедо и обещал племяннику, если тот выучится на ветеринара, передать ему свое звание и практику. Маноло к тому времени проучился уже половину срока на медицинском факультете, но, под влиянием этих обещаний и не желая огорчать мать, перешел в ветеринарную школу. Среди учеников он был самым взрослым и меньше всех чувствовал призвание к этому делу. Медицина его тоже мало вдохновляла. Подлинная склонность у него была к политике. Точнее, к политической журналистике, к пропаганде. По правде говоря, он сознавал некоторую свою наивность, понимал, что ему недостает умения лицемерить и изворотливости, чтобы быть у власти, занимать видный пост. Однако на медицинском факультете он был членом ЕФС и выделялся среди других. В ветеринарной школе он тоже с самого начала стал вожаком. Мать его происходила из семьи очень консервативной и религиозной. Отец же, хоть и военный, был, как тогда говорили, «республиканцем отроду». Провозглашение республики у них в доме восприняли как великий праздник. Все были возбуждены и полны надежд, которых ничто не омрачало, кроме мрачных комментариев матери. Но и она мало-помалу примирилась с новым положением дел. Он вспомнил, как вступил в партию Асаньи, как произносил речи на собраниях левой республиканской, вспомнил свои полные энтузиазма статьи, свою яркую и деятельную жизнь в те годы. Всякий раз, когда мог, он ходил на заседания конгресса... Как-то в воскресенье, в Эскуриале, ему привелось разговаривать с Мануэлем Асаньей, его супругой и Ривасом Черифом, которые оказались там в тот день. Это было как раз — он никогда не забудет — в здании института, напротив монастыря.

Как-то случилось ему сидеть в баре «Капитолий» после обеда. Там он познакомился с доном Пио Бароха и Хулианом Рамалесом, ответственным работником из министерства финансов, уроженцем Таранкона, тоже республиканцем по духу, хотя он ни в какой партии не состоял. Он только что женился на богачке из Томельосо; она была много его моложе и из очень знатной семьи. После февральских выборов 1936 года Рамалес стал гораздо сдержаннее и не всегда разделял энтузиазм Пучадеса, но по-прежнему был с ним очень дружен.

С семейством Пелаес он познакомился через отца. Однажды он пришел с ним в нотариальную контору дона Норберто, чтобы выправить кое-какие бумаги. К дону Норберто отец вошел один, а он остался в приемной. Пока он ждал, пришли Мария с Алисией. Дон Норберто запрещал им входить в кабинет, когда там находились посторонние, и поэтому они довольно долго пробыли с Маноло Пучадесом. Так началось их знакомство и дружба.

Ему почти одинаково нравились обе сестры. Такие обе аккуратные, живые и непосредственные. Более разговорчивой и остроумной была Алисия. Но скоро выяснилось, что у Марии такой нежный взгляд и такая ласковая улыбка, что это его зацепило. Итак, с тех пор он слушал Алисию, а смотрел на Марию. С разрешения дона Норберто, разумеется, он несколько раз бывал у них и очень скоро стал по вечерам — когда не был занят — выходить с сестрами погулять или в театр. В кругу друзей он называл их «мои невесты». Алисию, казалось, вполне устраивало быть «третьей», и когда требовалось, она делалась рассеянной. В театре или в кино, увидев краем глаза, что жених с невестой взялись за руки или застыли, глядя друг на друга, она проявляла повышенный интерес к тому, что происходило на сцене или на экране. Хотя об их помолвке было объявлено и все хорошо это приняли, если не считать скептических замечаний по поводу республиканских перехлестов Маноло, жених и невеста никуда не выходили без Али-

сии. Побыть вдвоем они могли лишь когда возвращались домой. Алисия прощалась с ними, и парочка на несколько минут задерживалась на улице у двери. Когда в первых числах июля стало известно, что семейство Пелаес уезжает на летний отдых в Сан-Себастьян и Пучадес должен приехать к ним в августе, их ласки сьелись к двум поцелуям в щеку, тайком... Ах да! Мария еще провела рукой по его волосам. Тысячи раз потом Пучадес вспоминал эту наивную детскую ласку.

Учение он закончил в июне 1936 года, и свадьба официально была назначена на следующую весну. Он должен был несколько месяцев проходить практику у дяди, с тем чтобы потом возглавить его клинику.

На всю жизнь в памяти у него осталось прощание на Северном вокзале. Обе сестры Пелаес — в одном окошке. А в другом — родители.

«Ну, ты знаешь: комната ждет тебя с первого августа».

«Я приеду».

Когда перонный колокол возвестил отправление, он пожал всем руки. Руку Марии он задержал на несколько мгновений.

«До августа, Маноло».

«До августа. Напиши сразу же, как приедешь».

Поезд мягко тронулся, и семейство Пелаес плавно замахало руками.

«До августа!» Сколько раз потом, на протяжении этих тридцати трех лет, слышалось ему, как тронулся поезд на Сан-Себастьян и восемь рук дрожали в мглистом воздухе, сколько раз внезапно просыпался он, разбуженный словами: «До августа!..» До какого августа, боже мой, до какого же августа?!

Когда началась война, Пучадес вступил в социалистическую партию и стал настоящим активистом. Без устали писал он в партийных газетах, выступал по радио, разъезжал по фронту. Однажды, вернувшись из такой поездки, он узнал, что мать умерла. Его мобилизовали и присвоили звание лейтенанта ветеринарной службы, но на деле занимался он главным образом политической работой.

За годы заключения редко выдавался день, когда бы он не вспоминал своих товарищей или событий военного времени. Это были последние впечатления от той жизни, в которой он действовал и жил — «был на поверхности», и эти впечатления приходили снова и снова, тысячи раз, не утрачивая в воспоминаниях своей патетики, окруженные ореолом ностальгии и юношеской приподнятости.

Отец получил назначение в Барселону, и Маноло остался в Мадриде один. Постепенно вместе с укладом жизни сменились и друзья. Хулиан Рамалес, которого тоже мобилизовали, писал ему время от времени. Раза два в год, через Красный Крест, он получал короткие послания от Марии Пелаес.

Однажды его вызвали в Валенсию, где находилось правительство. Но тут он заболел тифом. Лечили плохо, и он провалялся в госпитале три месяца. Погожим днем, в начале марта 1939 года, он, не выписываясь из госпиталя, пошел к себе домой. В пустой квартире было грязно; под дверью он нашел письмо от одного из своих друзей, в котором тот сообщал, что после взятия Барселоны отец его «исчез». Чуть ли не ползком вернулся он в госпиталь. Один молодой врач взялся за него, поместил в особую палату и недели через две поставил на ноги, так что он мог вернуться к прежним занятиям. Только к чему было возвращаться? Все пропало. Каждый день по дороге в Валенсию и Аликанте уходили его прежние товарищи по работе и те, кто был в руководстве. Пучадесу предоставили возможность выехать из Испании, но у него не было ни желания, ни сил. Самые скромные планы казались ему неосуществимыми. И он ограничился тем, что запасся продуктами и последние дни войны просидел дома, ни о чем не думая,— только читал газеты и слушал радио. Часами он лежал в постели. Кое-как съедал что-нибудь холодное и если к вечеру выходил на прогулку, то заканчивал ее в кино или в кафе. Он не сумел осмыслить ситуации в те решающие дни... да и в последующие тридцать лет. Тиф, который он перенес, и оборот, который приняла война, оказались для него равносильны кораблекрушению, и с тех пор он плыл по воле волн. по воле того, кто оказывался рядом. Его собственная воля умерла ровно тридцать весен назад. И возврата к прошлому не было. Его воля осталась под землей, похороненная вместе с революционными знаменами, вместе с телами его товарищей и друзей, погибших по всей Испании. Война принесла не просто миллион погибших. Миллион мертвых было зарыто, но кто знает, сколько миллионов мертвецов еще ходит по земле, по сей день умирая в муках, или сколько таких, в которых, как в нем, не осталось человека?.. Кому ведомо, как долго зияют раны, нанесенные войной?.. Не одно поколение еще будет чувствовать ее клыки и производить на свет, к собственному удивлению, мертвые сердца, затуманенные взгляды, смутный отблеск мстительных желаний. Война — это наследственное заболевание, постоянно чреватое обострением. Не бывает войны, которая бы не порождала войну.

В один из последних дней марта, когда нерешительность и слабость особенно угнетали его, он сидел за столом в кафе «Сарагоса» и пил нечто, отдаленно напоминавшее кофе, как вдруг заметил, что кто-то у стойки смотрит на него в нерешительности. Это был Хулиан Рамалес. Он подошел к Маноло.

«Маноло! Я тебя не узнал. Что ты тут делаешь, да еще в военной форме?»

Рамалес сел за его столик. Разговор был долгий и грустный. Рамалес пришел с фронта. Его жена и теща уже почти два года жили в Томельосо. Они уехали туда, чтобы не подвергаться опасностям в Мадриде. Он раза два ездил к ним. Хороший городок. И сейчас он опять собирается к ним, чтобы пробыть там несколько дней, а потом перевезти семью в Мадрид.

«Квартиру мою разбомбили. По-моему, в последнюю минуту они сговорились сбросить все бомбы на мой дом».

В этот поздний час в кафе обычно бывало полно народу. Мужчины, занятие которых трудно было определить, собирались в кружки и кружочки, разговаривали тихо, бросая недобрые взгляды на незнакомых. Очень многие были странно одеты — какая-то мешанина из военной формы и крестьянской одежды. Судя по всему, военные, плохо замаскированные под крестьян. Смутное было время, добра не сулило. На Пучадеса, одетого в полную военную форму, да еще со шпалой командира в петлице, бросали насмешливые взгляды.

«Слава богу, цела осталась вилла отца в Карабанчеле. Сегодня утром я ходил смотреть ее. Там мы пока и поселимся. А ты что собираешься делать?»

Пучадес уставился на него стеклянным взглядом, но не проронил ни слова.

Необычное поведение Маноло, всегда такого бодрого, оптимиста, поразило Хулиана. Сколько он его знал, тот всегда мечтал, строил планы. Стеклянное оцепенение нарушило вырвавшееся из глубины груди рыдание, и Маноло Пучадес поник, закрыв лицо руками.

Множество любопытных молча смотрели на него. Некоторые лица исказила гримаса горечи.

Хулиан терпеливо ждал, пока Маноло успокоится.

Два часа спустя они вместе ужинали в квартире Пучадеса. Был тщательно разработан план. В течение какого-то времени, пока не станет ясным, какой оборот примет дело, Маноло будет жить с Рамалесами на их вилле в Карабанчеле. Его слишком хорошо знали по статьям и выступлениям — не следует попадаться на глаза, надо переждать первую волну, которая наверняка будет очень сильной. Другого выхода нет — надо прежде прощупать обстановку.

На следующий день рано утром Пучадес собрался с силами, преодолел свою слабость и добился того, что его друг, молодой врач, который поставил его на ноги, дал ему одну из немногих оставшихся в госпитале санитарных машин.

С помощью Хулиана он погрузил в машину остатки продуктов, одежду, бумаги, книги и другие самые необходимые вещи и уехал, не оставив адреса.

Так тридцать лет назад началась его «новая» жизнь. Они не разгружали машины до наступления ночи. Пучадес поселился в полуподвале, как раз там, где они сейчас находились. На следующий день Рамалес на той же санитарной машине отправился в Томельосо, посоветовав своему новому гостю не обнаруживать перед соседями признаков жизни до их возвращения. Это было 28 марта 1939 года. Шестого апреля Рамалес вернулся поездом вместе с тещей и женой доньей Марией де лос Ремедиос дель Барон. Он не захотел оставаться дольше в Томельосо, боясь потерять обещанное в министерстве место.

Пучадес навсегда запомнил, какой страх он пережил, когда вернулись друзья. Уже перевалило за полночь, и он крепко спал. Неожиданно зажегся свет в подвале, он услышал голоса и подумал: «Ну вот, они тут».

«Ты не представляешь себе, от чего ты спасся,— были первые слова Рамалеса.— С перепугу они хватают всех, кто попадает под руку. Пока я не скажу, не думай даже к окну подходить. Читай, пиши, слушай радио. Словом, делай что хочешь, только забудь о Мадриде и вообще об Испании. И боюсь — надолго».

Так началось для него «освобождение».

Вскоре, пройдя проверку, Рамалес занял прежнее место в министерстве, и на вилле «Надежда» началась обычная жизнь. Теща Рамалеса доставляла Пучадесу завтрак и обед, а после обеда к нему спускался Хулиан. Он приносил ему газеты, они вместе пили кофе и обсуждали положение в стране. Иногда вечером, после ужина, Пучадеса приглашали наверх — провести время в кругу семьи. Ради него они отказались от служанки, и только три раза в неделю приходила женщина помочь убраться «наверху». В эти дни ему велено было сидеть тише воды, ниже травы. Никому нельзя было доверять.

Вопреки его опасениям обе женщины не проявляли ни малейшего недовольства. Пожалуй даже, таинственный гость был для них своего рода жизненным стимулом. Несмотря на нелюдимый характер и не слишком дружелюбное выражение лица, теща, или донья Мария-старшая, как называл ее Рамалес, заботилась о нем больше всех. Она была немногословна, это верно, однако же очень точна и аккуратна во всем, что надо было для него сделать. Иногда, если бывала в настроении, она садилась подле него и рассказывала что-нибудь из жизни в Томельосо, о своем муже или семье. Донья Мария дель Барон никогда к нему не спускалась. Пучадес видел ее, только когда его приглашали наверх. Она, казалось, постоянно была поглощена мужем, и все, что не касалось непосредственно заботы о нем и его нужд, совершенно ее не интересовало. У Марии была навязчивая идея, рассказал Хулиан,— иметь детей. Но детей все не было. И это желание

отгораживало ее от всего остального мира. У Пучадеса было такое ощущение, будто каждый раз, увидев его, она силилась припомнить, кто он такой. Эта женщина — такая красавица, молодая и добрая, словно совершенно не замечала ничего вокруг себя.

Несколько раз Пучадес заговаривал с Хулианом, не пора ли сообщить Марии Пелаес, где он находится, но тот всякий раз отвечал, что еще рано и опасно. Надо выждать. Никогда не знаешь, как поведет себя человек — каким бы влюбленным он ни был — в подобных обстоятельствах. Сам Пучадес думал о Марии как о чем-то, что «было до войны», как о лете, которое не состоялось, как о мечте из совсем другой эпохи, у которой не было будущего, как, впрочем, не было будущего у его карьеры и у всей его жизни.

С каждым днем Пучадес испытывал все больший страх. Вести, которые доходили до него о друзьях и знакомых, были хуже некуда. Да и Рамалесу хватало с ним забот. Никто ничего не говорил, но и без того все было совершенно ясно, и Пучадес это чувствовал, однако положение его было таково, что другого выхода не было. И он делал единственное, что мог: был до крайности скромен и старался никого не беспокоить.

Дни и ночи проводил он за чтением, решал кроссворды.

Случалось, Рамалес по нескольку дней не приходил к нему и не приглашал его наверх, несомненно, потому, что боялся, как бы Пучадес не заметил его озабоченности. И тогда у Маноло не было иного собеседника кроме доньи Марии-старшей, которая, как и дочь, но на свой лад, была далека от того, что происходило вокруг, и, казалось, не замечала напряженной ситуации.

Но очень скоро все кончилось. В один из последних дней сорокового года его добрый друг Хулиан Рамалес не проснулся. Когда жена утром принялась будить его, он был уже совсем холодный. Донья Мария-старшая на удивление быстро спустилась сообщить об этом Пучадесу. Последний раз Пучадес увидел друга в постели, по подбородок закрытого одеялом. Виднелся только краешек пижамы. Голова его была немного повернута в сторону окна, и казалось, будто он спит, чуть нахмурив брови.

Глядя на него, Пучадес подумал тогда, что совершенно ничего не знает об этом человеке. Он считал его своим хорошим другом, знал, что он по натуре добрый человек, но абсолютно не знал внутреннего мира Рамалеса, да и его к себе в душу тоже не пускал. По сути, он был из тех друзей-статистов, которые не причиняют беспокойства и в компании занимают самое незаметное место. И однако же, именно он протянул Пучадесу руку в самый трагический момент его жизни. Руку чистую и совершенно бескорыстную. Верно ли ему показалось, что Хулиан в последнее время испытывал страх? Или это болезнь подточила его дух?

С величайшим уважением Пучадес поцеловал его в лоб. Когда он обернулся, то в дверях увидел Марию де лос Ремедиос. Все в этот день было очень странным. И то, что сам он подумал о Хулиане Рамалесе, как бы заново открывая его, и поведение его вдовы. У Пучадеса было такое ощущение, будто она впервые «увидела» его. Она застыла в дверях, очень серьезная, глаза ее были заплаканы, и она смотрела на Пучадеса непривычно пристально. Как будто удивилась, что он тут. На несколько долгих секунд труп Хулиана Рамалеса перестал существовать для его вдовы. Остался один он — Пучадес. Как был — в домашних туфлях, в потерявших форму брюках и черном свитере. Он остановился около Марии де лос Ремедиос. Хотел сказать ей что-нибудь в утешение, но не нашел слов. Он вопросительно заглянул в ее полные решимости глаза и, шлепая домашними туфлями, вернулся к себе в комнату.

Что теперь будет? Он не питал иллюзий. Чем он был для этих двух женщин? Почему они должны держать его у себя бог знает сколько времени?

Несколько дней затем через свое окно, хотя оно и выходило на задний двор огромной виллы из красного кирпича, он видел хлопотавших людей, слышал молитвы на латыни и неумолкавшие шаги в комнатах наверху.

Старуха по-прежнему в положенный час приносила ему еду и, соблюдая обычную дистанцию, как всегда, коротко рассказывала ему о ходе погребальных дел. Слушая ее, можно было подумать, что покойный приходился ей соседом или дальним родственником.

Когда все немного успокоилось, а именно в воскресенье утром, он сказал донье Марии-старшей, что хотел бы поговорить с обеими женщинами.

Его пригласили поужинать наверх. Со дня смерти Хулиана он не видел Марии де лос Ремедиос. И на этот раз снова почувствовал на себе тот самый взгляд — будто его «обнаружили». И почувствовал к себе совершенно новое внимание. Иначе это и не назовешь. В ее взгляде не было ненависти, желания, симпатии или презрения; было только одно: внимание, удивление.

Было уже за полночь, а они все говорили о вещах незначительных. Потом Пучадес, испытывая при этом страх, сказал, что он понимает: смерть Хулиана меняет дело, и что он готов поступить так, как они рассудят. Он просил только небольшой отсрочки, чтобы разузнать, что и как. Само собою, он упоминал свою невесту, Марию, связи дона Норберто и даже дона Хасинто, священника.

Женщины ничуть не удивились его словам, выслушали все, как само собою разумеющееся, и, когда он кончил, Мария де лос Ремедиос сказала так, словно все это давно меж ними было решено:

«Не стоит об этом думать, Маноло. Ты можешь оставаться здесь до тех пор, пока сам не решишь, что тебе делать. Такова была воля Хулиана, а нам твое общество нравится».

Теперь — точно так же, как прежде это делал Рамалес,— женщины приносили ему книги, которые он просил, и жизнь его стала немного более приятной и менее одинокой. Теперь, если не было опасности, он обычно находился наверху и ел вместе с матерью и дочерью.

Со временем он заметил, что стал своим человеком в этой семье. Единственным мужчиной в этом доме. Без всяких усилий, не выходя за рамки своего положения дарового гостя и ни на что не претендуя, он превратился в человека, которого обслуживали и с которым обо всем советовались.

И однажды ночью — это случилось совершенно естественно и до той поры было единственной недостающей деталью, единственным, в чем он еще не заменил Хулиана,— однажды ночью Пучадес заснул наверху, в той самой постели, где прежде спал Рамалес.

Ни разу донья Мария-старшая не подала виду, что знает. Пучадес часто думал об этом. Какие убеждения, какие доводы разума приводила мать в оправдание такого положения вещей? Когда он спрашивал об этом свою любовницу, она неизменно отвечала: «Мама хочет одного — моего счастья».

Долгие годы эта любовь заполняла жизнь Пучадеса. «Впервые встретил я женщину точь-в-точь по мне»,— с удовлетворением думал он... А Мария была сама плоть, и жила она только для любви. Постель была центром и в ее доме, и в ее сознании. На всем белом свете она видела только мужчину, с которым спала. И потому «увидела» Пучадеса лишь в момент, когда умер ее мужчина. Бедный Хулиан, окоченевший и вытянувшийся в постели, больше ей не годился. Вероятно, она и сама не знала, что это была за глубинная, нутряная сила, которая вдруг «открыла», что в доме есть другой мужчина. Другой садовник для ее вечно жаждущего сада... Пучадесу не раз приходило в голову, что Марии де лос Ремедиос безразлично, что за мужчина: ею двигала такая примитивная биологическая страсть, что она вслепую, не глядя, искала тело мужчины — не лицо и не человека, а тело. Несомненно, мать, донья Мария-старшая, догадывалась об этой доходившей до умопомрачения страсти дочери. Нет, виною тому не были несбывшиеся мечты о материнстве, в котором Марии де лос Ремедиос «было отказано», как сказал однажды Хулиан. Пучадес никогда не слышал, чтобы она говорила о детях. Для нормальных женщин, матерей, желание — всего лишь путь к цели. Для Марии де Лос Ремедиос оно было и путем, и конечной целью.

К началу шестидесятых годов у Пучадеса наступил кризис. Тяжелый и неминуемый. Он вдруг ощутил всю тяжесть и безнадежность двадцати минувших лет. Он интуитивно чувствовал, что расплатился за свою «вину» с лихвой... Он видел: в газетах и журна́лах работают люди, с которыми он вместе воевал и которые значили тогда «меньше, чем он». К тому же, не знающая устали и передышки механическая, исступленная страсть Марии де Лос Ремедиос наскучила ему до отвращения. А когда потеряла силу эта единственная приманка, которая помогла ему вынести двадцать лет заточения, все стало для него мрачным и никчемным.

Женщины тотчас заметили его состояние и попытались надавить на него, стали следить за каждым его шагом. «Боятся, наверное,— думал Пучадес,— что стоит мне оказаться на свободе, выйти из этого дома, как чары рухнут». С той минуты все планы Пучадеса относительно того, чтобы жениться и легализовать положение, были заморожены.

В последнее время отношения стали такими напряженными, что Маноло по нескольку дней не поднимался «наверх», сидел безвылазно в своей могиле, стены которой теперь давили на него, как никогда.

Развязка наступила, когда он заметил, что ему подтасовывают информацию. Во всех газетах и журналах, которые до него доходили, не хватало страниц. В ответ на его возражения женщины слабо оправдывались. Как в прежние времена — вспомнились тревожные дни после окончания мировой войны в 1945 году,— он начал ловить по радио зарубежные станции. И тут же обнаружил причину «цензуры». Оказывается, законом снималась вся ответственность за участие в войне. Он ничего не сказал. Но всю ночь не сомкнул глаз. Наконец решил: надо что-то делать, позвонить кому-нибудь, попросить помощи. Но кому? Разумеется, единственным друзьям «той» поры, чей адрес он знал. В последние годы он несколько раз звонил Пелаесам, но не говорил ни слова, только желал убедиться, что они живы. Однажды к телефону подошла служанка, и он узнал, что Мария не замужем. Главное: она свободна. Итак, лучше всего — убежать... Но, разумеется, это было невозможно. Ему и шагу не давали ступить. Теперь он был самым настоящим заключенным. Оставалось ждать оплошности с их стороны и тогда позвонить по телефону. Так и случилось. В тот день во время сиесты, ког-

да он знал, что обе его тюремщицы спали наверху в гостиной, он тайком тихонько поднялся наверх и набрал номер Пелаесов. Подошла к телефону Алисия. «Это Маноло, Маноло Пучадес. Пожалуйста, вызволите меня отсюда. Я заперт, приезжайте сейчас же... Мария, это ты, Мария? Это Маноло, твой Маноло, приходи, скорее приходи...» Он едва успел сказать им адрес. В дверях появились встревоженные Мария де лос Ремедиос с матерью. Они не проронили ни слова, только стояли, как стража, и ждали, а когда он спустился в подвал, впервые за тридцать лет заперли его на ключ. Полчаса спустя дверь отворилась, и в нее втолкнули двух старушек, перепуганных, но державшихся с комической отвагой. Узнав их, он пережил самое странное ощущение в жизни. Он не воспринял их как тех самых сестер Пелаес, которых в последний раз он видел в июле 1936 года, но только на тридцать четыре года старше. Нет, это было иное: ему показалось, что он видит тридцать четыре года истории во плоти, и во плоти конкретной; истории, принявшей облик мумий, которые сбежали из Эскуриала или другого подобного места. Он видел невозможное: историю воскресшую, вылезшую из гробниц, из музеев, сошедшую с картин, историю морщинистую, мрачную, без ореола. Одряхлевшее время, волшебным образом вернувшее себе облик, но облик самый жалкий — облик мертвечины. Глядя на них, как в зеркале видел он, что и сам так же разрушен и мертв, видел свою безвозвратно пропавшую жизнь. И Испанию, которая прошла без него, без него постарела и увяла. Они были символом всего того, чего не смог прожить он. Останками того, что прошло и никогда уже не вернется...

Пучадес спустился на землю, услыхав, что говорила Мария, и это ему показалось трагической правдой.

— Конечно, если бы он любил,— выдохнула Мария,— за тридцать лет можно было найти случай... У нас через папу были знакомства с людьми, которые находились у власти... За тридцать лет...

Пучадес все стоял у окна. Алисия разглядывала свои руки. Мария сидела, надувшись, как ребенок. А Плинио вспомнилась «комната духов» и кукла в форме республиканской армии с фотографией на шее и матерчатым сердцем с надписью.

Эти тридцать лет для Пучадеса были тридцатью годами молчания. А для Марии де лос Ремедиос — тридцатью годами владычества. При этой мысли Плинио почувствовал озноб, «озноб истории»,— подумал он про себя.

У Марии вырвалось рыдание — сухое рыдание, без слез, как удушье.

На мгновение Пучадес обернулся, поглядел украдкой и снова вернулся в прежнее положение.

— Мария, ради бога,— не очень убедительно попросила Алисия.

— За тридцать-то лет... тридцать лет!... тридцать лет!— повторяла Мария с детским упрямством.— Не нашел времени известить меня... Вы верите этому, Плинио? А теперь к чему это? Посмотрите, Мануэль: мое лицо все в морщинах... Теперь — что?— закричала она вдруг с надрывом.— Я так мечтала о детях!— И, упав грудью на стол, она хрипло зарыдала, выплакивая черную, глубокую, тридцатилетнюю тоску.

Плинио вопросительно посмотрел на Алисию. Та лишь пожала плечами, словно говоря: «Бедняжка, это естественно... Она — другая, не то что я». Потом погладила Марию по голове:

— Успокойся, Мари, успокойся. Никогда не бывает слишком поздно...

Мария выпрямилась, полные слез глаза смотрели жестко, рот перекосился от ярости; срывающимся, визгливым, нелепым голосом она заговорила, глядя в спину Пучадеса:

— Маноло, поклянись, поклянись мне твоими покойными родителями, что ты никогда ее не любил. Это все она. Она, она тебя заставила! Поклянись мне...

Мужчина не ответил. И не обернулся. Только в глухом отчаянии положил обе руки на оконные стекла, как, наверное, делал тысячи раз за эти тридцать лет, выражая свое бессилие.

— Пожалуйста, Мария, перестань!— крикнула Алисия, вставая и пытаясь усадить сестру.— Заклинаю тебя памятью наших родителей, перестань!

Но в Марии, такой опрятной, такой рыженькой, словно проснулась и била ключом необоримая энергия.

— Поклянись мне!

Пучадес стоял, не двигаясь.

Алисия обняла сестру и, плача, тоже в отчаянии, гладила ее и целовала в лоб:

— Мари, ну прошу тебя, памятью мамы. Ну, перестань, Мари... Мари... сестренка.— И целовала ее с такой нежностью, и плакала так горько, что Плинио почувствовал, как во рту у него пересохло, а глаза намокли.

— Мари... Мари... памятью мамы прошу. Зачем тебе это? Главное, что мы с тобою вместе... У нас есть наш дом, наша жизнь, наши мертвые...

И наступил момент, когда напряжение Мари спало, она обняла сестру. Они застыли так на несколько мгновений — в слезах, рыжие пряди волос смешались,

соединились в одно, их одинакового цвета платья, их похожие лица и всхлипывания слились в унисон. Алисии, наконец, удалось усадить сестру, а сама она осталась стоять рядом и гладила ее, поправляла, приглаживала ей волосы.

Маноло упорно не двигался с места. Плинио машинально достал табак. Последние солнечные лучи копьями падали в окно, кровавым нимбом ложились вокруг фигуры Пучадеса.

В этот момент дверь, через которую вошел Плинио, рывком открылась.

Вошли донья Ремедиос дель Барон и ее мать. Мать сжимала в руках двустволку. Впервые на лице ее было удовольствие, а в глазах — что-то вроде радости. Быть может, сама ситуация, а может, ружье в руках принесли ей облегчение, и оно проступило на ее угловатом и злобном лице. Плинио, как бы глядя на все со стороны, рассмеялся в душе, увидев этих двух женщин, одетых для выхода, нарядных, с охотничьим ружьем в руках. Мария де лос Ремедиос была спокойна и, как всегда, прилична до приторности, хотя и не улыбалась. Старуха целилась именно в Плинио.

— Спокойно. Вы к этому делу отношения не имеете,— сказала мать хрипло, но в этой хрипотце сквозило, как уже говорилось, удовольствие.

Плинио, который при их появлении поднялся с места, продолжал стоять, положив обе руки на спинку стула.

Теперь заговорила донья Мария де лос Ремедиос; она убеждала, глядя на Пучадеса, который так и не отошел от окна, но с того момента, как вошли женщины, повернулся в четверть оборота в сторону двери:

— Ну, пора. Если хочешь ехать, то пора. Выбирай сам. Они свидетели — я тебя не неволю. Настала пора выбирать, по какой дороге в жизни ты пойдешь. Либо ты едешь, либо остаешься с этими.— И при словах «с этими» на ее всегда учтивом лице мелькнуло презрение.

Пучадес слушал ее с волнением, но без боязни. Казалось, он был почти тверд.

— Ты прожил со мною тридцать лет, и притом с большим удовольствием, правда, жил немного в необычных условиях, но им ты обязан своими распрекрасными идеями. И вдруг ни с того ни с сего позвал их. Вот они. Ну, так прошу — выбирай.

Должно быть, в мозгу Пучадеса в эту минуту происходила страшная борьба — бились сравнения и воспоминания, желания и стремления, которые на протяжении их совместного заточения мучали и терзали его, хотя, наверное, и не с такой силой, как теперь. Он стоял, не двигаясь, и лицо его ничего не выражало, но внутренний взор его был прикован к фильму, который разворачивался в нем самом.

— А вы, Мануэль, спросите его как представитель власти,— продолжала Мария де лос Ремедиос, глядя на Плинио,— едет он с нами или нет... Если он решит остаться, мы с мамой уедем прямо сейчас.

Видно было, как под белоснежной кожей женщины, в ее бурной груди, в каждом светлом волоске над губой, в потемках ее глаз билось и дрожало мучительное беспокойство, страх.

Плинио, казалось, сомневался. Не хотелось ему быть судьей в этой странной и печальной тяжбе. До смерти жаль сестер Пелаес, маленьких, сухоньких, то ли рыжих, то ли седых, таких ласковых, так свято хранящих память, но если бы коснулось его, если бы он, разумеется, был на месте Пучадеса и прислушался к биению собственной крови, то он, пожалуй,— нет, совершенно точно,— он бы ушел с полнокровной Марией де лос Ремедиос... А уж там бы решил, что делать с этой жердью, сжимавшей сейчас в руках ружье. Но ушел бы — как пить дать. И заметил — разумеется, в том повинны были его мысли, а не драматическая ситуация,— заметил, что улыбается или, вернее, вот-вот улыбнется, и потому, глядя на Пучадеса, пробормотал:

— Сами смотрите, приятель... Я тут не властен.

Но еще до того, как Плинио окончил фразу, бедняга решился. Очень медленно, стараясь не глядеть в глаза сестрам Пелаес, он наклонился, поднял с пола толстый портфель, который, видимо, заранее был приготовлен и лежал под тахтою, и, не говоря ни слова, шаркая ногами, словно ничего не замечая вокруг, ни на кого не глядя — даже на тех, кто стоял перед ним,— пошел к двери. Те посторонились. Он вышел. Мария де лос Ремедиос мгновение колебалась. Потом немного смущенно, но с глубоким удовлетворением проговорила:

— Прошу простить меня за все. Убедительно прошу. Сожалею, что приходится вас запирать, но ничего не поделаешь. Если надо, я готова отвечать перед законом. Прощайте, Мануэль.

И поспешно вышла. Мать, не переставая целиться, задом попятилась к двери, отступила на шаг за дверь и с силой захлопнула ее. И тут же они услышали, как повернулся ключ в замке дальней двери.

На протяжении всей этой сцены Плинио не смотрел на рыжих сестер. Только знал, что они молчали, все время молчали. Наверное, в эти минуты сердце

Марии готово было разорваться, выскочить из груди. А может быть, нет, может быть, после той яростной вспышки она будто омертвела, и теперь все вокруг казалось ей не более чем спектаклем в театре теней.

Но едва затихли шаги и шум, как она опять запричитала:

— Я так и знала... так и знала... так и знала... так и знала...— Она говорила, а сама прижимала руки к животу и раскачивалась взад-вперед, будто ей было больно, или же она собиралась с силами, чтобы броситься на другой край стола, или же дрожала в ознобе.

— Я так и знала... так и знала... так и знала...— говорила она, не отрывая взгляда от разбросанных по столу карт.— Я так и знала... так и знала... так и знала.

Солнце уже зашло, и в комнате почти стемнело. Алисия сидела, сжав голову руками, сумерки стерли черты ее лица.

И, словно продолжая прерванный надолго монолог, Алисия, воспользовавшись тем, что сестра на минуту затихла, заговорила:

— ...Ясно, что после его звонка мы должны были сообщить в полицию... А мы пришли одни. Спешили, не подумали как следует... Открыла старуха, и мы спросили, здесь ли он. «Эти сеньоры спрашивают Маноло,— сказала старуха его любовнице.— Это им он звонил по телефону».— «А, очень приятно, проходите, проходите». Меня очень удивила такая любезность, но Мария ужасно волновалась... «Проходите, проходите, будьте так любезны, идите за мною, я провожу вас к нему... проходите, проходите...» Мы дошли до помещения, где у них сыры и бочата с вином, и там она нас заперла... Какие мы несчастливые, какие неосмотрительные. Мы всегда были неосмотрительны, Мануэль.

— А он? Что было, когда он увидел вас?

— Все было. Сперва он удивился. Потом страшно обрадовался. Мы все говорили и говорили. До позднего вечера, когда старуха принесла ужин и оставила нас одних. На следующий день повторилось то же самое. Его немного удивило, что ничего не происходит. Мы сказали ему, что нам надо домой, и чтобы он поговорил с этими сеньорами, и нас бы отпустили всех троих, а мы никому ничего не скажем. Когда на следующий вечер старуха снова принесла нам ужин, он сказал ей, что хочет поговорить с Марией де лос Ремедиос... Он ушел с нею и не возвращался до рассвета. С тех пор все стало очень странно. Он стал ходить туда. Он, как прежде, слушал нас... улыбался. Но это был уже другой человек. Все следующие ночи — когда он считал, что мы заснули,— он на цыпочках выходил из комнаты. Все, кроме одной, когда Мария де лос Ремедиос уезжала в Томельосо. Наверное, когда он звонил нам по телефону, то не подумал, что время шло для нас точно так же, как и для него.

— Они всё приготовили,— вступила вдруг в разговор Мария.— Я догадывалась, но чтобы так... если бы я знала!

На лице ее появилось выражение смирения. Она продолжала:

— Верила, как ребенок.

— Мы обе такие.

— Теперь они, наверное, поженятся.

— Всю жизнь мы, как дети, верили, мечтали...

— Конечно, каждому хочется верить. О господи!

— Прошлого не вернешь...— заговорил Плинио убежденно, что вполне подходило к этой обстановке откровенности в почти полной темноте.— Все, что произошло,— просто печальный случай, который следует забыть. Вернетесь к себе домой и станете жить по-прежнему, в мире, и к черту выбросьте из головы эту историю тридцатилетней давности. Хватит нам мучиться прошлым. У нас нет в запасе еще тридцати лет, и нельзя жить так, изо дня в день давая себя грызть одному и тому же тарантулу.

— Что вы сказали, Мануэль, насчет тарантула? — спросила Мария, которая в это время отвлеклась.

— Я говорю, что для вас, в сущности, ничего особенно не изменилось. Вы считали его умершим, так поймите же, что он и на самом деле мертв. Испания полна ходячих мертвецов вроде него.

— Мертвецов, которые вроде бы живут, как мы,— повторила Мария.

— Нет, к вам это не относится. Для вас жизнь со всеми ее самыми страшными трагедиями — что-то вроде истории, рассказанной по радио.

— Я всю жизнь прожила с этой памятью, Мануэль.

— И можете продолжать жить дальше. Ваш прежний жених не имеет ничего общего с человеком, который только что ушел отсюда. Тот был человеком, а этот — обносок истории, осадок от трагедии, который никогда уже не сможет вернуться к своему естеству.

— Не понимаю вас, Мануэль,— сказала вдруг Алисия.

— Я все о том же, сеньорита. Ничего страшного не произошло.

Зажгли свет. Мария еще долго оставалась так — ничком на столе. Алисия несколько раз принималась за пасьянс. Плинио без устали ходил по комнате, куря сигарету за сигаретой.

Часов около одиннадцати Плинио принес из подвальчика половину окорока, сыр, несколько кистей винограда и вино. Алисия разложила все на тарелках, которые оказались под рукой. Ели без хлеба, молча. Мария не выходила из оцепенения.

— Вы думаете, сегодня же ночью за нами придут и выпустят?— несколько раз спрашивала Алисия.

— Уверен. Не знаю, почему задерживаются, но уверен — придут.

Когда поели, Алисия заставила Марию лечь в постель. Потом они с Плинио сидели, вспоминали селение. Перевалило за полночь, и она снова взялась за пасьянс. Плинио вспомнил, что в кармане у него письмо, которое ему дали, когда он уходил из гостиницы. Он вскрыл письмо, надел очки и стал читать про себя:

«Дорогой папа! Что же это Вы? Столько дней в Мадриде — и ни одного письма! Правильно мама говорит, не охотник Вы письма писать, разве только крайняя нужда. На днях мы чуть было не собрались к Вам. А когда подошло время ехать, раздумали. На кого оставить хозяйство?

Я встретила дочку Антонио-Фараона, и она рассказала, что отец звонил и сказал, что у Вас там все в порядке. Мама говорит, чтоб Вы с ним не очень-то, а то он сорит деньгами и вообще греховодник.

Вчера обрызгивали ртутью и подвязывали лозы. Вычистили все как следует, а то уже на некоторых кустах вредитель завелся, а потом покрыли все пластиковой пленкой, как Вы сказали. Посмотрим, что получится к пасхе.

Мама говорит, чтобы Вы обязательно купили костюм, а то Вас теперь будут вызывать то и дело, и не годится ходить все время в одном и том же костюме.

Вечера теперь холодные, и мы не выходим из дома, сидим смотрим телевизор. Иногда приходит дочка Ортенсии и смешит нас ужасно — рассказывает, как ее дядька с теткой ссорятся. Чудом друг дружке фонарей не ставят.

А еще вот что: Адольфо, сын Игнасии, купил машину, так себе — маленькую, наверное, на выручку от урожая. И глаза б Ваши на это не глядели. Весь божий день он с женой и двумя детьми катается в своей жестянке по селу. А когда накатаются, то, хоть ночью, все семейство вылезает на середину улицы и принимается мыть и тереть ее до блеска, как будто это не машина, а бог знает что.

Мама чувствует себя хорошо. Хоть она и не говорит, я знаю: как всегда, к перемене погоды у нее ноют суставы. Я-то вижу. Но это дело обычное, ничего страшного.

На днях кум Браулио принес мне попугайчика. Я посадила его в клетку канарейки Кануто, которая умерла. Поет он мало и плохо, но очень веселый, особенно по утрам. Я никогда не видела попугая близко, он такой смешной, клюв у него кривой и приплюснутый.

Вот и все. Больше писать нечего. Предупредите, когда Вы приедете, мы приготовим на обед или на ужин то, что Вам нравится, да приезжайте поскорее, мы уже соскучились по Вас до смерти. Привет дону Лотарио, от мамы большой привет, целую Вас, Ваша дочь А.».

Письмо растрогало Плинио, он вспомнил своих женщин, вспомнил свой двор и просторную кухню, где проходила их жизнь, и покойное сельское житье-бытье. Когда жизнь течет себе помаленьку, и ничего не случается, и дни бегут за днями, как хоровод огней, бесшумных и невесомых. Изо дня в день все та же башня на площади, тот же закат и та же песенка приветствий на каждом углу. Все так спокойно, так неизменно ясно. Плоть только подводит — меняется. На фоне неменяющегося пейзажа тела людские обветриваются и сохнут, пока не примут смерть. Все тут сплетено из круговорота и повторения похожих теней, слов, лиц, фасадов домов и рассказов. Площадь, казино, муниципалитет — ось этой карусели ровных огней, одинаковых приветствий, улыбок, колокольного звона, собачьего лая и автомобильных выхлопов. Около двенадцати дон Исидоро выходит на балкон. Маноло Перона идет в казино. Сменяется караул, люди идут в магазины. Каждый день ходят в магазин. Дон Сатурнино, проезжая по площади, обязательно высовывается в окошко машины посмотреть, который час. Священники прогуливаются по площади, полы их сутан развеваются. Если кто-нибудь из них умрет или уедет отсюда, на его место явится другой, но всегда под вечер, на закате, по площади будут прогуливаться священники в развевающихся сутанах. Каждый год наполняются вином бочки и каждый год опоражниваются. Наступает ночь, площадь пустеет, все расходятся по домам, на боковую. Сейчас «его женщины» спят. Грегория вздыхает во сне. А дочка Альфонса? Интересно, когда пропадает тот узкий лучик света, что пробивается в окно ее комнаты?

Он спрятал письмо. Еще раз посмотрел в окно. Окно выходило на задний двор, и потому ничего не было видно, да и их не увидят, если только не обойдут

дом вокруг. За домом несколько старых сосен, нестриженая трава и неухоженная живая изгородь.

Он оглядел книжные полки Пучадеса. Книги, книги. Книги, накопившиеся тут за тридцать лет, книги, купленные на деньги Марии де лос Ремедиос. Большинство — иностранных авторов, имена которых Плинио ничего не говорили. Кипы журналов — испанских и иностранных. Папки с газетными вырезками. Все читаное-перечитанное. Тахта. Сколько часов провел Пучадес на этой тахте, читая, думая, сходя с ума, за эти бесконечные, до невозможности бесконечные тридцать лет, в обществе этой потрясающей женщины — Марии де лос Ремедиос, такой бело-розовой, плотской вдовицы, одинокой со своими грудями, точно гроздья лозы, и садом своего лона. Сколько ночей, сколько вечеров, сколько утренних часов за эти тридцать лет провел он, думая о том, что было раньше и что могло быть, не замечая того, что на самом деле происходило вокруг: слушал по радио веселую, ничего не говорящую музыку так, словно ничего не случилось, словно все было в полном порядке, а сам он сидел и пил пиво на террасе где-нибудь на Гран-Виа... Тридцать лет, тридцать лет, на протяжении которых рождались и умирали люди, а он все тридцать лет — в этой комнате над журналами в ожидании молочно-белого ненасытного тела Марии де лос Ремедиос дель Барон, полногрудой и полнокровной в ее поре женского заката, ни с того ни с сего красневшей так, что бисеринки пота выступали на светлых волосах над верхней губой, и с этими ее глазами, точно два мрачных тупика, длиною в тридцать долгих лет...

Была полночь, Мария спала в постели. Алисия, уткнувшись головою в стол, спала или делала вид, что спит. Плинио расхаживал по комнате; потом подошел к постели Марии. Она лежала, до пояса укрытая одеялом. Рыжие волосы с седыми прядями разметались по подушке. Она лежала лицом кверху. Маленькие глаза закрыты. Рот полуоткрыт, так что видны частые зубы. Морщинистая, красноватая кожа. Время от времени веко нервно подергивалось. Дыхание мерное. Иногда с хрипотцой. Все, что было в ней привлекательного в молодости, унесли парки. Осталась высохшая гримаса былого. Все сморщилось, уменьшилось в размерах, потеряло жизненные соки, стало смахивать на карикатуру, как затрепанная кукла. Плинио почувствовал прилив нежности. Ему захотелось поцеловать ее в лоб. Он представил самого себя, двадцатилетнего, рядом с тем, каким он был сейчас. «Время, которое прошло для нее, свежесть и жизненные соки, которые ушли, точно так же ушли и у него. Они вместе и по одной дороге приближались к смерти. А Мария де лос Ремедиос принадлежала к другому времени, ей еще жить да жить, пока она вот так же высохнет и придвинется к смерти. Лет четырнадцать пройдет, пока она начнет высыхать, как Мария. Может быть, Пучадесу больше нравился образ жизни рыжих сестер, быть может, ему и хотелось бы жить их жизнью, но разница в годах — конечно, она все и решила. И потом, как знать, какие силы, диковинные привычки выковала, как духовно и биологически привязала его к себе навсегда эта женщина, которая так щедро наделена страстью и так четко знает, как идти к намеченной цели. С рыжими сестрами, с Марией его связывало лишь зыбкое воспоминание, словно кадры давнего прекрасного фильма тридцатых годов. Сестры были существа пассивные, раз и навсегда приникшие к поверхности вещей, к своим крохотным воспоминаниям и привязанностям, и сами они так и не двинулись вглубь с поверхности, не познали вулканов смерти и судорог страсти. Обычные люди, незначительные, с крохотными запросами. Без ада внутри. А Пучадес всю жизнь не мог отделаться от страданий, пережитых в тридцатые годы, заключение его сломило, и оправиться он не мог. Он бы уже не смог господствовать. Не смог бы проводить нескончаемые вечера на улице Аугусто Фигероа в обществе двух морщинистых женщин без ада внутри. Ему необходимо было остаться в тюрьме, которая началась в 1939 году. Для свободной жизни он больше не годен».

Около часа ночи Плинио, опершись щекою на руку, задремал. Он как раз видел во сне еду и какую-то рыжую зайчиху, когда ему послышался шум. Он встрепенулся, протер глаза и открыл окошко. Где-то далеко, словно в соседнем квартале, слышались голоса, стучали в дверь. Он зажег лампы в спальне над железными кроватями, включил свет в погребке, открыл окна. Только таким образом мог он дать знать, что в доме кто-то есть. Время от времени доносились голоса, шаги, шум. Иногда вдруг все смолкало, а потом слышалось снова. «Должно быть, ветер относит»,— подумал Плинио. Алисия протерла глаза и спросила безо всякого выражения:

— Уже?

— Как будто.

Плинио продолжал вслушиваться. Теперь казалось, будто где-то далеко стучали во что-то металлическое.

Алисия поправляла волосы перед зеркальцем, которое стояло на книжной полке рядом с фотографией родителей Пучадеса. Потом подошла к сестре. На лбу у Марии выступил пот. Сестра погладила ее нежно и жалостливо. Мария открыла глаза и отсутствующим взглядом посмотрела на Алисию. Веки у нее покрасне-

ли, губы пересохли. Некоторое время она лежала так, не понимая, в чем дело, и ни слова не говоря. Плинио наблюдал за ними со своего места.

— Вставай, Мария, поднимайся, дорогая, кажется, они уже тут.

Мария машинально поднялась. Села на край постели и энергично провела рукою по лицу.

Плинио, стараясь совладать с жалостью, силился вспомнить их молоденькими на сельской площади, с родителями у фонтана, такими, какими они выглядели на фотографии в их доме на улице Аугусто Фигероа... «Родители должны умирать молодыми, чтобы не видеть, как дети, самая большая их любовь, страдают, терпят те же разочарования, испытывают такую же тоску и те же горести. Детей надо оставлять, пока они во цвете лет. Пока они еще верят, что жизнь такая, какой они ее себе представляют. И пока сами мы думаем, что для них она может быть иной. Когда человеку не удается в жизни то, о чем он мечтал, он втайне надеется, что это удастся его детям, но чудеса случаются редко. Жизнь наша в обществе, в том обществе, где мы живем и мучаемся, что кусок железа на наковальне, всех нас бьет и колотит, сгибает в бараний рог, и к концу мы приходим потрепанные, смирившиеся и печальные».

Ясно было, что никто не догадывался обойти дом вокруг. Освободители находились справа, у парадного входа. Если судить по тому, откуда доносится стук. Воспользовавшись минутным затишьем, Плинио вложил в рот два пальца и свистнул так, как случалось ему свистеть, когда он, находясь в дверях казино «Сан-Фернандо», хотел позвать муниципальную стражу. Получилось очень здорово, пронзительно. Он свистнул еще несколько раз. Наконец в саду послышались шаги. Плинио свистнул еще раз.

— Мануэль... Мануэль... Мануэль!

Он не мог ошибиться. Это был дон Лотарио.

Плинио припал лицом к решетке.

И действительно, показался луч света, а за ним семенил дон Лотарио. Рядом, вприпрыжку, Луис Торрес.

Плинио просунул руку сквозь решетку.

— Мануэль, Мануэль. Вот так черт! У тебя все в порядке?

— Устал ждать.

— Ты, правда, в порядке, Мануэль? — не унимался Луис.

— В порядке, в порядке, давайте же входите, наконец.

— Мы приехали сюда в половине двенадцатого. Стучали, стучали — никто не открыл. Пришлось ехать обратно в Управление за людьми и за инструментом.

— Сестры Пелаес тут, Мануэль?

— Тут. Значит, так: пройдете почти весь дом, там будет застекленная галерея, а в конце — несколько ступенек, они и ведут в этот полуподвал.

— К вам уже пошли.

— А донья Мария де лос Ремедиос где? — интересовался Луис.

— Эта уехала. Я потом все расскажу. Ну, давайте, скорее, сил нет, хочу выйти из этой тюрьмы.

Сестры Пелаес, насколько это было возможно, уже привели себя в порядок. Теперь они сидели, прямые и серьезные, сжимая в руках сумочки. Алисия вдруг открыла свою и осторожно вынула пистолет.

— Возьмите, Мануэль. Отец говорил, что это хороший пистолет. На нем какая-то инкрустация. Если это не противозаконно, я дарю его вам в память о недобрых днях, которые мы заставили вас пережить.

Плинио осторожно осмотрел оружие и спрятал его во внутренний карман пиджака.

— Хорошая вещица. Не знаю вот только, что на это скажут в Управлении. Как бы то ни было — большое спасибо.

Шум, удары и звуки шагов раздавались уже совсем близко. Наконец добрались до дверей погребка. Плинио выглянул в окно. Пробовали отмычки. Сестры Пелаес тоже подошли к нему и с детским любопытством наблюдали. Через несколько секунд замок щелкнул.

Первым вошел худющий полицейский с отмычками. За ним — Хименес, с брюхом. За ними ввалились дон Лотарио, Луис Торрес, Хасинто и Веласко — тот, у которого глаза с поволокой... Последним, сжимая в зубах кусок сыра,— Фараон.

— Ловил, ловил — и доловился,— сказал он, не переставая жевать.— Вот и надейся на закон... Если бы не мы — сидеть бы тебе здесь до победы левых.

Все с любопытством разглядывали Плинио и сестер Пелаес — все, кроме Фараона, который продолжал есть и острить.

— Ладно, толстяк, пошли, угостишь нас всех горячим шоколадом в «Сан-Хинесе». Пока я тут сидел, горячего во рту ни крошки не было,— сказал Плинио.

— Замётано. Мы ведь тоже — сперва ждали, а потом вызволяли и тоже без ужина остались.

— Ну, тронулись,— скомандовал Хименес с сонным лицом.

Сестры Пелаес шли под руку, прижавшись друг к другу, и наверняка чув-

ствовали себя неловко от того, что они одни в окружении сразу стольких мужчин, да еще в ночную пору.

Дом доньи Марии де лос Ремедиос тонул в потемках. Огоньки соседних домов светились далеко. Было свежо. Худой полицейский завязал цепочку, запер решетчатые садовые ворота виллы «Надежда».

Немного потеснившись, все расселись в полицейских машинах и тронулись в сторону Мадрида.

— Еще одно дело распутал, Мануэль,— сказал Фараон, дожевывая кусок сыра, который он на ходу успел ухватить в погребке.

— Да. Ты уже говорил.

— Кто может — побеждает, а кто не может — пусть скребет затылок.

Въехали на площадь. Плинио окинул ее взглядом, быть может, последний раз в жизни. Опять ему припомнилась лавочница с пучком на затылке, праздник святого Петра и сам он, солдат, сидящий на церковной ограде, которой давно уже нет и в помине... Он отвернулся, покорно закурил папиросу и стал смотреть вперед, чтобы отделаться от тоски по сгинувшей молодости... «Завтра надо будет заказать костюм в мастерской Симанкаса».

— Я бы не хотела ни в чем обвинять этих людей,— сказала Мария. —Можно так устроить, Мануэль?

— Посмотрим, что можно сделать. Не беспокойтесь.

Он откинулся на спинку сиденья и в первый раз с того момента, как вышел из «Мадридского казино», почувствовал, что доволен жизнью.

От переводчика

Миллион мертвых было зарыто; но кто знает, сколько миллионов мертвецов еще ходит по земле, по сей день умирая в муках, или сколько таких, в которых... не осталось человека?.. Кому ведомо, как долго зияют раны, нанесенные войной?..

В книге, написанной три десятилетия спустя, снова звучит тема гражданской войны, звучит не просто как живое воспоминание, но как современная реальность. Искалеченные судьбы, опустошенные сердца, непрожитые жизни... А корни всего этого уходят в прошлое тридцатилетней давности. Такая постановка вопроса в Испании, где официальная пропаганда, идеологи франкизма в последние годы с особым усердием пытались утверждать, будто эта война, превратившаяся после итало-германской интервенции в национально-революционную войну, дело далекого прошлого и ее влияние на судьбы страны злоумышленно преувеличивается «врагами нации»,— такая постановка вопроса, как в романе Ф. Гарсиа Павона «Рыжие сестры», совершенно определенно характеризует политическую ориентацию и гражданскую позицию автора.

Весь роман — сюжетным ходом, логикой развития характеров, размышлениями героя — еще раз приковывает наше внимание к узловому моменту современной испанской истории, к тому периоду, когда решались судьбы нации и каждый человек в своем общественном поведении вынужден был делать выбор, от которого зависело его будущее, а зачастую жизнь или смерть. Персонажи Гарсиа Павона так или иначе решают вопрос о своей жизненной позиции, и выбор, который они делают, определяет меру свободы каждого из них. В зависимости от этого выбора они делятся на тех, кто «отбывал» годы, и тех, кто их прожил.

Давно замечено, что эпохи больших социальных перемен, вехами отмечающие движение человечества вперед, рождают не только героев, но и жертвы. Маноло Пучадес — одна из таких жертв. Либерал, активно выступавший за республику, в критический, переломный момент он оказывается не в состоянии осмыслить ситуацию и не находит в себе сил продолжать борьбу в новых условиях. Решение «отсидеться» оборачивается для него добровольным тридцатилетним заточением. Выбор, сделанный Пучадесом, определяет все его дальнейшее существование, устанавливает жесткие рамки его несвободы. Мрачным символом выглядит судьба Пучадеса. Отказавшись от своих убеждений — потому что убеждения нельзя ни отложить в сторону, ни на время оставить за скобками,— он тем самым добровольно ограничивает мир своих общественных отношений, сводя все лишь к физическому общению с Марией де лос Ремедиос. Пучадес терпит духовный крах: оказывается, что, однажды спрятавшись от жизни, вернуться в нее невозможно. Неслучайно автор помещает виллу, в подвале которой тридцать лет прячется Пучадес, в Верхнем Карабанчеле — в непосредственном соседстве с печально известной тюрьмой Карабанчель, где в застенках томятся те, кто не побоялся открыто бороться за свои идеалы и не утратил человеческого достоинства. Ф. Гарсиа Павон не показывает этих людей, однако их присутствие явно ощущается в той живой жизни, куда нет возврата Пучадесу.

Сестры Пелаес тоже состарились, не прожив этих тридцати лет. Душою, памятью, всем своим существом они так и остались в той далекой, счастливой для них поре, которая не требовала сверхъестественного душевного напряжения, непосильного для

них осмысления событий. Они остались там и не смогли преодолеть испытаний, уготованных им жизнью. Вся суть их существования — в «комнате духов», где вместо живого человеческого общения — фотографии дорогих покойников, а взамен биения жизни — тряпичное сердечко, хранящее вышитую шелком иллюзию: «любовь навеки». И как символ несбывшегося, того, что могло стать жизнью, но ею не стало — заспиртованный в банке зародыш.

Противоположную жизненную позицию занимает Плинио. Имея в своем распоряжении тот же небогатый набор возможностей, потому что все персонажи романа живут в одной исторической реальности и по воле автора все они — земляки и почти одного возраста, Плинио в определенной мере оказывается хозяином собственной судьбы. (В другом романе этой же серии Гарсиа Павон подчеркивает, что Плинио во время гражданской войны не стал сражаться на стороне националистов, то есть франкистов.) В «Рыжих сестрах» мы узнаем, что Плинио мог бы осесть в столице, пробовал стать трактирщиком в родном городке, но в конце концов становится полицейским, или, как уточняет его мадридский шеф: «Предпочитаю сказать «детективом», а не «полицейским». Это чрезвычайно важное уточнение. Не менее важно и то, что Плинио — «деревенский детектив». Он демократичен, он прежде всего психолог и глубокий знаток жизни, в которой разворачиваются события, он сам плоть от плоти этой жизни. Людей, с которыми он сталкивается по долгу службы, Плинио лично знает, или же они выросли в той обстановке, которая ему досконально известна. В этом смысле мудрость Плинио сродни мудрости Санчо Пансы, который губернаторствовал на острове, опираясь главным образом не на знание законов, а на доподлинное знание жизни народа, часть которого он сам.

Если присмотреться к тому, что считает Плинио главным в своем занятии, какие цели он ставит перед собой и какими методами пользуется, то бросается в глаза, что этот на первый взгляд детективный роман скорее представляет пародию на детектив. Все действующие лица и возможные мотивы событий вводятся почти сразу же; что же касается методов работы, то они в корне «антидетективны»: единственный раз, когда Плинио обращается к классическому методу — снятию отпечатков, — оказывается, что это совершенно не нужно. Все здесь не как в обычном детективе, все наоборот: читателя не увлекают крутыми поворотами сюжета, дон Лотарио — в отличие от доктора Ватсона простой ветеринар — не «подыгрывает» своей наивностью Плинио, да и сам Плинио не ошеломляет неожиданными открытиями, выкурив трубку, а попросту набивает папиросу и не стесняется обсуждать с читателем деталь за деталью.

То, как внимательно, как вдумчиво вглядывается Плинио в каждую деталь в доме и в жизни этих людей, как способен сострадать им, то, как чуток он к тончайшим психологическим движениям и как равнодушен к конечному результату поисков, скорее напоминает труд писателя, чем сыщика. История жизни в целом его интересует гораздо больше, чем само происшествие. Вернее, происшествие для него лишь повод, лишь возможность для того, чтобы прочитать историю жизни человека, историю его души. А это, несомненно, более под стать писателю, нежели детективу. И, наверное, потому автор без сожаления отдает своему герою наблюдения и рассуждения о жизни, мысли о смерти, настоянные на свежих еще воспоминаниях о тысячах агоний, которые с полным основанием могли бы прозвучать как авторские отступления.

Детектив в данном случае — не литературный жанр, а литературный прием, «условия игры», нужные автору для того, чтобы войти в парадный подъезд министерства и на запыленном чердаке найти чиновника Новильо с его частной мастерской, увидеть пародию на идеал бюрократического учреждения. Этот прием нужен автору для того, чтобы проследить истоки явления, чтобы снять грим, положенный на лицо страны в угоду туристам, наводнившим Испанию, и под этим гримом увидеть подлинное лицо, искаженное уродством и страданием. И, распутав нити судеб, найти причины искалеченных, несбывшихся жизней. «Кому ведомо, как долго зияют раны, нанесенные войной?..»

Но не одни только военные раны калечат судьбы и души людей. Один из самых мрачных диктаторских режимов двадцатого века, царивший в Испании почти четыре десятилетия, физически уничтожавший цвет нации и утопивший страну в крови репрессий, на долгие годы затормозил социальную и духовную жизнь страны.

В романе Гарсиа Павона воочию предстает чудовищный разрыв между относительным подъемом уровня жизни, происшедшим в Испании в последние годы в результате экономического оживления по технократическим рецептам, на основе иностранных займов, капиталовложений и доходов от массового туризма,— и оставшимися прежними нравами и психологией провинциального и столичного обывателя, духовным оцепенением целого поколения. Новенькие автомобили, сверхмодные бары, иностранные туристы. И тут же — «интеллектуальные» забавы великовозрастных юнцов, отдающие средневековьем нравы столичного колледжа, вся атмосфера обветшалости и краха, густой замес обывательщины, на почве которой возник испанский фашизм и до сих пор держатся ультраправые поборники прошлого — прошлого цепкого, не желающего уходить, но тем не менее медленно отступающего в сегодняшней Испании под напором живых сил нации, в конечном счете определяющих судьбы этой страны.

Критика

ЖАН ПЕРЮС

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ И ДОЛГ ПИСАТЕЛЯ

В октябре прошлого года в Москве состоялась международная встреча писателей, организованная Союзом писателей СССР, на тему: «Исторический опыт второй мировой войны и ответственность писателя за судьбы своего народа и человечества в условиях разрядки международной напряженности».

Редакция «Иностранной литературы» попросила одного из участников встречи, видного французского критика и литературоведа, специалиста по русской и советской литературе Жана Перюса поделиться с читателями своими мыслями, возникшими в связи с этим форумом.

Получив от Союза писателей СССР приглашение на международную встречу, тема которой была обозначена как «Исторический опыт второй мировой войны и ответственность писателя за судьбы своего народа и человечества в условиях разрядки международной напряженности», я внезапно почувствовал себя как бы перенесенным лет на сорок — сорок пять назад, когда на Харьковской конференции, на конгрессе в Амстердаме—Плейеле, а затем на конгрессе интеллигенции в защиту культуры [1] прозвучал торжественный призыв осознать взаимосвязь социализма и мира, понять, что защита мира и культуры неотделима от защиты социализма в СССР. Великие битвы, которые мы вели со всем энтузиазмом молодости, были, на первый взгляд, проиграны, ибо мировая война все же началась. Но мы проиграли их лишь наполовину, поскольку победы фашизма были временными. Наши усилия (вместе с другими факторами) способствовали мобилизации многих писателей в Сопротивление, и Советский Союз, разгромивший нацистские полчища, доказал, что он действительно является бастионом свободы и мира. Не будь этой победы, оплаченной невероятными жертвами, было бы невозможно, даже немыслимо поставить рядом, как это делает сегодня Союз советских писателей, память о войне и понятие мирного сосуществования. Но это означает также, что надежда на длительный мир, без которого не может жить и цвести молодое поколение, неразрывно связана с осознанием особого характера второй мировой войны, заключающегося в том, что это была освободительная война против фашистского чудовища.

Служит ли это, однако, достаточным основанием, чтобы тридцать лет спустя после взятия Берлина многие произведения все еще были посвящены теме войны? Надо ли продолжать писать о войне? Такую пробле-

[1] Имеются в виду Вторая международная конференция революционных писателей в Харькове (1930), Амстердамский конгресс в защиту мира (1932), Европейский антифашистский рабочий конгресс в парижском зале Плейель (1933), а также Международный конгресс писателей в защиту культуры в Париже (1935). *(Прим. ред.)*

му поставил во вступительном слове Константин Симонов.

Поясняя собственный ответ на этот вопрос (впрочем, своим творчеством он уже на него ответил), К. Симонов напоминал, что три четверти сегодняшних читателей войны не пережили и имеют представление (я спросил бы: до какой степени полное?) только о ее материальных и моральных последствиях. Он добавлял также, что новый читатель говорит о своей приверженности к литературе документальной, хочет вынести собственное суждение по документам. И вне всякого сомнения, именно в ответ на такое требование на встрече было отведено столь значительное место документам — фотоматериалам и воспоминаниям о пережитом.

Можно констатировать, что среди огромной массы военной литературы есть произведения не только великие, что патриотическая экзальтация занимала в ней большое место, в особенности во время войны и сразу после ее окончания, и что к этой экзальтации могли примешиваться другие ее формы — романтизм, порожденный ослеплением или ложью, которые были осуждены историей. Но значит ли это, что осуждена тем самым и сама военная тема? Следует признать, что в мировой литературе второй трети нашего века советские книги, посвященные войне, занимают по качеству одно из первых мест. Не менее значительны и те, что вышли в последнее время. Их авторы преодолели вводящие в заблуждение иллюзии, и поэтому люди в этих книгах (индивидуально и коллективно) обрели то простое величие характера, которое война выявляет в лучших из них на практике. Это относится — если ограничиться несколькими примерами — к В. Быкову, показывающему, что неслыханные испытания, которым подверглись люди во время войны, стали пробным камнем этических ценностей; это относится и к К. Симонову, прослеживающему на протяжении войны путь к зрелости — от Советской России 30-х годов к СССР наших дней. Никогда еще размышления о Советском Союзе и человеческой судьбе, о той основополагающей ценности социалистической этики, которая носит имя ответственности, не были столь последовательными и глубокими.

Качество лучших советских произведений о войне может быть оценено по-настоящему, если сопоставить их с великим классическим произведением, истоком русской военной литературы — «Севастопольскими рассказами». В них мы также найдем и ужасы войны, и мужество, и человеческую нежность, и исследование национального характера, как и самой природы человеческой, раскрывающейся в войне. Но если правда, что и в крымской войне были агрессоры и защитники и что Толстой отнюдь не смотрит на тех и других одинаково, остается истиной, что столкнувшиеся государства и сражавшиеся армии были однородны по своей сути. Предметом спора в той войне был всего лишь контроль над стратегическими позициями на Ближнем Востоке, и жестокость кампании объяснялась единственно мощью средств, введенных в бой на узком участке. Англичане и французы не были фашистами; Россия не была тогда социалистической. Это обусловило отличие толстовского шедевра от советских произведений на военную тему. Большие советские писатели, говоря о войне, имеют дело с войной, другой по природе: они пишут не просто о войне и человеке на войне. Они пишут также о фашизме и социализме. Напоминание об этом, как мне кажется, и было главной задачей встречи.

Конгресс писателей-ветеранов... Какой легкий повод поиронизировать! Но после этих дней воспоминаний, после этих документов, показывающих, что такое фашизм, фашистское господство на практике, ирония была неуместна — по правде говоря, нестерпима. По отношению к фашизму возможны только протест и борьба.

Горький — достаточно ли мы прислушиваемся к его великому голосу? — Горький не уставал повторять, что советской молодежи, не испытавшей капиталистического угнетения, нужно разъяснять, чем оно было на самом деле, сколько страданий и смертей оно принесло, а также сколько крови и слез стоила борьба, завершившаяся в конечном итоге его ниспровержением. Горький считал необходимым, чтобы все знали историю труда, которая является в то же время историей его раскрепощения, историей социализма, и именно в таком духе задумал он одновременно два коллективных труда: серии «История фабрик и заводов» и «История гражданской войны»,— он представлял себе их как книги, опирающиеся на документы, созданные в сотрудничестве с теми, кто все это пережил. История борьбы против фашизма, антифашистской войны является продолжением этого замысла, и советская военная литература составляет одну из ее великих страниц. Но никогда нельзя довольствоваться достигнутым.

Проведя эти две недели в стране, которая окружена агрессивными базами, над которой летают спутники-шпионы, которой более или менее откровенно угрожает на разные голоса империалистический мир, я был поражен не столько уверенностью в себе народа, сколько многократно повторявшимися словами: война больше невозможна. Как сказать... Прекрасно иметь руководителей, стремящихся к миру, и я понимаю тех, кто этим руководителям абсолютно доверяет. И тем не менее, если верить подсчетам, только что приведенным в одной французской газете, с 1945 года было ни больше ни меньше как девяносто семь локальных войн, вызванных гражданскими междоусобицами или иностранными интервенциями. Война во Вьетнаме длилась почти тридцать лет и была еще более жестокой, чем вторая мировая война.

Естественно, в ряде выступлений, в том числе и советских писателей, прозвучали слова о том, что фашизм еще не умер. При этом упоминались, однако, только его наиболее откровенные проявления, страны, где он господствует в самой грубой и жестокой

форме: Чили, Южная Африка, Индонезия... А между тем в приглушенных, скрытых формах он существует, пожалуй, во всех без исключения капиталистических странах. Брехт напоминал: «Торжествовать пока еще не надо: еще плодоносить способно чрево, которое вынашивало гада».

Вернувшись во Францию, я вижу, что повсюду — в печати, на экране — на тысячу ладов публику приучают к мысли о войне, и не просто как к некоему неотвратимому явлению — пущены в ход всевозможные уловки, чтобы заставить народ принять гипотезу наступательной атомной войны. Нам прожужжали уши заявлениями, что публика устала от военных книг, если речь идет о войне против фашизма; это не мешает, однако, с упоением писать о войне колониальной, героизировать наемников и авантюристов. Идет реабилитация фашистов: военных преступников изображают как людей порядочных, им любезно предоставляют слово на экранах государственного телевидения. Пошла мода на «ретро», на «оглядку назад», которая состоит в оправдании коллаборационизма как в книгах, так и на экране. Я уж не говорю о «массовой» литературе, о которой критика умалчивает, об этой всепроникающей, единственно многотиражной псевдолитературе, где война, насилие, садизм не просто превозносятся, но открыто облачаются в фашистскую униформу, в маскировочный костюм «пантер», а в качестве естественного врага выставляется Советский Союз или, шире, любая форма социализма.

Мне вспоминается в связи с этим сатирическая поэма французского поэта Жака Гошрона «Парад» — она была написана в 1946 году — о новых версальцах, которые приходили как на забавное зрелище на выставки, посвященные нацистским зверствам, и не могли скрыть ни своего удовольствия, ни своих сожалений, ни своих надежд. Эти люди все еще среди нас. И определенные силы западного мира исподволь готовят третью мировую войну, от которой как бы ждут реванша за вторую.

Следует, значит, внести полную ясность. Советские писатели, организаторы встречи, к этому и стремились, показав, прежде всего с помощью документов, преступления фашистов в Советском Союзе: в одной Белоруссии более тысячи городов и деревень постигла судьба Орадура. Миллионы мужчин, женщин и детей подверглись пыткам были убиты: сознательно ставилась цель уничтожить с помощью террора всех, кто так или иначе соприкасался с государственным и партийным аппаратом, профсоюзами, любыми советскими организациями... Даже тем, кто был раньше знаком с этими фотографиями, смотреть на них было нестерпимо трудно, при этом каждый понимал, что самое страшное не могло быть показано. Не только порабощение целых народов, начиная с немецкого, но и их нравственное и физическое уничтожение, геноцид, возведенный в ранг государственной политики, произвол правящего меньшинства — вот что такое конкретно господство фашизма.

«когда он считает себя победителем», если говорить словами Симонова, который воззвал к совести писателей всего мира, прежде всего — участников встречи.

Этот призыв, безусловно, справедлив. В отличие от присутствовавших советских писателей, далеко не у всех приехавших из-за рубежа был конкретный опыт войны или личное знакомство с нацистскими преступлениями во всем их масштабе. Я имею в виду, в частности, писателей, приехавших с континентов, которых война не коснулась. Это обнаружилось в высказываниях одного американского писателя, не видевшего смысла в благоговейном почитании погибших; он считал, что может относиться с бестрепетностью социолога к памятникам верности, воздвигнутым героям, принесшим такие жертвы, и к жертвам варварской жестокости (нередко одни и те же люди были одновременно героями и жертвами). И нельзя сказать, что ему недоставало честности или гражданского мужества — сумел же он у себя на родине выступить против войны во Вьетнаме. Ему недоставало живого, прочувствованного собственной плотью ужаса страданий, перенесенных целым народом, чувства, которое пребудет вечно в сердцах выживших. Действительность нацистской войны была ему известна только как абстрактное понятие. За речью американца угадывалось мнение определенных кругов, которые многого не знают или обо многом забыли.

Уже один этот случай достаточен, чтобы показать целесообразность подобной международной встречи. Прав, следовательно, был К. Симонов, призывая литераторов к ясному осознанию положения и мужеству: «...для того, чтобы отличать правду от лжи, нам, писателям, надо нести в самих себе свою неуступчивую собственную правду, не поддающуюся соблазнам и порой даже жестокую правду...

...Если твоя книга способна, оставшись наедине с совестью отдельно взятого человека, хотя бы на миллиметр подтолкнуть его к пониманию безнравственности непротивления войне, к пониманию милитаризма как идеологии нравственного саморазрушения, то игра стоит свеч, и есть для чего жить, и есть для чего работать».

Да будут слова К. Симонова услышаны всеми!

Некоторые писатели — кубинцы, португальцы — пошли даже дальше: напоминая об ужасах войны, они не ограничились утверждением нравственной ответственности писателя, но потребовали от него прямо и открыто выраженной политической позиции.

■

У этой встречи были свои пределы. Из программы, которую она поставила перед собой, лишь первый пункт — «исторический

ЖАН ПЕРЮС
ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ И ДОЛГ ПИСАТЕЛЯ

опыт второй мировой войны» — был рассмотрен во всей полноте. Второго — «ответственности писателя за судьбы своего народа и человества в условиях разрядки международной напряженности» — коснулись лишь в общих чертах. Однако если следует утверждать необходимость не демобилизовываться, значит, существует опасность демобилизации. Такой опасности не было ни во время войны в собственном смысле слова, ни во время холодной войны: опасность демобилизации связана с разрядкой в обстановке мирного сосуществования двух противоположных систем. Дух войны, как правило, уже не проявляется открыто: он принимает скрытые формы. И сегодня вопрос не столько в разоблачении жестокостей войны (хотя это всегда необходимо), сколько, в конечном итоге, в срывании с духа войны тех лживых масок, в которые рядит его либерализм. Именно тут прячутся современные формы пропаганды войны или согласия, осознанного или неосознанного, на подготовку к новой войне. Наглядный пример этого мы имели во время предварительной дискуссии перед конференцией в Хельсинки, когда обсуждались проблемы того, что получило наименование «третьей корзинки»: объектом этой дискуссии были обмен идеями, печатными публикациями, людьми и, в более общем виде, то, что называется на Западе «свободами». Естественная потребность в свободе, в расширении свободы была использована как оружие холодной войны. Конечно, соглашение в конце концов подписано, но это вовсе не означает, что поборники крестового похода либерализма разоружились.

Сражения такого рода не новость: в плане теоретическом они столь же давние, как сам конфликт либерализма с марксизмом. Социалистические мыслители, как в СССР, так и за его пределами, не без причин стараются внести ясность в эти проблемы и в те новые формулировки, которые они не перестают порождать.

Но было бы бесполезно скрывать от себя, что не одни только «средства массового воздействия» способствуют тому, что противники разрядки находят аудиторию. Это объясняется в значительной степени и тем, что у каждого народа своя история борьбы за свободу, что свободы были завоеваны в долгой и трудной борьбе каждым народом в особых исторических условиях и своим особым путем, что специфика этой борьбы сформировала у каждого из них также свое понимание того, как эта свобода должна осуществляться. Одной из характерных черт эпохи «национализмов» (в смысле — становления наций) является тот факт, что все народы единодушно сходятся в толковании свободы как таковой, считая ее высшей ценностью, но каждый имеет свое представление о конкретных формах ее воплощения. Даже внутри любой нации социальные классы и группы противостоят друг другу — со всеми промежуточными оттенками — именно в силу различной природы той борьбы, при помощи которой каждая из наций завоевала те или иные свободы, причем эта борьба продолжается по сей день.

На взгляд философов. свобода едина, но на уровне индивидов она переживается поразному. Отсюда видно, насколько важна работа писателя, ибо эта работа осуществляется как раз на уровне переживаемого, на уровне индивидуальных сознаний, не равных по ясности, по-разному смутных. Именно писатель с помощью специфических средств своего искусства может показать, как преломляется в сознании каждого человека коллективная борьба за свободу, какими путями он идет и к чему, в конечном итоге, стремится. Это, с одной стороны, задача каждой национальной литературы, с другой — также и задача мировой литературы, взятой в ее совокупности. Неравномерность развития наций как в процессе их становления, так и в процессе достижения социализма порождает недоразумения в этом важнейшем вопросе. На встрече это обнаружилось в случае с американским писателем: он проявил себя человеком прогрессивных взглядов, когда осудил войну во Вьетнаме, говоря, что она наносит ущерб американским свободам, но он перестал быть прогрессивным, когда в силу наивного конформизма, приспособления к позитивизму, господствующему на его родине, придумал, будто в СССР наблюдается возрождение своего рода религиозных взглядов в виде культа погибших, и полагал, что дает в этом плане урок духовной независимости советским писателям. На этом примере видно, какую взаимную помощь различные национальные литературы могут оказать друг другу, учитывая различный уровень зрелости наций и их литератур: то, что уже ясно одной, бросит свет на то, что для другой еще туманно, еще на уровне коллективного бессознательного. В этой области литературное произведение может обладать такой силой убеждения, которая недоступна логическим доказательствам. Именно здесь, как мне кажется, подлинное поле битвы писателя сегодня.

Это, возможно, стало бы еще очевиднее на встрече, будь на ней шире представлено молодое поколение писателей, то, которое не пережило войны против нацизма и специфическая задача которого состоит как раз в том, чтобы сохранить верность духу старших. В этой области советской литературе также есть чем гордиться. Многонациональный характер делает ее примером того, как множественность анализов и образов, отражающих разнообразие умонастроений, сливается в конечном итоге в единое стремление к прогрессу социализма и укреплению мира. Но многонациональная советская литература еще недостаточно известна за рубежом. Во Франции в прекрасной серии книг, издаваемой под общим руководством Арагона,— «Советские литературы» (так же называется и книга Арагона) — вышло уже несколько произведений, но она одна может охватить лишь ограниченное число читателей. В то время как, например, журнал «Иностранная литература» широко информирует советских читателей о том,

что происходит в зарубежных литературах, журнал «Советская литература», знакомящий зарубежного читателя с самым значительным в литературах СССР, страдает, к сожалению, от крайне ограниченного распространения (речь идет о Франции).

Качественно новая ситуация, созданная международной разрядкой, порождает и качественно новые проблемы литературы — необходимость найти новые формы, которые смогут выразить новое содержание. Как ни парадоксально, но на встрече, участниками которой были не историки, а писатели, об этом говорилось очень мало. Кажется, единственный, кто намекнул на эту проблему, был писатель Мануэль Мехия Вальехо (Колумбия). Не случайно, что это был голос из Латинской Америки. Устами колумбийца выразила себя литература континента, который восходит к самопознанию, освобождаясь в то же время от ига империализма, и который, располагая богатым, красивым и великим языком культуры — языком первых испанских поселенцев,— должен теперь преобразовать его, чтобы превратить в средство выражения национального сознания — то есть одновременно сознания своей специфики и своего освобождения. Эта великая литература наших дней — и в еще бо́льшей степени, без сомнения, литература дней грядущих — может служить примером подлинного новаторства и изобретательности, которые она уже показала.

И в этой области она не одинока. Советский Союз, ошибочно считающийся на Западе примером консерватизма в области формы, вносит значительный вклад своей подлинно многонациональной литературой. Приведу лишь один пример—М. Слуцкиса, участника встречи, роман которого «Беспокойная моя гавань» переведен на французский язык. М. Слуцкис нашел чрезвычайно емкую форму повествования, незаметно переходя от объективного рассказа к внутреннему монологу, который не распадается, как у Джойса, но дает почувствовать трудности борьбы за свободу, пережитые молодым человеком в специфических условиях послевоенной Литвы, тем самым приобретая ценность универсального опыта. Какой увлекательный обмен поисками в области литературной формы мог бы состояться между такими писателями, как Мехия Вальехо и М. Слуцкис!..

Эти замечания, как вы понимаете, делаются не для того, чтобы подвергнуть критике встречу, организованную Союзом писателей СССР. Я уже сказал и настойчиво повторяю, что она была своевременна и необходима. Хотелось бы только добавить, что она представляет прекрасную основу для того, чтобы пойти дальше, углубить анализ проблем, возникающих сегодня перед писателями и требующих от них ответственного отношения и нового языка.

Сейчас немало людей следит без предубеждения за новой советской литературой и высоко оценивает ее вклад в мировую литературу, разнообразие и богатство проблем, ею поднятых, серьезность, с которой она относится к актуальным темам, многообразие ее подходов и стилей. Писатели, которые осознали свою ответственность и готовы искать свои — присущие искусству — пути решения проблем, поставленных перед ними мирным сосуществованием, ждут, что советская литература выступит застрельщиком широкого обсуждения этих вопросов.

◆

Критика

А. ЗВЕРЕВ

МЕНЯЮЩИЕСЯ ОРИЕНТИРЫ

Движение времени в конечном счете всегда находит отзвук в литературе, хотя совсем не обязательно этот отзвук должен быть непосредственным и немедленным. Литература обладает внутренними, еще недостаточно понятыми законами развития, и о них никак не следует забывать, говоря о ее связях с динамичной социальной реальностью. Крайне рискованно судить об этих связях, держа перед глазами картинку из школьного учебника физики, на которой изображены сообщающиеся сосуды с их неизменно одинаковыми уровнями жидкости.

Литература и время, бесспорно, тоже «сообщаются», однако при этом могут оказаться далеко не одинаковыми и «уровни» и содержимое «сосудов».

Обращаясь к американской прозе последних нескольких лет, невольно задумываешься о сложности явления, которое принято называть сменой периодов литературного развития. Многое переменилось в действительности США с той поры, как пройден рубеж 60-х и 70-х. Иные побуждения и коллизии заявляют о себе сегодня в общественной жизни страны, да и в повседневном быте миллионов людей.

А в литературе? Отразился ли в ней уже во многом новый общественный и духовный климат 70-х годов? Наметились ли новые темы, пришли ли новые герои, возникли или пока не возникли новые конфликты?

Пытаясь ответить на эти вопросы[1], не забудем о том, что далеко не всегда литература воспринимает и выражает движение времени открыто и самоочевидно и что вызванный требованиями времени процесс поисков новой общественной позиции не может не быть противоречивым, а то и мучительным, не может не влечь за собою ошибок, порою и потерь. Что ж, тем важнее понять и верно оценить главный смысл происходящих перемен — как нам представляется, закономерных и необходимых.

■

Хронологическая дистанция все еще недостаточно велика, чтобы выносить выверенное суждение об американской литературе 60-х годов, утверждая (или отрицая), что она сумела подняться до подлинных художественных высот. Об этом можно спорить и спорить. Однако та же самая дистанция уже слишком ощутима, чтобы не почувствовать: период завершился. Быть может, завершился не в строгом соответствии с формальным окончанием 60-х. Но завершился несомненно.

Собственно, и все те перемены в американской литературе последнего времени, которые трудно не заметить человеку, внимательно за ней следящему, прежде всего следует объяснить как раз переоценкой идейных и эстетических ценностей, в высшей степени актуальных для 60-х годов.

Что побуждает Нормана Мейлера, писателя, в чьем творчестве столь наглядно выявился свойственный 60-м дух воинствующе-

[1] Не так давно они были поставлены и А. Мулярчиком в статье «В поисках новых горизонтов» («Иностранная литература» № 8, 1975), где рассматриваются некоторые тенденции американской литературы 70-х гг.

го радикализма и обличения болезненных общественных явлений в США, обратиться к биографии Мерилин Монро и к размышлениям над духовным миром среднего американца, чьим идолом была эта «мадонна неонового века»?

Что побуждает Джеймса Болдуина сразу же вслед за автобиографической книгой «И имени его не будет на площади», где с необыкновенной остротой поставлен вопрос о путях «негритянской революции», написать повесть о любви, о трудной судьбе молодой негритянской семьи, на себе изведавшей действие законов расизма,— поэтичную, грустную и светлую повесть, где внимание писателя приковано к повседневному, к гарлемской улочке, к Ромео и Джульетте из «цветного» предместья?

Почему далекая фантастическая планета Тральфамадор—это созданное воображением Курта Воннегута царство техники, которая «упразднила» человека,— в недавнем романе писателя «Завтрак для чемпионов»[1] заменена конкретно и пластично изображенной будничной Америкой осени 1972 года? Почему так быстро сошла со сцены поэзия протеста, еще несколько лет назад считавшаяся едва ли не самым многообещающим новым направлением в американской литературе?

Наконец, почему все беднее талантами становится молодежный театр, все бессодержательнее делаются фильмы «самого независимого» авангардистского кино и в чем причина глубокого кризиса, который сегодня переживают эти неотделимые от духа 60-х художественные (скорее, псевдохудожественные) движения? А с другой стороны, что заставляет писателя — скажем, Стадса Теркела в книге «Работа» (1974) [2] — вновь обращаться к герою-рабочему, развенчивая созданный «новой левой» миф о пролетариате как безликой массе обывателей и приспособленцев? Чем объяснить этот необычайно высокий в последние годы писательский интерес к жизни «одноэтажной Америки», к проблемам, волнующим уже не только интеллектуалов левой ориентации, а широкие массы рядовых людей,— к проблемам труда, образования, семьи, проблемам мнимой и истинной ценности жизни, ее смысла?

Да, перемены слишком ощутимы, слишком массовым стало стремление к новой, по сравнению с 60-ми, художественной ориентации, к другим темам и героям. Прямая — осознанная и подчеркнутая — связь искусства и политической «злобы дня», столь характерная для Америки минувшего десятилетия, сегодня уже не самоочевидна; но было бы грубейшей вульгаризацией сделать отсюда вывод, будто литература двинулась в обход серьезной социальной проблематики и понесла убытки, которые невозможно компенсировать. Подобные суждения можно услышать из уст приверженцев «новой левой» — например, Сьюзен Зонтаг; видимо, принцип сообщающихся сосудов кажется им вполне приложимым и к эстетике. Но на деле социальная проблематика и сегодня остается в американской литературе значительной и актуальной, как и семь-восемь лет назад. Просто она рассматривается в ином ракурсе, исследуется в новом «контексте» — и общественном, и художественном. И в изменениях «контекста» суть дела.

Не так уж, пожалуй, трудно определить, чем вызваны все эти пересмотры позиций, ставшие чуть ли не повседневным явлением в американской культурной жизни. Вспомним атмосферу 60-х годов: многотысячные антивоенные митинги, на которых звучали голоса писателей самых разных поколений, знаменитый «штурм Пентагона», негритянские марши протеста, находившие отзвук в пламенной, все более пламенной политической публицистике, поэзии, прозе «новой волны». Размах молодежного движения, популярность лозунгов «новой левой», требовавшей от искусства лишь непосредственного комментария к событиям современности и прямой проповеди экстремистских по духу идей. Ожидание близящихся решительных столкновений и вслед за ними — коренных перемен в социальной жизни. Головокружительный успех книг, написанных не профессиональными литераторами, а людьми, которых в эти годы вынесло на гребень общественной истории,— дневников, исповедей с «революционной» тенденцией вроде «Души на льду» (1968) ультралевого негритянского активиста Элдриджа Кливера, вроде «Автобиографии Малькольма Икс» (1966) и сборника речей этого выдающегося деятеля «негритянской революции». Успех, который заставлял задуматься,— вероятно, именно такие книги выражали тогда пафос времени — и в литературе отзывался заостренными политическими акцентами ее наиболее примечательных произведений: репортажей Мейлера, «Веселого месяца мая» (1971) Джеймса Джонса, «Страны чудес» (1971) Джойс Кэрол Оутс...

Будущее, очень близкое будущее в то время представлялось ясным: либо общественная катастрофа, либо радикальные изменения, которые потребуют борьбы — может быть, и баррикадных боев, может быть, даже и гражданской войны. Но предчувствия обманули. Некоторые острейшие антагонизмы 60-х — расовый конфликт, проблемы молодежи, доходивший до крайностей экстремизм «революционеров» и нараставшая в ответ «истерия законопослушных» (Мейлер) — если и не были сняты с повестки дня, то выступили в другой, не столь крайней форме. Жизнь медленно, но верно возвращалась в более или менее спокойное русло. «Новая левая» сворачивала знамя, и интеллигентами, примыкавшими к этому движению или просто испытавшими его воздействие — а таких было очень мно-

[1] См. «Иностранную литературу» № 1—2, 1975.
[2] Там же, № 1, 1976.

А. ЗВЕРЕВ
МЕНЯЮЩИЕСЯ ОРИЕНТИРЫ

го, особенно среди писателей,— овладевали разочарование и растерянность.

Выявилась уязвимость общественной и творческой программы, которая в 60-е годы многим казалась единственно приемлемой для писателя, сознающего свою ответственность перед временем.

Когда общественная ситуация переменилась и конфликты, волновавшие писателей в 60-е годы, уже не представали в своей обнаженной сути, от требований повышенной политической активности писателя стали отступать и их вчерашние поборники. Сами конфликты никуда не исчезли; однако понадобился более глубокий, более выверенный и точный их анализ. А он был возможен лишь при условии более целостного взгляда на действительность, когда в поле зрения художника оказываются не только студенческие демонстрации и баррикады в негритянских кварталах, не только жаркие перекрестки современной общественной истории, но и ее подспудные течения, ее «периферия», ее драмы, разыгрывающиеся в будничных декорациях, но порой говорящие о самой истории больше, чем приковавший всеобщее внимание взрыв ее противоречий.

Настойчиво заявило о себе стремление к аналитическому художественному исследованию реальности. Конечно, выражалось это стремление по-разному. В частности, находило выход и в открытой полемике с идеями минувшего периода. В новом отношении к господствовавшим еще вчера идеалам и к героям, еще вчера открывавшим список действующих лиц.

...Лобо Дэвис, частный детектив, от имени которого ведется повествование в романе Джеймса Джонса «Рядом с опасностью» (1973), по выполнении очередного задания своего хозяина, миллионера Фредди Таркофа, приезжает на остров Цацос просто отдохнуть и поплавать с аквалангом; однако он тут же вынужден вновь заняться работой. «Коренной» американец средних лет, который приучил себя к мысли о неизбежности одиночества и умеет стоически переносить всегда ему сопутствующую неудачу,— не новый для Джонса персонаж. Не нова и сама атмосфера действия: южное море, покачивающиеся у пирса белоснежные яхты и где-то здесь же, рядом, притаившаяся опасность, скучающие богатые бездельники с их изломанной психологией и изощренной аморальностью.

«Нетипично» по сравнению с другими романами Джонса лишь одно примечательное обстоятельство: его герои в той или иной степени причастны к «революциям» 60-х — к молодежному движению, к «новой чувствительности», в которой порой усматривали в 60-е годы залог радикальных перемен американского миропорядка. Все до единого: обедневшая аристократка, и бывший посол, и члены «семьи» хиппи, разместившейся на заброшенной стройке, и уверовавший в идеи хиппи миллионер Сонни Дюваль, и даже некоронованный король Цацоса Кронитис. Быть «революционером» в наши дни модно, «современно», да и сама «новая чувствительность» для пресыщенных — большей частью уже смолоду — персонажей Джонса действительно становится чуть ли не последним источником более или менее ярких впечатлений и эмоций.

Опасность, находящаяся «рядом» с героями,— это угроза девальвации морали и разрушения личности, не столько даже посвятившей себя служению «революции» леворадикального образца, сколько отдавшейся игре в эту «революцию», своего рода «революционному» самообману как крайнему средству преодоления душевной опустошенности. Привкус карнавальной несерьезности, сопровождавшей и самые энергичные выступления молодежи и выглядевшей поистине трагически, когда эти выступления наталкивались на вполне серьезный и жестокий отпор поборников «порядка», был безошибочно распознан Джонсом еще в «Веселом месяце мае», где описан студенческий бунт, парализовавший Париж и не оставивший камня на камне от разрекламированной «гармонии» потребительского общества. В новом романе это карнавальное шутовство с «революционной» подоплекой точно так же ведет к тягостным финалам, но герои не вызывают сочувствия, потому что их шутовство осознанно, оно даже вымучено. Под ним нет ни грана революционного убеждения, а есть лишь поза, лишь маска, слабо прикрывающая убеждения истинные — эгоистические, циничные, прозаично собственнические по сути.

При всем разительном внешнем отличии новой книги Джонса от «Веселого месяца мая» идейно она оказывается продолжением романа о парижских беспорядках 1968 года. Новым шагом по пути последовательной критики программы «левого» движения, предпринятым, что существенно, уже в условиях, когда кризис самого движения стал непреложным фактом.

Центральной фигурой романа «Рядом с опасностью» становится Сонни Дюваль — богач, ведущий жизнь интеллектуала-люмпена, лодочник и гид при богатых туристах: он и сам мог бы их ссудить деньгами, но предпочитает брать чаевые — зато кто из них похвастает, как он, что живет лишь заработанным в поте лица? Исповедуемые Дювалем принципы знакомы, в наши дни чуть ли не шаблонны — и эти настойчивые призывы к физическому труду, и эта проповедь отказа от какого бы то ни было насилия и широчайшей терпимости по отношению к окружающим. Споря с Дювалем до хрипоты, Лобо доказывает, что должны же существовать какие-то пределы, какие-то сдерживающие рычаги, не то весь западный мир превратится в грязный свинарник наподобие коммуны хиппи, возглавляемой еще двумя поборниками «новой чувствительности» — юными Чаком и Стивом.

Именно сюда тянутся нити преступления, которое расследует Лобо. Населяют коммуну частью бывшие студенты и отпрыски «хороших семей», пленившиеся «революцией», частью подростки, у которых от пер-

вого глотка желанной «свободы» голова пошла кругом: «Они просто боятся, что однажды станут взрослыми». На поверхности — пышная «революционная» фразеология, а за ней — всего лишь оправдание для моральной вседозволенности да сухой коммерческий расчет торговцев наркотиками, эксплуатирующих инфантильное миропонимание «бунтарей». И когда что-то угрожает их деловым интересам, Чак и Стив не стесняются в средствах: гибнет участница коммуны Мари, видимо слишком много знавшая о «наркбизнесе»; убит лодочник Гиргис, видимо доставлявший на остров героин.

Вот что такое «новая чувствительность» на деле, не на словах. Но Дюваль отбивает эту атаку без труда: философию хиппи легко уличить в изъянах и пороках, да только что Лобо может предложить взамен? Разве цивилизация не прогнила? Разве за респектабельностью буржуазного быта не скрывается еще больше грязи, еще худший разврат, еще более грубое насилие?

Здесь и обнаруживается узел проблематики романа; Джонс не сумел его распутать. Развитие событий в заключительных главах выдает облегченность, прямолинейность, пожалуй даже тенденциозность, в решении главного конфликта. Выясняется, что оба убийства совершил не кто иной, как «непротивленец» Сонни, и мотивировка в обоих случаях была одна и та же — ревность. Не кто иной, как хозяин Лобо, Таркоф, возглавлял весь «наркбизнес» на острове. Что же, цивилизация и вправду «прогнила»? И не смешон ли Лобо, упрямо защищавший в спорах с Дювалем свои старомодные «принципы»?

В творческой практике Джонса такие художественные срывы — что называется, на ровном месте — не редкость. Поразительно неровной выглядит дорога, которую избрал для себя в литературе этот очень значительный писатель.

И все же мелодраматичный финал книги не должен заслонять ее объективной значимости. Прежде всего значимости намеченного в ней конфликта: достаточно сложного, чрезвычайно актуального. Вероятно, американская литература еще не готова предложить какое-то положительное его решение; во всяком случае, решение, предлагаемое в романе «Рядом с опасностью», удовлетворить не может — уж слишком не нов и, мягко говоря, однобок авторский вывод, согласно которому законы коррупции и аморализма в западном обществе всемогущи, и нет в нем иных — не подчинившихся этим законам — сил, а есть лишь герои-одиночки вроде Лобо Дэвиса, всегда обреченные на поражение.

Но мысль, которую выразил, пусть не до конца убедительно, в своем романе Джеймс Джонс,— мысль серьезная, выношенная. Речь идет об ответственности человека в кризисные периоды социальной жизни, о непереносимости духовной пустоты, какими бы суррогатами ее ни пытались восполнить, о безысходных драмах ложно понятого бунтарства и индивидуализма «сильной личности», готовой переступить через все нравственные нормы ввиду их «девальвации». Сегодня американская литература настойчиво обращается к понятию этической ответственности за общественные последствия «левого бунта». И эта настойчивость — сама по себе свидетельство критического осмысления еще не до конца завершившейся духовной истории 60-х, которая прошла под знаком «левого взрыва». Осмысления, нередко принимающего чрезмерно негативный характер и тем не менее необходимого, ибо «левый активизм» не выдержал испытания практикой и прежние ориентиры уже утратили свою надежность.

Новая книга Роберта Стоуна [1] «Штрафное отделение» (1974) по форме и даже по сюжету близка роману Джонса — опять психологический детектив, опять махинации с наркотиками (заметим еще, что и Стоун вслед за Джонсом отдал дань грубому натурализму). Однако пакет героина, отправленный героем Стоуна, журналистом Конверсом, из Сайгона в Америку,— это только исходное событие; оно позволяет развернуть захватывающую интригу, но не теснит и не подавляет главный, этический план повествования. Конверс, его жена Мардж, приятель героя Хикс, взявшийся доставить пакет по назначению,— все они ищут не легких денег, а Приключения, той щекочущей нервы игры с опасностью, которая должна высвободить их из-под гнета повседневности и приобщить к «настоящей» жизни. Она, эта «настоящая жизнь», где-то совсем рядом, в коммунах хиппи, на окраине мегалополисов, в университетских городках, в тех кварталах, которые прежде было принято называть «дном»: здесь открыто бросают вызов «норме», плюют на «благопристойность».

Герои Стоуна — даже не «бунтари», просто люди, захваченные всеобщностью «бунтарского» настроения и не замечающие, что очень часто это всего только позерство, мода, в лучшем случае стиль жизни, но никак не ее истинное содержание. Поневоле они глубоко несчастны, и Стоун недаром уподобил их солдатам штрафной роты. Ведь в накаленной, пропитанной насилием атмосфере Америки на рубеже десятилетий для игры, для Приключения в его романтическом облике места не было; каждое решение означало известный этический выбор, и за него приходилось расплачиваться. Конверсу, попавшему в руки агентов по борьбе с наркоманией (а за ними стоит связанное с «наркбизнесом» ЦРУ), расплатиться за свои поиски иллюзорной раскрепощенности «я» пришлось страданиями, унижениями, а затем и предательством, которое он, сломившись, совершил по отношению к Хиксу. Роль «бунтаря»

[1] Читателям «Иностранной литературы» он знаком по роману «В зеркалах» (№ 4—6, 1973).

А. ЗВЕРЕВ

МЕНЯЮЩИЕСЯ ОРИЕНТИРЫ

была ему не по плечу, она попросту не соответствовала духовным возможностям его личности — случай сравнительно простой при всей своей типичности.

Для Хикса и Мардж Приключение стало еще более тяжкой драмой, потому что они искали его не ради минутной встряски, а с надеждой начать на этом пути совершенно новую жизнь. Мардж необходимо «какое-то дело, какая-то причастность». Открыто высказанное только один раз, это побуждение руководит всеми ее действиями, да только беда в том, что сама «причастность» для Мардж — все тот же «бунтарский» стиль жизни, а не общественная позиция, которая прежде всего требует цельности и глубины нравственного чувства. И Мардж, насилуя собственную человеческую природу, старается следовать откровениям апостолов «сексуальной революции» и фанатиков наркотической «свободы» — все лучше, чем бездуховное «благополучие» и убийственная монотонность «нормального» бытия. Противопоставление заведомо ложное и неразрешимое; Мардж предстоит убедиться в этом на собственном опыте. Маска и сущность, поза и естество остаются непримиренными, и в минуту решительного выбора — между погибающим Хиксом и спасшимся ценой сделки с совестью Конверсом — решение для Мардж предопределено: она уезжает с Конверсом, зачеркнув все усилия, каких от нее потребовали бесплодные и трагические поиски «настоящей жизни».

Из всех трех лишь Хикс остался верен идее «бунта» до конца. Для него «бунт» не равнозначен ни высвобождению «я» в наркотическом бреду, ни причастности к философии хиппи, которой тщетно искала Мардж. Человек сильной воли, неудачник, доморощенный ницшеанец, «свой» среди хиппи и самых разных по жизненному кредо «бунтарей», Хикс соткан из противоречий: цинизм уживается в нем с чувством товарищества, идея вседозволенности с подспудными устремлениями к здоровой и свободной жизни, ненависть к насилию, которому, по его убеждению, подвергается каждый, с инстинктами насильника, готового расправиться со всеми, кто встает на дороге.

Главным побудительным стимулом и для Хикса вначале было само Приключение, но реальность сделала это Приключение драмой, в которой подверглось испытанию главнейшее качество его личности — способность следовать своей этической позиции до конца. Он выдержал это испытание, одолел искус бежать без оглядки, оставив Мардж; он принял бой с полицией, чтобы выручить Конверса, и спас Мардж, не остановившись перед угрозой погибнуть самому.

Только какова же истинная цель этого упорства, этой самоотверженности героя, если весь щедро ему отпущенный запас душевных сил Хикс расходует, собственно, лишь на то, чтобы отстоять принципы своеволия и вызывающего аморализма? Целостная и не смирившаяся личность, которая для него важнее всего на свете, на деле оказывается не более чем воплощением индивидуализма и «права» сильного отбрасывать все этические запреты; крушение Хикса — это крушение всей «бунтарской» жизненной философии. По мысли Стоуна, близкая к нам по времени духовная история Америки лишний раз подтвердила неспособность интеллигенции выдерживать напряжение больших общественных кризисов, неспособность найти в часы серьезных испытаний действенную гражданскую позицию и отстоять подлинно гуманистическую ориентацию личности. Интеллигентами овладевает либо страх, либо моральная апатия, либо жажда бегства от жизни в мир иллюзорной «свободы». Рассказанная в «Штрафном отделении» жестокая история трех рядовых американских интеллигентов конца 60-х годов призвана стать подтверждением этого авторского тезиса.

Разумеется, он не может быть принят без существенных оговорок. Стоун стремился развенчать идеалы ложного «бунтарства» и мнимой «причастности»; духовные итоги 60-х дедают эту задачу закономерной. Но, как и у Джонса (или у Джойс Кэрол Оутс в ее недавнем романе «Делай со мной, что захочешь»), картина напряженной и полной противоречий нравственной жизни Америки ушедшего десятилетия оказалась в «Штрафном отделении» все-таки заметно упрощенной, чтобы не сказать — тенденциозной; авторов мучит с опозданием пришедшее сознание ошибок и тупиков, и они забывают о приобретениях — о пробудившейся в эти же годы гражданской активности широких масс американцев, в том числе и многих интеллигентов, об их мужестве в борьбе против войны и за социальную справедливость, о неприятии плоских «идеалов» потребительства, оставшемся серьезным и знаменательным явлением общественной атмосферы страны, какие бы ложные и даже пугающие формы порой ни принимал этот протест.

Упрощена — хотя и по понятным причинам — диалектика происходившего в Америке на стыке 60-х и 70-х общественного процесса, а в искусстве такие упрощения всегда мстят за себя; роман Стоуна — еще одно тому свидетельство. Художественное исследование этого процесса именно в его многозначности все так же остается едва ли не самой существенной творческой задачей, перед которой сегодня стоит американская литература.

■

Опыт мирового искусства XX века показывает, что как раз такие вот сложные периоды общественной жизни, когда на арене ее сталкиваются слишком уж различные тенденции, когда умами овладевает сознание подспудно происходящих перемен, оказываются периодами подъема исторического жанра, периодами особенного внимания художников к прошлому, осознанному в его явных и не столь явных перекличках с современностью. Это своего рода за-

кономерность, и она еще раз проявилась в американской литературе начала 70-х годов. Историческая литература давно уже не переживала в США такого оживления.

Книги исторического жанра, появившиеся в последнее время — «Бэрр» (1973) Гора Видала, пьеса Джона Апдайка «Бьюкенен умирает» (1973) и другие произведения,— обнаруживают тесную связь с проблемами, волнующими сегодняшнюю Америку. Но ни одну из них нельзя рассматривать как прозрачную аллегорию, как всем понятное иносказание. Оба писателя позаботились о том, чтобы в написанном ими видели произведения исторического характера, а не едва завуалированную реалиями далеких эпох притчу о наших днях.

Всего соблазнительнее истолковать в таком духе «Бэрра», и некоторые критики в США уличали Видала в намерении пожертвовать исторической истиной ради броской актуальности. Действительно, в романе Видала проступает вполне современная тенденция, и книгу при желании можно расценивать как свидетельство нынешних настроений леволиберальных, не чуждых и радикализма кругов американской интеллигенции. Но Видал, точно бы предвидя подобные толкования, воздвиг на их пути два серьезных препятствия. Во-первых, изучив огромную литературу, он постарался с дотошностью, которая может показаться даже мелочной, документально подтвердить каждое описанное им событие. Во-вторых, Видал тщательнейшим образом воссоздал дух изображаемой им эпохи, ее быт, ее атмосферу, наконец, присущий ей литературный стиль. Изложение он поручил одному из главных героев и с большим мастерством имитировал в его рассказе манеру повествования старых историков и писателей, прежде всего манеру Ирвинга, автора «Истории Нью-Йорка» и монументальной биографии Вашингтона.

Для чего этот документализм, к чему эта имитация? Из краткого авторского послесловия явствует, что и Видал не обманывается иллюзией документальной достоверности деталей, понимая, что в историческом жанре это еще не порука правды, коль скоро речь идет об общем смысле произведения. Строгость фактологии не то же самое, что точность оценки, одно не следует механически за другим. Ведь факты всегда отбираются из массы прочих оставленных без внимания фактов, и самый выбор позволяет читателю быстро обнаружить, какими задачами руководствовался автор.

Тем не менее Видал упорно держится «частной» правды фактов, и в этом есть своя логика. Писателю не хочется давать в руки своих противников, упрекающих его в антиисторизме, оружие, разящее наповал,— давать им основание ту или иную сцену романа квалифицировать как просто вымышленную, а стало быть, выдающую предвзятость романиста. Можно спорить о принципах отбора и монтажа фактов — и, разумеется, о самой «тенденции», заявившей о себе в «Бэрре»,— но нельзя спорить о том, действительно ли отобранные Видалом факты имели место. О них не так часто заходит речь в американских учебниках по истории, но их не выкинуть из самой американской истории. Какие-то зачастую «пропускаемые» явления Видал подметил и выделил, и хотя сомнительно, чтобы именно эти явления составляли сущность исторического процесса, без них, конечно же, понимание процесса тоже не было бы полным.

Другой вопрос, что о побудительных мотивах своих персонажей, совершавших те или иные документально засвидетельствованные действия, Видал судит уже не как летописец, а как художник, принимающий в расчет прежде всего не сухой документ, а нравственную и психологическую сущность интересующих его человеческих типов, какими Видал их себе представляет. Поскольку среди героев «Бэрра» фигурируют Вашингтон, Джефферсон, Гамильтон, Эндрю Джексон, Джон Джей, Ван-Бюрен и другие выдающиеся деятели ранней американской истории, такие суждения чрезвычайно ответственны. Здесь требуется особенно отточенное чувство исторической обоснованности «мотивов», их соразмерности объективной исторической истине. Требуется целостное видение истории в ее сложности и противоречиях, а как раз этой целостности взгляда на историю недостает «Бэрру» — не потому, думается, что Видалу она не по силам, а потому, что он к ней не стремится.

Та весьма «современная» идейная задача, которую ставил перед собой Видал, здесь-то и выдает себя, вступая в явное противоречие с провозглашенными автором принципами фактологической точности. Одновременное присутствие в романе двух столь разнородных начал наносит ему заметный ущерб как повествованию историческому, по самой своей природе, казалось бы, побуждающему писателя к объективности и еще раз к объективности.

И это противоречие могло бы совершенно расшатать фундамент, на котором держится все здание романа, если бы не удачно найденный прием имитации мемуарного и исторического стиля изображаемой эпохи, благодаря которому скрадывается забота автора о «тенденции» и, наоборот, отчетливее выступает колорит, запах, специфическое лицо самой эпохи. Повествование попеременно ведут вспоминающий молодые годы Бэрр и свидетель его последних дней журналист Чарльз Схайлер, и оба они мыслят, говорят, пишут как люди, жившие полтора-два столетия назад. В этом отношении Видал точен безукоризненно; своим художественным языком, своей фактологией, своим психологическим рисунком роман как бы «замкнут» в границах эпохи, которой он посвящен.

Всякое совпадение должно выглядеть решительно не зависевшим от авторских намерений. Незаурядный человек незаурядным

А. ЗВЕРЕВ
МЕНЯЮЩИЕСЯ ОРИЕНТИРЫ

ной эпохи повествует о себе и своем времени, а Видал озабочен лишь верностью портрета этого человека. Откуда следует, что автор исповедует те же взгляды? Наоборот, в послесловии Видал даже оговаривает, что не разделяет ни бэрровской язвительной критики Джефферсона, ни бэрровского умиленного любования Джексоном.

Едва ли, впрочем, кого-нибудь обманет хитрость, к которой прибег автор. Читатель-то невольно усваивает точку зрения Бэрра; Видал никак не отделяет себя от главного персонажа. А эта точка зрения отмечена своего рода веселым нигилизмом по отношению к ценностям, которые американцы и по сей день почитают священными,— к американской революции, ее героям, ее идеалам, закрепленным в «Декларации независимости». История «выпрямлена» Видалом с решительностью, которая не может не вызвать возражений и протеста; одно дело — понимать ограниченность и противоречивость американской революции как всякой буржуазной революции, и совсем другое — не замечать ее громадного прогрессивного исторического смысла. В рассказе же Бэрра и революция, и начертанные на ее знаменах лозунги, и последовавшие за ней события предстают в лучшем случае патетическим маскарадом, и Схайлера он учит видеть лица без масок, а события — без героического антуража. Все происходившее в первые десятилетия американской истории представляет собой, по свидетельству Бэрра,— и с этим согласиться, конечно, невозможно — всего только отчаянную и трагикомическую борьбу за власть и толстый кошелек. Борьбу, в которой все средства оказывались хороши.

Вполне вероятно, что исторический Бэрр мог в конце жизни прийти именно к таким выводам. Биография Аарона Бэрра изобилует крутыми перепадами и полна авантюрной романтики. Он был блестящим офицером в годы войны за независимость, и звезда его поднялась высоко в послевоенные годы: он стал сенатором, затем (1801—1805) вице-президентом при Джефферсоне. Он помышлял и о президентстве, но последовала дуэль с другим кандидатом, близоруким Гамильтоном, которого Бэрр сразил, навязав ему убийственные для противника условия поединка. А вслед за этим тридцать лет изгнания. Запутанная политическая игра в бонапартистском Париже. Еще более сомнительная служба при британской короне. Возвращение в Америку только с целью посадить в Белый дом Ван-Бюрена, по всей видимости, его побочного сына. Бэрр прожил восемьдесят четыре года; на его глазах заокеанская колония стала могучей державой. Он хорошо знает, как это происходило; он всегда был «наверху», с ним считались — человек острого ума, смелый, изобретательный, Бэрр был необходим «отцам-основоположникам», хотя они терпеть его не могли. В своих мемуарах видаловский Бэрр рассчитался с ними сполна, выложив Схайлеру «всю правду, и ничего кроме правды».

Надежность такого источника информации, понятно, весьма относительна. Однако Бэрр повествует с таким увлечением, с таким юмором и психологической убедительностью, что о его несомненной пристрастности читатель невольно забывает; к этому Видал и стремился. И вот Вашингтон и особенно Джефферсон предстают перед нами такими, какими мы их еще никогда не видели в американской литературе. Ни для того, ни для другого нет принципов, кроме старого как мир правила: цель оправдывает средства, и нет забот, кроме собственной политической карьеры. Оба совершенно равнодушны к судьбам страны и к идеалам революции. Один, в глазах Бэрра,—бездарный полководец и отменный интриган. Другой — высокопарный демагог и безмерный честолюбец.

Видал с легкой усмешкой наблюдает «за кадром» это яростное ниспровержение кумиров, ничуть не заботясь о том, чтобы портреты выдающихся исторических деятелей выглядели более правдивыми.

Бэрр выделяется среди них своеобразным прямодушием: он и не думает прикрывать свой цинизм трескучими либеральными фразами, он открыто презирает всяческие «фетиши» вроде конституции и не спекулирует на высоких понятиях свободы и прогресса. Он просто обстряпывает свои дела, твердо усвоив, что миром правит закон всеобщей продажности. Лишь однажды он недооценил силу этого закона — доверившись Схайлеру, который тут же продал рукопись компрометирующих Бэрра и Ван-Бюрена воспоминаний их политическим противникам. Всего за пять тысяч...

Как и следовало ожидать, в США были высказаны самые разные мнения о книге Видала. Одних критиков роман возмутил: автора обвинили в циничном оплевывании святынь национальной истории. Других привел в восторг своей смелостью.

Разразившийся летом 1974 года президентский кризис побудил увидеть в «Бэрре» пророчество, хотя Видал, работавший над романом много лет, естественно, не предполагал возможности подобных перекличек. Да и споры о том, наносит этот роман ущерб «американскому духу» или, напротив, его оздоровляет, здесь вряд ли уместны. Авторитет вождей американской революции книга пошатнет разве что в глазах уж слишком падких на сенсацию читателей, да Видал вовсе и не намеревался подрубать ноги колоссам, даже если действительно считает их глиняными.

Роман доказывает лишь ту отнюдь не новую в литературе США мысль, что демократические принципы и повседневная политическая реальность далеко разошлись в американской жизни сразу же после того, как были провозглашены сами принципы; получается, что это «расхождение» предопределялось двоедушием вождей, а ведь на деле речь надо было вести о законах развития общественной системы. Идея Видала состоит в том, что куплей-продажей исчерпывается вся американская жизнь и что поэтому она толкает каждо-

го — от выдающегося политика до заурядного коммерсанта — на бесконечные сделки с совестью, ибо иначе не выплыть в этом мутном водовороте. Да только каждого ли? С такой ли уж неизбежностью?

Сама бескомпромиссность обличений «Бэрра», сама их всеохватность, если вчитаться в роман внимательно, едва ли будут восприняты как признаки литературы аналитической и сознающей свою гражданскую и творческую ответственность. Позиция Видала на протяжении всего действия остается неизменной — позиция «за кадром», умный, насмешливый взгляд. Всего лишь насмешливый, хотя трудно поверить, чтобы к ядовитому подтруниванию располагала созданная в произведении картина. Не стоит ли за ней то близкое к нигилистичности безразличие, которое стало итогом 60-х для многих радикалов, ныне попросту махнувших на все рукой? И не это ли безразличие руководило Видалом, когда сразу вслед за «Бэрром» он написал продолжение «Майры Брекенридж» — своего шестилетней давности романа, запомнившегося таким откровенным изображением эротической одержимости, что нельзя было не усомниться в художественном вкусе автора?

Джон Апдайк [1], который и в 60-е годы стоял в стороне от «левого» движения, в пьесе «Бьюкенен умирает» на материале американской истории затронул ту же проблему внутренней коррупции Власти, но решать ее он склонен совсем не так, как Видал. Апдайк не обличает; он скорее сочувствует своему герою, которому выпала незавидная судьба миротворца в годы, когда все шло к гражданской войне, роль хранителя американского союза, когда его уже никакими усилиями нельзя было сберечь.

Джеймс Бьюкенен вошел в историю как самый бесцветный, безынициативный американский президент, доведший страну до тягчайшего политического кризиса, который завершился в 1861 году войной Севера и Юга. Пьеса Апдайка опровергает вынесенный историками приговор. Для писателя Бьюкенен — жертва не собственного безволия, а трагического парадокса Власти, равнодушной к гуманным побуждениям облеченного ею и обращающей его в свое послушное орудие. Жертва государственной необходимости, которой Бьюкенен всеми способами готов был бы препятствовать как личность, но которой не мог не подчиняться как политик.

Разыгравшийся в его душе — а пожалуй, все-таки домышленный автором — конфликт человечески истинного и объективно должного делает Бьюкенена фигурой трагической. Осмеянный историками, Бьюкенен под пером Апдайка должен обрести черты шекспировского персонажа, как к Шекспиру, в конечном итоге, восходит и сама идея гибельного для личности, непосильного для нее политического долга, положенная в основу пьесы.

Справедлива ли такая идея, когда центральным героем оказывается не Макбет, не Ричард III, а Джеймс Бьюкенен, богобоязненный и пассивный американский либерал прошлого века, сплетением случайностей вынесенный на гребень истории и оказавшийся беспомощным в минуту трудного испытания? Справедливо ли вообще распространять эту идею на любые исторические обстоятельства и на любой тип политика? На второй вопрос ответить просто: идея пьесы оказалась бы непригодной даже в том случае, если бы героем ее выступал не Бьюкенен, а сменивший его в Белом доме Линкольн. Абстрагирование от конкретного социально-исторического контекста, как не раз случалось и до пьесы Апдайка, оборачивается лишь натужной вымученностью, несостоятельностью самого центрального конфликта произведения.

На первый же вопрос отвечать сложнее. Апдайк, подобно Видалу, стремится к строго документальному, даже щепетильно документальному изложению; это, к слову сказать, и предопределило громоздкость и несценичность пьесы. Но верность фактов и у него раз за разом вступает в противоречие с верностью «мотивов», которые приписываются Бьюкенену в тех или иных поступках. Психологической убедительности этих «мотивов» Апдайк не добился. Ее и трудно было добиться, поскольку апдайковский Бьюкенен наделен сознанием неразрешимости специфических для Америки противоречий — в частности, противоречий между Севером и Югом, расовых противоречий,— едва ли возможным у Бьюкенена исторического. Как и Видал, Апдайк тщательно стилизовал манеру речи персонажей; но важно ведь не как говорит Бьюкенен, а как он мыслит. Историчность на поверку оказывается формальной; перед нами человек 60-х годов нашего, а не XIX столетия.

Известный социолог Артур Шлезингер, посвятивший произведениям Апдайка и Видала большую статью, усматривает их основную заслугу в том, что они напомнили историкам: история — это не застывшие схемы, а живые люди, надо видеть за фактами человеческие судьбы. Мысль верная, но значение «Бэрра» и «Бьюкенена» к этому не сводится. При всех уже отмеченных изъянах идейного, да и эстетического характера, нельзя не видеть в обоих произведениях важных свидетельств все активнее заявляющего о себе в Америке — после краха «новой левой» — определенного общественного настроения. Можно истолковывать эти произведения в том аспекте, что в них выступило стремление по-новому оценить прошлое, исцелившись от иллюзий.

---

[1] Творческая эволюция этого писателя отмечена в последние годы серьезными противоречиями, которые во многом объясняются и его предвзятым, враждебным отношением к социалистическому миру. Об этом пишет А. Мулярчик («В поисках новых горизонтов», «Иностранная литература» № 8, 1975).

А. ЗВЕРЕВ
МЕНЯЮЩИЕСЯ ОРИЕНТИРЫ

Но, пожалуй, существеннее усилия их авторов подвергнуть критическому анализу действие американской социальной и политической системы на самых верхних ее «этажах». Далеко не во всем эта попытка — и особенно у Апдайка — удалась, но важен ведь и самый факт, что она предпринята; он говорит о многом. Во всяком случае, свидетельствует о тех же поисках новой проблематики и новых идейных ориентиров — поисках, ведущихся ничуть не менее активно, чем в обращенных к еще не остывшему, очень близкому прошлому книгах Джонса и Стоуна...

■

...Эти заметки отнюдь не притязали на то, чтобы рассказать обо всех примечательных явлениях в американской литературе последних лет. Нас интересовали только те книги, в которых, думается, всего ощутимее выразилось стремление подвергнуть аналитическому рассмотрению общественные и духовные итоги 60-х годов,— выразилось, конечно, в совершенно разной форме, принимая в каждом случае совершенно особый характер.

Вернемся еще раз к вопросу, который был поставлен в начале статьи: действительно ли первая половина 70-х годов ознаменовалась в американской литературе спадом социальной критики и стремлением к более умиротворенному взгляду на общественную реальность? Если согласиться с таким мнением, «Бэрр» будет выглядеть запоздалым оттолоском радикализма ушедшего десятилетия, а «Штрафное отделение», наоборот, можно будет расценить как знамение времени, нездорового времени — эпохи разочарования, пораженческих настроений, ни к чему не обязывающих расплывчатых гуманистических призывов.

Но подобные оценки возможны лишь в том случае, если о явлениях искусства мы будем судить по чисто внешним показателям, не придавая значения тому обстоятельству, что литературе нужна сегодняшняя, а не позавчерашняя актуальность. Странно было бы требовать искусственного приумножения литературной традиции 60-х, неотделимой от общественного движения, которое — в этом уже не приходится сомневаться — сошло со сцены.

Время ныне побуждает к глубокому, аналитическому исследованию накопленного в 60-е годы духовного опыта, к серьезной и непредвзятой оценке пройденного за это бурное десятилетие пути. Можно спорить о принципах анализа и о самих оценках — это мы старались показать в ходе разбора книги Видала и пьесы Апдайка, отнюдь не ставшей шагом вперед в его творчестве, романов Стоуна и Джонса. Но, думается, бесспорно, что сама задача подобного исследования и оценки — задача актуальная, настоятельно требующая от литературы США своего решения. И что, обращаясь к ней, литература стремится к объективному и критическому анализу американской жизни, сколь бы спорными ни были предлагаемые теми или иными писателями конкретные истолкования.

В произведениях, о которых шла речь, многое может вызвать несогласие, да это и естественно: ведь проблемы поставлены значительные и о них предстоит думать и думать. Но, во всяком случае, нет причин упрекать современных романистов в том, что их взгляд на Америку стал снисходительней, чем прежде, и незачем, уподобившись Сьюзен Зонтаг и другим не в меру «левым» критикам, бить тревогу по тому поводу, что у писателей будто бы притупляется чувство тревоги за свою страну. Оно вовсе не притупляется; оно лишь находит иное, чем в 60-е годы, выражение. И помогает — как всегда помогало — видеть и запечатлевать меняющуюся реальность в динамике ее развития, в переплетении коллизий, судеб и идей.

◆

Интервью

НГУГИ ВА ТХИОНГО: «ТЕМЫ ЛИТЕРАТУРЫ ОПРЕДЕЛЯЕТ ХОД САМОЙ ЖИЗНИ»

По приглашению Союза писателей СССР Москву посетил кенийский прозаик, профессор литературы Кенийского университета (Найроби) лауреат международной премии «Лотос» Нгуги Ва Тхионго, известный советскому читателю под именем Джеймса Нгуги. Два из трех опубликованных им романов — «Не плачь, дитя» и «Пшеничное зерно» — переведены на русский язык. У нас издавались и сборники его рассказов. Вот что рассказал этот крупнейший кенийский писатель, отвечая на вопросы редакции.

— Как вы охарактеризуете современный этап развития африканской литературы? Западная критика все чаще пишет о нем в пессимистическом тоне, говорят даже о наметившемся спаде в литературной жизни Африки.

— Это многоплановая проблема. Действительно, еще недавно все считали, что африканская литература находится на подъеме, и общественное мнение привыкло к этому. Но подъем не может продолжаться бесконечно: сейчас положение относительно стабилизировалось. Читательская аудитория значительно выросла и предъявляет к литературе достаточно высокие требования. Процессы и проблемы в жизни континента усложнились. Сейчас писателю уже недостаточно выступать просто за свободу африканцев. Главное — за свободу каких африканцев ты ратуешь, к чему стремишься, как призываешь бороться.

Прежде всего люди хотят читать о том, что их волнует. А теперь их волнуют проблемы, я бы сказал, более земные, чем раньше. Писатели, которые этого не усвоили, оказались в стороне от жизни, их творчество перестало быть актуальным. Мне кажется, что от писателя сейчас требуется бóльшая вовлеченность в жизненные проблемы.

В 50-е годы и даже в начале 60-х побудительным мотивом для творчества была в основном борьба с колониализмом. На гребне этой антиколониальной борьбы и появилось лучшее, что создала африканская литература. Сейчас другой этап. Можно считать его более прозаичным, но менее ответственным считать нельзя На первый план выдвигаются социальные проблемы. Темы дня, темы литературы определяет уже классовая, а не национальная борьба, иными словами — как и всегда, ход самой жизни Вспомним роман Чинуа Ачебе «Человек из народа» [1], поэму «Песнь Лавино» Окота П'Битека [2]. Эти писатели беспощадно поставили острейшие социальные проблемы и добились их блестящего художественного воплощения.

Или один из самых ярких примеров острой социальной прозы — произведения ганца Квеи Армы. Их автор не просто талантливый человек, в Африке есть таланты. Всеобщее признание, место на вершине африканской литературы он завоевал мастерским проникновением в суть сегодняшней африканской жизни. Соотношение «что увидеть» и «как описать», соотношение содержания и формы в современной африканской литературе имеет смысл только при наличии вполне определенного общественно значимого содержания.

[1] Опубликован в «Иностранной литературе» № 3—4, 1967.

[2] Отрывки из поэмы публиковались в «Иностранной литературе» № 9, 1973.

Я думаю, что в целом африканская литература упадка не переживает. Однако изменились обстоятельства, возникают новые животворные источники, питающие литературу нашего континента, и это вселяет в нас надежду на ее новый подъем.

— И каковы, по-вашему, эти источники, из которых черпает силы литература Черной Африки?

— Работая над последним романом, я сделал важное для себя открытие: возникновение рабочего класса в Кении не датируется 1963 годом — годом завоевания независимости. Экономические и социальные условия, обеспечившие его зарождение и развитие, созрели значительно раньше — в системе колониального хозяйства. Прежде я глубоко над этим не задумывался. И в романе «Пшеничное зерно», во многом посвященном жизни трудящихся, ставил вопросы о судьбах африканского рабочего класса скорее интуитивно, чем осознанно. Я считаю, что в нашем обществе зреют сейчас новые мощные силы. Они преобразуются в могучий творческий потенциал, который, думаю, будет в свое время определять лицо африканской литературы.

— Вы упомянули о своем последнем романе. Готов ли он к печати? О чем он?

— Хотя я поставил точку в конце последнего предложения, работа над романом еще далеко не завершена. Несколько месяцев уйдет на его шлифовку, придание ему, что называется, законченной формы. Тематика романа для меня традиционная — жизнь современной Кении. Речь идет о проблеме хлеба насущного, о воспитании детей, образовании, о том, как в деревенской глуши зарождаются капиталистические отношения. Все это для нас чрезвычайно актуально.

Героев в романе мало. Есть учитель, есть мелкий торговец, бывший боец Мау-Мау [1], есть девушка, довольно легкомысленная, и есть крестьяне — сельская община. Жизнь главных героев, которые, кстати, все пришлые и волею судеб вынуждены жить в деревне, протекает на фоне событий, до основания потрясающих общину (которая ассоциируется у меня с самой Кенией): через деревню прокладывают дорогу, неподалеку строят новый торговый центр, а рядом — небольшую фабрику. Привлекаемые сравнительно высокой оплатой труда на стройках, крестьяне массами порывают с землей, с общиной и отправляются на заработки — капитализм разрушает общину изнутри. И важная деталь — торговля и промышленность развиваются, однако на этом наживаются люди, которые не сражались за независимую Кению, не боролись с колонизаторами. И вот их убивают — это акт мщения, месть за все беды и страдания народа. Она носит символический характер. Я долго думал о развязке, о последних штрихах романа. До сих пор меня еще одолевают сомнения. Дело в том, что деревня переживает несчастья не только вследствие развития капитализма. В неменьшей степени мы страдаем и от исторической отсталости, от стагнации, на которую обрек нашу деревню колониализм. В романе я хочу показать, что капитализм не только не в состоянии улучшить положение народа, но во многом даже ухудшает обстоятельства, в которых мы оказались.

— Характерна ли подобная точка зрения для большинства кенийских литераторов? Кто представляется вам особенно интересной фигурой в литературе сегодняшней Кении?

— На первый вопрос точно ответить трудно. Скажу лишь, что большинство писателей стоит на позициях реализма, выступая за правдивое отображение действительности.

Что касается второго вопроса, я бы рекомендовал вам обратить внимание на творчество молодого писателя Мэчже Мванги. Он пишет в реалистической манере, ярко и образно. Его первый роман «Убей меня скорее» вызвал очень широкие отклики. Второй роман, «Собачья шкура», тоже относится к несомненным удачам автора. Недавно он издал «Путь к смерти». Не могу назвать его самым лучшим произведением Мванги, однако, без сомнения, это сильная и талантливая вещь. Все, что выходит из-под пера Мванги, актуально, достоверно и высокохудожественно. Это наш единственный писатель, который, позвольте мне так выразиться, не является продуктом университетского образования. Он закончил лишь среднюю школу и с тех пор работает. Сменил уже несколько профессий. Ему нет еще и 30 лет. Но он на редкость работоспособен и плодовит. Присмотритесь к нему. Мне кажется, в этом человеке формируется писатель, который украсит нашу литературу.

— Около года назад в Кении был создан Союз писателей. Как складывается его судьба?

— Союз создан преимущественно в организационно-информационных целях. Его главные задачи — популяризировать кенийскую литературу, развивать дружеские связи с писателями Африки и всего мира. У нас говорят: «Сначала посади картофель, а потом собирай урожай». Так что пока рано говорить о том, что даст кенийской литературе организация Союза писателей. Думаю, что во многих отношениях — в том числе и творческом — результаты этого шага будут благотворными. Наша конечная цель — превратить Союз в эффективный центр по объединению писательских сил страны.

Интервью подготовил В. ПЕРЕХВАТОВ

---

[1] Мау-Мау — движение народа Кении против английского колониального господства в 1952—1956 гг. *(Прим. ред.)*

Трибуна переводчика

ЛЕВ ГИНЗБУРГ

В ПОИСКАХ СВЯТОГО ГРААЛЯ

I

«Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи и лебеда»,— сказано в известном стихотворении Ахматовой. А переводы? Из чего произрастают они?

О, конечно, мы знаем: из высокой потребности высказаться посредством перевода, устами другого автора, пропустив *себя* через него (а не только *его* через себя!), из желания поведать своему читателю то, что в подлиннике потрясло вас самого, из необходимости или жажды открывать неоткрытое, неведомое... Но все это — общие положения, это известно.

На самом деле переводы, как и стихи, непременно рождаются из сора повседневности, из сора жизни, из сора неприбранного человеческого бытия. При этом побудительные причины для начала работы могут быть совершенно разные: увлеченность темой, вдохновение, издательский заказ...

Немецкие народные баллады я начал переводить, следуя урокам Маршака, влюбленный в его шотландские и английские народные баллады, в рамках его школы. Но отчетливо помню, как, прочитав в «Иностранной литературе» Франсуа Вийона в переводе Эренбурга [1], с его же предисловием, испытал непреодолимое желание прикоснуться к причудливому средневековому миру, вдохнуть острый аромат старины, ощутить строптивость свободной поэтической личности. Такому восприятию в немалой степени способствовала и вступительная статья — одно из ярких эренбурговских эссе на историческую тему.

Эта журнальная подборка стала своего рода толчком к работе, сыгравшей важную роль в моей литературной биографии. Внутренняя *«тема»* была подсказана, оставалось найти *материал*, которым и явились немецкие народные баллады [2], добытые из многих источников и составившие небольшую книжечку, замечательно оформленную художником Е. О. Бургункером.

В первой своей работе над немецкой стариной я опирался и на пастернаковский перевод «Фауста», с его особым ощущением темных закоулков средневекового немецкого мышления и видением закоулков средневековых немецких городов: попав в 1956 году впервые в Лейпциг и Веймар, я *узнал* пастернаковские строки...

Еще до немецких народных баллад в моей жизни произошла встреча с молодым Шиллером, с его ранней лирикой, а затем — с «Лагерем Валленштейна» [3]. И все же я считаю эту встречу всего лишь (вернее сказать, не «всего лишь», а *прежде всего*) школой для дальнейшего продвижения вглубь. Надо было вникнуть в Шиллера, чтобы потом попытаться понять и народные баллады, и поэзию Тридцатилетней войны, и лирику вагантов [4]...

Как никто другой, Шиллер приоткрыл мне то, что именуется «немецким духом», «немецкой субстанцией»,— тайну немецкого поэтического воображения...

Но из чего рождаются переводы? Как они возникают? Я уже описал подробно свои мучения, связанные с переводом шиллеровского стихотворения «Раздел земли», как тупо и безнадежно глядел я в текст, не будучи в состоянии найти хоть приблизи-

[1] «Иностранная литература» № 1, 1957.
[2] «Немецкие народные баллады». М., Гослитиздат, 1959.
[3] Фридрих Шиллер. Собр. соч., т. 2, М., Гослитиздат 1955.
[4] «Лирика вагантов». М., «Художественная литература», 1970.

тельный эквивалент к начальным строкам: «Nehmt hin die Welt! Rief Zeus von seinen Höhen den Menschen zu...»,
то есть:

Возьмите землю (мир)! — воскликнул Зевс со своих высот
Людям...

пока не заметил, что Шиллер пишет не просто «Nehmt die Welt» (берите возьмите мир), а «Nehmt *hin*», что придает стиху особый оттенок щедрости, широты и могущества.

Зевс молвил людям:—Забирайте землю!..

Всего лишь одно словцо — отделяемая приставка — определило в конце концов наполнение строки и интонацию всего стихотворения.

Этот случай послужил мне уроком. Я понял, что из какого бы «сора» переводное стихотворение ни росло, вначале все равно должно стоять слово подлинника[1].

«Переводя, смотрите не только в бумагу, но и в окно»,— справедливо наставлял переводчиков Маршак, предостерегая их от мертвой, академической книжности.

Однако из этого вовсе не следует, что, «глядя в окно», можно забыть про «бумагу», то есть не контролировать себя с помощью словаря, точного знания текста, не располагать необходимыми литературоведческими, историческими и прочими сведениями. В переводе поэзия встречается с филологией, вдохновенный порыв—с кропотливым исследованием. Даже на высшей точке вдохновения переводчик вынужден остерегаться, что его может унести далеко в сторону от подлинника, от материи первоисточника.

Все это, разумеется, не снимает главного требования к переводам и переводчикам: таланта, подлинного артистизма, поэтического изящества. Перевод несомненно является формой литературоведческого исследования, но только в том случае, если он художественно состоятелен.

В свой черед поэт чувствует себя намного свободнее, если он в достаточной степени оснащен знанием. Право на творческую вольность, на дерзание, на смелый и неожиданный ход дает лишь полное и всестороннее владение оригиналом.

Одно связано с другим.

Я переводил раннего Шиллера, «Мужицкую серенаду», «Вытрезвление Бахуса», мне надо было выявить и обосновать фольклорную подоплеку его юношеской лирики, пробиться не к мраморному божеству, не к Шиллеру бюстов и памятников, а к молодому белобрысому лекарю: нигде так не чувствуешь Шиллера, как на убогом чердаке его дома в лейпцигском предместье Голис. Но чердак так бы и остался музеем, если бы в первооснове восприятия не лежали шиллеровские стихи, с их неповторимым ладом, лексикой, строфикой...

В переводе «Лагеря Валленштейна» встреча переводчика с автором шла как бы с другого конца. В этой работе ожил опыт моих шести с половиной армейских лет. Я слышал ржание коней, скрип повозок, байки полковых балагуров, рассудительную речь бывалых солдат. Да, конечно, я переводил не кого-нибудь, а Шиллера, дышал Германией, немецкой музой, полюбившимся мне «книттельферзом» — немецким раешным стихом. Но и это было при мне, со мной· приамурские сопки, землянки, мои товарищи, с которыми я служил. В шиллеровский текст стали входить «стрельбища», «караульная будка», «поверка». Расстрига-капуцин в своей потешной проповеди кричал: «...в бога мать!» — причем делал это в достаточно верном соответствии с тем, что он произносил в подлиннике. Отчаянная бесшабашность, грубость, щемящая нежность, подневольность и повышенное чувство собственного достоинства — все, что перемешалось в жизни, было записано Шиллером в его народной драме.

Работая, я меньше всего думал о литературоведческих определениях, но, заканчивая тот или иной эпизод, всякий раз заглядывал в пособия, чтобы не ошибиться в трактовке образов, в реалиях или в передаче особенно важных мест, вплоть до формул, ставших в немецком оригинале классическими...

Я убежден, что каждый перевод не может не содержать в себе внутренней темы, которую привносит в свой труд переводчик, нет перевода без «сверхзадачи».

Темой немецких народных баллад было для меня гармоническое согласие с жизнью, присущее народному мышлению. В лирике вагантов я читал буйство, протест, активное неповиновение мертвым догмам, канонам, противопоставление радости жизни унылому, бездушному и ханжескому «порядку», который на самом деле есть высший беспорядок и вакханалия... Вот что слышалось в песнях вагантов — бродячих школяров и клириков, вот чем они меня зажгли, хотя я вовсе не исключаю возможности другого прочтения. М. Гаспаров, например, точнее дал почувствовать языковую основу их поэзии — вульгарную латынь. Его ваганты чем-то напоминают мне наших бурсаков: складом ума, речи, «семинаристским баском». Эти переводы выполнены с настоящим искусством...[2]

Переводы «растут» не сразу. Между текстом и глазом переводчика может годами не возникать никакого контакта.

---

[1] См. статью «Вначале было слово» в сборнике «Мастерство перевода». М., «Советский писатель», 1959.

[2] «Поэзия вагантов». М., «Наука», 1975.

Поэзия немецкого барокко (XVII век) работа, которой я из всего, что сделал, придаю едва ли не главное значение, оставалась мне долгое время неизвестной, пока на нее не обратил мое внимание Стефан Хермлин. Точно могу сказать, где и когда это было: в доме у Маргариты Алигер, 7 ноября 1960 года. Он назвал мне несколько источников и среди них книгу Бехера «Слезы отечества» — антологию немецкой поэзии XV—XVII веков.

Я стал читать то, чем потом жил — ничего другого делать не мог, только переводил эти стихи,— но тогда глаз даже не остановился ни на чем, скользил по страницам, не было ни одного стихотворения, которое хотя бы одной строкой «просматривалось» как будущий перевод, пока в 1961 году, глубокой зимой, в дни тяжелой болезни моей матери, не зацепился за строчку сонета Грифиуса — «Мы все еще в беде, нам горше, чем доселе...», не сцепил ее с другой...

Так началась книга «Слово скорби и утешения» [1], работа, практически завершенная лишь в 1973—1974 годах. В подлиннике содержались размышления о судьбах Европы, о пагубе войны и отчаянном ей противодействии... Но ведь не только о войне и о мире шла здесь речь. В стихах XVII века сама война представала как наказание человечеству за его слепоту, за греховность, за своекорыстие. Ставился вопрос: быть или не быть, жить или не жить, а если жить, то как — в рабстве, в глупости, в темноте или в свободе, в любви, в созидании земных благ? Большие ставились, кардинальные вопросы жизни и смерти не только отдельного человека, но и сопричастного каждому отдельному человеку всего человечества, причем ставились неистово, мощно...

Именно этим меня захватила поэзия немецкого барокко, и в переводы я «вбивал» именно эту — уже не только Грифиуса, Опица, Флеминга, Гергардта, но как бы и свою — идею...

Справедливо говорят: важно побывать в стране поэта или на месте действия произведения, которое переводишь. Работая над поэзией XVII века, я побывал, кажется, на местах всех главных сражений Тридцатилетней войны: видел и Белую гору в Праге, и сожженный когда-то войсками генерала Тилли Магдебург, и поле битвы под Лейпцигом, в Лютцене, где убили шведского короля Густава Адольфа, кусок земли, который и сейчас еще принадлежит шведскому правительству и куда ежегодно на торжественную церемонию съезжаются шведы, видел замок в Хебе (Эгере), где был заколот Валленштейн, и даже трогал рукой наконечник копья, которым его закололи...

В музеях хранятся ржавые ядра, пищали, железные, с потайными замками сундуки войсковых казначеев, ветхие, выцветшие штандарты... И все это, включая, конечно, архитектуру барокко, нужно было увидеть, все это позже мне пригодилось. Но гораздо важней было проникнуться тем тревожным мироощущением, которое испытываешь, странствуя по городам и дорогам Европы, приобщаясь ко множеству судеб, из которых складывалась единая европейская судьба. История здесь взывает к современности: вглядись в мои памятники, в мои могилы, в мои шрамы!.. Да не пройдет для тебя бесследно мой опыт!..

Я переводил поэтов XVII века, с их предостерегающим, гражданственным пафосом, рожденным в пламени Тридцатилетней войны, передо мной вставали «священные камни Европы»: не только акрополи и колизеи, но сизые, сиреневые, серые европейские каменные улицы — дом к дому, булыжник, брусчатые мостовые. Европа вся каменная, и «священные камни» — не одни лишь соборы и королевские замки, но и набитые людьми каменные дома, которые могут вдруг рухнуть, если их не защитить,— посыплются стекла, погаснут витрины, сгорят книги...

Строки «барочных» стихов словно корчились, кривились от боли — не от этой ли боли их дисгармоничность?

И все же одного этого ощущения для перевода было недостаточно.

В лирике барокко особенно важно воспроизвести приметы *стиля* — такие, например, как эмблематика, колоризм, звукопись. В стихах имитировались шум дождя, ветра, пушечная пальба, треск фейерверка. Были стихи, как бы написанные красками — рыжие строки осени, холодная белизна зимы. Стихи изобиловали эмблемами: «...замшелая стена, пещера, череп, кость...»

Конечно, у переводчика нет ящика с приемами, с «изобразительными средствами». Как и оригинальный поэт, он берет их из жизни, из окружающего мира, с той лишь разницей, что берет только по велению подлинника.

В стихотворении Зигмунда фон Биркена «Осенняя песнь Флоридана» нужно было передать грохот телег, стук падающих на землю плодов, звуки и цвета урожайного праздника...

Был теплый и влажный, серый сентябрьский день. Безуспешно проведя несколько часов за письменным столом, я вышел на улицу. В голове вертелись обрывки немецких строк.

У овощной палатки разгружали виноград, яблоки, рабочие с грохотом ставили на землю дощатые ящики. Прогромыхал, подпрыгивая, грузовик с надписью на борту «Урожайная»...

---

[1] «Слово скорби и утешения. Немецкая поэзия времен Тридцатилетней войны 1618—1648 годов». М. «Художественная литература», 1963. См. также «Из лирической поэзии немецкого барокко». «Новый мир» № 4, 1974.

Неожиданно пришедшее слово «громыхать» сделалось ключевым. Застывшие в тисках оригинала строки сдвинулись, пошли:

Загромыхали телеги, подводы.
Ну-ка! Живей! Начинаются роды!
Всё на сносях... И поля, и сады
Ждут не дождутся мгновенья рожденья:
Сам Флоридан собирает плоды!..

Откуда берется лексика перевода, из чего она складывается? Неужели перевод есть только перевод значений или в него входит собственный словарь переводчика, накопленный за жизнь, в повседневном быту, вычитанный из книг? Есть профессиональное свойство схватывать свежее слово на лету, выдергивать его из читаемой книги.

Совсем мальчишкой в дурацкой частушке я услышал словцо *«скидавать»*... Прошли годы, я переводил состоящую из забавных трехстиший народную балладу о том, как солдаты зашли погреться в корчму. В одно из трехстиший надо было уложить такое примерно содержание: солдат снимает с себя снаряжение, хозяйка наливает ему вина и подносит жареную рыбу.

Я бился над этими тремя строками бесконечно, вертел их и так и сяк — ничего не получалось.

Однажды я ехал по Пироговке, вдали золотились купола Новодевичьего монастыря.

Хозяйка налила вина...
Вина хозяйка налила...
Вина хозяйка подает...

И вдруг из глубины подсознания вынырнуло то забытое, потерянное, оказавшееся спасительным слово:

Солдат свой ранец *скидает*.
Вина хозяйка подает
И запеченной рыбки...

«Когда б вы знали, из какого сора...»

II

Стихотворный роман Вольфрама фон Эшенбаха «Парцифаль» считается «Фаустом» и «Божественной комедией» средневековья, однако у нас он известен главным образом благодаря одноименной опере Рихарда Вагнера, в свое время весьма популярной. Мало кому приходилось вплотную сталкиваться с 25 тысячами средневерхненемецких строк, хотя многие, должно быть, слышали, что рыцарь Парцифаль отправился на поиски Грааля — не то священного камня, не то чаши, в которую Иосиф Аримафейский собирал кровь распятого Христа. На пути к Граалю этот рыцарь пережил множество приключений в духе «куртуазной», рыцарской литературы и романов так называемого «артурова цикла». Парцифаль входил в число приближенных знаменитого короля Артура и, следовательно, принадлежал к рыцарям Круглого Стола, за которым артуровы паладины рассказывали о своих похождениях.

Впервые пересказ «Парцифаля» я услышал на первом курсе филологического факультета Московского университета от профессора Б. И. Пуришева. Это были незабываемые лекции. Только что окончилась война, в аудитории сидели люди, которых надо было вернуть в атмосферу научной сосредоточенности, романтики знаний, приобщить к эстетическим сокровищам. Б. И. Пуришев, как и С. И. Радциг, С. С. Мокульский, Н. К. Гудзий, А. А. Белкин и другие наши тогдашние профессора, делал это с необычайным искусством. Не только содержание его лекций, но и его речь, всегда несколько изысканная, отличавшаяся достоинством и благородством, внутренняя одухотворенность, весь его облик — все как бы уводило в тот поэтичный, зачарованный мир, который на языке учебной программы назывался: «Западноевропейская литература средних веков и Возрождения».

Недавние участники битв и походов, каких не знала мировая история, с интересом слушали о скитаниях выросшего в лесу простодушного юноши, который превратился потом в неустрашимого Парцифаля, о заветах старого воина Гурнеманца («рыцарь не задает праздных вопросов!»), о мучениях многострадального короля Анфортаса в его сказочном замке Мунсальвеш — хранилище святого Грааля, о мудрой пророчице Кундри и о верной Сигуне, рыдающей над телом своего Шионатуландера.

В ту пору наших знаний было явно недостаточно, чтобы прочитать роман в оригинале, русского же перевода не существовало.

Четверть века спустя издательство «Художественная литература» предложило мне перевести «Парцифаля» для соответствующего тома «Библиотеки всемирной литературы» [1]. Тип издания, рассчитанного на массового читателя, предусматривал, что перевод не должен быть полным. Непомерно большой, грандиозный объем сделал бы стихотворный роман трудным для восприятия. Было решено, что повторяющиеся эпизоды, слишком далекие или несущественные ответвления от сюжета, чрезмерно пространные описания будут либо заменены стихотворным же, сокращенным, пересказом, либо опущены.

Идея создания русского «Парцифаля» принадлежит Б. Л. Сучкову и Р. М. Сама-

[1] Вольфрам фон Эшенбах. Парцифаль. В томе: «Средневековый роман и повесть». «Библиотека всемирной литературы». М., «Художественная литература», 1974.

рину. Они являлись по существу моими кураторами и слушателями первых глав перевода, с ними же был согласован принцип сокращений. Хотелось, чтобы перевод был не столько сокращенный, сколько «уменьшенный», то есть чтобы сохранились основные и побочные линии романа и такие его особенности, как, скажем, многословие, растянутость, излишняя с нашей сегодняшней точки зрения подробность в описаниях, все, вплоть до некоторых «несуразностей», которые, как потом оказалось, имели вполне определенный смысл.

Надо было показать европейский роман на самой ранней его стадии, только что вылупившимся из эпоса, из героических поэм — так называемых «жест», песен о деяниях, и житийной литературы...

Я обложился книгами, пособиями, трехтомным изданием «Парцифаля» в подлиннике и всеми доступными мне переводами романа на современный немецкий язык.

Увы! Все то, что некогда в университете, в изящном и кратком пересказе виделось таким увлекательным, овеянным романтическим флером, предстало вдруг в виде тягучих, слипшихся, почти бесформенных строк.

Страшно было подступиться к этой громадине, спящей мертвым сном в Бразельянском лесу, во владениях короля Артура. Да и кого, рассуждал я, могут в наш век всерьез заинтересовать стоверстые описания рыцарских турниров, давно отзвучавший стук мечей, сверкание лат, запутанные, подчас нелепые похождения?.. «Парцифаль» казался гигантским, неуклюжим кораблем, затонувшим почти восемь столетий назад, который мне предстояло поднять со дна моря...

Вольфрам фон Эшенбах родился в 1170 году, своего «Парцифаля» он начал в 1200-м, завершил в 1210-м. Это было бесконечно давно: время Фридриха Барбароссы и Ричарда Львиное Сердце, третьего и четвертого крестовых походов, совсем незадолго до Батыя и начала татаро-монгольского нашествия на Русь...

В чем же я должен был искать вдохновение? Что, какую *тему* найти для себя на сей раз?..

Гейне однажды заметил, что история литературы — это большой морг, где всякий отыскивает покойников, которых любит и с которыми состоит в родстве...

Тем не менее, занимаясь историей литературы и отправляясь за литературными сокровищами в самые отдаленные времена и страны, следует не гальванизировать литературные трупы, а возвращать к жизни спящую красавицу — Поэзию. Ее только нужно уметь разглядеть, под грудой столетий услышать ее дыхание.

И я пытался. Карабкался по средневековым строчкам, перечитывал переводы.

Еще ничто не роднило меня ни с автором, ни с главным героем, ни со стихом, не было даже предварительной концепции перевода.

На дворе стояли сильные морозы, но еще большим холодом веяло от бесконечно длинных шестнадцати глав-песен и от понятия «Грааль» — умозрительно-бездушного идеала, который в разные времена провозглашали идеалом то чисто христианским, то чисто германским, то космическим символом, отображением бытия. При этом Грааль был еще и неисчерпаемым подателем пищи, земных благ, своего рода скатертью-самобранкой.

В либретто к опере Вагнера, написанном самим композитором, Грааль предстает в виде античной хрустальной чаши. Есть авторская ремарка: «Ослепительный луч падает сверху в хрустальную чашу, которая начинает все ярче и ярче пламенеть, освещая все багряным сиянием». В другом месте у Вагнера король Амфортас «с просветленным лицом высоко поднимает Граль и мягко помахивает им во все стороны...» [1].

Но в те январские дни 1971 года, когда я приступал и все никак не мог приступить к переводу, еще далеко было не только до встречи с Граалем, но и с самим Парцифалем...

Надо было решать, каким размером переводить текст. Средневерхненемецкая поэзия не знала строгих размеров, однако явно чувствовалась ямбическая основа. Роман был написан двустишиями, что, с одной стороны, казалось бы, облегчало перевод, а с другой — могло утомить читателя монотонностью. Правда, Вольфрам фон Эшенбах не был чрезмерно педантичен. Наряду с двустишиями он употреблял и строфическую форму народного эпоса. Это предоставляло и мне известную свободу действий.

Мало-помалу в глубине текста стало прослушиваться «биение сердца», строки начали как бы пульсировать: там, внутри, угадывалась своя жизнь, и только какая-то перегородка мешала этой жизни прорваться наружу, разлиться, перейти к нам, в наши дни. То был языковой барьер и барьер времени. Бездонная глубина, откуда предстояло извлечь эту жизнь, этот мир.

Но что значит «извлечь»? По-русски «переписать» тысячи средневерхненемецких строк? Уцепившись за строку, перевести текст из немецкой стихии в русскую? Да, но что такое в данном случае — «перевести» в русскую стихию? Ведь это перевести немецкий текст XIII века в мир русских людей, читавших Пушкина и Есенина, воспитанных на Гоголе и Толстом. В какую же стихию я этот текст перенесу? Как не учесть, что моими читателями будут люди не начала XIII, а 70-х годов XX века? Надо иметь в виду их жизнь, их время, их интересы. Нельзя забывать и о другом: как бы там ни было,

[1] См. «Персифаль». Драма-мистерия. Сочинение Р. Вагнера. Перевод Вс. Чешихина. М., 1899.

я обязан показать им все-таки XIII век и их самих перенести в средневековую немецкую стихию...[1]

Со всей серьезностью передо мной вновь встал вопрос о принципах перевода классики.

Известно, что в 20-х годах, в пору господства буквалистов, классиков зачастую переводили каким-то удивительно пыльным, мертвым, старомодным языком, бесконечно далеким от живой современной речи.

В наше время возникла и, можно сказать, даже нарастает другая опасность — амикошонства, панибратского отношения к текстам великих писателей, не просто «осовременивания», не «демократизации», а недопустимого удешевления и разжижения лексики мировых гениев...

Снова и снова я вчитывался в седой, древний подлинник: старался понять исконную лексику, почувствовать стих.

Между тем Вильгельм Штафель, наиболее полно, добросовестно и, может быть, даже вдохновенно переложивший «Парцифаля» на язык современной немецкой прозы, в послесловии к своему труду утверждал, что вообще нет никакой необходимости переводить роман Вольфрама фон Эшенбаха современным стихом. Вильгельм Герц, один из тех, кому лучше, чем другим, удалось перевести «Парцифаля» стихами, с точки зрения Штафеля, «дал нам «Парцифаля» XIX столетия». Нет, говорит он, раз уж не удается полностью, точь-в-точь воспроизвести форму, то пусть точь-в-точь будет передано хотя бы содержание. А это возможно сделать, только отбросив стих, при котором неизбежны вынужденные переводческие вольности.

Но разве содержание и форму можно отъединить друг от друга? Разве содержание романа не определяется в известной мере звучанием стиха, его интонацией, характером рифмы, ритмическими ходами? Разве образ самого поэта-рассказчика не выражается прежде всего через его стих?..

Вот те мысли, которые занимали меня в первые недели работы, когда я все теснее сходился с франковским рыцарем и поэтом Вольфрамом фон Эшенбахом, которого обязан был заставить заговорить по-русски.

Кого склоняет злобный бес
К неверью в праведность небес,
Тот проведет свой век земной
С душой унылой и больной...

Так начинался «Парцифаль» — рассуждения на религиозно-нравственные темы, однако выраженные совершенно просто, по-житейски, не без некоторого балагурства даже.

Из-за кулис глянул на меня живой автор, подмигнул и повел за собой туда, в даль своего романа.

Позднее я приметил свойство автора появляться в разгар повествования, возникать в нем неизвестно откуда и неизвестно куда исчезать. Лукавый, всепонимающий, всезнающий автор возвышался надо всеми своими персонажами: он был их хозяином, и они совершали поступки, повинуясь единственно его, авторской воле. Он и меня — своего переводчика — постепенно подчинял себе, навязывая свой тон, манеру мышления. Он был одновременно и автором, и как бы персонажем своего романа, одним из наиболее привлекательных: открытостью, доверчивостью, смелостью суждений, истинным чувством юмора, то есть способностью с юмором относиться прежде всего к самому себе. Повествуя, он то вступал в разговор с читателем, то стремился защитить повествование от читательского любопытства, то таинственным образом испытывал ваше внимание, память, сообразительность...

Собственно, большинство биографических сведений об Эшенбахе, которыми располагает наука, извлечены из его романа: названия мест, где он жил, упоминания о постоянных материальных тяготах и любовных переживаниях, отголоски яростной литературной полемики.

---

[1] В содержательной статье «Мировая культура и современность» («Иностранная литература» № 1 за 1976 г.) А. Гуревич справедливо требует от переводчиков уважения к истории человеческой мысли, к истории культуры, нравов, обычаев. И в самом деле. По меньшей мере нерасчетливо устранять в переводе старинного произведения «моменты», «которые способны породить удивление современного читателя своею «странностью». Напротив, каждая такая «странность» бесценна: старина неожиданно оборачивается новизной, обнаруживаешь неведомые поэтические приемы, причудливые повороты сознания. Чем больше этих «странностей», тем радостней переводить; хватило бы только умения!..

Вместе с тем А. Гуревич как бы указывает переводчику его место «посредника» между авторами текста и читателем, требуя «большей строгости в передаче всех оттенков стиля и мировоззрения эпохи, к которой относится переводимый памятник».

Возражать не приходится, однако — и этому и какой-то мере посвящены мои заметки — не обладая *соответным* мировоззрением *собственным* стилем переводчик не в состоянии справиться с той задачей, о которой напоминает А. Гуревич.

«...Мы сами никак бы не столкнулись с немцами — писал Гоголь, — если бы не явился среди нас такой поэт, который показал нам весь этот мощный необыкновенный мир сквозь ясное стекло своей собственной природы нам более доступной нежели немецкая. Этот поэт — Жуковский наша замечательнейшая оригинальность!» (Собр. соч., М., 1953, т. 6, стр. 149) Итак переводчик и — оригинальность! Никакого противоречия в этом, разумеется, нет. Скорее — важнейшее условие для того, чтобы стать настоящим *поэтическим* посредником. Впрочем, иные и не нужны.

Свое произведение Эшенбах именует не чем иным, как попыткой в соответствии с истиной пересказать неоконченную «Книгу о Персевале» провансальского поэта Кретьена де Труа, положившую начало жанру рыцарского романа. По версии Эшенбаха, он всего лишь «излагает» по-немецки то, что у Кретьена «сказано по-провансальски», с изменениями и добавлениями, заимствованными у поэта по имени Киот. В эпилоге он прямо заявляет, что «немало стоило труда рассказ Кретьена де Труа... выправить с таким расчетом, чтоб то, что было нам Киотом поведано, восстановить и эту быль возобновить, не высосав ее из пальца...».

Этот Киот причинил немало беспокойства исследователям, пока со всей тщательностью не было выяснено, что Киот — всего лишь плод авторской фантазии Эшенбаха, введенный в роман, видимо, для того, чтобы совместить легенду о Персевале (Парцифале) с легендой о Граале, а также использовать литературную мистификацию в литературной борьбе со штампами, с тем, что уже Эшенбаху казалось в рыцарском романе отжившим, отработанным.

Вот, к примеру, начиненный элементами пародии отрывок, в котором повествуется о короле Артуре и об очередных странствиях Парцифаля:

...Однако где же наш герой?
То было зимнею порой,
Снегами скоро все покроется...
Как? Разве на дворе не Троица?
Ведь все весной напоено
И все цветет!.. А! Вот оно!
О, стародавние поэты!
Мне ваши ведомы приметы.
У вас в стихах король Артур —
Изнеженнейшая из натур.
Зефирами он обдуваем.
Он как цветок. Он дышит маем.
Весенний, майский, неземной,
Он только в Троицу, весной.
По вашим движется страницам,
На радость голубым девицам!
Но нет! У нас он не таков!
С нас хватит «сладких ветерков»!
Мы сей рассказ соорудили.
Собрав бесчисленные были
И вымыслы. И так хотим,
Чтоб — пусть мороз невыносим —
Герой наш, столь любимый мною,
С Артуром встретился зимою...

Все повествование пересыпано подобного рода полемическими колкостями, направленными иногда против таких знаменитых современников Эшенбаха, как Гартман фон Ауэ, Генрих фон Фельдеке и другие. Эшенбах не держался в стороне от литературных событий, в крепости Вартбург он участвовал в состязании миннезингеров, где его соперником выступил Вальтер фон дер Фогельвейде.

Однажды я попал в эту крепость на литературное торжество. Герольды звуками труб возвещали о прибытии гостей, внутри каменного, похожего на огромную пещеру зала горели смоляные факелы, на гигантском блюде лежал зажаренный дикий кабан... И как восемьсот лет тому назад, правда уже совсем по иным поводам, спорили, состязались между собою поэты...

Воображению не трудно было восстановить картину того, как Эшенбах, который, как истинный рыцарь, не умел ни читать, ни писать (в чем он не без бравады признавался в своем романе), заставляет читать себе вслух текст «первоисточника» и тут же, импровизируя, диктует писцу свои «переделки», свою «версию»...

Научившись при дворах покровителей французскому языку, Вольфрам очень дорожит этим своим знанием, то и дело (но всегда к месту!) щеголяет французскими словечками, которые во французской транскрипции попадают в немецкий текст.

Впрочем, знаком он не только с французским. Неоднократно в романе встречаются латинские названия камней, арабские наименования планет... Может быть, его настойчивое утверждение, что он «грамоты не разумеет», тоже полемический прием, *поза*, противопоставление себя поэтам-книжникам, средство самозащиты?.. Как удалось ему обработать такое множество теологических, юридических, медицинских и прочих специальных сведений, которые вынуждают меня, переводчика, то и дело обращаться к энциклопедиям и старинным справочникам?..

Часто, прервав нить повествования, Эшенбах делится с окружающими его слушателями этими сведениями, предается размышлениям по бесконечному количеству поводов, его авторское «я», как уже сказано, до предела активно. Ему ничего не стоит вступить в разговор даже с «госпожой Авентюрой» — то есть с собственной фантазией, с собственным еще неясно различаемым замыслом:

Ах, это вы, госпожа Авентюра!
Ну, как там юный друг Артура?
Живет ли в счастье он или в муке?
Прошу: в свои возьмите руки
Сего повествованья нить
И постарайтесь нас возвратить
Туда, где мы прервали
Рассказ о Парцифале...

«Даль свободного романа» (воспользуюсь этой столь часто употребляемой теперь пушкинской формулой) беспредельна. Пройти огромное расстояние по всем его строчкам, от главы к главе, нелегко: в длинной дороге читателю нужен верный попутчик, рассказчик-друг...

Смысл «Парцифаля» открывался мне по мере общения с его создателем. Где-то я прочел, что «Вольфрам фон Эшенбах был самым свободолюбивым человеком средневековой Германии». Я все теснее связывал его образ с картиной времени, «помещал» его

в гущу конкретных исторических фактов. Он не мог не слышать о них, не знать... Германские крестоносцы разрушили и сожгли Константинополь — с домами, храмами, бесценными библиотеками... В горло друг другу вцепились вельфы и гогенштауфены... Генрих Лев и Альберт Медведь ринулись на славянские племена...

Это его окружало, тревожило. Дело не в том, что в «Парцифале» появились внятные современникам намеки, а некоторые сцены романа напоминали реальные, известные всем события. Эшенбах понял: мир настолько насыщен преступлениями, что им может противостоять разве что святость. В своей не слишком богатой внешними событиями жизни он явил необычайную силу духа и высоко поднялся над временем, одержимый великой мыслью. Он был из тех, кто в самом себе способен черпать мощь...

Есть книги, как заброшенные, заросшие травою могилы. Не то чтобы они были плохо или подло написаны: нет, просто в них не было достаточной нравственной силы, большой нравственной задачи, а личность авторов слишком слабо просвечивалась сквозь то, что они сконструировали.

Эшенбах остался. Не *вне* своего произведения, а *в нем*.

Впрочем, «Вольфрам фон Эшенбах, в своих прославленных стихах воспевший наших женщин милых», просил не считать его «Парцифаля» *книгой* («Нет, не *книгу* я пишу...). Почему же?

Все, что узнал я и постиг,
Я не заимствовал из книг.

Видимо, для него существовало нечто большее, чем книга,— *жизнь*

III

Работа строилась так: сначала я читал подлинник, затем — то же место в прозаическом переводе Штафеля, после этого — все варианты стихотворных немецких переводов (чтобы сравнить различные переводческие решения и трактовки), наконец, относящиеся к данному эпизоду толкования и комментарии ученых.

Перевод первых двух глав [1] занял несколько месяцев. В соответствии с подлинником я избрал для начала повествовательную интонацию, стараясь, по возможности, не перебивать ритм (четырехстопный ямб), игнорируя пока ритмическую шероховатость оригинала. Надо было дать читателю возможность по накатанным ямбам удалиться от берега, углубиться в даль повествования, вчитаться, преодолеть первые страницы, освоиться в романе и «идти» — читать дальше.

Однако постепенно меня стало охватывать беспокойство: уж не слишком ли гладко звучит стих, нет ли недостоверности в том, что, переводя «Парцифаля», я «пишу Онегина размером» — обстоятельство, которое даже Лермонтова смущало в «Тамбовской казначейше»? И хотя все немецкие переводчики «Парцифаля» на современный язык брали именно этот размер и ямб, повторяю, лежал в основе ритмического рисунка подлинника, надо бы искать способы усложнения ритма: сбить его, взъерошить, как только для этого найдется время и место.

Место между тем не находилось. Первая и вторая книги романа, целиком посвященные похождениям отца Парцифаля — Гамурета, были созданы как бы на одном дыхании, не давая возможности остановиться, сменить шаг. Строка переходила в строку, один эпизод в другой, насыщенный битвами, путешествиями, любовными приключениями. Мне слышался чеканный классический ямб: как иначе передать величавость и вместе с тем лихость, напор, зной, обдать читателя жаром битв?.. Не следовало забывать, что я имею все же дело с воинами, рыцарями, а не просто носителями авторских идей.

Теперь сошлись они друг с другом.
Колотят копья по кольчугам.
И древки яростно трещат.
И щепки на землю летят...
Ах, в беспощадной этой рубке
Ждать не приходится уступки...

В нескончаемо длинных песнях торжествовали, говоря словами автора, *Любовь и Воинское Рвенье*, и нельзя было терять динамики, допускать, чтобы стих увядал в косноязычии, сникал от усталости. Была и другая опасность: чрезмерной оперной пышности, слащавости. Стих мог увязнуть в потоке любовных изъяснений, в описании экзотических красот.

Хотелось передать страсть, негу, томленье, чтобы у читателя перехватывало дыхание, когда «на бархате дивана сидят отважный Гамурет и королева Белакана», и в то же время не утратить напряженную авторскую мысль о единстве людей, будь они христианами или язычниками, «черными».

---

[1] Понятие «главы» в данном случае чрезвычайно условно. В подлиннике все 24800 строк записаны сплошным текстом. Лишь зимой 1819—1820 гг. Карл Лахман, чей доклад «О содержании «Парцифаля» положил начало современному прочтению романа, разбил текст на 16 книг, или глав, чтобы облегчить чтение.

В годы, когда полки крестоносцев шли, чтобы в далеких землях обрушить мечи на «неверных», а язычников подвергали поношениям со всех церковных амвонов, Вольфрам фон Эшенбах в своем романе говорил: «Что значит разность цвета кожи, когда сердца слились в одно?» Языческие монархи, языческие рыцари, языческие обряды и обычаи описаны Эшенбахом с симпатией и уважением...

Я знал, что мысль об общности людей, пройдя через весь роман, приобретает символическое звучание в финале, когда почти все персонажи окажутся связанными между собою родством. Линии множества жизней замкнутся на Парцифале и от него же потянутся вдаль новые нити. Это был образ рода человеческого, непрерывности жизни. И к такому восприятию надо было приучать читателя уже с первых глав...

Между тем к 3-й главе началось такое нагромождение эпизодов, что я и сам едва удерживал их в памяти. На меня сыпалось бесчисленное множество имен, диковинных географических названий.

Под напором сюжетной сумятицы стал наконец постепенно меняться размер, стих все более приближался к своему естеству:

...Итак, он с королем расстался
И в комнате один остался,
Сказав послушной свите:
«Я спать ложусь. Вы тоже спите...»
Но тут пажи вбежали
И обувь с ног его усталых сняли.
И, скинув облаченье,
Он чует облегченье.

Это, пожалуй, наиболее точный ритмический «портрет» подлинника, созданный не сразу, а в процессе долгого и медленного освоения текста.

Теперь я располагал возможностью время от времени (желательно как можно чаще) демонстрировать читателю это первородное звучание, «вписывать» его в условный размер перевода, подобно тому как «встраивают» куски уцелевших древних стен в современные архитектурные ансамбли.

Иногда в оригинале сам Эшенбах резко менял, сбивал стих, вводя в него фольклорные интонации: «Ах, знаю я такую, о коей я тоскую, я тоже безутешен и вроде бы помешан», а вот — уж совсем почти раек:

Скажу вам без обману,
Его женой я стану,
Лишь он моя отрада
И нам другого короля не надо!..

Мне эти строки были особенно дороги потому, что перевод создавался во внутренней полемике с теми, для кого «Парцифаль» был произведением только мистическим, бесплотным, оторванным от земных треволнений и насущных человеческих дел и забот. Я старался использовать в тексте все, что могло послужить опровержением этой, с моей точки зрения, неверной концепции. Напротив, я был убежден, что «Парцифаль», при всем своем мистицизме, имеет под собой прочную народную, жизненную основу. Эта основа проступала в своеобразных сюжетных построениях — например, в мгновенных победах, которые одерживает герой, было нечто от сказок, от народных баллад и песен, где как по мановению волшебной палочки происходит расправа над силами зла и мгновенно торжествует добро, или в чрезвычайно живом, ядреном рассказе о волшебнике Клингсоре, наказанном за свое распутство и злодейское бессердечие.

Насмешка над злой силой — один из любимых народных мотивов. Перехитрить черта или злого волшебника — какая это утеха для народной души, какая вера в свои собственные силы в эти истории вложена! И если у Вагнера Клингсор — всемогущая, мистическая и неумолимая субстанция, подвергшаяся некоей таинственной операции, то у Эшенбаха он — скорей мерзкий, похотливый колдун, и расправа с ним происходит куда более лихо и решительно:

Сталь сверкнула и — долой
То, чем любовник удалой
Пред женщинами похвалялся!..
С тех пор Клингсор скопцом остался...

В подобных эпизодах стих звучал задорно, в парных рифмах одна рифма словно на лету подхватывала другую, чудо что были за парочки: отрубил — протрубил, Азии — голубоглазее, храмовник — терновник! Все подсказал подлинник...

За рифмой важно было следить, не терять упругость стиха и осторожно снижать не из подлинника взятую, а от чужих, немецких переводов идущую, чрезмерную патетику, не меньше остерегаясь забористости, излишней хлесткости и лихости.

Например, в сцене у Гурнеманца Парцифаль, приехав в крепость Грагарц, чуть не становится мужем его дочери — прекрасной златокудрой Лиасы, однако он «в Грагарце с нею не останется, он к новым похожденьям тянется, к неведомым событьям» — и категорическое «резюме»: «Супругами не быть им!»

Рифмы «останется — тянется», «событьям — не быть им» могли настроить читателя на облегченный, полуюмористический лад, который, как мы уже видели, иногда присутствует в оригинале, особенно в авторских комментариях. Эту казавшуюся порой

неуместной чрезмерную живость у Эшенбаха всегда нейтрализует таинственная возвышенность. Так, в сцене с Лиасой после «супругами не быть им!» шла «мотивация»:

Он ощущает странный зов,
Идущий прямо с облаков,
Зов, полный обещанья...
Так пробил час прощанья.

Несмотря на кажущуюся легкость, многие строки давались с трудом, то и дело возникали неожиданные, почти непреодолимые препятствия.

Для развития сюжета существенным считается эпизод, в котором Парцифаль — еще наивный юноша, в шитом матерью шутовском наряде, не ведая, что творит, убивает отважнейшего из рыцарей — Красного Итера, случайно попав ему дротиком в глаз. Парцифаль надевает поверх своей одежды снятые с убитого «стальные латы боевые», и вот уже Итер похоронен, а другой рыцарь, Иванет, сооружает на могиле крест из злосчастного дротика, прибитого поперек какой-то доски,— дело не слишком хитрое, на которое сам Эшенбах отвел всего несколько строк... Однако в переводе доска никак не «прибивалась» к дротику, вся процедура не укладывалась в заданный размер. Чего только я не перепробовал! «Он доску к дротику прибил...», «И дротик прикрепив к доске...», «Прибита к дротику доска...» — все не то, не видно, что сооружается именно крест. Как это пояснить?

Я работал над этими строчками почти месяц, до полного физического изнеможения, пока, наконец, не получилось:

Где Парцифаль? Простыл и след...
Уже он скрылся за горою...
А тело юного героя
Покрыл цветами Иванет.
И по законам здешних мест
Соорудить решил он крест,
Всем видимый издалека:
Злосчастный дротик Парцифаля
И поперечная доска
Сей скорбный крест изображали...

Надолго пришлось сделать перерыв...

Пятая песнь начиналась с уведомления читателя о том, что ему предстоит в этой песни узнать, то есть со своеобразной «аннотации».

Вот — в дословном переводе — тот материал, которым я в данном случае располагал:

«Тех, кому еще охота услышать о том, куда попадет тот, кого Авентюра послала в дальние странствия, ожидает безмерно большое чудо. Пусть дитя Гамурета скачет далее! У моих участливых слушателей есть причина пожелать ему удачи, ибо случится так, что он испытает великое бедствие, однако обретет в конце концов почет и радость...»

Преобразуясь в стихи, комья слов рассасываются, речевые конструкции облегчаются, содержание вливается в созданную для него форму:

Спешу заверить тех из вас,
Кому наскучил мой рассказ,
Что расскажу в дальнейшем
О чуде всепервейшем.
Но перед тем, как продолжать,
Позвольте счастья пожелать
Сыну Гамурета —
Причина есть на это.
Сейчас ему, как никогда,
Грозит ужасная беда:
Не просто злоключенья,
А тяжкие мученья.
Но я скажу вам и о том,
Что все закончится потом
Полнейшею удачей:
Не может быть иначе!
К нему придут наверняка
Почет и счастье... А пока...

А *пока* Парцифаль продолжает свой путь по лесу, среди нехоженых дорог, очень напоминая собой дюреровского Всадника... Я же ломал голову над тем, как разнообразить рифмы на *Парцифаль*: сталь, даль, печаль, Грааль, жаль, хрусталь, скрижаль и даже февраль, все, кажется, кроме «кефаль», было использовано!..

Важное значение имела регламентация сложных материализованных средневековых метафор. Автор мог превратить в многозначительную метафору самое обычное, ходовое выражение, употребляемое на каждом шагу, например: «Ты заключена в моем сердце». Эшенбах тут же ловит сказавшего это на слове: «Подумайте только, что творится! Способна ль взаправду уместиться большая женщина в маленьком сердце?...» Через какую такую дверцу она в сердце входит, как дорогу туда находит?..

Безусловно, в такой «реализации» словесных клише есть оттенок юмора. В романе много непонятных, «темных» мест, и сам Эшенбах вовсе не собирается их расшифровывать. Но вот отшельник Треврицент, персонаж в высшей степени благостный, в разговоре с Парцифалем утверждает, что грех Каина состоит в том, что он «непорочно-

сти лишил мать своего отца». «Такого быть не может!» — восклицает «простец» и выслушивает разъяснение — раскрытие метафоры:

Земля, что *девственно* цвела,
Адаму *матерью* была.
Ну, а причиной срама
Стал Каин, *сын* Адама!
Когда он Авеля убил,
Он землю кровью обагрил,
И, кровью орошенная,
Невинности лишенная,
Земля от *внука* зачала
Первоисток земного зла.
И это означало
Всех наших бед начало...

В ходе перевода я обнаруживал пристрастие Эшенбаха к контрастам, к резким столкновениям материй высоких и «низких», просторечий и изысканной, придворной лексики, усложненных метафор и банальностей, почти непристойной эротики и необычайного целомудрия. В «Парцифале» множество раз рифмуется «wip» и «lip» — в XIII веке эта рифма была столь же банальна, как у нас «любовь — кровь», но тут же, рядом — редчайшие ассонансные рифмы, диковинные звукосочетания.

Из бесчисленности контрастов возникало ощущение бесконечного многообразия мира, изменчивой сущности человеческой души. В самом начале своего романа Эшенбах утверждал право человека на «сомнение» (zwîvel) потому, что «порой ужиться могут вместе честь и позорное бесчестье», что люди подобны сорокам, которые «разно белы и чернобоки», и что в душах людей «перемешались рай и ад». Важно лишь не отчаяться, не «извериться вконец», не избрать «один лишь черный цвет».

Только поняв эту великую гуманистическую идею Эшенбаха, убедившись, что передо мной не просто эффектные литературные приемы, а *суть*, я стал все более внимательно присматриваться к контрастам и по возможности все чаще использовать их в переводе.

Конечно, реставрации поддавалось далеко не все. Приходилось удалять куски омертвевшей ткани: утомительные, длинные и бессодержательные эпизоды, которые уже ни о чем не могли сказать современному читателю, многословие, когда оно становилось невыносимым. Отчетливо проступали сюжетные слабости, немотивированность иных поступков, ходульные приемы рыцарских романов. Однако эти свойства можно было устранять лишь с большой осторожностью, в самых крайних случаях. Гораздо чаще их приходилось сохранять, восстанавливать.

Причуды времени, выверты средневековой фантазии виделись в рассказе о первых днях супружеской жизни короля Гамурета:

Носил герой поверх кольчуги
Рубашку царственной супруги,
В которую была она
В часы любви облачена.
И в той священнейшей рубашке
Он в битвах не давал промашки...
В конце свидания ночного
Рубашку получал он снова.
Их восемнадцать набралось,
Пронзенных копьями насквозь...

Я опускал в переводе ряд подробностей, но не смог опустить, скажем, подробнейшего перечня камней, который в одном эпизоде, очевидно, был весьма важен автору: «Каменья, что украшали кровать, я бы хотел здесь вам назвать. Итак, это были: карбункул, агат, сапфир, изумруд, аметист, гранат, берилл, опал, халцедон, алмаз, турмалин, бирюза, рубин, топаз...» Мне были дороги и такие следы авторского мышления, где он посреди пышной тирады вдруг говорил что «лик героя напоминал... *щипцы*»! Именно *щипцы*, потому, оказывается, что «подобными щипцами дам, слишком ветреных сердцами, вполне возможно удержать: лишь надо посильнее жать!..»

Я читал эти строки в подлиннике и думал о языке перевода: не маловато ли у меня архаизмов?

«Передача» архаизмов давно уже является предметом переводческих дискуссий, хотя никто, конечно, не в состоянии точно сказать, откуда и какие брать для перевода старинных текстов старые слова, не считая затасканных и неизбежных «коль», «сколь», «столь», «ежели», «нежели», «вкушать», «вотще» и пр.

Спасительная лексика начала и первой четверти XIX века может оказаться слишком современной в переводе стихов того же XIX столетия и слишком старомодной в переводе текста века XIII.

Дело, очевидно, не только в лексике, но и в интонации, в манере речи, в ее темпе, а также и в том, какой «угол зрения» выбирает переводчик. Несомненно одно: подавляющее большинство произведений, какому бы веку они ни принадлежали, в оригинале написаны *современным* (по отношению к своему времени) языком. Дело переводчика решать, что из этого следует: то ли что он должен подчеркнуть удаленность той, некогда живой и современной языковой стихии от нашей, сегодняшней, то ли восстановить изначальную живость звучания... Память, эрудиция, художественный такт, сама жизнь подскажут наиболее подходящие для этого слова.

Что касается меня, то я старался, чтобы груз архаизмов не давил стих, предпочитая тяжеловесным архаизмам легкий, как бы условный, налет старины. В текст архаизмы лишь вкрапливались. Добрую службу мне сослужил немецко-русский словарь Тиандера, где русский перевод значений дан на лексическом уровне 1911 года. Всевозможные пособия напомнили, что значат бармица, шишак, наручи, валет, кравчий; из них я позаимствовал драгоценную терминологию: пробный турнир, большой турнир...

В переводе надо было восстановить и другое: момент импровизации. Хотелось, чтобы читатель ощутил атмосферу, в которой создавался роман. Так называемый «эффект присутствия» достигался самым тщательным воспроизведением всех признаков прямого контакта автора с аудиторией, с публикой: насмешек, перемигиваний, перебранок («а вы меня не торопите!.. Коль неохота слушать вам, другому слово передам...»), авторских замечаний, вызванных реакцией слушателей, а также пауз, когда рассказчик, задумавшись, ищет подходящее слово, неожиданных отступлений от плавного повествования, брошенных вскользь замечаний, реплик («...и в том даю вам слово, что часто голодает... ах!.. Кто?.. Я! Вольфрам фон Эшенбах!..») — иначе говоря, всего, что только великая сила искусства удерживает от того, чтобы стать простым рифмоплетством, болтовней в рифму...

IV

«Парцифаль» отличается нравственным максимализмом. Это главное, что интересно нашему времени, этим роман более всего дорог.

В «Парцифале» духовные поиски и сомнения ведут к истине через добро, страдание и сострадание.

Суть добра —
В том, чтоб душа была добра...

Эта прописная, казалось бы, истина чрезвычайно и важна, и сложна.

В романе есть и любовь со всеми ее причудами, и вера в своем вечном столкновении с неверьем, и рождения, и смерти, бесконечное множество невосполнимых утрат и чудо неожиданных обретений, встреч, возвращений. «Парцифаль» — свод человеческих знаний, которые, как выясняется, все, вместе взятые, стоят меньше, чем простое сострадание, слово «*сердечного участья*», представляющего собой высшую этическую ценность.

Попав в Мунсальвеш, молодой Парцифаль оказывается перед лицом двух начал: земного блаженства, воплощенного в Граале, и безмерного земного страдания, которое олицетворяет мучимый страшным недугом, вечно зябнущий король Анфортас. Памятуя, однако, что рыцарю не пристало задавать вопросы, Парцифаль не решается спросить несчастного, *что с ним?* Таким образом, Парцифаль ставит рыцарское «вежество» выше сострадания не из жестокости или душевной черствости, а из приверженности строгому рыцарскому этикету, иначе говоря, ставит официальную сословную этику выше общечеловеческой.

Роковой этот поступок в один миг круто изменяет его судьбу. Вместо того чтобы избавить Анфортаса от жестоких мучений (только «*вопрос*, исполненный участья», мог принести исцеление) и самому стать королем Грааля, Парцифаль обречен теперь на тягчайшие испытания, на неприкаянность, на долгие изнурительные странствия, а главное — на совершение новых грехов. В действие вступает так называемый «автоматизм вины», когда тяжелое преступление неумолимо влечет за собой вереницу других. В романе отразились некоторые суждения о категории вины Блаженного Августина. В наказание за совершенный грех человек теряет нравственную ориентацию (состояние, которое Августин обозначал термином «ignorantia») и обречен на совершение злых дел. В этом смысле грех, совершенный Парцифалем в Мунсальвеше по отношению к Анфортасу, является своего рода возмездием за еще более тяжкий грех, совершенный до этого: убийство Красного Итера...

В романе Эшенбаха путь к искуплению вины лежит через мучительное познание жизни. Только познав жизнь во всех ее проявлениях, от возвышенной, святой любви (Сигуна) до подлого коварства, злодейства и низости (сенешаль Кей, Клингсор), обретя утраченную было веру, Парцифаль вновь попадает в Мунсальвеш, задает Анфортасу спасительный *вопрос*, находит свою жену Кондвирамур и становится владыкой Грааля.

Итак, поиск святого Грааля — поиск нравственный, путь к нему есть путь познания окружающего мира и самого себя, обретение Грааля — обретение Истины.

Да, я, Вольфрам фон Эшенбах,
За совесть пел, а не за страх
И за своим героем следом
От поражений шел к победам...
Но высшая из всех побед —
Проживши жизнь, увидеть свет,
Не призрачный, а настоящий,
От чистой Правды исходящий,
Не просто по миру брести,
А Истину вдруг обрести...

Вот эту авторскую идею и должен был выразить перевод. Читатель должен был получить произведение гуманное, не приемлющее зла ни в каком виде, требующее от человека не какой-нибудь мелочной и пошлой «отзывчивости», а готовности бесстрашно ринуться в бой с несправедливостью и жестокостью, туда, где раздается крик боли, мольба о помощи.

...Медленно шел по залу оруженосец, подняв кверху копье, с острия которого стекала красная струя крови.

И это вот что означало:
Все человечество кричало
И в исступлении звало
Избыть содеянное зло,
Все беды, горести, потери!..

Какая важная, пронзительная мысль! Как насущно это требование — «избыть содеянное зло», которого в мире накопилось столько, что уже выдержать невозможно — кровь хлынула. Неужели за оруженосцем закроется сейчас резная дубовая дверь и он так и пройдет со своим кровоточащим копьем никем не замеченный?.. Этот оруженосец появляется в Мунсальвеше в разгар пиршества, перед выносом Грааля, как напоминание, предостережение...

Парцифаль видел и оруженосца, и копье: молчал. Он был слишком добросовестен, слишком корректен, слишком кроток («скромность, а не спесь ему задать вопрос мешает и права спрашивать лишает»), слишком туп в своем отношении к этому миру («молчать его заставил свод рыцарских старинных правил»), чтобы вмешиваться. Но в мире, где властвует зло, в заколдованном царстве расхожие добродетели оборачиваются опасными пороками. Так, против собственной воли, Парцифаль становится причиной страданий и смерти своей горячо любимой матери Герцелойды, его необдуманные поступки ранят сердце Сигуны и Кундри, он виновник тяжелых переживаний Ешуты и Куневары, невольный убийца Красного Итера. К пятой песне, то есть даже еще до встречи с Анфортасом, невинный, наивный и отважный юноша несет на себе крест тяжких нравственных преступлений: такова иррациональность порочного мира. В этом мире наивность бесконечно опасна, а глупость преступна.

Кто же он, в конце концов, этот «святой простец», как именует Парцифаля в своем либретто Вагнер?

«*Он — негодяй всего лишь!*» — восклицает вестница Кундри, явившаяся «на тощем муле» в блистательное собрание рыцарей Круглого Стола, в момент наивысшего триумфа Парцифаля, чтобы бросить ему в лицо слова страшного обвинения: «*...вас не занимала чужая боль нимало...*» И сам бог «вырвет ваш язык за тот невыкрикнутый крик простого состраданья...»

Очищение Парцифаля наступает в тот миг, когда он всем своим существом осознает Истину, выраженную в наивном житейском совете, а на самом деле — великом общечеловеческом требовании:

Спеши, спеши на помощь им,
Тем, кто обижен и гоним,
Навек сроднившись с состраданьем,
Как с первым рыцарским деяньем!..

Тем-то и велик Эшенбах, тем-то и заслужил его труд воскрешения, что в своем XIII веке он понял это *требование*, не счел эту истину «банальной» и не отвернулся от нее высокомерно.

Несмотря на обилие кровопролитных турниров, поединков, убийств, в романе Вольфрама фон Эшенбаха жизнь предстает как высшее благо. Жизнь *богоугодна*, если уж воспользоваться религиозной терминологией. Сама по себе жизнь, как противоположность смерти, нравственна. Лишение жизни — тягчайший из грехов, и убийство, пусть даже в обычном для того времени поединке, требует трудного искупления.

...Текла жизнь, менялись времена года, полосы удач и неудач. Почти через три года после начала работы громадина романа поднялась на поверхность.

Ну, а Грааль? Что же он все-таки такое, этот расточитель щедрот, который «в своей великой силе мог дать, чего б вы ни просили»? Как понимать эти слова, дыхание тайны?

Светлейшей радости исток,
Он же корень, он и росток,
Райский дар, преизбыток земного блаженства.
Воплощение совершенства,
Вожделеннейший камень Грааль.

...Люди живут в поисках своего «святого Грааля», во имя *Истины*.

◆

Культура и современность

Заметки на полях

«СЕКОЛУЛ 20»

Ежемесячному румынскому журналу «Секолул 20» («Век двадцатый») недавно исполнилось 15 лет. Орган Союза румынских писателей, «вестник мировой литературы», как указано в названии, «Секолул 20» широко отражает различные проблемы современной мировой культуры. Как подчеркнул его главный редактор Дан Хэуликэ в юбилейном, 150-м номере, журнал все шире смотрит на мир, «постоянно соотнося развитие современной культуры с достижениями в области естествознания и истории».

При этом свою задачу редакционный коллектив видит не в возможно более широком охвате художественных явлений, а в их отборе и организации в пределах ряда ведущих тем. Следовательно, содержание журнала определяют именно эти темы, раскрытые широко и злободневно. Вот некоторые из них: «Театр и современность», «Культурный ландшафт Латинской Америки», «Литература и событие», «Встречи Запада и Востока» и т. д.

Можно, конечно, соглашаться или не соглашаться с подобным методом подачи информации, но нельзя при этом не видеть завидного упорства и последовательности сотрудников редакции в своей работе, того огромного труда, который вложен в подготовку каждого номера. Этот труд ощущаешь и в отборе произведений, ознаменовавших — в представлении сотрудников журнала — некие сдвиги в художественном мышлении нашего века, и в добротно исполненном переводе, и в подробном комментарии. Показательным в этом отношении можно считать номер, вышедший в дни работы XI съезда РКП и объединивший такие темы, как «Коммунизм — золотая мечта человечества», «Пролетарская действительность и поэзия», «Художник на фабрике», «Политические параметры спектакля», «Современные формы марксистской литературной критики» и др.

В первом разделе номера переводы фрагментов из произведений Т. Мюнцера и Ш. Фурье соседствуют с отрывками из пьесы А. Луначарского «Фауст и город», со статьями о «Кубе, Новом Свете и утопии Мора» и «Утопических мотивах в творениях Спафария Милеску». В краткой редакционной заметке говорится о высокой оценке, которую дали идеям утопистов Маркс и Энгельс, о распространении этих идей в Румынии начала XIX века. Своеобразным графическим дополнением ко второму разделу, в котором представлены стихи Николы Вапцарова, Лэнгстона Хьюза, Жака Превера, Бертольта Брехта и других поэтов, служат иллюстрации, исполненные румынскими художниками, проведшими 20 дней в цехах бумажной фабрики «Летя». «Наше появление на территории фабрики,— пишет в этой связи художница Иляна Микодин,— означало для нас двадцать дней упорного труда, полное единство трех начал «город — фабрика — художник», обращение к нам не только как к художникам, но и как к коллегам, людям, гражданам, друзьям».

В следующих разделах представлены фрагменты произведений румынских и французских прозаиков, повествующих о румынском революционере-демократе Н. Бэлческу, о крестьянском восстании 1907 г. в Румынии, о расстреле рабочей демонстра-

ции в Бухаресте в 1918 г., подборка на тему «Политические параметры театра» и еще одна, названная «Винтовка, выпускающая 24 кадра в секунду»,— о революционном латиноамериканском кино.

Верой в торжество подлинного искусства дышит подборка материалов о Пабло Неруде — переводы его посмертно опубликованных стихов, отрывки из дневника, рассказы очевидцев о последних трагических днях жизни поэта.

А вот постоянная рубрика: «Румынские голоса» — о переводах произведений румынских авторов в разных странах мира. На этот раз журнал рассказывает об интересе к румынской культуре в Перу, Мексике, на Кубе, о вниманин, которое уделяют ей советские журналы «Иностранная литература», «Новый мир», «Литературное обозрение» и др.

> «Нельзя не видеть в этом свидетельства того широкого интереса,— говорится в журнале,— которым пользуется румынская литература среди советских читателей, писателей Советского Союза, того дружеского внимания и уважения, которое проявляют к ней люди, хорошо знающие нашу литературу, нашу страну...»

На страницах журнала «Секолул 20» читатель найдет немало конкретных свидетельств этого дружеского внимания. В последних номерах журнала помещены заметки о переводах произведений З. Станку на русский язык, о переводах А. Ахматовой стихов Тудора Аргези, о публикации на страницах «Иностранной литературы» рисунков из антологии И. Кимета «Двенадцать месяцев мечты», а также стихотворений М. Сореску, Н. Стэнеску, Г. Мелинеску, прозы К. Штефанаке, Дж. Богзы, В. Никоровича, И. Григореску и т. д.

Это созвездие имен румынских писателей, с которыми советский читатель уже успел познакомиться, весьма внушительно. В свою очередь «Секолул 20» регулярно знакомит читателей с мнением советских людей о румынской литературе, румынском искусстве. В частности, в юбилейном номере опубликованы ответы советских деятелей культуры (Л. Леонов, Г. Марков, А. Хачатурян, Г. Серебрякова, Ю. Кожевников) на анкету журнала. В этих ответах отмечается самобытный характер лучших произведений румынской культуры, их жизненность, стремление к широкому социальному обобщению. «Мы все лучше узнаем друг друга,— заключает свой ответ А. Хачатурян,— процесс взаимного обогащения наших культур постоянно углубляется!»

Именно взаимного обогащения! В этом убеждаешься, читая разделы журнала, знакомящие с достижениями советской литературы: Маяковский, Заболоцкий, Булгаков, Эйзенштейн, Абрамов, Симонов, Шукшин — вот имена советских авторов, произведения которых опубликованы в журнале за последние два года.

И если материалы о Маяковском носят характер некоего комментария к его творчеству, хорошо известному в Румынии (здесь переводы дневниковых записей поэта, воспоминаний Л. Брик, Э. Триоле, В. Катаняна и других), если перевод рассказа Ф. Абрамова «Деревянные кони» согласно редакционной заметке — лишь первый в целой серии намечаемых переводов «деревенской прозы» в современной советской литературе, то подборка, посвященная творчеству В. Шукшина и озаглавленная «Пафос нравственного призыва», весьма представительна. Ее переводчик и составитель Т. Николеску — давний друг нашей литературы, активный ее пропагандист в социалистической Румынии. Материалы подборки объединяет острое ощущение подлинных размеров дарования замечательного советского художника. «Не так-то скоро появится другой мастер,— сказал С. Бондарчук в своем интервью, данном Т. Николеску,— в котором бы совмещалось столько достоинств, появится личность, наделенная столькими талантами. Человек большой души, самобытный писатель, режиссер, не похожий ни на кого другого, несравненный актер...»

Борис Бурсов, со своей стороны, убежден, что В. Шукшин был прежде всего настоящим писателем, в творческой манере которого явственно проступают черты одаренного режиссера и актера. Он полагает, что сущность Шукшина-писателя — в показе несовместимости жизни и тех, кто стремится загнать ее в окаменевшие, застывшие формы. В каждом произведении он предъявляет человеку счет не только за зло, причиненное самому себе, но и за урон, нанесенный обществу в целом.

В представлении С. Залыгина сценарная работа Шукшина была связующим звеном между различными областями искусства, в равной мере доступными художнику. Постоянный творческий поиск — вот характерная черта этого человека, который в любой сфере своей многогранной деятельности умел всегда оставаться самим собой. Видишь его на экране и чувствуешь, как неожиданно распадаются, обретая какой-то странный вид, привычные с детства понятия «актер», «роль», «игра». Ибо перед тобой всегда один и тот же Шукшин, только без грима и, можно сказать, даже «без игры». Он играл без грима и писал без грима. И в его прозе тоже имеется скрытая камера, только направлена она не на него, а на внешний мир.

Есть в подборке очерк «Вологда помнит Шукшина», подготовленный самой Т. Николеску,— о встречах с А. Беловым и В. Астафьевым, друзьями Шукшина, свидетелями его художественных поисков.

Подборку дополняют рассказы «Сапожки» и «Жил человек», а также фрагменты из киносценария «Калина красная». Нельзя не видеть в этом материале — многообразном и цельном — показателя тех широких возможностей, которыми располагает «Секолул 20» в работе по сближению наших дружественных социалистических культур.

М. ФРИДМАН

В ДУХЕ ХЕЛЬСИНКИ

Последние годы были весьма примечательны для болгарских переводчиков: во-первых, был создан их Союз, который издает свой информационный бюллетень, во-вторых, проведена представительная теоретическая конференция о месте и роли переводчика в построении развитого социалистического общества, и, в-третьих, в сентябре прошлого года в Софии прошел Международный симпозиум переводчиков на тему: «Роль перевода в духовном ознакомлении и сближении народов». Отчет о работе симпозиума и три основных доклада опубликованы в сокращенном виде на страницах болгарской газеты «Народна култура» (№ 40—41).

В работе симпозиума участвовали крупнейшие писатели Болгарии, в том числе Елисавета Багряна, Дора Габе, Камен Калчев, Младен Исаев, Валерий Петров. Зарубежные гости представляли Советский Союз, ГДР, Польшу, Венгрию, Румынию, Югославию, Монголию, ФРГ, Англию.

Открывая симпозиум, председатель Союза переводчиков Болгарии Ангел Тодоров говорил о все возрастающей роли перевода в жизни современного общества, об участии переводчиков в развитии культурного обмена между народами, о том, что через переводную литературу болгары приобщаются к высшим достижениям мировой культуры, а культурные ценности Болгарии становятся достоянием народов других стран, находят прием в самых отдаленных уголках земли. В частности, он сказал:

> «Находясь в самой близкой дружбе с Советским Союзом и другими странами социалистического лагеря, Болгария стремится поддерживать дружеские отношения со всеми народами во имя мира на земле».

И на Первом съезде болгарских переводчиков, и в ходе симпозиума болгарские деятели культуры неоднократно подчеркивали, что у болгарского переводческого искусства глубокие традиции. В частности, об этом развернуто говорил академик Петр Динеков. Его доклад «Перевод в староболгарской литературе и в период национального возрождения» напомнил о переводческой деятельности великих славянских просветителей Кирилла и Мефодия и целой плеяды их замечательных последователей, чей труд сыграл немалую роль в формировании и развитии национальной болгарской литературы и культуры. Академик Динеков рассказал также о значении переводческой деятельности в период болгарского национального возрождения, когда болгарский народ стал решительно подниматься на борьбу за свержение многовековой тирании османов. В то время стала заметно повышаться и требовательность к переводчикам, особенно в отношении выбора произведений для перевода и их распространения среди болгарских читателей. Докладчик Динеков привел слова болгарского поэта-революционера Христо Ботева, сказанные им еще в 1875 г.: «Романы, повести, рассказы и вообще чисто литературные произведения... должны отвечать стремлениям и характеру того народа, для которого их пишут и переводят. Учитывая это, в данный момент нам нужны произведения, отвечающие нашим нынешним потребностям и стремлениям,— современные, имеющие общечеловеческое значение».

Смысл этих слов не утратил своего значения и в наше время, потому что отбор произведений для перевода на родной и на иностранные языки является задачей первостепенной политической и идеологической важности. Об этом с предельной ясностью сказал в своем письме Первый секретарь ЦК БКП Тодор Живков по случаю Года книги:

> «Мы строим социалистическое общество. Мы стремимся воспитывать наш народ в коммунистическом духе, формировать человека с коммунистическим мировоззрением. Следовательно, мы должны отбирать и распространять только такие книги, которые, будучи посланниками минувших времен и других стран, несут в себе самые светлые помыслы и устремления человечества, и давать миру только такие книги, которые, будучи нашими посланниками, смогут достойно представить Болгарию — страну древней культуры, строящую социализм, представить в ее труде, в своих чувствах и помыслах, в ее богатой духовной жизни, устремленной к коммунизму».

Своими мыслями об искусстве художественного перевода поделился известный поэт и переводчик русской и советской поэзии Христо Радевский.

Главная особенность переводческого искусства в Болгарии за последнее столетие состоит, по его словам, в том, что

> «...оно развивается вместе с развитием нашей оригинальной литературной художественной мысли, с развитием литературного языка, с совершенствованием его выразительных средств».

Христо Радевский особо отметил, что поэтическому переводу щедро отдавали свое вдохновение именитые болгарские поэты разных поколений:

> «У нас переводческим делом занимались почти все без исключения большие мастера слова».

И действительно, переводом иностранной поэзии занимались Иван Вазов и Пенчо Славейков, Пейо Яворов и Димчо Дебелянов. Ярко, талантливо зазвучали на болгарском произведения Блока, Маяковского, Верхарна благодаря мастерству поэта-борца Гео Милева. С большим уважением говорил Радевский о переводческом труде Александра Балабанова, подарившего болгарскому читателю древнегреческих классиков — Эсхила, Еврипида, Софокла, Аристофана.

> «В мировой культуре не существует, пожалуй, достаточно известного произведения, которое не было бы переведено на болгарский язык — начиная с индийских эпосов «Махабхарата» и «Рамаяна», с Библии и арабских сказок «Тысяча и одна ночь» и кончая современными романами и стихами наших дней. Лучшая часть мирового литературного океана, который тысячелетия бурлит по воле человечества, вливается благодатной струей в нашу духовную жизнь...»

Далеко не всегда у болгарского переводчика был свободный выбор книг для художественного перевоплощения. Особенно в годы фашистской реакции душители народа стремились убить в болгарской культуре любую прогрессивную мысль. Но даже в то тяжелое время благодаря буквально героическим усилиям переводчиков болгарский читатель имел возможность знакомиться с некоторыми произведениями как мировой, так и советской литературы.

О расцвете переводческого дела в стране после победы народной власти рассказал известный болгарский критик и литературовед Тончо Жечев.

В 1948 г. были национализированы издательства, и переводчик избавился от необходимости подчинять свое творчество коммерческим интересам частных фирм. Он получил наконец беспрепятственный доступ к произведениям советской литературы и возможность широко знакомить с нею свой народ. По данным Комитета по печати при Совете Министров Болгарии, за последние 30 лет произведения русской и советской классики издавались в болгарском переводе более 3660 раз. Общий тираж этих изданий составил 80 млн. экземпляров. Только в 1974 г. в Болгарии издано 256 названий русской и советской литературы, что составило 66 процентов всех переводных изданий. Или такой характерный пример. В Болгарии необычайно популярна издательская серия «Советские поэты». В ней уже представлено творчество свыше ста советских мастеров художественного слова. Более 170 000 стихотворений советских авторов перевели болгарские поэты, для которых творческая интерпретация советской поэзии — глубоко осознанная потребность и необходимость. Тончо Жечев подчеркнул:

> «Перевод должен был идти в ногу с процессом создания и упрочения социалистического содружества народов... По числу переводимых авторов, по числу вышедших у нас книг и по их тиражам польская, чешская, словацкая, румынская, венгерская, кубинская литературы, литература ГДР, народов Югославии идут следом за русской, французской и английской литературой».

Чтобы полнее удовлетворять растущие культурные потребности населения, партия и правительство Болгарии всемерно развивают книгоиздательское дело. Знаменательно, что Болгария по изданию книг на душу населения вышла на одно из первых мест в мире.

Мощным стимулом успешного развития переводческого дела во всем мире и, в частности, в Болгарии является проводимая в СССР политика мирного сосуществования государств с различными социальными системами. В наше время в мире осуществляется перевод на 1200 языков, тогда как в прошлом веке речь могла идти не более чем о 30.

Любознательный болгарский читатель благодаря труду переводчиков может с живейшим интересом следить за литературной жизнью практически всех стран мира. За истекшее тридцатилетие в Болгарии опубликованы в виде отдельных книг, а также в сборниках и журналах произведения писателей около 80 стран. За этот же период средний тираж изданий зарубежных авторов возрос с 4—6 до 30 тысяч экземпляров.

Свое выступление Тончо Жечев закончил словами:

«Когда-то на съезде советских писателей говорилось, что переводимость адекватна возможности общения между народами. Сегодня эта возможность поистине необъятна, она все больше расширяется, а вместе с тем расширяется и поле деятельности для благороднейшего, исполненного большого смысла человеческого труда — труда переводчика»

Члены советской делегации Павел Топер и Иван Драч рассказали участникам симпозиума о советской школе художественного перевода. Кстати, в дни работы симпозиума двухтомная «Антология болгарской поэзии» на украинском языке была отмечена золотой медалью международной выставки книги которая проходила в Софии.

О переводах книг болгарских авторов в странах социалистического содружества рассказали Г. Хербот (ГДР), Х. и Э. Мадани (Польша), Д. Шомьо (Венгрия), К. Велики (Румыния), С. Эрдэнэ (Монголия). Гость из ФРГ Э. Топховен говорил о возможностях использования в работе переводчика новейших достижений науки и техники. Профессор В. Пинто (Англия) упомянул в своем выступлении о тех искусственных преградах, которые возводятся на пути книг прогрессивных писателей в буржуазных странах. На Западе книги писателей социалистических стран либо не издаются вовсе, либо выходят ничтожно малыми тиражами. Эту мысль как бы проиллюстрировал соотечественник профессора В. Пинто переводчик М. Холман. Он перевел на английский язык весьма сложные в языковом отношении «Дикие рассказы» Николая Хайтова. Переводчик преодолел сопротивление оригинала, изобилующего словами и выражениями родопского диалекта, но равнодушие буржуазных издателей ему пока что преодолеть не удалось.

После выступления английского коллеги автор этих заметок не без гордости сообщил участникам симпозиума, что в Советском Союзе крупными тиражами изданы все лучшие произведения писателей братской Болгарии. Общие тиражи произведений Г. Караславова, Д. Димова, Э Станева. П. Вежинова, Б. Райнова, А. Гуляшки исчисляются миллионами экземпляров. Проникнутые духом высокого гуманизма, отмеченные подлинным мастерством, книги болгарских художников слова находят у советских читателей самый теплый прием.

За последние годы заметно улучшилось качество переводов с болгарского. Над переводами болгарской поэзии трудятся видные советские поэты. Особое значение приобретает «художественная верность» русских переводов с болгарского. Ведь в ряде стран, где еще нет знатоков болгарского языка, способных переводить художественную литературу, в частности в некоторых странах Востока, болгарские авторы переводятся с русского языка.

Доклады и выступления на Международном симпозиуме переводчиков в Софии были проникнуты духом Хельсинки. Участники симпозиума единодушно отмечали, что в наше время переводчики должны трудиться для дела мира и дружбы народов, всемерно способствовать проведению в жизнь документов, торжественно принятых в столице Финляндии. Решения Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе открыли новые горизонты в деле культурного сотрудничества народов всей нашей планеты.

АЛЕКСЕЙ СОБКОВИЧ

◆

Отклики, встречи, впечатления

Н. ФЕДОРЕНКО

ФЛОРЕНТИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС

В старинной Флоренции, очаге итальянской культуры Ренессанса, в конце 1975 года состоялся международный конгресс за сохранение культурных ценностей и в защиту произведений искусства. Созванный по инициативе Флорентийской Академии искусств, конгресс был приурочен к двум знаменательным датам: пятисотлетию со дня рождения первого академика Флорентийской Академии искусств — величайшего художника эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти и четырехсотлетию со дня смерти Джорджо Вазари — первого президента этой Академии.

Явивший миру необычайную силу духа, одержимый неистовой, титанической творческой страстью, Микеланджело высоко вознесся над временем, оставив творения живописи, ваяния, архитектуры, ознаменовавшие один из высочайших взлетов человеческого гения. Глубина поэтической мысли, внутренний трагизм, вера в высокое предназначение человека и сознание одиночества художника в обществе своекорыстия и зла — таковы отличительные черты сурового, мужественного искусства великого гуманиста. Недаром сказал он о себе. «Не родился еще человек, который подобно мне, был бы столь склонен любить людей».

Вместе с целой плеядой единомышленников и последователей Микеланджело возвысил голос в защиту идеалов гуманизма. Человек для него — центр окружающего мира. Человеческая личность — и вечность вселенной... Вечность времени... Человек — и таинство движения времени... В человеке, в развитии его духа он видел высшее и наиболее совершенное воплощение природы. Творения и взгляды Микеланджело явились выражением гуманистического мировосприятия восторжествовавшего в эпоху Возрождения, открыв новую эру в истории культуры.

(Примечательно, что время работы конгресса совпало с двумя открытиями — были найдены ранее не известные работы Микеланджело. В ходе реконструкции помещений, прилегающих к знаменитой капелле Медичи, украшенной скульптурами Микеланджело, было обнаружено на стенах около двух десятков рисунков. По крайней мере часть из них, по мнению специалистов, принадлежит самому мастеру, другие — его ученикам. Рисунки были в очень плохом состоянии, но теперь они реставрируются, что позволит подвергнуть их более тщательному изучению. Одновременно началось планомерное обследование всех других помещений рядом с капеллой Медичи. Еще одна находка ждала реставраторов в находящейся под полом капеллы комнате. Когда с ее стен стали осторожно снимать слои штукатурки, обнаружились великолепные рисунки.)

Джорджо Вазари — родившийся в семье горшечника живописец (автор фресок в залах Ватикана и Палаццо Веккьо), архитектор (проект знаменитого здания Уффици) и историк искусства — славой своей более всего обязан капитальному труду: жизнеописанию знаменитых живописцев, скульпторов и архитекторов, и поныне остающемуся одним из главных источников истории итальянского искусства.

Bella Флоренция, прекрасная Флоренция,— жемчужина Тосканы (помните, у Блока: «Флоренция, ты ирис нежный»), город драматической и яркой судьбы. Город свободного духа, раскрытия человеческих дарований, обитель художественного творчества. Город великих традиций, которые не

просто уважались гражданами страны, но служили предметом их гордости и восхищения. Город, в котором многое можно было узнать о человеческом благородстве и, увы, не меньше — о человеческих невзгодах.

Расположенная в долине между холмов (у Блока: «И город скрыли горы в свой сумрак голубой...»), Флоренция, как мы видим ее сегодня, образует плотный массив каменных строений, покрытых красной черепицей, в обрамлении венка из зонтообразных сосен и оливковых деревьев. Не утрачивая своего ренессансного своеобразия, город уживается с приметами современной цивилизации, которую принес с собою вечно меняющийся мир. (Не избежать здесь третьей цитаты из Александра Блока, и эти приметы увековечившего в своем итальянском цикле: «Хрипят твои автомобили...», «Всеевропейской желтой пыли ты предала себя сама!») О Флоренции можно сказать, что она подобна временам года, которые меняются, но не уходят.

Неумирающее искусство Возрождения, особенно живопись, по-новому воспринимаешь, когда своими глазами видишь краски, свет и тени Тосканы, запечатленные на полотнах художников эпохи Возрождения,— живые краски окружающего мира.

1

...Протяжные звуки традиционных труб возвестили о торжественном открытии конгресса в прославленном Палаццо Веккьо, своды которого покрыты патиною времени. Внутри громадного зала пламенели хрустальные люстры своеобычных очертаний, старинные гобелены с традиционными и мифологическими сюжетами застилали гигантские стены — от края до края.

Флорентийский международный конгресс за сохранение культурных ценностей и в защиту произведений искусства проходил в новом политическом климате, в атмосфере разрядки напряженности, создавшейся после общеевропейского совещания в Хельсинки. Успех этого совещания — сколь бы яростными ни оказывались попытки перечеркнуть его — справедливо оценивается как историческое международное событие, как великая победа разума. При сохранении различий в идеологическом подходе, в общественном строе государств — его участников — итоги, достигнутые на основе доброй воли и равноправия, отвечают интересам всех стран.

Проблемы охраны культурных памятников и художественного наследия отнюдь не утрачивают своей актуальности в процессе развития духовной жизни на земле. Человек постоянно обращается к минувшему, извлекая уроки и пользу для настоящего и будущего из того, что создано неисчислимыми поколениями его предшественников. Не старят ушедшие века и чуда творений искусства, продолжающих доставлять нам неизбывное эстетическое удовлетворение и радость.

Общеизвестно убеждение Маркса и Ленина в том, что все духовные богатства, созданные человечеством, являются достоянием народа и без овладения ими невозможно развитие подлинно социалистической идеологии и культуры. Подход основоположников научного коммунизма к духовному наследию сохраняет свое значение и сегодня. Взгляды эти оставались непреложными для нас, никогда не отступали и не отказывались мы от них в зависимости от каких-либо конъюнктурных обстоятельств или от веяний политической погоды, как это наблюдается, в частности, в нынешнем Китае. Более того, сейчас этот подход приобретает особую актуальность в борьбе с разного рода проявлениями нигилистического отношения к культурному наследию прошлого со стороны анархистских и ревизионистских течений, стремящихся подменить истинное диалектическое противостояние тезисами «радикального» ниспровержения «старого», «феодального» искусства и эстетики.

Существует мудрая традиция: думая о будущем, обращаться мыслью к истокам, к которым восходит человеческая культура и которые продолжают сохранять свое непреходящее значение не только для минувшего. Культурное наследие любого народа не есть нечто застывшее, не принадлежит лишь прошлому. Оно живет и в дне нынешнем.

И потому нам представляется, что голос из Флоренции — колыбели духовных ценностей, голос конгресса, исполненного озабоченности за судьбы художественной сокровищницы человечества, прозвучал более чем своевременно. Речь, разумеется, идет о тех ценностях культуры и искусства, которые действительно заслуживают сохранения.

2

Кому не известно, сколь огромны художественные ценности, доставшиеся итальянскому народу в дар от его истории? В разделе «Опустошение художественного достояния» «Бюллетеня совета министров Италии» (№ 4 за 1974 г.) приведены тревожные данные, указывающие, как далеко зашел длительный процесс, чреватый гибелью едва ли не значительной их доли. Кульминационной точкой этого процесса был захват ценностей противником во время различных войн, происходивших на территории Италии. Чудовищные факты грабежа имели место в годы второй мировой войны, когда особая фашистская служба, выполняя личные приказы Гитлера, Геринга и Гиммлера, вывезла в Германию тысячи произведений искусства, ценность которых не поддается определению[1]. Благодаря огромным усилиям лишь незначительная часть этих произведений была возвращена в Италию. Сотни полотен, похищенных из итальянских музеев, до сих пор незаконно удерживаются в Западной Германии. Среди них называются две знаменитые картины Атонио дель Поллайоло, вместе с большим количеством других полотен, похищенных из галереи Уффици во Флоренции.

[1] См. публикацию в «Иностранной литературе» № 6 за 1975 г.: Родольфо Сивьеро. «В защиту искусства».

В разделе «Международная подпольная торговля» упомянутого бюллетеня к потерям периода войн добавляются весьма многочисленные случаи расхищения художественных ценностей Италии в результате интенсивной подпольной торговли на международном рынке. Ежегодно исчезают тысячи произведений искусства. Преступная эта деятельность, однако, не встречает мер пресечения, поскольку не все государства подписали соглашение ЮНЕСКО, предусматривающее возврат произведений искусства, которые вывозятся нелегально, как контрабанда.

Статистика последних двадцати лет располагает воистину тревожными данными роста преступной деятельности в области хищения произведений искусства в Италии. В период 1957—1965 гг. в среднем ежегодно похищалось 550 произведений искусства. В 1967 г. было похищено 1127 произведений, в 1970 г.—2500, в 1972 г.—5843 и, наконец, в 1973 г.— 8520 произведений. Среди краж, совершенных в 1973 г. и вызвавших широкую общественную озабоченность, упоминается хищение из Морского исторического музея в Венеции ряда полотен Тинторетто; хищение картины Карпаччо из церкви Тисой; исчезновение двух полотен Веронезе, украденных из церкви Сан-Себастьян в Венеции; кража знаменитого триптиха Мантеньи из церкви Сан-Дзено в Вероне. К числу пропавших шедевров следует отнести еще и два полотна Тьеполо, украденных из церкви Ровето, а также шесть византийских картин XIV века, похищенных из храма Каорле недалеко от Венеции. Кое-что, правда, удается обнаружить, но многие произведения навсегда становятся добычей международных банд спекулянтов, которые не только не привлекаются к ответственности, но часто покрываются теми, кто с готовностью скупает краденое и в свою очередь превращает его в источник наживы.

Хорошо известно также, что многочисленные произведения искусства азиатских стран — керамика, бронза, фарфор, лак, скульптура, живопись — разными путями и методами вывозились на Запад. Поистине чудовищными представлялись мне в Европе и Америке коллекции частных лиц, которые укрывают, словно в подземном захоронении, в стальных сейфах и контейнерах с электронным устройством редчайшие образцы китайской бронзы чжоуского периода, сунского фарфора, старинной живописи и каллиграфии, причем не столько как бесценные творения искусства, сколько в качестве самого надежного капиталовложения, нередко исчисляемого многомиллионными суммами долларов и фунтов стерлингов. При этом подчас в категорию неслыханных размеров рыночной стоимости переводятся бесценные в эстетическом отношении произведения древней художественной культуры Востока!

Не секрет, что процесс «приобретения» художественных сокровищ, созданных на Востоке, и «рассеивания» их на Западе весьма интенсивно продолжается уже на протяжении многих десятилетий, если не сказать веков. При этом европейские и американские «коллекционеры» никогда не стеснялись в выборе средств и не останавливались ни перед чем, шли на применение железа и огня, любого насилия и обмана, чтобы завладеть уникальными произведениями восточных мастеров. На Западе действуют целые легионы контрабандистов, профессиональные гильдии антикваров и гангстерские кланы, которые торговлю произведениями восточного искусства сделали предметом наживы и обогащения. Сверх того, возник чудовищный мир «авторитетов» и «экспертов», занимающихся фальсификацией и подделкой предметов восточного искусства.

Все это — элементарные факты, из которых, впрочем, никто на Западе никогда не делал особой тайны. Напротив, в буржуазной прессе чуть ли не каждодневно публикуются сенсации и уголовная хроника об ограблении музеев и частных коллекций, а также о спекулятивных операциях фальшивыми предметами восточного антиквариата.

Самоочевидно, однако, что пока китайская бронза или стела средней величины будет стоить на нью-йоркских аукционах сто или двести тысяч долларов, едва ли будет существовать надежда положить конец торгашеству и достойным образом оценить культурные эти сокровища. Тайные тропы контрабандистов, которые использовались в Китае, протянулись теперь от Африки и латиноамериканских джунглей до Мэдисон-авеню в Нью-Йорке. В США и Европе, пожалуй, нет такого миллионера, который не мог бы похвастать собственной коллекцией произведений древнего искусства Азии и Африки.

В течение последних лет в западном мире стоимость произведений африканского искусства значительно выросла. Астрономические цены, легкая возможность быстро нажиться привели к тому, что спекуляции масками, ритуальными статуями и другими предметами приобретают невиданный размах. Кроме продажи уже ранее вывезенных из Африки тысяч произведений самобытного искусства продолжаются скупка и контрабандный вывоз сохранившихся в Африке художественных ценностей. Нередко исчезают уникальные экспонаты из местных музеев. Грабят могилы, алтари, жертвенники. В кенийской прессе, например, неоднократно сообщалось, что с могил и из домов старинного города Ламу были варварски выломаны и увезены каменные резные барельефы. Председатель комиссии по охране древних памятников культуры Нигерии профессор Биобаку заявил в сентябре 1974 г., что в стране действует хорошо организованная сеть спекулянтов, скупающих и вывозящих произведения искусства из Нигерии. По подсчетам нигерийского ученого, стоимость украденных художественных и ритуальных предметов составляет более 30 млн. долларов.

Н ФЕДОРЕНКО

ФЛОРЕНТИЙСКИЙ МЕЖУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС

Тысячи произведений африканского искусства появляются регулярно на аукционах Парижа, Лондона, Брюсселя, Нью-Йорка, обогащая горстку спекулянтов, скупщиков краденых сокровищ. В Африке нарастает волна возмущения этим открытым грабежом культурных ценностей континента, приведшим к тому, что лучшие образцы творчества африканских народов можно увидеть, как правило, не на родине, а в западноевропейских и американских коллекциях.

3

В докладе на конгрессе, изложив нашу позицию по обсуждавшейся проблеме, мы кратко представили собравшимся основные комплексы памятников старины, расположенные на территории Советского Союза — в европейской и азиатской его частях.

Помимо неповторимых ансамблей Московского Кремля, архитектурных сооружений, живописи в музеях Ленинграда, Киева и других центров, кратко охарактеризована была историческая и культурная сокровищница Ростово-Суздальского комплекса, называвшегося в древности Залесской Русью. Ранний, так называемый домонгольский период Руси (X—XI вв.) был отмечен исключительным духовным подъемом, отразившимся в создании неповторимо прекрасных памятников архитектуры и живописи. Нас восхищают до сих пор сохранившиеся от той эпохи стройные и изящные храмы, украшенные рельефами и фигурными изображениями.

Названы были Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском, Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском, церковь Бориса и Глеба в Кидекше под Суздалем — творения архитектуры, пользующиеся мировой известностью.

В качестве одного из характерных примеров нашей истории была рассмотрена судьба Бухары — крупного центра духовной культуры на Востоке. Не миновали этот город вторжения арабов, полчищ Чингисхана, племен кочевников-завоевателей. Но каждый раз «Бухоро-и-Шериф» («Благородная Бухара») вновь восстанавливалась, возрождались ее экономика, наука и искусство, сооружались новые здания. К XVI—XVII вв., когда Бухара стала столицей самостоятельного Бухарского ханства, относится большинство архитектурных памятников города. Это ансамбль Кош (XVI в.) — медресе на юго-западе Регистана, мечеть Балянд (начало XVI в.), поражающая прекрасным своим убранством, росписью стен и потолков, резьбой по дереву и ганчу, пышной и яркой мозаикой майоликовых плит, тонкой росписью золотом.

Одним из величайших достижений мирового зодчества является ансамбль Шахи-Зинда в Самарканде, насчитывающем от рождения более 25 веков. Здесь — свыше двух десятков старейших мавзолеев, мечетей, поминальных и служебных помещений (XII—XV вв.), представляющих величественный мемориальный комплекс. Шахи-Зинда воспринимается и теперь как удивительный единый архитектурный комплекс.

В Самарканде сохранились также грандиозные руины Биби-ханым — соборной мечети, построенной Тимуром в 1399—1404 гг. Здесь уцелел изумительный зодческий комплекс Регистана, служивший в течение веков центром мусульманских духовных училищ и религиозного паломничества.

Не поддающееся учету количество произведений искусства находится (помимо таких крупнейших музеев, как Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств и т. д.) в храмах и церквах, в музеях и галереях разных городов. В стране ведутся также археологические раскопки, которые часто позволяют обнаружить ценнейшие предметы древнего мастерства.

Культурные сокровищницы в нашей стране также не избежали процесса опустошения, особенно во время войн, проходивших на территории СССР. Невосполнимый ущерб культурным ценностям и произведениям искусства был нанесен во время второй мировой войны: гитлеровские полчища не только их разрушали, но и подвергали разграблению.

Помимо прочего, в этом тоже — одна из причин, почему мы разделяем озабоченность участников конгресса судьбою художественных и архитектурных ценностей.

Особое место в докладе на конгрессе мы отвели охране и консервации памятников искусства прошлого как делу большой государственной значимости в Советском Союзе. Речь шла о том, что на эти цели нашим правительством ассигнуются огромные материальные средства и ведется постоянная работа в крупнейших культурных центрах и на периферии, где сосредоточены художественные ценности. В соответствии с существующим законодательством все находящиеся на территории Советского Союза памятники архитектуры, археологии, истории искусства объявлены неприкосновенным всенародным достоянием и состоят под охраной государства. Охрана памятников культуры, а также надзор за их содержанием возложены непосредственно на местные органы государственной власти. Руководство и контроль за постановкой учета, охраны, реставрации и использования памятников истории культуры в стране осуществляет Министерство культуры СССР. Установлена юридическая ответственность за разрушение или повреждение состоящих под государственной охраной памятников культуры. Охрана и изучение памятников культуры находятся в ведении Научно-методического совета по охране памятников культуры Министерства культуры СССР, аналогичные научно-методические советы имеются в союзных республиках. Помимо этого, вопросами изучения и сохранения культурного наследия народов СССР занимаются специализированные союзные и республиканские научные и научно-исследовательские учреждения: в СССР существует около 70 специальных научно-реставрационных организаций и мастерских, производящих работы по консервации и реставрации архитектурных

и других видов памятников. Порядок учета, содержания и реставрации культурных ценностей регламентирован соответствующими инструкциями. Во всех союзных республиках успешно работают добровольные общества охраны памятников, количество членов которых составляет ныне более 20 миллионов человек. Эти общества оказывают большую помощь государственным органам охраны памятников.

Мы рассказали о значительном внимании, уделяемом в СССР популяризации культурного наследия, воспитанию у широких слоев населения чувства глубокого уважения и любви к памятникам культуры. О том, что в стране имеется около 500 городов и других населенных мест, сохранивших ценные градостроительные ансамбли и комплексы, природные ландшафты и древний культурный слой, которые учитываются при разработке генеральных планов, проектов планировки и застройки этих городов и населенных мест. О том, что в крупнейших древних городах и населенных пунктах, в которых сосредоточены выдающиеся памятники истории и культуры, создаются центры международного и внутреннего туризма, сеть государственных историко-архитектурных, археологических и этнографических музеев-заповедников. Подобных музеев-заповедников насчитывается в настоящее время около ста.

В частности, был охарактеризован завершающийся в будущем году комплекс работ по созданию крупного международного центра туризма в Суздале Владимирской области с ежегодной посещаемостью до 4 млн. человек; назван историко-архитектурный ансамбль Ростовского Кремля (в Ярославской области) — на его территории располагается международная молодежная туристская база «Спутник»; упомянуто о большой популярности у зарубежных туристов архитектурных комплексов и памятников Новгорода, Ленинграда, Киева, Тбилиси, Еревана, Самарканда, Вильнюса, Риги, Таллина и других древних городов.

Указали мы в заключение и на источники финансирования охраны и реставрации памятников в нашей стране: государственный бюджет, фонды арендаторов памятников, а также добровольные взносы республиканских обществ охраны памятников истории и культуры. Сколь огромны эти средства, достаточно убедительно показал пример Ленинграда: на восстановление и реставрацию одних только памятников этого города и его пригородов, разрушенных гитлеровцами в годы второй мировой войны, израсходовано в послевоенный период около 300 миллионов рублей.

4

Внимание участников конгресса привлек ряд положений, содержавшихся в выступлении известного итальянского ученого профессора Аргана. Он отметил, в частности, что конвенция ЮНЕСКО, принятая Генеральной конференцией ЮНЕСКО на 16 сессии от 14 ноября 1970 года, и резолюция ЮНЕСКО от 17 декабря 1973 года об охране художественных ценностей, бесспорно, явились важным шагом вперед, однако практическое их значение может свестись к минимуму, если не будет согласованности действий между законодательствами различных стран и не будут приниматься строгие меры наказания в отношении нарушителей. «Причиной опустошений и ущерба, наносимых памятникам старины,-- отметил далее Арган,— является спекуляция недвижимым имуществом. В основе утечки движимых культурных ценностей лежит рынок. С одной стороны, осознание культурного достояния как некой идеальной ценности для всех людей, а с другой — представление о нем как о предмете купли и продажи. С точки зрения культуры художественные ценности имеют всеобщий интерес, а с точки зрения рынка — они являют собой объект для всякого рода злоупотреблений и спекуляций. К несчастью, в этом конфликте сила на стороне спекуляции и рынка, а не на стороне культуры. Страны выражают готовность поддержать призыв оберегать и сохранять национальное наследие, однако их юридическая система построена на принципе защиты интересов собственности, что нередко приводит ее в противоречие с принципами защиты художественных ценностей».

Не менее справедливо указывалось на конгрессе, что музеи--не банки, в которых хранится художественное достояние. Музеи — это научные организмы, которыми не должно руководить слепое стремление к скоплению ценностей. Никто не станет осуждать перемещение и показ какой-либо картины в музеях другой страны, если эта картина служит органическим дополнением в ряду родственных произведений. Это лишь поднимет ее значение для человеческой культуры. Но если, предположим, картины Пьеро делла Франчески, похищенные из Национальной галереи Урбино, найдут себе укрытие в каком-либо иностранном музее, то вряд ли кто-либо будет утверждать, что в новом контексте они приобретут еще большую ценность с точки зрения культуры. Между тем антикварный рынок считается юридически законным, однако он не имеет законных оснований, если подходить с научных позиций, поскольку способствует отторжению и утечке произведений искусства, их исчезновению, что противоречит интересам культуры. Таким образом, далеко не всегда юридическая и научная точки зрения на законность в буржуазном обществе совпадают, ибо законы эти прежде всего защищают интересы частной собственности, а не культуры. Именно поэтому соответствующие резолюции ЮНЕСКО рекомендуют проведение реформ в юридическом аппарате некоторых буржуазных стран. Это особенно важно в связи с расхищением художественных ценностей в странах с колониальным режимом, расхищением,

---

Н. ФЕДОРЕНКО
ФЛОРЕНТИЙСКИЙ МЕЖУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС

которое поддерживается законодательством обоих государств — зависимого и колонизаторского.

Известно, что Советский Союз активно поддерживает все акции, предпринимаемые по линии ЮНЕСКО И ООН в защиту памятников культуры и произведений искусства, участвует в международных начинаниях в этой области, включая финансирование. Важную роль здесь играет Конвенция о средствах запрета и предупреждения нелегального ввоза, вывоза и перевозки предметов культурного достояния, принятая Генеральной конференцией ЮНЕСКО от 14 ноября 1970 г. Однако большинство решений ЮНЕСКО по этому кругу проблем не носит характера обязательных для всех стран юридических рекомендаций, основывается на принципе соблюдения национального суверенитета, исходит из того, что защита памятников культуры и искусства является прерогативой правительств тех стран, на территории которых эти памятники находятся.

В ряду важных решений ООН по проблемам сохранения культурного наследия необходимо упомянуть резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от 11 февраля 1974 г. «О реституции произведений искусства странам, ставшим жертвами хищения». В преамбуле этой резолюции подчеркивается значение культурного наследия каждого народа. Развитие каждой национальной культуры может содействовать способности народа к восприятию культуры и цивилизации других народов, что в свою очередь способно оказать благоприятное влияние на международное сотрудничество. При этом в документе выражается сожаление по поводу того, что происходит «перемещение» произведений искусства из одной страны в другую, зачастую в результате колониальных войн и чужеземной оккупации. В резолюции утверждается, что быстрый возврат каждой стране ее произведений искусства, памятников, музейных ценностей, рукописей и документов другой страной может укрепить международное сотрудничество, поскольку является справедливым возмещением нанесенного ущерба. Особая ответственность в этой связи возлагается на те страны, которые приобрели эти произведения искусства в результате колониальных войн и иностранной оккупации. Резолюция призывает запретить экспроприацию произведений искусства на территориях, еще находящихся под колониальным или иностранным господством.

Указанная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, как это видно из приведенного текста, подкрепляет положения Гаагской конвенции от 1954 года о международной защите памятников искусства и Протокол о защите ценностей культуры в случае вооруженного конфликта, ратифицированный правительством СССР 12 декабря 1956 года и приобретший юридическую силу 4 апреля 1957 года.

Флорентийский международный конгресс, опираясь на упомянутые резолюции ООН, ЮНЕСКО, международные конвенции и в духе Заключительного акта, подписанного в Хельсинки, вновь подтвердил актуальность задачи сохранения культурных ценностей и произведений искусства. В целях дальнейшего развития сотрудничества в этой области конгресс принял резолюцию, в которой говорится о целесообразности создания международной службы по практическому осуществлению мер безопасности в отношении культурных ценностей, произведений искусства и их перемещения в соответствии с Гаагской конвенцией от 14 мая 1954 г., резолюцией ЮНЕСКО от 17 декабря 1973 года и Заключительным актом, подписанным в Хельсинки 1 августа 1975 г. И хотя данное решение конгресса, который не был правительственным форумом и в котором участвовали ученые, эксперты в личном качестве представителей общественных и религиозных кругов, носит лишь рекомендательный характер, следует отметить, что практическое осуществление его предложений, несомненно, было бы в интересах международного сотрудничества в области культуры, на путях материализации принципов и договоренностей общеевропейского совещания.

5

Сохранение и овладение накопленным человечеством культурным достоянием, сокровищами художественной мысли представляет собой неотъемлемое условие духовного и нравственного формирования человека нашего времени. Существенно при этом замечание В. И. Ленина, что «хранить наследство — вовсе не значит еще ограничиваться наследством» [1].

Что уносят люди из прошлого, отряхивая с ног своих его прах и устремляясь в неизведанное будущее? Перед нами неизбежно возникает вопрос о том, входят ли эти ценности в современность, которая пролегает между хранилищем прошлого и тем будущим, которое закладывалось в минувшем и создается человеком в настоящем.

Можно сказать, что благодаря памятникам прошлого, высоким образцам литературы и искусства минувшие эпохи постоянно ведут диалог с последующими поколениями. Мысль их создателей обращена к нам. Они напоминают нам о глубине, о корнях человеческой родословной и преемственности духовной эстафеты веков. В этом нельзя не замечать связь времен, неотвратимость исторического процесса, как и неиссякаемость художественного творчества.

Современный человек обращается к посредству культуры, стремясь раздвинуть границы своего духовного мира, вместить в своем сознании небывалый поток сведений, новейшей информации, заботясь о том, чтобы устоять перед нарастающим шквалом идей, граничащих с безумием, перед захватывающим дух ощущением нескончаемости мироздания. Неостановим поток времен. В наше нынешнее входит непременно часть от прошлого и какая-то часть от будущего. И разве взаимодействие и противоборство

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 2, стр. 542.

этих составляющих частей не является тем, что мы называем современностью? Время — это прежде всего человек, типы и образы людей. Человек в самой своей сущности и есть живое воплощение времени, истории. Многое, бездна самих посылок идет от прошлого. И потому невозможно осмыслить настоящее без знания минувшего, наследия прошлого. Нельзя увидеть и будущее. Здесь должна быть усвоена живая преемственность времен. Примечательны в этой связи слова русского художника Николая Рериха: «Странны такие противоположения. Кто обернут лишь к прошлому, а кто смотрит на будущее. Почему же не мыслится синтез, связывающий одну вечную нить знания? Ведь прошлое и будущее не только не исключают друг друга, но, наоборот, лишь взаимоукрепляют... Конечно, будущее в своей беспредельности окрыляет и вдохновляет. И вообще, разве можно не любить будущее? Разве прошлое не является чудесными вратами к тому будущему достижению?»

У каждой исторической эпохи свой взгляд на минувшее, на творцов духовных ценностей прошлого. По слову Гейне, позднейшие поколения откроют в Гёте, помимо способности пластически созерцать, чувствовать и мыслить, многое другое, о чем мы не имеем теперь никакого представления. При этом Гейне отмечал также, что каждая эпоха, приобретая новые идеи, приобретает и новые глаза и видит много нового в старинных созданиях человеческого духа.

6

Исторически сложившаяся богатейшая европейская цивилизация вобрала в себя наиболее значительные достижения всех народов, населяющих наш континент. Именно в Европе на протяжении веков создано неисчислимое количество материальных и духовных ценностей, значение которых непреходяще и во многом определяет уровень всей мировой культуры. Европа, если рассматривать ее только в аспекте развития культуры,— это гигантский, постоянно пополняющийся музей истории культуры, гигантское здание, от столетия к столетию возводившееся трудом великих зодчих и ученых, художников и скульпторов, умелых каменотесов и плотников, инженеров и рабочих.

История Европы, однако, знаменательна не только созданием великих культурных ценностей. Она изобилует вооруженными конфликтами, кровопролитными войнами. Войны всегда наносили непоправимый ущерб культуре и цивилизации мира, и Европы в особенности. Именно Европа в течение жизни одного поколения дважды стала эпицентром самых разрушительных и кровавых мировых войн, принесших огромные человеческие жертвы, неисчислимый материальный урон, колоссальные потери духовных ценностей.

Война — не стихийное бедствие; ее можно и нужно предотвратить. Задача эта тем более важна, что европейская безопасность и сотрудничество во многом гарантируют мир на земле вообще.

И здесь встает другой вопрос: каким может быть вклад деятелей культуры в дело мира и сотрудничества в Европе?

Мы живем сегодня в эпоху научно-технической революции, когда не только типографские машины, но и многочисленные средства массовых коммуникаций делают творения ума и таланта в короткий срок известными миллионам людей. Эта революция открывает необозримые перспективы в сфере развития человеческой культуры, но она же несет в себе потенциальные возможности разрушения.

«Человечество недостаточно понимает,— писал французский физик Луи де Бройль,— что его будущее зависит от него самого. Только оно само может решить, хочет ли оно продолжать жить...» Масштабы роста нашего могущества требуют от человека и большей ответственности. Сегодня моральные проблемы приобретают гораздо большее значение, чем в прошлом. Пользуясь выражением Бергсона, мы можем только повторить: «...если человечество хочет продолжать жить и идти вперед, его душа должна вырасти пропорционально его гигантски выросшему телу».

Да, техника и наука — обоюдоострое оружие. Ученый — не кибернетическая машина и хорошо знает, что расщепленный атом может не только облагодетельствовать человечество, но и создать опасность всемирной Хиросимы. Механическое единение не спасет людей от разобщенности. Любые мирные межгосударственные акции должны быть подготовлены и закреплены в сфере мысли и чувств людей. Слова эти произносятся нами с тем большей убежденностью, что впервые за послевоенные годы политическая обстановка во многом этому благоприятствует.

Верно, мы — я говорю, в частности, об участниках конгресса — люди, разные по своим философским и политическим симпатиям. Однако ни материалист, ни идеалист, ни коммунист, ни социал-демократ, ни верующий, ни атеист не имеют иммунитета от атомной радиации. Из этого следует императивный вывод: если и есть в мире то, что может объединить нас, таких разных, желающих и в дальнейшем спорить, доказывать, убеждать, отстаивать свои идеалы, то это борьба за чистое небо над Европой.

Война безжалостно уничтожает творения человеческого ума и таланта. Именно в этой борьбе за чистое небо над Европой видится нам высший смысл коллективной ответственности деятелей культуры перед человечеством.

Континент мира, мирное сосуществование различных государств, расходующих миллионы не на бесцельную, противную разуму гонку вооружений, а на развитие науки, техники, литературы и искусства,— вот что

Н. ФЕДОРЕНКО

ФЛОРЕНТИЙСКИЙ МЕЖУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС

имеем мы в виду, когда говорим об ответственности деятелей науки и искусства в меняющемся нашем мире.

Общеевропейское совещание в Хельсинки, смеем думать, является отправным пунктом для последующего всестороннего продвижения по пути прочного мира и исключения войны из жизни народов. Главное сейчас в том, чтобы политическая разрядка дополнилась военной. Одна из первоочередных задач в этом плане состоит в отыскании пути к сокращению вооруженных сил и вооружений в Центральной Европе без ущерба для безопасности кого бы то ни было и с пользой для всех. Важнейшие требования нашего времени — добиться сокращения, а затем и прекращения гонки вооружений, продвигаясь ко всеобщему и полному разоружению, уменьшить военное противостояние на европейской земле, найти пути к преодолению раскола Европы на противостоящие военные блоки. Именно материализация разрядки — вот в чем суть дела, суть всего, что должно сделать мир в Европе действительно прочным и незыблемым. Процесс разрядки должен быть непрерывным, здесь не может и не должно быть пауз.

Нам представляется, что подписанные в Хельсинки документы открыли широкие просторы для международного культурного обмена и сотрудничества творческих сил, для выполнения высокой гуманистической миссии в новых условиях ослабления международной напряженности. Отсюда — необходимость содействия различным проявлениям заинтересованности общественных кругов в соблюдении и претворении в жизнь договоренностей, достигнутых на общеевропейском совещании.

В своем выступлении в Хельсинки Леонид Ильич Брежнев отметил: «Советский Союз рассматривает результаты совещания не просто как подведение необходимого политического итога второй мировой войны. Это вместе с тем осмысливание будущего применительно к реальностям сегодняшнего дня и многовекового опыта европейских народов».

Из этого вытекает задача — доводить идеи до конкретных акций, которые могут быть реализованы. Наиболее важный путь к этому лежит в области профессиональных, научных и общих интересов, как сказал Л. И. Брежнев в Хельсинки, затрагивающих «проблемы житейского характера».

Дух Хельсинки явственно определял направление и содержание работы Флорентийского конгресса, ознаменовавшего собой один из первых позитивных шагов в развитии международного взаимопонимания и сотрудничества в области культуры. Встреча эта — свидетельство того, что по-настоящему судить об итогах европейского совещания следует, сообразуя его заявления и декларации с практическими делами, с тем, как будут претворяться в жизнь положения Заключительного акта, подписанного в Хельсинки,— документа, создающего широкую платформу согласованных идей, принципов и действий государств на многие годы во имя мира, безопасности и сотрудничества.

◆

РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ

Размышления ПАБЛО КАЗАЛЬСА, поведанные им АЛЬБЕРТУ КАНУ

Фрагменты книги

Перевод с английского М. КАН

От автора

Когда я впервые заговорил с Пабло Казальсом о том, что, возможно, буду писать о нем книгу, она представлялась мне совсем не такой, какой в конце концов получилась. Я задумал ее в то время как описание — на словах и с помощью фотографий — его повседневной жизни и работы, как попытку выявить в портрете сокровенные черты художника и человека — такого, каков он сегодня.

В дни предварительной работы над книгой я много разъезжал вместе с Казальсом по стране и за границей, бывал на его концертах и занятиях по высшему мастерству, на музыкальных фестивалях, в которых он принимал участие, на исполнениях его оратории «El Pessebre». Не раз я совершал наезды на Пуэрто-Рико и гостил у него дома. Я старался запечатлеть на фотоснимках различные стороны его многообразной и неустанной деятельности и, помимо того, вел подробные, иногда магнитофонные записи наших с ним разговоров, от непринужденных, задушевных бесед до заранее обдуманных диалогов, в ходе которых он, отвечая мне, излагал свои впечатления о былом, свои взгляды и суждения по широкому кругу вопросов. Дабы пополнить мои сведения о ранних годах его жизни, я знакомился с бумагами и памятными вещами, оставленными им во французском селении Молит-ле-Бэн и его бывшем доме в испанском городишке Сан-Сальвадоре.

Чем больше я узнавал о Казальсе, тем менее привлекал меня мой первоначальный замысел. Путь, пройденный этим человеком, вписан в панораму столь внушительных исторических событий, вехи его исполнены такого драматизма, так много говорят человеческому сердцу, что мне все очевидней становилось несовершенство книги, нацеленной на настоящее, если это настоящее до последней крупицы не вберет в себя прошлое. К тому же речи самого Казальса столь богаты оттенками красок и звучания, столько истинной поэзии в его личных воспоминаниях и раздумьях, что в повесть о его жизни не может не быть вплетен его собственный голос.

Я попытался было представить содержание книги в виде вопросов и ответов, взятых из наших с ним диалогов, но и тогда ничего хорошего не вышло, в этом ощущалась натяжка, мои вопросы выглядели чем-то навязанным извне — не только ненужным, но и отвлекающим внимание. Я все ясней понимал, что слова Казальса должны быть свободны от каких бы то ни было чужеродных вкраплений.

Мне захотелось вообще убрать из текста мои вопросы, а воспоминания и высказывания Казальса объединить в повествование, цельное по духу, устремленности и сути. Я поделился этой мыслью с Казальсом, и он отнесся к ней одобрительно. Так постепенно книга приобрела свой теперешний вид.

Впрочем, тут следует сделать оговорку. Из года в год Казальс упрямо отказывался написать автобиографию. Примечательны его слова в одном письме ко мне: «Я не считаю себя достойным увенчать собственную жизнь таким монументом, как автобиография. Я совершил то, что был должен, и только». Уместно поэтому отметить, что эту книгу не следует называть автобиографией Казальса Автобиография — это, как известно, портрет, написанный тем, кто на нем изображен, а эта книга — портрет Казальса, неизбежно написанный в какой-то мере мною. Да, слова в ней принадлежат Казальсу, но построение задумал я, и я же главным образом ответствен за направленность ее содержания. Естественно, если бы Казальс сам писал повесть своей жизни, он, может быть, предпочел бы иначе расставить в ней акценты.

Итак, будем считать, что перед нами портрет Пабло Казальса, составленный из его воспоминаний и суждений, которые я за последние несколько лет записал и собрал в книгу. Я лепил ее из того, что сказано им самим, однако, не выходя за эти рамки, старался представить его прежде всего человеком, чья жизнь есть свидетельство его веры в «нерасторжимую связь меж искусством и человеческими ценностями».

АЛЬБЕРТ Ю. КАН

СТАРОСТЬ И МОЛОДОСТЬ

В последний день рождения мне исполнилось девяносто три года. Это, конечно, не молодость. Это, правду сказать, больше похоже на старость, чем даже девяносто. Но ведь возраст — вещь относительная. Когда продолжаешь работать, впитывать красоту мира, который тебя окружает, то убеждаешься, что становиться старше — не всегда непременно значит стареть. Во всяком случае, в общепринятом смысле слова. Я многое теперь воспринимаю острее, чем прежде, а жизнь для меня становится все увлекательней.

Недавно мой друг Саша Шнейдер принес мне письмо от группы музыкантов из Советского Союза, уроженцев Кавказских гор. Вот что в нем было написано:

Дорогой и досточтимый маэстро!

Мне выпало удовольствие пригласить Вас от имени Грузинского кавказского оркестра принять участие в одном из наших концертов в качестве дирижера. Из всех музыкантов Вашего возраста Вы первый удостоитесь чести дирижировать нашим оркестром.

За всю историю оркестра не было еще случая, чтобы мы допустили к дирижерскому пульту человека моложе ста лет. Всем нашим оркестрантам уже перевалило за сто. Однако, наслышанные о Ваших дирижерских талантах, мы посчитали, что, невзирая на Ваши не вполне зрелые годы, для Вас следует сделать исключение.

Ждем от Вас в самом скором времени положительного ответа.

Обязуемся взять на себя дорожные расходы и обеспечить Вам на время пребывания у нас жилье со всеми удобствами.

С уважением,
руководитель оркестра Астан Шларба,
ста двадцати трех лет от роду.

Саша — человек с чувством юмора, он не прочь иногда пошутить. Это письмо — одна из его шуток, оно написано им самим. Но должен признаться, я вначале принял его за чистую монету. И знаете почему? Да потому, что не вижу ничего невероятного

в том, чтобы на свете мог существовать оркестр, состоящий из музыкантов старше ста лет. И, между прочим, я оказался прав! В этой части письмо как раз не шутка. На Кавказе действительно существует такой оркестр. Саша прочел о нем в лондонской «Санди таймс». Он мне показывал эту статью и фотографии к ней. Всем оркестрантам действительно за сто лет. Их человек тридцать — они регулярно проводят репетиции, а время от времени дают концерты. В большинстве своем это сельские жители, которые по сей день работают на земле. Старший, Астан Шларба,— табаковод, но занимается еще и коневодством. Одно удовольствие глядеть на этих людей, от них так и пышет жизненной силой. Я с радостью послушал бы при случае, как они играют, и, кстати, с радостью подирижировал бы ими, если бы представилась возможность. Хотя, конечно, еще не сказано, что мне разрешили бы это, учитывая, что я не вполне вышел годами.

Шутки подчас бывают поучительны, и из этой тоже можно извлечь урок. Несмотря на свой возраст, музыканты не утратили вкуса к жизни. Чем это объяснить? Дело, по-моему, не в том, что у них просто от природы крепкое здоровье или в местах, где они живут, просто какой-то особенный, неповторимый климат. Разгадка — в их отношении к жизни. Я думаю, своей способностью работать они в немалой степени обязаны тому, что ни на день не переставали работать. Работа — вот что не дает нам стариться. Я, например, и мысли не допускаю о том, чтобы уйти на покой. Ни теперь, ни вообще когда-нибудь. Покой? Это слово чуждо мне, это понятие для меня непостижимо. Я убежден, что для человека, который трудится в такой области, как моя, никаких уходов на покой быть не может — по крайней мере, пока жив его дух. Для меня жизнь — это моя работа. Я не могу вообразить себе одно без другого. В моем представлении «уход на покой» — не что иное, как начало смерти. Пока человек работает и ему неведома скука, он никогда не состарится. Нет от старости лучшего лекарства, чем работа и интерес к тому, что достойно интереса. Каждый день я рождаюсь заново. Каждый день я должен начинать сначала.

...Вот уже восемьдесят лет я встречаю новый день так же, как ушедший. Это не заученное повторение одного и того же, это неотъемлемое звено моего повседневного существования. Я иду к роялю и играю две из прелюдий и фуг Баха. Мне даже в голову не приходит, что можно иначе. Этот обряд — как бы благословение дому. Но не только. Есть в нем для меня и иной смысл. Это всякий раз открытие мира и радость сознания, что я — его частица. С новой полнотой ощущаешь, как удивительна жизнь, какое невероятное чудо быть человеком. Музыка никогда не звучит для меня одинаково, никогда. Каждый день она является мне чем-то свежим, и колдовским, и непостижимым. Таков Бах, самой природе подобный и такое же диво, как она!

Пожалуй, не бывает в моей жизни дня, когда я вновь и вновь не дивился бы чудесному в природе. Оно повсюду, оно обступает нас со всех сторон. Пусть это всего лишь тень на горном склоне, лоскут паутины в искрах росы, блик солнца в древесной листве. Но особенно дорого моему сердцу море. При малейшей возможности я старался жить поближе к морю — как живу уже двенадцать лет здесь, на Пуэрто-Рико. Издавна я завел себе обычай поутру, до того как сесть за работу, выйти пройтись по берегу моря. Правда, прогулки мои стали теперь короче — не то что в былые времена, но это нисколько не умаляет в моих глазах волшебного очарования моря. Как таинственно море, как прекрасно! Бесконечно переменчивое, вечно разное, вечно! Мгновение — и оно уже другое, всегда в движении, всегда непохожее, новое.

С морем связаны самые ранние мои воспоминания. Справедливо будет сказать, что я открыл для себя море еще в младенческие годы. Средиземное, неподалеку от Вендреля, города, в котором я родился,— на Каталонском побережье. Мне года не исполнилось, когда матушка стала ездить со мной в ближайшую приморскую деревеньку Сан-Сальвадор. Возила она меня, как потом рассказывала, дышать морским воздухом. В Сан-Сальвадоре была церквушка, куда мы обыкновенно заглядывали,— старенькая, построенная в романском стиле. В окна мягко сочился свет, и один только шелест моря слышен был в тишине. С этого, по-моему, и началось для меня осознание жизни — с ощущения, что светит солнце и слышится шум моря. Когда я подрос, я часами зачарованно простаивал у этих окон, глядел, как простирается море, уходя в бескрайние дали, как без устали, одна за другой, накатывают на берег волны, а в небе меняют свои очертания облака,— глядел и не мог наглядеться. Это зрелище пленяло меня неизменно.

Подле церкви в убогой хижине с земляным полом ютился один из местных жителей, исполнявший обязанности церковного сторожа. Это был старый морской волк, жилистый, низкорослый, он ходил припадая на одну ногу, говорил высоким голосом и обожал рассказывать мне о своих приключениях на море. Сомневаюсь, чтобы он умел читать или писать, а между тем я многому у него научился. Не было, кажется, такого, чего он не знал бы, особенно — что и как обстоит в природе. Звали этого человека Пау, а его жену — Сенда, и люди называли его сендин Пау — El Pau de la Senda. Мы сделались закадычными друзьями. Он уводил меня бродить по прибрежным местам, и не кто иной, как он, научил меня плавать. У одних наших знакомых был в Сан-Сальвадоре летний домик, они предоставили его в наше распоряжение. Дом был до крайности незатейлив, но как же мы его любили! Мы с матушкой часто ездили туда.

Не однажды я брался за перо, пытаясь написать о своей матери. Мне хотелось запечатлеть на бумаге, какая она была. Но что бы я ни писал, все получалось не то. Я глядел на слова, написанные мною, и говорил — нет, это не годится, я не умею о ней рассказать. Я повидал на своем веку немало людей, среди них были личности замечательные, исключительные — мужчины и женщины редкостных дарований и способностей. Знавал я художников и государственных мужей, эрудитов, ученых, королей. Но такой человек, как моя матушка, не встречался мне никогда. Ею освещены воспоминания детства и юности, на протяжении стольких лет ее образ не покидал меня. При всех и всяческих обстоятельствах, в трудные минуты, когда нужно было принимать серьезные решения, я спрашивал себя, как в подобном случае поступила бы она,— и действовал соответственно. Сорок лет прошло с тех пор, как ее не стало, но она продолжает указывать мне путь. Она и по сей день со мною.

Родилась матушка в городе Маягуэс на Пуэрто-Рико. Ее отец и мать были уроженцы Каталонии и принадлежали к именитым каталонским фамилиям. Молоденькой девушкой — ей тогда едва минуло восемнадцать — моя бабка привезла ее в Испанию, в гости к родственникам, которые жили в Вендреле. Отца она к тому времени уже лишилась. Это был убежденный демократ, человек крайних взглядов, ярый противник испанского владычества на Пуэрто-Рико, деспотического и жестокого. Либералов при этом режиме подвергали гонениям, травили, и достойный человек, не в силах более сносить испытаний, покончил с собой. Кончил жизнь самоубийством и брат моей матери, и по той же самой причине. Черные это были времена для народа Пуэрто-Рико.

Там-то, в Вендреле, матушка и встретилась с отцом. Ему тогда было двадцать с небольшим. Он был церковным органистом и давал уроки игры на рояле. Матушка стала его ученицей, они полюбили друг друга. Когда они поженились, моя мать раздала свои нарядные платья и стала носить простые, недорогие вещи. Этим она как бы говорила, что отныне она жена бедного человека...

...В те дни, когда матушка выходила замуж, врачебной помощи в Вендреле, можно сказать, не существовало. Когда подходили сроки рождаться ребенку, роль повитухи брала на себя жена городского угольщика. Нет сомнений, что угольщик знал толк в своем ремесле, но жена его мало смыслила в том, как принимают новорожденных. Младенцы умирали от инфекций, от всевозможных осложнений. У моей матери из одиннадцати детей семеро погибли при родах...

...Выше всех законов моя мать ставила человеческую совесть.

— Закон сам по себе не внушает мне почтения,— не раз говорила она. Один закон, возможно, стоит чего-то, другой — ровным счетом ничего, и человеку, по ее словам, следовало самому решать для себя, что хорошо, а что плохо. Она знала, что есть законы, которые кому-то приносят пользу, а кому-то вред, как в нынешней Испании, где закон в целом служит интересам немногих в ущерб интересам большинства. Понимание истин такого рода шло от чего-то, заложенного в ней самой. В своих поступках она всегда руководствовалась собственными убеждениями — не тем, что говорят другие, а тем, что считала правильным сама...

...Помню, в наших местах разразилась эпидемия холеры. Это было страшное бедствие. Человек у вас на глазах ходил, разговаривал как ни в чем не бывало, а через час его уже не было в живых. Люди кругом умирали тысячами, много жертв насчитывалось и в Вендреле. Болезнь унесла почти всех врачей. Мы тогда как раз жили в Сан-Сальвадоре. Мой брат Луис, которому было неполных восемнадцать, каждый день отправлялся в Вендрель. Он обходил дома, где за день кто-то умер от холеры, и под покровом ночи уносил трупы на кладбище.

— Должен ведь кто-то делать это,— говорил он.

Опасность заразиться была чрезвычайно велика. Конечно же, матушка знала, что он каждый день рискует жизнью, и, однако, ни словом, ни единым словечком не помешала ему исполнить то, что ему подсказывало чувство долга. Моей матери было несвойственно вилять и лавировать. Она была цельным человеком, прямым и честным всегда и во всем. Как в большом, так и в малом.

Когда я был маленьким, отец говорил мне:

— Пабло, вот ты вырастешь и увидишь, как по небу будут летать машины. Это случится обязательно — попомни мои слова.

Сегодня такое никого не поражает; быстрее звука — хотя, увы, не беззвучно — пролетают над моим домом самолеты, а дети нисколько не сомневаются, что скоро сами слетают на Луну. Но когда я родился, еще не изобрели автомобиль... Мой отец обладал живым воображением и пытливым умом. Музыка была его единственной любовью, но лишь одним из его увлечений. Он интересовался физикой. Его чрезвычайно занимали научные открытия. Он родился в Барселоне, прожил всю жизнь в Вендреле — путешествовать ему было не по средствам,— зато он ухитрялся выписывать из разных стран, в особенности из Франции, журналы и следил за последними достижениями в науке. У него самого были удивительно искусные руки, мне казалось, они умеют что угодно. Одну комнату у нас в доме он отвел себе под мастерскую, держал на запоре и нередко просиживал в ней часами. Он был поистине, что называется,

мастер на все руки. Чего он только не мастерил — из дерева, из разных других материалов! Однажды сделал для меня велосипед. Даже часы собрал, деревянные, они до сих пор стоят у меня в Сан-Сальвадоре, только я их не видел уже тридцать лет, с тех пор как стал жить на чужбине. Все, что выходило из его рук, было сработано кропотливо, тщательно, доведено до совершенства. Он и в остальном отличался терпеливостью — например, жестоко страдал от астмы, но никогда не жаловался. Отец был человек тихий, мягкий, я не помню случая, чтобы он повысил голос. В то же время это был человек твердых убеждений, пламенный либерал, который во время карлистских войн в Каталонии не раз ставил на карту свою жизнь во имя торжества Республики. Это было как раз незадолго до того, как они с матушкой поженились. Понятно, что он принадлежал к ревностным поборникам права Каталонии на самоуправление.

Вся жизнь моего отца была связана с музыкой. При надлежащем музыкальном образовании он мог бы стать превосходным композитором, выдающимся пианистом. А его удовлетворяло то, что есть,— быть церковным органистом в захолустном городишке, давать уроки пения и игры на рояле и сочинять те песни и музыку, какие он сочинял. Он организовал в Вендреле небольшой любительский хор — тому без малого сто лет, а хор существует и поныне. Он играл на местных праздниках и танцах и, когда это случалось, вкладывал в свою игру всю душу. Он служил красоте и чуждался суетных притязаний.

Отец признавал за мною с детства способности к музыке, но, сам музыкант до мозга костей, полагал, что если у него и сын родился музыкантом, то это лишь в порядке вещей. Он никогда не говорил: «Ах, у моего мальчика такое музыкальное дарование» — или еще что-нибудь в этом духе. Он не видел ничего особенного в том, что я с малых лет умею играть и сочинять музыку, ему казалось, что это только естественно. Совершенно иным было отношение матушки. Она тоже не любила разговаривать о моих талантах, но была убеждена, что мне дан редкий дар и его следует всячески пестовать. Отцу не верилось, чтобы я смог зарабатывать себе на жизнь музыкой,— он по собственному опыту знал, как это трудно. Он думал, что разумней будет обучить меня какому-то ремеслу, и, не дожидаясь, пока я подрасту, уже договорился, чтобы один из его знакомых — столяр — взял меня к себе в ученики. Я всегда считал, что физическая работа есть своего рода творчество, и с уважением — больше того, с завистливым восхищением — смотрел на людей, занятых ручным трудом. По-моему, творческое начало присуще им ничуть не меньше, чем какому-нибудь скрипачу или художнику. Оно просто иного свойства, вот и все. И если бы не бесповоротная убежденность моей матушки в том, что мне уготована судьба музыканта, я, вполне вероятно, стал бы столяром. Другое дело, что едва ли хорошим. В отличие от отца, я никогда не обладал умением смастерить вещь собственными руками, выполнить хотя бы самую несложную ручную работу. Вот только на днях: как ни старался, не мог открыть коробку прессованного творога! Прямо зло берет! Говорю жене, моей очаровательной Марте:

— Знаешь, руки у меня совершенно ни на что не годятся.

Она сказала, что это немножко не так, и показала в тот угол комнаты, где стояла моя виолончель. Что же, она права, разумеется,— досталось кое-что и мне взамен.

РОЖДЕСТВО

Повесть о Рождестве всегда исполнена была для меня особого смысла.

Одним из первых сочинений, над которыми мне привелось работать — а было мне тогда не то шесть, не то семь,— стала музыка, написанная моим отцом и мною для представления «Els Pastorets» — «Поклонение пастухов». Лицедейство происходило в Католическом собрании Вендреля, и мне досталась роль дьявола, каковой — конечно, со свойственным дьяволу коварством — строил всяческие козни, дабы воспрепятствовать пастухам и волхвам добраться до Вифлеема.

Более семидесяти лет спустя, когда, покинув Испанию после гражданской войны, я уже поселился в изгнании, я завел обычай завершать концерты и музыкальные фестивали исполнением старинной каталонской народной песни — в сущности, она не что иное, как рождественский гимн. Называется она «El Cant del Ocells» — «Песнь птиц». Со временем ее мотив стал как бы темой изгнания, в нем звучит тоска испанских беженцев по родине. Во французских Пиренеях есть деревенька Молит-ле-Бэн, что примыкает к прелестному курорту с гостиницей «Гран-Термаль»,— там у меня теперь свой дом, я в нем живу во время Прадских музыкальных фестивалей. Хозяин гостиницы установил у себя на башне карильон из пятнадцати колоколов. Я записал для этих колоколов «Песнь птиц», и каждый час они вызванивают ее щемящий мотив, и слышно, как в горах его подхватывает эхо. На самом большом из колоколов выбита надпись, гласящая, что этой песнью я хочу поведать о скорби изгнанников-каталонцев, об их тяге к родным местам. Дальше там сказано: «Да принесет им грядущий день иную песнь — песнь мира и надежды».

Десять лет назад, когда то, что принято называть «холодной войной», достигло крайнего напряжения и всю землю объял страх атомной войны, я, вооружась тем единственным оружием, каким владею — музыкой,— на свой собственный лад предпринял крестовый поход во имя мира. И тут я вновь обратился к ней же — повести о Рождестве. Я написал ораторию под названием «El Pessebre» — «Ясли» — на стихи о Рождестве, принадлежащие перу моего дорогого друга Жоана Алаведры, каталонского поэта, и с этой ораторией стал разъезжать по столицам разных стран. В этой музыке я искал средство заставить людей задуматься о тех страданиях, которые терпит человечество, о грозной опасности ядерной войны, о том, что счастье на земле достижимо — стоит лишь всем по-братски объединиться в мирном труде. Вот как случилось, что в наш ядерный век древняя повесть о Рождестве приобрела для меня столь насущное звучание...

КАЛИТКА В МИР

Когда мне минуло одиннадцать лет, я впервые услышал, как играют на виолончели. Это событие стало в моей жизни началом долгого и закадычного содружества! В Вендрель приехало с концертом трио — пианист, скрипач, виолончелист. Отец взял меня на концерт. Он состоялся в Католическом собрании; горожане, крестьяне, рыбаки, одетые, как водится в подобных случаях, в воскресное платье, рассаживались по тесному зальцу. Виолончелиста звали Жозеп Гарсиа, он преподавал в барселонском городском музыкальном училище — представительный мужчина с высоким лбом и лихо закрученными усами, его фигура и инструмент как-то очень дополняли друг друга. Увидев его виолончель — а я до сих пор не видел ни одной,— я не мог оторвать от нее глаз. В первую же минуту, как послышались ее звуки, я был совершенно потрясен. Мне стало нечем дышать. Было в ее звучании что-то такое нежное, такое прекрасное и человеческое — да-да, очень человеческое. Никогда еще я не слышал такой красоты. Словно свет вошел в меня. Когда сыграли первую вещь, я сказал отцу:

— Папа, я ничего не слыхал чудесней этого инструмента. Вот на чем я хочу играть.

Концерт кончился, а я все твердил отцу про виолончель, упрашивал его достать и мне такую. С того дня более восьмидесяти лет назад я связал себя с этим инструментом нерасторжимыми узами. Ему суждено было стать моим спутником и другом до конца жизни. Конечно, мне приносили немало радости и скрипка, и рояль да и другие инструменты, однако виолончель стала для меня чем-то неповторимым, сокровенным. Я начал играть на своей скрипке, держа ее как виолончель.

Матушка сразу поняла, что произошло. Она сказала отцу:

— Пабло так тянется к виолончели, что надо дать ему возможность заниматься по-настоящему. Здесь, в Вендреле, нет достаточно знающего учителя. Нужно устроить так, чтобы его определили в барселонское Музыкальное училище.

Отец не поверил своим ушам.

— Что ты, о чем ты говоришь? Каким это образом Пабло попадет в Барселону? У нас просто денег таких нет.

Матушка сказала:

— Придумаем что-нибудь. Я сама его отвезу. Пабло музыкант. Это у него в крови. Он для этого создан. Куда бы ни требовалось поступить — нужно, чтобы он поступил. У нас нет иного выбора.

Отца это нисколько не убедило — тем более что он уже надумал отдать меня в обучение к столяру, чтобы обеспечить мне верный кусок хлеба.

— У тебя что-то вроде мании величия,— говорил он матушке.

Споры по этому поводу вспыхивали у нас все чаще, становились все ожесточеннее. Меня это огорчало ужасно. Я чувствовал себя виноватым в том, что меж ними нет согласия, ломал себе голову, ища выхода, но так и не знал, что делать. Кончилось тем, что отец скрепя сердце уступил. Он написал в барселонское Музыкальное училище письмо с просьбой принять меня. Еще он писал, что мне понадобится небольшая — трехчетвертная виолончель, и спрашивал, нет ли мастера, у которого можно бы ее заказать.

И все-таки, даже когда оттуда пришел положительный ответ и подошло время мне собираться в Барселону, отец продолжал высказывать сомнения.

— Карлос, милый, будь уверен, что все правильно,— говорила ему матушка.— Так и должно быть. Для Пабло нет другого пути.

Отец качал головой:

— Не понимаю я. Не понимаю.

И она говорила:

— Да, я знаю, но ты все равно верь. Ты не должен терять веру, не должен.

Подумайте — разве не удивительно? Моя мать вовсе не была музыкантшей, хоть и училась немного музыке,— музыкантом был мой отец. Тем не менее именно она знала, какое меня ждет будущее. Знала, по-моему, с самого начала, словно обладала неким шестым чувством, некой способностью прозревать то, чему суждено случиться. Знала и, опираясь на то, что ей ведомо, действовала, неизменно выказывая при этом

такую твердость, уверенность и невозмутимость, что всегда повергала меня в изумление. Так было не только когда встал вопрос о том, учиться ли мне в Барселоне, но и позже — всякий раз, когда я по той или иной причине оказывался на распутье. Ту же особенность обнаруживала она и в отношении моих младших братьев, Луиса и Энрике; они еще были маленькие, а ей уж известно было, какими они пойдут дорогами. И потом, когда я стал разъезжать с концертами по всему свету и ко мне пришел первый успех, она хоть и была счастлива, но я бы не сказал, что это ее особенно поражало. Она не допускала мысли, что могло быть иначе.

Я за свою жизнь тоже научился смотреть на вещи, как она. У меня появилось ощущение, что, если что-то происходит,— стало быть, это и должно произойти. Понятно, это вовсе не означает, что раз мы такие, как есть, то тут уж ничего не поделаешь и так тому и быть. Вокруг нас все непрестанно меняется — так заведено в природе; непрерывно меняемся и мы сами, ибо мы — часть той же природы. Работать не покладая рук, дабы изменить себя к лучшему,— наш долг. Но при всем том я верю, что каждому из нас назначена своя судьба.

Из Вендреля я уезжал со смешанным чувством. Здесь был мой дом, здесь прошло мое детство. Кривые улочки, по которым я гонял на велосипеде, наш маленький дом и в нем — гостиная, где упражнялся на рояле и давал уроки отец, церковь, в которой я провел столько отрадных часов; школьные товарищи, с которыми я играл, а случалось, и затевал кулачные бои,— все знакомое, родное и расставаться со всем этим было жаль. Мне же, в конце концов, было одиннадцать с половиной лет — возраст, даже для музыканта, не слишком почтенный. До Барселоны от Вендреля миль пятьдесят, не больше, но для меня это было все равно что ехать в чужеземные края. Что-то там меня ждет? Где я буду жить? С кем дружить, у кого учиться?.. Вместе со мной ехала матушка. Перед отходом поезда отец нежно обнял меня на прощанье, и я изо всех сил старался не забыть, что он сказал в тот раз, когда меня укусила собака и нужно было лечь в больницу:

— Ты повторяй себе, что мужчины не плачут.

Вот так случилось, что восемьдесят лет назад я отправился в Барселону. Тогда, как и теперь, это был большой город, с широкой сетью людных улиц, с живописными кафе, парками, музеями, с магазинами, полными народу, и портом, в котором всегда царило оживление и становились на якорь суда из разных стран. Для меня во многих отношениях он стал калиткой в большой мир, этот город, где мне суждено было провести столь плодотворную пору моей жизни, с чьими доблестными гражданами предстояло разделить столько счастливых часов творчества, с чьими художниками и рабочими меня связали впоследствии столь сокровенные нити,— город, в котором я так много узнал о человеческом благородстве и — увы, не меньше — о человеческом страдании! Пройдет полвека, и я увижу этот дорогой мне город в фашистской осаде, бомбардировщики будут летать в его небе, мешки с песком и отряды милиции появятся на его улицах. Какому ребенку пришло бы в голову, что подобное случится на свете?..

...С молодых лет я уверовал в способность человека совершенствоваться. Что за диво человек, какие чудеса ему посильно делать — не только в окружающем мире, но и в самом себе! Каких высот достигла, создав его, природа! Да, беспредельно в человеке умение творить добро, но точно так же нет предела его умению творить и зло. В каждом из нас заложены зерна того и другого. Так, во мне — я давным-давно распознал их — бок о бок с очень добрыми задатками таятся задатки большого зла, самых черных злодеяний. Моя матушка говорила:

— Во всяком человеке — и доброе, и злое. Он должен сделать выбор для себя. Которое из двух он выберет, вот что важно. Нужно прислушиваться к тому добру, что есть в тебе, и ему следовать.

Юношей я впервые испытал тяжелый душевный надлом. Не берусь сказать с уверенностью, что именно его вызвало. Близились к концу мои занятия в училище, а моя будущность так по-настоящему и не определилась. Меня мучило, что родители до сих пор не пришли к согласию, какой путь мне избрать. Они по-прежнему расходились во мнениях. Матушка твердо стояла на том, что мне следует посвятить себя музыке, отец продолжал считать это безрассудством. Мне было больно сознавать, что я стал причиной их разлада. Я мечтал положить ему конец. А в голове у меня тем временем роились новые понятия, новые представления и идеи; ум жадно допытывался, постигал, старался осмыслить то, что происходит в мире. Мой кругозор значительно расширился, я читал все, что только ко мне попадало в руки, и все серьезней задумывался над смыслом жизни. Прежде я находил в ней так много красоты. Теперь же увидел такие бездны уродства! Такие бездны порока! Столько людских терзаний и мытарств! Я спрашивал себя, неужели затем создан человек, чтобы влачить дни свои в подобном убожестве и посрамлении. Повсюду вокруг себя я замечал свидетельства страданий, нищеты, невзгод, бесчеловечности одних по отношению к другим. Я видел, как люди живут впроголодь, как им нечем бывает накормить детей. Я видел нищих на улице, воочию наблюдал вековечное неравенство богатых и бедных. Я стал очевидцем того, какие притеснения терпят в жизни простые люди, как жестокосерд к ним закон, как круты меры наказания. Несправедливости, насилие вызывали у меня физическую тош-

ноту. Я гадливо передергивался, завидев офицера при шпаге. День и ночь я предавался угрюмым раздумьям о том, как все устроено на земле. Больной от тревоги, полный дурных предчувствий, я бродил по улицам Барселоны. Беспросветная тьма поглотила меня, я был не в ладу с целым миром. Я страшился наступления дня и по ночам искал забвения в сне. Не укладывалось в сознании, отчего столько зла на земле, отчего людям надобно так поступать друг с другом и чем вообще оправдана жизнь при подобном положении вещей — да и мое собственное существование тоже. Своекорыстие бесчинствует в мире, а милосердие — где его сыскать?

Я не мог более безраздельно отдаваться музыке. Я понимал, как понимаю и ныне, что музыка — что любой вид искусства — не может нести в себе ответа. Музыка должна служить определенной цели, быть частью чего-то высшего, чем она сама, частью общечеловеческого и человечного — кстати, суть моих разногласий с современной музыкой состоит как раз в том, что ей недостает человечности. Музыкант, помимо всего прочего, еще и человек, и важней, чем его музыка,— его отношение к жизни. И отделять одно от другого невозможно.

Мои терзания достигли таких пределов, что оставался, казалось, единственный способ покончить с ними — это покончить и с собой. Мысль о самоубийстве преследовала меня неотвязно...

...Трудно сказать, что дало мне силы выкарабкаться из бездны. Возможно, борьба, происходившая во мне, любовь к жизни, надежда, которая брезжила в моей душе и не желала угаснуть...

ПОЧВА ПОД НОГАМИ

...Превосходный каталонский поэт Жоан Марагал написал однажды: «Дабы взмыть в небо, мы должны твердо стоять ногами на родной земле». Моя родная земля — Каталония. Три года я не ступал по ней, и возвратиться было счастьем.

Я много поездил на своем веку и повсюду находил красоту, но с младенческих лет я впитал в свою плоть и кровь красоту Каталонии. Я закрываю глаза и вижу океан в Сан-Сальвадоре, и приморский поселок Ситжес, и рыбачьи лодчонки на песке, виноградники провинции Таррагона, ее оливковые рощи и гранатовые деревья, реку Льобрегат, вершины Монсеррата. Я рожден на земле Каталонии и люблю ее, как родную мать...

Естественно, я испанский гражданин. Более тридцати лет я живу в изгнании, но до сих пор у меня испанский паспорт. Мне даже в голову не придет с ним расстаться. Както чиновник испанского консульства в Перпиньяне спросил, почему я не хочу отказаться от своего паспорта, если все равно не считаю нужным возвращаться в Испанию. Я ответил:

— С какой стати — я? Пускай Франко откажется от своего. А я тогда вернусь на родину.

Но прежде всего я — каталонец. И уж раз я с таким сознанием живу почти сто лет, едва ли можно рассчитывать, что в этом смысле что-нибудь переменится.

У нас, каталонцев, есть свой язык — древний романский язык, совершенно отличный от кастильского. Есть своя культура. Наш танец называется сардана — и что за прелесть этот танец! У нас есть своя история. Каталония уже в средние века была могущественна, ее влияние простиралось во Францию и Италию — даже теперь в этих странах найдется немало людей, говорящих по-каталански. У нас не было королей — мы довольствовались тем, что нами правят графы. В средние века в нашем законе были слова, адресованные каталонским народом его правителю: «Каждый из нас равен тебе, а все вместе мы тебя превосходим». Еще в XI веке в Каталонии собрался совет, который призвал покончить с войнами на земле. Нужно ли искать лучшее свидетельство высокой культуры?

Всякое государство знает периоды diminuendo[1]. Не так давно было принято говорить, что над Британской империей не заходит солнце; ныне же существует Англия, а империи больше нет. Лишилась былого могущества и Каталония. Но разве это может умалить ее историю или служить оправданием того, что попираются ее национальные права? А между тем Каталония низведена до положения испанского владения. Мы, каталонцы, хотим жить с другими народами Испании как братья, не как подчиненные, а именно так происходит при нынешних порядках. Нам запрещают преподавать в школах родной язык — школьников учат кастильскому. Нашу национальную культуру стараются задушить.

Всю жизнь я был противником крайнего национализма. Ни один народ не может быть лучше другого. Быть иным — может, лучше — нет. Ну, а националисты уверены, будто их народ вправе господствовать над другими. Совсем не то — патриотизм. Мне вспоминается, как встретил смерть Луис Компанис. С Компанисом мы познакомились в дни Испанской республики, он тогда был президентом Каталонии. Мы могли иногда расходиться во взглядах, но это был истинный патриот. В свое время он был блестящим

[1] Здесь — спад, упадок *(итал.)*.

адвокатом и выступал в защиту прав трудового народа Каталонии. Когда власть захватили фашисты, Компанисv вместе с другими вождями республиканцев удалось бежать во Францию. Франко потребовал, чтобы его выдали,— и правительство Петэна угодливо исполнило его волю. Испанские фашисты казнили его. Стоя под направленными на него дулами, Компанис закурил и спокойно снял ботинки и носки. Он хотел умереть, ощущая под ногами землю Каталонии...

СЕМЬЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ

После переезда в Париж мне за каких-нибудь несколько лет довелось побывать и освоиться в десятках чужих мне стран. Сердцем я знал, что дом для меня попрежнему Каталония, но понемногу начал чувствовать себя как дома в Санкт-Петербурге и Сан-Паулу, Филадельфии и Будапеште, Лондоне и Венеции, Стокгольме, Буэнос-Айресе. Разумеется, путешествовать в те дни было совсем не то, что теперь. Сегодня за считанные часы перелетишь через Атлантический океан, а тогда у меня на то, чтобы его переплыть, ушло восемнадцать дней. Я изъездил десятки тысяч миль. Годы превращались в беспорядочное смешение новых мест, новых знакомств, новых впечатлений.

Я потерял счет своим выступлениям. Знаю только, что за год их часто набиралось до двухсот пятидесяти. Иногда, если я колесил по стране, где города расположены близко друг от друга, мне случалось давать в месяц больше тридцати концертов — по воскресеньям я нередко играл один раз днем и потом еще раз, вечером. Это была изнуряющая нагрузка. Я никогда не нарушал принятых обязательств. Здоровье у меня было крепкое, но все равно я порой выбивался из сил. Как-то в Берлине я потерял сознание во время концерта — впрочем, после короткой передышки я все же закончил выступление.

Надо сказать, что подобный образ жизни далек от совершенства. Я, например, всегда терпеть не мог укладывать и разбирать вещи. Волнующая новизна переездов с места на место даже молодому, полному любознательности и бодрости человеку приедается, и начинаешь уставать и раздражаться, когда одну ночь ночуешь тут, потом две ночи там — и снова в путь; после концерта, когда на тебе все липнет к телу от пота, мчаться, чтобы поспеть на поезд, всю ночь трястись в вагоне, а наутро — вновь репетиция... А как обидно бросать людей, с которыми только-только сошелся покороче. Как бы успешно ни проходила концертная поездка, я всегда был рад, когда она завершалась и я возвращался в Париж. А самое большое счастье наступало летом, когда можно было съездить в Каталонию проведать матушку и отца.

Однако, хоть я и часто тосковал по дому, нельзя сказать, чтобы мне жилось одиноко. Меня не оставляли постоянные мои спутники — Бах, Бетховен, Брамс, Моцарт. А во многих гастрольных поездках со мною были мои товарищи-музыканты, такие близкие мне люди, как Гарольд Бауэр, Альфред Корто, Жак Тибо, Фриц Крейслер. И в какую бы страну меня ни занесло, где бы ни пришлось выступать — будь то зал Дворянского собрания в Москве или актовый зал средней школы в штате Мериленд,— я никогда не ощущал себя чужим на неродной мне земле. Сколько раз я поминал добрым словом графа де Морфи за то, что он заставил меня заниматься иностранными языками — я мог свободно объясняться на семи,— но если что и давало мне настоящую возможность находить общий язык с людьми, где бы я ни оказался, то это в первую очередь музыка. Пусть родная речь у них и у меня звучала по-разному — наши сердца говорили на одном языке. Можно переехать границы, спать в незнакомых городах, и все же повсюду находить эту сближающую общность духа.

Люди, собравшиеся в концертном зале,— это зрелище исполнилось для меня символического смысла. Когда я глядел в их лица и мы становились сопричастны красоте, заключенной в музыке, я знал, что мы здесь братья и сестры, что мы входим в одну семью. Вопреки страшным кровавым распрям нашего времени, вопреки нагромождениям лжи, разъединяющим народы, это сознание никогда не покидало меня. Оно пребудет со мною до последнего вздоха. Я мечтаю, что настанет день, когда народы мира в едином стремлении к счастью и красоте дружески сойдутся вместе, как бы под сводами общего исполинского концертного зала...

...В 1905 году я первый раз играл в России. Нельзя сказать, чтобы я туда прибыл в самое подходящее для концертного турне время. В России — хоть я того и не знал, когда по московскому ангажементу уезжал из Парижа,— разразилась уже революция 1905 года. Вскоре после того как мы проехали границу, в городе Вильно, наш поезд остановили и всем было приказано выходить. На вокзале творилось светопреставление. Чемоданы, сваленные в кучу, давка, толчея, люди кричат, размахивают руками. Я мало что мог разобрать, поскольку, естественно, все говорилось по большей части на русском языке. В зале ожидания ко мне подошел мужчина в военной форме и

отрекомендовался. Оказалось, что это русский генерал, из высших чинов на железной дороге, по всей видимости, хорошо осведомленный о моей работе. Он сказал, что все движение на Москву приостановлено, так как железнодорожники бастуют. Зато вот-вот отходит специальный поезд на Санкт-Петербург. Не хочу ли я составить ему компанию и ехать туда? Я подумал, как буду тысячу с лишним миль тащиться обратно в Париж,— и с благодарностью согласился. По русским снежным полям поезд уносил нас на север, и я гадал, что ждет меня там, впереди.

Приехав в Санкт-Петербург, я первым долгом отправился к дирижеру Александру Зилоти. Я состоял с ним в переписке и знал о нем по отзывам. В молодости это был замечательный пианист — он одно время учился у Чайковского, а затем у Листа, который оказал на него громадное влияние,— а позднее заявил о себе, став едва ли не лучшим в России дирижером. Теперь он возглавлял оркестр в Санкт-Петербурге. Зилоти принял меня как нельзя более радушно. Меня поразило его сходство с Листом, они могли бы сойти за близнецов — у Зилоти даже бородавка на лице была такая же, как у Листа. Он настоял, чтобы я остановился у него в доме — дом у него был прелестный, с великолепной музыкальной библиотекой и расположен был у самой Невы. Когда я рассказал ему, что не могу добраться до Москвы, он ответил, что и сам попал в трудное положение из-за забастовки на железной дороге: пригласил для выступления солиста, а тот не может приехать в Санкт-Петербург. Зилоти спросил, не соглашусь ли я сыграть с ним вместо этого солиста. Я с готовностью принял предложение. Концерт проходил в весьма драматической обстановке. Из-за всеобщей стачки в городе не было электричества, и в зале горели свечи. А публика откликалась сердцем на каждый звук.

Я пробыл в Санкт-Петербурге, кажется, недели три и вместе с Зилоти дал ряд концертов. Тревожным, грозным настроением был охвачен этот город. Ночами в тишину то и дело врывались звуки канонады. Чувствовалось, что в любую минуту может случиться что угодно. За Невой не утихали волнения, и я сказал Зилоти, что хочу пойти поглядеть, что там происходит. Он ответил:

— Не делайте глупостей. Вы что, хотите, чтобы вас подстрелили?

Но однажды поздним вечером, после концерта, он все-таки уступил наконец. Мы сели на извозчика и по одному из мостов, перекинутых через Неву, переехали на ту сторону. Где-то поблизости слышались выстрелы. Вдруг из-за угла, размахивая флагом, выбежал человек. Пробегая мимо нас, он что-то неистово прокричал по-русски. Я попросил Зилоти перевести.

— Он крикнул: «Да здравствует царская республика!» — сказал Зилоти.

Да, подчас и такое творилось тогда в головах у людей! Русские отчаянно желали положить конец самодержавию, под гнетом которого томились столько времени, однако иные из них так свыклись с существованием царей, что не мыслили себе без них даже республику!

Во время одной из последующих моих поездок в Россию я отчасти испытал на себе, какому обращению подвергались в России люди после того, как была подавлена революция 1905 года. На границе я имел несчастье чем-то не понравиться царским таможенникам, и эти здоровенные увальни в мундирах обошлись со мною словно с каким-нибудь тайным опасным злоумышленником. Уж не знаю что́ они там заподозрили. Мне что-то злобно гаркнули на русском языке и не слушали, когда я попытался объяснить по-немецки, что ничего не понимаю. Перерыв все мои вещи, меня обыскали с головы до ног — даже заставили раздеться! Я был в ярости. В Санкт-Петербурге я рассказал о случившемся Зилоти. Он возмутился, пожалуй даже больше меня, и довел эту историю до сведения властей. Мне принесли официальные извинения. Произошла, как сообщили мне, досадная ошибка. Не скажу, чтобы от этого разъяснения мне стало намного легче.

Свидетельств тому, сколь суров деспотизм правителей России, было предостаточно. Тревога, подозрительность, страх ощущались буквально во всем. И поголовно за всеми была установлена слежка. Швейцарам и дворникам вменялось в обязанность доносить царской охранке, что происходит в каждом доме. Повсюду шныряли сыщики. Великий композитор Римский-Корсаков был одно время отстранен от преподавания в Петербургской консерватории за то, что высказался в печати против надзора, установленного тайной полицией за студентами. Люди боялись осуждать вслух существующий порядок. Часто создавалось такое впечатление, будто вы здесь находитесь в тюрьме.

Я не один раз побывал в России, давал концерты не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве, Киеве, Риге, в других городах и куда бы ни приезжал, везде мне бросалось в глаза одно и то же вопиющее несоответствие: с одной стороны, душераздирающая нищета тех, кто работает, и с другой — бесстыдно выставляемая напоказ роскошь знати. Я убежден был, что пройдет время и снова народ поднимется против невыносимых порядков. Так что в 1917 году, когда наконец разразилась буря, я знал, что случилось неизбежное...

...Мне посчастливилось завязать знакомство с целым рядом известных русских композиторов — Римским-Корсаковым, Скрябиным, Цезарем Кюи, Глазуновым и другими. В Москве я не раз играл с оркестром под управлением Рахманинова. Что это была за плеяда талантов! Когда вспоминаешь, с какой неимоверной быстротой рас-

цвела в России классическая музыка, работа их представляется еще более грандиозной. И сколько доброты они проявили по отношению ко мне!

Особенно мне запомнился один случай, связанный с Римским-Корсаковым. Было это в Санкт-Петербурге. Зилоти привел меня в Мариинский театр, где давали оперу этого композитора. В антракте после первого акта к нам в ложу зашел Глазунов — он был в свое время учеником Римского-Корсакова.

— Я только что говорил с Николаем Андреевичем,— сказал он, обращаясь ко мне.— Он очень взволнован тем, что вы здесь. Боится, что вам не понравится музыка.

Можно ли вообразить себе большую скромность! Шестидесятилетний, в зените славы — а ведь мне тогда не было и тридцати. Я даже не сразу нашелся, что ответить. Только попросил Глазунова, чтобы тот, ради бога, сказал Римскому-Корсакову, что я слушаю оперу с наслаждением. Когда она кончилась, я подошел к Римскому-Корсакову и рассказал, как любима мною его музыка. И такая благодарность отобразилась на его лице при этих словах!

Мне всегда представлялось любопытным, что этот великий композитор служит также офицером на русском флоте и притом состоит в больших чинах. Правда, мне ни разу не приходилось видеть его в морской форме. Зато часто появлялся в военном другой композитор, Цезарь Кюи, и — седобородый, с ястребиным взглядом — выглядел в мундире весьма представительно. Он был генералом царской армии и, как мне говорили, одним из главных авторитетов по части артиллерии, если не ошибаюсь. Отец у него был французским офицером и остался здесь в 1812 году, когда Наполеон бежал из Москвы...

...Из всех русских композиторов, с которыми мне довелось познакомиться, самое сильное впечатление на меня произвел Александр Скрябин. Это была совершенно поразительная личность. Новатор в подлинном смысле слова, деятельный изобретатель, пионер, внедрявший новые идеи не только в музыку, но и в философию. Он неустанно экспериментировал в области гармонии и гармонических сочетаний. Интересно, что начинал он, подобно Римскому-Корсакову и Цезарю Кюи, с военной службы. Потом занялся музыкой и, не став еще композитором, приобрел широкую известность как пианист. Это был красивый человек, с подкрученными усами, с бородкой — ему не было сорока, когда мы встретились. Он делился со мною многими своими мыслями. Он утверждал, что музыка — такая, какой мы ее знаем,— во многих отношениях лишь сырой или грубо обработанный материал, и в смысле музыкального развития мы удручающе ограниченны и поверхностны. Его крайне занимали отношения между музыкой и цветом, по его мнению, не только для слуха, но и для других чувств — таких, как цветовое восприятие, вкус, запах,— следовало разработать гаммы, соответствующие музыкальным. Он полагал, что необходимо исследовать все каналы эстетического восприятия. Он утверждал, что на слушающего музыку неизбежно влияет окружающая обстановка: что когда музыку слушают, допустим, в темноте, она воспринимается совсем не так, как при свете, и что на перемены цвета наши ощущения отзываются точно так же, как на колебания температуры. В Москве он пригласил меня к себе и показал разработанный им аппарат для воспроизведения звука и цвета. По-моему, я видел его одним из первых. Это было действительно замечательное устройство, эффект получался необычайный. Скрябин писал в то время новое сочинение для оркестра, «Прометей», в котором одна из партий предназначалась для осветительной клавиатуры, с тем чтобы звуковое исполнение сопровождалось игрою цвета на экране. Ничего похожего до сих пор никто не пробовал. И подумать только — не прошло нескольких лет после нашей встречи, как это чудо, этот гений ушел из жизни, а ведь ему было только сорок три года! Смерть прервала его работу над монументальным произведением, рассчитанным примерно на две тысячи исполнителей,— предполагалось, что с музыкой в нем будут сочетаться такие способы эстетического воздействия, как танец, пение, речь, цвет и даже ароматы!..

...Переехав в Париж, я за первые же несколько лет побывал с концертами во всех столицах Европы — за одним лишь исключением. Нелепо, конечно, но исключением этим был город, который мне как музыканту и ближе и милей других — Вена. Как ни мечтал я там сыграть, а все не мог набраться храбрости. Почти десять лет я отклонял одно предложение за другим и держался на расстоянии от Вены, подобно влюбленному, который страшится подойти слишком близко к предмету своей любви. Меня точно магнитом влекло к этому городу, об очаровании которого слагались легенды, но живые тени, обитающие там, отпугивали меня. Для меня Вена была воистину Храмом музыки, в котором не стихли еще отголоски звуков, рожденных Моцартом, Бетховеном, Брамсом, Шубертом, Гайдном. С детских лет их духи вселились в меня, а теперь я сам не решался войти в их дом. Ибо здесь они жили, любили, трудились, страдали; здесь они встретили смерть. Наконец, с трепетом душевным, я дал согласие выступить в Вене. Никогда я не терзался такой тревогой накануне концерта. Я бродил по улицам, и сердце у меня колотилось: мне чудилось, что еще минута, и я столкнусь лицом к лицу с Моцартом или Шубертом, что внезапно — такой, каким я столько лет вижу его в мечтах,— предо мною встанет Бетховен и молча, с безмерной печалью посмотрит на меня... Концерт должен был состояться в зале «Musikfreunde»[1]. Перед началом не оставалось ни одного свободного места. Играть

[1] «Друзья музыки» *(нем.)*.

я собирался до-диез-минорный концерт Эммануэля Моора. Я провел смычком по струнам, беря первые ноты, и вдруг в смятении почувствовал, что он выскальзывает у меня из пальцев. Я отчаянно попытался перехватить его, но движение получилось слишком резким. Смычок вырвался у меня из-под пальцев, стрелой перелетел над головами тех, кто сидел в первых рядах, а я потерянно и беспомощно проводил его глазами. В зале не раздалось ни звука. Кто-то нагнулся и поднял смычок. Осторожно, бережно его передавали из рук в руки — по-прежнему в мертвой тишине,— и, зачарованно глядя, как он плывет ко мне, я ощутил в себе странную перемену. От моего волнения не осталось и следа. Когда смычок попал ко мне в руки, я сразу вновь заиграл концерт, и на этот раз уверенно и твердо. По-моему, я никогда не играл лучше, чем в тот вечер...

НАВСТРЕЧУ БУРЕ

...На заре XX века в Европе большей частью не успели еще испытать на себе, что такое война. Еще не пришло то время, когда десяткам миллионов станут хорошо знакомы и ужасы окопного существования, и зловещие списки убитых, и бегство женщин и детей из пылающих городов.

Испания в 900-е годы уже не считалась великой державой, и все же ее народ был, вероятно, ближе знаком с войной, чем другие народы Европы. Мои личные воспоминания о войне связаны с событиями, которые разыгрались до начала века,— с так называемой катастрофой 1898 года. Тогда-то и привелось мне в Барселоне стать свидетелем леденящего кровь зрелища, которое запало мне в душу на всю жизнь. То был год испано-американской войны, год окончательного крушения Испанской империи, когда она лишилась таких своих колоний, как Куба, Филиппины и Пуэрто-Рико. Все в Испании — и мы, каталонцы, тоже — знали, естественно, что на Кубе вот уже несколько лет тянутся военные действия, направленные на то, чтобы подавить восстание против испанского владычества, недаром же в это время на Кубе находилось едва ли не четверть миллиона испанских солдат. Но при всем том немногие испанцы сознавали, какие потери несут их войска — и от партизанской войны в болотах и джунглях, и в особенности от малярии, желтой лихорадки и других тропических болезней. Такую правду предпочитали замалчивать — потери множились, а газеты трезвонили о решающих успехах и со дня на день предрекали окончательную победу. А летом 1898 года, когда в войну вступили Соединенные Штаты, точно гром среди ясного неба грянула убийственная развязка. В считанные часы стало ясно, что война проиграна. Вместо обещанной победы — полный провал! Я был в то время в Барселоне. Вскоре после известия о поражении в гавань вошли транспортные суда с уцелевшими остатками испанской армии. Много дней по улицам города бродили тысячи солдат — больные, увечные, истерзанные голодом и болезнями. Какая страшная картина! Словно эпизод из «Ужасов войны» Гойи. И во имя чего, спрашивал я себя, во имя чего?

Испания была потрясена. О событиях в Барселоне люди передавали друг другу из конца в конец страны. Их даже изобразили в одной из музыкально-драматических постановок того года, сарсуэле, под названием «Gigantes y Cabezudos» — «Великаны и большеголовые карлики». Там есть такая сцена: испанские солдаты на обратном пути в родные места собираются в кучку на берегу реки Эбро и поют скорбную песню о том, как любят свою родину и как исстрадались в сражениях на чужбине...

Лет десять спустя война опять вторглась в жизнь многих испанских семей — в том числе и нашей. На этот раз бои происходили в Марокко. Война оказалась затяжной и кровавой — солдат десятками тысяч отправляли драться с берберами — и вызвала в Испании всеобщее недовольство. В Каталонии оно чувствовалось очень сильно, в особенности среди интеллигентов и рабочих. Приезжая домой к матушке и братьям, я по всему видел, как велико в народе возмущение. Когда правительство объявило всеобщую мобилизацию, рабочие Барселоны в знак протеста объявили всеобщую забастовку. Последовали дни ожесточенных схваток, известные теперь под названием «трагическая неделя», в стране ввели военное положение. Военный суд швырял людей в застенки, некоторых даже приговаривали к смертной казни. Ужасное было время! В 1912 году правительство приняло закон об обязательной воинской повинности. До сих пор за деньги можно было добиться освобождения от службы в армии — мне, например, удалось это сделать для среднего брата Луиса. Но сделать то же самое для младшего, Энрике,— он недавно вернулся из Праги, где учился играть на скрипке,— теперь было невозможно. Ему только что исполнилось восемнадцать лет, и его ждала армия. Я был в то время у матушки в Вендреле. Тогда-то она и сказала Энрике, что он не рожден убивать или быть убитым, и велела ему покинуть Испанию. Он решил отправиться в Аргентину и там заниматься дальше музыкой. Я купил ему билет на пароход, уходящий в Южную Америку, и он бежал...

Разумеется, как испано-американская война, так и война в Марокко бледнеют в сравнении с побоищем, которое вспыхнуло в мире летом 1914 года. Вот когда вдруг словно бы обезумело все человечество.

Я находился в Париже, когда началась война. Город неистовствовал. Казалось бы, людям следовало отдавать себе отчет в том, какое бедствие обрушилось на страну,— но куда там, настроение царило самое праздничное. Гремели маршевой музыкой военные оркестры, реяли флаги над каждым окном, раздавались трескучие речи о славе и патриотизме! Какой зловещий маскарад! Кто знает, сколько молодых людей, что, улыбаясь, печатали шаг по парижским улицам,— сколько их полегло в грязных окопах или вернулось домой калеками на всю жизнь? А во скольких еще городах и странах так же горделиво шагали по улицам войска...

День за днем, месяц за месяцем все новые народы засасывала эта жуткая бойня, и чудилось, будто сама история вдруг повернула вспять. Совершалась великая переоценка ценностей. Жестокость превозносили до небес; грубая сила пришла на место здравомыслия. Главным героем становился тот, кто уничтожил наибольшее число своих братьев. Все созидательные способности, дарованные человеку в науке, в изобретательстве — во всех областях знания, были обращены на то, чтобы творить смерть и разрушение. И для какой же цели умертвили миллионы людей, а миллионы других лишили крова и пропитания? Народам говорили, будто цель войны — обеспечить надежную почву демократии во всем мире. И что же? Не прошло после ее окончания и нескольких лет, как народы в добром десятке стран — участниц этой войны очутились под пятою диктаторов, и полным ходом пошла подготовка к новой, еще более чудовищной мировой войне!

В ненастные дни первой мировой войны меня неотвязно преследовал все тот же мучительный вопрос, что и в юности, когда я впервые столкнулся в Барселоне с людскими горестями и примерами бесчеловечного отношения одних к другим: неужели для этого создан человек? Иногда безысходная тоска овладевала мною целиком. Для меня вся моя музыка ничего не стоит в сравнении с жизнью одного ребенка, и все же среди безумного шабаша войны ничто, пожалуй, так не помогало мне сохранять душевное равновесие, как музыка. Она незыблемо пребывала со мною свидетельством того, какую красоту способен создать человек — тот самый, что чинил теперь разруху и страдание. Я напоминал себе, что век тому назад, когда Европу раздирали наполеоновские войны, Бетховен продолжал творить свои великие шедевры, как ни терзала его сердце буря, свирепствовавшая вокруг. Быть может, именно в такую пору, когда злодейство и низость разгулялись по земле, как никогда, важно дорожить тем благородным и высоким, что есть в человеке. Во время войны ослепленные ненавистью требовали предать анафеме немецкую музыку, а я понимал, что как раз теперь необходимо играть вещи Баха, Бетховена, Моцарта, пронизанные духом гуманности и общечеловеческого братства.

Когда грянула война, я оставил свой дом в Париже и на время обосновался в Нью-Йорке. Каждый год я совершал турне по Соединенным Штатам. Друзья-американцы уговаривали меня остаться тут навсегда.

— Здесь вы можете спокойно заниматься работой,— говорили они.— И потом, здесь вы в безопасности. Вам не придется больше переплывать океан с риском наткнуться на подводную лодку.

Но жить вдали от родных, от старых друзей я не мог. В конце сезона, завершив очередную концертную поездку, я всякий раз возвращался в Европу и ехал к матушке в Сан-Сальвадор.

В 1916 году, когда я был в Нью-Йорке, произошло трагическое событие, в котором воплотилась для меня бессмысленная и дикая губительность войны. В начале года сюда, на премьеру своей оперы «Goyescas» — «Гойески», прибыл из Барселоны мой дорогой друг Энрике Гранадос. К переездам — особенно по морю — Гранадос относился с каким-то болезненным страхом и из года в год наотрез отказывался плыть за Атлантический океан. Но тут, ради столь важного случая, он, наконец, впервые уступил. С ним была его жена, Ампаро. Когда мы встретились в Нью-Йорке, он уже был в страшном волнении из-за предстоящего события. На свою музыку Гранадос смотрел как сущее дитя. Он искренне не придавал ей серьезного значения — так, льется что-то само собой из его души — и не переставал сомневаться в ее достоинствах. Как двадцать лет назад, в дни нашей юности, когда в Барселоне давали его первую оперу, он и теперь попросил помогать ему на репетициях. Эти репетиции в оперном театре «Метрополитэн» стоили ему такого напряжения, что он был не в силах сказать ни слова, разве что когда к нему обращались с вопросами. Он не говорил по-английски, и, если кто-нибудь из музыкантов спрашивал, как следует толковать то или иное место, мне приходилось переводить ему. Обыкновенно Гранадос отвечал:

— Скажи, пусть играют, как им самим кажется лучше.

Это было на него похоже! Он считал, что исполнители должны сами решать, как преподнести его музыку. Музыка же была, конечно, чудесная, и, чтобы автор не изныл вконец от тревоги, я все твердил ему, что оперу, несомненно, ждет огромный успех! Настал день премьеры, и он убедился в этом сам! Опера вызвала шквал восторга, ничего более поразительного я не видел. Люди в зале вскочили с мест, выкрикивали что-то, рыдали.

Сразу после премьеры Гранадос собрался плыть домой, но тут от президента Вильсона пришло приглашение играть в Белом доме, и Гранадос отложил отъезд. В Европу они с женой отплыли в первых числах марта. А через неделю я услышал

страшную весть. Судно, на котором они переправлялись через Ламанш, было торпедировано. Мой милый добряк Гранадос погиб вместе с женой. Он прожил всего сорок девять лет, был в самом расцвете творческих сил.

В Нью-Йорке находились тогда Падеревский и Крейслер, и мы решили устроить втроем концерт в его память, а сборы отдать в пользу детей. У Гранадоса было шестеро детей, один — мой крестник, и мы знали, что денег после нашего друга осталось немного. Концерт состоялся в здании «Метрополитэн-опера», где так недавно и с таким триумфом выступал Гранадос. Сколько собралось народу, не берусь сказать. В тот вечер шел дождь, но, когда я приехал в театр, на улице стояла многотысячная толпа — те, кому не досталось билетов.

Дирижировал Вальтер Дамрош. Мы с Падеревским и Крейслером играли си-бемоль-мажорное трио Бетховена. В концерте принимали участие также прославленные певцы Мария Барриентос, Джулия Кулп и Джон Маккормак.

Под конец везде погасили свет. На рояль поставили свечу. И тогда — при скудном пламени, одиноко мерцающем на сцене огромного зала,— Падеревский заиграл Траурный марш Шопена.

МУЗЫКА В БАРСЕЛОНЕ

Вскоре после окончания войны я побывал в Париже. Мною владело странное чувство, в нем смешались радость и печаль. Этот город, бриллиант среди городов, будил во мне бессчетные и яркие воспоминания. Я бродил по его прелестным бульварам, по узким улочкам — дорогие, знакомые места, неотъемлемая часть моей жизни. Сюда я приехал юношей торить себе дорогу в музыке, здесь в начале столетия дебютировал с Ламурё. Здесь впервые встретил Гарольда Бауэра, полковника Пикара, Корто, Тибо — и сколько еще бесценных друзей. Пять лет минуло с тех пор, как я покинул свой дом в Париже, а мне все чудилось, будто я жил здесь еще вчера. Впрочем, это вчера почему-то отодвинулось, до него, как случается во сне, было не дотянуться. Я знал, что теперь оно — достояние прошлого и этого прошлого не вернуть.

В начале войны, съезжая с виллы Молитор, я сложил немалую часть своего имущества в ящики и перед отъездом сдал на хранение. Теперь я поехал за ними на тот маленький склад. Что за плачевная картина представилась моим глазам! Полный разгром! Ящики взломаны, книги, ноты, письма — в беспорядке разбросаны на полу. Львиной доли своей переписки я недосчитался вообще. Исчезли десятки писем от близких друзей, бывших товарищей по работе, знакомых — от Гранадоса, Сен-Санса, Рихарда Штрауса, Юлиуса Рентгена, Эммануэля Моора и многих других. Я очень дорожил этими письмами — голосами друзей, они говорили мне о незабвенных и прекрасных днях, о сокровенных думах, которыми мы делились друг с другом; меня мутило при мысли, что в них рылись чужие руки. Мне намекнули, что это работа полиции. Мои вещи просматривали, изымая все, что сочли нужным. В чем меня подозревали — понятия не имею, возможно, было довольно того, что я иностранец. Война все спишет, на то она и война. Надеясь получить письма назад, я не раз обращался к французским властям. Думал: может быть, мои письма хранятся где-нибудь в официальных досье. Может быть, они там лежат по сей день. Не так давно, при де Голле, когда министром культуры был писатель Андре Мальро, один мой друг, взяв на себя роль посредника, связался с ним и попытался выяснить, нет ли в полицейских архивах моей переписки. Тщетно! Никаких известий на этот счет от французских властей не последовало, и писем своих я больше не видел...

Двадцать лет я прожил за границей и все время знал, что рано или поздно моим домом вновь станет Каталония. Иногда, во время моих наездов в Сан-Сальвадор, у нас с матушкой возникали разговоры о том, когда я вернусь домой.

— Когда настанет срок, ты сам почувствуешь,— говорила она в таких случаях.

В 1919 году я почувствовал, что срок настал.

Осенью того года я опять поселился в Барселоне, и потекли дни, которые — если говорить о работе — я во многих отношениях считаю наиболее плодотворной порой своей жизни.

...К оркестру «Пау Казальс» пришел успех, а между тем одно обстоятельство, связанное с нашими концертами, не давало мне покоя. Не нравилось мне, что наша музыка стала достоянием только узкого круга слушателей — преимущественно тех, кому живется безбедно, кто не стеснен в средствах. Трудовому люду, вообще говоря, билеты на концерты были не по карману. Те немногие, кто все же ухитрялся наскрести деньги и купить билет, сидели на галерке, на самых дешевых местах, и я понимал, что при виде «чистой публики», с удобством рассевшейся по партеру и ложам, их скорей всего занимали мысли, имеющие очень мало отношения к музыке. Идея устраивать бесплатные концерты меня не привлекала. Я знал, как развито у трудовых людей чувство собственного достоинства: они едва ли пожелают воспользоваться тем, что смахивает на благотворительность. А в то же время мне хотелось, чтобы нашу музыку

имели возможность слушать мужчины и женщины с фабрик, из гавани, из-за магазинных прилавков — слушать и радоваться ей. В конце концов не их ли руками созданы главные богатства страны — так кому, как не им, пользоваться ее духовными ценностями?

Мои взгляды на этот счет сложились под влиянием того, что удалось проделать замечательному каталонцу, патриоту, любителю музыки Жозе Ансельмо Клаве. Клаве не стало в 1874 году, то есть за два года до того, как я родился, но у меня было такое чувство, будто этот человек — мой близкий друг. Он вышел из рабочей среды и был по профессии ткач. Он умел играть на гитаре и выучился складывать песни и сочинять музыку. Сюжеты его песен простые и трогательные: судьба нищих детишек, случаи из жизни крестьян и рабочих, красота природы, любовь к Каталонии. Мало-помалу его песни узнали барселонские рабочие и стали небольшими кружками собираться по заводам на спевки после работы. Клаве знал, как бесцветно и бедно проходят дни у рабочего люда, и стремился внести в них хоть сколько-нибудь красоты. У него зародилась мысль создать в рабочей среде постоянные хоровые кружки. И он добился невероятных успехов. С его легкой руки не только в Барселоне, но и по всей Каталонии возникли и выросли в городах великолепные хоровые общества, в которые входили рабочие, а с ними — и их семьи. В них вовлекались все новые тысячи, и это самым существенным образом сказалось на пробуждении в ту пору в Каталонии всеобщей тяги к культуре. Такие всемирно известные хоровые общества, как каталонское «Орфео Катала» и «Орфео Грасиенк»,— тоже часть наследия, оставленного Клаве. А популярность самого рабочего-музыканта приобрела такие размеры, что в сорок с небольшим его избрали на пост губернатора Таррагоны!

После смерти Клаве на Каталонской площади Барселоны ему поставили памятник. Когда мне случалось идти мимо, я невольно задумывался об этом достойном человеке и его славных делах. Я спрашивал себя: если Клаве удалось организовать рабочие хоровые общества, нельзя ли создать общество рабочих — любителей музыки? Постепенно у меня созревал план действий.

Дождавшись, когда мой оркестр прочно встанет на ноги, я приступил к осуществлению этого плана. Я побывал в рабочей средней школе, изредка проводившей через профсоюзы те или иные культурные мероприятия, и поделился со школьным руководством своими мыслями о том, как приобщить рабочих к музыке. Меня выслушали весьма учтиво, но — как я не мог не заметить — с оттенком недоверчивости. Через несколько дней ко мне явились представители от рабочих — их было немного, и они пришли прямо с работы, в комбинезонах, в синих блузах. Они расспрашивали меня с большим пристрастием. Особенно занимал их вопрос о том, кто будет руководить задуманным мною объединением, кому оно будет подчиняться.

Я сказал:

— Заправлять им будете полностью вы сами. Я только предоставляю в ваше распоряжение свой оркестр на заранее оговоренное число концертов в год. Кроме того, я берусь играть для вас сам и обеспечить выступления других солистов.

— Кто же будет за это платить?

— Вы.

— Каким образом?

— Ваше филармоническое общество будет взимать со своих членов взносы, по шесть песет в год.— Шесть песет составляли в те дни приблизительно один доллар.— Те, кто уплатит взнос, получают право ходить на концерты моего оркестра.

— И все это за шесть песет?

— Да, все за шесть песет.

Представители удалились. Мой замысел обсуждали в профсоюзах и других рабочих организациях. Решили попробовать. Так возникло объединение под названием Ассосиасио обрера де консерт» — Рабочее филармоническое общество. Правила вступления в него были простые: принимали всякого, кто зарабатывал не более пятисот песет — то есть примерно сто долларов в месяц.

Первый концерт для рабочих оркестр «Пау Казальс» дал осенью 1928 года в помещении барселонского театра Олимпия. Больше двух тысяч человек собралось там воскресным утром в концертном зале. Я увидел эти ряды скромно одетых мужчин и женщин, сидящих в ожидании концерта,— и у меня просто крылья выросли. Когда мы кончили, зал как один человек поднялся на ноги и наградил оркестр громоподобными, неумолкающими рукоплесканиями. Но вот они стихли, и публика принялась, скандируя, выкрикивать мое имя. Никакие овации не значили для меня так много, как этот голос барселонских рабочих.

Каждый год мой оркестр давал для Рабочего филармонического общества шесть утренних воскресных концертов. Общество разрасталось не по дням, а по часам. Во всех уголках Каталонии возникали его отделения, при них создавались хоровые ансамбли.

Как-то раз я обмолвился, что не худо бы Обществу издавать собственный музыкальный журнал.

— А кто для него будет писать?

— Члены Общества.

— И о чем же?

— О том, как воспринимают музыку на концертах, о прочем в таком же роде.

И Общество стало издавать журнал под названием «Fruicions»[1]. Не только они, я тоже диву давался, увидев, что из этого получилось! Достаточно привести заголовки некоторых статей из обычного, рядового номера: «Взаимосвязь между искусством и мировоззрением», «Поздние квартеты Бетховена», «Стравинский и ритм», «Шуберту: слово признания».

Прошло несколько лет, и к тому времени как родилась Испанская республика, у Общества уже была своя музыкальная библиотека, в создании которой принимали участие мы с Энрике. У Общества появился и собственный оркестр, целиком набранный из рабочих, они давали воскресные концерты в Барселоне и других промышленных городах Каталонии, а изредка выступали также в больницах, тюрьмах. Музыканты, критики, музыковеды из разных стран приезжали к нам знакомиться с деятельностью Общества.

Что касается концертов, которые устраивал для Общества мой оркестр, они так полюбились публике, что, когда мы стали выступать не только по воскресеньям, но и в дневное время по будням, государственные учреждения на эти часы закрывались, чтобы служащие могли пойти слушать музыку.

Теперь уже в Каталонии членами Общества и его филиалов состояли десятки тысяч людей. Я говорил, бывало, что, задумай мы силами Общества совершить революцию, нам, несомненно, удалось бы захватить власть!

Да, я не мог нарадоваться, глядя, как процветает Рабочее филармоническое общество, скажу больше: ни одно музыкальное начинание не принесло мне такого счастья; зато были в те послевоенные годы иные стороны в жизни каталонских рабочих, и они причиняли мне глубокую боль.

Двадцатые годы начинались для Каталонии неспокойно. Свирепствовала безработица. С нею пришел голод — на каждом шагу попадались нищие. В Барселоне и других городах вспыхнули забастовки, рабочие выходили на улицы, устраивали демонстрации; испанское правительство жестоко расправлялось с ними. Вновь было введено военное положение. Рабочих ссылали, прятали за решетку. Обстановка накалилась еще больше, когда испанская армия потерпела ряд тяжелейших поражений в Марокко,— почти двадцать тысяч солдат сложили головы в схватках с берберскими племенами, которые возглавлял Абд аль-Керим. По Каталонии прокатилась волна выступлений против войны. Со всех сторон раздавались требования, чтобы responsabilidados — тех, кто за это отвечает,— действительно привлекли к ответу. Все новые люди возвышали голос за независимость Каталонии и право самим решать свою судьбу. В ответ на это им преподнесли военную диктатуру Примо де Риверы, а с нею — на годы — новые расправы, новые аресты, новые партии каталонских патриотов, сосланных на чужбину. Среди них оказался вождь каталонского народа, легендарный ныне Франсеск Масиа. Страна клокотала от гнева.

Все происходящее не могло, разумеется, не сказаться на моем образе мыслей, моей работе — ведь музыка и жизнь неразделимы...

ТОРЖЕСТВО И ТРАГЕДИЯ

1931 год принес мне горе — не стало матушки. И все-таки для меня этот год связан не только со смертью, но и с рождением. Весною 1931 года родилась Испанская республика.

За несколько дней до того, как было образовано новое правительство, я дирижировал своим оркестром на торжестве по случаю провозглашения Республики. Концерт состоялся в огромном барселонском дворце Монжуи, в котором собралось семь тысяч человек. По окончании концерта президент вновь образованного каталонского правительства Франсеск Масиа возвестил, что Республика явилась к нам на крыльях Гимна братству — благородного хорала, которым завершается Девятая симфония Бетховена.

Мне тогда было пятьдесят три года. Я дирижировал бетховенской Девятой много раз. Однако никогда не ощущал я с такой силой, как в тот весенний вечер, символический смысл, заключенный в гордых словах Финала:

О братья, довольно печали!
Будем гимны петь безбрежному веселью
И светлой радости!

Радость, дивной искрой божьей
Ты слетаешь к нам с небес!
Мы в восторге беспредельном
Входим в храм твоих чудес!

Ты волшебно вновь связуешь
Все, что делит мир сует,
Там мы все друзья и братья,
Где горит твой кроткий свет!

(Перевод В. Коломийцева)

[1] Здесь — «Плоды» *(каталонск.)*.

Для меня в эти минуты наступило подлинное слияние человека и музыки. Для меня эти минуты означали приход того, о чем люди моей страны мечтали долгие годы, полные страданий и борьбы,— приход правительства, цель которого — служить наивысшим чаяниям человека, свободе, счастью, всеобщему братству. То были минуты торжества для народа всей Испании, для народов всех стран. Увы, кто мог тогда предвидеть, что это торжество закончится страшной трагедией?

Первые годы существования Испанской республики, вплоть до начала гражданской войны, были исполнены для меня особого значения. Я не политик. Я никогда не принадлежал ни к одной политической партии. Слишком уж многое в политике представляется мне неприглядным. Есть, однако, такие политические вопросы, от которых артист, если в нем жива совесть, не может держаться в стороне. Главные из этих вопросов — справедливость и свобода. А Испании справедливость и свободу принес не кто иной, как республиканское правительство.

С детства родители воспитывали меня в духе поклонения республиканским идеалам, с юных лет я знал, что мое место — с народом. Да и можно ли считать иначе, когда гуманность для тебя — не пустой звук? В Испании подавляющее большинство стояло за подлинную демократию, это наглядно показали выборы, на которых народ единодушно отдал свои голоса республиканскому правительству. Слишком долго терпел он голод и невежество; у скольких поколений накипело на сердце от наглости продажной армии и знати — да мало ли чего еще. Люди желали справедливости, возможности жить по-человечески. Подобно большинству артистов и других представителей испанской интеллигенции, я в этом стремлении был с ними заодно. И потом, как каталонец, я видел особые основания благодарить Республику, ведь она предоставила Каталонии автономию, которой я и мои соотечественники жаждали столько лет. Да, для меня рождение Испанской республики явилось венцом заветнейших надежд.

В дни создания Республики были люди, говорившие, будто в Испании насаждается коммунистический режим. Это, разумеется, измышление. Миф, придуманный, а может быть, принятый на веру меньшинством, выступавшим против реформ, осуществленных Республикой в интересах народа,— людьми той породы, для которых всегда будет неприемлема демократия. То была пропаганда, распространяемая фашистами — Франко, Гитлером, Муссолини; потом они воспользовались ею как предлогом для интервенции в Испании...

...Испанская республика родилась в те дни, когда мир был охвачен величайшим экономическим кризисом, какой только знала история. Безработица, голод, скорбь брели по дорогам земли. Во многих странах за первым поворотом затаилась беда. Германию охватил нацистский угар, и по Европе черной тучей пополз фашизм. Но в Испании царил всеобщий подъем, люди смотрели в будущее с надеждой. Я не собираюсь утверждать, что Республика стала панацеей от всех бед, что правительство не допускало ошибок — допускало, и много. Какое правительство их не допускает? И наверное, иных из интеллигентов, в чьих руках оказалась власть в дни Республики, можно было называть людьми скорее идейными, чем деловыми,— я-то лично, кстати, всегда ценил принципы выше, чем практическую хватку. Но каковы бы ни были сложности, путь лежал вперед. И народ Испании это знал.

Однако находились в стране и такие, кто думал и чувствовал иначе. Это были все те же реакционные силы, которые с самого начала противились возникновению Республики,— лютые враги демократических преобразований, не желавшие примириться с тем, что урезаны их привилегии. Они вступали в заговоры против Республики, старались извлечь выгоду из любого ее промаха и недочета. В 1934 году эти силы вновь добились известного политического влияния и стали без зазрения совести использовать его в своих интересах. По указанию генералов Мануэля Годеда и Франсиско Франко против бастующих городов Астурии были направлены марокканские войска и части Иностранного легиона. Произошла кровавая расправа. Когда прошли новые выборы и испанский народ опять проголосовал за Республику, реакционеры и фашисты удесятерили свои происки. Участились случаи насилия, провокаций, убийств — плоды интриг и заговоров. Страна бурлила, как вулкан накануне извержения.

В 1936 году вулкан прорвало. Я тогда находился в Барселоне, готовился дирижировать концертом. По странному совпадению он должен был состояться в том же зале дворца Монжуи, где пять с небольшим лет назад я дирижировал Девятой бетховенской симфонией на празднестве в честь провозглашения Республики. И опять мне предстояло дирижировать Девятой — на этот раз в связи с торжеством, которое правительство проводило под девизом «Во имя мира на земле». Генеральная репетиция состоялась вечером 18 июля в помещении «Орфео Катала». Никогда до последнего часа не забыть мне этот день. Утром мадридское радио объявило, что в Марокко произошел военный мятеж — мятеж, организованный фашистскими генералами, которые, как передавали, замышляют устроить в Испании государственный переворот и свергнуть республиканское правительство. Весь день в Барселоне нарастала тревога, в воздухе носились самые невообразимые слухи. Говорили, что профашистские офицеры подбивают на бунт армейские гарнизоны и ряд городов уже охвачен восстанием. Каково истинное положение вещей, никто не знал. К ночи все площади и улицы были запружены народом — солдаты, бойцы гражданской обороны, заводские рабочие в синих блузах,

толпы возбужденных горожан. В каждом доме работало радио. Из громкоговорителей, установленных на улице, доносились призывы правительства:

— Не выключайте радио! Сохраняйте спокойствие! Предатели разносят ложные слухи, дабы сеять смятение и страх! Настраивайтесь на нашу волну! Республика удерживает командные высоты!

По бурлящим улицам я добрался к началу репетиции до помещения «Орфео Катала». Мы отыграли первые две части симфонии и готовились перейти к Финалу — я уже вызвал на сцену хор, которому предстояло исполнить хорал,— как вдруг в зал стремительно вбежал человек. Он подал мне конверт.

— Это вам от министра Гассоля,— сказал он, с трудом переводя дыхание.— В городе с минуты на минуту ожидается бунт...

Я пробежал глазами записку Гассоля. В ней говорилось, что мы должны немедленно прекратить репетицию... пусть все музыканты как можно скорее расходятся по домам. Концерт, назначенный на завтра, отменяется.

Из слов посыльного мы узнали, что уже после того, как это было написано, в Мадриде вспыхнул мятеж и фашистские части идут на Барселону.

Я прочитал записку вслух оркестру и хору. Потом я сказал:

— Друзья мои, не знаю, когда мы теперь встретимся снова. Так не сыграть ли нам перед разлукой бетховенский Финал?

В ответ раздался дружный возглас:

— Доиграем до конца!

Никогда еще не играл так оркестр, никогда так не пели хористы:

...Там все мы друзья и братья,
Где горит твой кроткий свет!

Я силился разглядеть ноты, но слезы застилали мне глаза.

На прощанье я сказал им, моим дорогим друзьям, которые стали мне больше чем родные:

— Настанет день, и опять на нашей земле воцарится мир. В этот день мы с вами вновь сыграем Девятую симфонию.

...Инструменты были убраны, хлопнули крышки футляров, мы покинули зал и вышли на улицу, где барселонцы возводили баррикады.

Фашистский мятеж в Барселоне был подавлен за один день. И подавили его не только войска, сохранившие верность Республике,— вместе с ними сражались трудящиеся города. В большинстве своем они, эти каталонские рабочие, были безоружны. На улицах они стояли под обстрелом плечом к плечу с солдатами и, когда кто-то рядом падал, брали в руки его оружие.

Бывали случаи, когда они шли на приступ и буквально голыми руками захватывали фашистские опорные пункты, ощетинившиеся пулеметами. Рабочие отряды на грузовиках врезались прямо в здания, снося входные двери. Площади, улицы были усеяны убитыми и ранеными. И все же к ночи полновластными хозяевами в городе стали республиканские войска, а фашистский генерал Годед, который прибыл в Барселону возглавить мятеж — только утром его гидроплан сел в гавани,— был вместе со своими прихвостнями взят в плен. Президент Каталонии Луис Компанис сумел убедить генерала, чтобы тот выступил по радио. Обращаясь к своим сообщникам, Годед заявил, что он находится в руках противника и продолжать борьбу бессмысленно.

Наутро из сообщений мадридского радио мы узнали, что в Мадриде и многих других городах мятежники также потерпели поражение. Правда, в отдельных областях страны фашистам удалось временно захватить власть, и, кроме того, имелись сведения, что на испанской земле высадился генерал Франко, ведя за собой иностранных легионеров и марокканские войска. И все же в основном у людей было такое ощущение, что вооруженный мятеж провалился и в скором времени по всей стране вновь восторжествует республиканское правление. Разве мы знали тогда, что немного спустя из нацистской Германии и фашистской Италии хлынут в Испанию на подмогу Франко орудия, танки, самолеты, десятки тысяч солдат. Разве мог кто-нибудь поверить, что Республике, законному, избранному народом правительству Испании на основании Пакта о невмешательстве откажут в праве получить оружие...

Война всегда ужасна, но всего ужасней — гражданская война. Такая, когда сосед идет на соседа, брат на брата, сын на отца. Такая, какой суждено было два с половиной года терзать мою любимую страну. Они были похожи на страшный сон, эти годы,— мучительный и беспросветный сон. Благородные деяния Республики утонули в крови. Погибли лучшие из лучших, цвет испанской молодежи,— погибло бессчетное множество женщин и детей. Сотни тысяч испанцев вынуждены были бежать на чужбину. Какой же мерой измерить эту бездну человеческого страдания?..

Сразу после того, как мятеж в Барселоне был подавлен, за несколько недель сложилось грозное положение. Фашистов разбили, однако это вовсе не означало, что прекратилось насилие и улеглись страсти. Мятеж, беспорядки взбаламутили людей, гибель соотечественников привела их в исступление. Жажда отмщения толкала многих на самочинную расправу. В этом смысле особенно распоясались анархисты, а их дви-

жение было в стране чрезвычайно мощным. Они огульно уничтожали не только заведомых врагов Республики, но и тех, кого лишь подозревали в профашистских настроениях. Анархисты жгли церкви и отпирали двери тюрем. По городам и окрестностям разгуливали уголовные преступники и шайки молодых хулиганов, бесчинствовали, грабили. Законная власть рушилась на глазах. Наступал хаос.

Такой поворот событий потряс меня до глубины души. Пора было принимать чрезвычайные меры, дабы пресечь беспорядки, и я пошел заявить об этом в генералитат.

— Нельзя терпеть того, что сейчас происходит,— говорил я.— Творятся чудовищные преступления, совершается чудовищная несправедливость. Страдают ни в чем не повинные люди, и им нет числа. Так, например, под Вендрелем анархисты и их приспешники силой отбирают все автомобили. Больных не на чем доставить к врачу или в больницу. Нужно послать в такие места солдат и навести порядок.

— Мы делаем все, что в наших силах,— услышал я в ответ,— но мы не всегда можем справиться с тем, что происходит.

— Вы позорите доброе имя Республики,— сказал я.— Если вы не справляетесь, значит, вам следует подать в отставку.

Мне сказали:

— В этом случае Каталония вообще лишится правительства.

Я пошел в штаб анархистов. Что это были за странные люди! Они выслушали меня с почтением, но я чувствовал, что до них не доходит смысл моих слов. Они считали, что их действия вполне оправданы. Ведь многие из них были анархистами по убеждению, они принципиально не признавали никакой власти и не считались с законом.

— Существует лишь один закон,— сказали они мне.— Это — воля народа.

У меня было такое ощущение, что во многом эти люди — просто дети.

Однажды в Сан-Сальвадоре, когда я сидел дома и играл на виолончели, ко мне в комнату ворвались вооруженные незнакомцы. Их было двое.

— Мы пришли арестовать сеньора Реннона,— объявили они.— Нам сказали, что он находится здесь.

Сеньор Реннон, коммерсант из Барселоны, был хозяином загородного дома по соседству со мною. Я сказал, что у меня его нет, и незнакомцы ушли. Вскоре, однако, они возвратились, ведя с собой моего соседа. Следом, рыдая, шла его жена. Один сказал:

— Мы хотим позвонить от вас в Вендрель, чтобы за этим человеком прислали подводу.

Эти слова могли означать только одно: моему соседу грозила смертная казнь. Я сказал:

— Если отсюда кто-нибудь и позвонит по телефону, то не вы, а я. И никуда вы этого человека не заберете.

Они поглядели на меня с выражением, не предвещавшим ничего хорошего, и первое мгновение было неясно, что сейчас произойдет. Но вот они как будто смешались и объяснили, что выполняют приказание, которое получили от мэра Вендреля. Я тут же позвонил мэру. Думаю, что он догадался по голосу, как я возмущен. Он ответил:

— Помилуйте, должно быть, произошла ошибка. Я посылал этих людей совсем не сюда.

Я передал непрошеным гостям, что сказал мэр, и потребовал, чтобы они немедленно покинули мой дом, а сосед останется у меня. Было видно, что они кипят от ярости. И все-таки они ушли. Этот случай достаточно ясно показывает, как в те дни подчас вершили то, что принято называть правосудием.

Такое творилось не в одной Каталонии. Недостаток твердой власти и порядка ощущался также и в других частях страны. Члены правительства, профсоюзные лидеры и иные видные деятели Республики обращались по радио к согражданам, призывая их уважать законы и не устраивать самосуд. Однако прошла не одна неделя, пока правительство сумело по-настоящему вернуть себе всю полноту власти.

Во всякой войне, конечно же, не обходится без проявления насилия и произвола с обеих сторон, да и что есть сама война, как не величайшее из проявлений насилия и произвола? И все же в отношении гражданской войны в Испании необходимо сделать одну оговорку. В тех случаях, когда нарушения закона и справедливости допускались на территории Республики, они не были следствием политики, проводимой правительством, нет, то были действия безответственных авантюристов, противников порядка, которые воспользовались сложностью обстановки, неразберихой, сумятицей. Правительство осуждало эти бесчинства и старалось пресекать их всеми мерами.

Иное дело — фашисты. Фашистские главари не только не противодействовали разнузданным жестокостям и беззакониям, которые совершались на захваченных ими территориях, но, напротив, потворствовали им. Для них террор был средством, при помощи которого они проводили свою официальную политику. Террористические акты планировались заранее и осуществлялись посредством расправ, которые военная клика учиняла в занятых ею городах — Бургосе, Бадахосе, Севилье и многих других. Их осуществляли также и на республиканской территории, подвергая систематическим варварским бомбежкам мирное население Барселоны, Мадрида и других больших городов. Эти зверские налеты, в результате которых гибли десятки и сотни тысяч ни в чем не повинных людей, гибли женщины, дети, нередко совершались на аэропланах немецкого и итальян-

ского производства. Они были первыми, эти налеты, символически изображенные в знаменитой «Гернике» Пикассо, эти зловещие предтечи бомбежек, с которыми человечеству суждено было свести столь близкое и трагическое знакомство во время второй мировой войны. Они были наглядным выражением нацистской политики Schrecklichkeit[1].

Я — не историк, не политик. Я — музыкант. И все же одно решающее обстоятельство, одну простую истину, связанную с гражданской войной в Испании, я понимал тогда с предельной ясностью. Ответственность за эту войну лежала на тех, кто стремился силой свергнуть законное, избранное народным голосованием правительство, а когда первые попытки осуществить этот замысел провалились, призвали на помощь Гитлера и Муссолини. Сегодня, я думаю, ни у кого больше не осталось на сей счет особых сомнений. Развязав вторую мировую войну, державы Оси существенно способствовали тому, чтобы люди уяснили себе смысл гражданской войны в Испании. Мне же, надо сказать, ее смысл был ясен уже в то время. Я считал и считаю до сих пор, что не пули, посланные участниками военных заговоров, а голоса, отданные народом на выборах, должны решать, быть или не быть тому или иному правительству. Выступать в поддержку Испанской республики было для меня делом принципа. Мог ли я со спокойной совестью поступать иначе?

Никогда в жизни у меня не было иного оружия, кроме виолончели и дирижерской палочки. Во время гражданской войны я как мог сражался этим оружием за правое дело — дело свободы и демократии. Я стал почетным председателем созданного музыкантами в Соединенных Штатах Комитета по оказанию помощи демократической Испании — комитета, в состав которого входили такие люди, как Сергей Кусевицкий, Альберт Эйнштейн, Виргилий Томсон, Ефрем Цимбалист и Олин Даунс. Я совершал поездки по Европе, Южной Америке, Японии, выступал с концертами, сборы от которых шли на приобретение продовольствия, одежды, медикаментов. Я уезжал за границу с тяжелым сердцем, ощущая всем своим существом, что в эту годину горьких испытаний мое законное место — на родине, рядом с моими соотечественниками. Однако Гассоль и другие в один голос твердили мне, что за границей от меня будет больше пользы. Иногда мне казалось, что меня таким образом просто ограждают от опасности; я принимался возражать, но в том, что мне говорили, была большая доля истины, я не мог не видеть этого. Я переезжал из одного чужого города в другой и готов был задохнуться от душевной боли. Газеты писали о боях, терзающих мою землю, о зданиях, охваченных огнем, о голодных детях и осажденных городах. Я знал, что пока я здесь музицирую, там рвутся бомбы. Я перестал спать по ночам. Часто за разговором с кем-нибудь у меня возникало такое чувство, будто меня при этом нет, а разговаривает кто-то другой. После концертов я уходил бродить по улицам один, изнывая от бессильной тоски...

Время от времени я возвращался в Испанию и каждый раз видел все более страшные свидетельства опустошений и разрухи, учиненных войной. В Барселоне целые районы обратились в развалины. Со всех сторон виднелись мертвые остовы зданий. Город наводняли беженцы. Отчаянно не хватало продовольствия. Я давал концерты в госпиталях, в театрах, в приютах для беспризорных детей. С детьми обстояло хуже всего — на них невозможно было спокойно смотреть. Тысячи осиротели и лишились крова, тысячи были убиты или ранены во время бесконечных бомбежек. Только в Барселоне массированные налеты с воздуха исчислялись сотнями. Был случай, когда фашисты методически бомбили город трое суток подряд, через каждые три часа. Чем оборонялись жители Барселоны, если у них в это время не было ни единого самолета? Где укрывались от бомб, если в городе не было ни одного сносного бомбоубежища?..

Однажды, когда я проводил репетицию в театре Лисеу, началась бомбежка. Все здание театра сотрясалось от взрывов; неудивительно, что музыканты бросились врассыпную по залу. Я взял виолончель, оставленную на сцене, и заиграл сюиту Баха. Музыканты вернулись на свои места, и мы продолжали репетицию...

Сила духа, которую проявили люди,— вот что было подлинным чудом! Не только героизм солдат на поле вопиюще неравной брани, но также героизм простых мужчин и женщин на каждой улице, в каждом доме. С каким гордым мужеством они делали свое дело! Поистине — эпопея... Слова «¡No pasarán!» были у всех на устах. Все знали — лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Какая пропасть между этим девизом и недоброй известности здравицей «Да здравствует смерть!», которую провозгласил фашистский генерал Астрей, основатель Иностранного легиона в Испании!

Два случая, которые произошли со мною лично, послужат убедительным завершением разговора о полярном различии между силами Франко и силами республиканского правительства.

Первый случай связан с генералом Кейпо де Льяно, одним из сообщников Франко и главным проповедником его идей — своего рода Геббельсом испанских фашистов. Это была гнусная личность, настоящий выродок. Во время войны из Севильи, где он командовал гарнизоном, то и дело передавали по радио его выступления. Часто он обращался к республиканскому населению, и каждая его речь представляла собой набор пошлостей, пересыпанных площадными шутками — из тех, что принято называть казарменным юмором. Кроме того, он со смаком и в подробностях описывал, как бу-

[1] Здесь — устрашение *(нем.)*.

дут вести себя марокканские солдаты с женщинами — сторонницами республиканского правительства. Такой это был субъект.

Как-то вечером я услышал, что Кейпо де Льяно говорит обо мне. Говорил он вот что:

— Кстати, насчет Пабло Казальса. Я скажу вам, что будет, когда мы его изловим. Он у меня больше не поагитирует. Я отрублю ему обе руки по локоть — сперва одну, потом другую!

При этих словах окружающие — он обычно проводил передачи в присутствии целой своры прихвостней — разразились хохотом. Этот эпизод не тем важен, что имеет отношение ко мне, это как раз второстепенное обстоятельство. Важно, что он убедительно показывает, каков у фашиста образ мыслей, отношение к культуре и, особенно, как он бесчеловечен. Все в точности как у нацистов вроде Германа Геринга, которому принадлежат слова: «Когда при мне говорят о культуре, я хватаюсь за револьвер».

Второй случай связан с республиканским правительством и относится к осени 1938 года, то есть самому напряженному периоду войны, когда положение республиканцев с каждым днем становилось все более отчаянным. Однажды Гассоль спросил, не приму ли я участие в специальном концерте, устраиваемом в пользу Общества помощи детям. Концерт будет передаваться по радио. Разумеется, я согласился. Но я не знал тогда, как это собираются обставить. О моем выступлении было объявлено по радио и в газетах. Сообщалось также, что на те два часа, которые займет концерт, на территории Испанской республики будет приостановлена всякая работа! Рабочие на заводах остановят станки, на два часа отложат свои дела служащие государственных учреждений — все утихнет, и люди смогут слушать музыку! Для меня этот концерт был исполнен глубочайшего значения. Он показал, что в самые трудные минуты, когда идет борьба не на жизнь, а на смерть, мужчины и женщины способны найти время, чтобы поклониться искусству и красоте. Он был живым подтверждением неукротимости человеческого духа.

Концерт состоялся днем 17 октября в театре Лисеу. Зал был набит до предела, повсюду сидели солдаты, нередко — раненные, иных даже вносили на носилках. Присутствовали в полном составе члены правительства, включая президента Асанью и премьера Негрина, явились и представители верховного командования. Я сыграл два концерта — концерт Гайдна и концерт Дворжака. В антракте я выступил по радио с обращением ко всем демократическим государствам мира. Я произнес его дважды — по-английски и по-французски. Я сказал:

— Нельзя допустить, чтобы фашизм задушил Испанскую республику. Не совершайте это преступление. Если сегодня Гитлеру дадут одержать победу в Испании, завтра жертвами его безумия станете вы сами. Война перекинется на всю Европу, она охватит весь мир. Придите на помощь нашему народу!

Увы, к этому призыву остались глухи. В Англии у власти все еще стояло правительство Чемберлена, оно только что заключило Мюнхенское соглашение с Гитлером и опасалось навлечь на себя его немилость. Как в Англии, так и во Франции народ в подавляющем большинстве был за то, чтобы оказать помощь Испанской республике, но из-за Пакта о невмешательстве мы по-прежнему не получали оружия. Тысячи молодых американцев, образовав Бригаду Авраама Линкольна, влились в состав Интернациональной бригады и пошли воевать за демократию в Испании, однако из-за эмбарго на вывоз оружия в Испанию Республика не имела возможности договориться с Соединенными Штатами о военных поставках, хотя президент Рузвельт и был настроен к ней сочувственно. Много лет спустя я прочел, что в конце войны Рузвельт заявил в сенате, какой серьезной ошибкой было это эмбарго... Только из двух стран — России и Мексики — поступало вооружение для Испанской республики, но как этого было мало в сравнении с той лавиной солдат и техники, которую непрерывно посылали Франко на подмогу Гитлер и Муссолини. Неизбежно, неотвратимо война приближалась к трагической развязке.

Мне иногда задают вопрос: что, на мой взгляд, случилось бы, если бы государства Запада пришли на помощь Испанской республике, могло бы это предотвратить вторую мировую войну? Нельзя, понятно, переписать историю заново, и все же нет сомнений, что Гитлера можно было остановить, не дожидаясь такой чудовищной катастрофы, как мировая война. Знали же мы, что его нужно остановить, когда он двинулся по Европе, захватывая одну страну за другой. Оказывается, последней возможностью это сделать была Испания. И еще одно наверняка войдет в историю. Не где-нибудь, а в Испании народ первым взялся за оружие и поднялся на защиту демократии против Гитлера и фашизма. Жертвы, понесенные испанским народом, его героизм стали примером для всего человечества. Пусть же те, кому дорога свобода, никогда не забудут мужчин и женщин, которые один на один с врагом вели страшную битву в Испании. Дня не проходит, чтобы я не вспоминал о них. Они всегда со мной, мои незабвенные, мои благородные единомышленники и друзья — и живые, и мертвые...

В конце гражданской войны произошло одно из самых поразительных в моей жизни событий. С минуты на минуту ждали, что падет Барселона. Франко стягивал войска для решающего наступления, днем и ночью город бомбили итальянские самолеты. В некоторых районах уже начали эвакуировать мирных жителей. И вот в такой обстановке я получил из Барселонского университета уведомление, что последним официальным постановлением ученого совета перед тем, как он будет распущен, мне присуж-

дается почетная докторская степень! Меня поспешно препроводили в университет, где должно было состояться вручение диплома. Для этой церемонии уже собрались профессора, а ведь многие оставили дома жен и детей, которых надо было эвакуировать из города. Напечатать диплом не хватило времени, он был написан от руки. Какими словами может человек выразить благодарность за подобную честь?..

А через несколько дней я простился в Сан-Сальвадоре со своими братьями, их женами и детьми и уехал во Францию, покинув родную землю. С тех пор я живу в изгнании.

ИЗГНАНИЕ

Как часто на протяжении нашего века мир, в бурях войн и революций, становился свидетелем трагического бегства людей с родной земли! Всякий раз подобный Исход становился эпопеей человеческих страданий — и редкий совершался при столь трагических обстоятельствах, как бегство антифашистов из Испании в начале 1939 года. Студеной зимой более полумиллиона моих соотечественников — мужчины, женщины, дети — прокладывали себе путь через Пиренеи, с мучительным трудом одолевая на лютом морозе горные перевалы. На всем пути от Барселоны дороги были забиты беженцами. Одни ехали на легковых машинах и грузовиках, другие тряслись на телегах. Десятки тысяч тащились пешком. Сколько больных, сколько стариков унесла из жизни эта скорбная процессия! По ночам люди спали вповалку прямо на улицах встречных деревень или в поле при дороге, под леденящим дождем вперемешку со снегом. И до самой французской границы их опять и опять расстреливали с бреющего полета и бомбили фашистские самолеты.

А ведь в этом потоке изгнанников были лучшие, благороднейшие, гордость испанского народа: бойцы, поэты, рабочие, университетские профессора, юристы и крестьяне — те, кто не пожелал склонить голову перед тиранией и поднялся на защиту свободы.

Естественно было бы предположить, что когда после стольких мук эти отважные люди доберутся до Франции, их встретят с почетом и сочувствием. Увы, ничуть не бывало. Да и могли ли беженцы-антифашисты вызвать сострадание у правительства Даладье — тех самых политиков, которые недавно в Мюнхене сумели найти общий язык с Гитлером? С величайшей неохотой, лишь уступая нажиму общественного мнения, согласились они предоставить убежище республиканцам из Испании. О том, что происходит на границе, я узнавал от земляков, которые приходили ко мне в Париже.

— Наших загоняют в концлагеря,— в ужасе рассказывали они,— держат под вооруженной охраной. Обращаются как с врагами или преступниками.

Я не верил своим ушам, мне казалось, что это невозможно. Однако скоро мне суждено было воочию увидеть эти лагеря...

Когда кончилась гражданская война и я приехал в Париж, мои милые друзья Морис и Пола Айзенберги уговорили меня жить у них. Они любовно ухаживали за мною, щедро согревая меня теплом своих чутких сердец. Но ни заботой, ни вниманием невозможно было умерить мою боль. Несчастье, постигшее мою родину, сокрушило меня. Я знал, как зверствует в Барселоне и других городах Франко. Знал, что мужчин и женщин тысячами бросают за решетку, уничтожают. Варвары и тираны обратили мою любимую родину в чудовищный застенок. На первых порах мне неизвестно было, какая участь постигла моих братьев и их семьи — говорили, будто мой дом в Сан-Сальвадоре заняла фашистская воинская часть. Думать обо всем этом было невыносимо, но и не думать было нельзя. Мысли приливали помимо воли, я тонул, захлебывался в них. Я закрывал у себя дверь, спускал все шторы и подолгу сидел, уставясь в темноту. Не знаю, что я надеялся в ней найти — возможно, забвение, средство заглушить боль. Вместо этого у меня перед глазами бесконечной чередой сменяли друг друга страшные картины, которые я видел во время войны, события детских лет, дорогие мне лица, города, лежащие в развалинах, рыдающие женщины, дети... Я просиживал в своей комнате целыми днями, не в силах двинуться с места. Я не мог ни с кем видеться, говорить. Наверно, я был недалек от безумия — может быть, от смерти. Во всяком случае, мне не хотелось жить.

Наконец, Айзенберги упросили меня встретиться с Гуарро, старым и добрым моим знакомым из Барселоны. Он после рассказывал, что был потрясен моим видом — меня было не узнать. Час проходил за часом, а он все разговаривал со мною.

— Вам нельзя больше оставаться в Париже,— говорил он.— Нужно немедленно уезжать.

Он советовал мне отправиться в городок на юге Франции, неподалеку от испанской границы — во французской Каталонии. Называется этот городок — или, верней даже, селение — Прад.

— Понимаете, там многие даже говорят по-нашему. Вам будет казаться, что вы в Каталонии.

Я отвечал, что не стоит и пробовать, но он настаивал на своем.

— Там рядом лагерь беженцев,— говорил он.— Вы будете среди своих. Им нужна ваша помощь — им необходимо помочь.

В конце концов я сдался.

Так и случилось, что весной 1939 года я оказался в Праде. Мог ли я вообразить тогда, что проживу в этом крошечном, затерянном в Пиренеях городишке целых семнадцать лет! И как ни грызла меня тоска, все же у меня действительно отлегло от сердца. Извилистые, вымощенные булыжником улочки, беленые домики под красными черепичными крышами, акации в весеннем цвету — можно было подумать, что тут не Франция, а одна из знакомых сызмальства каталонских деревушек. Да и вокруг все мне казалось родным, привычным. Живописный узор фруктовых садов и виноградников, скалистые нелюдимые горы, где по склонам там и сям лепились старинные, еще римлянами поставленные крепости и средневековые монастыри,— все это в точности напоминало какие-то уголки моей родины. Недаром еще несколько столетий назад эти места искони принадлежали Каталонии.

Поселился я в единственной местной гостиничке под громким названием «Гранд-отель». Нельзя сказать, чтобы я устроился по-царски, однако вид, который открывался из окна моей тесной комнаты, был поистине достоин услаждать взоры монархов. Рядом — рукой подать — вздымалась к небесам гора Канигу. Эта величественная вершина, воспетая в стихах любимого в Каталонии поэта Жасинто Вердагера, исполнена в глазах всякого каталонца особого значения. На одном ее гребне возвышается в благородном уединении аббатство Святого Мартина, возведенное в начале XI века графом Гифредом. Если верить преданию, прадед графа — основатель династии каталонских правителей — был человеком, который дал каталонцам их флаг: четыре полосы на желтом поле. Смертельно раненный в бою, он омочил пальцы в собственной крови и, проведя ими сверху вниз по щиту, провозгласил:

— Отныне это наш флаг.

Вскоре по приезде в Прад я побывал в нескольких концентрационных лагерях, где томились беженцы из Испании. Их было предостаточно кругом — и Ривзальт, и Верне, Ле Булу, Сетфон, Аржелес... То, что я там увидел, было похоже на дантов «Ад». Десятками тысяч мужчин, женщин, детей сгоняли вместе, как домашний скот, и держали за колючей проволокой, где им служили жильем — если тут приемлемо это слово — палатки и ветхие лачуги. Водопровода, канализации, медицинской помощи не было и в помине. Воды не хватало, пищу же выдавали с таким расчетом, чтобы люди не умирали с голоду — и только. Примером мог служить лагерь в Аржелесе. Сюда, на открытые площадки среди прибрежных песчаных дюн, согнали более ста тысяч беженцев. Стояла зима, однако людям не предоставили никакого крова, и, чтобы хоть как-то уберечься от проливных дождей и свирепых ветров, многие рыли норы в сыром песке. Первое время собирали плавник и грелись у костров, но скоро топлива не стало. Холод, голод, болезни буквально косили людей. Когда я приехал в Перпиньян, там не хватало больничных коек для умирающих и больных.

Увидев, в каких чудовищных условиях содержат тех несчастных, которые попали в лагеря, я понял, что у меня один долг, одна задача. Вместе с немногими друзьями, которым, подобно мне, посчастливилось сохранить свободу, я немедленно принялся налаживать помощь лагерным узникам. Комнатка, которую я снимал в «Гранд-отеле», служила нам штаб-квартирой. Мы направляли письма — я собственной рукой писал их сотнями — организациям и частным лицам во Франции, Англии, Соединенных Штатах и других странах, описывали бедственное положение беженцев и просили оказать им посильное содействие. Результат превзошел все ожидания. В Прад хлынул поток пожертвований: продукты, одежда, лекарства, деньги. Мы работали без передышки, день и ночь, вели нескончаемую переписку, грузили ящики с продовольствием и вещами на машины, которые доставляли их в лагеря. Мне случалось самому сопровождать грузовики и помогать при раздаче. Конечно, того, что мы привозили, всегда не хватало — нужда была такая отчаянная, нуждающихся так много!

Я старался бывать в лагерях как можно чаще. Всякий раз я ехал со страхом, наперед зная, какие увижу страдания,— и всякий раз потом лишался сна. Но я знал также, как велика у заключенных потребность видеться и говорить с земляками, которые живут на свободе. Со многими беженцами, особенно из дальних лагерей, куда мне трудно было наведываться регулярно, я стал переписываться. Каждый день я часами писал письма и открытки, переводил лагерникам деньги, подбадривал добрым словом, стремясь хоть как-то облегчить их участь! Видит бог, все мои усилия были каплей в море. И какой благодарностью платили мне эти люди! Как мужественно, с каким достоинством сносили они свою горькую долю!

Спустя немного эту работу стал делить со мною каталонский поэт Жоан Алаведра, с которым мы были близко знакомы в Барселоне. Этот человек сочетал в себе неистощимую энергию и разностороннюю одаренность. В дни Республики он состоял помощником при президенте Компанисе и под конец войны с женой и двумя детьми перебрался через границу. Ему не нужно было рассказывать об условиях лагерной жизни — этот талантливый художник сам не одну неделю провел в лагере, и ему стоило больших трудов вырваться оттуда. Теперь он снял рядом со мною комнату в «Гранд-отеле», и мы сделались неразлучны. Он все тревожился о моем здоровье — меня мучили сильные головные боли, временами подкатывала дурнота. Алаведра говорил, что

я слишком много взвалил на себя. Какое там — я благоденствовал в сравнении с теми, кто находился в лагерях! Он дал мне трость, чтобы стучать к нему в стену, если мне вдруг сделается худо ночью.

Время от времени, чтобы пополнить фонд помощи беженцам, я выступал в Париже или других французских городах. Приглашения приехать с концертами приходили мне из многих стран, но я не мог их принять. Слишком много дела было в Праде, я мог позволить себе отлучиться лишь на два дня. К тому же нередко мне просто было трудно играть. Я столько писал, что у меня начинали дрожать пальцы.

В сентябре, когда со времени окончания гражданской войны не прошло еще полугода, в мире разразилась та самая катастрофа, которую я предчувствовал с таким душевным содроганием, наступление которой предсказывал, когда призывал остановить Гитлера еще в Испании: Гитлер вторгся в Польшу и развязал вторую мировую войну.

Музыканты и просто друзья в Англии и Соединенных Штатах осаждали меня письмами, уговаривая оставить Францию и поселиться у них. Меня глубоко трогала их забота о моей судьбе, их заманчивые предложения создать все условия, чтобы я мог опять заниматься музыкой. Помню, мне предложили чуть ли не четверть миллиона долларов за то, чтобы выступить с концертным циклом в Соединенных Штатах! Но я знал, что теперь мне тем более место здесь, во Франции. Здесь я делал свои первые шаги на музыкальном поприще, здесь открылась предо мною калитка в большой мир, с этой страной меня связывали давние и заветные узы. Мог ли я покинуть ее — ставшую мне как бы вторым домом — в час, когда ее постигла беда? И еще сильней меня удерживало на месте чувство долга перед соотечественниками, брошенными в концентрационные лагеря. Я продолжал работать, помогал беженцам, изредка выступал с концертами, сборы от которых шли в их пользу.

Летом 1940 года в ходе войны наступил зловещий перелом, и события разом приняли угрожающий для меня оборот. Гитлер внезапно двинул свои армии на Запад. За какие-нибудь три недели они, сметая сопротивление, прокатились по Голландии и Бельгии и вторглись в глубь французской территории. Войска союзников отступали по всем фронтам. Сопротивление французской армии на глазах иссякало — ходили упорные слухи об измене в верхах. Как-то в начале июля нам дали знать, что немцы уже на подступах к Парижу,— дни столицы сочтены, а не сегодня-завтра должна капитулировать и сама Франция. Сообщали также, что с минуты на минуту Франции объявит войну Франко и, перейдя через Пиренеи, захватит французскую Каталонию.

Мы с Алаведрой решили, что наступило время уезжать из Прада, ясно было, что остаться — значит попасть в руки к фашистам, либо немецким, либо испанским. Нам сказали, что есть вероятность получить места на пароходе «Чамплейн», который на днях уходит в Америку из Бордо. Но каким образом попасть в Бордо? До города двести с лишним миль, а транспорт в стране практически бездействовал. Алаведра ухитрился разыскать двух шоферов такси, которые согласились отвезти нас. Все письма, какие у нас хранились, мы сожгли — боялись, как бы иные из них не навлекли опасность на беженцев-антифашистов, если в Прад войдут гитлеровцы или франкисты и начнутся аресты. Потом мы наспех собрали самое необходимое и вместе с женой и детьми Алаведры и кое с кем из друзей уехали на двух машинах.

В Бордо мы застали совершенное светопреставление. Город наводняли многотысячные толпы — спасаясь от немцев, люди бежали к югу в надежде переправиться за границу. По улицам было ни пройти, ни проехать от грузовиков, повозок, легковых машин, груженных мебелью и домашним скарбом. Повсюду царила полная неразбериха и сумятица, безудержно множились слухи. Одни говорили, что в город вот-вот войдут немецкие танковые части, другие утверждали, будто его скоро начнут бомбить с воздуха. Алаведра принялся выправлять для всех нас паспорта, я окончательно расхворался, и от меня пользы было мало. Он узнал, что в городе находится мой старый друг и собрат по искусству Альфред Корто, и отправился к нему. Алаведра знал, что у Корто большие связи среди тех, кто пользуется во Франции влиянием, и надеялся заручиться его поддержкой. Но Корто сказал, что ничем не может нам помочь. Когда Алаведра стал говорить, что я совсем плох, он лишь ответил:

— Что ж, пусть выздоравливает. Кланяйтесь ему от меня.

Он не пришел повидаться со мной. Я тогда не мог взять в толк, чем вызвано такое поведение, но вскоре Корто стал открыто сотрудничать с нацистами, и тогда, как ни грустно, я понял, отчего он так вел себя по отношению ко мне. Чего только люди не совершают из страха или честолюбия — ужасно, как подумаешь...

Неведомо как Алаведре все-таки удалось достать нам и паспорта, и билеты на «Чамплейн». Но только мы собрались ехать в порт, где должно было ошвартоваться наше судно, как услышали весть о том, что «Чамплейн» разбомбили немецкие самолеты и он затонул.

Мы не знали, что делать. Мы валились с ног от голода и усталости. О том, чтобы найти в Бордо место в гостинице или иное пристанище, не могло быть и речи — даже поесть в кафе было невозможно. Оставалось одно: вернуться в Прад. На том и порешили. Мы сели в наши такси и двинулись назад. Казалось, ему не будет конца, этому пути обратно. Сплошной поток беженцев и войсковых частей запрудил все дороги.

Мы продвигались ползком — двое суток понадобилось нам, чтобы доехать обратно. Первую ночь мы спали в машинах. На вторую, часам к двенадцати, добрались до Прада.

Остановились у «Гранд-отеля», вышли. И увидели на двери висячий замок. Алаведра забарабанил в дверь. Из окна выглянул хозяин гостиницы. Когда Алаведра объяснил, почему нам пришлось возвратиться, он сказал, что наши комнаты уже заняты. Алаведра взмолился, чтобы он пустил нас хотя бы переночевать, ведь один из нас болен.

— Того и гляди, в город нагрянут немцы,— отвечал хозяин гостиницы.— А ну как пронюхают, что я укрывал в своем доме Казальса. Все знают, что он враг нацистов. У меня семья, надо и о ней подумать.

Тем временем проснулся и вышел на шум сосед, владелец табачной лавки. Он предложил переночевать у него.

— Вы уж меня извините,— сказал он.— Лишних кроватей в доме нет. Но у вас будет по крайней мере хотя бы крыша над головой.

И мы легли спать на полу.

Много я видел за долгие годы добра от людей, много мне дарили подарков. Но один дар был и будет драгоценен для меня, как никакой другой,— тот ночлег в скудном жилище владельца табачной лавки.

Назавтра мы нашли себе временный приют в одной городской квартире, а еще немного спустя нам совсем повезло, и мы сняли на окраине города целый дом. Домик был маленький, двухэтажный и стоял поодаль от проезжей дороги в глубине дивного старого сада, посреди деревьев. Алаведра с семейством заняли первый этаж. Я же со своей виолончелью и довольно дряхлым пианино, купленным тут же, расположился в комнате под самой крышей. Усадьба эта называлась «Вилла Колетт». На ближайшие десять лет ей суждено было стать мне домом...

Когда Франция капитулировала и в Виши образовалось правительство во главе со стареющим маршалом Петэном, положение наше в Праде день ото дня становилось все более незавидным. Правда, гитлеровцы пока еще не захватили юг Франции, однако и здесь к власти повсюду пробивались те, кто сочувствовал фашистам и готов был работать на них. Я, как прежде, пытался делать все, что в моих силах, чтобы помочь испанским беженцам в концентрационных лагерях,— давал сольные концерты в Перинья-не, Марселе и других городах, собирал для них деньги. Но помогать было все труднее. Лагерным узникам доставалось хуже прежнего, многих заставляли работать в так называемых рабочих батальонах, которые представляли собой не что иное, как разновидность рабства. Шли месяцы, и росла отчужденность, окружавшая меня. В городе одни относились ко мне с неприкрытой враждой. Другие, с кем мы прежде были на дружеской ноге, отворачивались, встречаясь со мною на улице. Я знал, что они в трудном положении, они боялись общаться со мной, потому что могли пострадать за это, когда придут фашисты. И все же горько мне было в те дни. Временами я чувствовал, как сильно состарился, как оторван от внешнего мира.

Да и там, в этом внешнем мире, вероятно, тоже чувствовали, что нас разделяет глухая стена, во всяком случае, там понятия не имели, что со мной происходит. Я узнал потом, что в Соединенных Штатах появилось в печати сообщение, будто меня переправили обратно в Испанию и теперь в ожидании казни я влачу свои дни за решеткой во дворце Монжуи! Вот уж правда, что, как ни плохи дела, всегда может быть еще хуже. Если не ошибаюсь, Морис Айзенберг, который к тому времени эмигрировал в Америку, поместил в газете «Нью-Йорк таймс» письмо с опровержением. Он писал, что я все еще на свободе и даже изредка выступаю с концертами в пользу беженцев.

Впрочем, нельзя сказать, чтобы жизнь моя и тогда была совсем беспросветна. Мне думается, она вообще такой никогда не бывает, как бы скверно ни складывались обстоятельства. Оставались и среди жителей Прада у меня друзья, хоть и немногие, которые тайком навещали меня и очень скрашивали этим мое существование. Кроме того, со мною был Алаведра, был тесный кружок обитателей «Виллы Колетт». Были и другие земляки-каталонцы, которые оставались на свободе и поддерживали со мною связь. И среди них — мой добрый старый друг поэт Вентура Гассоль, тот самый, что в дни Республики занимал в каталонском правительстве пост министра культуры. С ним мы были дружны по-прежнему, и был случай, когда как раз из-за этого едва не попали в беду. Как видно, для нас обоих таилась в этом дружеском общении некая побудительная сила, очень уж часто, встречаясь, мы с ним загорались какой-нибудь заманчивой мыслью. В один прекрасный день так произошло и тут, в Праде. За несколько миль от города, у подножия горы Канигу, находилось старинное аббатство Святого Михаила Кукшанского, оно было основано в IX веке как каталонский монастырь, а в средние века сделалось культурным и религиозным центром. Потом аббатство забросили, оно пришло в запустение. В дни Республики жители каталонского города Риполя прислали для его звонницы чудесный колокол. И вот нам с Гассолем пришла в голову блестящая мысль — что, если отправиться в аббатство и ударить в этот колокол? Пусть увидят наши соотечественники, что еще жив в каталонцах патриотический дух! Сказано — сделано, мы добрались до аббатства и стали звонить. Незабываемые то были

мгновения, когда в безмятежной тишине, царящей под древними сводами, среди колонн и затененных аркад с полустершимися каменными плитами вдруг раздались могучие удары колокола и полетели во все стороны, пробуждая эхо в окрестных горах! Однако в Виши склонны были по-иному расценить эти мгновения. Когда властям стало известно от местных жителей о нашем поступке, разразился скандал. Перпиньянская газета поместила на первой полосе статью, в которой нас с Гассолем обвиняли во всех смертных грехах, именуя, во-первых, красными, во-вторых, анархистами и в довершение всего — убийцами. А ведь мы были ни то, и ни другое, и ни третье. Просто два каталонца — поэт и музыкант.

В те дни узнавать о событиях в мире было неоткуда, разве что из органов официозной пропаганды вроде этой перпиньянской газеты. Читать их было нестерпимо тягостно, и не менее тягостно было слушать провишистские радиопередачи. Но был у нас другой, негласный источник информации, который неизменно поддерживал в нас бодрость и не давал угаснуть надежде даже в самые тяжкие времена. То была британская радиовещательная корпорация. Как жадно мы ловили эти ночные выпуски последних известий из Лондона, как смаковали мельчайшие подробности! Из сообщений Би-би-си узнали мы в 1941 году, что в войне против держав Оси участвуют отныне Россия и Америка, и поняли, что теперь разгром черных фашистских полчищ — лишь дело времени. По Би-би-си слушали на другой год обнадеживающие новости о все более широких военных действиях союзников, о сокрушительных поражениях фашистов под Сталинградом, о внушительной победе англо-американских войск в Северной Африке. С каким торжеством мы их слушали!

Впрочем, как скоро показал ход событий, по-настоящему радоваться было рано. В ту зиму, предохраняя себя от ожидаемой высадки союзников на континент, Гитлер оккупировал и юг Франции. В Прад вошли немецкие войска. Впервые я жил среди людей, носящих ненавистную свастику. С того дня как в Германии пришел к власти Гитлер, я всегда отказывался играть в этой стране — на этой некогда столь дорогой мне родине Бетховена и Баха,— но теперь нацисты сами пожаловали ко мне. Мы были, по сути дела, пленниками у немцев.

Положение наше и до этого было тяжелое, теперь оно сделалось почти невыносимым. Мы с Алаведрой находились под неусыпным надзором нацистов. Они знали, что мы противники фашизма. Мало того, когда поблизости начали действовать французские партизаны —маки,— к ним в отряды вступали испанцы, бежавшие из концентрационных лагерей или тайно пробиравшиеся с той стороны через Пиренеи, и немцы подозревали, что мы поддерживаем с ними связь. Гестаповцы систематически устраивали у нас в доме обыски. Чего они доискивались — уму непостижимо. Впрочем, конечно, не стоит даже пробовать постичь логику фашистов. Как бы то ни было, меня поставили в известность, что если что-либо — им одним ведомое — будет найдено, мне несдобровать. По словам одного француза, который выдавал себя нацистам за их сторонника, наши с Алаведрой имена первыми значились в списке тех, кто состоит на подозрении, кого, в случае надобности, будут хватать и расстреливать как заложников.

Я постоянно жил в ожидании ареста. Но, по-видимому, гитлеровцы опасались, что подобная акция может вызвать слишком много шуму. Они знали, что у меня много друзей в разных странах. Свидетельством тому служило хотя бы то, что, когда нацисты заняли Прад, группа видных музыкантов Америки, включая таких, как Тосканини, Орманди и другие, обратилась к правительству Германии с ходатайством, чтобы меня выпустили из Франции и дали разрешение на беспрепятственный въезд в Португалию. Ну, а потом не исключено, что даже в нацистской Германии могли отыскаться какие-то облеченные властью личности, по привычке почитающие себя любителями музыки.

Итак, я продолжал жить на свободе, а вернее сказать, только под домашним арестом, ибо к этому на деле сводилась моя свобода, однако жизнь для меня стала в буквальном смысле слова борьбой за существование. Продуктов не хватало и раньше, но как же резко ухудшилось снабжение продовольствием при фашистах! Они подкармливали своих подручных, прочим предоставлялось право умирать с голоду. У нас на «Вилле Колетт» рацион состоял главным образом из вареного турнепса, фасоли да кое-какой зелени. Молоко и мясо стали недосягаемой роскошью. Если удавалось раздобыть две-три картофелины, мы задавали пир. Когда кто-то заболевал, достать лекарство было невозможно. Зима приносила с собой новую заботу — холод. Угля у нас не было совсем, дров — очень мало. Каждый день я выходил на улицу и, прихрамывая, опираясь на трость, плелся подбирать сучья и ветки, упавшие с деревьев. Пальто я не снимал и дома. Я вообще существо зябкое, а тут меня стал донимать еще и ревматизм. Играть на виолончели становилось все трудней, хоть я не переставал упражняться. Почти все время я чувствовал себя разбитым, больным.

Но вот летом 1943 года произошло событие, которое, как я понимаю, оглядываясь назад, в значительной мере помогло мне продержаться до конца войны. Я начал сочинять свою ораторию «El Pessebre». Нет сомнений, что во мне назрела настоятельная потребность в подобного рода работе...

...Два года я упорно работал над этой вещью. Подчинить работу твердому распорядку было нелегко — отвлекало то одно событие, то другое, а иногда от голода и усталости трудно было сосредоточиться по-настоящему. И все же с утра, на свежую голову, сыграв по обыкновению на рояле Баха, я каждый день несколько часов подряд

писал музыку. Несмотря на все лишения, сомнения, горести, которые сыпались на нас, работа дарила мне бодрость духа. Вокруг свирепствовала война, я же писал о том, кого называют Князем мира, и, хоть из песни о нем не выкинуть слов о человеческом страдании, все же в ней поется и о тех временах, когда пройден будет долгий путь испытаний и человек наконец-то обретет счастье.

Когда наступало рождество, мы с друзьями совершали маленький обряд, посвященный той части оратории, какая к тому времени оказывалась готова. Мы собирались у пианино в моей комнатке, пели песнь Иосифа и рыбака, работника и пахаря, хор волхвов и ангелов. И голоса наши сливались воедино в том месте, где хор верблюдов и пастухов скорбно вопрошает:

...Как круты перед нами
Склоны гор...
Долго ль скитаться нам еще
В чужих краях,
Когда нас так гнетет усталость?

Как-то утром я сидел у себя в комнате и работал над «El Pessebre», как вдруг услышал, что к дому подъехала машина. Я посмотрел в окно. По саду шли три немецких офицера. Постучали в парадную дверь, чей-то голос спросил, дома ли я. Я испугался, как бы мои друзья не вздумали скрыть, что я здесь, и не наделали себе неприятностей. Я крикнул вниз:

— Пусть поднимаются сюда.

На лестнице раздались шаги, и у меня мелькнула мысль, что вот, пожалуй, и пришла минута, которой я давно боялся...

Офицеры вошли, щелкнули каблуками, выбросили руку в гитлеровском приветствии. Двое — совсем молодые, третий постарше, все трое в мундирах с иголочки, в начищенных до блеска сапогах. Крупные, откормленные, от них в моей комнатке сразу стало негде повернуться. Держались они, как ни странно, вежливо, даже подобострастно.

— Мы пришли засвидетельствовать вам свое почтение,— начали они.— Мы большие поклонники вашего искусства, от родителей мы слышали рассказы о Казальсе, о ваших концертах, на которых им довелось побывать. Нам хотелось узнать, хорошо ли вы устроены, хватает ли вам всего, что необходимо. Может быть, вам недостает угля или чего-нибудь из продуктов?

Я ответил, что у меня и моих друзей есть все, что нужно, а сам между тем старался угадать, куда они клонят.

Они с любопытством оглядели мою комнату. Пожилой — он был, по-видимому, у них за главного — спросил:

— Зачем вам жить тут в тесноте и убожестве? Отчего бы не вернуться в Испанию?

— Я противник Франко и всего, что он олицетворяет. Если б в Испании была свобода, я вернулся бы. Я не могу поехать сейчас, не заявив открыто о своих убеждениях. А людей, которые открыто заявляют о своих убеждениях, в Испании ждет тюрьма — в лучшем случае.

— Неужели вы хотите сказать, что вам нравится прозябать в этой дыре, где некому даже слушать вашу музыку?

— Я нахожусь здесь по собственной воле.

Очень скоро они добрались до сути дела.

— Знаете, вас так любят в нашей стране. Ваша музыка пользуется у немцев огромной известностью. Мы пришли передать вам от имени нашего правительства приглашение приехать в Германию. Вас приглашают играть для немецкого народа.

Я сказал:

— Боюсь, что это невозможно.

— Отчего же?

— Оттого, что на поездку в Германию я смотрю точно так же, как на возвращение в Испанию.

Наступило тяжелое молчание. Немцы переглянулись, я чувствовал, что они с трудом сдерживаются.

Потом опять заговорил старший:

— У вас неверное представление о нашей стране. Фюрер очень интересуется искусством, и ему небезразлична судьба артиста. Особенно он любит музыку. Если вы приедете в Берлин, он будет лично присутствовать на вашем выступлении. Немецкий народ окажет вам самый теплый прием. Мы уполномочены довести до вашего сведения, что вам предоставят отдельный вагон на железной дороге...

Мне было вовсе не до смеха, и все же на мгновение мне показались смешными эти люди. Вообразить, будто на мое решение может повлиять отдельный вагон! Как примитивно, как глупо. Я сказал:

— Нет, поездка для меня исключается в любом случае. У меня, понимаете ли, в последнее время обострился ревматизм, так что сейчас ни о каких концертах речи быть не может.

Спустя немного они поняли, что уговаривать меня нет смысла.

Старший спросил, нельзя ли получить от меня карточку с автографом. По-видимому, им нужно было что-то предъявить своему начальству в подтверждение того, что они действительно побывали у меня. Я дал им карточку...

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРАД

...Я долго прожил бок о бок с войной — почти десять лет минуло с тех пор, как в Испании разразилась гражданская,— и когда в Европу пришел мир, первое время чудилось, что все это лишь снится. Волна ликования захлестнула Францию. Пьянящий воздух вольности, победы кружил людям головы. И как же круто переменилось вмиг мое положение! Казалось, все только и думают, что бы такое еще для меня сделать. С утра до поздней ночи — интервью, приемы, торжества по случаю присуждения мне различными заведениями почетных степеней, моря разливанные на банкетах. А мне на этих банкетах нет-нет, да и приходило в голову: чего бы я только не отдал всего несколько месяцев назад за одну-единственную булочку, какие теперь, недоеденные, в изобилии валяются по столам!.. Толпы доброжелателей окружали меня, куда бы я ни ступил; и где бы ни появился я — всюду реяли каталонские флаги. Правительство Франции наградило меня Большим крестом Почетного легиона. Меня наперебой провозглашали своим почетным гражданином французские города. Среди них оказался и Перпиньян — хвалу мне вещали заголовки на первой полосе той самой газеты, которая клеймила меня позором как злодея и убийцу, когда я ударил в колокол аббатства Святого Михаила Кукшанского!

Но как ни лестны казались мне столь щедрые знаки внимания и обильные свидетельства любви, мои мысли заняты были совсем иным. Мои соотечественники, мои товарищи по изгнанию, выпущенные на свободу из концлагерей, бредущие назад с немецкой каторги, терпели отчаянную нужду. Лишь у немногих были средства к существованию. Сколько было среди них больных, увечных, полумертвых от голода. А сколько тысяч французов лишились крова и имущества, попали в тиски жестокой нужды. Пора было браться за дело! Я давал концерты, собирал средства в фонд помощи испанским беженцам, в фонд Красного Креста, на другие такие же цели. Бывал в приютах, основанных для испанских сирот. Там за плечами каждого маленького человека стояла трагедия. Можно ли было, глядя в их полные печали глаза, утешаться сознанием, что твоя собственная судьба сложилась удачно? Не давали мне покоя и мысли о переполненных тюрьмах моего родного края. Миллионы сражались и умирали за победу над фашизмом. И теперь больше всего я мечтал увидеть свой народ тоже избавленным от фашистского гнета...

...Менее полугода прошло со дня победы над Германией, однако за столь короткое время уже появились основания для серьезной тревоги за судьбы послевоенного мира. Зловещей тенью омрачили будущее человечества атомные бомбы, которые в мгновение ока унесли сотни тысяч жизней в Хиросиме и Нагасаки. Какая страшная ирония судьбы — в тот самый час, когда одержана победа над фашизмом, грозившим стереть с лица земли цивилизацию, человек создает оружие, грозящее стереть с лица земли весь род человеческий!

Имелись и другие причины для серьезного беспокойства, которым отмечена была в то лето моя поездка по Англии. Все ненастные военные годы я мечтал, что настанет день, когда победа положит конец фашизму и освободит порабощенные им народы. И вот теперь, похоже, некие могущественные силы умышленно преграждали путь к конечной цели, которую поставили перед собою Объединенные Нации. Да, Гитлер и Муссолини были повержены в прах, но оставалась у власти фашистская диктатура, заботливо выпестованная ими в Испании. И, что самое скверное, намечались уже поползновения пойти на мировую с франкистским режимом. Облеченные властью люди отзывались о Франко с почтением, газеты расхваливали его мнимые добродетели. Мыслимо ли это? — спрашивал я себя. Неужели испанский народ — народ, который первым с оружием в руках поднялся против фашизма,— обрекут и дальше влачить свои дни под фашистским игом? Неужели осудят на вечное изгнание сотни тысяч беженцев — в том числе тех, кто воевал плечом к плечу с союзниками,— веривших, что эта победа вернет Испании демократический строй? Я содрогался при мысли, что возможно подобное вероломство, однако свидетельства его множились с каждым днем. Государственные деятели и другие видные лица пытались разуверить меня. Мне говорили, что следует учитывать сложности дипломатических отношений и набраться терпения, покуда все не устроилось. Такие советы лишний раз подтверждали, что худшие мои опасения вполне оправданны.

Я решил, что в столь ответственное время обязан выразить своими действиями резкий протест попыткам заигрывания с Франко и подчеркнуть, что моя судьба неотделима от участи моих многострадальных соотечественников. Мог ли я со спокойной совестью под гром рукоплесканий продолжать свое шествие по концертным залам и принимать награды, когда мой народ терпит такое бедствие? И когда Оксфордский и Кембриджский университеты пригласили меня на торжество по случаю при-

суждения мне почетных докторских степеней, я ответил, что при той политике, какая проводится сейчас по отношению к Испании, я не могу больше принимать подобные почести. Я заявил, что отменяю все свои ангажементы в Англии. Концерт, который мне предстояло в ноябре месяце дать в Ливерпуле, будет последним. Я предпринял этот шаг с тяжелым сердцем, но в сложившейся обстановке компромиссы были бы недопустимы.

Кое-кто из друзей уговаривал меня изменить мое решение или хотя бы повременить с ним. Майра Хесс, превосходная пианистка, с которой мы дали во время гастрольной поездки по Англии несколько совместных концертов, убедила меня встретиться с секретарем короля Георга VI и устроила нам свидание. Оно состоялось в Букингемском дворце. Я говорил во время этой встречи, что обеспечить восстановление в Испании демократического строя — прямой долг Англии и других членов Организации Объединенных Наций, и напомнил, какую пагубную роль сыграл в низвержении Испанской республики Пакт о невмешательстве, став фактическим подспорьем для Франко. Секретарь выслушал меня внимательно, с почтением и уверил, что изложит высказанные мной соображения королю. А я в глубине души знал, что это ни к чему не приведет.

Когда я вернулся в Париж, мне пришла телеграмма от сэра Стаффорда Криппса, который пользовался тогда большим влиянием в лейбористском правительстве. Он предлагал мне встретиться с ним. Но я к тому времени слишком разуверился и устал, чтобы вновь вступать в переговоры. «Мы не поняли бы друг друга,— ответил я.— Мы стали бы говорить на разных языках. Вы толковали бы о политике, а я — о принципах».

Во Франции я еще несколько раз выступил с благотворительными концертами. Вопреки всему я продолжал надеяться, что есть правительства, которые выполнят свой долг перед испанским народом. Увы — все ясней становилось, что они руководствуются в своих действиях не гуманными положениями, на которых основана Организация Объединенных Наций, а лишь интересами политики. Спустя немного времени я заявил, что, до тех пор пока отношение демократических государств не станет иным, я отказываюсь от публичных выступлений.

Я возвратился в Прад. По сути дела, я второй раз удалялся в изгнание. Не скажу, чтобы это далось мне легко, к тому же я понимал, что в мире, где властвует цинизм, мой поступок едва ли способен изменить курс, избранный державами. В конце концов, это был поступок одного человека, и только. Но что поделаешь, каждый должен жить в мире с самим собой.

Итак, в знак протеста я опять добровольно уединился в Праде, став, если можно так выразиться, музыкантом-отшельником,— с тою разницей, впрочем, что никогда уже по-настоящему не оставался один. Все теперь было совсем не так, как во время немецкой оккупации. Тогда я был полностью отрезан от внешнего мира. Теперь поддерживал с ним тесную связь. Правда, мой инструмент не звучал больше с концертной сцены, но ведь я не расстался с ним, как и с теми дорогими друзьями, которые приезжали ко мне в Прад и слали мне письма из разных стран. Кстати, со многими из тех, кто мне писал, мы даже ни разу не встречались. Часто нас с ними разделяли большие расстояния, а у меня было такое чувство, будто мы протягивали друг другу руки через моря, чтобы обняться по-братски.

Сколько радости они вносили в мою жизнь! Незабываемый пример тому — зима 1946 года, когда мне исполнилось семьдесят лет. В тот день со всего света в маленький Прад хлынула почта: письма, открытки, телеграммы, посылки — из Японии, Палестины, Соединенных Штатов, Чехословакии, Африки. Сотни, тысячи посланий! Они шли от музыкантов и профсоюзных деятелей, от писателей, ученых, священников, от испанских беженцев и бывших бойцов Бригады Авраама Линкольна. Среди поздравлений из Советского Союза была прелестная телеграмма, подписанная Прокофьевым, Шостаковичем, Хачатуряном и другими советскими композиторами и музыкантами. Говорили, что в Мексике и других странах радиостанции весь день передавали записи моих выступлений.

А вечером я сидел у себя в домике и слушал по Би-би-си концертную программу, составленную моими английскими друзьями...

...Мой друг — американский скрипач Александр Шнейдер написал мне, что у него был разговор с моим старым другом Хоршовским, и у того возникла мысль, которая привела Шнейдера в необычайное волнение. Хоршовский предлагал провести в Праде под моим руководством Баховский фестиваль. По мнению Саши, это нисколько не шло вразрез с моим решением уединиться в знак протеста. Вырученные деньги, писал он, могли бы пойти на нужды перпиньянской больницы, в которой до сих пор находились на излечении многие испанские беженцы, или, если я сочту нужным,— на иные цели такого же рода. Согласен ли я, спрашивал Саша, подумать об организации такого музыкального празднества? Так родилась идея ежегодных Прадских фестивалей.

Вначале я колебался. Я написал Шнейдеру, что кое-кто может неверно истолковать мое согласие участвовать в фестивале. Саша отвечал: «Вы не можете и дальше

обрекать ваше искусство на полное безмолвие. Если вы считаете неприемлемым для себя играть публично в других странах, отчего бы не дать возможность вашим собратьям-музыкантам съехаться из разных частей света и играть с вами вместе в Праде? Ваш протест не будет звучать от этого менее громко». Шнейдер прибавил, что в 1950 году исполняется 200 лет со дня смерти Баха, и более подходящего времени для фестиваля не придумаешь. Мои сомнения рассеялись, я согласился. Более всего меня радовало сознание, что собраны будут средства на помощь моим соотечественникам, ибо многие из них по-прежнему жили в крайней нужде.

Баховский фестиваль в Праде состоялся в июне 1950 года. Всеми приготовлениями распоряжался Саша, который, кроме того, по моей просьбе согласился взять на себя обязанности концертмейстера. Он намечал состав оркестра, договаривался с музыкантами, которым предстояло солировать,— скрипачами Йожефом Сигети и Исааком Стерном, пианистами Хоршовским, Рудольфом Серкиным и Евгением Истоминым. В программу, рассчитанную на три недели с небольшим, входили шесть Бранденбургских концертов, шесть сюит для виолончели соло, а также скрипичные и фортепьянные концерты. Выступления происходили в соборе Святого Петра, старинном здании XIV века, выходящем на городскую площадь.

Какое волнение царило в Праде, когда настал день открытия фестиваля! Городок совершенно преобразился — улицы украсились вымпелами, транспарантами, афишами, повсюду развевались каталонские флаги. Я только диву давался, откуда в крошечном Праде и окрестных деревушках взялось столько места, чтобы принять пятьдесят музыкантов — участников фестиваля и вдобавок сотни любителей музыки, которые съехались сюда на концерты. Говорили, что даже из Китая приехали гости!

— Сегодня наш городок стал музыкальной столицей мира! — сообщил мне местный лавочник.

Незадолго до первого концерта один из организаторов фестиваля спросил, не мог бы я сказать несколько слов группе гостей из Каталонии. Я подумал было, что он говорит о беженцах, но нет — оказалось, что эти люди живут в Испании.

— Но как же так,— сказал я.— Я слышал, по распоряжению правительства Франко испанских граждан, которые направляются на фестиваль, не пропускают через границу.

— А они все равно прошли,— сказал он.— Перебрались через Пиренеи тайно, пешком.

Каталонцы оказались музыкантами, профессорами, рабочими,— был даже епископ. Нашлись тут у меня старые друзья, бывшие испанские политзаключенные. Вместе с земляками пришел из Испании старик пастух.

— Я и овец своих привел с собой через горы,— сказал он мне.

В день открытия городскую площадь запрудила толпа народа. Вечером, перед тем как начался первый концерт, к собравшимся обратился с приветственным словом епископ Сан-Флерийский. Он просил, чтобы в храме после выступлений не аплодировали. Потом я заиграл баховскую ре-мажорную сюиту для виолончели соло — и фестиваль начался.

Через три недели, по окончании заключительного концерта, из рядов публики поднялись епископы Сан-Флерийский и Перпиньянский и зааплодировали. Вслед за ними встали все, кто находился в соборе, и разразилась овация.

Спустя некоторое время я получил из Японии альбом, в котором расписались сотни японских граждан, слушавших в Токио записи Баховского фестиваля. Одна страница была озаглавлена «Хиросима» и исписана корявыми буквами, выведенными детской рукой. Здесь поставили свои подписи мальчики и девочки четырех, пяти, шести лет. А наверху я прочел: «Мы родились после взрыва атомной бомбы и уже успели полюбить вашу музыку». Если бы у меня в душе и оставались какие-то сомнения насчет того, следовало ли мне играть на Баховском фестивале, их вмиг рассеяло бы такое послание от японских детей.

Баховский фестиваль вызвал такой горячий, такой восторженный отклик, что решено было проводить музыкальные фестивали в Праде ежегодно. Руководить их подготовкой опять согласился Шнейдер. Второй фестиваль состоялся в Перпиньяне, в старинном дворце королей Мальорки. Он, как и первый, прошел с огромным успехом. Предполагалось, что он соберет тысячу гостей. Приехали две тысячи. На другой и третий годы фестиваль проводился в полуразрушенном аббатстве Святого Михаила Кукшанского, том самом, где в дни немецкой оккупации мы с Вентурой Гассолем ударили в колокол, возвещая, что не угас дух каталонских патриотов,— и вообразите, никто на сей раз не назвал меня анархистом или убийцей за то, что я потревожил монастырскую тишину звуками музыки!

В дальнейшем фестивали всякий раз проводились в соборе Святого Петра — там же, где самый первый, Баховский.

Последний Прадский фестиваль, в котором я принимал участие, состоялся летом 1966 года, в канун моего девяностолетия. Много добрых друзей собралось сюда из разных стран поздравить меня, и их присутствие растрогало меня до глубины души.

Открытие было назначено на понедельник, а накануне утром два автобуса привезли из Барселоны каталонских рабочих. В будни им нельзя было отлучиться с рабо-

ты, вот они и приехали в воскресенье. Встали до рассвета и тронулись за сто пятьдесят миль через горы в Молит-ле-Бэн, деревушку неподалеку от Прада, в которой я жил. Это были большей частью либо члены основанного мною в 1928 году в Барселоне Рабочего филармонического общества — распущенного после того, как власть захватили фашисты,— либо сыновья и дочери бывших его членов. Они собрались перед моим домиком, преподнесли мне цветы и исполнили в мою честь серенаду силами маленького струнного оркестра, сыгравшего моцартовскую «Eine Kleine Nachtmusik»[1]. И потом уехали.

Под конец фестиваля меня навестила еще одна группа соотечественников. Это были мои земляки, жители моего родного Вендреля. Среди них оказались и члены любительского хора, который сто лет назад был основан там моим отцом и существует по сей день. Группу сопровождали мэр Вендреля и местный священник. Верные традициям каталонских праздников, так хорошо мне знакомых с детских лет, вендрельцы образовали под моим балконом живую пирамиду. Самый сильный стоял на земле, а остальные, стоя друг у друга на плечах, подняли наверх маленького мальчика, который держал в руках бурдюк с вином. Я взял мальчика на руки и прямо из бурдюка отхлебнул вина. Малышу я подарил на память свою трубку.

Вендрельцы, одетые в каталонские народные костюмы — белые рубахи, подпоясанные красными кушаками, красные платки на голове,— сплясали сардану. Потом они запели, и я узнал свое сочинение для хора, посвященное Вендрелю.

Мое сердце переполнилось — я хотел открыть его землякам.

— Люди Вендреля, друзья мои,— сказал я,— я чувствую, что вы пришли не только навестить меня, но и просить, чтобы я тоже побывал у вас. Об этом я мечтаю с того самого дня, как покинул нашу милую землю. Но я говорю вам: вера в народ Каталонии дает мне силы противиться этому желанию. Я надеюсь, что все-таки доживу до того дня, когда вновь увижу и красивую звонницу нашей церкви, чьи колокола мы так любили слушать, и ангела-хранителя, и орган, на котором играл мой отец, а я ему помогал, когда мне было девять лет. Прошу вас, помните, как много все это значит для меня, а главное — помните, как я люблю Вендрель и всех вас. Спасибо, мои дорогие, что вы ко мне пришли.

С каждым из них мы обнялись. Поплакали вместе — от печали, от радости. Потом они расселись по автобусам и уехали назад в Каталонию.

EL PESSEBRE

Я, как миллионы и миллионы других, надеялся, что победа над фашизмом во второй мировой войне принесет миру великие перемены. Я ждал, что наступят времена невиданной свободы, невиданного дружества. А наступила холодная война — испытания атомной бомбы, гонка вооружений, жестокий разлад. Когда через полтора десятка лет после поражения держав Оси — после войны, которая унесла около пятидесяти миллионов человеческих жизней,— я приехал в Соединенные Штаты, люди строили личные бомбоубежища... Я с ужасом читал о школьных занятиях по противоатомной обороне — занятиях, на которых детей учили забиваться по углам, прятаться под партами. В моих глазах все это выглядело безумием — я знал, что от атомной бомбы нет иной обороны, кроме мира.

Летом 1958 года я вместе с Альбертом Швейцером обратился к правительствам Америки и России с призывом положить конец гонке вооружений и запретить в будущем ядерные испытания. Я выступил в печати с заявлением, где, в частности, говорилось:

«Я надеюсь, что в интересах будущности всего человечества Соединенные Штаты и Россия сумеют отрешиться от своих политических разногласий. Невозможно поверить, что вместо того, чтобы отдавать силы созданию более счастливого и прекрасного мира, цивилизованные люди способны и впредь употреблять их на создание новых и все более страшных орудий уничтожения».

Вскоре после этого меня пригласили выступить на торжестве, посвященном тринадцатой годовщине со дня основания Организации Объединенных Наций. Для меня этот международный форум — при всех обременяющих его работу трудностях и препонах — воплощает собой величайшую надежду на достижение всеобщего мира, и я был благодарен и рад возможности внести в ее дело лепту своею музыкой. Этот концерт вылился в необычайное событие. В семидесяти четырех странах земного шара его передавали по радио и телевидению. Никогда еще слово, сказанное языком музыки, не достигало слуха столь многомиллионной аудитории. Мы с Хоршовским играли в Нью-Йорке, в огромном зале Генеральной Ассамблеи, который находится в здании постоянной штаб-квартиры ООН. Мы исполнили баховскую сонату ре-мажор для виолончели и фортепьяно. Затем программу продолжали из Парижа американский скрипач Иегуди Менухин, русский скрипач Давид Ойстрах и индийский ситарист Рави Шанкар. Завершился концерт передачей из Женевы, где Orchestre de la Suisse Romande[2] с хором и солистами из Великобритании исполнили последнюю часть бетховенской Девятой симфонии.

---

[1] «Вечерняя песенка» *(нем.)*.

[2] Оркестр Французской Швейцарии *(франц.)*

Я по этому случаю написал послание, розданное перед началом выступления публике, собравшейся в зале Генеральной Ассамблеи. Я писал:

«Если я в свои годы приехал сюда, это не значит, что каким-либо образом изменились мои нравственные воззрения или не существует более ограничений, которым я добровольно на протяжении стольких лет подвергаю себя и свою артистическую деятельность,— нет, это значит, что перед лицом грозной, быть может смертельной, опасности, нависшей над человечеством, все иное отступает на задний план».

И далее:

«С каждым днем непрекращающаяся угроза ядерной войны приносит миру все больше мук... Как я хочу, чтобы люди всех стран — и в первую очередь матери — объединились в могучем движении протеста, заставив прислушаться к себе тех, в чьей власти предотвратить бедствие! Для всех, кому дорого человеческое достоинство, настало время действовать, чтобы добиться лучшего понимания между народами и подлинной воли к сближению со стороны противостоящих друг другу сил. Сегодня самые большие надежды на прочный мир связаны с Организацией Объединенных Наций. Да будет дана ей полная власть в ее деятельности для нашего блага. Будем горячо молиться, чтобы скорей рассеялись тучи, которыми ныне омрачены наши дни».

С тех пор я не пропускал ни одного серьезного случая возвысить свой голос в защиту мира. Я вошел в правление нескольких организаций, которые, как, скажем, Комитет борьбы за разумную ядерную политику, направляют свои усилия на то, чтобы пробудить в людях сознание, сколь велика ядерная опасность. Но таких усилий мне казалось мало. Я ощущал потребность действовать, а не говорить. Всю жизнь только музыка служила для меня оружием. Как же, спрашивал я себя, мне наилучшим образом пустить его в ход теперь? Мало-помалу у меня сложился план действий. В основу его легла оратория «El Pessebre» — «Ясли»,— написанная мною в Праде во время войны. Торжество мира, братство всех людей — вот в чем пафос этой вещи, и, стало быть, она как нельзя более подойдет для моих целей в это столь напряженное время. Я решил, что отправлюсь с ораторией по свету, буду где только можно дирижировать ею — понесу ее людям как свое личное слово в защиту согласия и мира на земле.

Кое-кто из друзей пробовал меня отговаривать, тревожась, как бы такое предприятие не оказалось непосильным для меня. Мне напоминали — справедливо, конечно,— что близок мой восемьдесят пятый день рождения. Но я считал, что раз мне, вероятно, не так уж много осталось жить на земле, значит, тем более надо действовать, пока еще есть силы. В начале 1962 года я объявил, что намерен, вооружась «El Pessebre», единолично предпринять поход в защиту мира.

— Прежде всего я человек,— сказал я,— и лишь затем уже артист. Первый долг человека — думать о благе других людей. Этот свой долг я буду пытаться исполнить с помощью музыки — средства, которым наделен от бога,— ибо музыка не ведает преград, будь то языковые и политические барьеры или государственные границы. Возможно, мой вклад в дело мира будет невелик. Но я, по крайней мере, отдам все, что могу, для торжества идеала, который почитаю священным.

Я прибавил, что средства, вырученные от исполнения оратории, целиком пойдут в основанный мною фонд помощи организациям, действующим во имя человеческого достоинства, братства и мира...

...Глубокая грусть берет меня порой, когда я оглядываюсь вокруг. В сумбуре, которому ныне подвластен мир, я вижу пренебрежение самым ценным, что только есть в жизни. Во всем, что нас окружает, заключена красота, но сколь многие слепы к ней! Они смотрят на диво, имя которому Земля,— и словно бы ничего не видят. Люди лихорадочно спешат, но редко задумываются — куда. Они ищут острых ощущений просто так, ради острых ощущений, словно дошли до последней черты и им нечего больше терять. Их не манят естественные, простые, скромные радости, которыми богата жизнь.

Каждый миг нам приносит нечто новое, неповторимое — такое, чего еще никогда не было во вселенной и никогда больше не будет. А чему мы учим в школе детей? Мы их учим, что дважды два — четыре и что Париж — столица Франции. Когда мы начнем их учить еще и тому, что есть они сами? Когда будем каждому говорить: да знаешь ли ты, что ты такое? Ты — чудо, и нет другого такого на свете. Ты неповторим. Миллионы лет стоит Земля, но точно такого, как ты, нет и не будет. Ты только взгляни на себя — как дивно устроено твое тело, твои ноги, руки, ловкие пальцы! И как это все приходит в движение! Из тебя может выйти новый Шекспир, Микеланджело, Бетховен. Нет предела возможностям человека!..

...Я внимательно слежу за всем, что происходит в Испании. Каждую неделю я получаю из Барселоны пакет с вырезками из различных газет и журналов. Здесь собраны новости обо всем, что может представить интерес,— из области политики,

культуры, экономики, из спортивной жизни. Их присылает мне один мой друг, каталонец, я встречался с ним только раз, когда он приезжал в Прад. Это человек весьма скромного достатка, однако он считает своим долгом каждую неделю без исключения присылать мне эти вырезки.

Я продолжаю выполнять обязанности почетного председателя Комитета помощи испанским беженцам — организации, основанной в Нью-Йорке после второй мировой войны для содействия испанским антифашистам, которые оказались в бедственном положении на французской земле. Правда, немало моих соотечественников, товарищей по изгнанию, сумели найти себе там работу или обосновались в Латинской Америке, но тысячи больных и стариков по-прежнему терпят во Франции нужду — многие из них были изувечены на гражданской войне, многие стали калеками позже, сражаясь вместе с союзниками против Гитлера. Сердце обливается кровью, когда узнаешь, в каких условиях они влачат существование. Большей частью они сосредоточены на юге Франции, ютятся в городских трущобах или жалких сельских лачугах, не имея подчас самого необходимого — у многих нет на жизнь даже пятидесяти центов в день. Посылать этим людям продукты, одежду, лекарства, деньги на уголь или дрова, на обучение детей — не значит заниматься благотворительностью, ибо этим мужчинам и женщинам причитается долг, и, увы, неоплатный.

Многие сейчас забыли, что произошло в Испании. Им не хочется думать о беженцах — тех, кто всем пожертвовал во имя свободы. Однако законы справедливости и морали требуют, чтобы такое не забывали — и главное, не забывали, что и поныне испанский народ живет под игом тирании. Вскоре после того как президентом Соединенных Штатов был избран Ричард Никсон, я обратился к нему с письмом о положении в Испании. Я опять писал о своем заветном желании, чтобы в моей многострадальной стране был восстановлен демократический строй, о том, какое отвращение мне внушает диктатура, насажденная там при поддержке Гитлера и Муссолини. «Я не теряю надежды,— писал я президенту Никсону,— что ваша страна, столь известная как поборник свободы, пересмотрит свое отношение к франкистскому режиму, дабы решить, оказывать ли и впредь помощь жестокой диктатуре, существующей в Испании,— ту помощь, которую она оказывает вот уже тридцать лет». В ответ пришла незначащая отписка от кого-то из помощников президента.

Конечно, за последние годы в Испании произошли существенные сдвиги. По всей стране разрастается сопротивление диктатуре — к нему примыкают студенты, рабочие, духовенство, интеллигенты,— оно вынудило франкистский режим пойти на известные уступки. В испанской печати стали даже появляться статьи, посвященные мне,— после того как Франко пришел к власти, на протяжении многих лет запрещалось упоминать мое имя. В статьях, разумеется, пишут только о музыке и никогда ни слова о моих политических взглядах. Недавно мои друзья зашли в Нью-Йорке в Бюро путешествий по Испании и получили рекламные проспекты, в которых сказано, что я принадлежу к числу выдающихся испанских граждан,— только умалчивается, что я живу в изгнании!

Недавно один мой приятель, который приехал погостить на Пуэрто-Рико, обмолвился, что скучает — три недели с лишним, как он не был дома.

— Я вас понимаю,— сказал я ему.— Тридцать с лишним лет, как я не был дома.

Может быть, я никогда больше не увижу Каталонию. Долгие годы я верил, что свобода вновь придет на мою любимую землю до того, как я умру. Теперь я уже не уверен. Она придет, я знаю, и в этом сознании черпаю радость. Я тому лишь печалюсь, что могу не дожить до этого дня.

Что ж, я, в конце концов, достаточно жил на свете и не рассчитываю жить вечно. Я думаю о смерти без страха. Умереть естественно, как естественно родиться. Но мне есть о чем жалеть. Мне жаль, что так неладно в мире, который я покидаю. Жаль, что будут горевать близкие, друзья.

Разумеется, я по-прежнему играю, упражняюсь. И делал бы это, наверно, если бы прожил еще сто лет. Разве я могу изменить своему старому другу — виолончели.

ОТСТОЯТЬ КРИТЕРИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА

Витезслав Рзоунек — чехословацкий литературовед и критик, проректор Карлова университета в Праге, руководитель кафедры чешской литературы на философском факультете. Гость Московского государственного университета, он был приглашен в СССР для чтения лекций студентам-славистам по современной чешской литературе.

В Рзоунек — автор двух монографических работ: «Реализм и современная проза» (1973) и «Против течения» (1974). Они посвящены актуальным для сегодняшней Чехословакии вопросам новаторского своеобразия литературы социалистического реализма.

Сдана в печать и третья книга нашего гостя — «Дух социалистической литературы», получившая первую премию Союза чешских писателей и Литературного фонда в конкурсе 1975 года на лучшее литературно-критическое исследование по современной литературе. В этой книге Рзоунек особенно подробно останавливается на вопросе о решающей роли февральских событий 1948 года в формировании литературы социалистического реализма в Чехословакии.

Наш разговор коснулся новинок, вышедших в 1975 году в издательстве «Чехословацкий писатель», где В. Рзоунек руководит выпуском одной из книжных серий.

— Прежде всего,— сказал наш гость,— хотелось бы назвать поэтические сборники И. Скалы «Что я беру с собой в дорогу», Д. Шайнера «Что сказало солнце», Я. Пиларжа «Круги на воде». Как отмечал сам Скала, его новая книга стихов автобиографична. В ней он возвращается в детство, заглядывает в будущее. Его стихи полны любви и ненависти, большой человеческой надежды. Позиция высокой требовательности к себе своему современнику, который обязан помнить о своем долге перед народом, перед историей, отличает и сборник Шайнера. «До самой смерти я — ученик у жизни-мастера». В этих словах поэта заключена тайна постоянного идейного и эстетического обновления его творчества. Морально-нравственные аспекты жизни современного человека составляют основу и лирики Пиларжа.

Нельзя не сказать о юбилейном сборнике «30 лет чешской поэзии», в котором собраны лучшие стихотворения чешских поэтов за последние три десятилетия. Это издание посвящено тридцатой годовщине освобождения Чехословакии Советской Армией.

Прозаические произведения, опубликованные «Чехословацким писателем», по словам В. Рзоунека, разнообразны по тематике и по жанру — это исторические романы таких известных писателей, как З. Плугарж («Стеклянная дама»), М. В. Кратохвил («Наполеон с черного острова»), Й. Томан («Сократ»), В. Каплицкий («Каинова печать») Романы из жизни современной чешской дерезни, написанные прозаиками, сравнительно недавно вошедшими в чешскую литературу,— «Трудности разлив» М. Ра-

фая, «Большая вода» Б. Ногейла, «Браконьеры» Я. Костргоуна. Повесть молодой писательницы Д. Душковой «Бобби» — о проблемах современной молодежи, повесть А. Врбовой «Венецианская» — об интеллигенции. Обратила на себя внимание книга новелл Я. Козака «Белый конь», которая возникла в результате изучения писателем жизни советской Сибири и в которой на первый план выдвигается образ гармоничной личности развитого социалистического общества. И опять-таки, два больших тома чешской прозы в юбилейном издании... Трудно все перечесть.

Чешский литературовед рассказал о новой массовой серии «Портреты писателей», выпуск которой начался в 1975 году. Уже вышли монографии И. Тауфера «Ст. К. Нейман». В. Форста «Антонин Запотоцкий». В самое ближайшее время появятся книги-медальоны Г. Грзаловой о Яне Козаке, Я. Неедловой о Вацлаве Каплицком и Я. Ворачека о Йозефе Рыбаке. В отличие от прежних изданий подобного типа, подчеркивает Рзоунек, мы решили сосредоточить внимание на творчестве тех писателей, которые представляют современную социалистическую литературу.

Речь идет в первую очередь о том, сказал Рзоунек, чтобы показать достижения литературы, раскрыть ее специфику, обусловленную тем, что она развивается в стране, построившей социализм и связанной политически, экономически и духовно с другими странами социалистического содружества, и прежде всего с Советским Союзом. Издание серии «Портреты писателей» вызвано потребностью отстоять критерии искусства социалистического реализма. Ведь в недавнем прошлом, в кризисные 1968—1969 гг., эти критерии были настолько размыты, что даже само понятие «социалистический» утратило свое подлинное содержание, вытекающее из связи литературы с борьбой рабочего класса за победу социалистической революции, за построение социализма и коммунизма. Создать широкую картину чешской и словацкой литературы социалистического реализма — такова главная задача, стоящая перед авторами серии «Портреты писателей».

Р. ФИЛИПЧИКОВА

◆

ПОЭЗИЯ ПОМОГАЕТ ЧЕЛОВЕКУ СТАТЬ ЛУЧШЕ

С творчеством Анны Свирщиньской наш журнал познакомил читателей в своем десятом номере за 1973 год. Недавно по приглашению Союза писателей СССР эта известная польская поэтесса побывала в Советском Союзе и посетила редакцию «Иностранной литературы».

Анна Свирщиньская родилась в Варшаве, в семье художника, окончила гимназию и филологический факультет Варшавского университета. В 1930 году дебютировала томиком стихов «Плющ». В 1936 году вышла ее книга «Стихи и проза». Тогда же она участвовала в известной политической забастовке польских учителей, которой руководила Ванда Василевская. В годы гитлеровской оккупации стихи Анны Свирщиньской печатались в подпольных сборниках и журналах. На тайном литературном конкурсе тех лет она получила первую премию за драму «Орфей». В период Варшавского восстания 1944 года работала санитаркой в госпиталях.

Перу А. Свирщиньской принадлежит более двадцати поэтических книг, среди которых «Лирика», «Ветер», «Я — баба», несколько пьес, которые вошли в репертуар польских и зарубежных театров, много книг для детей и юношества.

Встреча с ней оказалась столь же впечатляющей, как и знакомство с ее стихами.

Анна Свирщиньская отметила, что советские читатели откликнулись на появление стихов в нашем журнале. Она получила несколько писем. Одна читательница прислала даже написанный под впечатлением стихов портрет их автора. («Я подумала, как может выглядеть женщина, написавшая такие стихи, и набросала этот портрет»,— говорилось в письме.) «Письма очень теплые, они доставили мне большую радость»,— сказала поэтесса.

Потом разговор коснулся ее текущей работы

— Я пишу, много пишу: стихи и пьесы для театра, в основном для молодежи. Написала историческую драму «Оркона» — о славянских племенах, живших на границе немецких и славянских земель, пишу для кукольного театра, либретто для музыкальных спектаклей и балета.

Анна Свирщиньская вспомнила Варшаву военных лет. «Какая трудная была жизнь! Но и в то страшное время люди тянулись к книге; книги помогали переносить нужду, помогали выстоять. А как интересно проходили встречи с литераторами-партизанами! Анджеевский написал книгу об Освенциме. На конспиративной квартире устроили дискуссию. Партизаны приходили из леса на этот диспут».

Свирщиньская довольно бегло говорит по-русски с польским акцентом, когда русских слов ей не хватает, она переходит на родной язык, и эта смешанная польско-русская речь придает ее взволнованному рассказу особую убедительность. «Я не устану рассказывать о Варшаве тех лет, Варшаве голода и страха, обнаженного человеческого горя, о городе, где хозяйничали нацисты и гестапо. В то время не было радости, вместо радости была смерть!»

— Среди мрака, жестокости и насилия оккупационных лет не приходилось ли вам лично встречать немцев, которые проявляли гуманность или просто сочувственно относились к полякам? Ведь среди немцев, как известно, были и люди, настроенные антифашистски, или такие, кто не хотел помогать Гитлеру? — спрашиваем мы нашу гостью.

— О да, в мою память глубоко запали два эпизода, в которых я сама была в какой-то степени участницей.

Однажды в трамвае я везла чемодан с подпольной литературой. Я стояла у окна, а рядом сидел угрюмого вида немецкий солдат. Двери с шумом открылись, и в трамвай вошел военный патруль. Он приближался к нам. Один из солдат, ткнув ногой мой чемодан, спрашивает: «Чей?» Я стою молча и неподвижно. Пауза становится опасной. Вдруг угрюмый немец говорит: «Это мое!» Контроль прошел дальше. Когда трамвай остановился, мой спаситель поднялся и, не взглянув на меня, молча вышел, оставив мне чемодан.

И второй случай. Это было в поезде. В соседнем с моим купе ехало более десяти женщин и мальчик. По вагонам шел немецкий патруль. В купе, где ехали женщины, патруль под скамейкой обнаружил винтовку. «Чья винтовка?» Все молчат. «Скажете, мы расстреляем только того человека, чья винтовка, не скажете — расстреляем всех. Даем вам пятнадцать минут». Через пятнадцать минут к немцам подошел мальчик и сказал, что винтовка принадлежит ему. Мальчика повели на расстрел. Вдруг к конвою подбегает немецкий солдат, тоже ехавший в этом поезде, и кричит: «Винтовка моя! Моя винтовка! Зачем ты сказал, что она твоя?» Мальчика освободили. Когда его спросили, почему он приговорил себя к смерти, он ответил: «Ведь женщин много, лучше я один...»

Затем беседа вернулась к современности. Когда говорили о современной польской поэзии, Анна Свирщиньская сказала:

— У нас много интересных, талантливых и своеобразных поэтов. Но порой некоторые из них как бы стыдятся простого чувства, избегают моральных проблем, проявлений любви. Иногда в стихах нет живых людей, есть, в лучшем случае, эрудиция, стилистические находки и почерк той или иной поэтической школы. У меня своя теория. Я не стыжусь чувств. Я думаю, поэзия рождается из эмоций, из мыслей и идей, которыми живет поэт. Если в стихах это отсутствует, то у читателя они не вызовут отклика, он останется равнодушным и холодным.

— А сейчас поэту есть о чем говорить,— замечает Свирщиньская.— Жизнь так преобразилась; и в то же время она поставила множество новых нравственных проблем. Своим вдохновением, призывом к прекрасному, своим примером, наконец, поэт может помочь человеку стать лучше, чище, справедливее.

А. ЧУГУНОВА

Среди книг

Издано в СССР

ВСТРЕЧА С КНИГОЙ

Драматургия ГДР. Перевод с немецкого. Автор послесловия Карл-Хайнц Шмидт. Москва, «Искусство», 1975.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ...

Впервые я увидел эту книгу среди литературных новинок на витрине магазина в воскресный день. По темно-зеленому коленкору были вытиснены золотом два слова: «Драматургия ГДР». Два слова, которые приходилось уже неоднократно слышать, видеть напечатанными и произносить самому, но которые теперь по-иному врезались в сознание. Сияя на обложке объемистого тома и не будучи связанными ни с какими другими словами они обрели вдруг материальную осязаемость, весомость, зримость и заставили задуматься над смыслом того, что обозначали. День был воскресный, дверь магазина закрыта на замок. Книга лежала на витрине и будоражила любопытство. Что в ней? Какие имена? Как понимает составитель антологии, что такое драматургия ГДР?

Действительно, что включает в себя это понятие? Литературные произведения, написанные в жанре драмы? Или театральные спектакли, рожденные литературными произведениями этого жанра? То, что достойно представляет социалистическую Германию в сокровищнице мирового искусства, или же то, что еще пробивает себе дорогу, но выражает современные тенденции в развитии драматического искусства страны?

Если спросить студента, сдающего экзамен по литературе, что он может рассказать о драматургии и театральной жизни ГДР, он уверенно ответит: «Это одно из самых ярких явлений мирового театра XX века. Это Бертольт Брехт с его «Мамашей Кураж», «Жизнью Галилея» и «Трехгрошовой оперой» и Фридрих Вольф с «Матросами из Каттаро», «Профессором Мамлоком» и «Томасом Мюнцером».

Если обратиться с таким вопросом к театральным деятелям Российской Федерации, то они ответят, что это прежде всего Бертольт Брехт и... Фридрих Шиллер. Во всяком случае, среди драм, переведенных с немецкого языка и вошедших в репертуар театров РСФСР, четыре пятых составляют произведения именно этих двух авторов.

Если посмотреть на московскую афишу заключительной недели проходившего недавно фестиваля драматического искусства ГДР, картина несколько изменится, но не намного. Половину программы составляют все те же драмы Брехта и Шиллера, а половину оставшейся половины — написанная в 30-е годы пьеса Г. Гауптмана «Перед заходом солнца» и театральная инсценировка романа Л. Фейхтвангера «Братья Лаутензак». Но на этой афише мы увидим также «Кота в сапогах» Хайнца Калау и «Ван Гога» Альфреда Матуше — спектакли наших современников. Сюда же надо добавить еще Райнера Кернделя, пьеса которого «Когда придет Эрлихер?» подготовлена к премьере Литературным театром ВТО. И все.

Да, фестиваль драматического искусства ГДР — тоже подходящий повод, чтобы задуматься о том, что мы знаем об этом искусстве и ценим в нем.

Всплывают события недавней истории. На ум приходят слова, которые написал в 1949 году в своем дневнике Брехт:

Театр новой эпохи
Родился в тот вечер,
Когда в разрушенном Берлине
На сцену выкатился фургон Кураж.

А через год новая веха — озорная и политически острая комедия Фридриха Вольфа «Бургомистр Анна». Еще через два — «Зимняя битва» Иоганнеса Р. Бехера. За ней — крестьянская комедия Эрвина Штриттматтера «Кацграбен», поставленная Брехтом. И дальше снова: Вольф — драма «Томас Мюнцер», пьеса Гедды Циннер о Г. Димитрове «Чертов круг» и снова постановка «Зимней битвы» Бехера в брехтовском театре «Берлинер ансамбль»...

Да, Брехт, Вольф, Бехер заложили фундамент этой драматургии, Штриттматтер и Циннер были новыми именами. За ними вошел в сознание театральной публики Альфред Матуше, выступивший в середине 50-х годов с драмой «Деревенская улица». Потом приковала к себе внимание и вызвала споры лейпцигская премьера одноактных пьес «Рвач» Х. Мюллера и «Аксиома» Х. Байерля. А уже совсем на исходе 50-х разразились страстные дебаты о комедии П. Хакса «Заботы и власть». На этом, собственно, завершился переходный этап от эры социалистической классики, выросшей из богатого опыта общественной и художественной борьбы 20—40-х годов, к современной социалистической драматургии, рожденной утверждающимся социалистическим обществом. И первым знамением этой поры стала постановка в театре «Берлинер ансамбль» Манфредом Веквертом комедии Х. Байерля «Фрау Флинц».

Положительные и отрицательные, трагические и смешные герои этой драматургии, конфликты и идеалы, пафос и критицизм, радости и страдания, этические и политические оценки, ощущение жизни и видение действительности — все здесь берет начало в социалистическом мировосприятии авторов.

И духовным достоянием драматургов, реальностью существования делается не только замкнутая сфера семьи, улицы, завода, не только то, что происходит здесь и сейчас, а жизнь и история всего мира. Говоря о своем социалистическом «здесь и сейчас» авторы задумываются о значимости этих понятий для всего человечества. Обращаясь к «делам давно минувших дней, преданьям старины глубокой», они по-новому осмысляют то, что веками волновало людей.

Только так я могу объяснить себе совершенно очевидное параллельное развитие двух плодотворных, но прямо противоположных тенденций в 60-е годы. С одной стороны, настойчивый поиск в современной жизни интересных, драматически острых конфликтов, сюжетов, характеров, судеб, ситуаций. (Таковы К. Хаммель, Р. Кернцдль, П. Грациг, Г. Заковский, Ф. Браун, Р. Шнайдер и др.) С другой стороны, наблюдается интенсивная разработка сюжетов из мировой литературы, античной мифологии и библейских преданий, современные обработки произведений древнегреческих трагиков и комедиографов, английских драматургов елизаветинской поры и классиков европейской сцены XVIII—XIX веков. (Таковы П. Хакс, Х. Мюллер, Г. Рюккер, Х. Калау.)

И одно и другое направление в развитии драматургии способны питать живой, яркий, современный театр. Об этом свидетельствует опыт таких блестящих художественных коллективов, как «Дойчес театер» и «Берлинер ансамбль». В этом убеждает репертуар драматических сцен Лейпцига, Дрездена, Ростока, Галле, Магдебурга. В то же время сценическое воплощение замыслов раскрывает драматургам новые стороны в их собственных произведениях, поддерживает творческую фантазию, укрепляет в творческих исканиях, побуждает к новым мыслям. Это вбирание опыта практического театра неизменно чувствуется, когда читаешь работы ставших уже маститыми драматургов Хакса, Матуше, Мюллера, Кернцдля. И недаром Байерль и Грациг при публикации своих пьес благодарят режиссеров и актеров за творческую помощь и содружество.

Калейдоскопом мелькают в памяти вечера и дни, проведенные в театрах многих городов ГДР, сцены из спектаклей, беседы на репетициях, встречи с режиссерами, споры с критиками, афиши и театральные программы, названия пьес, лица актеров, имена драматургов. Ясно, что томик в темно-зеленом переплете может вместить в себя только небольшую часть того, чем богата драматургия ГДР! И снова вопрос: какие имена? Какие пьесы? По какому принципу отобраны?

...И В БУДНИЙ ДЕНЬ

Само собой разумеется, что, когда, наконец, книга попала мне в руки, я первым делом взглянул на оглавление и не нашел имен Брехта и Бехера, не нашел Штриттматтера и Гедды Циннер, не нашел многих других. С некоторыми утратами я готов был примириться. Пусть молодой и более сильный талант займет место проложившего ему путь предшественника. Но исключить из представительной антологии крупнейших художников, обеднить картину исторического явления, которому посвящена книга,— с этим трудно было согласиться даже после объяснения, найденного в послесловии, что де, мол, творчество Брехта и Бехера будет представлено отдельными книгами.

Наконец после всех волнений я задумался над теми пьесами, которые напечатаны в книге, и пришел к выводу: да, для полноты картины здесь не хватает некоторых имен, но те, что представлены, включены по праву. Они действительно знаменуют собой основные направления новейших творческих исканий, художественный уровень, многообразие стилей и богатство тем.

Десять драматургов, с которыми встречается читатель книги, помогают увидеть пре-

емственную линию в развитии жанра. Десять пьес убеждают в индивидуальной неповторимости их авторов. Внутренняя идейная взаимосвязь произведений свидетельствует о целостности художественного явления, именуемого социалистической драматургией. Творчество молодого поколения писателей демонстрирует плодотворное продолжение традиции Брехта, Вольфа, Бехера, влияние которых неоспоримо. Но это художественное влияние. Оно выражается в восхищении искусством учителей, в освоении их опыта, но никак не в эпигонстве. Можно заметить даже своеобразный парадокс: чем больше восхищение учителем, тем сильнее творческая полемика с ним.

Состязание с крупнейшими мастерами театра весьма плодотворно. Читая «Фрау Флинц» Байерля, понимаешь, что эта комедия действительно выросла из «Мамаши Кураж», является ее диалектическим обращением. Недаром обе главные роли в этих пьесах с неизменным успехом играла одна и та же исполнительница — замечательная немецкая актриса Елена Вайгель. Но в то же время в пьесе нет даже тени подражательности. Это яркая искра, высеченная столкновением театрального таланта Байерля с искусством Брехта, но в еще большей степени с проблемами послевоенной Германии.

Интересно развивают комедийный опыт и эстетику Брехта его ученики Хакс и Рюкер, пьесы которых «Мельник из Сан-Суси» и «Господин Шмидт» представлены в сборнике. Они полностью разделяют мнение своего учителя, что удовольствие мыслить является величайшей продуктивной силой человечества и сильнейшей двигательной пружиной театра. Но они весьма далеки от того, чтобы быть консерваторами бутафории «эпического театра». Петер Хакс, следуя примеру Брехта, отыскивавшего новые возможности драматургии в непрестанной полемике с «аристотелевским театром», выступил даже публично с теоретической критикой брехтовской теории и объявил себя новым адептом аристотелевской драматургии. Правда, ни в теории, ни в художественной практике Хакса нет отказа от важнейших достижений современного театра, нет возврата к устаревшим формам. Зато очевидно стремление в полной мере использовать то, что было открыто гением Брехта в «эпическом театре», во всех формах сценического искусства.

Выстроенные в последовательный ряд, пьесы сборника говорят о жизненности заложенной Ф. Вольфом традиции в освоении современной действительности. В этих пьесах зафиксированы важнейшие социальные и человеческие проблемы, с которыми оказались связаны демократические преобразования в Восточной Германии в первые послевоенные годы. Но так же, как комедия Ф. Вольфа «Бургомистр Анна» не была протокольной копией, а давала эстетическое преломление конфликтов действительности — и именно поэтому она не потеряла своей свежести до наших дней,— не являются натуралистическими слепками и пьесы «Рвач» Х. Мюллера, «Ровно в девять у «русских гор» К. Хаммеля, «Окольными путями» П. Грацига, «Когда придет Эрлихер?» Р. Керндля.

У современных драматургов ГДР разный сценический язык. Они тяготеют к разным структурным формам драмы. Калау стремится к параболической форме с симметричными ситуациями, раскрывающими противоположные стороны одного и того же явления, характера, социального типа. Его пьеса «Кувшин с маслинами» как бы вырастает из пословицы в притчу и снова выливается в пословицу. Матуше интересуется скрытыми от глаз психологическими процессами, происходящими в глубине души человека. «Песня моего пути» Матуше совершенно очевидно строится как драма положений. Мы встречаем героя в трех ситуациях трагического для истории немецкого народа 30 января 1933 года — дня захвата власти Гитлером — и являемся свидетелями внешне неожиданного, но внутренне глубоко обоснованного решения: Фред становится антифашистом Рюккер строит свою пьесу «Господин Шмидт» — это «немецкое представление с полицией и музыкой — в традиции народного театра. Перед нами своеобразный политический балаган из 16 картин с прологом и интермедиями. А рядом с этим представлением — 16 сцен «из жизни молодого автомеханика Михаэля Рунны», выписанных Грацигом крупным планом в стиле телевизионной драмы с многократными перебивами и трансформациями сцены («Окольными путями»). Кернднль любит острую ситуацию, в которой обнажается мир ценностей человека и сталкивается с объективными обстоятельствами окружающей действительности, в том числе и с ценностными мирами близких людей. Он склонен к камерности, его пьеса в двух частях для трех актеров «Когда придет Эрлихер?», по существу, лишена сценического действия. Это драма состояния. Ее драматизм вырастает из трагикомического переплетения забот, желаний, надежд, огорчений, предположений, подозрений, воображаемых любовных похождений и скрываемых семейных конфликтов, тоски по человеческому участию и непонимания, невнимательности к тем, кто рядом Хаммель же строит свою пьесу «Ровно в девять у «русских гор» на обнаженной интриге, выявляя духовные проблемы персонажей прежде всего через их поведение в ситуациях, требующих альтернативного решения.

Каждая пьеса сборника театральна и насыщена проблемами, волнующими наших современников. Некоторые из них уже нашли путь на советскую сцену. Другие наверняка привлекут к себе внимание и наших читателей, и театров. Во всяком случае, можно сказать, что благодаря этой книге состоялась долгожданная встреча любителей литературы с новейшей драматургией ГДР.

С. РОЖНОВСКИЙ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОЗА МАРИАНА БРАНДЫСА

Мариан Брандыс. Исторические повести. Племянник короля. Адъютант Бонапарта. Мария Валевская. Перевод с польского Ю. Абызова. Предисловие А. Ермонского. Москва, «Прогресс», 1974.

С творчеством Мариана Брандыса наш читатель впервые познакомился сравнительно давно: еще в начале 50-х годов были изданы в русском переводе его первые книги — цикл репортажей «Итальянские встречи» и очерково-художественный рассказ о строительстве Новой Гуты «Начало повествования». За минувшие двадцать с лишним лет М. Брандыс, автор, неизменно творчески активный (он продолжал писать и путевые очерки о далеких странах, и репортажи о польской современности, и книги для детей и юношества), в целом остался верен главной линии своего творчества. Я имею в виду ориентацию на так называемую «литературу факта», почти полный отказ от авторского вымысла (и домысла), разговор лишь об увиденном своими глазами или познанном благодаря документам и свидетельствам очевидцев, включение в повествование не только конечных результатов, но подчас и самого процесса писательского поиска. В последнее десятилетие Брандыс стал автором своего рода исторических эссе, посвященных определенному периоду — концу XVIII и первой трети XIX века, — времени борьбы за реформы и разделов Польши, европейских войн (от которых многие из поляков, сражаясь на стороне Наполеона, напрасно ждали восстановления отечественной государственности), наконец, первых лет Королевства Польского, завершившихся восстанием 1830 года. Три эссе, вошедшие в рецензируемое издание (вместе с еще двумя — «Козетульский и другие», 1967, и «Конец мира легкой кавалерии», 1972—1974), составили в целом выразительную панораму эпохи, имевшей исключительно важное значение в польской истории, периода кризиса и ломки прежних феодальных установлений, формирования нации, рождения нового патриотического сознания, первых шагов освободительного движения.

Панорама эта, конечно, своеобразна. Образ эпохи складывается не из рассказов о главнейших событиях — она отражается в судьбах отдельных людей, мотивы действий которых далеко не всегда имеют прямую и «крупноплановую» историческую обусловленность, а диктуются и конкретными житейскими расчетами, и эмоциями, и свойствами характера, и случайным сплетением обстоятельств. Читатель находит в книгах М. Брандыса не иллюстрации к основным историческим закономерностям, а главным образом показ того, через какое сложное многообразие социально-политических и человеческих взаимоотношений они проявлялись.

Еще почти полтора десятилетия назад (когда вышла лишь первая из исторических работ Брандыса) польский критик и литературовед Збигнев Жабицкий так характеризовал его прозу: «В исходном своем пункте это, как правило, репортажи о людях, а не о делах. Такой подход является очерковым и вместе с тем литературным. Очерковым, ибо речь идет о реальном и конкретном лице, показанном в реальной и конкретной ситуации, литературным, ибо это лицо бывает представлено в поэтике портрета». Думается, что последующие произведения Брандыса подтвердили меткость этого наблюдения.

Интерес к человеческой индивидуальности во всей ее сложности, богатстве, противоречивости определяет художественное своеобразие прозы М. Брандыса. Конкретность и обилие реалий обретаются на пути репортерско-исследовательского поиска. Может быть, именно стремясь получить простор для такого поиска, героями своих книг Брандыс делает не тех лиц, чьи имена встречаются на многих страницах исторических трудов, а тех, кого историки не баловали своим вниманием, о ком повествовали потомству прежде всего легенда, художественное творчество. Так было, например, с героем первой повести, Станиславом Понятовским, отодвинутым в тень другими Понятовскими: дядей-королем и Юзефом, наполеоновским маршалом; так было с Юзефом Сулковским, героем литературных произведений, среди которых на первом месте драма Стефана Жеромского, или, например, с Марией Валевской, известной у нас главным образом по современной непритязательной кинокомедии «Марыся и Наполеон».

Судьба каждого из героев М. Брандыса по-своему драматична. Это обусловлено и противоречиями человеческого характера, и конфликтами эпохи. Великолепно воссоздан писателем облик Станислава Понятовского — образованность, широту горизонтов, силу характера он соединял с магнатской гордостью, честолюбием, приверженностью

фамильным интересам. В решающий момент он не оказался рядом с передовыми борцами своего времени, а избрал тихую сень обеспеченного существования. В жизненном пути Сулковского читателя поражает разрыв между яркой талантливостью, темпераментом героя и тем, как мало удалось ему сделать для своей страны: будучи горячим патриотом, он служит в чужеземной армии и не находит себе места даже в эпопее польских легионов под наполеоновскими орлами; сторонник радикальных идей французской революции, он до конца жизни связан с «мятежной вольности наследником и убийцей». Валевская, в чью жизнь ворвалась игра политических интересов, расчетов и иллюзий, предстает как романтическое олицетворение и жертва тех противоречий, которые несла в себе с самого начала пресловутая «наполеоновская идея», сыгравшая столь заметную роль в тогдашней польской истории.

Драматизм человеческих судеб — пожалуй, одна из самых ярких примет изображенной писателем эпохи. Оптимистическое преодоление ее трагических противоречий лежит уже за пределами того, что описано в трех повестях. Читатель должен все время учитывать, что художественное повествование — не учебник истории, помнить, что в тогдашней Польше были люди (на страницах этой книги они проходят стороной), чья деятельность устремлялась в будущее, приходилась на главную магистраль истории: Тадеуш Костюшко, Гуго Коллонтай и многие другие. Он должен дополнять прочитанное тем, что знает о польской истории того времени. Польскому читателю это сделать легче, нашему, понятно, труднее. Но будет прекрасно, если книга Брандыса привлечет читательский интерес к истории братского народа.

Издание повестей М. Брандыса ценно и в другом отношении. Оно расширяет наши представления о современной польской литературе, где самую заметную роль играют весьма любимые читателем жанры: и литературный репортаж (в Польше много его блестящих мастеров, таких, как недавно умерший старейшина этого жанра Мельхиор Ванькович), и историческая публицистика (большую популярность приобрели в послевоенные годы, например, книги Павла Ясеницы и произведения Збигнева Залуского, связанные со жгучими проблемами современности, вызвавшие интересные и жаркие дискуссии). Брандыс в какой-то степени синтезирует в своей прозе характерные особенности этих жанров, и выбор его книг для перевода вполне оправдан.

К сожалению, рецензию нельзя завершить лишь изъявлением признательности издателям книги. Мы редко говорим о качестве наших переводов с польского, радуясь уже тому, что число их неуклонно растет. Но теперь, когда накоплен солидный переводческий опыт, к изданиям можно проявлять большую требовательность.

Перевод Ю. Абызова нельзя, на мой взгляд, признать безупречным. Перед переводчиком, бесспорно, стояли очень трудные задачи: воспроизвести массу специфически польских исторических подробностей, передать своеобразие стиля М. Брандыса, колорит обильно цитируемых документов отдаленного прошлого, элементы легкой языковой архаизации в самом авторском повествовании. Во многих случаях трудным местам оригинала найден удачный эквивалент. Но не избежал переводчик и досадных промахов. Приведу примеры. На странице 130-й историк Валериан Калинка назван... князем, на страницах 390-й и 511-й княжеский титул «пожалован» Гуго Коллонтаю[1]. Ни первый, ни второй князьями, конечно, не были: они были ксендзами. «Колиивщина» (крестьянско-казацкое восстание 1768 г. на Правобережной Украине) на страницах 53-й и 54-й превратилась в загадочную «калиевщину». Известный польский магнат, один из главарей Тарговицкой конфедерации, наделяется двойной фамилией: «Щенсный-Потоцкий». Но «Щенсный» вовсе не фамилия, а имя (некоторые русские мемуаристы передавали его даже как «Феликс»).

Встречаются в русском тексте и явные стилистические шероховатости. Вот примеры хотя бы из последней повести «Мария Валевская»: «одно из главных заданий этой книги», «оба эти сведения не выглядят правдивыми»; «информации... свидетельствующие о первых отношениях Лончиньских с французами»; «имеющий жительство семидесяти трех лет от роду»; «двадцатиоднолетнего капитана». Спорными выглядят стилистические изобретения такого типа, как «великодушный добродетель» (в применении к человеку). Почему не сказать просто «благодетель»? Прерываем, боясь утомить читателя.

Издательство «Прогресс» публикует книги, как правило, без развернутых примечаний. Может быть, в данном случае следовало сделать исключение, ибо в этой книге множество имен и подробностей, понятных знающему историю своей страны поляку, но нашему читателю подчас мало что говорящих. Вступительная статья А. Ермонского, очень содержательная и хорошо написанная, дает сведения о главных исторических событиях, но, конечно, не может вместить в себя всю необходимую информацию.

Конечно, жаль, что эти досадные просчеты встречаешь в удачно составленной и с любовью оформленной книге. Но их стоит признать все-таки частностями, отнюдь не перечеркивающими достоинств издания и, разумеется, не характерными для книг, выпускаемых «Прогрессом».

Б. СТАХЕЕВ

[1] По-видимому, переводчик не понял стоящего в оригинале сокращения «ks» С этих букв начинается и «ksiaze» (князь) и «ksiadz» (ксендз).

КАК ДЕРЕВО СРЕДИ РУИН

Такэси Кайко. Горькое похмелье. Перевод с японского Б. Раскина. Послесловие Т. Григорьевой. Москва, «Прогресс», 1975.

«Кроме приводящей в трепет красоты разрушения, я не познал еще другой красоты, которая потрясла бы меня»,— признается на пороге своей юности герой романа Такэси Кайко «Горькое похмелье». И само это признание, если вдуматься в него, потрясает. В нем, в сущности, звучит некий важный аспект нравственной истории целого поколения. Эти юноши не успели — к счастью своему — попасть солдатами на войну, чтобы отдать жизнь за императора. Но война успела искалечить их детство, а послевоенные развалины и «черные рынки» стали фоном для их надежд и мечтаний. И не просто фоном, но фоном активным, самым действенным образом влияющим на формирование их духовного мира.

Лауреат литературной премии имени Акутагава Такэси Кайко — известный современный японский писатель. И новая (по крайней мере, для нашего читателя) книга его, если так можно выразиться, «очень японская». И не только потому, что на каждой странице мы встречаемся с повседневными «чисто японскими» реалиями: раздвижными перегородками внутри домов, деревянными сандалиями гэта, кушаньями удон и танмэн, напитками касутори и сакэ. Самая архитектоника романа заставляет вспомнить не только о традициях японской прозы, но и о некоторых чертах своеобразного духовного склада японцев. Неподготовленному читателю построение книги, возможно, показалось бы слишком уж свободным и прихотливым. Длинная цепочка эпизодов, из которых далеко не каждый представляется поначалу абсолютно необходимым. Второстепенные, казалось бы, подробности, рассматриваемые словно сквозь увеличительное стекло. Внезапные обрывы наметившихся было сюжетных линий. Герои, исчезающие так же внезапно, как и появились,— ни один из них, кроме главного, рассказчика, не действует на протяжении всего повествования. Чувствуется, что писателя интересует не столько внешняя, фабульная сторона событий, сколько их внутренняя взаимосвязь. Можно, конечно, при желании — и даже не без оснований — установить здесь определенные параллели с явлениями западной культуры. Но прежде всего нужно говорить о глубоких корнях, которые имеет эта традиция в самой Японии — в ее литературе и в повседневной жизни. Когда рассказываешь японцу какую-то житейскую историю и собеседник время от времени поощряет тебя вежливыми полувопросами, часто замечаешь, что интересует его не столько то, «что было дальше» и «чем все кончилось», сколько другое — как все происходило. Вспомним, что и в классическом японском театре сюжет — всегда заранее известный — играет роль далеко не решающую...

Впрочем, герои Такэси Кайко мало похожи на условных персонажей Кабуки или Но в их декоративно-красивых одеяниях. Мы встречаемся с ними в последние недели войны, на сортировочной железнодорожной станции близ Осаки. Школьники-старшеклассники, они мобилизованы отбывать военную трудовую повинность: зубрят наизусть названия станций на всех магистралях Японии, помогают формировать поезда и мыть паровозы. Они голодают, над ними с ревом проносятся американские самолеты— так низко, что можно различить очки и розовые щеки летчика, школьный директор воспитывает их с помощью ура-патриотической риторики, а старик унтер — посредством циничных песенок. Они уже не дети, но еще и не взрослые люди, в них зачатки доброго и злого, трогательного и жестокого, возвышенного и низменного. Неловкий и неопрятный Осэ обладает феноменальной памятью, в нем живет фанатическая страсть к знаниям: «Когда... он принимался за книгу, от него излучалась необыкновенная сила, буквально подавлявшая нас...» Физически слабый, ехидный и коварный Кавада наделен удивительным свойством: в его руках оживают вещи — карандаш, бумага, удилище, ящичек для завтрака. «В его руках они... шалили, забавлялись,— признается главный герой.— У меня же, какие бы усилия я ни прилагал, вещи оставались неживыми, как камни, и лишь загрязнялись от прикосновения моих рук». И даже Сахо, столь покорно и угодливо лебезящий перед дзюдоистом Сакиямой, оказывается, несет в себе некую загадочную внутреннюю силу, такую, что порой, после очередной экзекуции, бывало даже неясно, кто из них двоих одержал верх...

И с невольной тревогой думаешь, читая: как же распорядится жизнь этим человеческим материалом, какие задатки смогут развиться, какие — заглохнут?

Осэ, Кавада, Сахо, Сакияма — все они исчезают со страниц романа с окончанием первой части, и ответ на свой вопрос мы можем искать лишь в судьбе героя-рассказ-

чика. Где-то в середине книги мелькнет его имя: Кэн. Но в основном перед нами, как и в известной уже нашему читателю книге «Опоздавшая молодежь» Кэндзабуро Оэ, некое безымянное «я». Роман Оэ вспомнился здесь не случайно: с «Горьким похмельем» это произведение во многом перекликается. И по времени действия, и сюжетно (как ни условно в обоих случаях понятие сюжета), и композиционно. Но если у Оэ «безымянность» главного персонажа служит своеобразным средством типизации, то у Такэси Кайко она лишь сильнее подчеркивает «исповедальный» характер повествования.

Послевоенная японская действительность хмуро и мрачно встречает юношу. В том возрасте, когда человек начинает задумываться над жизнью, сравнивать и обобщать, она «подбрасывает» ему в основном лишь материал для горьких выводов. «Не смыкают ли вообще люди на глотках друг друга длинные-длинные руки, даже не подозревая, кто чьей является жертвой?» — горестно размышляет герой еще в последние дни войны, и послевоенные перемены не опровергают этой печальной гипотезы. «С тех пор как еда в городе появилась в изобилии, люди начали умирать от голода»,— констатирует он некоторое время спустя, и в этом безжалостном парадоксе — вся экономическая сущность эпохи «черного рынка», этой простейшей модели капитализма!

И последующая «стабилизация» жизни не принесет радости герою: он ощутит полную неспособность найти свое место в каждодневном потоке деловитых и разобщенных людей, устремившихся в погоню за удачей и благополучием. Жизнь успеет к тому времени немало повертеть его в своих жестких пальцах, поиграть им, как мячиком: он будет и пекарем, и рубщиком водорослей на фабричке каких-то сомнительных снадобий, и преподавателем английского языка, которого он сам толком не знает. Он утвердится в своем восприятии мира как стихии недоброй и враждебной, его сознание привыкнет помимо воли фиксировать прежде всего низменные подробности: мерзкие запахи и даже дом, в котором ему придется жить с близкой женщиной, будет казаться ему похожим «на дупло в испорченном зубе»!

Лишь изредка заглядывал слабый луч света в мрачный мир Кэна. Так было в короткий период его работы на заводе, когда он вдруг ощутил в себе потенциальную возможность полюбить вещи, которые он сам создает, а вслед за этим полюбить и людей. Так бывало в часы, которые он проводил над книгами: среди его кумиров были Достоевский и Чехов, Гоголь и Горький, Золя и Шоу, Рембо и Франсис Жамм, писатели-соотечественники настоящего и прошлого. Но это были только минуты радости, мгновенно таявшей при первом столкновении с жестокой, отталкивающей действительностью.

Мы расстаемся с героем романа как-то вдруг — в сложный момент его жизни. Он вроде бы собрался стать писателем, посещает занятия литературного кружка, начинает понемногу печататься. Он становится отцом ребенка, нежданного и нежеланного, от близости с женщиной, такой же случайной и необязательной, как и многое в его жизни. Найдет ли Кэн в литературе свое истинное призвание, а с ним — и место в жизни? Ощутит ли себя по-настоящему отцом найдет ли в себе силы полюбить свое дитя? На эти вопросы мы не можем пока дать ответа. И все же впечатление от книги в целом — далеко не столь мрачное, как от некоторых ее страниц. Порой в самой болезненной обостренности, с какой реагирует «сердитый» Кэн на все неприятное и безобразное в окружающей действительности, мы вдруг ощущаем глубоко затаенную тоску по светлому и доброму, по истинной человеческой близости. Мы вдруг вспоминаем, что в трагическом признании «Кроме приводящей в трепет красоты разрушения, я не познал еще другой красоты, которая потрясла бы меня» — было это знаменательное словечко **еще!** Значит, герой не считает себя конченым человеком, а жизнь — безнадежно отвратительной. Значит, есть еще надежда!

Роман Такэси Кайко имеет, я бы сказал, немалое познавательное значение для советского читателя. Речь идет, разумеется, не о внешней, описательной познавательности: естественное и понятное читательское любопытство по этой части с успехом удовлетворяют хорошие очерковые книги «Горькое похмелье» Такэси Кайко, как и другие подобные книги, помогает нам заглянуть «внутрь» жизни, помогает понять, что происходит за традиционной чуть грустной улыбкой и респектабельными очками современника-японца, по преимуществу — интеллигента, человека послевоенного поколения, чья судьба поднялась как дерево среди руин...

А разве не в том и состоит одна из благороднейших задач литературы, чтобы помогать людям понимать друг друга и самих себя?

ИЛЬЯ ФОНЯКОВ

Издано за рубежом

ЧЕЛОВЕК ЖИВЕТ НАДЕЖДОЙ

Андрей Германов. Каменна земя. Пловдив, Христо Г. Данов, 1975.

Андрей Германов автор более пятнадцати стихотворных сборников, пользуется в Болгарии большой

популярностью. Причем люди, предпочитающие в поэзии лирику, будут говорить о Германове как о тонком и глубоком лирике; другие будут утверждать, что Германов — эпический поэт. Редакторы же детских журналов и сами юные читатели скажут вам, что он пишет яркие и смешные стихи для детей. Хорошо известны в Болгарии и дружеские шаржи Германова на своих собратьев-литераторов. Недавно его карикатуры были изданы отдельной книгой под шутливым названием «Парнас вокруг нас».

Советский читатель знаком с творчеством Андрея Германова по многочисленным публикациям его стихов в литературной периодике.

В 1974 году вышла в свет книга Германова «Четверостишия», в которой поэт выступил в жанре, новом не только для него, но и вообще для болгарской поэзии. Каждое из его лаконичных четверостиший заключает в себе очень многое: иногда это размышления о мире, бытие, зле и добре с совершенно неожиданным серьезным или ироническим выводом; иногда это картины величественной болгарской природы, написанные с тонкостью и смелостью; иногда в четырех строчках проявляется характер человека, сложный и противоречивый.

Новая книга Андрея Германова «Каменная земля» (1975) невелика по объему — в ней всего тридцать стихотворений. Сборник открывается стихотворением «Молитва после полуночи»:

О, только бы здоровым встать!
Здоровым встретить час рассвета!
Свой нрав смогу я обуздать —
не так уж, в общем, трудно это.
Все мелкое смогу презреть
и буду малым я доволен.
Лишь воздух нужен мне — гореть! —
хлеб черный да щепотка соли.
Лишь это. Больше ничего...[1]

Мы слышим голос зрелого человека, научившегося видеть и отделять главное от второстепенного. Такое начало книги обещает читателю, что поэт будет говорить только о важном, истинном. И действительно, в следующем же стихотворении — «Ради хлеба» — он размышляет об основе основ — о хлебе, о том, чем можно и чем нельзя поступаться «ради хлеба». Это стихотворение — предостережение:

Наша жизнь не бесконечна.
И поймем мы в смертный час:
хлеб, что ели мы беспечно,—
этот хлеб съедает нас.

Бóльшая часть стихов книги «Каменная земля» написана на «вечные» темы: жизнь и смерть, любовь и ненависть, узы, связывающие людей, одиночество. Глубокая мысль и волнение угадываются за каждой строкой, естественна и неповторима их интонация — все это заставляет нас с неослабевающим интересом читать стихотворение за стихотворением, пока, наконец, не обнаруживаешь с сожалением, что все тридцать стихов позади. И книга, которая только что казалась маленькой и тонкой, представляется теперь такой емкой и значительной, что ее хочется перечитать заново, не спеша. И вот снова читаешь стихотворение «Отставший аист»:

Лети со стаей! Ветры пусть несут
тебя на юг в синеющем просторе.
Пусть, обессилев, упадешь ты в море —
лети, лети! Не оставайся тут!
Тебя накормят здесь и приютят,
под теплой кровлей будешь ты как дома.
Заботы твоему крылу больному
утраченную силу возвратят.
Но дни пройдут, и вновь весна придет...
И грузный, жалкий, неба недостойный,
ты встретишь стаю важно и спокойно.
А эта встреча смерть тебе несет...

В подтексте стихотворения — трагедия человека, оторвавшегося от людей, но каждый прочтет эти строки по-своему, потому что в них есть глубина, тайна — а это признак настоящей поэзии. На ту же тему, но уже совершенно по-другому, с иронией, написано стихотворение «Зубчатое колесо».

А вот еще одно стихотворение, к которому хочется вернуться снова. «С чего все начинается? С камня. В основе лежит камень»,— говорит поэт. И мы видим — из камня вырастает новый красивый дом. Казалось бы, все в порядке, в доме можно жить. Но поэт останавливает нас:

Нет, просто зданье — все еще не дом.

В комнатах появляются шкафы, посуда, одеяла: зданье превращается в жилище. И опять предостережение:

Но нет, жилище — все еще не дом.

И, наконец, у входа остановилась женщина, хозяйка дома, разрыхлила землю и, как ребенка, укутала тонкий стебелек цветка.

И вот жилище превратилось в дом.
С чего же начинается все? С камня?
Да, верно, с камня. Он лежит в основе...
А может быть, в основе был цветок?
Иль, чтоб точнее быть,— мысль о цветах?

(«С чего все начинается?»)

[1] Переводы стихов принадлежат автору статьи.

Главное для поэта — человек, его мысли, его душа. Во всех стихотворениях Андрея Германова, даже в пейзажных зарисовках, порой незримо, но обязательно присутствует человек с его грустью, радостью или скорбью. Германову удается передать настроение данной минуты, «остановить мгновение»:

Этот день — он не похож на другие...
Ему не дано повториться.
Но его мы забудем.
Когда-нибудь мы найдем
плоский камешек, на котором
мы написали два имени наших.
И тогда он вернется — этот день...

(«Обыкновенный день»)

Значительную часть творчества Андрея Германова составляют стихи о деревне, о земле, о людях, живущих в селе. Среди них прошло его детство, и навсегда поэт остался верен краю, в котором вырос. Он так и не полюбил город, городской уклад жизни. В стихотворении «Объяснение в нелюбви» Германов признается, что за двадцать лет не смог привыкнуть к городу, что до сих пор ему снятся реки, леса и его родная «каменная земля», с которой он связан навеки и которая стала его опорой в жизни. И, пожалуй, самые сильные стихотворения книги — это стихи о маленьком, затерянном в горах селе — Боженцы («Пустые дома в Боженцах», «Из камня белого и дуба черного...», «Одиночество в Боженцах»). Это то место на земле, где поэту лучше всего думается, глубже видится, где он находит ответ на многие вопросы:

Здесь не считаешь дней, минут, часов,
и смерть, наверно, встретишь тут
смиренно
под чащею гигантскою вселенной.
средь камня, трав и птичьих голосов.
Ведь здесь, в горах, что тянутся к
светилам,
где зелень так свежа и хороша,
имеет жизнь совсем другую силу —
она течет достойно, не спеша.

(«Одиночество в Боженцах»)

Искренне и убедительно звучат гражданские стихотворения Германова. Вот одно из них — «Ракеты в ноябре». Во время парада на Красной площади поэт смотрит на громадные ракеты, тяжело ползущие мимо трибун. «Нужно ли это грозное оружие мирному народу?» — размышляет он. Ответ его ясен и недвусмыслен: чтобы сохранить мир на земле и свою независимость, даже самому миролюбивому народу необходимо быть сильным. В стихотворении «Надежда» А. Германов пишет об испытаниях, выпадавших в течение долгих веков на долю человечества, о сложностях и тревогах нашего времени. И все-таки «Человек живет надеждой» — эта строчка твердым рефреном звучит в стихотворении. Такой взгляд на жизнь характерен для поэта. Надежда и вера в человеческую доброту — это то, что объединяет лучшие стихи Андрея Германова и делает его поэзию такой человечной и глубокой.

ЛОРИНА ДЫМОВА

ПИСАТЕЛЬ И ЕГО ГЕРОЙ

Uwe Timm. Heißer Sommer. München, Autoren Edition/C. Bertelsmann, 1974.

ИЗМЕНИТЬ МИР[1]

В романе «Жаркое лето» я рассказал историю студента Ульриха Краузе, который, забросив германистику, становится в 1967—1968 годы одним из участников студенческого движения. Он живет в молодежной коммуне, знакомится с анархистами и коммунистами и со временем приходит к убеждению, что окружающее общество должно быть изменено. Меняется, постепенно взрослея, и сам герой. Его история повторяет мою собственную историю. Разумеется, не во всех деталях, но в главном своем движении: от внутренней изоляции к участию в политической борьбе.

Позже я часто спрашивал себя, почему маститый профессор, при разговоре с которым у меня от волнения дрожали руки, вдруг съежился за кафедрой, когда мы както предложили устроить дискуссию по отдельным тезисам его лекций. Как случилось, что я, нередко бездельничавший дни напролет, вдруг начал трудиться с энтузиазмом и увлеченностью, всерьез заинтересовавшись политикой? Именно тогда мне открылось, что жестокие законы мира конкуренции, заставляющие страдать людей, могут быть изменены и что работа в счет этих будущих перемен приносит радость.

Над многим раздумывал я в течение трех лет, пока писал роман. Менялось представление о себе, о своем месте в обществе, приходили новые идеи. По ходу дела я начинал лучше понимать свое состояние в то время, многое становилось яснее и в текущей политической работе. Конечно, и работа эта в свою очередь влияла на творчество.

Особенно меня интересовал процесс размежевания в студенческом движении. Почему, например, прежде рьяные сторонники «активного действия» уходят сегодня в частную жизнь? Почему когда-то убежденные в необходимости борьбы студенты сегодня резко меняют свои взгляды? И какой путь должен был пройти мой герой (а вместе с ним и я), прежде чем прийти к убеждению, что, только участвуя в организованной борьбе вместе с рабочим классом — в профсоюзах, в ГКП,— можно действительно изменить мир и сделать его более достойным человека? Это мой личный опыт—хотелось, чтобы он помог и читателям.

Они ведь много спорят (и не только участники тогдашних событий), так ли все происходило на самом деле, как описано в кни-

[1] Статья Уве Тимма перепечатывается из газеты «Унзере цайт».

ге. Одни при этом утверждают: да, так оно и было. Другие: нет, все было иначе.

Подобные дискуссии кажутся мне необходимыми. Именно они доказывают, что при анализе реалистической литературы можно и нужно спорить о ее жизненном содержании, а не трактовать лишь чисто формальные моменты (употребление придаточных предложений, например, или что-нибудь в этом роде). В полемике вокруг «Жаркого лета» затрагиваются, как правило, не только особенности самого романа, но и проблемы породившей его действительности. Такой спор уже не может обойтись без политики. И буржуазная критика, обычно сторонящаяся подобных тем, должна в конце концов это признать. Тем более что такие романы, как, например, «Беринге и долгий гнев» Герда Фукса или «Суп из акулы» Роланда Ланга, лишний раз свидетельствуют в пользу реализма.

В этом — и художественная, и политическая функция такой литературы. Впрочем, было бы неверно требовать от нее, как иногда бывает, непосредственного руководства к действию. В этом случае путают художественное произведение, в котором высказываются определенные политические убеждения, со статьей о текущем моменте.

Как восприняли роман читатели? Однажды ночью в твоей квартире раздается телефонный звонок, и кто-то взволнованно говорит: только что он закончил читать роман и многое для себя уяснил. Один товарищ пишет мне, что его мать после чтения книги стала лучше понимать, за что и против чего он борется. А другой молодой рабочий признается, что он прочел книгу во время отпуска и она ему доставила удовольствие. От всех этих слов становится радостно на душе — работа имела смысл.

УВЕ ТИММ

ПОСЛЕ ЖАРКОГО ЛЕТА

У писателя Уве Тимма действительно немало общего со своим литературным героем. Пора студенчества пришлась у обоих на одно и то же, далеко не простое время. В конце шестидесятых годов волна студенческого движения прокатилась по ФРГ, заставив политиков, журналистов и социологов задуматься о причинах этого нового, так быстро ставшего распространенным явления.

Тогда многим из бунтующих казалось, что вот еще одна дискуссия, еще один лозунг на стене, еще один «спонтанный революционный акт» (к примеру, разбитая витрина в издательском концерне Шпрингера), еще одна демонстрация, завершившаяся неизбежной потасовкой,— и надоевший всем капитализм наконец-то прикажет долго жить. Но оказалось, что изменить общество намного труднее, чем, скажем, свалить в университетском сквере (один из ярких эпизодов в романе Тимма) памятник богатому основателю учебного заведения, «одному из столпов немецкого империализма». Оказалось, что броские левацкие фразы мало что объясняют в сложных социальных процессах, происходящих ныне в мире, и уже наверняка бессильны вызвать радикальные перемены. Тем более, что сами студенты, этакий избранный отряд «носителей революционного сознания», еще «не интегрированных в систему», уже сейчас «не интегрирован» в нее по-разному. Одни, как рассказывает об этом Уве Тимм, могут отложить учебу и бунтовать сколько угодно — все равно родители высылают им требуемые суммы денег и исподволь начинают подыскивать будущее место; другие, подобно главному герою романа Ульриху Краузе и его другу Петерсену, должны рассчитывать только на свои силы.

В начале семидесятых годов в студенческом движении стали ощущаться симптомы кризиса. Все чаще со всей очевидностью вставал перед его участниками тревожный вопрос: куда идти дальше? С кем? Ответы были разные, разные были и пути. По-своему отвечает на этот вопрос и книга Уве Тимма. Для писателя его выбор — он подчеркивает это — проверен личным опытом, взвешен в долгих раздумьях. И своего героя он заставляет пройти весь этот путь, нигде его не сглаживая и не выпрямляя.

Поначалу в ряды студентов-бунтарей Ульриха Краузе приводит скорее внутренняя потребность, нежели сознательное убеждение. Не ладится курсовая работа о Гёльдерлине (досталась не та тема, которая была бы ему действительно интересна, бессмысленным кажется сопоставление разных вариантов одной и той же оды), отодвигается еще на год получение диплома, которого с таким нетерпением ждут родители (тогда он сможет, наконец, зарабатывать самостоятельно), угнетают неурядицы в личной жизни, а главное — безрадостным и неинтересным видится будущее, свое место в окружающем, отнюдь не доброжелательном мире. И тогда, следуя одному из известных студенческих лозунгов того времени, Ульрих Краузе меняет «голубой цветок», давно ставший своего рода символом немецкой идеалистической традиции, на красный.

Участвуя в самых разных акциях, проводившихся Социалистическим союзом немец-

ких студентов[1] — иногда серьезных, иногда наивных,— в ожесточенных и беспорядочных дискуссиях по разношерстным, но всегда актуальным проблемам («Все говорят о погоде — только не мы, ССНС»), в беседах с новыми друзьями, чьи взгляды отнюдь не находятся между собой в гармоничном единстве, учится Ульрих Краузе размышлять об окружающем его мире, о его закономерностях и перспективах. Постепенно уходит из его суждений этакая дилетантская расплывчатость, и они начинают принимать все более строгие очертания.

От беззаботного существования в молодежной коммуне — к нелегкому, но приносящему радость рабочему труду от чтения Маркузе — к работам Ленина, от смешной и грустной попытки поджечь с помощью медицинского спирта полицейский «фольксваген» — к участию в заводском профсоюзе, к решению вступить в ряды коммунистической партии — таков путь героя Тимма. Разные люди в разное время помогали ему на этом пути, но, пожалуй, самую большую роль в его становлении сыграл рабочий Роланд, член ГКП. Дружбе с ним обязан Ульрих осознанием того, что изменить общество, в основе которого — несправедливость, не помогут одни только, пусть даже «самые революционные» фразы,— нужна теория, организация, умение работать с массами.

Выбор совершается Ульрихом Краузе далеко не спонтанно, он приходит к нему, осмысляя уроки «жаркого лета», сопоставляя прочитанное и пережитое. Он и прежде и теперь ничего не принимает на веру: ни настойчивых поучений отца, в прошлом солдата вермахта и нациста, ни лекций университетских профессоров, ни глав из прочитанных книг, ни тем более ходовых лозунгов леваков — все это проверяет он своим, личным опытом. Разные, нередко взаимоисключающие влияния господствуют в студенческой среде, и писатель не закрывает глаза на сложность явления, именуемого молодежным движением. Все больше склоняется к маоистской идеологии, к стратегии «отдельных групп на производстве» Петерсен, друг Ульриха, с жаром обвиняющий его в ревизионизме и бюрократизме. Уходит в анархисты, встав на путь индивидуального террора, Конни, один из прежних лидеров ССНС. Своеобразно просвещает массы, расписывая денежные банкноты («У Круппа в кармане каждый год — 200 000 таких бумажек»), приятель Ульриха по коммуне Ноткер. Процесс размежевания неизбежен. Но каждый раз прощание с другом, который когда-то был единомышленником, горько. И все же Ульрих Краузе уверен в том, что его выбор правилен. Его путь — совместные действия с рабочим классом, сближение с коммунистами—предлагается писателем вовсе не как готовый рецепт, способный излечить молодежное движение от всех его «детских болезней». Правота этого пути отстаивается ненавязчиво, но убедительно. Здесь лучший аргумент — зрелость, которая приходит к герою, зрелость суждений, зрелость поставленных задач, зрелость чувства. Ведь Ульрих переживает и своеобразное «воспитание чувств» — он становится мягче, добрее по отношению к людям, которые дороги ему и которым дорог он.

Читатель расстается с Ульрихом Краузе в момент, когда тот уезжает в Мюнхен, чтобы закончить там учебу. Будущее теперь радует его: он станет учителем, открывающим детям дорогу не только в мир культуры прошлого, но и в мир борющихся идей сегодняшнего дня.

Н. ЛИТВИНЕЦ

[1] Социалистический союз немецких студентов (ССНС) — одна из наиболее влиятельных в ФРГ леворадикальных студенческих организаций.

РОМЕН РОЛЛАН: НОВЫЕ СТРАНИЦЫ

Cahiers Romain Rolland. L'indépendance de l'Esprit. Correspondance entre Jean Guéhenno et Romain Rolland 1919-1944. Préface de André Malraux. Cahier 23. Paris, Editions Albin Michel, 1975.

Каждый год в издательстве Альбена Мишеля выходит новый том неопубликованных страниц из наследия Ромена Роллана, а запасы рукописей, хранящихся в маленькой квартирке на бульваре Монпарнас, куда приезжают работать исследователи из разных стран,— до сих пор необозримо велики. Многие из «Тетрадей Ромена Роллана», опубликованные его женой за тридцать с лишним лет, истекших со дня его кончины, представляют выдающийся интерес, и литературный, и общественный. За последние годы вышли, в частности, «Тетради Ромена Роллана», посвященные его переписке с матерью в годы первой мировой войны, его переписке и встречам с Махатмой Ганди, с Германом Гессе. Каждая из таких «Тетрадей» не только обогащает наше представление о Ромене Роллане, но и вводит в читательский обиход ценные документы духовной истории нашего столетия. Новейшая, двадцать третья по счету, «Тетрадь Ромена Роллана» носит название «Независимость духа». Помимо самого Ромена Роллана, всегда живого в нашей памяти, здесь представлены два деятеля литературы, реально здравствующие поныне. Это прежде всего Жан Геенно, переписка Роллана с которым помещена в этом томе,— один из старейших французских писателей, эссеист, прозаик, литературовед,— выходец из рабочей семьи, пробившийся к высшему образованию благодаря выдающимся способностям и столь же выдающемуся упорству. В течение ряда лет Геенно был главным редактором журнала «Эроп»; друг и соратник Роллана, он участвовал в антифашистском движении фран-

цузской интеллигенции, выступал на Международном конгрессе писателей в защиту культуры в 1935 году в Париже. Ныне он — академик, завоевавший широкое признание среди ученых, главным образом благодаря капитальному труду о Жан-Жаке Руссо.

Помимо Жана Геенно, в подготовке этой книги принял участие и другой наш современник, Андре Мальро, который дал к ней предисловие в высшей степени примечательное. Здесь нашли выражение наиболее привлекательные стороны сложной личности Мальро: перед нами не автор «Антимемуаров» и не былой министр в правительстве де Голля, а скорей тот давний, молодой Мальро, который боролся за спасение жизни Димитрова и выступал на нашем Первом съезде писателей, — автор книг, в которых звучали мотивы революционной героики: «Удел человеческий»[1], «Годы презрения», «Надежда»... В предисловии он нашел живые и точные слова, чтобы отметить заслуги Роллана — друга Советского Союза, защитника достоинства и будущности человечности перед лицом фашистской угрозы. Мальро пишет, вспоминая тридцатые годы: «Антифашизм — не просто широкое поле, где либералы встречаются с коммунистами... Это — чувство, это — позиция, это также и политика... Кто забыл антифашизм, тот не поймет этой книги, но не поймет, вместе с тем, и истории нашего времени». А. Мальро напоминает о преемственной связи французского Народного фронта с наследием Великой французской революции. И — хотя вскользь и скорей в форме намека, чем полным голосом,— говорит о современном значении традиций Народного фронта.

...Еще в 1915 году молодой офицер Жан Геенно был потрясен, прочитав книгу антивоенных статей Ромена Роллана «Над схваткой». После окончания первой мировой войны Геенно присоединился к роллановской «Декларации независимости духа» — так началась дружба и обмен письмами, продолжавшиеся до последних дней жизни великого писателя. Но и по объему и по содержанию центральное место в новой «Тетради» занимают письма за 1928—1936 гг., когда Геенно в Париже редактировал «Эроп», а Роллан, находясь в Швейцарии, помогал коллективу прогрессивного журнала всем, чем только мог. Работая над «Очарованной душой», драмами о французской революции, многотомным исследованием о Бетховене, он неизменно находил время и для повседневного сотрудничества в «Эроп». Он подсказывал темы, подыскивал авторов, сам посылал в журнал рукописи для опубликования,— не только отрывки из крупных своих работ, но иногда и совсем небольшие заметки, отклики на текущие события. Переписка Роллана с Геенно дает возможность яснее увидеть, какое большое место в творческой жизни большого художника-мыслителя занимала повседневная — часто утомительная, черновая — деятельность публициста. И она дает повод еще раз задуматься над тем, насколько органически и прочно в последние десятилетия своей жизни Ромен Роллан включился в политическую «схватку», встав на сторону передовых общественных сил.

Советский Союз — одна из магистральных тем всей книги. «Мы должны бдительно разоблачать любые происки, направленные против России»,— пишет Роллан в октябре 1929 года. Эта тема проходит и дальше через многие его письма как рефрен, развертывается в разных вариациях: «Великая проблема — главная из всех — это, в наши дни, созидание нового мира в СССР. Я встаю на его защиту...» В феврале 1931 года Роллан делится с Геенно впечатлениями о новом номере «Эроп»: статья о советском пятилетнем плане заинтересовала его больше, чем другая работа, специально посвященная вопросам культуры. И вообще — ему уже надоели «платонические дискуссии» о культуре, которые ведутся в отрыве от острых проблем времени. Да, конечно, пишет Роллан, и Советский Союз не пренебрегает проблемами культуры и добился больших результатов и в этой области. Но надо помнить об опасностях, которые угрожают и строящемуся новому миру, и всему человечеству. «...Надо спасать не только будущее, грядущий век, но и день завтрашний, день сегодняшний. Если дерево подрублено у корня — стоит ли думать о гнездах птиц, которые поют среди веток на его верхушке? Речь идет о жизни, о самой жизни этого нового общества, которое складывается — сурово, хаотически и мощно,— общества, движимого осознанной и упорной верой в более справедливый, более человечный порядок объединившихся Тружеников. Ваша «культура» может приобрести жизненную ценность только **благодаря** людям, которые осуществят ее не празднословием, но силами деятельного общества... И Монтень ничто, да и Вольтер ничто, если они бездействуют».

В размышлениях и высказываниях Роллана о Советском Союзе этот философский аспект (выраженный им в одной из его статей в сжатой формуле: «Никогда не отделяйте мысли от действия!») сочетается с постановкой совершенно конкретных, сегодняшних, практических задач. И он дает Геенно советы: «...я завел бы рубрику «Новости Революции» (ежемесячно)... Туда стоило бы включить сообщения из разных стран, где назревают социальные перемены, где народ пробуждается к свободе. И регулярную хронику из СССР, чтобы Франция была в курсе, какие там происходят события в области культуры и как продвигаются великие работы». Одно из писем, датированное 7 июля 1935 года, отправлено из Москвы. Это открытка с изображением Кремля: «Я воспользовался временным улучшением здоровья, чтобы рискнуть отправиться в это длинное путешествие. Устал, но не сожалею. Если я и увидел немного — это немногое очень важно... У входа в Кремлевские ворота дружески жму вашу руку».

В письмах часто встает имя Ленина. Жан Геенно долго собирал материалы для

[1] На русский язык эта книга переводилась под названием «Условия человеческого существования».

книги о Ленине, и Роллан горячо поддерживал этот замысел, старался помочь младшему собрату советами. Но Геенно так и не осуществил своего намерения — ему пришлось признать, что не хватает знания материала (а быть может, не хватило и идейной ясности). Роллан со своей стороны исподволь готовился к тому, чтобы написать работу о Ленине; в январе 1934 года он опубликовал большой этюд, который хорошо известен советским читателям,— «Ленин. Искусство и действие». По инициативе Роллана, при его прямом участии была опубликована в «Эроп» статья В. И. Ленина «Лев Толстой, как зеркало русской революции» (в Архиве Ромена Роллана в Париже хранится машинописный экземпляр этой статьи в переводе жены Роллана, с его собственноручной правкой).

В письмах к Геенно — как и в обращениях к другим адресатам, чей гуманизм носил созерцательный и индивидуалистический характер, — Ромен Роллан как бы нащупывал, испытывал аргументацию, которая потом кристаллизовалась в более отчетливой форме в его публицистических статьях. На многих страницах новой «Тетради» мы явственно ощущаем этот, очень характерный для Роллана, акцент дружеского спора (в какой-то мере и спора с самим собой): «Свободная мысль: да. Но сначала разберемся в том, что такое свобода! Вы думаете, что мы на Западе можем свободно говорить и писать? Вот бедняги эти писатели! Им дают свободу — только потому, что они безобидны! Из осторожности, или по незнанию, они остаются в пределах отвлеченного разглагольствования. Но пусть они отважатся на то, чтобы высказаться со знанием дела и решительно,— они увидят, что им за это будет! Я это увидел, и даже слишком хорошо, во время войны. А за последние десять лет я узнал значительно больше; я разглядел реальные хищные интересы, окопавшиеся за призраками идей».

Интонации дружеского спора возникают в переписке Роллана с Геенно и по другим вопросам. Геенно склонен был с недоверием относиться к техническому прогрессу, заострять антитезу: техника — дух. Роллан возражал ему — и снова и снова в поисках аргументов ссылался на Советский Союз: «Если мы чувствуем притягательную силу социалистической Революции, то потому, что она — не только идея, но и осуществление громадных дел... Попробуйте, скажите-ка там, что электрификация, и большие каналы, и новые большие дороги не имеют человеческой и духовной ценности,— да нет же, имеют, больше, чем все громкие слова, даже и пропитанные «добродетелью»! Иной раз Роллан называл своего корреспондента «маловером», убеждал его, что чрезмерный скептицизм вреден, ибо убивает волю к действию: «Нет, не надо обескураживать других! Это было бы преступно. Словно бы больной хотел заразить здоровых. «Обескураженность» — всегда болезнь. Никто не смотрел с такой горечью в суть вещей, как Вольтер. И он всегда сражался — и своею страстью к справедливости, и своим смехом. И в его страсти, и в его смехе два поколения черпали ту силу, которая совершила Революцию».

Сам Роллан в те нелегкие для человечества годы настойчиво стремился заразить мужеством, волей к борьбе сомневающихся и колеблющихся, объединить силы европейской интеллигенции — прежде всего во имя самых насущных задач борьбы против фашизма. В письмах много раз говорится о практических шагах, которые предпринимались по инициативе Роллана, о солидарности французских антифашистов с немецкими: «Мне представляется необходимым, чтобы «Эроп» не прошел мимо событий в Германии, чтобы он взял на себя инициативу движения протеста против неслыханных бесчинств гитлеровского фашизма, направленных, в частности, против свободной мысли и против интеллигенции. Исключение Генриха Манна и Кете Кольвиц из Прусской Академии не может пройти незамеченным». И в другом письме: «Я получил от Арагона прилагаемую работу Анны Зегерс, одного из лучших немецких писателей-эмигрантов... Нельзя ли напечатать ее в «Эроп»?»

Один из наиболее сильных, принципиально важных документов антифашистской деятельности Роллана — его письмо в редакцию немецкой газеты «Кельнише цейтунг» от 14. V. 1933, напечатанное в новой «Тетради» в качестве приложения. Это — открытый, обоснованный и резкий вызов хозяевам «третьего рейха». Финал этого письма примечателен, в частности, тем, как Роллан определяет в нем смысл дела своей жизни: «Что до меня, я сохраню, наперекор вам и против вас, мою привязанность к Германии — к подлинной Германии, которую позорят злодеяния и измышления гитлеровского фашизма. И я буду продолжать работать, как работал всю мою жизнь, не во имя эгоизма одной обособленной нации, а во имя союза всех наций — во имя Интернационала умов и народов».

Газета «Юманите» откликнулась на выход 23-й «Тетради Ромена Роллана» обстоятельной рецензией Андре Стиля. Главная мысль здесь: непреходящая ценность того духовного наследия, которое запечатлено в этой книге.

И в самом деле. Многое изменилось с тех пор, как Роллан адресовал главному редактору «Эроп» свои дружеские послания, разъяснения, советы. Когда-то Роллан вставал на защиту СССР — теперь в мире существует могущественная система социалистических государств. Но, как верно замечает А. Стиль, «антифашизм» — и сегодня понятие далеко не только историческое, и борьба за мир остается насущной задачей народов. Опыт передовых деятелей европейской культуры, которые еще десятилетия назад вдохновлялись идеями мира, демократии, социализма, сохраняет свое актуальное значение и в наши дни.

Т. МОТЫЛЕВА

СРЕДИ КНИГ

Из месяца в месяц

АНГЛИЯ

ЗАВЕРШЕНИЕ ЭПОПЕИ

Известный английский писатель Энтони Пауэлл закончил свою двенадцатитомную эпопею «Танец под музыку времени», над которой работал более четверти века.

Последний роман этой серии «Слушая тайные мелодии» вышел в издательстве «Хайнеман». Английские рецензенты полагают, что завершение эпопеи — важное событие в литературной жизни Великобритании.

Литературный обозреватель журнала «Листнер» Джулиан Джебб взял интервью у Энтони Пауэлла после выхода его романа. Критика интересует, как возникла у писателя мысль создать роман-эпопею.

Такое желание, ответил Энтони Пауэлл, возникло сразу же после войны. Но тогда ему казалось, что потребуется немало времени, чтобы пережить трагический опыт военных лет. Как только реальность войны потеряла свою остроту, он принялся писать. «Мне хотелось,— сказал Энтони Пауэлл,— создать произведение, в котором не нужно было бы постоянно выдумывать сюжет. Дело в том, что мне плохо даются сюжеты. Мне они не интересны. Другое дело — поведение людей, их психология. Поэтому мне хотелось, чтобы в моей эпопее фон оставался все время более или менее постоянным. Тогда я еще не представлял, сколько лет займет создание этого цикла, не знал, сколько в нем будет томов. Идею всей серии мне подсказало полотно Пуссена «Танец под музыку времени».

На вопрос Джулиана Джебба, чем его собственная эпопея отличается от эпопей Бальзака, Пруста и Голсуорси, Энтони Пауэлл ответил: «Пруст мне кажется очень субъективным. Он весь погружен в пристальное исследование своего «я», своих мельчайших движений души, эмоций, намерений. У меня для такого воссоздания действительности нет ни таланта, ни желания. Моя собственная персона не так уж меня интересует. Для этого, как я уже сказал, надо иметь особый писательский склад. Бальзак — совсем другое дело. Он постоянно, из книги в книгу, повторял своих героев, а под конец жизни решил объединить их в гигантскую эпопею, которую озаглавил «Человеческая комедия». У него был особый дар выдумывать людей, выдумывать героев и переплетать в повествовании их жизненные судьбы.

Голсуорси прекрасен как наблюдатель. Но у него, на мой взгляд, есть один серьезный недостаток. Он считал, что ему все доступно. А это было далеко не так».

На вопрос, чем Энтони Пауэлл собирается заняться теперь, после завершения эпопеи, писатель ответил: «Мемуарами».

Дервент Мэй, рецензент журнала «Листнер», озаглавил свою статью, посвященную последней книге эпопеи Энтони Пауэлла, «Песня Ника Дженкинса». Он говорит, что «этот роман — блистательное завершение эпопеи, гармонично объединивший все части серии.

Этот роман,—замечает критик,— о современности, действие в нем происходит в 60—70-е годы. Он отличается от предыдущего («Временные короли») тем, что в него введены две новые темы: молодежное движение и возрождение у западной интеллигенции интереса к оккультизму».

Особой удачей последнего романа Энтони Пауэлла критик считает идейную ясность. Образы героев обрели законченность, определились их взаимоотношения, развитие которых автор прослеживал на протяжении более четверти века.

В последнем романе эпопеи перед читателем проходят все герои предыдущих книг. И надо отдать должное Энтони Пауэллу, пишет в заключение своей статьи Дервент Мэй, он справился превосходно с огромным количеством действующих лиц, у каждого из них своя жизненная история, которую автор передает сжато и напряженно. Повествование приобретает объемность, масштабность.

В этом романе наиболее отчетливым становится смысл всего названия эпопеи «Танец под музыку времени». Музыка, пишет критик,— это вечно текущее, движущееся время, «это песня мира», которую так долго «слушал» главный герой Энтони Пауэлла Ник Дженкинс.

«ЗЛАТЫЕ ЦАРСТВА» МАРГАРЕТ ДРЭББЛ

Издательство «Уайденфельд энд Николсон» опубликовало роман Маргарет Дрэббл «Златые царства». Британские рецензенты, откликнувшиеся на эту книгу, единодушно признают, что каждое новое произведение молодой писательницы свидетельствует о росте ее творческого дарования, в каждом из них раскрываются новые грани ее мастерства. Д. А. Джоунс, рецензент журнала «Лиснер», пишет: «Маргарет Дрэббл постоянно в поиске. Она не останавливается на достигнутом, она взрослеет вместе со своими героями, ищет новые способы выражения своих мыслей и идей».

В «Златых царствах», замечает Д. А. Джоунс, Маргарет Дрэббл воскрешает традицию У. Теккерея — традицию непринужденного общения автора с читателем. Поэтому рассказ о судьбах своих героев — Дэвида Оллереншоу и его двоюродной сестры Фрэнсис Уингэйт — Маргарет Дрэббл перемежает авторскими отступлениями, то короткими, то весьма обстоятельными. В них она дает собственную оценку происходящему анализирует поведение персонажей и, наконец, просто беседует с читателем, обсуждает с ним важные для нее вопросы.

Изображенная Маргарет Дрэббл семья Дэвида Оллереншоу и его двоюродной сестры Фрэнсис Уингэйт являет странное зрелище. Отличительная черта всех ее членов — сознательное нежелание знать что-либо о жизни друг друга. Даже смерть близких не может вывести их из равнодушия.

Последний роман Маргарет Дрэббл, продолжает Д. А. Джоунс, привлекает внимание сильным социальным звучанием, в первую очередь сказавшимся в критике английского среднего класса, его устоев, понятий, всего образа жизни. Особенно резко писательница критикует институт современного буржуазного брака.

Кадр из фильма о болгарских восстаниях.

(Журнал «Филмови новини»)

БОЛГАРИЯ

СНИМАЕТСЯ МНОГОСЕРИЙНЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ФИЛЬМ

По сценарию Бориславa Шаралиева, Веселина и Георгия Браневых режиссер-постановщик Борислав Шаралиев приступил к съемкам многосерийного телевизионного фильма, в основу сценария которого положена популярная в Болгарии книга Захария Стоянова «Записки о болгарских восстаниях». Выпуск фильма на экраны планируется в 1976 году, к 100-летию Апрельского восстания, которое является яркой страницей в истории национально-освободительного и революционного движения на Балканах.

В интервью, в выступлениях на страницах печати авторы фильма говорили о своем стремлении «сохранить верность литературному первоисточнику».

«Важной и счастливой особенностью данной экранизации,— пишет на страницах «Филмови новини» обозреватель журнала Христо Кирков,— является тот факт, что фильм создается к столетию Апрельского восстания».

НАКАНУНЕ СЪЕЗДА

Комиссия по искусству и культуре НРБ рассмотрела репертуар драматических, кукольных и оперных театров и симфонических оркестров на сезон 1975/1976 гг. Все театры Болгарии предусматривают в своих репертуарах постановки, посвященные XI съезду БКП.

Другим важным событием, которому болгарские театры и концертные организации посвящают в 1976 году свои спектакли и кон-

церты, является 100-летие Апрельского восстания.

В течение сезона 1975/1976 гг. на сцене болгарских театров будет поставлено 49 пьес советских авторов, в том числе 19—впервые в Болгарии. Драматургия братских социалистических стран будет представлена 10 пьесами.

XI съезду Болгарской коммунистической партии будут посвящены музыкальные фестивали, циклы концертов, первые исполнения музыкальных произведений, новые сольные концерты, новые постановки оперных театров. В репертуар Государственного симфонического оркестра включены 153 произведения болгарских композиторов и 85 — русских и советских.

ВЕНГРИЯ

«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

Венгерского писателя Дюлу Фекете советские читатели знают по повести «Старый доктор» (см. «ИЛ» № 9, 1965). Сейчас венгерское телевидение подготовило телеспектакль по новому роману Дюлы Фекете «Медовый месяц».

Как и в романе «Старый доктор», Фекете и в этом произведении затрагивает прежде всего нравственные проблемы. События романа развертываются весной 1945 года. Молодая супружеская пара начинает новую жизнь. Как сложится эта жизнь, зависит от того, какой путь изберут молодые — путь активного участия в строительстве новой Венгрии или позицию сторонних наблюдателей.

Глава молодой семьи Фери целиком уходит в работу: участвует в разделе помещичьей земли и передаче ее крестьянам, создает газету, вовлекает десятки и десятки людей в активную деятельность. А вот жена его Пирош, выросшая в крестьянской семье, «жившей не богато, но и не бедно», не сразу находит себя. Немало времени пройдет,

Кадр из фильма «Медовый месяц».

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

когда она запишет в дневнике: «Любовь — это прежде всего духовная близость». Молодая женщина, которая поначалу стремится быть только «добрым духом дома», под влиянием мужа становится активной участницей строительства новой жизни.

Создателям телефильма удалось показать, что только активный труд на благо общества приносит человеку подлинное удовлетворение.

ВЕРХНЯЯ ВОЛЬТА

«ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»

Так названа рецензия Салеха Кебзабо на роман Огюстена-Сондэ Кулибали «Преступные боги», напечатанная в журнале «Жён Африк». Роман Кулибали знаменателен уже тем, что он вышел в национальном издательстве «Кулибали Фрер» в городе Бобо Диуласо.

Писатель рассказывает действительно простую историю молодого человека, который кончает в деревне школу и уезжает в поисках интересной работы в столицу. Так, пишет рецензент, делают многие молодые крестьяне, возвращающиеся через несколько лет в свои деревни с велосипедами, мотоциклами, хорошо одетые и с деньгами в кармане, что помогает им легко найти жену. Заслуга Огюстена-Сондэ Кулибали в том, что он показывает, какой ценой может иной раз достаться это призрачное благополучие.

Герой романа Титенга, «чистое дитя африканской деревни, совершенно незнакомое с обществом потребления», приехав в Уагадугу, сталкивается с полным безразличием горожан, живущих каждый своей жизнью.

В финале романа опустошенный Титенга возвращается в родную деревню ни с чем.

По мнению рецензента, роман читается с большим интересом. Привлекателен он и тем, что писатель широко использует фольклор своего народа.

ГДР

КРИСТА ВОЛЬФ ЧИТАЕТ СВОЙ НОВЫЙ РОМАН

«Не так уж часто можно увидеть такой наплыв публики в этих стенах,— писала газета «Берлинер цайтунг» о недавнем выступлении Кристы Вольф в зале Немецкой академии искусств.— Билеты были проданы задолго до вечера, люди сидели на подоконниках, на ступеньках и даже стояли». Писательница читала главу из своего нового, еще не опубликованного романа «На примере одного детства». В центре повествования — девочка из мелкобуржуазной семьи. Действие происходит в Вене и в Германии во времена гитлеризма. Повествование перемежается с воспоминаниями писательницы, и поэтому роман, как считает рецензент «Берлинер цайтунг», можно назвать «романом воспоминаний». Как и в прежних своих произведениях, Криста Вольф обращается здесь к актуальным событиям недавнего прошлого, к Вьетнаму и Чили, к войне на Ближнем Востоке.

«Тема войны, фашизма давно меня волнует. Мне всегда казалось, что об этом написано еще недостаточно,— сказала писательница.— В новом романе я хочу проследить, как это страшное время повлияло на обыкновенных людей, на таких, как семья Иордан, о которой идет речь в романе. И как всегда — моя цель связать прошлое с настоящим, с тем временем, в котором мы живем».

После чтения состоялась оживленная дискуссия. Среди выступавших был писатель Виланд Герцфельде, который подчеркнул, что сила творчества Кристы Вольф в том, что «она касается вопросов, вызывающих живой интерес у читателей».

«БАНКЕТ ДЛЯ АХИЛЛЕСА»

Так называется новый фильм ДЕФА, созданный режиссером Роландом Грэфом и сценаристом Мартином Стефаном.

Главный герой фильма — 65-летний Карл Ахиллес, 30 лет проработавший на химическом предприятии, сначала рабочим, потом мастером. День, которому посвящен фильм,— это последний его трудовой день. Торжественно провожают на пенсию своего товарища сослуживцы Ахиллеса. Для него этот день становится днем подведения итогов, днем воспоминаний, размышлений, неожиданных открытий. Он сможет теперь заниматься своим любимым делом — разведением цветов, которые должны со временем превратить этот индустриальный район в цветущий сад. Сможет ли он жить без своей основной работы, к которой так привык? Во всяком случае, его уход на пенсию — не уход на покой.

«Карл Ахиллес — натура творческая, активная,— сказал в беседе с корреспондентом еженедельника «Зонтаг» режиссер Роланд Грэф.— И когда он с иронией говорит своему преемнику о том, что можно уйти на покой и в тридцать лет, зритель понимает, что для Ахиллеса покоя не будет. Мне кажется, что в этом главная мысль нашего фильма».

Рецензенты отмечают прекрасную игру известного актера Эрвина Гешоннека, исполняющего главную роль. «Это один из самых интересных образов рабочего в фильмах, созданных ДЕФА за последние годы»,—пишет газета «Нойес Дойчланд».

ФРГ

«КЮРБИСКЕРНУ» — 10 ЛЕТ

Вышел в свет юбилейный номер журнала «Кюрбискерн». Он открывается обстоятельной статьей ответственного редактора и одного из издателей журнала Фридриха Хитцера, озаглавленной «Итоги и перспективы». «У нас есть все основания,— пишет Хитцер,— отмечать этот юбилей. За прошедшее время «Кюрбискерн» стал неотъемлемым компонентом литературной жизни ФРГ». Его тираж резко вырос. Сейчас это один из наиболее популярных в стране литературных журналов.

Обращаясь к истории, Ф. Хитцер подчеркивает, что марксистская платформа журнала складывалась в условиях острой политической

На снимке: режиссер фильма «Банкет для Ахиллеса» Роланд Грэф и исполнитель главной роли Эрвин Гешоннек.

(Еженедельник «Зонтаг»)

и идеологической борьбы. Первые номера «Кюрбискерна» появились в период «холодной войны», в годы запрета компартии. Нападкам буржуазной прессы на СССР и социалистический лагерь редакция стремилась противопоставить правдивый рассказ об их достижениях, о стоящих перед ними проблемах. Политическая борьба журнала была тесно связана с борьбой против модернистских тенденций, за «ангажированную» литературу, за реалистическое изображение действительности. «Убежденность, с какой большинство сотрудников редакции отстаивало принципы марксизма и интернационализма,— пишет Ф. Хитцер,— явилась необходимым условием дальнейшего укрепления демократических и социалистических позиций в культуре».

Этот процесс проходил в нелегкой борьбе. Попытки противников журнала склонить многих известных авторов к его бойкотированию проваливались. Сегодня в список сотрудничающих в «Кюрбискерне» входят почти все прогрессивные писатели ФРГ. Среди них — Мартин Вальзер, Кристиан Гайслер, Альфред Андерш, Макс фон дер Грюн, Ульрих Бехер, Франц-Йозеф Дегенхардт, Гюнтер Вальраф, Франц Ксавер Крёц, Гюнтер Хербургер, Уве Тимм, Герд Фукс, Роланд Ланг и многие другие. Свои страницы журнал предоставляет не только писателям с именем, но и тем, кто только начинает свой путь в литературе.

Авторов журнала, отмечает Ф. Хитцер, при всей несхожести их творческой индивидуальности, при всем разнообразии проблематики и художественных манер, объединяет стремление к четкой общественной позиции, признание социальных задач литературы. Журнал всегда с пристальным вниманием, подчеркивает Ф. Хитцер, следил за рабочей литературой, считая ее одним из значительных явлений в культурной жизни ФРГ. С первого своего номера «Кюрбискерн» связывали тесные контакты с «Группой 61».

Бременский «Театр ам Гётеплац» поставил пьесу Петера Вайса по роману Франца Кафки «Процесс». Драматург включил в текст отрывки из дневников, писем и прозаических миниатюр Кафки.
На снимке: Вольфганг Шенк в роли Иозефа К.

(Журнал «Штерн»)

Заканчивая свою статью, Ф. Хитцер пишет: «У нас есть уже своя небольшая история, есть и свои трудности... Работа продолжается».

ЕГИПЕТ

РАССКАЗЫ САДЕКА ХЕДАЯТА НА АРАБСКОМ

Как сообщает журнал «Аль-Аклям», в Каире вышел сборник «Современные персидские рассказы» в переводе и с обстоятельным предисловием литературоведа доктора Ибрахима ад-Дасуки аш-Шатта. Сборник включает 14 рассказов классика современной персидской литературы Садека Хедаята (1903—1951).

По словам рецензента «Аль-Аклям», сборник впервые знакомит арабских читателей с произведениями этого крупного писателя, пользующегося известностью не только у себя на родине, но и в Европе.

Как отмечается в рецензии, С. Хедаят создал «высокие образцы в жанре новеллы», использовав опыт всемирно известных писателей, в особенности Достоевского и Эдгара По.

Среди рассказов Хедаята, включенных в сборник,— «Бродячий пес», который, как пишет рецензент, «является едва ли не одним из самых прекрасных рассказов в мировой литературе», а также такие шедевры, как «Проклятая крепость» и «Тень Могола».

«ТЕАТР — МОЯ ЖИЗНЬ»

В Каире вышла книга воспоминаний известного египетского драматурга, одного из основоположников прогрессивного реалистического направления в египетском театральном искусстве Нуамана Ашура «Театр— моя жизнь». В ней дается яркая картина политической и культурной жизни Египта на протяжении нескольких десятилетий, начиная с сороковых годов.

Н. Ашур подробно рассказывает об истории создания и постановки своих пьес, таких, как «Магнатыс», «Люди внизу», «Люди наверху» и «Кино Онта», которые сыграли большую роль в становлении реалистического арабского театра.

Египетская критика высоко оценивает воспоминания Н. Ашура, указывая, что эта интересно написанная книга «останется важным источником» для тех, кто захочет изучить историю современного египетского театра, неразрывно связанную с творчеством драматурга.

ИНДИЯ

ПОЭТ-БУНТАРЬ

Поэтический сборник «Бунтарь» крупнейшего индийского поэта Кази Назрула Ислама вышел на английском языке в издательстве «Сахитья академи».

Творчество Ислама, пишет обозреватель еженедельника «Линк», многогранно и всегда было глубоко социальным. Автор поднимал в своих произведениях такие животрепещущие для индийского общества проблемы, как судьба рабочего класса, политическое бесправие широких масс, эмансипация женщин и многие другие.

Поэт всю свою сознательную жизнь (он уже многие годы, пораженный тяжелым недугом, лишен возможности работать) отдал беспощадной борьбе против социальной несправедливости, жестокой эксплуатации, неравенства и угнетения народа. Его перу принадлежит 25 книг — романы, сборники рассказов, многочисленные поэтические сборники, произведения для детей.

Новое издание 26 поэм Ислама наиболее полно выражает чувство и чаяния поэта, широту тематики его произведений, она дает возможность читателю познакомиться с творчеством этого крупнейшего представителя современной литературы Индии.

ПОЕЗДКИ В ДРУГИЕ ВРЕМЕНА

Фильм «Тропик Рака», как сообщает журнал «Линк»,— режиссерский дебют в кино популярного художника-карикатуриста Аравиндана—с первых же дней выхода на экран завоевал успех и заставил заговорить о себе публику и критику. Недавно он удостоен премии штата Керала как лучшая художественная кинокартина года.

В этой ленте постановщик интересно использует прием ретроспективы — герой картины как бы совершает поездки в другие времена. Обращаясь к современной молодежи Индии, режиссер предлагает ей оглянуться на путь, пройденный ее отцами. Он приглашает молодежь осмыслить события прошлого, взглянуть на них сегодняшними глазами, оценить поступки участников борьбы и определить свои пути-дороги.

Зритель убеждается, что опыт, выверенный временем, наглядно показывает ошибки прошлого, срывает маски с предателя, труса, приспособленца и всех тех случайных людей, которые стремились лишь извлечь выгоду из участия в освободительном движении. И этот же опыт поднимает на пьедестал тех, кто был беззаветно предан борьбе за правое дело народа.

Главное действующее лицо картины Рави — сын революционера и внук последователя учения Ганди. Его волнуют события, относящиеся к славной истории борьбы за освобождение родины от английского колониализма. И он, решая узнать правду, отправляется в те места, где боролись против колонизаторов его дед и отец. Но каждая такая его поездка в прошлое и встреча с судьбой того или иного участника освободительного движения обнажает перед ним скрытую временем истину; молодой человек убеждается в том, что лишь подлинные революционеры были способны приносить бесчисленные жертвы во имя свободы и оставались преданными делу борьбы до конца.

Неразрывность прошлого и настоящего, историческая связь и преемственность поколений показаны в фильме с большой убедительностью и эмоциональностью, пишет обозреватель журнала «Линк».

ИТАЛИЯ

«НОЧИ И ТУМАНЫ»

Под таким названием известный итальянский прозаик среднего поколения Карло Кастелланета опубликовал новый роман, центральным персонажем которого является убежденный фашист, верящий в «идеалы» режима Муссолини. Повествование ведется от первого лица, место действия —

В основу фильма Джузеппе Патрони Гриффи «Божественное создание», привлекшего внимание зрителей и прессы, лег написанный в 1920 году бестселлер Лучано Дзукколи. Когда-то весьма популярные у «среднего читателя», в настоящее время романы Дзукколи почти забыты. Желая по-своему взглянуть на эпоху, непосредственно предшествовавшую приходу к власти фашистов, Джузеппе Патрони Гриффи намеренно приближает время действия кинокартины к моменту восхождения Муссолини, вводит в фильм отчетливые антифашистские мотивы, которых не было в романе Дзукколи.

Критики отмечают, изящество формы, тонкую, ироничную стилизацию общественно-культурного фона 20-х годов с использованием «титров во вкусе эпохи немого кино».

На снимке: исполнители главных ролей в фильме — Марчелло Мастроянни и Лаура Антонелли.

(Газета «Паэзе сера»)

Милан, время — зима 1944/1945 гг., то есть период, непосредственно предшествовавший краху фашизма. Действующие лица вымышлены, но историческая канва сохранена. Главный герой новой книги — фашист, да к тому же не рядовой, а весьма активный ответственный сотрудник политической полиции. Это человек интеллигентный пишущий (сотрудничает в газете) и, по замыслу писателя, искренне преданный «дуче». Тем страшнее и отвратительнее все, что проделывает этот «dottore» — так называют в Италии лиц, имеющих определенный образовательный ценз.

Именно зимой 1944/1945 гг. итальянские фашисты совершили самые большие свои злодеяния и зверства в борьбе с партизанами. Страшное впечатление производят описанные Кастелланетой сцена насилия над женой одного партизана и сцена пыток, которым был подвергнут руководитель партизанского отряда — мужественный человек; он скончался, так и не назвав ни одного имени. Достоверно воссоздается атмосфера, царившая в те месяцы в Милане. Фабула романа построена с профессиональным умением. Очень четко выписаны образы женщин, с которыми связан герой (автор не дал имени главному герою); кончается роман крахом фашизма и арестом центрального персонажа.

Итальянская печать отнеслась к роману с интересом. В частности, еженедельник «Панорама» опубликовал интервью с автором, в котором говорится, что Кастелланета задался целью показать «образцового, вечного, неизменяющегося фашиста». На вопрос «Панорамы» о том, как родилась идея романа, Кастелланета ответил: «Из анализа повседневной реальности демократии угрожают фашистские подонки: в политической, экономической и культурной жизни страны существуют экс-фашисты, которые остались таковыми под маской респектабельности».

НОВОЕ О ЖИЗНИ ПОЭТА, ОТКРЫТОГО Н. В. ГОГОЛЕМ

Имя римского поэта середины XIX века Джузеппе Джоакино Белли, создателя более двух тысяч сонетов, прочно вошло в историю итальянской литературы. Знаменателен тот факт, что первым, кто обратил внимание на этого своеобразного поэта, был Николай Васильевич Гоголь, который познакомился с творчеством Белли в период своего пребывания в Италии. Однако официальное признание пришло к Белли значительно позже: его сонеты были опубликованы лишь в 1886 году, почти через четверть века после смерти их автора и через полвека после его открытия Гоголем.

Большим вкладом в изучение его биографии стали недавно обнаруженные письма Белли к его другу Винченцо Роберти. В этой переписке, охватывающей тридцать лет, с 1823 по 1853 г., перед нами предстает полная противоречий жизнь поэта.

Газета «Паэзе сера» называет эпистолярное наследие Белли документом, представляющим огромный интерес для познания его как человека и художника. В настоящее время в Риме под редакцией Муцио Мадзокки Алеманни осуществлено двухтомное издание найденных писем.

КАМЕРУН

ПЕРВЫЙ ПРИЗ — АБЕЛЮ ЗОМО БЕМУ

Как сообщает журнал «Жён Африк», на традиционном межафриканском конкурсе произведений для театра 1975 года первый приз завоевал камерунский радиожурналист Абель Зомо Бем. Он представил на конкурс пьесу «Сломанная форма».

Абель Зомо Бем является автором уже трех драматических произведений: драмы «Мартен Поль Самба», комедии «Черный хозяин», «Нужно ли Бидриинг придание», а также многочисленных новелл.

По правилам конкурса, «Сломанная форма» и несколько других пьес, признанных лучшими на конкурсе, будут изданы.

МАЛЬТА

СКАЗОЧНЫЙ ГЕРОЙ ДЖАХАН И ЕГО «ДВОЙНИКИ»

«Жил-был мальчик по имени Джахан» — так начинается одна из самых популярных на Мальте сказок о простаке Джахане — дальнем родственнике русского Иванушки-дурачка и нидерландского Уленшпигеля.

Мальтийскому Джахану и его «двойникам-братьям» в странах Средиземноморья и Ближнего Востока посвятила свою статью «Средиземноморский герой» в журнале «Джорнэл оф Малтиз стадиз» исследовательница Мишлин Гале.

Как показывает М. Гале, сюжеты многих мальтийских сказок о проделках и чудачествах Джахана в целом совпадают с сюжетами сказок об аналогичных комических героях в странах Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Европы. Даже имена большинства из них представляют собой фонетические варианты одного и того же слова. Так, мальтийскому Джахану в Сицилии соответствует Джуфа, или Джукка, в Албании — Гьюха, в Тунисе и Алжире — Жуха, или Джуха, в Марокко — Жха. Североафриканские берберы почтительно величают его Си Джоха — «Господин Джоха», в Египте он становится Гохой. «Двойников-братьев» Джахана можно встретить также в Турции, Иране и советских среднеазиатских республиках, хотя они там носят другие имена. В Турции — это Ходжа Насреддин, в Азербайджане и Иране — Молла Насреддин, в Узбекистане — Насреддин Ходжа.

По преданию, в Турции в XIII в. действительно жил некий острослов Ходжа Насреддин, родившийся в крестьянской семье в бедной анатолийской деревушке.

Впоследствии он стал имамом мечети и всеми почитаемым «святым» человеком. До сих пор его могилу посещают толпы паломников.

Однако арабский Джуха, или Гоха, намного старше турецкого Ходжи. «Книга занимательных рассказов о Джухе» упоминается в авторитетном арабском библиографическом источнике «Китаб аль-Фихрист» уже в IX веке, то есть за триста лет до жизни реально существовавшего Ходжи Насреддина.

Сказочный турецкий Ходжа, считает М. Гале,— это двойник арабского Джухи. «Можно предположить,— пишет она,— что турецкий народ в какой-то момент своей истории почувствовал необходимость в таком же герое и адаптировал у себя арабского комического героя, придав его черты реально существовавшему Ходже Насреддину... тем более что оба имени звучат очень похоже».

Джуха и его «двойники», Ходжа Насреддин и Джахан, до сих пор пользуются огромной популярностью у себя на родине.

В арабских странах, в Турции, Иране и на Мальте выходят сборники сказок и анекдотов об этих народных героях, о них пишут свои исследования ученые. Любимому персонажу сказок посвящен первый тунисский художественный фильм «Проделки Джухи». Что касается Мальты, то там издавалась в свое время сатирико-юмористическая газета «Джахан», обличавшая колониальные порядки и внесшая свою лепту в борьбу мальтийского народа за независимость.

ПОЛЬША

«ПУТЕШЕСТВИЕ В ПОЛЬШУ»

Как сообщила газета «Жице Варшавы», выдающийся писатель Ярослав Ивашкевич работает над новой книгой, которая называется «Путешествие в Польшу».

Это книга воспоминаний и раздумий о детстве, о годах юности, о творческом становлении.

«Жице Варшавы» публикует фрагмент этой книги под названием «Краков».

В ЧЕСТЬ М. А. ШОЛОХОВА

В Варшаве в Государственном научном издательстве вышел в свет номер журнала «Славия ориенталис», целиком посвященный М. А. Шолохову. В нем опубликованы статьи крупнейших критиков и литературоведов Польши, СССР, ГДР и ЧССР — участников Международной научной конференции, организованной Институтом славяноведения Польской академии наук.

Номер открывает статья главного редактора Базиля Белокозовича: «Творчество Михаила Шолохова и тенденции развития советской литературы межвоенного периода».

Номер предваряет обращение участников конференции к М. А. Шолохову, в котором, в частности, говорится: «Наши народы высоко ценят Ваше творчество, многие поколения воспитываются на Ваших произведениях, постигают из них правду нового мира, красоту человеческих отношений. Ваш юбилей является праздником всей социалистической культуры. Общечеловеческое значение Ваших произведений признано во всем мире. Мы искренне благодарим Вас за Ваше бесценное творчество».

США

«ЛУЧШИЙ РОМАН ГОДА»

Новый роман Э. Л. Доктороу «Регтайм» — четвертая книга молодого писателя

На экраны Польши вышел фильм режиссера Анджея Коница «В те предвесенние дни». Это фильм о польском коммунисте Кашыбе, который был на подпольной работе в буржуазной Польше, сражался в республиканской Испании. Действие фильма происходит во время второй мировой войны, когда Войско Польское бок о бок с Советской Армией воевало против гитлеровской Германии. На снимке: в роли полковника Кашыбы Леонард Петрашек, в роли девушки-подпоручика актриса Варшавского национального театра Халина Ровицка. Это ее первая роль в кино.

(Журнал «Фильм»)

— признан «лучшим романом года».

Уже в первых рекламных объявлениях сообщалось, что один из наиболее популярных сегодня в США кинорежиссеров Роберт Олтман будет снимать по этому роману фильм.

Вот что пишет о книге на страницах «Нью-Йорк таймс бук ревью» известный литературный критик Дж. Стад: «Значение романа Доктороу—в том, что он дал нам почувствовать, «пережить» момент нашей истории. Возможно, вскоре этим займутся все наши романисты, потому что сегодня, когда 60-е годы остались позади, все мы оглядываемся назад, стараясь понять — что же случилось?»

Успех книги, по его мнению, обусловлен тем, что писателю удалось найти художественную манеру, помогающую читателю воссоздать историческую реальность, которая для большинства уже покрылась искажающим глянцем мифа.

Название романа «Регтайм» — танец, ритм — символизирует для американцев далекую и навсегда утраченную эпоху — от начала века до первой мировой войны, эпоху, которая сегодня видится в розовых красках. Для современных американцев она сохранилась в своеобразных силуэтах моды того времени, первых кинолентах и ритме регтайма. То была эпоха восхода многих американских «звезд»: экрана, литературы, промышленности, науки — пора надежд. Сами фразы, пишет Дж. Стад, как бы отбивают ритм регтайма: левая рука ведет партию времени, партию исторических перемен, а правая — ведет вариации, партии отдельных персонажей романа. И обе партии сливаются для читателя в музыку времени.

Все герои выступают под символическими именами: Мать, Отец, Негр, Художник. Лишь подлинные исторические личности названы в романе своими именами. Герои подобны танцующим силуэтам, но это не марионетки, писатель ничего не упрощает, он выявляет характерное в своих героях, представителях той эпохи.

Характеризуя жанр книги, рецензент «Нью-Йорк ревью оф букс» Р. Сейл пишет, что роман Доктороу — типичное явление для современной литературы на исторические темы, литературы, имитирующей документ и вплетающей документ в ткань современного романа. Как указывает критик, представители этого направления развивают на современном материале литературную традицию молодого Дос Пассоса. Сейл считает, что Доктороу не только прекрасно усвоил приемы сочетания фактологии и игры воображения, но «превзошел своего учителя». «В лице Доктороу,— пишет он,— стиль «ретро» нашел одного из самых верных и талантливых своих приверженцев» Как указывает рецензент, роман имеет два плана. Первый — роман-документ, второй — типичный для американской литературы «роман карьеры», с четким сюжетом и кругом действующих лиц; Доктороу изображает семью типичных американских рядовых тружеников. Это история тяжкой борьбы за выживание в условиях «процвет... История краха одного из сыновей, сумевшего подняться по социальной лестнице, и гибели другого, неудачника, упустившего свой шанс.

К концу книги все герои мертвы, но даже обстоятельства их смерти вплетаются в исторический фон: кто-то утонул на знаменитой «Лузитании», кого-то застрелили по ошибке, приняв за террориста... «И вот эпоха регтайма истекла — словно с последним тяжким вздохом умолкла пианола, словно эти годы были просто мелодией, сыгранной пианистом. Это блистательный роман, его силуэты и зарисовки не только превратили историю в роман, но и показали нам те мифы, из которых сотканы история. Писатель соединил вымысел и реальность. И незаметно мифы, которые питали наши иллюзии, оказались разорванными в клочки. Этот роман вобрал в себя нашу тоску по тому времени, но он уничтожил и горечь утраты.

В этой книге все продумано, она написана твердой рукой, все выверено и лишено сентиментальности. Это искусство резких линий и рубленых фраз, но здесь мы находим все, что искали,— фактуру, настроение, характер и тоску».

Кадр из фильма «Вехи. США, 1975». Режиссеры-сценаристы Роберт Крамер и Джон Дуглас. Этот фильм, рассказывает Филипп Боноски на страницах «Дейли уорлд», посвящен участникам широкого общественного движения «бурных» 60-х годов. «Где они — рассеянные остатки смелой, донкихотской, заполнившей экраны и страницы прессы «армии» 60-х?» — спрашивает в своей рецензии Филипп Боноски.

(Газета «Дейли уорлд»)

АНТИ-ДИККЕНС

Американский режиссер Майкл Гачнер поставил фильм «Мистер Квильп» по роману Чарльза Диккенса «Лавка древностей». Авторы сценария — Луис и Айрин Кэмп.

«Сложное содержание этого романа Чарльза Диккенса,— пишет об этом фильме журнал «Тайм»,— до такой степени упрощено, что его почти невозможно понять».

О «нечестности и никчемности» этой «никуда не годной музыкальной адаптации» романа Диккенса свидетельствует хотя бы тот факт, что большинство детей на первых же просмотрах «Квильпа» не поняли, что крошка Нелли, главная героиня романа, умерла. По мнению литературоведов, кончина Нелли — самая, может быть, потрясающая сцена смерти в английской литературе. В «Мистере Квильпе» эта «неудобная» сцена показана столь поспешно, что маленькие зрители поверили, будто девочка просто отправилась в какое-то далекое путешествие.

Роль Квильпа, ростовщика-вымогателя, который своими махинациями приводит Нелли и ее дедушку к нищете, играет Энтони Ньюли. Он же сочинил к этому фильму «отупляющую» музыку. Злодей Квильп предстает в интерпретации Ньюли всего лишь глупым шутом, которого не испугается даже самый наивный ребенок. Разумеется, когда гнетущее ожидание и напряженность действия сняты, исчезает и драматический эффект произведения.

Из всех выдающихся романистов Диккенс, как полагают кинематографисты, легче всех поддается экранизации. Подтверждением этого, пишет рецензент журнала «Тайм», служат великолепные постановки его романов «Дэвид Копперфильд» и «Большие ожидания». Однако режиссер Джордж Кьюкор, поставивший «Копперфильда» еще в 1935 году, был прав, когда заметил, что «непринужденность, упругость, угловатость, характерные для прозы Диккенса, должны сохраняться и на экране».

Как раз этого-то и еще многого другого, как пишет критик журнала «Тайм», не учли создатели помпезного «Мистера Квильпа».

ФРАНЦИЯ

ФИЛЬМ О ЖАНЕ ВИЛАРЕ

Режиссер Жак Рутман готовит для телевидения документальный фильм о выдающемся деятеле французского театра Жане Виларе. Как пишет в репортаже со съемок газета «Юманите», Рутман уже давно предлагал телевидению сделать такой фильм. Наконец согласие было получено, и теперь фильм находится в работе.

На вопрос корреспондента газеты «Для кого этот фильм?» Жак Рутман ответил: «Я обращаюсь и к тем, кто знает и любит театр, и к тем, кто в нем никогда не был. Они наверняка заинтересуются человеком, жизнь которого была необыкновенной и удивительной. Речь в фильме пойдет и о политической программе театра Вилара. Фильм должен стать по-настоящему актуальным. Ведь проблемы, которые пытался решить Вилар, стоят перед нами и сейчас. Авиньонский фестиваль и ТНП (Национальный театр) — яркие тому примеры. Концепция Вилара — театр служит народу — волнует нас по-прежнему».

По замыслу Рутмана, в телевизионном фильме не должно быть никаких комментариев — он будет построен на кино- и телекадрах, сделанных при жизни Вилара. Зрители услышат также отрывки из его книг в исполнении известного французского актера Мишеля Буке, рассказы тех, кому довелось работать с Жаном Виларом. Предполагается, что премьера фильма состоится накануне юбилейного, тридцатого Авиньонского фестиваля искусств, инициатором которого был Жан Вилар.

РАДОСТЬ НАСТОЯЩЕГО ОТКРЫТИЯ

В городе Нантерре состоялась демонстрация советских фильмов, организованная театром Амандьер и Коммунальным культурным центром. Эти 14 кинолент знакомы французскому зрителю по фестивалю, состоявшемуся летом в Авиньоне. Но впервые, как отмечает критик «Юманите» Эмиль Бретон, такие «необычные» для французской публики фильмы предстали перед «нефестивальной», провинциальной публикой».

Цель Советской недели была не в том, чтобы поразить жителей Нантерра шедеврами советской кинематографии, отмеченными всевозможными международными премиями, а просто познакомить французов с «повседневными» фильмами, полюбившимися советскому зрителю, такими, как «Гори, гори, моя звезда» Александра Митты, «Живет такой парень» Василия Шукшина, «Премия» Сергея Микаэляна.

«Французский зритель,— пишет Бретон,— поражен тем, что в большинстве фильмов заостряются проблемы, стоящие перед социалистическим обществом, проблемы, связанные с социальными и научно-техническими изменениями, происшедшими в Стране Советов».

Как показал опрос, проведенный после демонстрации фильмов, большинство зрителей, в том числе и представители прогрессивных кругов, очень мало знают о советской действительности и сомневались в возможности существования в СССР проблемного кино.

Тем большим открытием стал для французской публики фильм «Премия». Французов поразила острая проблематика фильма, вызвал симпатии герой-труженик, который чувствует себя ответственным за работу всего предприятия, человек мыслящий, знающий.

Рассказом о «каждодневном соблюдении демократии на предприятии, об участии трудящихся в управлении политикой и экономикой страны» назвал этот фильм Эмиль Бретон.

Самые различные мнения, оценки, вопросы высказывались на обсуждениях фи-

льмов. «Сначала зрителя интересовала лишь степень правдивости, с которой фильмы отражают реальность, а потом,— как отмечает Бретон,— зрители стали размышлять, и, размышляя, французский зритель понял, что эти фильмы, ставя важные нравственные проблемы, активно отражают действительность и служат улучшению взаимопонимания людей».

Художественные достоинства фильмов — игра актеров, режиссура — были отмечены и критикой и зрителем. Общее мнение — что подобные демонстрации советских фильмов необходимо продолжать и в будущем.

Критик «Юманите» подчеркивает, что такие демонстрации позволят лучше и больше узнать о Советском Союзе, советской кинематографии.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

80-ЛЕТИЕ ВАЦЛАВА КАПЛИЦКОГО

В ЧССР широко отмечалось 80-летие заслуженного писателя республики Вацлава Каплицкого.

Прослеживая его жизненный и творческий путь, газета «Руде право» писала о народном характере творчества писателя и его неустанной борьбе с реакцией во всех ее проявлениях. Уже в романе «Горностай» (1936) Каплицкий убедительно разоблачал официальную буржуазную легенду о «революционной, освободительной миссии» чехословацких легионов в России, показав их реакционную сущность.

Ряд его последующих произведений был посвящен тяжелой участи трудящихся в буржуазной республике.

В годы гитлеровской оккупации Каплицкий обратился к истории, стремясь в героическом прошлом своего народа открыть читателям источник силы и мужества для борьбы с фашизмом. «Край чаши» (1945) был его первым историческим романом, положившим начало целой серии произведений, рисующих антифеодальные крестьянские восстания прошлого («Железная корона», «Рекруты» и др.). В них писатель не только исторически точно воспроизводил события далекого прошлого, но и глубоко исследовал причины временных побед и неизбежных поражений сельских повстанцев.

Подлинной вершиной творчества Каплицкого стала его наиболее идейно значимая и художественно совершенная трехтомная эпопея «Таборская республика» (1969), в которой гуситская эпоха раскрыта с точки зрения современности, глазами человека социалистического общества.

«Руде право» особенно подчеркивает роль Каплицкого в создании исторического романа нового типа, отмеченного «новым пониманием народности и идущего от наследия Винтера и Ирасека к Владиславу Ванчуре».

Газета пишет и о заслугах писателя как общественного деятеля, который вместе со Зденеком Неедлы был организатором «Общества экономического и культурного сближения с новой Россией».

В юбилейные дни издательство «Праце» выпустило в свет новый роман Каплицкого «Каинова печать».

ЧИЛИ

МАРСЕЛО РОМО ОБЛИЧАЕТ ХУНТУ

Находящийся в эмиграции известный чилийский актер Марсело Ромо сделал на пресс-конференции в Лондоне заявление, в котором призвал деятелей искусства Великобритании и других стран бойкотировать чилийскую фашистскую хунту и поддерживать борьбу против нее.

Фашизм стремится задавить национальную культуру чилийского народа, сказал Ромо. В условиях фашистского режима, когда попраны элементарные человеческие свободы, когда многие деятели культуры уничтожены физически, брошены в тюрьмы, подвергаются пыткам, в атмосфере разгула пиночетовской цензуры хунта объявила о намерении создать так называемую «националистическую культуру». «То, что они называют националистической культурой, по сути дела, является самым настоящим издевательством над культурой»,— заявил Ромо.

Говоря о деятелях культуры Чили, которые пали жертвами фашистского террора, Ромо назвал имена Виктора Хары, гибель которого потрясла честных людей всего мира, актрисы Анамарии Пога, застреленной на улице в ноябре 1974 года. В те же дни без вести пропали Кармен Буэно и Хорхе Мульер, арестованные прямо в театре во время спектакля. Та же участь постигла актрису Жаклин Друйи и архитектора Луиса Гендельмана.

Сам Марсело Ромо был арестован фашистской военной контрразведкой в ноябре 1973 года без предъявления каких-либо обвинений. В течение десяти дней

Марсело Ромо в редакции газеты «Морнинг стар».

(Газета «Морнинг стар»)

«Дождь над Сантьяго» — фильм режиссера Эльвио Сото — воскрешает трагические события, которые произошли после фашистского переворота в Чили. В роли Сальватора Альенде выступил болгарский актер Н. Петров. Кроме него в фильме снимались Анни Жирардо, Жан-Луи Трентиньян, Биби Андерсон, Рикардо Кучиола.
На снимке: Анни Жирардо и Рикардо Кучиола.

(Журнал «Экран»)

его содержали в строгой изоляции от внешнего мира, подвергали пыткам и даже инсценировали расстрел. Затем он провел несколько месяцев в камере, рассчитанной на одного заключенного, но вместе с ним там находилось пятнадцать человек. Военный трибунал приговорил его к одиннадцати годам тюрьмы; позднее этот срок был сокращен до семи лет.

В застенках хунты Марсело Рома провел двадцать месяцев. Затем он был выслан за пределы страны.

На родине осталась семья Ромо, и он очень обеспокоен судьбой своих близких. «Но я не могу молчать о том, что происходит сегодня в Чили»,— заявил Ромо.

ШВЕЦИЯ

БИЗНЕС И МУЗА

Шведская печать все чаще пишет о критической ситуации в области производства и проката кинофильмов.

«Наша кинопромышленность развивается в коммерческой атмосфере. Шведский институт кино, курирующий производство и прокат фильмов, руководствуется в своей деятельности отнюдь не интересами высокого искусства, а соображениями бизнеса. Поэтому экраны заполонены отечественными и иностранными боевиками, кровавыми детективами и т. п.»,— пишет газета «Ню даг». Шведский киноцентр, начавший свою деятельность как добровольная организация деятелей кино, развернул широкую кампанию экономической и политической поддержки «качественных фильмов», то есть фильмов, неинтересных с коммерческой точки зрения для кинопроката или телевидения.

В крупных городах — Умео, Фалуне, Гётеборге, Векшё — открылись филиалы киноцентра.

Сейчас киноцентр получает некоторые субсидии от государства и частных лиц и большую часть своего бюджета расходует на рекламу политических, идейно насыщенных фильмов, посвященных борьбе рабочего класса за свои права.

Авторы этого номера

АРМАНДО ТЕХАДА ГОМЕС — ARMANDO TEJADA GOMEZ (род. в 1932 г.).

Аргентинский поэт, перу которого принадлежит девять поэтических сборников, в том числе «История нашей разлуки» («Historia de tu ausencia» 1957) «Свет былого» («Luz de entonces» 1963) и др. Лауреат Национальной премии по литературе и премии «Каса де лас Америкас». (Подробнее о нем и его творчестве см. во вступительной статье.)

Публикуемые стихи взяты из книг: «Антология Хуана» («Antologia de Juan», 1958), «Песни для дела» («Tonados para usar», 1967).

ГОНЧАРЕНКО СЕРГЕЙ ФИЛИППОВИЧ (род. в 1945 г.).

Советский поэт-переводчик, филолог-испанист, кандидат филологических наук. В его переводах опубликованы стихи Мигеля де Унамуно, Антонио Мачадо, Федерико Гарсиа Лорки, Луиса де Гонгоры, Лопе де Веги, Гильермо Валенсии, Висенте Уидобро и других испанских и латиноамериканских поэтов. Автор ряда статей по романской филологии и теории перевода.

ЭДУАРД ПЕТИШКА — EDUARD PETIŠKA (род. в 1924 г.).

Чехословацкий поэт и прозаик. После войны окончил философский факультет Карлова университета в Праге. С 1948 г. занимается литературным творчеством: это и книги для детей, которыми он заявил о себе в конце 40-х — начале 50-х годов, и поэтические сборники «Мгновения» («Okamžiky», 1957) «Жду тебя» («Čekám na tebe», 1962) «Семья Овидия» («Ovidiova rodina», 1968), «Прометеева память» («Prométheova paměť», 1971) и книги новелл, среди которых особое место занимает своеобразный роман-эссе в новеллах «Прежде чем мы станем взрослыми» («Než uzrají muži», 1960), исследующий нравственное и идейное формирование юношей в период фашистской оккупации. Петишка выступает и как автор ряда психологических романов о современном человеке — «Судья Кнорр» («Soudce Knorr», 1967) «Пятница героя» («Hrdinův pátek», 1968).

Предлагаемые читателю рассказы взяты из сборника «Брачные ночи» («Svatební noci» Praha, Československý spisovatel, 1972).

КАМЕНСКАЯ ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА.

Советский переводчик с чешского и словацкого. Переводила произведения К. Чапека, И. Ольбрахта, М. Пуймановой, стихи В. Незвала, М. Флориана, П. Горова, М. Руфуса и др.

АЙИ КВЕЙ АРМА — AYI KWEI ARMAH (род. в 1939 г.).

Ганский прозаик, один из наиболее одаренных писателей Тропической Африки. Окончив Ачимотский колледж в Гане, К. Арма в конце 50-х годов был послан учиться в США. Он обучался сначала в Гарвардском университете, который окончил в 1962 г., после чего несколько лет работал в Алжире, а затем в Париже в журнале «Жён Африк». В конце 60-х годов он вторично уехал в США, чтобы изучать литературное мастерство в Калифорнийском университете, и вернулся бакалавром искусств.

Широкую известность К. Арма получил после появления в свет своего первого романа «Прекрасные еще не родились» («The Beautiful Ones Are not yet Born» 1968), который имел большой успех и был высоко оценен европейской и американской крити

кой, а в странах Африки признан одной из лучших книг. Ныне К. Арма живет в Танзании. Он выпустил еще три романа: «Почему мы так благословенны?» («Why are We So Blest», 1972), «2000 сезонов» («2000 Seasons», 1974) и «Осколки» («Fragments», New York,Collier Books, 1969), который мы предлагаем вниманию читателей.

О творчестве А. Квеи Армы см статью Е. Гальпериной «Молодой бунтарь в поисках пути» в № 12, 1975 г. нашего журнала.

ЛОРИЕ МАРИЯ ФЕДОРОВНА

Советский переводчик. Переводом англоязычной прозы занимается с 1930 г. В ее переводах выходили произведения Ч. Диккенса, С. Моэма, И. Во, У. Теккерея Айрис Мердок, повести и рассказы Г. Мелвилла, Э. Хемингуэя и др.

КИСТЯКОВСКИЙ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ (род. в 1936 г.).

Советский переводчик прозы и поэзии с английского. Переводил произведения У. Фолкнера, Р. Уилбера Р. Данкена, Ф. О'Коннор, А. Тутуолы, В. Шойинки и др.

ФРАНСИСКО ГАРСИА ПАВОН — FRANCISCO GARCIA PAVÓN (род. в 1919 г.).

Испанский прозаик. Лауреат ряда национальных премий по литературе. Доктор филологии и философии. Его деятельность многообразна: преподаватель истории драмы в Высшей школе драматического искусства, генеральный директор издательства «Таурус», сотрудник ряда периодических изданий, в том числе газеты «АВС».

Наиболее известные его произведения: романы «Неподалеку от Овьедо» («Cerca de Oviedo», 1945), «Либералы» («Los Liberales», 1965), «Королевство Витица» («El reinado de Witiza», 1968), сборник «Республиканские рассказы» («Cuentos republicanos», 1961), исследование «Социальный театр в Испании» («El teatro social en España», 1962).

Мы знакомим читателей с творчеством Франсиско Гарсиа Павона (на русский язык переводится впервые), публикуя его роман «Рыжие сестры» («Las Hermanas coloradas», Barcelona, Destino 1969) удостоенный литературной премии «Надаль».

СИНЯНСКАЯ ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА

Советский переводчик испанской и латиноамериканской литературы. Переводила прозу Пабло Неруды (Чили), Сесара Вальехо (Перу) романы Алехо Карпентьера. Лисандро Отеро (Куба), Хуана Гойтисоло, Долорес Медио, Хуана Фариаса (Испания), Хуана Карлоса Онетти (Уругвай) пьесы Антонио Буэро Вальехо (Испания) и др.

ЖАН ПЕРЮС — JEAN PÉRUS (род. в 1908 г.).

Французский литературовед. Участник движения Сопротивления. Автор трудов, посвященных французской и русской литературам,— «Введение в советскую литературу» («Introduction à la littérature soviétique», 1949), «Ромен Роллан и Горький» («Romain Rolland et Gorki», 1968) «Методика и техника работы в области истории литературы» («Méthodes et techniques du travail en histoire littéraire», 1972). Составитель и автор предисловия новой антологии «Ленин о литературе и искусстве» («Lénine sur la littérature et l'art»), выпущенной в 1975 г. издательством «Эдисьон сосьяль».

Публикуемая статья получена от автора в рукописи.

ЗВЕРЕВ АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВИЧ (род. в 1939 г.).

Советский литературный критик, кандидат филологических наук, научный сотрудник Института мировой литературы им. Горького АН СССР. Автор книги «Джек Лондон» (1975) и ряда статей по проблемам современной американской литературы.

ГИНЗБУРГ ЛЕВ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1921 г.).

Советский поэт-переводчик, публицист. Лауреат премии имени Иоганнеса Бехера. Автор книг переводов «Немецкие народные баллады» (1959), «Слово скорби и утешения» (1963), «Лирика вагантов» (1970), «Немецкая старина» (1971), «Страницы немецкой поэзии» (1972), а также документально-художественных книг «Бездна» (1967), «Потусторонние встречи» (1969) и др.

ФЕДОРЕНКО НИКОЛАЙ ТРОФИМОВИЧ (род. в 1912 г.).

Советский филолог-востоковед, член-корреспондент Академии наук СССР, почетный академик Флорентийской академии искусств, почетный член Института китаеведения в Токио. Автор книг: «Очерки современной китайской литературы» (1953), «Китайские записи» (1955), «Китайская литература. Очерки по истории китайской литературы» (1956), «Шицзин» и его место в китайской литературе» (1958), «Земля и легенды Китая» (1961), «Краски времени. Черты японского искусства» (1972), «Дипломатические записи» (1972), «Японские записи» (1974), «Проблемы исследования китайской литературы» (1974), «Меткость слова. (Афористика как жанр словесного искусства)» (1975) и многих других работ, посвященных истории культуры Китая и Японии, общетеоретическим вопросам литературы и искусства.

АЛЬБЕРТ ЮДЖИН КАН — ALBERT EUGENE KAHN (род. в 1912 г.).

Американский писатель, публицист. Многие его книги переведены на русский язык: «Заговор против мира» (совместно с М. Сейерсом, 1945), «Саботаж. Тайная война против Америки» (совместно с М. Сейерсом) — о подрывной деятельности немецкой «пятой колонны» и «Тайная война против Советской России» (1945), «Заметки о национальном скандале» — о разгуле маккартизма в США, «Время решений», «Игра со смертью», «Дни с Улановой» и др.

Мы публикуем фрагменты книги «Радости и печали. Размышления Пабло Казальса, поведанные им Альберту Кану» («Joys and Sorrows. Reflections by Pablo Casals As Told to Albert E. Kahn». New York, Simon and Shuster, 1970). Полностью книга выйдет в издательстве «Прогресс».

УВЕ ТИММ — UWE TIMM (род. в 1940 г.).

Немецкий писатель (ФРГ). Изучал философию и германистику в Мюнхене и Париже. Один из редакторов издательской группы «Ауторен эдисьон» и журнала «Литерарише хефте». Постоянно живет в Мюнхене. Автор радиопьес и пьес для театра, статей и радиорепортажей. Кроме рецензируемого романа выпустил в свет сборник стихов «Противоречия» («Widersprüche», 1971).

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 6/I 1976 г. А01263. Подписано к печати 16/II 1976 г.
Бумага $70\times108^{1}/_{16}=9$ бум. л. 18 п. л. (25,2) усл. печ. л. Уч.-изд. л. 32,69.
Тираж 600 000 экз. (1-й завод 1 — 350 000 экз.) Зак. 77.

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп. ИНДЕКС 70394